

Василий Осипович  
КЛЮЧЕВСКИЙ

---



СОЧИНЕНИЯ  
В ДЕВЯТИ  
ТОМАХ



КУРС  
РУССКОЙ  
ИСТОРИИ  
ЧАСТЬ I



КУРС  
РУССКОЙ  
ИСТОРИИ  
ЧАСТЬ II



КУРС  
РУССКОЙ  
ИСТОРИИ  
ЧАСТЬ III



КУРС  
РУССКОЙ  
ИСТОРИИ  
ЧАСТЬ IV



КУРС  
РУССКОЙ  
ИСТОРИИ  
ЧАСТЬ V



СПЕЦИАЛЬНЫЕ  
КУРСЫ



СПЕЦИАЛЬНЫЕ  
КУРСЫ



СТАТЬИ



МАТЕРИАЛЫ  
РАЗНЫХ  
ЛЕТ

Василий Осипович  
КЛЮЧЕВСКИЙ

---



МАТЕРИАЛЫ  
РАЗНЫХ  
ЛЕТ



МОСКВА „МЫСЛЬ“ 1990

ББК 63.3(2)  
К52

Редакция литературы  
по истории СССР

Под редакцией  
члена-корреспондента АН СССР  
В. Л. ЯНИНА

Послесловие и комментарии  
доктора исторических наук  
Р. А. КИРЕЕВОЙ

К  $\frac{0503020000-041}{004(01)-90}$  Подписное

ISBN 5-244-00072-1

ISBN 5-244-00415-8

© Издательство «Мысль». 1990

## ДВА ВОСПИТАНИЯ

Даровитый актер играл в пьесе действующее лицо, которое по воле автора много действовало и говорило, но по вине того же автора не умело достаточно выяснить смысл своих слов и действий, осталось лицом без физиономии. По окончании спектакля приятель упрекнул актера в том, что он, зритель, в его игре не узнал его героя.

— Да и нельзя было узнать,— отвечал актер,— потому что мой герой и не появлялся на сцене, а выходил я своею собственною, незагримированною персоной... Когда актер не понимает, кого играет, он поневоле играет самого себя.

В подобном затруднительном положении могут очутиться и педагоги известной школы. Сами по себе они могут быть разными людьми, такими и этакими. Но все они должны понимать идею своей школы, и понимать ее одинаково, чтобы знать, кого они воспитывают, т. е. кого вырабатывают из своих воспитанников соединенными усилиями. Соединенные усилия могут не быть дружными действиями, и тогда из них не выйдет цельного и складного дела. На сцене актеры играют каждый свою роль, и каждый понимает ее, разумеется, по-своему, но все они должны одинаково понимать пьесу, чтобы стройно сыграть ее. Воспитатели и учителя должны знать, кого им нужно воспитать и выучить, знать не только тот педагогический материал, который сидит или бегаёт под их руководством, но и тот умственный и нравственный идеал, к которому они обязаны приближать эти вверенные им

маленькие живые будущности, смотрящие на них полными смутных ожиданий глазами. Воспитатель, который не знает, кого он должен воспитать, воспитывает только самого себя, т. е. продолжает собственное воспитание. Такая педагогика похожа на известную детскую игру, где у того, кто должен ловить всех, завязаны глаза, и он, с методологической растерянностью растопырив руки, сам не знает, кого поймает, и, вероятнее всего, что не поймает никого, потому что ловит только собственные призраки, т. е. самого себя. Если наставникам не ясна задача их школы и один не знает, что делает другой, куда ведет свой класс,—каждый будет выдвигать из своего класса то же, что некогда выдвигали из него самого на классной скамье, и никто из них не будет знать, что выходит из их питомцев, так как, по всей вероятности, из них ничего и не выходит, как не движется с места тело, влекомое в разные стороны. Но то несомненно, что этими разносторонними влечениями воспитательная программа будет разорвана на отдельные бессмысленные клочки, ибо в программе, лишенной органической связи своих частей, столько же смысла, сколько поэзии в рассыпанном типографском наборе лучшей пьесы Пушкина.

Идея школы слагается из известной цели, к которой направляются все образовательные средства, знания, навыки, правила, и из приложенных к этой цели приемов, которыми эти средства проводятся в воспитываемую среду. Каждый из наставников-товарищей должен живо и цельно представить себе тот умственный и нравственный тип, который схематически предначертан воспитательной программой и в котором он призван осуществить какую-нибудь маленькую подробность, и каждый должен постоянно держать в воображении этот мысленный манекен, чтоб его частичное дело гармонировало с такими же частичными делами других наставников, и дружные усилия всего товарищества должны быть устремлены к одной цели—сделать каждого воспитанника возможно точным снимком с этого программного образа.

Да это—обезличение, а не воспитание, подумают некоторые; это не школа, а казарма; из такой школы могут выходить нумера, а не люди, статистические количества, а не нравственные величины. Такое опасение иногда высказывается и как упрек тревожит наших педагогов, но совершенно напрасно. В этом упреке нет ничего для них обидного. Во-первых, боязнь школьного обезличения учащегося юношества предполагает в учителях достаточную педагогическую силу, которую не следу-

ет злоупотреблять, но которую не грешно иметь. Вторых, забывается одно обстоятельство: в школе дети не рождаются, а только учатся и воспитываются. Они туда приходят откуда-то уже готовыми, хотя еще не зрелыми организмами, и опять куда-то уходят. То, откуда приходят дети в школу и где они рождаются, называется *семьей*.

Мы довольно спокойно говорим о нашей семье, сохраняем то же спокойствие, когда заходит речь и о нашей школе. Но мы всегда несколько волнуемся, когда в наших беседах встречаются семья и школа. Мы чувствуем, что в их взаимных отношениях у нас есть какое-то недоразумение, стоит какой-то вопрос, которого мы не в силах разрешить и даже не умеем хорошенько поставить. Что, кажется, может быть яснее и проще отношения между семьей и школой? Сама природа провела разграничительную черту между ними, разделила работу человечества над самим собой между этими двумя величайшими питомниками человеческого ума и сердца. Оба этих учреждения не могут заменить друг друга, но могут помогать или вредить одно другому. У того и другого свое особое дело; но дела обоих так тесно связаны между собою, что одно учреждение помогает или вредит другому уже тем, что свое дело делает хорошо или худо. Все это как будто просто и понятно само по себе, и, однако, нередко слышатся недоумение и споры как о сущности, так и о границах, о взаимном отношении педагогических задач семьи и школы. Можно слышать такое разграничение этих задач: семье принадлежит *воспитание*, школе — *обучение*. Я не говорю, верно ли это; я спрошу только: ясно ли это? Ведь мы столько же обучаем, воспитывая, сколько воспитываем, обучая. Образование составляется из воспитания и обучения; но эти составные образовательные процессы легче разграничиваются в психологическом анализе, чем в педагогической практике. Учитель и воспитатель очень отчетливо и внятно говорят друг с другом о различии задач и приемов своих профессий, и, однако, их общий питомец после затруднится сказать, кто из них его больше учил или воспитывал. В чем дело? Очевидно, еще не все стороны вопроса стали у нас на виду, и эти недосмотры родят недоразумения.

Когда исчезает из глаз тропа, по которой мы шли, прежде всего мы оглядываемся назад, чтобы по направлению пройденного угадать, куда идти дальше. Двигаясь ошупью в потемках, мы видим перед собою полосу света, падающую на наш дальнейший путь от кого-то сзади нас. Эта проводница наша — история с ее светочем, с уроками

и опытами, которые она отбирает у убегающего от нас прошедшего. В истории нашего образования были сделаны два поучительные опыта, в которых семья и школа были поставлены в совершенно различные и очень своеобразные отношения друг к другу и от которых получились несходные результаты. Древняя Русь стремилась утвердить школу у домашнего очага и включить ее задачи в число забот и обязанностей семьи; во второй половине XVIII в. предпринята была попытка оторвать школу от семьи, даже сделать первую соперницу последней. Может быть, обе постановки дела и их результаты помогут нам рассмотреть во взаимном отношении этих учреждений такие стороны, которых мы не замечаем только потому, что недостаточно наблюдали их в действительности.

Я намерен сопоставить две испытанные у нас системы воспитания с целью показать отношения, какие устанавливались семьей и школой. При этом я имею в виду только общеобразовательную школу, которую желательно, чтобы проходили все. Только такая школа, а не специальная ремесленная может служить продолжением начального воспитания, какое обязана давать всякая семья. Разумеется, я могу говорить только об общем идеальном плане такого дальнейшего воспитания, как его чертили устроители и руководители народного образования в древней и новой Руси, а не как их предначертания осуществлялись в воспитательной практике. Чтобы понять дух и план древнерусского воспитания, надобно на минуту отрешиться от того, как мы теперь понимаем содержание и цели общего образования. По нашему привычному представлению, общее образование складывается из некоторых научных знаний и житейских правил — из знаний, подготовляющих ум к пониманию жизни и к усвоению избранного или доставшегося житейского занятия, ремесла, и из правил, образующих сердце и волю, умение жить с людьми и действовать на всяком поприще. Знания касаются необъятного круга предметов, мироздания, истории человечества, природы человеческого духа в ее разнообразнейших проявлениях, в приемах и процессах мышления, в исчислении и измерении количественных величин и отношений, в строении человеческой речи и в художественных произведениях человеческого слова. Не так многообразна образовательная работа, задаваемая сердцу и воле. В эстетическом чувстве еще несколько возбуждается критическое чутье. Зато чувство нравственное и религиозное находит себе готовое питание только разве в уроках закона божия, притом разобщенных с другими предметами,

преподаватели которых опасаются касаться этого отдела образовательной программы, так что питательный материал, какой могут дать другие предметы для удовлетворения потребностей едва пробудившегося сердца и неокрепшей воли, воспитанник должен добывать и обрабатывать сам, своими собственными неумелыми усилиями.

В древнерусском воспитании все это было поставлено значительно иначе. Главное внимание педагогики обращено было в другую сторону—на житейские правила, а не на научные знания. Кодекс сведений, чувств и навыков, какие считались необходимыми для усвоения этих правил, составлял науку о «христианском жительстве», о том, как подобает жить христианам. Этот кодекс состоял из трех наук, или *строений*: то были строение *душевное*—учение о *долге душевном*, или дело спасения души, строение *мирское*—наука о гражданском общежитии и строение *домовое*—наука о хозяйственном домоводстве. Усвоение этих трех дисциплин и составляло задачу общего образования в древней Руси. Школой душевного спасения для мирян была приходская церковь с ее священником, духовным отцом своих прихожан. Его преподавательские средства—богослужение, исповедь, поучение, пример собственной жизни. В состав его курса входили три части: богословие—*како веровати*, политика—*како царя чтити*, нравоучение—*како чтити духовный чин и учения его слушати, аки от Божиих уст*. Эта школа была своего рода учительскою семинарией. Учение, преподаваемое приходским священником, разносилось по домам старшими его духовными детьми, домовладыками, отцами семейств. Он не только делал дело их собственного душевного спасения, но и учил, как они, помогая ему, должны готовить к этому и своих домашних. Хозяин дома, отец семейства, был настоящий народный учитель в древней Руси, потому что семья была тогда народною школой или, точнее, народная школа заключалась в семье. Это было не простое естественное семейство, довольно сложный юридический союз, чрезвычайно туго стянутый дружными вековыми усилиями церкви и государства. Домовладыка считал в составе своей семьи, своего дома, не только свою жену и детей, но и *домочадцев*, т. е. живших в его доме младших родственников и слуг, зависимых от него людей, с семействами тех и других. Это было его домашнее царство, за которое он нес законом установленную ответственность пред общественной властью: здесь он был не только муж и отец, но и прямо назывался *государем*. Этот домовый государь и

был домашним учителем, его дом был его школой. В древнерусских духовных поучениях очень выразительно определено его педагогическое назначение. Он обязан был беречь чистоту телесную и душевную домашних своих, во всем быть их стражем, заботиться о них, как о частях своего духовного существа, потому что связан со всеми ними одною верой и должен вести к Богу не себя одного, но многих. Труд воспитания дома он делил с женой, своею непременно советчицей и сотрудницей. В древнерусских взглядах на жену можно найти очень тонкие черты, изображающие ее значение для мужа и дома. Она также государыня для дома, только при муже неотвечественная перед общественною властью. Муж распоряжается в доме, жена держит порядок. Он тратит, чтобы приобрести; она приобретает, сберегая, чего можно не тратить. Он работает весь день среди чужих людей, чтобы отдохнуть дома; она хлопочет, задавая и наблюдая работу своих домашних, и не угасает светильник ее всю ночь. Он кормит дом, она одевает его. Он создает себе достаток, вырабатывая необходимое для дома; она уделяет бедному избыток, не расходуя лишнего. Муж так ведет дела в обществе, чтобы была спокойна семья; жена так ведет дом, чтобы муж вне дома был спокоен за семью. Он направляет ум жены, дает ей домашнюю указку; она настраивает сердце мужа, внушает ему общественный такт, и, находясь в сонмище, сидя среди знакомых, он знает, что говорить, понимает, что делать, помня свою поджидающую его домоседку. Дома муж—глава и государь своей жены; на людях жена венцом блесит на голове своего государя. Вы видите, древнерусская мысль не боялась и не сучала думать о женщине и даже расположена была идеализировать образ доброй жены. Кто знает, может быть, древнерусская женщина была так устроена психологически, что когда ей показывали идеал и говорили, что это ее портрет, в ней рождалось желание стать его оригиналом и отыскивалось умение быть его хорошею копией.

Такова была идеальная нравственная атмосфера, которою дышали и в которой воспитывались дети по древнерусскому педагогическому плану. Объем воспитания в этой семейной школе ограничивался предметами ведения и назидания, какие могли уместиться в стенах дома, быть наблюдаемы и усвояемы в домашнем кругу. Весь мир божий в этой школе сводился под домашний кров, и дом становился малым образом вселенной: может быть, поэтому на потолке древнерусского зажиточного дома иногда и

рисовали небесные светила, планетную систему, круги и беги небесные, как говорили древнерусские астрономы. Домохозяин обучал жену, детей и домочадцев закону божию и благонравию, или «божеству и вежеству и всякому благочинию», как тогда выражали составные части этого курса применительно к трем общеобразовательным *строениям*. Прежде всего он, как педагогический помощник священника, должен был преподавать своему дому начатки того *строения душевного*, которое он сам усвоял у своего руководителя, пополняя под его руководством уроки, полученные еще до женитьбы в родительском доме. Затем следовало *мирское строение*, «как жити православным христианом в миру с женами и с детьми и с домочадцами и их учити». Доселе хозяин вел дело воспитания с женой, своею старшею ученицей и сотрудницей. Далее в *домовном строении* их педагогический труд разделялся как бы на параллельные отделения: когда дети подрастали, родители обучали их «промыслу и рукоделю», отец—сыновей, мать—дочерей, каков кому дал Бог смысл, «просуг». Выбор и порядок изучения этих рукоделей или ремесл соображались с возрастом и с пониманием детей, как и с общественным положением родителей. Отцовское и дедовское предание и строгая раздельность общественных состояний служили здесь руководящими началами. В наше время может не понравиться такое подчинение судьбы подрастающих поколений инерции мысли отцов и застоявшемуся консерватизму их общественного поведения. Для объяснения и смягчения их вины надобно припомнить, что в древней Руси при отсутствии публичного технического образования отец поневоле обучал сына только тому, что сам умел, или должен был отдавать сына другому мастеру, писать *ученическую запись*, нотариальный контракт о выгучке, который ставил его сына в положение, близкое к холопу, дворовому человеку, между прочим, предоставлял мастеру—учителю право своего ученика «смирять, по вине смотря». Зная только быт и нравы нынешних мастерских, можно живо почувствовать печальный смысл этих юридически осторожных слов *смирять, по вине смотря*. Может быть, древнерусский отец, по-своему сложно понимая житейские пользы сына, и готов был на такое тяжелое условие, но против него должно было мятежно восставать простое материнское чувство, непривычное к сложным комбинациям и житейским софизмам, но умевшее говорить, когда приходилось на много лет бросать родного ребенка в чужой дом, на произвол чужой воли. Все это

могло быть или должно было бывать. Зато без оговорок можно утверждать, что современное педагогическое чувство решительно против одного из основных приемов древнерусской методики домашнего воспитания. Это — известный прием, состоящий во внешнем действии на ум, волю и чувство посредством производимого битьем нервного ощущения. *Любя сына, учащай ему раны, не жалей жезла; дочь ли имаши, положи на ней грозу свою...* Впрочем, как скоро дело дошло до дочери, у меня не хватает духа продолжать изложение тех изысканных формул, в которых выражали этот прием древнерусские педагогические руководства. Древнерусская педагогика, очевидно, много думала об этом воспитательном средстве, лелеяла его, возлагая на него преувеличенные надежды, как на «злобы искоренителя и насадителя добродетелей». Едва ли кто из нас по характеру полученного им воспитания поймет эту веру в чудодейственную силу педагогического *жезла*, т. е. простой глупой палки. Мы уже слишком далеко отодвинулись от понятий и нравов, питавших эту странную веру, чтобы понять ее, и нам остается только благодарить историю за свое непонимание. Впрочем, для устранения возможного недоразумения здесь, кажется, нужен исторический комментарий. Читая эти изысканные педагогические наставления, сводившиеся к одному общему правилу — как детей «страхом спасти, уча и наказуя», полезно помнить, что мы имеем дело с *планом*, а не с *практикой* домашнего воспитания. По жестокому педагогическому плану еще нельзя судить о суровости педагоги, даже о жестокости самих начертателей плана. Планометрическая, начертательная педагогика доводит иной воспитательный принцип или прием до крайних, практически невозможных, а только метафизически мыслимых последствий не по жестокости сердца, а просто в интересе логической последовательности; но эти излишества так и остаются в области метафизического мышления, знаменуя силу мысли, но не портя жизни. Дело в том, что педагоги при составлении педагогической программы только размышляют о детях, а при ее исполнении еще и видят их, т. е. любят, потому что видеть детей и любить их — это одно и то же, два неразлучные психологические акта. На такое объяснение древнерусской теории педагогического жезла наводит одна обмолвка древнерусских воспитательных руководств, из которой видно, что они смотрели на телесное наказание детей как на воспитательно-гигиеническую операцию, как бы дополнительное гимнастическое средство. «Любя сына,—

читаем мы там,—учащай ему раны, ибо от жезла твоего он не умрет, а еще здоровее станет». Известно, что любящая рука бьет не больно и, во всяком случае, больнее бьет того, кому принадлежит, чем того, на кого поднимается.

Гораздо плодотворнее был другой прием древнерусской педагогики — живой пример, наглядный образец. Древнерусская начальная общеобразовательная школа — это дом, семья. Ребенок должен был воспитываться не столько уроками, которые он слушал, сколько тою нравственной атмосферой, которою он дышал. Это было не пятичасовое, а ежеминутное действие, посредством которого дитя впитывало в себя сведения, взгляды, чувства, привычки. Как бы ни была неподатлива природа питомца, эта непрерывно капающая капля способна была продолбить какой угодно педагогический камень. На это и рассчитан был порядок домашней жизни, как его рисовали в идеальной схеме древнерусские моралисты. Это была известная среда обычая и обряда, веками сложенная, плотная и чинная, массивная бытовая кладка. Все здесь было обдуманно и испытано, выдержано, размерено и разграничено, каждая вещь положена на свое место, каждое слово логически определено и нравственно взвешено, каждый шаг разучен, как танцевальное па, каждый поступок предусмотрен и подсказан, под каждое чувство и помышление подведена запретительная или поощрительная цитата из писания или отеческого предания, все эти шаги, помышления и чувства расписаны по церковному календарю, — и человек, живой человек с индивидуальной мыслью и волей, с свободным нравственным чувством, двигался по этому церковно-житейскому трафарету автоматическим манекеном или как движется шашка под рукой искусного игрока по разграфленной на клетки доске. При таком общем направлении жизни и при тогдашних образовательных средствах семье воспитанию грозила опасность уклониться от указанного ему пути, погасить дух обрядом, превратить заповеди в простые привычки и таким образом выработать автоматическую совесть, нравственное чувство, действующее по памяти и навыку, выдержку, при которой знают, как поступить, прежде чем подумают, для чего и почему так поступают.

Конечно, священник мог ослаблять такое направление домашнего воспитания. Вся семья ежегодно бывала у него *на духу*; здесь он мог проверять и исправлять результаты воспитания, указывать, как вносить живую душу в механическую выправку совести. Это был своего рода инспек-

торский смотр домашнего воспитания, ибо весь приход составлял как бы одну школу, распадавшуюся на размещенные по домам параллельные классы, общим надзирателем и руководителем которых был приходский священник. И помимо исповеди родителям внушалось «советоваться с ним часто о житии полезном», как учить и любить детей своих. Древнерусских воспитателей трудно упрекнуть в излишнем доверии к природе человека, ее силам и влечениям. Напротив, они направляли свои усилия к тому, чтобы выбить из питомца *свою волю*, заменив ее послушанием установленному порядку жизни. Очевидно, они рассчитывали свой план на слабейшие силы, брали за единицу измерения достижимых успехов худший из возможных субъектов. Это понятно: семейная школа не могла выбирать воспитательный материал, потому что все члены семьи имеют одинаковое право существования и одинаковую воспитательную цену и за всех одинаково отвечает глава семьи. В этом существенная разница домашнего воспитания от публичной школы: последняя может выбирать и равнодушно бросать отсталых или негодных; это своего рода учебный лагерь, для которого один солдат в строю нужнее десятка пациентов в повозке «Красного Креста».

Таков план воспитания, как он развивался в древнерусских поучениях и как был сведен в общую программу в *Домострое* священника Сильвестра. А где же настоящая школа, публичное училище с книгами и другими орудиями грамотности, книжного учения? Домострой предполагает присутствие грамотных людей в составе древнерусской семьи, но не считает это необходимым и совсем умалчивает о такой школе. Грамотность не входила в состав общеобязательного воспитания как необходимое образовательное средство; она причислялась к техническим промыслам и рукоделаниям, к «механическим хитростям», как выражались у нас позднее, и нужна была только на некоторых житейских поприщах, например для духовного и приказного чина. Так смотрит на книжное учение и современный Домострой *Стоглав*: он предположил устроить по всем городам книжные училища в домах избранных духовных лиц, которые учили бы детей духовенства и всех православных христиан «грамоте и книжному письму и церковному пению псалтырному и чтению налойному», чтобы эти ученики, пришедши в возраст, достойны были священнического чина. Здесь указаны и учебная программа, и специальное назначение этих училищ. Некогда древнейший русский летописец, говоря о любви кн.

Ярослава I к книгам, написал превосходную страничку о душевной пользе книжного учения как источника мудрости. Позднее даже в азбуках проводилось строгое различие между книжной и истинною мудростью: «Не ищи, человеце, мудрости, ищи кротости; аще обрящещи кротость, то и одолеешь мудрость; не тот мудр, кто много грамоте умеет; тот мудр, кто много добра творит».

Эта-то не книжная мудрость древней Руси была поколеблена преобразовательным движением XVII и XVIII вв. и из сферы общественных отношений и интересов отодвинута была в тесные пределы домашней жизни или в состав личной нравственности. Старая домашняя школа со своими *строениями* стала архаическим украшением старомодной жизни. Возникли публичные школы с иноземными учителями, напечатаны грамматики, арифметики, геометрии; изданы законы об обязательном обучении духовенства и дворянства; грамотность, цифирь и геометрия объявлены были необходимыми элементами общего образования; заморские «механические хитрости» закрыли собою прежнюю приходскую и домашнюю науку душевного спасения. Русская мысль, ошеломленная крутым переворотом, весь XVIII в. силилась придти в себя и понять, что с нею случилось. Толчок, ею полученный, так далеко отбросил ее от насиженных предметов и представлений, что она долго не могла сообразить, где она очутилась. Чуть не в один век перешли от *Домостроя* попа Сильвестра к *Энциклопедии* Дядро и Даламбера. Такой переход можно было сделать только прыжками, а в области мысли прыжки совершаются всегда насчет логики и самообладания. Как всегда бывает в подобных случаях, русские преобразованные люди XVIII в., растерявшиеся от неожиданности и новизны своего положения, чтобы найтись в нем, принялись обсуждать не столько сделанный ими пробег, сколько собственное смутное ощущение, из него вынесенное. Вместо того, чтобы точно определить направление и протяжение пройденного пути, они, измеряя его степень своей усталости, просто, без всяких измерений решили, что ушли бесконечно далеко, и тогда старая позиция, с которой они сорвались так поспешно, представилась им в туманной невозвратной дали. Мнения раздвоились: одни радовались, что так далеко ушли вперед; другие жалели, что вследствие далекого ухода стало невозможно вернуться назад. Но те и другие больше думали о том, что они так далеко ушли, чем спрашивали себя о том, куда пришли, и ни те, ни другие не могли отдать себе отчета в том, как совершился этот акробатический перелет. От одного склада понятий перешли к другому так порывисто и суетливо, что по пути растеряли и свои путевые впечатле-

ния и чувствовали себя в положении лунатика, который не понимает, как он попал туда, где очнулся.

Очнувшись, наши просвещенные лунатики прошлого века очутились в шумном водовороте самых важных идей и вопросов, какие когда-либо волновали образованное человечество. То было начало царствования Екатерины II. Ощущение дневного света было первым впечатлением очнувшихся, свободный вздох — их первым движением. Наиболее капитальные произведения европейского ума, которыми ознаменовался век свободного просвещения, почти уже все лежали на столе образованного читателя. Идеи и вопросы, которыми авторы этих произведений поразили читающий мир, не были внезапным откровением свыше, озарившим европейскую мысль. Они имели достаточную историческую подготовку, выработались из продолжительных усилий европейского ума и сердца, подсказаны были застарелыми, наболевшими язвами европейского общежития, запутавшегося в собственных противоречиях. Несмотря на блеск новизны, они очень последовательно и органически выросли из европейского прошлого, хотя не только пораженные ими читатели, но и сами авторы не всегда подозревали глубоко сокрытые исторические корни тезисов и проблем, одинаково круживших головы тем и другим. Но когда эти творения попали в пределы великой Восточно-Европейской равнины, на эту культурную *tabula rasa*, какою она представлялась западноевропейскому и даже иному туземному просвещенному взгляду, эта смелая литература показалась здесь настоящим откровением свыше, своего рода новою легендарною *Голубиною книгой*, упавшею с неба после проливного дождя и дававшего простые и ясные ответы на все мудреные мировые вопросы, какие целые века мучили и сушили ум и сердце человека. В этой литературе смело ставился и разрешался и вопрос о воспитании. Новые педагогические воззрения также имели тесную связь с ходом европейского образования, хотя иногда являлись нетерпеливым и запальчивым его отрицанием. В основе этих воззрений явственно сквозили высказанные еще в конце XVII в. идеи старика Локка. Европейской культуре редко доводилось выносить такие насмешки над собой, какою была его книга о воспитании. В своих университетах и в школах поменьше и пониже она целые века громоздила сложное и с виду величественное здание школьной учености с ее мудренными доктринами, диспутами, диссертациями, теориями, цитатами, комментариями, а великий английский мыслитель, творец одной из самых глубоких теорий познания, в легкой, совсем неученой книжке повалил это громоздкое здание, возвестив, что молодому английскому джентльмену все это излишне и непригодно, а нужны ему самые простые вещи: нетолстая и нетеплая одежда, простая пища, приученные к холоду ноги, жесткая постель, свежий воздух, здравый

рассудок, знание людей и природы, привычка молиться Богу утром и вечером, правдивое сердце и тому подобные принадлежности благовоспитанного и добродетельного человека. Казалось, стоило только немножко подумать, чтобы тотчас придумать все эти умные и понятные вещи, до которых, однако, лишь теперь додумалась европейская мысль умом одного из своих величайших мыслителей. Эти идеи и советы развивались писателями XVIII в., касавшимися вопроса о воспитании. Еще в царствование Елизаветы русский образованный учитель мог прочесть у Дюкло в его известных *Considerations sur les mœurs de ce siècle* замечательные мысли: «У нас много выучки, но мало воспитания; из нас образуют ученых, всевозможных художников; но еще не надумались образовать людей, т. е. воспитывать их друг для друга, полагать общее воспитание в основу всякого частного обучения». Задачи нового воспитания поставлены были прямо: здоровое и стройное развитие физических и духовных сил человека вместо беспорядочного многоучения, благовоспитанность вместо учености, нравственный такт и живое понимание действительности взамен устарелых грамматик и риторик. Смелая педагогика! — подумаешь невольно: она шла уверенными шагами к тому, о чем только со вздохом мечтают современные родители и воспитатели в своих уединенных размышлениях. Кажется, такая смелость имела некоторое отношение ко взгляду на духовную природу человека, сложившемуся в прошлом веке и нашедшему себе блестящее философское выражение в знаменитом *Трактате об ощущениях* Кондильяка (1754 г.). Продолжая и поправляя Локка, этот философ предпринял проследить зарождение и рост духовной жизни человека от простейших чувственных восприятий до самых сложных операций духа. Этот процесс схематически изображен в виде одухотворенной статуи с готовыми действовать органами чувств, но еще без содержания. Эта живая организованная пустота постепенно наполняется, соприкасаясь со внешним миром, который возбуждает ее дремлющие чувства. Из воспринимаемых внешних впечатлений образуются ощущения и идеи, а последовательным сцеплением тех и других сплетаются все духовные состояния и отправления, из простейшего акта выходит более сложный, низшая способность производит высшую, и из этой постепенно самоосложняющейся работы чувств складывается вся жизнь человеческого духа. Став около этой пробуждающейся от первобытной летаргии статуи, педагог без труда мог сообразить, какое употребление надлежало сделать из вскрытой философом физиологии духа. Педагогии оставалось овладеть функциями этого самоодушевляющегося психологического прибора, подставить ему целесообразно подобранные внешние впечатления — и из статуи выходил готовый методологический человек, как на

заводе отливается бронзовое изображение по данной художником модели. Может быть, педагогика XVIII в. потому и была так смела, что Локк и Кондильяк так наглядно раскрыли весь процесс психологической отливки человека, а Локк к тому же построил такую художественную педагогическую модель.

Нет ничего удивительного в том, что умная и образованная женщина, вступившая на русский престол в 1762 году, поспешила подумать о воспитании юношества: кому же, прежде всего, и подумать о таком важном предмете, как не женщине умной и образованной? Екатерина очень хорошо поняла сущность новых педагогических мнений, бродивших тогда на Западе и отражавшихся в ее любимых книгах. При специальном обучении должно быть общее воспитание, подготовляющее к гражданскому обществу; это воспитание должно быть сосредоточено на разработке нравственного чувства; это дело должно взять в свои руки само государство. Такие мысли Екатерина высказала потом в своем *Наказе*. Школы, которые она нашла в России, могли только поддерживать ее помыслы и заботы об устройстве нового воспитания. Некогда Петр Великий, сидя на новопущенном корабле со своими сотрудниками, размечтался вслух о том, как науки, покинув древнюю родину Грецию, обойдут мир и, наконец, сошьют себе прочное гнездо в России. Но приюты, приготовленные им для приема наук, после его смерти, казалось, перестали ждать так радушно приглашенных им в гости всемирных странниц. В университете при Академии наук лекций не читали, но студентов секли. В Морской академии, устроенной для благородного шляхетства, училась такая беднота, которая, за неимением сапог, не могла ходить в классы. Новорожденный Московский университет едва начинал дышать и еще весь жил в своем будущем. С президентом Академии художеств И. И. Бецким, внимательно изучившим учебное дело за границей, Екатерина задумала целую систему «воспитательных училищ», которая должна была сетью покрыть всю Россию. Тому же Бецкому поручено было разработать и исполнить задуманный план. Он изложил общие начала нового воспитания в докладе под заглавием: *Генеральное учреждение о воспитании обоего пола юношества*. Эту педагогическую теорию, созданную веком и мало еще где испытанную на деле, краткая надпись *Быть по сему* превратила в простой закон Российской империи от 12 марта 1764 г. Эти общие начала потом переложены были в статьи *Устава* сухопутного корпуса 1766 г. и подробно развиты в приложенных к нему в виде руковод-

ства *Рассуждениях о установлении* корпуса, и этот ряд учено-педагогических трактатов вместе с уставом объявлен был «неподвижным законом» к точному и неременному исполнению. Казалось, никогда еще власть не подходила так близко к ученой мысли, и впервые ученая мысль становилась властью.

Воспитательный план, проведенный в этих и других педагогических трудах Бецкого, сам по себе довольно прост. Усилия и средства, потраченные со времени Петра I на обучение наукам и художествам, принесли мало добрых плодов. Причина не в недостатке способностей у народа, а в выборе не прямых путей к цели. Многие быстро и отлично успевали в науках, но еще быстрее погружались в прежнее невежество, потому что не могли или не умели ни продолжить, ни применить приобретенных знаний. Беда в том, что изучению наук не сопутствовало «добродетельное воспитание», без которого ждать прочных успехов в науках — суетная надежда, ибо опытом дознано, что «один только украшенный или просвещенный науками разум не делает еще доброго и прямого гражданина» и не предохраняет от пороков, которые делают научные успехи бесплодными и даже иногда вредными. Итак, «корень всему злу и добру — *воспитание*». Путь к цели — создать воспитанием, «так сказать, новую породу, или новых отцов и матерей», от которых бы пошли в бесконечный ряд дальнейших поколений непрерывною нитью предания правила истинной благовоспитанности. Имея в виду эту великую цель, следует завести для детей обоего пола не простые школы, а *воспитательные училища* и принимать в них детей не старше шестого года, когда в дитяти пробуждается сознание: позднее становится уже неисправим *худой нрав*, которым успело заразиться дитя. Припомним, что живую статуя Кондильяка педагогика должна захватить раньше, чем грешный внешний мир успеет начать над ней свою опасную воспитательную работу. В училище питомец безысходно остается до 20 лет, не имея ни малейшего общения с внешними людьми, даже с ближайшими родственниками выдаясь изредка только в училище, и то на глазах у начальства. Главное воспитательное средство — чтобы питомец «непрестанно взирал на подаваемые ему примеры и образцы добродетелей». Эти примеры и наставления воспитателей должны вселить в него страх божий, укрепить в сердце похвальные склонности, привить навыки к трудолюбию, благопристойности в словах и поступках, учтивости, сострадательности к бедным и несчастным, приучить к

домостроительству, к опрятности и чистоте. Таковы элементы доброго воспитания, добродетели прямого гражданина, полезного члена общества. Что касается просвещения разума науками и художествами, то выбор их надобно предоставить самому питомцу, его охоте; его душевные склонности здесь важнее всех других соображений; неволь здесь ничего не добьешься. Но благовоспитанный гражданин должен быть и здоровым, живым человеком с крепким сложением, бодрым духом и веселым нравом. Поэтому в школе должны быть чистый воздух, здоровая пища, невинные игры и забавы и не должно быть ничего, что нагоняет «скуку, задумчивость и прискорбие».

Все это было ново и непривычно для многих в прошлом веке, и вместе кажется все так легко и просто. Но прост только план дела, а не самое дело. Процесс оживления статуи легче воспроизвести психологическим анализом, чем повторить педагогическим опытом. Ставилась трудная педагогическая проблема: по мысли Бецкого, задача педагогики — в юности научить тому, что должно делать в зрелых летах. Но ведь для этого придется либо школьную юность продлить до зрелых лет, либо зрелые лета начать прежде минования юности. В первом случае питомец перерастет свою школу, а во втором — школа обгонит его рост. Следует воздать должное нашим педагогам прошлого века, подобным Бецкому: надобно было иметь много любви к людям, много веры в свое дело, чтобы взяться за разрешение такой задачи с надеждой на успех. Из всех педагогических опытов, исполненных Бецким, наиболее обдуманым является устав обновленного им сухопутного кадетского корпуса с приложенными к нему рассуждениями. Этот корпус должен был стать образцовым воспитательным учреждением, приспособленным к общественному и государственному положению русского дворянства. Посмотрим, как здесь разрешалась педагогическая задача, так смело поставленная.

Затруднение являлось при первом же шаге. Новое воспитание строилось на естественности и непринужденности, а начиналось актом не совсем естественным и довольно насильственным: 5—6-летний ребенок на целых 15 лет совершенно вырывался из семьи. Отдавая детей в корпус, родители обязывались подпиской до окончания курса не требовать их обратно «отнюдь ни под каким видом», даже во временный отпуск. Семья должна была знать свое дело — поставить в школу пустую человекообразную статую с здоровыми органами чувств и терпеливо ждать, когда школа воротит ей здорового человека с полным гуманным содержанием. Весь курс делился на пять трехлетних возрастов. В первом ребенка встречала взамен натуральной педагогическая мать в лице воспитательницы. При

комплекте возраста в 120 человек у каждой воспитательницы было по 12 питомцев; весь возраст состоял из 10 педагогических семей, только без отцов. В двух дальнейших возрастах дети становились под руководство педагогических отцов без матерей. Состав семей становился сложнее, и потому число их уменьшалось: во втором возрасте их полагалось 8 по 15 детей в каждой, в третьем — 6 по 20 детей. В двух последних возрастах дети превращались в молодых людей, и семейный строй воспитания кончался, начиналась подготовка к обществу и к службе; в пятом возрасте кадет по уставу должен был «зрело рассуждать, какое бы для себя избрать состояние в обществе на великом театре света». При переходе в четвертый возраст кадеты расходились на два отделения: одни готовились к военному званию, другие к гражданскому. Военные кадеты соединялись не в семьи, а в роты, отцы-воспитатели сменялись командирами, ротными капитанами, поручиками-инструкторами и вместе воспитателями, прапорщиками-учителями наук. У гражданских кадетов были свои руководители, общий инспектор для обоих возрастов и особые профессора-воспитатели и преподаватели для того и другого возраста.

В образовании кадетов устав строго различал воспитание и обучение, разумея под первым нравственные и практические навыки, под вторым — теоретические познания. Воспитанию отдавалось решительное предпочтение перед обучением согласно с главной целью воспитательных училищ — «не науки токмо и художества умножить в народе, но и вкоренить в нежные сердца добронравие и любовь к трудам — словом, новым воспитанием новое бытие нам даровать и новый род подданных произвести». Генерал-директор корпуса делил с особым корпусным полицеймейстером специальную должность *цензора*, или *наблюдателя нравов*, назначение которой — «внушать добродетель благородному юношеству», а учебною частью заведовал особый директор наук. Воспитатель соединял в себе двоякое значение — дядьки и преподавателя наук; но где эти значения разделялись, учительская должность ставилась ниже воспитательской. Способности устав ценит ниже нравов и прямо требует, чтобы «прилежание к наукам было умеренное». Устав назначает для изучения довольно широкий круг наук, к которым прибавляет еще 9 художеств, в том числе *изваяние и делание статуй*. Но обучение, как и весь воспитательный порядок в корпусе, он резко отличает от обыкновенного школьного. Воспитание в корпусе, по требованию руководства, должно быть больше практическое, чем теоретическое: юношество учится больше слухом и зрением, чем затверживанием уроков. Кадету предстоит исполнять, что он выучит, а не обучать других; потому изгоняются из корпуса «все метафизические материи, выучивание на-

изусть— словом, все школьнические излишества». В росписи наук по уставу значатся логика и латинский язык для желающих; но руководство сомневается в необходимости этих предметов, как и метафизики для кадетов. Из корпуса должны выходить не ученые, а воины-граждане. Поэтому научный арсенал давал только вспомогательные средства для выработки деятельных привычек, необходимых для такого житейского назначения. Главные задачи воспитания— укрепить физические силы, привить надлежащие практические навыки и нравственные наклонности. Корпусное руководство прямо предписывает «больше тело приучать к трудам, нежели принуждать разум к размышлениям и соображениям». Оно учит, что прежде всего надобно в ребенке «соорудить по правилам природы и физики» крепкое и выносливое сложение, потом вкоренить в душе его страх божий, спокойствие, самообладание, «изящные мысли», вдохнуть ненависть ко всему противному чести и добродетели и затем практически приучить юношу «об людях рассуждать и распознавать их», научить его, «что есть человек в обществе, чего требует чин, место или то состояние, в каком он находится будет, как жить с родителями, наставниками и властями», знать и усердно исполнять свой долг на всяком поприще, проходя его «с честью и с общим удовольствием». Поэтому устав в учебной программе второго возраста рядом с арифметикой и геометрией ставит особую науку— *учтивство и долг благопристойности*, а во главе программы четвертого возраста— *упражнение истинного христианина и честного человека*. Целям воспитания соответствовали и его приемы. Вся методика слагалась из чисто нравственных средств. Главное из них— добрый пример воспитателей. Но пример, нравственное влияние может действовать только при встрече с желанием подражать, с нравственною восприимчивостью. Чтобы вызвать ее, необходимы со стороны воспитателей любовь и ласка, со стороны питомцев— доверие и почтение. Воспитатели больше внушают, чем приказывают; склоняют и приучают, а не запугивают и не принуждают. Руководство порицает строгий и повелительный взгляд и голос, надутый вид воспитателя, а устав запрещает суровое обхождение с детьми и предписывает даже необходимую в военном быту строгость соединять с приятностью, «чтоб не произвести в юношах вредительных воображений страха». Выговоры следует делать детям «без свирепства и злобы»; *угрюмые педанты, свирепые школьные учителя* в воспитатели не годятся; педантство, замечает руковод-

ство, есть сущая пагуба воспитанию юношества. Бывшие прежде в практике корпуса побои безусловно воспрещаются, потому что ими, по замечанию руководства, добродетели произвести невозможно: она дочь кротости, любви и почтения к родителям, наставникам и знаемым. Устав вообще не допускает телесных наказаний в корпусе «отнюдь ни в каком случае»; кадеты не должны были ни испытывать, ни даже видеть ни таких наказаний, ни других примеров строгости. В этом отношении русский педагог превосходил даже самого Локка, который в иных случаях разрешал побои. Самый вид неволи не был терпим в заведении; по уставу никому в корпусе не позволялось ни под каким видом иметь при себе крепостных слуг. Руководство предписывает составить для корпуса особый устав о наказаниях на основании той главы *Esprit des lois* Монтескье, где главным образом карательным орудием признается собственный стыд виновного. Никогда ни в каком женском воспитательном заведении педагогика не предписывала более осторожного, заботливого и деликатного обращения с сердцем и впечатлением воспитываемого существа, чем какое предписывалось в этом сухопутном шляхетном питомнике русских офицеров-граждан. И как венец столь заботливых и человеколюбивых педагогических усилий автору руководства грезится в отдаленной житейской перспективе образ подготовленного в корпусе воина-гражданина, искусного в политической экономии и законах своего отечества, «так, чтобы генерал, одержав победу, мог решить судное дело в сенате, распорядить течение доходов, поправлять земледелие, исполнять должность генерал-полицеймейстера, чтоб из военной коллегии или другого правительственного учреждения паки мог ехать в поле предводительствовать армиею и при назначении на сии должности не было бы нужды разбирать время и особы». Очевидно, величавые фигуры Сципионов и Метеллов мелькали при этом в воображении русского педагога; может быть, мелькнули бы и фигуры Воротыньских и Пожарских, если бы недавняя московская старина была знакома ему так же, как отдаленная римская.

Остановимся одну минуту на этом великолепном педагогическом построении. В основе его явственно выступают две великие теоремы века, выражавшиеся терминами *человечество* и *добродетель*. Человечество представлялось полем деятельности для благовоспитанного сердца, добродетель — ее стимулом и содержанием. Человечество, как его понимали в XVIII веке, конечно, не может быть

практическим полем какой-либо деятельности: это наполовину историческая идея, наполовину философское умозрение; в нем больше воспоминаний и чаяний, чем практических, уловимых условий, вызывающих и направляющих какую-либо деятельность. Наши педагоги прошлого века, стараясь упростить и приблизить эту идею к конкретному пониманию, реализовали ее в понятие общества или отечества не исторической и географической России, а отвлеченного, алгебраического отечества. Точно так же и добродетель, философская добродетель XVIII века — это академическое понятие и много-много нравственный идеал. Это больше настроение, чем программа, не столько указка для воли, сколько способ измерения температуры сердца. Моралисты прошлого века, которых особенно любили наши педагоги, так и определяли добродетель как функцию сердца, а не воли, говоря, что это есть «чувство, умонаклонение к добру, любовь к человечеству». Она не задавала никаких исторически нужных и практически разрешимых задач, могла указывать направление деятельности, но не быть ее целью. Это своего рода вифлеемская звезда, которая вела волхвов, но вела не к себе самой, не была концом пути, который указывала. Отвлеченная идея человечества мучила живое историческое чутье родины, а от холодной мысли о схематической добродетели застывала живая нравственная потребность простого доброго дела. Гуманный космополит созерцал небесную механику и не замечал истории и географии, мог с размеренным вздохом скорбеть о противоречиях мироздания, даже грациозно плакать стереотипными слезами о страданиях человечества и не утереть ни одной конкретной, неопрятной слезы, встреченной на улице. В таком мирозерцании нравственное чувство разлагается в формулы, мораль заменяется кодексом правил, побуждения — принципами, как музыкальные мотивы разыгрываются в механические мускульные движения пальцев. Эти формулы, правила и принципы в прошлом веке и пытались посредством закрытого школьного воспитания разучить в благовоспитанные навыки; но так как эти навыки прививались без самых предметов, к которым они относились, то они превращались в беспредметные чувствования, в простую гимнастику сердца. Оторванная от семьи воспитательная школа ставила себе задачей научить питомцев любить и почитать родителей и знаемых, но научить любить их без них самих: для кадета Васильевского острова или для узницы Смольного монастыря родители и ближайшие знаемые, братья и сестры, на которых прежде всего

пробует свои силы маленькое детское сердце, в продолжение многолетнего педагогического плена превращались в печальные тени, бродящие где-то в полузабытой глуши Щигровского или Мокшанского уезда. Навыки в обеих системах воспитания почти одни и те же: это—привычка к труду, смирению, кротости, повиновению, сострадательности, опрятности и чистоте и даже к невысокому взгляду на книжную мудрость, научное знание, которое и Локк считал самую маловажную вещь в воспитании. Могут подумать: как? стало быть, наши педагоги надеялись по правилам Монтеня, Локка и Руссо создать новую породу людей, непохожих ни на отцов, ни на матерей, и не догадывались, что в этой репетиции шестого дня миротворения они реставрировали уже знакомых нам автоматов древней Руси, т. е. только переодевали в новенькое модное платье старую педагогическую куклу попа Сильвестра? Нет, не совсем так, и даже не следует так выражаться. Нравственные навыки, какие вырабатывались обоими воспитаниями, были довольно сходны; но они прививались не к одинаковым силам души человеческой. Древнерусская педагогика *Домостроя* выбивала автоматическую *совесть*, а педагогика XVIII века, говоря ее словами, сооружала по правилам природы и физики автоматическое *сердце* с беспредметною деятельностью, с чувством вечно действующим и ничем не питаемым. В древнерусской домашней детской старались так направить человека, чтоб он и с завязанными глазами знал, куда идти, а питомец закрытой философской школы, если б он удался, был бы похож на человека, который, вышедши из дому с желанием пройтись, не знает, куда идти, и потому вертится вокруг самого себя, не двигаясь с места.

Такое движение без цели, хотя и с направлением,—не только историческая ненужность, но и психологическая невозможность, хотя в тот век вообще расположены были вводить механику даже туда, где, казалось бы, должны действовать иные законы движения. Дидро однажды писал Екатерине II о том, как легко победить два затруднения, мешающих устройству учебного дела в России,—недостаток учебников и отсутствие подготовленных преподавателей: стоит только заказать русским академикам и иностранным ученым необходимые учебники, потом перевести их на русский язык, и тогда по ним всякий грамотный русский будет в состоянии преподавать какую угодно науку. Значит, автомат-воспитанник посредством автомата-наставника! И Бецкий предвидел оба затруднения и также надеялся легко сладить с ними; но его

надежда не оправдалась, новую породу людей сотворить не удалось, и печальным пророчеством звучит его замечание в *Рассуждениях*, что, если, «по несчастию», не найдутся дядьки и учителя, искусные в науках и способные во всем служить примером для юношества, «тщетны будут все предписания и все старания о произведении благонравия и успехов». Теперь не время рассказывать, как случилось это несчастье с русской педагогией прошлого века, как неудовлетворительно была исполнена ее воспитательная программа: пришлось бы рассказывать о затруднениях и недоразумениях, которые могут показаться не столько прискорбными, сколько забавными, а в серьезном деле воспитания ничто не должно казаться забавным. Но эта неудача имела свое историческое оправдание. Представим себе на минуту, что план Бецкого удался, что из его воспитательного училища вышли кадет или институтка, выправленные вполне по правилам его педагогики, усвоившие себе добродетель как автоматический моцион нравственного чувства: со своим сердцем, готовым обливаться кровью при виде каждого цветка, сорванного и брошенного на дороге,—что стали бы делать, как почувствовали бы себя он и она в тогдашнем русском обществе, среди тогдашних условий русской жизни? Это было бы еще не самое худшее, если б из него вышел тоскующий говорун Чацкий, кончивший решимостью искать по свету уголка, который бы приютил его бездомное оскорбленное чувство. Гораздо хуже, если б из нее вышел живой оригинал *Бедной Лизы* Карамзина, в печальной судьбе которой только и было русского, исторического, что тот пруд, в котором, по воле автора, утонуло это красивое изваяние изысканной чувствительности.

План школы Бецкого не был соображен ни с ее наличными педагогическими средствами, ни с историческим складом окружавшей ее действительности, и эта двойная несообразность, расстраивая школу, спасала общество. Программа этой школы подкупает своею задушевностью, верой в природу человека, любовью к детям и поучительна самыми своими ошибками. Она рисовала план теплицы воспитания, педагогического зимнего сада среди северного русского леса: это было излишество не по климату, культурная роскошь. Так и смотрели на школы Бецкого опытные педагоги-современники, прямо сопоставляя их с затейливыми оранжереями в тогдашних помещичьих усадьбах. Идеи, на которых они были построены, не пропали бесследно, сослужили важную службу нашему

образованию; но это было вне школы. Они воспитательнее подействовали на взрослых, чем на детей, заставив первых позаботиться и подумать о последних, о чем они не любили заботиться и думать. А ведь одна из великих заслуг педагогики в том, что она заставляет взрослых думать о детях. Педагогика—не нянька, а утренний будильник: слово дано ей не для того, чтобы, укачивая чужого ребенка, усыплять свою мысль, а для того, чтобы будить чужую. Опыт Бецкого убедил, что в деле воспитания школа не может оторваться от семьи, как опыт древней Руси показал, что школе трудно и небезопасно слиться с семьей. Семья и школа—не сожителиницы и не соперницы; это—соседки и сотрудницы. Школа не может заменить семьи, как и семья не может обойтись без школы. У той и другой свое особое воспитательное дело. В воспитании различаются два дела: одно—развитие и выправка индивидуальных особенностей, личных свойств и склонностей человека, другое—выработка общего типа, прививка тех общеобязательных правил, понятий и интересов, из которых слагается культура времени и которые делают разнохарактерные личности способными к дружному общежитию. Школа Бецкого брала на себя оба этих дела и на первом даже настаивала с особенной силой, как на своей прямой и посильной задаче. Но эта школа потому и не сделала своего дела, что бралась еще и за чужое. Школьный наставник в каждой из сорока устремленных на него пар детских глаз не может прочесть тех маленьких чувств и помыслов, от которых она вчера вечером, смотря в учебную книжку, туманилась или загоралась, не может уловить того уголка зрения, под которым она привыкает смотреть на людей и вещи; это могут подкараулить только отец и особенно мать. Под родным кровом дитя получает то, чего не может дать школа; школа должна ему дать то, чего оно не находит дома. Дома оно привыкает понимать и любить *своих*, в школе приучается жить с *чужими* и, применяя к ним привычку понимать и любить, выработанную на родных объектах, учится превращать чужих в своих *близких*. Школа Бецкого поступила прямо наоборот: вырвав ребенка из родной среды, она на близких чужих приучала его любить покинутых родных. Это очень трудно, если только возможно. Но семья никогда не откажется от своего воспитательного дела, не захочет превратиться в простую кустарную мастерскую, вырабатывающую педагогическое и рекрутское сырье для школы и казармы.

Зато в педагогических уставах и рассуждениях Бецко-

го впервые у нас если не высказывается, то с такою настойчивостью проводится правило, за которое одно отпустится ему тысяча его педагогических грехов, логических промахов и психологических недосмотров: это — требование, чтобы воспитатели относились к детям «с кротостию, учтивством и любовью», всегда хранили при них веселый вид и в них поддерживали «бодрый дух и веселый нрав». Где этого нет, там теперь не может быть никакой педагогики, никакой школы, а есть только казарма для малолетних преступников.

Таковы выводы, какие умею я извлечь из описанных воспитательных опытов; выводы более глубокие подскажут вам ваша опытность и ваша любовь к детям. Но каковы бы ни были наши педагогические опыты и наблюдения, мы не откажемся от сейчас указанного правила Бецкого: материнское чувство поддержит его даже тогда, когда в нем поколеблется отцовская мысль. В *Домострое* священника Сильвестра есть очень сильное место, где наставник убеждает детей покоить родителей в старости, не забывать труда отцова и матернего, помнить, что они никогда и ничем не сумеют заплатить своего детского долга, потому что не могут родить своих родителей, никогда не испытают для них тех болей, какими они болели за своих детей. Современные отцы и матери едва ли потребуют уплаты долга со своих детей в таких выражениях; но, по крайней мере, за мать теперь можно сказать современным детям: она готова была умереть за вас, прежде чем вы родились; вы обязаны жить для нее, пока она жива...

#### ВОСПОМИНАНИЕ О Н. И. НОВИКОВЕ И ЕГО ВРЕМЕНИ

Полтора ста лет прошло от рождения Н. И. Новикова, и идет 77-й год со дня его смерти. Теперь осталось очень мало людей, которые могли бы его лично знать и помнить. Мы можем только вспоминать о нем. Таким воспоминанием позвольте на несколько минут занять ваше благосклонное внимание. Ничего не скажу ни нового, ни даже цельного, а только из общеизвестного о Новикове напомним то, чем особенно можно и должно помянуть его.

Н. И. Новиков, собственно, не писатель, не ученый и даже не особенно образованный человек в духе своего времени, по крайней мере сам он не признавал себя ни тем, ни другим, ни этим, хотя он и писал, даже хорошо писал, и издал много ценного научного материала, и своею деятельностью много лет привлекал к себе сочувственное

и почтительное внимание всего образованного русского общества. Настоящим своим делом он считал издательство; на типографию и книжную лавку положил он лучшие силы своего ума и сердца. Типография, книжная лавка—это не просвещение, а только его орудия. Но именно как издатель и книгопродавец Новиков сослужил русскому просвещению большую службу, своеобразную и неповторенную. Нам теперь трудно представить себе типографскую и книгопродавческую деятельность, которую можно было бы сослужить такую службу. Правда, и в наше время нелегкое и немаловажное дело дать в руки простому читателю, не любителю и не ученому, полезную и приятную книгу, попасть во вкус и потребности грамотного общества; в малограмотные времена Новикова это было во много раз труднее и важнее, чем теперь. Но Новиков по-своему понимал задачи печатного станка и повел свое дело так, что в его лице русский издатель и книгопродавец стал общественной, народно-просветительной силой, и постигшая Новикова катастрофа произвела на русское образованное общество такое потрясающее впечатление, какого, кажется, не производило падение ни одной из многочисленных «случайных» звезд, появлявшихся на русском великосветском небосклоне прошлого века.

Я наперед скажу, где причина такого небывалого на Руси явления, как могло получить такое значение скромное само по себе дело. Энтузиазм частных людей к делу народного образования, соединенный с чутким пониманием его нужд и недостатков и с расчетливым выбором средств их удовлетворения и устранения,—вот что особенно вспоминаем мы, собравшись почтить воспоминанием 150-ю годовщину рождения Н. И. Новикова.

Вспоминая деятельность Новикова, я прежде всего должен говорить именно о нуждах и недостатках современного ему русского просвещения, т. е. придать своему воспоминанию несколько одностороннее направление, тенью окраску. Но тени сами собой отступают назад перед светлыми чертами, так ярко отразившимися в деятельности Новикова и его друзей, и мы получаем возможность видеть русское общество того времени с обеих сторон, лицевой и оборотной.

При мысли о Новикове невольно перебираешь в памяти целый ряд явлений в умственной и нравственной жизни русского общества с самого начала прошлого века—так тесно связана была издательская деятельность Новикова с ходом нашего просвещения, особенно с судьбою книги на Руси, с историей книжного чтения. Мы привыкли в своем

представлении соединять просвещение с книгой как с одним из главных его средств или пособий. Но в истории нашего просвещения был момент, когда средство начинало удаляться от своей цели, когда книга грозила вступить во вражду с просвещением. Этот момент был дурным перепопутем между двумя великими реформами, какие вынесло русское общество в прошлом веке, между петровскою реформой порядков и екатерининскою реформой умов. Такой разлад между средством и целью подготовлен был некоторыми туземными и заносными условиями, действовавшими на состав и направление книжного чтения, каким питалось тогдашнее грамотное общество на Руси.

В древней Руси читали много, но немногое и немногие. Этим чтением с строго ограниченным содержанием и направлением вырабатывались мастера-начетчики, которые знали свою литературу, свое *божественное писание*, как они ее называли, не хуже, чем *отче наш* или святцы. Такие начетчики не переводились у нас во весь XVIII век, не перевелись и доньше. Реформа Петра потребовала от высших служащих классов новых знаний, выходивших далеко за пределы древнерусского книжного кругозора, и заставила читать новые книги преимущественно учебного характера. Так как читали для ученья, а учились по долгу службы, то эта литература разновозрастных учебников не могла стать популярной ни в младших, ни в старших возрастах, не могла привить читателям внутренней потребности в ней, которая пережила бы ее внешнюю принудительность. Ведь любознательность ее записных потребителей поддерживалась более всего экзаменной проверкою и служебною ответственностью с энергическими последствиями той и другой, и по мере того как со смертию Петра истощались эти деятельные питатели научного огня, гасла и самая любознательность и застаивались в пыли на полках все эти повелительно втиснутые Петром в руки временнообязанных читателей Пуффендорфии, Юсты Липсии, Кугорны, Девигнолы (Виньола), Гюйгенсы, Боргсдорфы, Бухнеры с их руководствами истории, политики, артиллерии, фортификации, с книгами *мирозрения* (космография), *марсовыми*, *архитектурными*, *слюзными* и другими подобными.

Было бы, однако, несправедливо утверждать, что эта сухая учебная литература бесследно свеивалась с обязанных учебною повинностью умов льготным временем ближайших преемников и преемниц преобразователя. Немного прочных знаний и отчетливых понятий умели почер-

пнуть из нее обязательные ее читатели, а их не обязанные службой сестры не почерпали никаких, ибо и не читали ее. Но тех и других она самым появлением и видом своим приручала к книге гражданской печати, освобождала от древнерусского страха перед ней, как перед аптечной банкой, и при всей скудости извлекаемого из нее научного содержания все же мирила с ней как с неизбежным злом на службе и в общежитии. И вот приблизительно с половины царствования Елизаветы Петровны на ниву русского просвещения, все более очищавшуюся от засаженных Петром тощих цифирных и технических порослей, пал сначала редкими каплями освежительный дождь амурных песенок, усердно сочинявшихся доморощенными стихотворцами с легкой руки Сумарокова; по крайней мере современник Болотов в своих записках под 1752 г. рассказывает, что «самая нежная любовь, толико подкрепляемая нежными и любовными и в порядочных стихах сочиненными песенками, тогда получала первое только над молодыми людьми свое господствие», но таких песенок было еще очень мало, и «они были в превеликую еще диковинку», и потому молодыми барынями и девицами «с языка были не спускаемы». А за песенками полился поток назидательно-пресных мещанских трагедий и сентиментально-пикантных романов, в изобилии изготовлявшихся на Западе. Колочая литература научного знания сменилась произведениями сердца и воображения, щековавшими элементарные инстинкты, которые не нуждаются ни в подготовке, ни в поощрении. Из холодной и сухой области научной мысли перескочив прямо в распаренную наркотическую атмосферу вольного чувства и образа, светски образованные люди так живо почувствовали разницу между тою и другою средой, что наука и беллетристика, долженствующие идти об руку одна с другой к одной цели — к познанию жизни, в сознании этих людей стали непримиримыми врагами, и эти люди решили, что можно и должно вкушать сладкие плоды учения, отбрасывая его горький корень. Одногодки Новиков и Фонвизин молодостью своей попали в этот момент, и последний увековечил его в своем *Бригадире* (1766 г.) коротким и выразительным обменом мыслей между двумя образцовыми продуктами этого момента, Советницей и Иванушкой:

— Боже тебя сохрани,— говорит первая второму,— от того, чтобы голова твоя была наполнена чем иным, кроме любезных романов! Кинь, душа моя, все на свете науки. Не поверишь, как такие книги просвещают.

— Madame!— отвечает ей Иванушка.— Вы говорите правду. Я сам, кроме романов, ничего не читывал.

А какое направление преобладало в этих романах, потреблявшихся русскими советницами и Иванушками, видно из рассказа того же Фонвизина о том, как он, будучи еще студентом Московского университета, взамен гонорара за перевод басен Гольберга получил от московского книгопродавца целую кучу иностранных книг, «соблазнительных, украшенных скверными эстампами» и испортивших его воображение. Такие книги, очевидно, наиболее спрашивались тогдашнею светскою молодежью. Людям, чувствовавшим потребность порядочности, надобно было, подобно фонвизинскому Сорванцову, отговариваться в обществе, что они не ставят своего невежества себе в достоинство.

*Живописец* Новикова в 1772 г. скорбит о том, что романы раскупаются вдесятеро больше наилучших переводных книг серьезного содержания, да и было о чем скорбеть. Хороший роман служит прекрасным пособием для познания жизни тому, кто в нем ищет и находит художественное объяснение своих случайных и хаотических житейских впечатлений; для такого читателя роман— художественная иллюстрация действительности; без того и лучший роман— пустая игрушка воображения, лубочная картинка, лишенная своей истолковательницы— подписи внизу. наших читателей и читательниц роман стучал от понимания действительности, заменяя им житейские опыты и наблюдения призраками, как детям куклы заменяют живых людей; подобно пушкинской Татьяне, они «влюблялись в обманы и Ричардсона, и Руссо».

Подготовленный любовными песенками вроде сумаровских или николевских, вкус романической публики быстро изощрялся, поддерживая возбуждаемость усталого литературного аппетита. Начинали строго добродетельным семейным романом во вкусе ричардсоновой *Памелы*, продолжали романом тоже довольно добродетельным вроде *Клариссы*, но уже с участием Ловеласа, а кончали ничем не прикрытыми приключениями вроде тех эстампов, на которые жаловался Фонвизин. Самые заглавия романов вторили изощрявшимся вкусам: *Российскую Памелу или приключения Марии, добродетельной поселянки*, сменяло *Геройство любви или изображение великодушного любовника*, а затем уже прямо следовала *Генриетта или гусарское похищение* в трех частях. Так народился у нас значительно разросшийся потом класс потребителей и

особенно потребительниц романа, идиллически мечтательный род петиметров и кокеток с кисейными чувствами и «с чепухой сладких слов», как выразился некогда Княжнин о выведенном им в комедии *Чудаки* подобном продукте идиллии и романа. Жившие в России иностранцы с удивлением встречали в русском большом свете много дам и девиц, которые говорили на четырех-пяти языках, играли на разных инструментах и отлично знакомы были с произведениями известнейших романистов Франции, Англии и Италии. В этом знакомстве трудно искать любознательности, питавшей размышление. К этим дамам и девицам шло воззвание в переведенной тогда идиллии мадам Дезульер:

Овечки! ни наук, ни правил вы не зная,  
Паситесь в тишине: не нужно то для вас.

Надобно сказать правду об этой идиллической чувствительности: для массы сердец она служила только приправой чувственности, не смягчая чувства. Мамаша после обычной утренней расправы на конюшне с крестьянами и крестьянками принималась за французскую любовную книжку и откровенно объясняла по-русски все прелести любви и нежности прекрасного пола своему тринадцатилетнему сыну (*Живописец Новикова*).

Среди самого разлива этого чувственно-чувствительного чтения стало проникать в наше общество влияние просветительной философии. Может быть, нигде в Европе эта философия так наглядно, как у нас, не выказалась обеими своими сторонами, лицевой и оборотной. В нашей разреженной культуре, как в решете, сор мысли как-то сам собою отсеивался от ее зерна. После 28 июня 1762 г. у нас было немало умных и благомыслящих людей, которые, становясь у дел, понимали, чем могут воспользоваться из содержания этой философии политика, право и общежитие, и русское законодательство стало провозвестником ее зиждательных идей. Но популярную силу этой философии составляли не столько планы построения нового порядка, сколько критика существующего, приправленная насмешкой. Наша модно образованная публика особенно понятливо воспринимала это критическое направление просветительной философии, и не столько самую критику, сколько ее приправу. Подобно ночным мотылькам, которые ничего не видят при дневном свете, непривычные к размышлению умы слепо бросались на яркие парадоксы тогдашних *èsprits forts* и на них сжигали последние остатки здравого смысла, уцелевшие от романов и идиллий. Развинченное ими вольное чувство,

встретившись с вольною смеющеюся мыслью, спешило устранить все сдержки и преграды и прежде всего набросилось на простейшие нравственные связи. «Не щадить отца—вот прямая добродетель века!»—воскликает Советница в *Бригадире*, восхищенная скотским взглядом Иванушки на семейные отношения. В лице одного из героев *Чудаков*, разбогатевшего самодур-дворянина из кузнецов Лентягина, Княжнин изобразил одного из этих выращенных новым духом времени и старыми нравами русских вольнодумцев, у которых протестующий философский смех перерождался в безразборчивое зубоскальство надо всем, а отрицание предрассудков—в забвение приличий,—словом, из свободы мысли выходило озорство почуявшего волю холопского темперамента. Тогда, по свидетельству Фонвизина, составлялись кружки молодежи, все философское упражнение которых состояло в богохульстве и кощунстве. Потеряв своего бога, заурядный русский вольтеррианец не просто уходил из его храма как человек, ставший в нем лишним, а, подобно взбунтовавшемуся дворовому, норовил перед уходом набуянить, все перебить, исковеркать и перепачкать. Что еще прискорбнее, многими, если не большинством наших вольнодумцев, вольные мысли почерпались не прямо из источников—это все-таки задавало бы некоторую работу уму,—а хватались ими с ветра, доходили до них отдаленными сплетнями из вторых-третьих рук: какой-нибудь молодой Фирлюфюшков (петиметр в комедии Екатерины II *Именины госпожи Ворчалкиной*), воротясь из Парижа, проповедовал их доверчивым зевакам-сверстникам или старый высокочиновный греховодник зазывал молодежь к себе на обеды, чтобы сообщить ей последние, самые свежие, полученные из Парижа новости по части атеизма и материализма. Многим русским вольтеррианцам Вольтер был известен только по слухам как проповедник безбожия, а из трактатов Руссо до них дошло лишь то, что истинная мудрость—не знать никаких наук. С просветительною философией у нас повторилось то же, что бывало с сентиментально-назидательною беллетристикой: мать пушкинской Татьяны была от Ричардсона без ума:

Она любила Ричардсона  
 Не потому, чтобы прочла,  
 Не потому, чтоб Грандисона  
 Она Ловласу предпочла;  
 Но встарину княжна Алина,  
 Ее московская кузина,  
 Твердила часто ей об них.

Таким образом, открывалось неожиданное и печальное зрелище: новые идеи просветительной философии являлись оправданием и укреплением старого доморощенного невежества и нравственной косности. Обличительный вольтеровский смех помогал прикрывать застарелые русские язвы, не исцеляя их. Доисторические привычки и одичалые понятия, которые прежде припрятывались от глаз закона или которых стыдились перед добрыми людьми, как стыдятся неубранного домашнего сора перед гостями, теперь самодовольно выставлялись напоказ как указание или требование природы. Новые идеи нравились как скандалы, подобно рисункам соблазнительного романа. Философский смех освобождал нашего вольтерянца от законов божеских и человеческих, эмансипировал его дух и плоть, делал его недоступным ни для каких страхов, кроме полицейского, нечувствительным ни к каким угрызениям, кроме физических, — словом, этот смех становился для нашего вольнодумца тем же, чем была некогда для западного европейца папская индульгенция, снимавшая с человека всякий грех, всякую нравственную ответственность; да этот смех и сам, кажется, был преемником, едва ли даже не был *натуральным сыном* этой самой индульгенции.

При каком угодно мнении о просветительной философии можно огорчаться таким ее употреблением. Порошин рассказывает в своих записках под 1765 г., как за несколько лет до того к одному московскому дворянину нанялся француз учить его детей французскому языку; после оказалось, что этот француз был вовсе не француз, а чухонец и обучил он детей дворянина не французскому, а чухонскому языку. Нечто подобное тому, что испытал здесь французский язык, случилось у нас и с французскою философией: многие наши вольтерянцы поступили с ней совсем по-чухонски, под фирмой ее идей выдавали свои собственные темниковские или судогодские измышления и недомыслия. Еще один ветхозаветный мыслитель сказал, что и мудрое слово в устах малоумного становится безумием. Направление русских умов, таким образом воспринимавших просветительное влияние, становилось уже не усвоением европейской цивилизации, а болезненным расстройством национального смысла, не подготовленного к такому острому питанию. Привозные лекарства только растравляли старые туземные недуги, и приходилось лечить не только от болезней, но и от самого лечения.

Так книга, эта разносчица просвещения, стала ему

помехой. В обеих литературах, беллетристической и философской, ставших у нас наиболее ходячими, наш просвещенный свет особенно охотно и успешно черпал лишь чувства и идеи, малопригодные для частного, как и для общественного, блага, только соблазнявшие сердце и ум своею вольностью или недозволенностью. В то время строгие судьи видели в таком направлении мысли и вкуса только недомыслие и безвкусие, слепое увлечение и надеялись исправить грех, открыть слепцам глаза насмешкой. Случилось так, что в одно время с первою турецкою войной, с борьбой против внешних врагов европейской цивилизации русские писатели снарядили целую экспедицию против внутренних недугов русского быта и просвещения и в продолжение 5—6 лет, пока русские войска поражали турок и татар на море и на суше, русские сатирические журналы громили и доморощенные, и завозные пороки русского общества. Сама императрица с несколькими обличительными комедиями вступила волонтером в это патриотическое литературное ополчение под прозрачным вуалем всем знакомого неизвестного. Тогда двадцатипятилетним новобранцем выступил на литературно-издательском поприще и армейский поручик в отставке Н. И. Новиков, и его журналы *Трутенъ*, *Живописецъ* и *Кошелек* по смелости и меткости своей сатиры стали решительно впереди всей фаланги сатирических изданий тех годов. От журналов Новикова всего больше досталось и зараженному французским влиянием модному русскому свету; *Кошелек* даже выступил специальным партизаном против этого влияния. В журналах Новикова встречаем едва ли не самые яркие изображения типических продуктов галломании, именно русской галломании, львов и львиц тогдашнего большого света, щеголей и щеголих или столь памятных петиметров и кокеток с их кукольною выделкой и невероятным нравственным одичанием, с ходульными каблучками, буклями в виде крылышек горлицы и до облаков взбитыми прическами, с разученно нежною вскидкой взглядов, с вечными разговорами о любви и с ненавистью к наукам, к книгам, кроме тех, в которых они находили, говоря их языком, «слог расстеганный и мысли прыгающие» и которые они «фелитировали без всякой дистракции». Что же вышло из этих благородных усилий русской сатиры? Есть основание опасаться, что она больше обогатила литературу, чем исправила нравы, научила добродетели только добродетельных. В *Живописце* есть статья самого Новикова, передающая юмористическую беседу писателей в разных

родах с своими читателями. Между прочим, писателю комедий на его речи о нравственно-исправительном действии комедии читатель отвечает: «Знай, когда ты меня осмеиваешь, тогда я тебя пересмеваю». Нечто подобное, кажется, случилось и с русскою сатирой прошлого века. Даже более того: осмеиваемый шут, увидев свой карикатурный портрет на сцене или в сатирическом журнале, любовался им и хохотал не менее других зрителей. Добрая половина столичного партера, аплодировавшего комедиям Фонвизина, состояла из подлинников или живых иллюстраций его художественных карикатур, по крайней мере видела в них портреты своей близкой родни. Какою сатирой можно было донять фонвизинскую княгиню Халдину, которая любила одеваться при мужчинах, не находила ничего странного в том, что все ее дети уродились в друзей ее мужа—ведь в мужниных же друзей, а не в каких-либо иных, поймите вы это,—и которая с гордостью добродетели говорила: «Мне стыдно чего-нибудь стыдиться»? Обличение бессильно против людей, которые, по выражению древнерусского летописца, *ни бога ся боят, ни человека ся стыдят*. Удары негодующей сатиры безболезненно падали на наших великосветских щеголей и щеголих прошлого века, служа только возбуждительным массажем для их износившихся в праздной суете или залежавшихся в сентиментальной апатии нервов. Более щекотливые надувались сердито, но не исправлялись. Что касается собственно вольнодумства как особого направления мыслей, сатирические журналы тех лет касались его лишь слегка, мимоходом, вероятно, потому, что оно не успело еще выделиться в такое направление из общего хаоса распущенных речей и мыслей. Впрочем, после, когда оно стало походить несколько на особое мирозерцание, обличение и на него не оказало заметного действия.

Зло, с которым боролась сатира, было не слабостью, не простым пороком, а нечто вроде порока сердца, т. е. болезнью, пороком просвещения, а болезни лечат, не осмеивают. Уж если злоупотреблять медицинским языком, эту болезнь можно назвать анемией общественного сознания и нравственного чувства, соединенной с неестественным отношением к окружающему. Общечеловеческая культура, приносимая иноземным влиянием, воспринималась так, что не просветляла, а потемняла понимание родной действительности; непонимание ее сменялось равнодушием к ней, продолжалось пренебрежением и завершалось ненавистью или презрением. Люди считали несча-

ством быть русскими и, подобно Иванушке Фонвизина, утешались только мыслью, что хотя тела их родились в России, но души принадлежали короне французской.

Такое направление умов в высшем обществе грозило немалыми опасностями. Еще в древней Руси дворянство стало во главе русского общества как орган управления и землевладельческий класс. Петр Великий хотел упрочить и расширить это руководящее значение сословия, сделав его, по крайней мере верхний слой его — дворянство столичное, еще и проводником западноевропейского просвещения в России. Но что бы это был за руководящий класс, который не понимает руководимого им общества и даже презирает его! Он сам себя осуждал на упразднение, и тогда русское общество очутилось бы в руках провинциальных Простаковых и Скотининых с их Митрофанами и Николашками, в 18 лет едва одолевавшими азбуку (в комедии Екатерины II *О время!*).

Болезнь была тем серьезнее, что происходила не от каприза или увлечения отдельных лиц, а от причин, которые коренились в исторически сложившемся положении всего класса. Иноземное влияние не встречало надлежащей подкладки в элементарном общем образовании, которое давало бы умение воспринимать потребное, отбрасывая лишнее. Обязательная выучка дворянства совсем не давала такого образования, а модное гувернерское воспитание во многом было даже хуже простого невежества. Новая книга, попадавшая в руки взрослому просвещенному человеку, служила ему не дополнением, а заменой учебника. Новые идеи неслись поверх умов какими-то сухими туманами, застилая глаза и не освежая мысли, а только оставляя на ней сорный осадок в виде пустых фраз, дурных манер, непристойных выходов против общепринятого и т. п. Притом с освобождением от обязательной службы значительная часть дворянства поспешила избавиться от привычного, но надоевшего дела, для которого она училась, но не умела найти, да и не искала никакого нового общепольного дела, стала праздной. Деловая цель образования исчезла из глаз, и книга стала только средством приятно наполнять пустоту праздного и бесцельного существования. Этим определились направление умов и вкусов, выбор чтения и идей, характер воспитания. Привычка учиться для службы не выработала в сословии внутренней потребности образования, а отсутствие сословного дела уничтожило и общественное побуждение к тому. Наконец, тогдашний класс «просвещенных людей» составлял очень тонкий слой, который случайно

взбитую пеной вертелся на поверхности общества, едва касаясь его. Отделенный от народной массы привилегиями, нравами, понятиями, предубеждениями, не освежаемый притоком новых сил снизу, он замирал в своих искусственных, призрачных интересах и никому не нужных суетах. Не такими ли наблюдениями внушены были замечания одного иностранца (Макартнея), бывшего в России в начале царствования Екатерины II и писавшего, что русское дворянство самое необразованное в Европе, что русскому правительству труднее будет цивилизовать своих дворян, чем крестьян, и что им лучше было бы не иметь никакого образования, чем иметь такое, какое им дается, потому что оно не может сделать их полезными для общества?

Правительство Екатерины II чувствовало эти недуги русского просвещения и принимало меры против них. Отсюда его настойчивая проповедь о необходимости воспитания, которое нравственно переродило бы общество, его усиленные заботы о закрытых воспитательных заведениях, о создании «третьего чина», или среднего сословия, которое стало бы, как в других странах Европы, носителем научного образования, питомником просвещения в России. И. И. Бецкий в своих докладах императрице указывал именно на отсутствие у нас восприимчивой среды, питательной почвы, к которой могло бы прикрепиться научное образование, говорил, что люди, приобретающие такое образование, скоро теряли его и возвращались в прежнее невежество по недостатку спроса и практики для их знаний.

Эти просветительные усилия правительства не были свободны от иллюзий и недоразумений. Спешили заводить закрытые воспитательные училища. А где же учителя и учебники, где книги для чтения, которые восполняли бы учебники и учительские уроки? Как, наконец, подготовить общество к приему перерожденных в новых училищах питомцев, чтоб они не тонули в темной массе и не возвращались в прежнее невежество?

Новиков прямо и смело пошел навстречу этим усилиям и недоразумениям. Неизвестно, как складывался его взгляд на свое дело. Новиков появился в литературном мире как-то вдруг, исподтишка, без заметной подготовки. Сын достаточного, но небогатого дворянина, 16-ти лет исключенный из дворянской гимназии при Московском университете «за леность», признававший себя и в старости невеждой, не знающий никаких языков, после 8 лет службы в гвардии он вышел в отставку армейским

поручиком, а с 1769 г., когда ему было 25 лет, последовательно выступал с тремя лучшими в то время сатирическими журналами, привлек к себе обширный круг читателей, стал известным литератором и издателем, в то же время и после выпустил ряд ученых изданий по русской истории и литературе, из которых некоторые, особенно *Древняя российская вивлиофика*, сборник разнообразных памятников по русской истории, изданный при содействии Екатерины II, доселе не потеряли своей ученой цены. Из впечатлений и размышлений, накопившихся в продолжение 10-летних литературно-издательских опытов в Петербурге, у Новикова, по-видимому, сложился ясный взгляд на то, что ему следует делать. С этим взглядом он в 1779 г. переехал в Москву, заарендовал на 10 лет университетскую типографию с книжною лавкой и принялся за дело.

В 1792 г., разбитый постигнутою его бедой, Новиков на допросе произвел на враждебного ему следователя впечатление человека острого, догадливого, с характером смелым и дерзким. Бесспорно, Новиков был человек умный и решительный. Труднее было заметить в нем еще одну черту — это энтузиазм сдержанный и обдуманый. У него было два заветных предмета, на которых он сосредоточивал свои помыслы, в которых видел свой долг, свое призвание, это — служение отечеству и книга как средство служить отечеству. Если в первом сказывалась одна из лучших исторических привычек старого русского дворянства, поднимавшаяся в лучших людях сословия на высоту нравственного долга, то во взгляде на книгу надобно видеть личную доблесть Новикова. И до него бывали дворяне, посвящавшие литературе свой служебный досуг. В лице Новикова неслужащий русский дворянин едва ли не впервые выходил на службу отечеству с пером и книгой, как его предки выходили с конем и мечом. К книге Новиков относился, мало сказать, с любовью, а с какою-то верой в ее чудодейственную просветительную силу. Истина, зародившаяся в одной голове, так веровал он, посредством книги родит столько же подобных правомыслящих голов, сколько у этой книги читателей. Поэтому книгопечатание считал он наивеличайшим изобретением человеческого разума.

На этой вере в могущество книги Новиков строил практично обдуманый план действий. Этот план был тесно связан со взглядом на недостатки и нужду русского просвещения, какой просвечивает в изданиях и во всей деятельности Новикова. Один из главных врагов этого

просвещения — галломания, не само французское просвещение, а его отражение в массе русских просвещенных умов, то употребление, какое здесь из него делали. «Благородные невежды», как называл Новиков русских галломанов, сходились с простыми невеждами старорусского покроя в убеждении, что они достаточно все понимают и без науки, что, «и не учась грамоте, можно быть грамотеем». Значит, вольномыслие не от учения, а от невежества и есть не более как легкомыслие. Всякий мыслящий человек, так писал Новиков в одном из своих журналов, чувствует сострадание, взирая на простодушных людей, которые беззащитно увлекаются надменными и остроумными мудрованиями, разрушающими основы человеческого общежития, или гнушаются всем отечественным, обольщаясь наружным блеском иноземного. Истинное просвещение должно быть основано на совместном развитии разума и нравственного чувства, на согласовании европейского образования с национальной самобытностью. В составе воспитания Новиков не отставлял разума на задний план, не ронял цены научного образования, как это делали иногда литературные и даже должностные педагоги того времени. Неосторожно было набрасывать тень на разум в обществе, где и без того многие им тяготились, воздерживать от увлечения науками, которыми и без того не занимались. Когда Сумароков в речи при открытии Академии художеств восклицал: «воссияли науки — и погибла естественная простота, а с нею и чистота сердца», сколько господ Простаковых готовы были аплодировать этим желанным словам, так легко и просто разрешавшим все их материнские муки с своими Митрофанами! Ведь Руссо у нас потому особенно и был популярен, что своим трактатом о вреде наук оправдывал нашу неохоту учиться. В *Живописце* Новиков насмешливо сопоставлял мудрость доморощенных философов донаучной чистоты с учением Руссо, говоря им: «Он разумом, а вы невежеством доказываете, что науки бесполезны». Новикову принадлежит честь одного из первых, кто заговорил у нас о разграничении заимствуемого и самобытного, о черте, за которую не должно переступать иноземное влияние. В *Кошельке* 1774 г. он восстает против мнения, что русские должны заимствовать у иноземцев все, даже характер, который у всякого народа свой особый: не одной же России отказано в нем и суждено скитаться по всем странам, побираясь обычаями у разных народов чтоб из этой сборной культурной милостыни

составить характер, никакому народу не свойственный, а идущий к лицу только обезьянам.

Где же было найти у нас опору истинному просвещению? Такою опорой не мог быть большой свет ничему не хотевших учиться вольтерьянцев и модных петиметров: здесь надобно было предоставить мертвым хоронить своих мертвецов. Екатерина с Бецким задумывала отнять у всего дворянства принадлежавшее ему с Петра значение хранителя и проводника европейского научного образования и передать это значение особому «среднему сословию», подобному французской буржуазии, сделав его специальным питомником наук и художеств. Но такого сословия не существовало в России, его еще надобно было созидать. Это была радикальная мера, хлопотливая и несколько самонадеянная. В ней сказался философский XVIII век, любивший кроить общество по своим идеям. Новиков думал, что удобнее кроить платье по плечу, чем выламывать плечо по платью. Он надеялся обойтись наличными средствами, не ломая общества: ведь легче издавать полезные книги для читателей из готовых сословий, чем создавать особое сословие для чтения полезных книг. Он рассчитывал не на средний род людей, которого у нас не было, а на средний круг читателей, и его расчет состоял в том, чтобы из грамотного люда разных сословий создать читающую публику. В этой среде он находил благоприятные задатки для успехов просвещения. Он сам на себе испытал ее значение для литературы: его *Живописец* выдержал в прошлом веке пять изданий. Новиков объяснял такой успех журнала тем, что он пришелся по вкусу мещанам, ибо, добавлял он, у нас те только книги четвертыми и пятыми изданиями печатаются, которые этим простосердечным людям по незнанию ими чужестранных языков нравятся. В самом выборе чтения здесь можно было найти более просвещенного вкуса и любознательности: по словам Новикова, в числе любимых книг у мещан были *Синописис*, учебник русской истории, *Совершенное воспитание детей* и тому подобные книги, не пользовавшиеся никаким уважением просвещенных людей большого света.

«Имей душу, имей сердце»,—проповедовала гуманная педагогика века, а это была прекрасная проповедь при бездушной школьной выучке и бессердечном вертопрашестве светской мысли. Но мало сказать доброе правило, надобно еще *сотворить* и *научить*, указать, как его исполнить, и подать пример исполнения. И в деле просвещения—есть своя черновая часть. Сколько нужно понести

пыли и грязи, чтобы вырастить хлебный злак? Современный сеятель просвещения, выходя на свою ниву, находит много готовых вспомогательных средств для своего дела: не говоря о широко распространенном сознании пользы учения, о внутренней потребности образования в значительной части общества, об обильном запасе учебной и образовательной литературы, достаточно вспомнить о довольно налаженном типографском и книгопродавческом деле. Правда, в книжном деле у нас и теперь бывают прискорбные недоразумения: так, нередко книга и читатель ищут друг друга и не находят, как будто играют друг с другом в жмурки с завязанными глазами; порой появляются книги, которых некому читать, и есть охотники чтения, которым нечего читать. Во времена Новикова таких недоразумений было несравненно больше, а вспомогательных средств просвещения гораздо меньше, даже совсем мало. В единственной тогда университетской столице просвещения было всего две книжные лавки, годовой оборот которых не превышал 10 тыс. рублей; в провинции книга была редкостью и продавалась втридорога, на что жаловался сам Новиков; издательское дело велось так вяло, что не поспевало за спросом читателей простонародных романов и повестей вроде *Бовы Королевича* или *Еруслана Лазаревича*, и были отставные подьячие, кормившиеся перепиской таких произведений. Новиков видел, что надо начинать дело с самого начала, с черновых вспомогательных средств просвещения, и, надев рабочий передник, не побрезговал подойти к типографской саже и стать за пыльным прилавком книжной лавки. В обществе, где, по сознанию самого новиковского *Живописца*, даже звание писателя считалось постыдным, надобно было иметь немалую долю решимости, чтобы стать типографщиком и книжным торговцем и даже видеть в этих занятиях свое патриотическое призвание. У Новикова с энергией и предприимчивостью соединялась та добросовестность мысли, которая побуждает выбирать себе дело по наличным силам, не преувеличивая своих сил по внушениям затейливого самомнения. Этим отчасти можно объяснить его нелюбовь действовать одиноко, без товарищей. Зато он глубоко верил в могущество совокупного труда и умел соединять людей для общей цели. Именно на поприще народного образования обнаружил он это умение собирать раздробленные силы в большое дружное дело.

Московский кружок Новикова — явление, не повторившееся в истории русского просвещения. Можно радоваться, что такой кружок составил именно в Москве, где

особенно трудно было ожидать его появления. Про эту столицу русского просвещения, единственный тогда университетский город в России, Сумароков, конечно, в припадке капризного раздражения писал, что там все улицы вымощены невежеством «аршина на три толщиной». Правда, это был тогда город разнообразных крайностей. В его многочисленном дворянском обществе с довольно независимым, даже оппозиционным настроением, направляемым выброшенными из С.-Петербурга величиями, у которых прошлое было лучше будущего и которые потому бранили настоящее,—в обществе, где встречались носители всех перебивавших в России мирозерцаний от *Голубиной книги* до *Системы природы* Гольбаха и где на одном и том же пиру за менюэтом иногда следовал доморощенный трепак, среди суетливого безделья и дарового довольства нашлось десятка два большею частью богатых или зажиточных и образованных людей, которые решились жертвовать своим досугом и своими средствами, чтобы содействовать заботам правительства о народном просвещении. Некоторые из этих людей стоят биографии, и все—самого теплого воспоминания. Из них рядом с Новиковым мне бы хотелось поставить прежде других И. В. Лопухина. Чтение его записок доставляет глубокое внутреннее удовлетворение: как будто что-то проясняется в нашем XVIII в., когда всматриваешься в этого человека, который самым появлением своим обличает присутствие значительных нравственных сил, таившихся в русском образованном обществе того времени. С умом прямым, немного жестким и даже строптивым, но мягкосердечный и человеколюбивый, с тонким нравственным чувством, отвечавшим мягкому и тонкому складу его продолговатого лица, вечно сосредоточенный в работе над самим собой, он упорным упражнением умел лучшие и редкие движения души человеческой переработать в простые привычки или ежедневные потребности своего сердца. Читая его записки, невольно улыбаешься над его усилиями уверить читателя, что его любовь подавать милостыню—не добродетель, а природная страсть, нечто вроде охоты, спорта; что с детства он привык любоваться удовольствием, какое доставлял другим, и для того нарочно проигрывал деньги крепостному мальчику, приставленному служить ему; что во время его судейской службы в уголовной палате, совестном суде и Сенате сделать неправду или не возражать против нее было для него то же, что взять в рот противное кушанье,—не добродетель, а случайность, кап-

риз природы, вроде цвета волос. Все это очень напоминает красивую застенчивую женщину, которая краснеет от устремленных на нее пристальных взглядов и старается скрыть свое лицо, стыдясь собственной красоты как незаслуженного дара. Мы если не больше сочувствуем нашему высшему крепостническому обществу прошлого века, то лучше понимаем его, когда видим, что оно если не помогло, то и не помешало воспитаться в его среде человеку, который, оставаясь баринном и сторонником крепостного права, сберег в себе способность со слезами броситься в ноги своему крепостному слуге, которого он, больной, перед причащением, в припадке вспыльчивости только что разбил за неисправность. И в то время не на каждом шагу встречалась привычка во всяком Петрушке искать человека и во всяком человеке находить ближнего. А по другую сторону Новикова надобно поставить И. Г. Шварца, по выражению Новикова, немчика, с которым он, поговорив раз, на всю жизнь до самой его смерти сделался неразлучным.

Откуда-то из Трансильвании попав домашним учителем в Могилев, а оттуда в Москву на профессорскую кафедру в университете, Шварц полюбил приютившую его чужбину, как не всегда любят и родину, и посвятил ей все еще молодые силы своего ума, весь жар своего горячего сердца. Восторженный и самоотверженный педагог до тончайшей фибры своего существа, неугомонный энтузиаст просвещения, вечно горевший, как неугасимый очаг, и успевший сжечь себя дотла в 33 года жизни, Шварц будил высшее московское общество, где был желанным гостем, без умолку толкуя в знатных и образованных домах о необходимости составить общество для распространения истинного просвещения в России, будил и университетскую молодежь своими одушевленными мистическими лекциями о гармонии наук в изучении таинств природы, о связи духа и материи, о союзе между богом и человеком, о стремлении к свету и добру, к познанию божества и внутреннего человека. А для изображения С. И. Гамалеи, правителя канцелярии московского главнокомандующего, у меня не найдется и слов: хотелось бы видеть такого человека, а не вспоминать о нем. Я недоумеваю, каким образом под мундиром канцелярского чиновника, и именно русской канцелярии прошлого века, мог уцелеть человек первых веков христианства. Гамалею подобает житие, а не биография или характеристика. Сомневаюсь, сердился ли он на кого-нибудь хоть раз в свою жизнь. Во всем мире только с одним существом он

воевал непримиримо—это с своим собственным, с его пороками и страстями, и с какими страстями!—с нюханьем табаку, например, и т. п. Когда ему предложили обычную в то время награду за службу крепостными в количестве 300 душ, он отказался: ему-де не до чужих душ, когда и с своею собственной он не умеет справиться. Слуге, укравшему у него 500 руб. и пойманному, он подарил украденные деньги и самого его отпустил с богом на волю; но он не мог простить себе ежегодной траты 15 руб. на табак, которую считал похищением у бедных, и постарался победить столь преступную привычку, обратив новое сбережение на милостыню. Блаженный в лучшем смысле этого слова, которого современники справедливо прозвали «божьим человеком»! И другие члены кружка были проникнуты тем же новиковским или лопухинским духом: это были лучшие, образованнейшие люди московского общества, князья Трубецкие и Черкасский, И. П. Тургенев и другие, между которыми и Московский университет имел своих представителей в лице куратора Хераскова и нескольких профессоров. Среди этого товарищества просвещения и благотворительности радушно хозяйкой на Покровке и в подмосковном Очакове, самоотверженною пособницей и ободрительницей в каждом деле и затруднении кружка являлась царившая в нем энергичная княгиня Варвара Александровна Трубецкая, урожденная княжна Черкасская, одна из прекраснейших русских женщин прошлого века, у которой ни дух времени, ни светское образование, ни таланты и влияние на окружающих не ослабили силы и непосредственности христианского чувства. Надобно думать, что дух и состав кружка сообщали ему большую притягательную силу, если ревностным сподвижником его стал богач, скучавший жизнью от пресыщения ее благами, сын бывшего недоброй памяти петербургского генерал-полицмейстера П. А. Татищев, своим значительным вкладом давший возможность осуществить заветную мечту Шварца об основании просветительного общества; а другой богач, сын верхотурского ямщика и уральского горнозаводчика Г. М. Походяшин, тронутый речью Новикова о помощи нуждающимся в голодный 1787 г., расстроил свое огромное состояние щедрыми пожертвованиями на дела просвещения и благотворения, но, умирая в бедности, услаждал свои последние минуты тем, что с умилением смотрел на портрет Новикова как своего благодетеля, указавшего ему истинный путь жизни.

Эта нравственная сила многим членам кружка далась

не даром. Когда мы читаем признание Новикова, что он мучился сомнениями, находясь на распутье между вольтерьянством и религией, и не имел краеугольного камня, на котором мог бы основать свое душевное спокойствие, когда И. В. Лопухин рассказывает в своих записках, как он, быв усердным читателем Вольтера и Руссо и задумав распространять в рукописях свой перевод из восхитившей его *Системы природы* Гольбаха, вдруг охвачен был чувством неопisanного раскаяния, не мог заснуть прежде, нежели сжег приготовленную к пропаганде красивую тетрадку вместе с черновой, и успокоился вполне только тогда, когда написал *Рассуждение о злоупотреблении разума некоторыми новыми писателями*, когда мы читаем о подобных пароксизмах совестливой мысли, может быть, мы впервые застаем образованного русского человека в минуту тяжкого раздумья, какое ему не раз пришлось и не раз еще придется переживать впоследствии. Это раздумье, естественно, рождалось из самого положения русского образованного человека. Запоздалый работник в культурной мастерской, принужденный учиться у тех, кого должен был догонять, он уже в продолжение двух-трех поколений привык обращаться к западноевропейской мысли за советом, к общественному порядку, в котором эта мысль вырабатывалась, за опытами и уроками. Но западноевропейский разум, вырабатывавший и эту мысль, и этот порядок, в прошлом веке потянуло в противоположные стороны. Фонвизин резкими чертами изобразил это раздвоение, когда писал из Франции в 1777 г., что там при невероятном множестве способов к просвещению весьма нередко глубокое невежество с ужасным суеверием, что одни воспитываются духовенством в сильном отвращении к здравому рассудку, а другие заражаются новою философией, так что встречаются почти только крайности—или рабство, или нахальство разума. В борьбе, возникшей из этого раздвоения, европейская мысль, постепенно разгораясь и разгораясь, приняла отрицательное направление, из светоча превратилась в зажигательный факел и решительно пошла против служившего ей очагом общественного порядка. Тогда русский образованный человек, если он притом был еще и человек мыслящий, почувствовал себя в неловком положении: служивший ему образцом строй понятий, чувств, общественных отношений был осужден как неразумный. Здание отечественной гражданственности, над которым он призван был трудиться, нельзя стало продолжать ни по старым образцам, ни по новым идеалам. В

ожидании огромного крушения, не надеясь ничего найти на Западе для этой постройки, кроме раскаленной лавы да гнилых развалин, он вынужден был искать доморощенных средств. Но, видя вокруг себя умы, больше воспаленные, чем просвещенные новыми идеями, люди новиковского направления решили, что для улучшения общественного порядка каждый отдельный человек, пока не касаясь его оснований, должен обратиться к самому себе, сосредоточить работу на своей личности, на своем личном умственном и нравственном усовершенствовании, чтоб этой дробною мозаическою работою приготовить живой годный материал для будущего общества. Так понимал этих людей хорошо знакомый с ними Карамзин: он называл их христианскими мистиками, пренебрегавшими школьною мудростью, но требовавшими от своих учеников истинных добродетелей и не вмешивавшимися в политику. Та же мысль о необходимости и достаточности личного усовершенствования для подъема общественного порядка высказывалась и в любимых книгах этих людей, и в их собственных признаниях. «В школах и на кафедрах твердят: люби бога, люби ближнего, но не воспитывают той природы, коей любовь сия свойственна». Это говорит И. В. Лопухин в своих записках, настаивая на необходимости для человека морально переродиться, чтобы сродниться с евангельскою нравственностью и стать в христианские отношения к ближним, к обществу. А как эти люди считали возможным достигнуть такого перерождения и чего от него ожидали, о том читайте в книге английского моралиста Иоанна Масона о самопознании, переведенной членом кружка И. П. Тургеневым и кружку же посвященной. Эта книга учит, что, чем лучше мы себя познаем, тем с большею пользою занимаем то место в жизни человеческой, на какое мы поставлены провидением, и что успехи в науке познания самого себя сопровождаются быстрым и счастливым изменением нравов и мыслей человеческих\*. Могут сказать, что в таком взгляде много оптимистического самообольщения, что нравственный уровень обществ так же мало зависит от совершенства отдельных его членов, как мало поднимается температура окружающего воздуха от подъема ртути в термометре, который держит теплая рука. Я и не вхожу в разбор этого взгляда, а хочу только отметить момент, когда, по моему мнению, образованный русский человек впервые почувствовал затруднительность своего культур-

\* Звездочкой отмечен прокомментированный в конце книги текст.

ного положения и как он пытался выйти из этого затруднения. Опять скажут: люди новиковского кружка нашли такой выход, потому что были масоны, мартинисты, и их христианские добродетели сильно омрачены этою сектантскою тенью. Можно сказать и так, можно и наоборот: они потому стали и масонами, что нашли такой выход из своего затруднения, больше масонствовали, чем были масонами; они—воспользуемся их же фигурным языком—вступили в состав «малого избранного народа» вольных каменщиков только для того, чтобы самих себя переработать в пригодные камни для мысленного храма Соломонова, т. е. для будущего идеального русского общества. Что же касается их добродетелей, то я не берусь судить, насколько нравственная доблесть Гамалеи тускнела оттого, что он прикрывал ее от недоброжелательных людских глаз театральным рубищем какого-то масонства. Но когда я припоминаю, как отозвался о Новикове архиепископ московский Платон, испытавший его в законе божием по распоряжению императрицы и заявивший, что он молит бога, чтобы не только в его пастве, но и во всем мире были такие христиане, каков Новиков, у меня не хватает решимости искать пятен на христианстве этого мистика: ведь я не сумею быть православнее православного русского иерарха.

Вспоминая о Новикове и его сотрудниках, я хотел напомнить характер светского образования в России их времени, их взгляды на недостатки и нужды этого образования и на свойства истинного просвещения, их цели, планы и нравственные средства. Но мне едва ли необходимо подробно говорить о том, как они проводили свои взгляды, какие материальные средства вводили в свое дело, какие встретили препятствия и чего добились: все это, кажется, достаточно известно, и я могу ограничиться наиболее крупными чертами, не входя в подробности.

План действий, как он обнаружился в предприятиях кружка и по частям был высказан в записках Лопухина и изданиях Новикова, можно изложить в таких чертах. Для успеха правительственных попечений о народном просвещении необходимо содействие частных лиц, соединяющих свои силы и средства с целью споспешествовать воспитанию юношества в полезных обществу науках и издавать книги, утверждающие корень чистой нравственности и добродетели. Для этого такие общества частных людей на свои средства, во-первых, устроят пробные или образцовые учебно-воспитательные заведения, во-вторых, под-

готовляют надежных учителей и воспитателей при помощи университета и, в-третьих, разборчивым изданием книг и журналов создают самобытную, дельную печать для обширного круга читателей. Такими способами можно вывести русское просвещение из тесного круга оторванных от народа «просвещенных людей», модно воспитанного высшего дворянства, в широкий мир «простосердечных мещан», простого грамотного люда, и обдуманном сочетании общечеловеческих и национально-исторических элементов дать этому просвещению самобытный склад, который изменит дух общества, господствующее направление умов. Что было осуществлено из этого плана, который сам по себе есть уже немалая заслуга русского просвещения?

Арендуя у Московского университета типографию и книжную лавку, Новиков имел в виду прежде всего потребности домашнего и школьного образования. Он старался, во-первых, составить достаточно обильный и легкодоступный запас полезного и занимательного чтения для обширного круга читателей, во-вторых, войти в общение с университетом, чтобы воспользоваться его силами и средствами для приготовления надежных учителей. Расстроенную университетскую типографию он вскоре привел в образцовый порядок и менее чем в 3 года напечатал в ней больше книг, чем сколько вышло из нее в 24 года ее существования до поступления в руки Новикова. Он издавал книги довольно разнообразного содержания, особенно заботясь о печатании книг духовно-нравственных и учебных: в числе 366 книг, отпечатанных им до конца 1785 г., менее чем в 7 лет аренды, насчитываем около сотни изданий первого рода и более 30 учебников, разноязычных букварей, словарей, грамматик и т. п.

Новиков нашел деятельную поддержку в образовавшемся из его друзей по мысли Шварца *Дружеском ученом обществе*, которое при торжественном открытии своем в 1782 г. объявило одной из своих задач печатание и даровую раздачу учебных книг по школам. Указ 1783 г. о вольных типографиях дал возможность обществу завести две собственные типографии на имя своих членов — Новикова и Лопухина; потом, в 1784 г., завелась еще обширная компанейская типография, когда из дружеского кружка Новикова образовалось издательское товарищество на паях под фирмой *Типографской компании* со складочным капиталом в 57 500 руб. (более 150 тыс. руб. на наши деньги) и с поступившим от Новикова запасом книг на 320 тыс. руб. по продажной цене. При таких

средствах Новиков превосходно устроил сбыт книг, завел комиссионеров, вступил в сношение с петербургскими книгопродавцами и вообще чрезвычайно оживил книжную торговлю в России. Случилось неслыханное дело: книжная лавка Новикова у Воскресенских ворот по спросу ее товара стала соперничать с модными магазинами Кузнецкого моста. Вместо двух существовавших в Москве книжных лавок с оборотом в 10 тыс. руб. при Новикове и под его влиянием явилось их здесь до 20, и книг продавали они ежегодно тысяч на 200 руб. Ежегодный доход *Типографской компании*, по показанию Новикова, простирался свыше 40 тыс. руб., доходя в иные годы до 80 тыс. руб. О размерах предприятия можно судить по тому, что после закрытия компании в 1791 г., когда все дело ее было разрушено, несмотря на обширный сбыт изданных ею книг, их оставалось еще по каталожной цене без малого на 700 тыс. руб. (более 1½ млн на наши деньги), не считая 25 тыс. экземпляров книг, сожженных или переданных в духовную академию и университет.

Трудно сметить даже на глаз, какие успехи достигнуты были такими усилиями. Люди, близкие к тому времени и к самому Новикову, утверждали, что он не распространил, а создал у нас любовь к наукам и охоту к чтению; что благодаря широкой организации сбыта и энергическому ведению дела новиковская книга стала проникать в самые отдаленные захолустья и скоро не только Европейская Россия, но и Сибирь начала читать. Если частный случай что-нибудь доказывает, я приведу библиографическую подробность из своего детства: в деревенской глуши, где нецерковная книга была большой редкостью, мне попались две изданные Новиковым поэмы — *Иосиф Битобэ* и *Потерянный рай* Мильтона и вместе с альманахом Карамзина *Аглая* были в числе первых книг, мною прочитанных. Новиков хотел сделать чтение ежедневною потребностью грамотного человека и, кажется, в значительной мере достиг этого. Число подписчиков *Московских Ведомостей*, издание которых он взял на себя вместе с арендой университетской типографии, при нем увеличилось всемерно (с 600 до 4 тыс.). При них выходили прибавления разнообразного содержания: по литературе, сельскому хозяйству, натуральной истории, химии и физике, также листы для детского чтения. Не упоминаю о других московских периодических изданиях Новикова. Он был не только типографщиком и книгопродавцем, но и издателем, выбирал, что нужно печатать, заказывал работы переводчикам и сочинителям, небывалым гонораром оживил

переводную и оригинальную письменность, отдавая предпочтение произведениям научным и духовно-нравственным. Этим он внес в текущую литературу того времени новую струю, шедшую против господствовавшего направления умов и литературных вкусов тогдашнего светского общества. Книжная лавка Новикова, откуда шла эта струя, получила своеобразный вид, и в ней бывали характерные сцены: приходил покупатель, рылся в книжных новостях, разложенных на прилавке, находил все издания духовно-нравственного содержания, которых не хотел покупать, спрашивал, почему нет романов; Новиков отвечал, что переводчики что-то перестали носить ему такие сочинения, и, набрав связку книг, какие были на прилавке, просил покупателя принять их от него в дар. После сам Новиков показывал следователю об усилении спроса на духовные книги, а один из учеников Новикова писал, что целое море душеспасительных книг было им пущено против потока вольнодумческих сочинений. В продолжение 10 арендных лет издательская и книгопродавческая деятельность Новикова в Москве вносила в русское общество новые знания, вкусы, впечатления, настраивала умы в одном направлении, из разнохарактерных читателей складывала однородную читающую публику, и сквозь вызванную ею усиленную работу переводчиков, сочинителей, типографий, книжных лавок, книг, журналов и возбужденных ими толков стало пробиваться то, с чем еще незнакомо было русское просвещенное общество: это — *общественное мнение*. Я едва ли ошибусь, если отнесу его зарождение к годам московской деятельности Новикова, к этому *новиковскому десятилетию* (1779—1789). Типографщик, издатель, книгопродавец, журналист, историк литературы, школьный попечитель, филантроп, Новиков на всех этих поприщах оставался одним и тем же — сеятелем просвещения.

Это новиковское десятилетие — одна из лучших эпох и в истории Московского университета. В тот год, когда Новиков взял в аренду университетскую типографию, этот университет доживал свое первое двадцатипятилетие. Но он еще не успел закончить своего обзаведения: были аудитории и кафедры, профессора и студенты, была обстановка и личный состав науки, но сама наука с трудом пробивалась сквозь то и другое, не успела еще обжиться на новоселье. Число студентов в иные годы не доходило и до сотни; иногда на всем юридическом, как и на всем медицинском, факультете оставалось по одному студенту и по одному профессору, который читал все

науки своего факультета; студенты занимались в университете не более 100 дней в году; родной речи почти не слышно было с кафедр; люди хорошего общества еще побаивались пускаться в университет своих сыновей; благовоспитанность не всегда примечалась и порой как будто даже совсем отсутствовала. У Новикова литературная и издательская деятельность еще в Петербурге неразрывно соединялась с педагогической и благотворительной: с кружком тамошних друзей он основал два училища для бедных детей и сирот и в пользу этих школ назначил выручку от издававшегося им журнала *Утренний Свет*. Московский кружок по господствовавшему в нем направлению умов мог только усилить и расширить деятельность, начатую Новиковым в Петербурге. Главным дельцом по воспитательной части стал, разумеется, Шварц. Приготовление учителей было настоятельнейшею потребностью русского просвещения. Став профессором в 1779 г. и по поручению университета составляя учебники и проекты об улучшении преподавания, Шварц набрал у своих друзей пожертвований, присоединил к ним 5 тыс. руб. своих кровных сбережений и в конце того же года открыл при университете *учительскую семинарию*, в которой стал инспектором и начал преподавать педагогику. Так началась деятельность открывшегося позднее «Дружеского ученого общества», которое чрез епархиальных архиереев стало вызывать из духовно-учебных заведений лучших учеников, чтобы готовить их на свой счет к учительскому поприщу в университетской семинарии. Через 3 года в этой семинарии было уже до 30 стипендиатов, на содержание которых общество давало по 100 руб. на человека, купив притом дом для их помещения; в числе их находились два будущие с.-петербургские митрополита: Михаил и Серафим. Задумав переводить и издавать лучшие иностранные сочинения и желая заготовить себе хороших переводчиков, в которых чувствовался крайний недостаток, «Дружеское общество» по мысли Шварца в 1782 г. учредило при университете другую семинарию, *переводческую или филологическую*, в которую приняло 16 студентов; из них шестеро переведенных из духовных семинарий содержались на средства уже известного нам Татищева, остальные — счет других членов кружка. Лучших своих питомцев «Дружеское общество» посылало для довершения образования за границу. Заботы общества распространялись на всех студентов: им подыскивали занятия, заказывали литературные работы, переводы и статьи для изданий общества.

Студенты, преимущественно питомцы общества, были сотрудниками и даже руководителями периодических изданий Новикова — *Вечерней Зари* 1782 г. и *Покоящегося Трудюлюбца* 1784 г. Неугомонный педагог общества не ограничивался этим: ему хотелось снабдить выходящего из университета студента возможно обильнейшим запасом надобного в пути багажа. Сверх лекций в университетской аудитории об эстетической критике он читал еще у себя на дому приватный курс о видах познания и особый курс «философской истории» для семинаристов общества, к которым присоединялись и посторонние слушатели «всякого рода и звания», по выражению одного из них, так что эти домашние лекции превращались сами собой в публичные курсы. Их цель обнаруживалась в их действии: они противодействовали вольнодумству. В этом направлении, может быть, наиболее сильное влияние имело на студентов устроенное Шварцем *Собрание университетских питомцев*. Это было если не первое, то, наверно, второе в России общество, составленное из учащейся молодежи\*. Это студенческое общество имело целью образование ума и вкуса своих членов, их нравственное усовершенствование, упражнение в человеколюбивых подвигах. Студенты на заседаниях читали и обсуждали свои литературные опыты, произносили речи на моральные темы, задумывали издания с благотворительной целью. Все это, конечно, было молодо, суетливо, немножко нервозно; молодежь больше чувствовала, чем познавала науку. Но по-тогдашнему и это разве было мало? В штатных лампах науки, прежде больше декорировавших, чем освещавших университетские стены, что-то затеплилось: дайте срок — они разгорятся. Среди студентов стали зарождаться нравственная товарищеская солидарность, склонность к размышлению, некоторый навык самонаблюдения и та способность загораться от идей, которая, как фонарь впотьмах, предшествует исканию истины. Трудно проследить поприща, по которым рассыпались питомцы «Дружеского общества», как трудно уследить, куда попадали книги, которые оно рассеивало. Известно, что оно дало Московскому университету одного директора (т. е. ректора) и пять профессоров.

Так кружок Новикова стал посредником, через которого завязалось тесное нравственное общение между московским обществом и Московским университетом. Эта связь не прервалась с исчезновением связующего звена, поддерживаемая взаимным нравственным тяготением и обоюдными научными услугами. Общество дало универси-

тету несколько профессоров, ожививших университетское преподавание. Университет с своей стороны немного позднее воспитал в своих аудиториях профессоров, ожививших общественную мысль и не раз собиравших московское общество на студенческих скамьях. Нет нужды напоминать всем памятные имена их. Кажется, университет не остался в долгу перед обществом. Да и зачем им сводить счеты между собою? Ведь они оба будут тем богаче, чем больше задолжают друг другу.

## НЕДОРОСЛЬ ФОНВИЗИНА

(Опыт исторического объяснения учебной пьесы)

Добрый дядя Стародум в усадьбе Простаковых, застав свою благонравную племянницу Софью за чтением Фенелона трактата о воспитании девиц, сказал ей:

— Хорошо. Я не знаю твоей книжки; однако читай ее, читай! Кто написал Телемака, тот пером своим нравов развращать не станет.

Можно ли применить такое суждение к самому *Недорослю*? Современному воспитателю или воспитательнице трудно уследить за той струей впечатлений, какую вбирают в себя их воспитанники и воспитанницы, читая эту пьесу. Могут ли они с доверчивостью дяди Стародума сказать этим впечатлительным читателям, увидев у них в руках *Недоросля*: «хорошо, читайте его, читайте; автор, который устами дяди Стародума высказывает такие прекрасные житейские правила, пером своим нравов развращать не может». *Имей сердце, имей душу, и будешь человек во всякое время. Ум, коль он только что ум, самая безделица; прямую цену уму дает благонравие. Главная цель всех знаний человеческих—благонравие.* Эти сентенции повторяются уже более ста лет со времени первого представления *Недоросля* и хотя имеют вид нравоучений, заимствованных из детской прописи, однако до сих пор не наскучили, не стали приторными наперекор меткому наблюдению того же Стародума, что «всечасное употребление некоторых прекрасных слов так нас с ними знакомит, что, выговаривая их, человек ничего уже не мыслит, ничего не чувствует». Но кроме прекрасных мыслей и чувств Стародума, Правдина, Софьи, поучающих прямо своим простым, всем открытым смыслом, в комедии есть еще живые лица с своими страстями, интригами и пороками, которые ставят их в сложные, запутанные положения. Нравственный смысл этих драма-

тических лиц и положений не декламируется громко на сцене, даже не нашептывается из суфлерской будки, а остается за кулисами скрытым режиссером, направляющим ход драмы, слова и поступки действующих лиц. Можно ли ручаться, что глаз восприимчивого молодого наблюдателя доберется до этого смысла разыгрываемых перед ним житейских отношений и это усилие произведет на него надлежащее воспитательное действие, доставит здоровую пищу его эстетическому ощущению и нравственному чувству? Не следует ли стать подле такого читателя или зрителя *Недоросля* с осторожным комментарием, стать внятным, но не навязчивым суфлером?

*Недоросль* включается в состав учебной хрестоматии русской литературы и не снят еще с театрального репертуара. Его обыкновенно дают в зимнее каникулярное время, и, когда он появляется на афише, взрослые говорят: это — спектакль для гимназистов и гимназисток. Но и сами взрослые охотно следуют за своими подростками под благовидным прикрытием обязанности проводников и не скучают спектаклем, даже весело вторят шумному смеху своих несовершеннолетних соседей и соседок.

Можно без риска сказать, что *Недоросль* доселе не утратил значительной доли своей былой художественной власти ни над читателем, ни над зрителем, несмотря ни на свою наивную драматическую постройку, на каждом шагу обнаруживающую нитки, которыми сшита пьеса, ни на устарелый язык, ни на обветшавшие сценические условности екатерининского театра, несмотря даже на разлитую в пьесе душистую мораль оптимистов прошлого века. Эти недостатки покрываются особым вкусом, какой приобрела комедия от времени и которого не чувствовали в ней современники Фонвизина. Эти последние узнавали в ее действующих лицах своих добрых или недобрых знакомых; сцена заставляла их смеяться, негодовать или огорчаться, представляя им в художественном обобщении то, что в конкретной грубости жизни они встречали вокруг себя и даже в себе самих, что входило в их обстановку и строй их жизни, даже в их собственное внутреннее существо, и чистосердечные зрители, вероятно, с горестью повторяли про себя добродушное и умное восклицание Простакова-отца: «Хороши мы!» Мы живем в другой обстановке и в другом житейском складе; те же пороки в нас обнаруживаются иначе. Теперь вокруг себя мы не видим ни Простаковых, ни Скотининых, по крайней мере с их *тогдашними* обличиями и замашками; мы вправе не узнавать себя в этих неприятных фигурах.

Комедия убеждает нас воочию, что такие чудовища могли существовать и некогда существовали действительно, открывает нам их в подлинном первобытном их виде, и это открытие заставляет нас еще более ценить художественную пьесу, которая их увековечила. В наших глазах пьеса утратила свежесть новизны и современности, зато приобрела интерес художественного памятника старины, показывающего, какими понятиями и привычками удобрена та культурная почва, по которой мы ходим и злаками которой питаемся. Этого исторического интереса не могли замечать в комедии современники ее автора: смотря ее, они не видели нас, своих внуков; мы сквозь нее видим их, своих дедов.

Что смешно в Недоросле, и одно ли и то же смешит в нем разные возрасты? Молодежь больше всего смеется, разумеется, над Митрофаном, героем драмы, неистощимым предметом смеха, нарицательным именем смешной несовершеннолетней глупости и учащегося невежества. Но да будет позволено немного заступиться за Митрофана: он слишком засмеян. Правда, он смешон, но не всегда и даже очень редко, именно только в лучшие минуты своей жизни, которые находят на него очень нечасто. В комедии он делает два дела: *размышляет*, чтобы выпутаться из затруднений, в которые ставит его зоологическая любовь матери, и *поступает*, выражая в поступках свои обычные чувства. Забавны только его размышления, а поступки — нисколько. По мысли автора, он дурак и должен рассуждать по-дурацки. Тут ничего смешного нет; грешно смеяться над дураком, и кто это делает, тот сам становится достойным предметом своего смеха. Однако на деле Митрофан размышляет по-своему находчиво и умно, только недобросовестно и потому иногда невпопад, размышляет не с целью узнать истину или найти прямой путь для своих поступков, а чтобы только вывернуться из одной неприятности, и потому тотчас попадает в другую, чем и наказывает сам себя за софистическое коварство своей мысли. Это самонаказание и вызывает вполне заслуженный смех. Он забавен, когда, объевшись накануне и для избежания неприятности учиться, он старается преувеличить размеры и дурные следствия своего обжорства, даже подличает перед матерью, чтобы ее разжалобить; но, увертываясь от учителя, он подвергает себя опасности попасть в руки врача, который, разумеется, посадит его на диету, и, чтобы отклонить от себя эту новую напасть, сообразительно отвечает на предложение испугавшейся его болезни матери послать за доктором:

«Нет, нет, матушка, я уж лучше сам выздоровлю»,— и убегает на голубятню. Он очень забавен со своей оригинальной теорией грамматики, со своим очень бойко и сообразительно изобретенным учением о двери существительной и прилагательной, за какое изобретение умные взрослые люди, его экзаменовавшие торжественно, с митрофановским остроумием награждают его званием дурака. Но чувства и направляемые ими поступки Митрофана вовсе не смешны, а только гадки. Что смешного в омерзительной жалости, такая проняла объевшегося 16-летнего шалопаю—в его тяжелом животном сне—при виде матери, уставшей колотить его отца? Ничего смешного нет и в знаменитой сцене ученья Митрофана, в этом бесподобном, безотраднo печальном квартете бедных учителей, ничему научить не могущих, мамыши, в присутствии учащегося сынка с вязанием в руках ругающейся над ученьем, и разбираемого охотой жениться сынка, в присутствии матери ругающегося над своими учителями? ...Если современный педагог так не настроит своего класса, чтобы он не смеялся при чтении этой сцены, значит, такой педагог плохо владеет своим классом, а чтобы он был в состоянии сам разделять смех, об этом страшно и подумать. Для взрослых Митрофан вовсе не смешон; по крайней мере над ним очень опасно смеяться, ибо митрофановская порода мстит своей плодовитостью. Взрослые, прежде чем потешаться над глупостью или пошлостью Митрофана, пусть из глубины ложи представят себе свою настоящую или будущую детскую или взглянут на сидящих тут же, на передних стульях птенцов своих, и налетевшая улыбка мгновенно слетит с легкомысленно веселого лица. Как Митрофан сам себя наказывает за свои сообразительные глупости заслуженными напастями, так и насмешливый современный зритель сценического Митрофана может со временем наказать себя за преждевременный смех не театральными, а настоящими, житейскими и очень горькими слезами. Повторяю, надобно осторожно смеяться над Митрофаном, потому что Митрофаны мало смешны и притом очень мстительны, и мстят они неудержимой размножаемостью и неуловимой пронизательностью своей породы, родственной насекомым или микробам.

Да я и не знаю, кто смешон в *Недоросле*. Г-н Простаков? Он только неумный, совершенно беспомощный бедняга, не без совестливой чуткости и прямоты юродивого, но без капли воли и с жалким до слез избытком трусости, заставляющей его подличать даже перед

своим сыном. Тарас Скотинин также мало комичен: в человеке, который сам себя охарактеризовал известным домашним животным, которому сама родная сестрица нежно сказала в глаза, что хорошая свинья ему нужнее жены, для которого свинной хлев заменяет и храм наук, и домашний очаг,— что комичного в этом благородном российском дворянине, который из просветительного соревнования с любимыми животными доцивилизовался до четверенек? Не комична ли сама хозяйка дома, госпожа Простакова, урожденная Скотинина? Это лицо в комедии необыкновенно удачно задуманное психологически и превосходно выдержанное драматически: в продолжение всех пяти актов пьесы с крепколобым, истинно скотининским терпением ни разу она не смигнула с той жестокой физиономии, какую приказал ей держать безжалостный художник во все время неторопливого сеанса, пока рисовал с нее портрет. Зато она и вдвойне некомична: она глупа и труслива, т. е. жалка,— по мужу, как Простакова, безбожна и бесчеловечна, т. е. отвратительна,— по брату, как Скотинина. Она вовсе не располагает к смеху; напротив, при одном виде этой возмутительной озорницы не только у ее забитого мужа, но и у современного зрителя, огражденного от нее целым столетием, начинает мутиться в глазах и колеблется вера в человека, в ближнего.

В комедии есть группа фигур, предводительствуемая дядей Стародумом. Они выделяются из комического персонала пьесы: это—благородные и просвещенные резонеры, академики добродетели. Они не столько действующие лица драмы, сколько ее моральная обстановка: они поставлены около действующих лиц, чтобы своим светлым контрастом резче оттенить их темные физиономии. Они выполняют в драме назначение, похожее на то, какое имеют в фотографическом кабинете ширмочки, горшки с цветами и прочие приборы, предназначенные регулировать свет и перспективу. Таковы они должны быть по тогдашней драматической теории; может быть, таковы они были и по плану автора комедии; но не совсем такими представляются они современному зрителю, не забывающему, что он видит перед собой русское общество прошлого века. Правда, Стародум, Милон, Правдин, Софья не столько живые лица, сколько моралистические манекены; но ведь и их действительные подлинники были не живее своих драматических снимков. Они наскоро затверживали и, запинаясь, читали окружающим новые чувства и правила, которые кой-как прилаживали к своему внутреннему

существо, как прилаживали заграничные парики к своим щетинистым головам; но эти чувства и правила так же механически прилипали к их доморощенным, природным понятиям и привычкам, как те парики к их головам. Они являлись ходячими, но еще безжизненными схемами новой, хорошей морали, которую они надевали на себя как маску. Нужны были время, усилие и опыты, чтобы пробудить органическую жизнь в этих, пока мертвенных, культурных препаратах, чтобы эта моралистическая маска успела вращаться в их тусклые лица и стать их живой нравственной физиономией. Где, например, было взять Фонвизину живую благовоспитанную племянницу Софью, когда такие племянницы всего лет за 15 до появления *Недоросля* только еще проектировались дядюшкой Бецким в разных педагогических докладах и начертаниях, когда учрежденные с этой целью воспитательные общества для благородных и мещанских девиц по его заказу лепили еще первые, пробные образчики новой благовоспитанности, а сами эти девицы, столь заботливо задуманные педагогически, подобно нашей Софье, только еще садились за чтение Фенелоновых и других трактатов о своем собственном воспитании? Художник мог творить только из материала, подготовленного педагогом, и Софья вышла у него свежеизготовленной куколкой благонравия, от которой веет еще сыростью педагогической мастерской. Таким образом, Фонвизин остался художником и в видимых недостатках своей комедии, не изменил художественной правде и в самых своих карикатурах: он не мог сделать живые лица из ходячих мертвецов или туманных привидений, но изображенные им светлые лица, не становясь живыми, остаются действительными лицами, из жизни взятыми явлениями.

Да и так ли они безжизненны, как привыкли представлять их? Как новички в своей роли, они еще нетвердо ступают, сбиваются, повторяя уроки, едва затверженные из Лябрюйера, Дюкло, Наказа и других тогдашних учебников публичной и приватной морали; но как новообращенные, они немного заносчивы и не в меру усердны. Они еще сами не насмотрятся на свой новенький нравственный убор, говорят так развязно, самоуверенно и самодовольно, с таким вкусом смакуют собственную академическую добродетель, что забывают, где они находятся, с кем имеют дело, и оттого иногда попадают впросак, чем усиливают комизм драмы. Стародум, толкующий госпоже Простаковой пользу географии тем, что в поездке с географией знаешь, куда едешь,— право, не менее и не

более живое лицо, чем его собеседница, которая с обычной своей решительностью и довольно начитанно возражает ему тонким соображением, заимствованным из одной повести Вольтера: «Да извозчики-то на что ж? Это их дело». Умные, образованные люди так самодовольно потешаются над этим обществом грубых или жалких дикарей, у которых они в гостях, даже над такими петыми дураками, какими они считают Митрофана и Тараса Скотинина,— что последний обнаружил необычную ему зоркость, когда спросил, указывая на одного из этих благородных гостей, Софьиного жениха: «Кто ж из нас смешон? Ха, ха, ха!» Сам почтенный дядя Стародум так игриво настроен, что при виде подравшихся в кровь брата и сестрицы, к которой в дом он только что приехал, не мог удержаться от смеха и даже засвидетельствовал самой хозяйке, что он отроду ничего смешнее не видывал, за что и был заслуженно оборван ее замечанием, что это, сударь, вовсе и не смешно. Во всю первую сцену пятого акта тот же честным трудом разбогатевший дядя Стародум и чиновник наместничества Правдин важно беседуют о том, как незаконно угнетать рабством себе подобных, какое удовольствие для государей владеть свободными душами, как льстецы отвлекают государей от связи истины и уловляют их души в свои сети, как государь может сделать людей добрыми: стоит только показать всем, что без благонравия никто не может выйти в люди и получить место на службе, и «тогда всякий найдет свою выгоду быть благонравным и всякий хорош будет». Эти добрые люди, рассуждавшие на сцене перед русской публикой о таких серьезных предметах и изобретавшие такие легкие средства сделать всех людей добрыми, сидели в одной из наполненных крепостными людьми усадеб многочисленных господ Простаковых, урожденных Скотининых, с одной из которых насилу могли справиться оба они, да и то с употреблением оружия офицера, проходившего мимо со своей командой. Внимая этим собеседникам, точно слушаешь веселую сказку, уносившую их из окружавшей их действительности «за тридевять земель, за тридесятое царство», куда заносила Митрофана обучавшая его «историям» скотница Хавронья. Значит, лица комедии, призванные служить формулами и образцами добронравия, не лишены комической живости.

Все это — фальшивые ноты не комедии, а самой жизни, в ней разыгранной. Эта комедия — бесподобное зеркало. Фонвизину в ней как-то удалось стать прямо перед русской действительностью, взглянуть на нее про-

сто, непосредственно, в упор, глазами, не вооруженными никаким стеклом, взглядом, не преломленным никакими точками зрения, и воспроизвести ее с безотчетностью художественного понимания. Срисовывая, что наблюдал, он, как испытанный художник, не отказывался и от творчества; но на этот раз и там, где он надеялся творить, он только копировал. Это произошло оттого, что на этот раз поэтический взгляд автора сквозь то, что казалось, проник до того, что действительно происходило; простая, печальная правда жизни, прикрытая бьющими в глаза миражами, подавила шаловливую фантазию, обыкновенно принимаемую за творчество, и вызвала к действию высшую творческую силу зрения, которая за видимыми для всех призрачными явлениями умеет разглядеть никем не замечаемую действительность. Стекло, которое достигает до невидимых простым глазом звезд, сильнее того, которое отражает занимающие досужих зрителей блуждающие огоньки.

Фонвизин взял героев *Недоросля* прямо из житейского омута, и взял, в чем застал, без всяких культурных покрытий, да так и поставил их на сцену со всей неурядицей их отношений, со всем содомом их неприбранных инстинктов и интересов. Эти герои, выхваченные из общественного толока для забавы театральной публики, оказались вовсе не забавны, а просто нетерпимы ни в каком благоустроенном обществе: автор взял их на время для показа из-под полицейского надзора, куда и поспешил возвратить их в конце пьесы при содействии чиновника Правдина, который и принял их в казенную опеку с их деревнями. Эти незабавные люди, задумывая преступные вещи, туда же мудрят и хитрят, но, как люди глупые и растерянные, к тому же до самозабвения злые, они сами вязнут и топят друг друга в грязи собственных козней. На этом и построен комизм *Недоросля*. Глупость, коварство, злость, преступление вовсе не смешны сами по себе; смешно только глупое коварство, попавшее в собственные сети, смешна злобная глупость, обманувшая сама себя и никому не причинившая задуманного зла. *Недоросль*—комедия не лиц, а положений. Ее лица комичны, но не смешны, комичны как роли, и вовсе не смешны как люди. Они могут забавлять, когда видишь их на сцене, но тревожат и огорчают, когда встречаешь вне театра, дома или в обществе. Фонвизин заставил печально-дурных и глупых людей играть забавно-веселые и часто умные роли. В этом тонком различении людей и ролей художественное мастерство его *Недоросля*; в нем же источник

того сильного впечатления, какое производит эта пьеса. Сила впечатления в том, что оно составляется из двух противоположных элементов: смех в театре сменяется тяжелым раздумьем по выходе из него. Пока разыгрываются роли, зритель смеется над положениями себя переживавшей и самое себя наказывающей злой глупости. Но вот кончилась игра, ушли актеры, и занавес опустился — кончился и смех. Прошли забавные положения злых людей, но люди остались, и, из душного марева электрического света вырвавшись на пронизывающую свежесть уличной мглы, зритель с ущемленным сердцем припоминает, что эти люди остались и он их встретит вновь прежде, чем они попадутся в новые заслуженные ими положения, и он, зритель, запутается с ними в их темные дела, и они сумеют наказать его за это раньше, чем успеют сами наказать себя за свою же переживавшую себя злую глупость.

В *Недоросле* показана зрителю зажиточная дворянская семья екатерининского времени в невообразимо хаотическом состоянии. Все понятия здесь опрокинуты вверх дном и исковерканы; все чувства выворочены наизнанку; не осталось ни одного разумного и добросовестного отношения; во всем гнет и произвол, ложь и обман и круговое, поголовное непонимание. Кто сильнее, гнетет; кто послабее, лжет и обманывает, и ни те ни другие не понимают, для чего они гнетут, лгут и обманывают, и никто не хочет даже подумать, почему они этого не понимают. Жена-хозяйка вопреки закону и природе гнетет мужа, не будучи умнее его, и ворочает всем, т. е. все переворачивает вверх дном, будучи гораздо его нахальнее. Она одна в доме лицо, все прочие — безличные местоимения, и когда их спрашивают, кто они, робко отвечают: «Я — женин муж, а я — сестрин брат, а я — матушкин сын». Она ни в грош не ставит мнение мужа и, жалуясь на господу, ругается, что муж на все смотрит ее глазами. Она заказывает кафтан своему крепостному, который шить не умеет, и беснуется, негодуя, почему он не шьет как настоящий портной. С утра до вечера не дает покоя ни своему языку, ни рукам, то ругается, то дерется: «тем и дом держится», по ее словам. А держится он вот как. Она любит сына любовью собаки к своим щенятам, как сама с гордостью характеризует свою любовь, поощряет в сыне неуважение к отцу, а сын, 16-летний детина, платит матери за такую любовь грубостью скотины. Она позволяет сыну объедаться до желудочной тоски и уверена, что воспитывает его, как повелевает родительский долг. Свято

храня завет своего великого батюшки воеводы Скотинина, умершего с голоду на сундуке с деньгами и при напоминании об учении детей кричавшего: «Не будь тот Скотинин, кто чему-нибудь учиться захочет», верная фамильным традициям дочь ненавидит науку до ярости, но бестолково учит сына для службы и света, твердя ему: «Век живи, век учись», и в то же время оправдывает его учебное отвращение неопытным намеком на полагаемую ею конечную цель образования: «Не век тебе, моему другу, учиться: ты благодаря бога столько уже смыслишь, что и сам взведешь деточек». Самый дорогой из учителей Митрофана, немец, кучер Вральман, подрядившийся учить всем наукам, не учит ровно ничему и учить не может, потому что сам ничего не знает, даже мешает учить другим, оправдывая перед матерью свою педагогику тем, что головушка у ее сына гораздо слабее его брюха, а и оно не выдерживает излишней набивки; и за это доступное материнско-простаковскому уму соображение Вральман—единственный человек в доме, с которым хозяйка обращается прилично, даже с посильным для нее уважением. Обобрав все у своих крестьян, госпожа Простакова скорбно недоумевает, как это она уже ничего с них содрать не может—такая беда! Она хвастается, что приютила у себя сиротку-родственницу со средствами, и исподтишка обирает ее. Благодетельница хочет пристроить эту сиротку Софью за своего братца без ее спроса, и тот не прочь от этого не потому, что ему нравится «девчонка», а потому, что в ее деревеньках водятся отличные свиньи, до которых у него «смертная охота». Она не хочет верить, чтобы воскрес страшный ей дядя Софы, которого она признала умершим только потому, что уж несколько лет поминала его в церкви за упокой, и рвет и мечет, готова глаза выцарапать всякому, кто говорит ей, что он и не умирал. Но самодур-баба—страшная трусиха и подличает перед всякой силой, с которой не надеется справиться,—перед богатым дядей Стародумом, желая устроить нечаянно разбогатевшую братнину невесту за своего сына; но когда ей отказывают, она решается обманом насильно обвенчать ее с сыном, т. е. вовлечь в свое безбожное беззаконие самую церковь. Рассудок, совесть, честь, стыд, приличие, страх божий и человеческий—все основы и скрепы общественного порядка горят в этом простаковско-скотининском аду, где черт—сама хозяйка дома, как называет ее Стародум, и когда она наконец попалась, когда вся ее нечестивая паутина разорвана была метлой закона, она,

бросившись на колени перед его блюстителем, отпеваает свою безобразную трагедию, хотя и не гамлетовским, но гартюфовским эпилогом в своей урожденной редакции: «Ах, я собачья дочь! Что я наделала!» Но это была минутная растерянность, если не было притворство: как только ее простили, она спохватилась, стала опять сама собой, и первою мыслью ее было перепороть насмерть всю дворню за свою неудачу, и, когда ей заметили, что тиранствовать никто не волен, она увековечила себя знаменитым возражением:

— Не волен! Дворянин, когда захочет, и слуги высечь не волен! Да на что ж дан нам указ о вольности дворянства?

В этом все дело. «Мастерица толковать указы!» — повторим и мы вслед за Стародумом. Все дело в последних словах госпожи Простаковой; в них весь смысл драмы и вся драма в них же. Все остальное — ее сценическая или литературная обстановка, не более; все, что предшествует этим словам, — их драматический пролог; все, что следует за ними, — их драматический эпилог. Да, госпожа Простакова мастерица толковать указы. Она хотела сказать, что закон оправдывает ее беззаконие. Она сказала бессмыслицу, и в этой бессмыслице весь смысл *Недоросля*; без нее это была бы комедия бессмыслиц. Надобно только в словах госпожи Простаковой уничтожить знаки удивления и вопрос, переложить ее несколько патетическую речь, вызванную тревожным состоянием толковательницы, на простой логический язык, и тогда ясно обозначится ее неблагополучная логика. Указ о вольности дворянства дан на то, чтобы дворянин волен был сечь своих слуг, когда захочет. Госпожа Простакова, как непосредственная, наивная дама, понимала юридические положения только в конкретных, практических приложениях, каковым в ее словах является право произвольного сечения крепостных слуг. Возводя эту подробность к ее принципу, найдем, что указ о вольности дворянства дан был на права дворян и ничего, кроме прав, т. е. никаких обязанностей, на дворян не возлагал, по толкованию госпожи Простаковой. Права без обязанностей — юридическая нелепость, как следствие без причины — нелепость логическая; сословие с одними правами без обязанностей — политическая невозможность, а невозможность существовать не может. Госпожа Простакова возомнила русское дворянство такою невозможностью, т. е. взяла да и произнесла смертный приговор сословию, которое тогда вовсе не собиралось умирать и здравствует доселе. В этом и состояла ее бессмыслица.

Но дело в том, что, когда этот знаменитый указ Петра III был издан, очень многие из русских дворян подняли руки на свое сословие, поняли его так же, как поняла госпожа Простакова, происходившая из «великого и старинного» рода Скотининых, как называет его сам ее брат, сам Тарас Скотинин, по его же уверению, «в роде своем не последний». Я не могу понять, для чего Фонвизин допустил Стародума и Правдина в беседе со Скотининым трунить над стариной рода Скотининых и искушать генеалогическую гордость простака Скотинина намеком, что пращур его, пожалуй, даже старше Адама, «создан хоть в шестой же день, да немного попрежде Адама», что Софья потому и не пара Скотинину, что она дворянка: ведь сама комедия свидетельствует, что Скотинин имел деревню, крестьян, был сын воеводы, значит, был тоже дворянин, даже причислялся по табели о рангах к «лучшему старшему дворянству во всяких достоинствах и аванжажах», а потому пращур его не мог быть создан в одно время с четвероногими. Как это русские дворяне прошлого века спустили Фонвизину, который сам был дворянин, такой неловкий намек? Можно сколько угодно шутить над юриспруденцией госпожи Простаковой, над умом г. Скотинина, но не над их предками: шутка над скотининской генеалогией, притом с участием библейских сказаний, со стороны Стародума и Правдина, т. е. Фонвизина, была опасным, обоюдоострым оружием; она напоминает комизм Кутейкина, весь построенный на пародировании библейских терминов и текстов,—неприятный и ненадежный комический прием, едва ли кого забавить способный. Это надобно хорошенько растолковать молодежи, читающей *Недоросля*, и истолковать в том смысле, что здесь Фонвизин не шутил ни над предками, ни над текстами, а только по-своему обличал людей, злоупотребляющих теми и другими. Эту шутку может извинить если не увлечение собственным остроумием, то негодование на то, что Скотинины слишком мало оправдывали свое дворянское происхождение и подходили под жестокую оценку того же Стародума, сказавшего: «Дворянин, недостойный быть дворянином, подлее его ничего на свете не знаю». Негодование комика вполне понятно: он не мог не понимать всей лжи и опасности взгляда, какой усвоили многие дворяне его времени на указ о вольности дворянства, понимая его, как он истолковывался в школе простаковского правоведения. Это толкование было ложно и опасно, грозило замутить юридический смысл и погубить политическое положение руководящего сословия русского общества.

Дворянская вольность по указу 1762 г. многими понята была как увольнение сословия от всех специальных сословных обязанностей с сохранением всех сословных прав. Это была роковая ошибка, вопиющее недоразумение. Совокупность государственных обязанностей, лежавших на дворянстве как сословию, составляла то, что называлось его *службой* государству. Знаменитый манифест 18 февраля 1762 г. гласил, что дворяне, находящиеся на военной или гражданской службе, могут оную продолжать или выходить в отставку по своему желанию, впрочем, с некоторыми ограничениями. Ни о каких новых правах над крепостными, ни о каком сечении слуг закон не говорил ни слова; напротив, прямо и настойчиво оговорены были некоторые обязанности, оставшиеся на сословию, между прочим, установленное Петром Великим обязательное обучение: «чтобы никто не дерзал без учения пристойных благородному дворянству наук детей своих воспитывать под тяжким нашим гневом». В заключение указа вежливо выражена *надежда*, что дворянство не будет уклоняться от службы, но с ревностью в оную вступать, не меньше и детей своих с прилежностью обучать благопристойным наукам, а впрочем, тут же довольно сердито прибавлено, что тех дворян, которые не будут исполнять обеих этих обязанностей, как людей нерадивых о добре общем *повелевается* всем верноподданным «презирать и уничтожать» и в публичных собраниях не терпеть. Как можно было еще сказать яснее этого, и где тут *вольность*, полное увольнение от обязательной службы? Закон отменял, да и то с ограничениями, только обязательную срочность службы (не менее 25 лет), установленную указом 1736 г. Дворяне простаковского разума были введены в заблуждение тем, что закон не предписывал прямо служить, что было не нужно, а только грозил карой за уклонение от службы, что было не излишне. Но ведь угроза закона наказанием за поступок есть косвенное запрещение поступка. Это юридическая логика, требующая, чтобы угрожающее наказание вытекало из запрещаемого поступка, как следствие вытекает из своей причины. Указ 18 февраля отменил только следствие, а простаковские законоведы подумали, что отменена причина. Они впали в ошибку, какую сделали бы мы, если бы, прочитав предписание, что воры не должны быть терпимы в обществе, подумали, что воровство дозволяется, но прислуге запрещается принимать воров в дом, когда они позвонят. Эти законоведы слишком буквально понимали не только слова, но и недомолвки закона,

а закон, желая говорить вежливо, торжественно объявляя, что он жалуется «всему российскому благородному дворянству вольность и свободу», говорил приятного больше, чем хотел сказать, и старался возможно больше смягчить то, что было неприятно напоминать. Закон говорил: будьте так добры, служите и учите своих детей, а впрочем, кто не станет делать ни того ни другого, тот будет изгнан из общества. Многие в русском обществе прошлого века не поняли этой деликатной апелляции закона к общественной совести, потому что получили недостаточно мягкое гражданское воспитание. Они привыкли к простому, немного солдатскому языку петровского законодательства, которое любило говорить палками, плетями, виселицей да пулей, обещало преступнику ноздри распороть и на каторгу сослать, или даже весьма живота лишит и отсечением головы казнить, или нещадно аркебузировать (расстрелять). Эти люди понимали долг, когда он вырезывался кровавыми подтеками на живой коже, а не писался человеческой речью в людской совести. Такой реализм юридического мышления и помещал мыслителям вникнуть в смысл закона, который за нерадение о добре общем грозил, что нерадивые «ниже ко двору нашему приезд или в публичных собраниях и торжествах терпимы не будут»: ни палок, ни плетей, а только закрытие придворных и публичных дверей! Вышло крупное юридическое недоразумение. Тогдашняя сатира вскрыла его источник: это слишком распушенный аппетит произвола. Она изобразила уездного дворянина, который так пишет сыну об указе 18 февраля: «Сказывают, что дворянам дана вольность; да чорт ли это слышал, прости господи, какая вольность! Дали вольность, а ничего невозможно своею волею сделать, нельзя у соседа и земли отнять». Мысль этого законоведа шла еще дальше проставковской, требовала не только увольнительного свидетельства от сословного долга, но и патента на сословную привилегию беззакония.

Итак, значительная часть дворянства в прошлом столетии не понимала исторически сложившегося положения своего сословия, и недоросль, фонвизинский *недоросль Митрофан*, был жертвой этого непонимания. Комедия Фонвизина неразрывно связала оба этих слова так, что *Митрофан* стал именем нарицательным, а *недоросль* — собственным: недоросль — синоним Митрофана, а Митрофан — синоним глупого неуча и маменькина баловня. Недоросль Фонвизина — карикатура, но не столько сценическая, сколько бытовая: воспитание изуродовало его

больше, чем пересмеяла комедия. Историческим прототипом этой карикатуры было звание, в котором столь же мало смешного, как мало этого в звании гимназиста. На языке древней Руси *недоросль*—подросток до 15 лет, дворянский недоросль—подросток, «поспевавший» в государеву ратную службу и становившийся *новиком*, «срослым человеком», как скоро поспевал в службу, т. е. достигал 15 лет. Звание дворянского недоросля—это целое государственное учреждение, целая страница из истории русского права. Законодательство и правительство заботливо устроили положение недорослей, что и понятно: это был подрастающий ратный запас. В главном военном управлении, в Разрядном московском приказе, вели их списки с обозначением лет каждого, чтобы знать ежегодный призывный контингент; был установлен порядок их смотров и разборов, по которым поспевших писали в службу, в какую кто годился, порядок надела их старыми отцовскими или новыми поместьями и т. п. При таком порядке недорослю по достижении призывного возраста было трудно, да и невыгодно долго залеживаться дома: поместное и денежное жалованье назначали, к первым «новичным» окладам делали придачи только за действительную службу или доказанную служебную годность, «кто чего стоил», а «избывая от службы», можно было не только не получить нового поместья, но и потерять отцовское. Бывали и в XVII в. недоросли, «которые в службу успели, а службы не служили» и на смотры не являлись, «огурялись», как тогда говорили про таких неслухов. С царствования Петра Великого это служебное «огурство» дворянских недорослей усиливается все более по разным причинам: служба в новой регулярной армии стала несравненно тяжелее прежней; притом закон 20 января 1714 г. требовал от дворянских детей обязательного обучения для подготовки к службе; с другой стороны, поместное владение стало наследственным, и наделение новиков поместными окладами прекратилось. Таким образом, тягости обязательной службы увеличивались в одно время с ослаблением материальных побуждений к ней. «Лыняние» от школы и службы стало хроническим недугом дворянства, который не поддавался строгим указам Петра I и его преемниц об явке недорослей на смотры с угрозами кнутом, штрафами, «шельмованием», бесповоротной отпиской имений в казну заслушание. Посошков уверяет, что в его время «многое множество» дворян веки свои проживали, старели, в деревнях живучи, а на службе и одною ногою не бывали. Дворяне

пользовались доходами с земель и крепостных крестьян, пожалованных сословию для службы, и по мере укрепления тех и других за сословием все усерднее уклонялись от службы. В этих уклонениях выражалось то же недобросовестное отношение к сословному долгу, какое так грубо звучало в словах, слышанных тем же Посошковым от многих дворян: «Дай бог великому государю служить, а сабли б из ножен не вынимать». Такое отношение к сословным обязанностям перед государством и обществом воспитывало в дворянской среде «лежебоков», о которых Посошков ядовито заметил: «Дома соседям своим страшен, яко лев, а на службе хуже козы». Этот самый взгляд на государственные и гражданские обязанности сословия и превратил дворянского недоросля, поспевавшего на службу, в грубого и глупого неуча и лентяя, всячески избежавшего от школы и службы.

Такой превращенный недоросль и есть фонвизинский Митрофан, очень устойчивый и живучий тип в русском обществе, переживший самое законодательство о недорослях, умевший «взвесть» не только деточек, по предсказанию его матери госпожи Простаковой, но и внучек «времен новейших Митрофанов», как выразился Пушкин. Митрофану Фонвизина скоро 16 лет; но он еще состоит в недорослях: по закону 1736 г. срок учения (т. е. звания) недоросля был продолжен до 20 лет. Митрофан по состоянию своих родителей учится дома, а не в школе: тот же закон позволял воспитываться дома недорослям со средствами. Митрофан учится уже года четыре, и из рук вон плохо: по часослову едва бредет с указкой в руке и то лишь под диктовку учителя, дьячка Кутейкина, по арифметике «ничего не перенял» у отставного сержанта Цыфиркина, а «по-французски и всем наукам» его совсем не учит и сам учитель, дорого нанятой для обучения этим «всем наукам» бывший кучер, немец Вральман. Но мать очень довольна и этим последним учителем, который «ребенка не неволит», и успехами своего «ребенка», который, по ее словам, столько уже смыслит, что и сам «взведет» деточек. У нее природное, фамильное скотининское отвращение от ученья: «Без наук люди живут и жили», внушительно заявляет она Стародуму, помня завет своего отца, сказавшего: «Не будь тот Скотинин, кто чему-нибудь учиться захочет». Но и она знает, что «ныне век другой», и, трусая его, с суетливой досадой готовит сына «в люди»: неученый поезжай-ка в Петербург — скажут, дурак. Она балует сына, «пока он еще в недорослях»; но она боится службы, в которую ему,

«избави боже», лет через десяток придется вступить. Требования света и службы навязывали этим людям ненавистную им науку, и они тем искреннее ее ненавидели. В этом и состояло одно из трагикомических затруднений, какие создавали себе эти люди непониманием своего сословного положения, наделавшим им столько Митрофанов; а в положении сословия происходил перелом, требовавший полного к себе внимания.

В комедии Фонвизина, сознательно или бессознательно для ее автора и первых зрителей, нашли себе художественное выражение и эти затруднения, и создавшее их непонимание перелома в положении русского дворянства, который имел решительное влияние на дальнейшую судьбу этого сословия, а через него и на все русское общество. Давно подготавливаемый, этот перелом наступил именно с минуты издания закона 18 февраля 1762 г. Много веков дворянство несло на себе тяжесть военной службы, защищая отечество от внешних врагов, образуя главную вооруженную силу страны. За это государство отдало в его руки огромное количество земли, сделало его землевладельческим классом, а в XVII в. предоставило в его распоряжение на крепостном праве и крестьянское население его земель. Это была большая народная жертва: в год первого представления *Недоросля* (1782) за дворянством числилось более половины (53%) всего крестьянского населения в старых великороссийских областях государства — более половины того населения, трудом которого преимущественно питалось государственное и народное хозяйство России. При Петре I к обязательной службе дворянства прибавилось по закону 20 января 1714 г. еще обязательное обучение как подготовка к такой службе. Так дворянин становился государственным, служилым человеком с той минуты, как только дорастал до возможности взять учебную указку в руки. По мысли Петра, дворянство должно было стать проводником в русское общество нового образования, научного знания, которое заимствовалось с Запада. Между тем воинская повинность была распространена и на другие сословия; поголовная военная служба дворянства после Петра стала менее прежнего нужна государству: в устроенной Петром регулярной армии дворянство сохранило значение обученного офицерского запаса. Тогда мирное образовательное назначение, предположенное для дворянства преобразователем, все настойчивее стало выступать вперед. Готово было, ожидая деятелей, и благодатное, мирное поле, работая на котором дворянство могло сослужить отече-

ству новую службу, нисколько не меньше той, какую оно служило на ратном поле. Крепостные крестьяне бедствовали и разорялись, предоставленные в отсутствие помещиков произволу сборщиков податей, старост, управляющих, приказчиков, которых само правительство уподобляло волкам. Помещик считался тогда естественным покровителем и хозяйственным опекуном своих крестьян, и его присутствие рассматривалось как благодеяние для них. Потому и для государства дворянин в деревне стал не менее, если не более, нужен, чем в казарме. Вот почему со смерти Петра постепенно облегчались лежавшие на дворянстве тягости по службе, но взамен того осложнялись его обязанности по землевладению. С 1736 г. бессрочная военная служба дворянина ограничена 25-летним сроком, а в 1762 г. дано служащим дворянам право отставки по их усмотрению. Зато на помещиков возложена ответственность за податную исправность их крестьян, а потом обязанность кормить их в неурожайные годы и ссужать семенами для посевов. Но и в деревне государству нужен был образованный, разумный и человеколюбивый помещик. Потому правительство не допускало ни малейшего ослабления учебной повинности дворянства, угрозой отдавать неучей в матросы без выслуги загоняло недорослей в казенные школы, устанавливало периодические экзамены для воспитывавшихся дома, как и в школе, предоставляло значительные преимущества по службе обученным новикам. Самую обязанность дворянства служить стали рассматривать не только как средство комплектования армии и флота офицерским дворянским запасом, но и как образовательное средство для дворянина, которому военная служба сообщала вместе с военной и известную гражданскую выправку, знание света, людскость, обтесывала Простаковых и человекообразила Скотининых, вколачивала в тех и других радение «о пользе общей», «знание политических дел», как выражался манифест 18 февраля 1762 г., и побуждала родителей заботиться о домашней подготовке детей к казенной школе и службе, чтоб они не явились в столицу круглыми невеждами с опасностью стать посмешищем для товарищей. Такое значение службы живо чувствовала даже госпожа Простакова. Из-за чего она надрывается, хлопоча о выучке своего сынка? Она соглашается с мнением Вральмана об опасности набивать слабую голову непосильной для нее ученой пищей. «Да что ты станешь делать? — горюет она. — Ребенок, не выучась, поезжай-ка в тот же Петербург — скажут, дурак. Умниц-то ныне завелось

много; их-то я боюсь». И фонвизинский бригадир уговаривает свою жену записать их Иванушку в полк: «Пусть он, служа в полку, ума набирается». Надобно было победить упорное отвращение от науки в дворянских детях, на которых указ императрицы Анны 1736 г. жаловался, что они предпочитают вступать в холопскую дворовую службу, чем служить государству, от наук убегают и тем сами себя губят. Ввиду опасности одичания неслужащего дворянства правительство долго боялось не только отменить, но и сократить обязательную службу сословия. На предложение комиссии Миниха установить 25-летний срок дворянской службы с правом сокращать его на известных условиях Сенат в 1731 г. возражал тем соображением, что богатые дворяне, пользуясь этими условиями, никогда волею своею в службу не пойдут, а будут дома жить «во всякой праздности и лености и без всяких добрых наук и обхождения». Надобно было отучить русских вральмановских учеников от нелепого мнения их учителя, выраженного им так простодушно: «Как будто бы российский дворянин уж и не может в свете авансировать без российской грамоты!» И вот в 1762 г. правительство решило, что упорство сломлено, и в манифесте 18 февраля торжественно возвестило, что принудительной службой дворянства «истреблена грубость в нерадивых о пользе общей, переменилось невежество в здравый рассудок, благородные мысли вкоренили в сердцах всех истинных России патриотов беспредельную к нам верность и любовь, великое усердие и отменную к службе нашей ревность». Но законодатель знал пределы этой «беспредельной верности и отменной ревности» и потому заключил даруемую сословию «вольность и свободу» в известные условия, которые сводились к требованию, чтобы сословие по доброй совести продолжало делать то, что оно дотоле делало из-под палки. Значит, *принудительную срочность 25-летней службы закон заменил ее нравственной обязательностью*, из повинности, предписываемой законом, превратил ее в требование государственной благопристойности или гражданского долга, неисполнение которого наказуется соответственной карой — изгнанием из порядочного общества; так учебная повинность была подтверждена строго-настрою.

Дальнейшая судьба сословия была предначертана законодательством очень доброжелательно и довольно обдуманно. Дворянство выводили из столичных казарм и канцелярий в провинцию для деятельности на новом поприще. Законом 18 февраля ему облегчали служебную

повинность настолько, чтобы она не мешала этой деятельности как повинность, и удерживали ее настолько, чтобы она помогала этой деятельности как образовательное средство. На этом провинциальном поприще дворянству предстояла двойкая работа—в деревне и в городе. В деревне ему предстояло позаботиться о заброшенном классе, крестьянстве, большей половиной которого оно владело на крепостном праве и которое составляло почти  $\frac{9}{10}$  всего населения государства, которое вынесло на себе все военные и финансовые тяготы страшной реформы, по наряду ставило рекрутов для полтавских и кунерсдорфских полей, по запросу отдавало последние деньги бирюновским податным сборщикам и даже без запроса и наряда поставило такого рекрута науки, как Ломоносов. Дворянству предстояло своим знанием и примером приучить этот класс к трезвости, к правильному труду, производительному употреблению своих сил, к бережливому пользованию дарами природы, умелому ведению хозяйства, к сознанию своего гражданского долга, к пониманию своих прав и обязанностей. Этим благородное сословие оправдало бы,—нет, искупило бы исторический грех обладания крепостными душами. Такой грех обыкновенно создавался завоеванием, а русское дворянство не завоевывало своих крестьян, и тем нужнее было ему доказать, что его власть не была нарушением исторической справедливости. Другое дело предстояло дворянству в городе. Когда *Недоросль* впервые появился на сцене, в полном ходу была реформа губернских учреждений, предоставлявшая дворянству преобладающее значение в местном управлении и суде. Как сословие дисциплинированное и приученное к общественной деятельности самым свойством своей обязательной службы, оно могло бы стать руководителем других классов местного общества, приучая их к самостоятельности и самообладанию, к дружной совместной работе, от которой они отвыкли, обособленные специальными сословными правами и обязанностями,—словом, могло бы образовать подготовленные кадры местного самоуправления, как прежде оно давало армии подготовленный офицерский запас.

Для той и другой деятельности, городской, как и деревенской, требовалась серьезная и осторожная подготовка, которой предстояло бороться с большими затруднениями. Прежде всего необходимо было запастись средствами, доставляемыми образованием, наукой. Дворянству предстояло на себе самом показать другим классам общества, какие средства дает для общежития образова-

ние, когда становится такой же потребностью в духовном обиходе, какую составляет питание в обиходе физическом, а не служит только скаковым препятствием, через которое перепрыгивают для получения больших чинов и доходных мест, или средством приобретения великосветского лоска как косметическое подспорье парикмахерского прибора.

Можно было опасаться, сумеет ли русское дворянство выбрать из бывшего в европейском обороте запаса знаний, идей, воззрений то, что было ему нужно для домашнего дела, а не то, чем можно было приятно наполнить досужее безделье. Опасение поддерживали вести, шедшие из-за границы, о посланных туда в науку русских молодых людях, которые охотнее посещали европейские австории и «редуты» (игорные дома), чем академии и другие школы, и «срамотными поступками» изумляли европейскую полицию. Грозилась и другая опасность: в новые губернские учреждения дворянство могло принести свой старый привычный взгляд на гражданскую службу как на «кормление от дел». Дворяне прошлого века относились к этой службе с пренебрежением, однако не брезговали ею ради ее «наживочных» удобств и даже пользовались ею как средством уклоняться от военной службы. Посошков в свое время горько сетовал на дворян «молодииков», которые «живут у дел вместо военного дела», да учатся, «как бы им наживать и службы отлынять».

Правительство начало заботиться об учебной подготовке дворянства к гражданской службе раньше, чем снята была с сословия срочная воинская повинность. По многопредметной программе открытого в 1731 г. шляхетного кадетского корпуса кадеты должны были обучаться, между прочим, риторике, географии, истории, геральдике, юриспруденции, морали. Образованные русские люди того времени, например Татищев (в *Разговоре о пользе наук и училищ* и в *Духовной*), настойчиво твердили, что всему русскому шляхетству после исповедания веры прежде всего необходимо знание законов гражданских и состояние собственного отечества, русской географии и истории. Разумеется, при Екатерине II «гражданское учение», которое воспитывало бы не столько ученых, сколько граждан, стало еще выше в предначертаниях правительства. По плану Бецкого из преобразованного шляхетного корпуса дворянский недоросль должен был выходить воином-гражданином, знающим и военное, и гражданское дело, способным вести дела и в лагере, и в Сенате,

короче, мужем, одинаково пригодным *belli domique*.

Это было бы великое дело, если бы план удался и из среды Иванушек и Митрофанушек пошли бы такие разносторонне пригодные мужи. Случилось так, что в ту же осень, когда впервые сыгран был *Недоросль*, в Петербурге совершились два важных события: составлена комиссия об учреждении народных школ в России и открыт памятник Петру Великому. Знаменательное совпадение! Если бы дворянство шло путем, какой указан был ему Петром I, ода того века могла бы, пользуясь случаем, изобразить, как преобразователь, вышедши из своей петропавловской гробницы и «увидев себя на вольном воздухе» — выражение Екатерины II в письме к Гримму по поводу открытия памятника, — отверзает свои давно сомкнутые уста, чтобы сказать: *Ныне отпущаеши*. Но вышла не ода, а комедия, чтобы предостеречь сословие от опасности не попасть на указанный ему путь. *Недоросль* дает такое предостережение в резких, внушительных формах, понятных и публике, непривычной к комическим тонкостям; его понял даже брат попавшейся госпожи Простаковой, сам Тарас Скотинин, сказав: «Да этак и всякий Скотинин может попасть под опеку». В усадьбе г-жи Простаковой прообразовательно, для примера, разыграна дальнейшая судьба той части дворянства, которая мыслила и понимала свое положение по-простаковски. Сословию предстояло приготовиться к ответственной и патриотической роли руководителя местного управления и общества, а г-жа Простакова говорит: «Да что за радость и выучиться? Кто посмышленее, того свои же братья тотчас выберут еще в какую-нибудь должность». Сословие призывалось к попечительной и человеколюбивой деятельности в крепостной деревне, а г-жа Простакова, видя, что чиновник наместника отнял у нее власть буйствовать в доме, в комической тоске восклицает: «Куда я гожусь, когда в моем доме моим же рукам и воли нет?» Зато господам Простаковым и опека. Ништо им!

В *Недоросле* дурные люди старого закала поставлены прямо против новых идей, воплощенных в бледные добродетельные фигуры Стародума, Правдина и других, которые пришли сказать тем людям, что времена изменились, что надобно воспитываться, мыслить и поступать не так, как они это привыкли делать, что дворянину бесчестно ничего не делать, «когда есть ему столько дела, есть люди, которым помогать, есть отечество, которому служить». Но старые люди не хотели понять новых требований времени и своего положения, и закон готов наложить

на них свою тяжелую руку. На сцене представлено было то, что грозило в действительности: комедия хотела дать строгий урок непонятливым людям, чтобы не стать для них зловещим пророчеством.

## РЕЧЬ,

ПРОИЗНЕСЕННАЯ В ТОРЖЕСТВЕННОМ СОБРАНИИ  
МОСКОВСКОГО УНИВЕРСИТЕТА 6 ИЮНЯ 1880 г.,  
В ДЕНЬ ОТКРЫТИЯ ПАМЯТНИКА ПУШКИНУ

Значение Пушкина не ограничивается его местом в истории того, что он сам считал собственно литературой, т. е. в истории литературы художественной. У него есть место и в более тесной литературной области: в его творчестве есть сторона специальная, но близкая всякому, для кого русское слово родное. Его творения представляют интерес и для русского историка.

Я разумею здесь не тот интерес, какой имеет для историка всякий памятник поэзии. В этом смысле вся поэтическая деятельность Пушкина принадлежит нашей истории. Пушкин отделен от нас целым поколением. Новый слой понятий и забот, ему неизвестных и чуждых его времени, образовался над его могилой. Он был свидетелем стремлений и отношений, от которых уже далеко отодвинулись мы. Художественная красота его произведений приучила нас с любовью повторять то, чего мы уже не разделяем, эстетически любоваться даже тем, чему мы не сочувствуем нравственно; в стихе, лучше которого мы не знаем доселе, подчас звучат воззрения, которые для нас — общественная или нравственная археология. С этой стороны все написанное Пушкиным — исторический документ, длинный ряд его произведений — поэтическая летопись его времени.

И сам Пушкин — уже вполне историческое явление, представитель исчезнувшего порядка идей, хотя исполнения некоторых его благих чаяний мы ждем доселе. Мы изучаем его так же, как изучаем людей XVIII и XVII вв. Независимо от своего таланта для нас он наиболее выразительный образ известной эпохи. Самые недостатки его имеют для нас не столько биографический, сколько исторический интерес. Мы ошибемся в цене его современников, если забудем, сколько сил этого великолепного таланта потрачено было на ветер, на детские игрушки для взрослых. Пушкин имел печальное право более всех, говоря словами другого поэта, благодарить свое время

За жар души, растроченный в пустыне.

Без Пушкина нельзя представить себе эпохи 20-х и 30-х годов, как нельзя без его произведений написать истории первой половины нашего века. При каком угодно взгляде на Пушкина, на значение его поэзии за ним останется страница в нашей истории.

Но его нельзя обойти и в нашей историографии, хотя он не был историком по ремеслу — ни по призванию, прибавят, может быть, иные. Вернее, он только мало знал отечественную историю, хотя и не меньше большинства образованных русских своего времени. Но он живее их чувствовал этот недостаток и гораздо более их размышлял о том, что знал. Из его заметок и журнальных статей видим, какое сильное впечатление произвел на него исторический труд Карамзина, как он следил за современной исторической письменностью. По мере созревания его мысли и таланта усиливалась и его историческая любознательность. В последние годы, как известно, он много занимался родной стариной даже в архивах. Он иногда обращался к русскому прошедшему, чтобы найти материал для поэтического творчества, взять фабулу для поэтического создания. Но я хочу сказать не об этих пьесах. *Борис Годунов*, *Полтава*, *Медный всадник* — читая их, мы готовы забыть, что это исторические сюжеты: эстетическое наслаждение оставляет здесь слишком мало места для исторической критики.

Иное значение имело для Пушкина ближайшее к нему столетие. Он вырос среди живых преданий и свежих легенд XVIII в. Екатерининские люди и дела стояли к нему ближе, чем он сам стоит к нам. Там он угадывал зарождение понятий, интересов и типов, которыми дорожил особенно или которые встречал постоянно вокруг себя. Об этом веке он заботливо собирал сведения и знал много. Он мог рассказать о нем гораздо больше того, что занес в свои записки, заметки, анекдоты и т. п. Иногда он облекал явления этого времени в художественную форму повести или романа. Во всем этом нет следов продолжительного и систематического изучения. Но здесь рядом с поспешными суждениями встречаем замечания, которые сделали бы честь любому ученому историку. Наша историография ничего не выиграла ни в правдивости, ни в занимательности, долго развивая взгляд на наш XVIII в., противоположный высказанному Пушкиным в одной кишиневской заметке 1821 г. Сам поэт не придавал серьезного значения этим отрывочным, мимоходом набросанным или неоконченным вещам. Но эти-то вещи и имеют серьезную цену для историографии. Пушкин был истори-

ком там, где не думал быть им и где часто не удается стать им настоящему историку. *Капитанская дочка* была написана между делом, среди работ над пугачевщиной, но в ней больше истории, чем в *Истории пугачевского бунта*, которая кажется длинным объяснительным примечанием к роману. Я хочу напомнить об историческом интересе, который заставляет читать и перечитывать эти второстепенные пьесы Пушкина.

Наш XVIII век гораздо труднее своих предшественников для изучения. Главная причина тому — большая сложность жизни. Общество заметно пестреет. Вместе с социальным разделением увеличивается в нем и разнообразие культурных слоев, типов. Люди становятся менее похожи друг на друга, по мере того как делаются неравноправнее. Воспроизвести процесс этого нравственного разделения гораздо труднее, чем разделения политического. С половины века выступают рядом образчики типов разнохарактерного и разновременного происхождения. Чем далее, тем классификация их становится труднее. Часто недоумеваешь, к какой эпохе приурочить зарождение того или другого из них, в каком порядке разложить их по историческим витринам.

Между этими типами есть один — может быть, самое своеобразное явление общественной физиологии. Он зародился лет 200 назад, и вероятно, долго проживет после нас. Ему трудно дать простое и точное название: в разные поколения он являлся в чрезвычайно разнообразных формах. Достаточно указать на два имени в его генеалогии, чтобы видеть степень его изменчивости. Едва ли не первым блестящим образчиком этого типа был администратор и дипломат XVII в. А. Л. Ордин-Нащокин. Но скучающий от безделья Евгений Онегин был в прямой нисходящей поэтической потомком этого исторического дельца. Дадим этому типу имя сложное, как и он сам. Это русский человек, который вырос в убеждении, что он родился не европейцем, но обязан стать им. Вот уже 200 лет этот тип господствует над остальными и по влиянию на наше общество, и по своему интересу для историка. Без его биографии пустеет история нашего общества последних двух столетий. Около него сосредоточиваются, иногда от него исходят самые важные умственные, а подчас и политические движения.

При всей видимой изменчивости основные черты типа остаются одни и те же во всех фазах его развития. Следя за ними, удивляешься не тому, что отцы и дети выходят так непохожи друг на друга, а тому, что столь непохожие

друг на друга люди — все-таки отцы и дети. Разнообразие видов одного типа происходит от различных способов решения культурного вопроса, который лежит в самой его сущности: родившись русским и решив, что русский не европеец, как сделаться европейцем? Первое поколение этого типа вообще склонялось к той мысли, что все русское надобно делать по-западноевропейски. Второе — уже думало, что все русское хорошо было бы переделать в западноевропейское. Чувствуя свое невежество, иногда находили, что надобно заимствовать с Запада свет знания, но без огня, которым можно обжечься; а в другое время брала верх уверенность, что можно взять этот свет целиком, только не следует подносить его близко к глазам, чтобы не обжечься. Далее, одни думали, что можно стать европейцем, оставаясь русским; другие настаивали, что необходимо для этого перестать быть русским, что вся тайна европеизации для нас заключается в совлечении с себя всего национального. Существовало даже убеждение, не лишенное остроумия, и, может быть, существует доселе, что если человечность нашла себе высшее выражение в европеизме, то надобно иметь в себе возможно меньше западноевропейского, чтобы стать европейцем. Что еще замечательнее, это убеждение едва ли не первые начали высказывать у нас русские с западноевропейскими фамилиями.

Вы видите, милостивые государи, что этот тип нельзя упрекнуть в упрямстве и застое: в нем, напротив, слишком много нравственной гибкости и умственного движения. Все это затрудняет его историческое изучение, научную классификацию его разновидностей. Пушкин интересовался этим типом и любил некоторые его явления. Он и сам представлял одну из его разновидностей — даровитую, восприимчивую, блестящую. Его наблюдал он вокруг себя и из этих наблюдений создал свою эпопею Евгения Онегина. Сознательно или нет на разновременных вариантах того же с особенной любовью останавливался он и в преданиях прошедшего. Этим он и помог много историку в изучении любопытного типа. В длинном ряду эскизов и повестей, оконченных и неоконченных: в *Аране Петра Великого*, в *Дубровском*, в *Капитанской дочке* и др. перед читателем проходят разнохарактерные фигуры этого типа, появившиеся на пространстве с лишком ста лет. Надеюсь, вы охотно позволите мне ограничиться простым хронологическим каталогом этих не лишенных занимательности физиономий.

Позади их всех стоит чопорный Гаврила Афанасьевич

Р. в *Арапе Петра Великого*. Это невольный, зачисленный в европейцы по указу русский. Все его понятия и симпатии принадлежат еще старой, неевропейской России, хотя он не прочь послужить на новой службе и сделать карьеру. Это еще не тип европеизованного русского, а скорее русская гримаса европеизации, первая и кислая. Вкус новой культуры еще не привился, но это вопрос недолгого времени. Сам *арап* Ибрагим, к сожалению, остался недорисованным в неоконченной повести. Можно только догадываться по некоторым штрихам, что из него имел выйти один из петровских дельцов — людей, хорошо нам знакомых по Нартовым, Неплюевым и др. Это характеры резкие и жесткие, но хрупкие по недостатку гибкости и потому неживучие: они вымирали уже при Екатерине II. Зато живуч был общественно-физиологический вид, представленный в лице молодого К., Ибрагимова товарища по курсу высшей европеизации в парижских салонах. Это русский петиметр XVIII в., великосветский русский шалопай на европейскую ногу, «скоморох», по выражению старого князя Лькова в *Арапе*, или «обезьяна, да не здешняя», как назван он в одной комедии Сумарокова. В *Арапе Петра Великого* он еще не на своем месте, не в пору вернулся из-за моря и испытывает неудобства рано прилетевшей ласточки. Полная весна наступит для него в женские эпохи, при двух Аннах, двух Екатеринах и одной Елизавете. При Петре ему холодно и неловко в его нарядном кафтане среди деловых людей, которые скидали рабочие куртки только по праздникам. Со временем он будет нужным и важным человеком в праздном обществе: теперь он шут поневоле, и Петр колет ему глаза его бархатными штанами, каких не носит и царь. Троекуров в *Дубровском* — постаревший петиметр в отставке, приехавший в деревню дуриль на досуге. У младших петровских дельцов часто бывали такие дети. Живя в более распущенное время, они теряли знания и выдержку отцов, не теряя их аппетитов и вкусов. Невежественный и грубый Троекуров, однако, старается дать дочери модное воспитание с гувернером французом и выдает замуж за самого модного барина. Троекуровы родились при Елизавете, процветали в столице, дурили по захолустьям при Екатерине II, но посеяны они еще при Аннах. Это миниатюрные провинциальные пародии временщиков столицы, которых превосходно характеризовал граф Н. Панин, назвав «припадочными людьми». «Как увидишь его, Троекурова, — говорил местный дьячок, — страх и ужас! А спина-то сама так и гнется, так и

гнется...» Особенно удался Пушкину в *Дубровском* князь Верейский, достойный зять Троекурова. Это — настоящее создание екатерининской эпохи, цветок, выросший на почве закона о вольности дворянства и обрызганный каплями росы вольтерьянского просвещения. Князь Верейский — едва ли не самый ранний экземпляр новой разновидности нашего типа, которая развилась очень быстро. Подобными ему людьми до скуки переполняется высшее русское общество с конца царствования Екатерины. За границей они растрчивали богатый дедовский и отцовский запас нервов и звонкой наличности и возвращались в Россию лечиться и платить долги. Князь Верейский *жил* за морем и, приехав *умирать* в Россию, напрасно пытался оживить угасшие силы и затеями сельской роскоши, и расцветшей на сельском приволье дочерью Троекурова. Он, иначе, тоньше редижированный Троекуров: его европеизованное варварство из острого и буйного троекуровского переродилось в тихое, меланхолическое не под гуманизирующим влиянием Монтескье или Вольтера, а просто потому, что тесть привез в деревню из Петербурга мускулы и нервы, чего зять уже не привез из Парижа. Отсюда «непрестанная» скука князя Верейского, которая с его легкой руки стала неременной особенностью дальнейших видов этого типа. Дубровский-отец — лицо, любопытное по своей литературной судьбе. Это — любимое некомическое лицо нашей комедии XVIII в., ее Правдин, Стародум или как там еще оно называлось. Но оно никогда не удавалось ей. Это потому, что екатерининская комедия хотела изобразить в нем человека старого петровского покроя, а при Екатерине II такой покроей уже выводился. Пушкин отметил его вскользь, двумя-тремя чертами, и, однако, он вышел у него живее и правдивее, чем в комедии XVIII в. Дубровский-сын — другой полюс века и вместе его отрицание. В нем заметны уже черты мягкого, благородного, романтически протестующего и горько обманутого судьбой александровца, члена Союза благоденствия. Среди образов XVIII в. не мог Пушкин не отметить и *недоросля* и отметил его беспристрастнее и правдивее Фонвизина. У последнего Митрофан сбивается в карикатуру, в комический анекдот. В исторической действительности недоросль — не карикатура и не анекдот, а самое простое и вседневное явление, к тому же не лишенное довольно почтенных качеств. Это самый обыкновенный, нормальный русский дворянин средней руки. Высшее дворянство находило себе приют в гвардии, у которой была своя политическая история в XVIII в.,

впрочем, более шумная, чем плодотворная. Скромнее была судьба наших Митрофанов. Они всегда учились понемногу, сквозь слезы при Петре I, со скукой при Екатерине II, не делали правительство, но решительно сделали нашу военную историю XVIII в. Это — пехотные армейские офицеры, и в этом чине они протоптали славный путь от Кунерсдорфа до Рымника и до Нови. Они с русскими солдатами вынесли на своих плечах дорогие лавры Минихов, Румянцевых и Суворовых. Пушкин отметил два вида недоросля, или, точнее, два момента его истории: один является в Петре Андреевиче Гриневе, невольном приятеле Пугачева, другой — в наивном беллетристе и летописце села Горюхина Иване Петровиче Белкине, уже человеке XIX в., «времен новейших Митрофане». К обоим Пушкин отнесся с сочувствием. Недаром и капитанская дочь М. И. Миронова предпочла добродушного армейца Гринева остроумному и знакомому с французской литературой гвардейцу Швабрину. Историка XVIII в. остается одобрить и сочувствие Пушкина и вкус Марьи Ивановны.

Такова у Пушкина коллекция художественно-исторических портретов, которые все изображают один и тот же тип в его видоизменениях. Ряд их замыкается современником поэта — Е. Онегиным. Герой особого рода, но, однако, сродни своим предшественникам: и Троекуров, и Верейский, и Митрофаны всех сортов — все они прямые или боковые его предки. Онегин — лицо, столько же историческое, сколько поэтическое. Мы все читали сочинения и записки людей, чаявших обновления России после войн за освобождение Европы. Припоминая читанное, мы знаем, чем были Онегины после 1815 г. Поэма Пушкина рассказывает, чем стали они после 1825 г. Это Чацкии, уставшие говорить и с разбитыми надеждами, а поэтому скачущие. Позже, у Лермонтова, они являются страдающими от скуки на горах Кавказа, как другие в то время страдали, хотя и не от одной скуки, за горами Урала.

Так, у Пушкина находим довольно связную летопись нашего общества в лицах за 100 лет с лишком. Когда эти лица рисовались, масса мемуаров XVIII в. и начала XIX в. лежала под спудом. В наши дни они выходят на свет. Читая их, можно дивиться верности глаза Пушкина. Мы узнаем здесь ближе людей того времени, но эти люди — знакомые уже нам фигуры. «Вот Гаврила Афанасьевич! — восклицаем мы, перелистывая эти мемуары, — а вот Троекуров, князь Верейский» и т. д., до Онегина включительно. Пушкин не мемуарист и не историк, но для историка

большая находка, когда между собой и мемуаристом он встречает художника. В этом значении Пушкина для нашей историографии по крайней мере главное и ближайшее значение.

## ЕВГЕНИЙ ОНЕГИН И ЕГО ПРЕДКИ

День памяти Пушкина — день воспоминаний. Я начну с воспоминаний о себе самом.

Я родился немного лет спустя по смерти Пушкина. Но, пока я и мои сверстники, получившие одинаковое со мною воспитание, пока мы были юны, Пушкин не переставал быть нашим современником. Мы не спрашивали, жив ли Пушкин. Мы знали, что он живет и будет жить, и это было для нас так же ясно и просто, как то, что небо синее и будет синеть. Когда нам говорили, что он умер, что его давно уж нет, в этих словах нам чуялось что-то нескладное, похожее на неудачную риторическую фигуру.

В те годы мы читали и перечитывали *Евгения Онегина*. Теперь, после стольких лет и стольких житейских впечатлений, свежавших ощущение молодости, трудно припомнить и еще труднее рассказать, чем был для нас этот роман лет 30 назад. Одно можно сказать с уверенностью, что мы отнеслись к нему, как не относились современники Пушкина и как едва ли относится к нему молодое поколение, несколько лет назад теснившееся при открытии московского памятника Пушкину. При жизни Пушкина *Евгений Онегин* был предметом критики или удивления как крупная литературная новость. Теперь он просто предмет изучения как историко-литературный памятник. Для нас он не был ни тем, ни другим: мы не разбирали его, как разбирали тогда новые повести Тургенева, но мы и не комментировали его как *Слово о полку Игореве* или *Недоросля*. Он не был для нас только роман в стихах, случайное и мимолетное литературное впечатление; это было событие нашей молодости, наша биографическая черта, перелом развития, как выход из школы или первая любовь. При первом чтении мы беззащитно отдавались обаянию стиха, описаний природы, задушевности лирических отступлений, любовались подробностями, составлявшими декорации драмы, разыгранной в романе, не обращая особенного внимания на самую драму. Потом, перечитывая роман, мы стали вдумываться и в эту драму, в ее несложную фабулу и трагическую развязку, задавать себе вопросы и из ответов на них извлекать житейские правила. Мы горько упрекали *Онегина*, зачем он убил Ленского, хотя не вполне понима-

ли, из-за чего Ленский вызвал Онегина. Каждый из нас давал себе слово не отвергать так холодно любви девушки, которая его так полюбит, как Татьяна любила Онегина, и особенно если напишет ему такое же хорошее письмо. Читая *Онегина*, мы впервые учились наблюдать и понимать житейские явления, формулировать свои неясные чувства, разбираться в беспорядочных порывах и стремлениях. Это был для нас первый житейский учебник, который мы робкою рукой начинали листовать, доучивая свои школьные учебники; он послужил нам «дрожащим гибельным мостком», по которому мы переходили через кипучий темный поток, отделявший наши школьные уроки от первых житейских опытов. Может быть, такое отношение к роману было педагогическим недосмотром наших воспитателей или нашим эстетическим пороком; может быть, это было только преждевременным и излишним напряжением эстетического чувства, предохранившим нас от многих действительных пороков. Я этого не знаю; я только отмечаю факт, не ценя его, не произнося приговора над своею молодостью. Судите вы и, если угодно, осуждайте за это нас или наших воспитателей. А факт тот, что после 1837 г. воспиталось поколение, которое уже не застало Пушкина в живых и на нравственную физиономию которого его роман более, чем другие его произведения, положил особую, немножко сентиментальную складку. Было ли это нашим несчастьем или даром, незаслуженно нам доставшимся, на этот вопрос можно отвечать и так и этак, но в том и другом случае будет виновата случайность нашего рождения. Людям, родившимся годами 10—15 раньше нас, приходилось читать этот роман среди не умолкнувших еще споров о Пушкине. Молодежь, которая принималась за *Онегина* немного позднее нас, читала его под действием иных, нелитературных веяний, которые были принесены новым течением, обнаружившимся в нашем обществе с половины 1850-х годов. Мы попали, так сказать, в литературное затишье, начали читать *Онегина*, когда о Пушкине вспоминали, но уже не спорили, а новые влияния еще не успели донестись до школьных скамеек, на которых мы сидели.

Все это я счел не лишним припомнить и некоторым из присутствующих напомнить по поводу годовщины смерти Пушкина. Ведь мы собрались, чтоб оглянуться на полстолетие, протекшее с того времени, и вспомнить, чем был для нас поэт в это полстолетие. Жизнь поэта—только первая часть его биографии; другую и более важную часть составляет посмертная история его поэзии. Некто

из людей, начавших сознавать себя раньше, чем многие и многие из вас начали дышать, и решился занести свою строчку в эту посмертную часть, отважился выступить из редееющего уже ряда своих сверстников, чтобы сказать, чем был для него и для них Пушкин со своим романом.

Помню еще, что из действующих лиц романа всего менее задумывались мы в первое время над его героем. Мы не задавали себе вопроса, кто он, хороший или дурной человек, дельный или пустой малый. Он оставался для нас на каком-то туманном возвышении, с которого мы не сводили его в ряды простых людей, чтобы разглядеть, благовоспитанный ли он человек, удобный ли товарищ. Мы едва ли любили его, а наши сверстницы, наверное, не влюблялись в него, как влюбилась Татьяна. Но и мы и они любовались им; он оставался для нас поэтическим образом, в котором нам нравились самые недостатки, как становятся милы отдельные некрасивые черты на милом лице. Еще менее приходило нам в голову доискиваться, откуда и как попал он в русское общество. Этот «чудак печальный и опасный» проходил в нашем воображении приятным и таинственным незнакомцем, которого мы не догадывались спросить об адресе. Мы не настолько знали тогдашнее общество, чтоб угадать, на кого он похож. Притом мы так мало задумывались над отношением поэтического творчества к действительности, что нам нелегко было растолковать самый смысл вопроса, что это такое: поэтическая ли греза, переложенная в великолепные стихи, или портрет, срисованный с живого человека. Мы видели, что это несовременная нам быль: вокруг себя мы не замечали и не предполагали ничего подобного. Но мы чувствовали, что это и не сказка, что герои этого романа существовали на Руси где-то и когда-то и даже в очень близкое к нам время.

Не успели миновать наши школьные годы, мы только что затвердили *Онегина*, как на нас легли два новые литературные впечатления, и такие глубокие, каких не оставляли в нас дальнейшие произведения русской литературы. Эти впечатления впервые и направили наши мысли на вопрос, что такое *Онегин*. Мы прочитали *Дворянское гнездо* и *Обломова*. Вы, может быть, с удивлением спросите: что общего между этими пьесами, кроме таланта? Я не помню, что говорила тогда литературная критика об этих произведениях, и не могу угадать, что думали и думают, читая их, молодые люди, здесь присутствующие. Но нам они показались двумя частями одной книги об умирающих. Обе пьесы — похоронные песни: в одной

отпевался известный житейский порядок, в другой — общественный тип. С Лизой Калитиной, уходившей в монастырь, отрекались от мира чувства и отношения известной дворянской среды, жертвой которых была отшельница, а в лице Обломова, кашляя и кряхтя, лез умирать на печку последний наиболее беспомощный питомец и представитель этих же чувств и отношений. В обоих произведениях, совсем не как в *Евгении Онегине*, наше внимание приковали к себе гораздо более главные лица, чем их драматические положения. Мы спрашивали себя, почему эти лица, способные внести много добра в общество, не ужились в нем; нам было прискорбно чувствовать, что это лица исчезающие, что мы уже не встретим их двойников. Мы вспоминали своего старого незнакомца *Онегина*, и нам почему-то казалось, что и он, лицо менее приятное и менее обещающее, принадлежит к тому же порядку явлений. Это сходство возбуждало в нас недоумение. После уже, слушая, читая и изучая, мы узнали, что наш век — время ускоренной смены разнохарактерных, совсем не похожих друг на друга типов. Тогда, сопоставляя названные произведения с *Евгением Онегиным*, мы начали внимательнее разбирать его. Это не была критика романа. У нас по-прежнему не поднималась на него критическая рука; он не ветшал для нас, не отставал от нас, а шел ровень с нами, или, лучше сказать, время бесследно шло мимо него, как оно идет мимо нестареющих античных статуй. Мы разбирали не роман, а только его героя и с удивлением заметили, что это вовсе не герой своего времени и сам поэт не думал изобразить его таким. Он был чужой для общества, в котором ему пришлось вращаться, и все у него выходило как-то нескладно, не вовремя и некстати. «Забав и роскоши дитя» и сын промотавшегося отца, 18-летний философ с охлажденным умом и угасшим сердцем, он начал жить, т. е. жечь жизнь, когда следовало учиться; приниматься учиться, когда другие начинали действовать; устал, прежде чем принялся за работу; суетливо бездельничал в столице, лениво бездельничал и в деревне; из чванства не умел влюбиться, когда это было нужно, из чванства же поспешил влюбиться, когда это стало преступно; мимоходом, без цели и даже без злости убил своего приятеля; без цели поездил по России; от делать нечего вернулся в столицу донашивать истощенные разнообразным бездельем силы. И здесь, наконец, сам поэт, не кончив повести, бросил его на одной из его житейских глупостей, недоумевая, как поступить дальше с таким bestолковым существо-

ванием. Добрые люди в деревенской глуши смирно сидели по местам, досиживая или только еще насиживая свои гнезда; налетел праздный пришлец из столицы, возмущил их покой, сбил их с гнезд и потом с отвращением и досадой на самого себя отвернулся от того, что наделал. Словом, из всех действующих лиц романа самое лишнее — это его герой. Тогда мы начали задумываться над вопросом, который поставил поэт не то от себя, не то от лица Татьяны:

Что ж он, ужели подражанье,  
Ничтожный призрак иль еще  
Москвич в Гарольдовом плаще,  
Чужих причуд истолкованье,  
Слов модных полный лексикон...

Мы начали изучать его. Метод изучения был нам подсказан самой Татьяной. Мы старались пробраться украдкой в кабинеты людей того времени, разобрать книги, которые они читали и которые читали их отцы, с оставленными на полях отметками крестами и вопросительными крючками. Изучая так *Онегина*, мы все более убеждались, что это — очень любопытное явление, и прежде всего явление вымирающее. Припомните, что он «наследник всех своих родных», а такой наследник обыкновенно последний в роде. У него есть и черты подражания в манерах, и Гарольдов плащ на плечах, и полный лексикон модных слов на языке, но все это не существенные черты, а накладные прикрасы, белила и румяна, которыми прикрывались и замазывались значки беспотомственной смерти. Далее мы увидели, что это не столько тип, сколько гримаса, не столько характер, сколько поза, и притом чрезвычайно неловкая и фальшивая, созданная целым рядом предшествовавших поз, все таких же неловких и фальшивых. Да, Онегин не был печальною случайностью, нечаянною ошибкой: у него была своя генеалогия, свои предки, которые наследственно из рода в род передавали приобретаемые ими умственные и нравственные вывихи и искривления. Если вы не боитесь скуки, если печальная годовщина, нас собравшая, располагает вас к терпеливым воспоминаниям о нашем прошлом, вы позволите неумелю рукой перелистовать перед вами эту родословную Онегина.

Всего усерднее прошу вас об одном: преемственно сменявшиеся положения, которые я отмечу, не принимайте за моменты нашей жизни, соответствующие известным поколениям. Нет, я разумею более исключительные явле-

ния. Это были неестественные позы, нервные, судорожные жесты, вызывавшиеся местными неловкостями общих положений. Эти неловкости чувствовались далеко не всеми, но жесты и мины тех, кто их чувствовал, были всем заметны, бросались всем в глаза, запоминались надолго, становились предметом художественного воспроизведения. Люди, которые испытывали эти неловкости, не были какие-либо особые люди, были как и все, но их физиономии и манеры не были похожи на общепринятые. Это были не герои времени, а только сильно подчеркнутые отдельные нумера, стоявшие в ряду других, общие места, напечатанные курсивом. Так как масса современников, усевшихся более или менее удобно, редко догадывалась о причине этих ненормальностей и считала их капризами отдельных лиц, не хотевших сидеть, как сидели все, то эти несчастные жертвы неудобных позиций слыли за чудаков, даже иногда «печальных и опасных». Между тем жизнь текла своим чередом; среда, из которой выделялись эти чудаки, сидела прямо и спокойно, как ее усаживала история. Поэтому я не введу вас в недоумение, когда буду говорить об отце, дяде и прадеде Онегина. Онегин — образ, в котором художественно воспроизведена местная неловкость одного из положений русского общества. Это не общий или господствующий тип времени, а типическое исключение. Разумеется, у такого образа могут быть только историко-генетические, а не генеалогические предки.

Явления, которые я отмечу, были все однородного сословного происхождения: предки Онегина все принадлежали к старинному русскому дворянству. Неловкости общих положений, заставлявшие некоторых людей принимать ненормальные позы и необычную жестикуляцию, обыкновенно происходили от недосмотров и увлечений, какие допускались при постановке нового образования, водворявшегося у нас приблизительно с половины XVII в. Это новое образование шло к нам с Запада, как прежде пришло из Византии. Первым восприимчиком и проводником этого нового образования стало дворянство, как носителем и проводником старого было духовенство. Поспешность и нетерпеливость, с какими вводилось это образование, и были причинами некоторых неловкостей в преемственно сменявшихся общих положениях сословия. Но, повторяю, это были местные неловкости, и ненормальные явления, ими вызванные, не могут войти в общую историю этого почтенного и много послужившего отечеству сословия.

Прадеда нашего героя надобно искать во второй половине XVII в., около конца Алексея царствования, в том промежуточном слое дворянских фамилий, который вечно колебался между столичною знатью и провинциальным рядовым дворянством. Отец этого прадеда, какой-нибудь Нелюб Злобин сын такой-то, был еще нетронутый служака вполне старого покроя: он из года в год ходил в походы посторожить какую-нибудь границу отечества с пятком вооруженных холопов, по временам получал неважные воеводства, чтоб умеренным кормом пополнить оскудевшие от походов животы, а на частных деловых его бумагах вместо его подписи ставилась пометка, что отец его духовный, поп Иван, в его, Нелюбово, место руку приложил, затем что он, Нелюб, грамоте не умеет. Его сына ждала менее торная дорога. За бойкость его с 15 лет зачислили в солдатский полк нового, иноземного строя под команду немецких офицеров, за понятливость взяли в подьячие, за любознательность отдали в Спасский монастырь, на Никольской, в Москве, к ученому киевскому старцу «учиться по латиням». С кислую гримасой принимался он за «граматичное ученье» и то твердил походячим в то время словарькам исковерканные и вавилонски перемешанные греческие и польско-латинские вокабулы, написанные русскими литерами: *ликос*—волк, *лупна*—волчица, *спириды*—лапти, *офира*—молебен, *преписит*—болярин, *нектар*—пиво; то в ужасе от мысли, что все это ляхо-латинская ересь, неистово рвал свою грамматику и бежал к туземным благочестивым старцам каяться в соблазне, но, успокоенный батогамы, снова принимался твердить: *онагр*—дикий осел, *претор*—губная изба, *фулцур*—молния, *скандализи ме*—соблажняют мя. Киевский старец заставлял молодого подьячего читать переводные космографии, внушал ему католические мнения о пресуществлении св. даров и об исхождении св. духа, обучал его польской речи и искусству слагать хитрые вирши. Набожный выученик, успешно пробегая служебный путь, старался сделать благочестивое употребление из усвоенного иноземного искусства и на досуге перелагал в неуклюжие вирши акафист пресвятой богородице или церковные песнопения о страстях Христовых. Но время шло, разгоралась петровская реформа, и чиновного латиниста с его виршами и всею грамматичною мудростью назначили комиссаром для приема и отправки в армию солдатских сапог. Тут-то, разглядывая сапожные швы и подошвы и помня государеву дубинку, он впервые почув-

ствовал себя неловко со своим грузом киевской учености и со вздохом спрашивал: зачем этот киевский нехай, учивший меня строчить вирши, не показал мне, как шьют кожаные солдатские спириды?

Дети этого меланхолического комиссара уже подпадали под действие закона 1714 г. об обязательном обучении дворянства, учились в цифирной школе местного архиерейского дома, женились, отцами семейств являлись на царские смотры дворянских недорослей и по разбору компаниями, покидая жен, отправлялись за море для науки под наблюдением комиссара с инструкцией, в которой за нерадение «рукою самого монарха писан престрашный гнев и безо всякие пощады превеликое бедство». Эти компании рассеивались по всем важным приморским городам Западной Европы: Амстердаму, Венеции, Марселю, Кадиксу и пр. В «заграничных академиях» их обучали математике, «экипажеству» и механике, наукам «филозофским и дохтурским», но особенно «мореходским и сухопутским», навигации, инженерству, артиллерии, «черчению мачтапов», боцманству, артикулу солдатскому, танцевать, на шпагах биться, на лошадях ездить. За границей русские навигаторы бегали с учебной службы, спасаясь в монастыри на Афонской горе, должны были посещали австерии и «редуты», т. е. игорные дома, дрались там и убивали один другого, а к родным в Россию слали письма, жалуясь на нищету и разлуку, на то, что наука определена им самая премудрая и хотя бы пришлось им все дни живота своего на тех науках себя трудить, а все-таки им не выучиться; что они на разные науки ходят: да без дела сидят, потому что языков иноземных не понимают и «незнамо учиться языка, незнамо — науки». Навигаторы молили родных походатайствовать за них у кабинет-секретаря Макарова или у самого генерал-адмирала Апраксина взять их к Москве и определить хотя бы последними рядовыми солдатами или хотя бы в тех же европейских краях быть, но обучаться какой-нибудь науке сухопутной, только бы не мореходству. В числе этих навигаторов оказался, и даже не один, прямой наследник неудачи нашего сапожного комиссара, его собственный сын или чужой — это все равно. Поступив солдатом в гвардейский Преображенский полк, он учился в военной академии в Петербурге и во время второй беременности жены, в конце царствования преобразователя, был послан в Голландию, забежал перед отъездом к доброй императрице, которая «на всякую нужду» дала ему 5 червонных, около 100 руб. на наши деньги; в Амстердаме учился

лучше многих и преимущественно дельным наукам, которые наиболее ценил преобразователь, даже рапортовал местному русскому послу, что отказывается от шпажного и танцевального ученья, «понеже оно к службе его величества угодно быть не может»; вернувшись в Петербург, успешно сдал экзамен членам адмиралтейской коллегии, определился к делам, служил усердно, чая воздаяния, и тут впервые заметил, что времена переменялись. Великого императора уже не было в живых. Навигационные науки уступили место иным вкусам. В Петербурге высшее общество дорого платило немцу за то, что «в барабаны бил и на голове стоял», и наш навигатор, попав в общество своих сверстников, очутился между двух огней. Одни, после Петра заболевшие тоской по родной старине, встретили его насмешками и ругательствами за «европейский обычай», привезенный им из Голландии; другие, одержимые вождением к новизне, преследовали его кличками неуча, деревенского мужика за недостаточный запас европейского обычая, им привезенный, за незнание модного катехизиса, которым вмнялось благородному шляхтичу в обязанность то самое шпажное и танцевальное искусство, которое он считал бесполезным; предписывалось намерения свои скрывать, губ рукой не утирать, в сапогах не танцевать, встречному знакомому приятным образом шляпу снимать за три шага, ни ближе, ни дальше, и глядеть на него весело и приятно, с благообразным постоянством. К тому же ближайшие сотрудники Петра скоро перегрызлись. На их места явились неведомые люди из Митавы и Германии, алчные, подозрительные и жестокие. От них пострадал и наш навигатор. Раз на святках он отказался нарядиться и вымазаться сажей. За это его на льду Невы раздели донага, нарядили чертом и в очень прохладном костюме заставили простоять на часах несколько часов; он захворал горячкой и чуть не умер. В другой раз за неосторожное слово про Бирона его послали в Тайную канцелярию к Ушакову, который его пытал, бил кнутом, вывертывал ему лопатки, гладил по спине горячим утюгом, забивал под ногти раскаленные иглы и калеккой отпускал в деревню, где он при малейшем промахе дворовых выходил из себя и, топоча ногами, бесконечно повторял: «Ах вы растрепоганные, растреоканьянные, непытаннные, немученные и ненаказанные!» Впрочем, он был добрый барин, редко наказывал своих крепостных, читал вслух себе самому Квинта Курция *Жизнь Александра Македонского* в подлиннике, занимался астрономией, водил комнатную прислугу в красных

ливреях и напудренных волосах; страдая бессонницей, с гусиным крылом в руке сам изгонял по ночам сатану из своего дома, окуривая ладаном и кропя святою водою нечистые места, где он мог приютиться, пел и читал в церкви на клиросе, дома ежедневно держал монашеское келейное правило, но дружно жил с женой, которая подарила ему 18 человек детей, и, наконец, на 86-м году умер от апоплексического удара. Однако привезенные им из Голландии математические и навигацкие познания остались без употребления. К русской действительности этот ученый русский служака стал как-то криво, нечаянно и больно ушибся головой об ее угол и без особенной пользы, хотя и без вреда, всю остальную жизнь коптил небо, созерцая звезды.

Отцы Онегиных начинали свое воспитание при императрице Елизавете, кончали его при Екатерине II и доживали свой век при Александре I. Их детство протекало под впечатлениями веселой светской жизни, получившей «свое основание» под покровом доброй и умной дочери Петра. То было время отдыха от ужасов бироновщины; тогда начал развиваться в обществе «тонкий вкус во всем и самая нежная любовь, подкрепляемая нежными и в порядочных стихах сочиненными песенками, тогда получила первое над молодыми людьми свое господствие». Молодые дворяне, хорошо пристроенные в столице, 5—6 лет записанные в гвардейский полк рядовыми, лет 15 производились в офицеры, допускались на французские комедии, дважды в неделю дававшиеся на придворном театре, бывали на детских балах, где в присутствии императрицы танцевало пар по 50 детей, строго выдерживая все attitudes взрослых господ и госпож, участвовали в вельможеских бал-маскарадах, длившихся по 48 часов сряду, приветствовали русских барышень, которые привозили из Лондона невиданные в Петербурге английские контрадансы и за то на много дней становились героинями столичного света. Из сферы веселых лиц и речей они нечувствительно переносились в сферу приятных книг и идей. Закон 1714 г. не прошел бесследно. Правда, теперь уже не требовалась петровская военно-техническая выучка, любимая навигацкая наука преобразователя упала при его дочери, не любившей моря, кадетов шляхетского корпуса на целые недели отрывали от учебных занятий, заставляя их разучивать и играть новую трагедию Сумарокова. Но обязательное обучение, не давая значительного запаса научных сведений, приучало к процессу выучки, делало ее привычною сословною повинностью, а потом

светским приличием и даже возбуждало некоторый аппетит к знанию. Дворянин редко учился с охотой тому, что требовалось по узаконенной программе, но он привыкал учиться чему-нибудь, хотя обыкновенно выучивался не тому, что требовалось по программе. К 6-летнему гвардейцу выписывали сперва из Берлина *m-me Ruinau*, потом из Парижа *m-lle Berger* подороже, наконец, *m-r Raoult* еще дороже, потому что он не только мог преподавать *le français*, «но и в том, что называется *belles lettres*, был гораздо сведущ». Отец выписывал для сына из Голландии, приюта французских мыслителей, библиотеку *assez bien choisie* из лучших французских поэтов и историков, и лет с 12 гвардейский сержант уже осваивался с Расином, Корнелем, Буало и даже с самим Вольтером. В царствование Екатерины он подходил к самым источникам света. По желанию самой императрицы он посещал фернейский скит Вольтера с толпою других молодых офицеров, «жадничавших» видеть философа и слушать его разговоры, не миновал и «ада молодых людей», как тогда звали Париж питомцы петровской школы, бывал на ужинах, где два философа, три *dames d'esprit*, один еврей, один капеллан с православным секретарем русского посла и с швейцарским капитаном-кальвинистом часа по четыре сыпали *bons mots*, рассказывая анекдоты, рассуждая о бессмертии души, о предрассудках, о всевозможных вопросах науки, морали и эстетики. По возвращении в Россию, покинув службу в гвардии, он занял административную должность, но не мог привыкнуть к делам, переехал в свою губернию; задумав служить по выборам, был выбран в дворянские заседатели совестного суда, но соскучился, дожидаясь дел, которых в три года поступило ровно три и не было решено ни одного, пробовал заняться сельским хозяйством, но только сбил с толку управляющего и старосту, хотел по крайней мере пожить весело, окружил себя шутами и шутихами, составил себе выездную свиту из арабов, башкир и калмыков, потчевал гостей частыми обедами, балами и псовой охотой с дворовою музыкой и цыганскою пляской и, наконец, устав и заглянув в долговую книгу, махнул на все рукой и окончательно переселился в деревню доканчивать давно начатую и сложную работу изолирования себя от русской действительности. Здесь он вечно пасмурным брюзгой уединился в своем кабинете:

С печальной думою в очах.

С французской книжкою в руках.

С этой книжкой в руках где-нибудь в глуши Тульской или Пензенской губернии он представлял собою очень странное явление. Усвоенные им манеры, привычки, симпатии, понятия, самый язык — все было чужое, привозное, все влекло его в заграничную даль, а дома у него не было живой органической связи с окружающим, не было никакого житейского дела, которое он считал бы серьезным. Он принадлежал к сословию, которое, держа в своих руках огромное количество главных производительных сил страны, земли и крестьянского труда, было могущественным рычагом народного хозяйства; он входил в состав местной сословной корпорации, которой предоставлено было широкое участие в местном управлении. Но свое сельское хозяйство он отдавал в руки крепостного приказчика или наемного управляющего немца, а о делах местного управления не считал нужным и думать; ведь на то есть выборные предводители и исправники. Так ни сочувствия, ни интересы, ни воспоминания детства, ни даже сознание долга не привязывали его к среде, его окружавшей. С детства, как только он стал себя помнить, он дышал атмосферою, пропитанною развлечением, из которой обаяниями забавы и приличия был выкурен самый запах труда и долга. Вся жизнь помышляя о «европейском обычае», о просвещенном обществе, он старался стать своим между чужими и только становился чужим между своими. В Европе видели в нем переодетого по-европейски татарина, а в глазах своих он казался родившимся в России французом. В этом положении культурного межеумка, исторической ненужности было много трагизма, и мы готовы жалеть о нем, предполагая, что ему самому подчас становилось невыразимо тяжело чувствовать себя в таком положении. Некоторые действительно не выносили его и пускали себе пулю в лоб, но это были редкие люди, которым не удавалось вполне уединить себя от действительности, которые не умели заживо бальзамировать себя, чтобы защитить свое мертворожденное мирозерцание от разрушительного действия времени и свежего воздуха. Большинству людей этого рода удавалась операция такого бальзамирования довольно легко, без мучительных кризисов, без потуг тоски и даже скуки. Заурядный екатерининский вольнодумец оставался добр и весел, не скучал и не тосковал. Тосковать будет его сын при Александре I в лице Чацкого, а скучать — его внук в лице Печорина при Николае I. Когда наступала пора серьезно подумать об окружающем, они начинали размышлять о нем на чужом языке, переводя туземные

русские понятия на иностранные речения с оговоркой, что хоть это не то же самое, но похоже на то, нечто в том же роде. Когда все русские понятия с такою оговоркой и с большею или меньшею филологическою удачей были переложены на иностранные речения, в голове переводчика получался круг представлений, не соответствовавших ни русским, ни иностранным явлениям. Русский мыслитель не только не достигал понимания родной действительности, но и терял самую способность понимать ее. Ни на что не мог он взглянуть прямо и просто, никакого житейского явления не умел ни назвать его настоящим именем, ни представить его в настоящем виде и не умел представить его, как оно есть, именно потому, что не умел назвать его как следует. В сумме таких представлений русский житейский порядок являлся такою безотрадною бессмыслицей, набором таких вопиющих нелепостей, что наиболее впечатлительные из людей этого рода, желавшие поработать для своего отечества, проникались «отвращением к нашей русской жизни», их собственное будущее становилось им противно по своей бесцельности, и они предпочитали «бытию переход в ничто». Но это были редкие случаи. Большинство, более рассудительное и менее нервное, умело обходить этот критический момент и от непонимания переходило прямо к равнодушию. Очутившись при помощи своеобразного метода изучения родной земли между двумя житейскими порядками, в каком-то пустом пространстве, где нет истории, русский мыслитель удобно устроился на этой центральной полосе между двумя мирами, пользуясь благами обоих, получая крепостные доходы с одной стороны, умственные и эстетические подаяния—с другой. Поселившись в этой уютной пустыне, природный сын России, подкинутый Франции, а в действительности человек без отечества, как называли его жившие тогда в России французы, он холодно и просто решал, что порядок в России есть *assez immoral*, потому что в ней *il n'y a presque aucune opinion publique*, и думал, что этого вполне достаточно, чтоб игнорировать все, что делалось в России. Так незнание вело к равнодушию, а равнодушие приводило к пренебрежению. Чтоб оправдать это пренебрежение к отечеству, он загримировывался миной мирового бесстрастия, мыслил себя гражданином вселенной, космополитизируя таким образом очень и очень доморощенный продукт, каким он был на самом деле. Так, он создавал себе «своевольное и приятное существование». Вольные мысли, которые он черпал из привозных книг, рассеивали его житейские огорчения,

сообщали блеск его уму, украшали его речь, даже порой потрясали его нервы: космополитический индифферентизм не мешал литературной впечатлительности, не подавлял воспитанной чувствительными романсами времен Сумарокова наклонности к отвлеченным, беспредметным восторгам. Быть может, никогда культурный русский человек не плакал так легко и охотно даже от хороших слов, как во второй половине прошлого века,—плакал, и только. Эстетические восторги и стереотипные философические слезы были только патологическими развлеченными, нервным моционом, но не отражались на воле, не становились нравственными мотивами. Вольномыслящий тульский космополит с увлечением читал и перечитывал страницы о правах человека рядом с русскою крепостною девичьей и, оставаясь гуманистом в душе, шел в конюшню расправляться с досадившим ему холопом. Культурно-психологический курьез, он ждет руки художника, но как передаточный пункт идей и преданий, как посредник «двух веков», готовых поссориться, он занимает видное место и в истории нашего общества.

Дети людей этого рода воспитывались в их преданиях, но не под их влиянием. Они наследовали многие из идей, убеждений, взглядов, привычек своих отцов, но не наследовали их вкусов, чувств и отношений к окружающему и не наследовали потому, что выросли и начали действовать под другими впечатлениями. К тому времени, когда они начали учиться, в воспитании знатного русского юношества произошел решительный перелом. Со времени французской революции в Россию наехало множество французских эмигрантов, кавалеров, графов, маркизов, аббатов, роялистов и католиков, даже иезуитов, которые, принявшись за воспитание молодых русских дворян, начали вытеснять гувернеров философского чекана, демократов, республиканцев и атеистов, дотоле господствовавших в знатных русских домах. Новые педагоги принесли с собою свою особую атмосферу, новые чувства и интересы. Они поворотили мысль воспитываемого ими юношества к предметам, которыми пренебрегали их вольнодумные предшественники, к вопросам веры и нравственности; еще важнее было то, что они не ограничивались украшением и развитием ума своих питомцев, но влияли и на их волю, пробуждали позыв к делу, к согласованию поступков с понятиями. Они не только поддержали, но и усилили в питомцах интерес к политическим вопросам, восставая против демократических понятий, какие распространяли педагоги старого, дореволюционного привоза. Несомнен-

но, при их участии в молодом поколении праздные эстетические влечения и отвлеченные идеи отцов стали сменяться нравственными побуждениями и практическими идеалами с политической окраской, обрастать живою плотью. Наполеон довершил дело, начатое французскими эмигрантами. Политические события указали направление и цель пробужденным стремлениям. Дети людей екатеринина века, защищая отечество на австрийских, прусских и, наконец, родных полях, должны были с оружием в руках стать против той самой Франции, которая для отцов многих из них была «отечеством сердца и воображения». Эта борьба приподняла их дух. Перед их глазами пронеслись великие события, которые решали судьбы народов и в которых они сами участвовали. Воротившись из похода домой, они чувствовали, что ушли от своих стариков «на сто лет вперед». Толкуя об отечестве вокруг бивачных костров на полях Прейсиш-Эйлау, Бородина, Лейпцига и под стенами Парижа, они сделали два важных открытия. Они с прискорбием узнали, что Россия—единственная страна, в которой образованнейший и руководящий класс пренебрегает родным языком и всем, что касается родины. Потом еще с большею скорбью они убедились, что в русском народе таятся могучие силы, лишенные простора и деятельности, скрыты умственные и нравственные сокровища, нуждающиеся в разработке, без чего все это вянет, портится и может скоро пропасть, не принеся никакого плода в нравственном мире. С этой минуты они круто и прямо повернулись лицом к русской действительности, к которой отцы старались поставить их спиной, как стояли сами. Отцы не знали ее и игнорировали; дети продолжали не знать ее, но перестали игнорировать.

Но с минуты этого поворота люди, его сделавшие, разошлись и пошли различными путями. Одни пошли прямо вперед с нервною отвагой. Мысль «о зле существующего порядка и о возможности его изменения» стала исходною точкой всех их дум и размышлений. Но они смотрели на окружающее сквозь призму патриотической скорби, сменившей космополитическое равнодушие отцов, а в этой призме явления отражались под значительным углом преломления. Это мешало разглядеть достижимые цели, взвесить наличные средства, предусмотреть последствия. Они надеялись одним порывистым натиском сдвинуть с места скалу, которая стояла на дороге и которую они называли существующим порядком, разбежались и ударились об нее. Последствием удара было собственное крушение.

Другие пошли стороной, осторожно взглядываясь вдаль и озираясь вокруг. Они также питали много надежд и иллюзий, желали деятельности и готовились к ней, запасаясь идеями и иноземными образцами, которые можно было бы применить в отечестве. Но еще до 1812 г. они стали замечать, что преобразовательное движение, смело начатое правительством, тормозится чем-то таким, что не зависит ни от Сперанского, ни от Аракчеева, ни от чьей личной воли. Взглядываясь ближе, они увидели, что это была та же скала, или «грубая толща», как называл Сперанский русскую действительность, которая никак не хотела сдвинуться с места, как ее ни толкали. Они так же знали и понимали ее, как и другие, но они живее других почувствовали ее размеры и устойчивость, чувствовали и то, что они ничего с ней не могут сделать, что для этого нужны не та подготовка, не такие знания и навыки, какими обладали они и их отцы, что надобно переучиваться и перевоспитываться. Это было тоже крушение, только не силы, плохо рассчитавшей свое действие, а веры, поддерживавшей деятельность. Причиной крушения было открытие, что не во всем можно извернуться чужим умом и опытом, что если глупо вновь изобретать машину, уже изобретенную, то еще глупее жителю севера заимствовать костюм южанина, что нужно примениться к среде, а для этого необходимо изучать ее и потом уже преобразовывать, если она в чем окажется неудобной. Этим открытием разрушалось целое мирозерцание, воспитанное рядом поколений, привыкших сибаритски смотреть на Западную Европу как на русскую мастерскую, обязательную поставщицу машин, мод, увеселений, вкусов, приличий, знаний, идей, нужных России, и даже ответов на политические вопросы, в ней возникающие. Тогда люди, сделавшие это открытие, впали в уныние или нравственное оцепенение и опустили руки. После, оправившись от столбняка, одни из них стали кое-как прилаживаться к русской действительности и даже явились дельцами в царствование Николая, другие произнесли над ней отлучение от цивилизованного мира за то, что она не давалась их пониманию без изучения, третьи просто принялись изучать ее в подробностях.

Совершенно особенным образом подействовала патристическая скорбь одних и уныние других на их младших братьев, которые по молодости лет не принимали участия в военных делах 1812—1814 гг. и не были вовлечены в движение, кончившееся катастрофой 14 декабря. Они проходили школу тогдашнего столичного света с его показ-

ным умом, заученными приличиями, заменявшими нравственные правила, и с любезными словами, прикрывавшими пустоту общежития, как описала его в 1812 г. г-жа Сталь. Эта школа давала много пищи злословию, вырабатывала «насмешку с желчью пополам», но не приучала ни к умственному труду, ни к практической деятельности, напротив, отучала от того и другого, всего же более располагала к скуке. На наклонности, воспитанные такою школой, ложились чувства старших братьев, патриотическая скорбь одних, уныние других. Но то были накладная скорбь, наносное уныние; то и другое чувство в младших рядах поколения не было непосредственным житейским впечатлением, получалось из вторых рук. Из смешения столь разнородных влияний и составилось сложное настроение, которое тогда стали звать *разочарованием*. Поэзия часто рисовала его байроновскими чертами, и сами разочарованные любили кутаться в Гарольдов плащ. Но в состав этого настроения входило гораздо более туземных ингредиентов. Здесь были и запас схваченных на лету идей с приправой мысли об их ненужности, и унаследованное от вольнодумных отцов брюзжанье с примесью скуки жизнью, преждевременно и бестолково отведенной, и презрение к большому свету с неумением обойтись без него, и стыд безделья с непривычкой к труду и недостатком подготовки к делу, и скорбь о родине, и досада на себя, и лень, и уныние — весь умственный и нравственный скарб, унаследованный от отцов и дедов и прикрытый слоем острых или гнетущих чувств, внушенных старшими братьями. Это была полная нравственная растерянность, выражавшаяся в одном правиле: ничего сделать нельзя и не нужно делать. Поэтическим олицетворением этой растерянности и явился *Евгений Онегин*. Так я понимаю его — правильно ли, судите сами. Прибавлю только, что Пушкин один из первых подметил эту новую разновидность русских чудаков. В 1822 г., когда он начал писать свой роман, было много и решившихся на все, и нерешительных патриотов, но разочарованные еще не бросались в глаза, как после 1825 г.

Такова родословная Онегина. Его предки — люди из дворянства, служившего проводником светского образования и органом управления. Это исключительные люди, которых слишком быстрая смена направлений образования и не всегда удачная его постановка ставила в неправильное положение. Сперва потребовалось школьное латинское образование, но под церковным руководством с целью оградить правосмыслие. Но многим получившим

такое образование приходилось действовать там, где требовалась уже военно-техническая выучка, которой усиленно и подвергалась дворянская молодежь в царствование Петра I. Многим получившим и такую выучку пришлось действовать в обществе, в котором служебные успехи много зависели от степени светской выправки и литературного образования служащего лица. Но эта выправка и это образование скоро получили такое ненормальное развитие, которое прививало идеи и вкусы, непригодные для государственной и земской деятельности дворянства, расширенной реформами Екатерины II. Тогда и образование высшего дворянства стало получать политическое направление и становилось ближе к русской действительности, к положению управляемого общества. Но такое образование при содействии унаследованных преданий и склонностей и новых влияний сделало одних нетерпеливыми новаторами, хотевшими все перестроить разом, других — нерешительными пессимистами, не знавшими, что делать, а третьих повергло в настроение, лишавшее их способности и охоты делать что-либо. Эти последние — наши Онегины. С этими людьми, мелькавшими в русском обществе в 1820-х и 1830-х годах, такое настроение и умерло.

Но я слишком долго задержал ваше внимание на личных и исторических воспоминаниях. О Пушкине всегда хочется сказать слишком много, всегда наговоришь много лишнего и никогда не скажешь всего, что следует.

### ПАМЯТИ А. С. ПУШКИНА

Для чего мы празднуем юбилейные годовщины великих деятелей нашего прошлого? Не для того ли, чтобы питать национальную гордость воспоминаниями о своих великих поколениях? Едва ли. Национальная гордость — культурный стимул, без которого может обойтись человеческая культура. Национальное самомнение, как и национальное самоуничижение, — это только суррогаты народного самосознания. Надобно добиваться настоящего блага, истинного самосознания без участия столь сомнительных побуждений.

Самосознание — трудное и медленное дело, венчающее работу человека или народа над самим собой, и достигается разносторонними путями. Праздники в память людей, двинувших или облегчивших эту работу, — минутные остановки, чтобы осмотреться, перевести дух, оглянуться на пережитое, сосчитать прожитые годы. Так в пути огляды-

ваются назад, чтобы по выдающимся пунктам сообразить пройденное расстояние и проверить направление.

Великие деятельности—проверочные моменты народной жизни. Каким-то трудно уловимым процессом общения лица с окружающей средой в них собираются мелкие, раздробленные интересы и стремления и действием личного творчества перерабатываются в цельное и крупное дело, которое в одно и то же время и вскрывает запас нажитых обществом сил и средств, и предугадывает их дальнейшее развитие. Такие деятельности—и показатели народного роста, и указатели направления его жизни. В них, как в зеркале, мы видим самих себя, сквозь них всматриваемся в собственную душу; они объясняют нам нас самих. Великие исторические могилы тем и памятны, что оживляют народное самосознание.

На протяжении двух последних столетий нашей истории были две эпохи, решительно важные в движении русского самосознания. Они ознаменованы деятельностью двух лиц, работавших на очень далеких одно от другого поприщах, но тесно связанных логикой исторической жизни. Один из этих деятелей был император, другой—поэт. *Полтава* и *Медный всадник* образуют поэтическую близость между ними.

Древняя Русь, целые века изнывая в изнурительной борьбе с восточным варварством, оторванная этой борьбой от живого общения с образованным Западом, из доступного домашнего материала и домашними средствами с трудом сколотила невзрачное, тяжелое, но прочное государство. В ней скрывались богатые материальные средства, которых она не умела найти и разработать, а силы духовные росли кое-как, без надлежащего призора и ухода, не зная сами себя. Петр Великий разглядел те и другие и начал с первых, мощными мозолистыми руками взрыл это, как он говорил, божие благословение, втуне под землю скрывающееся, призвав на помощь техническое знание Запада, и трудным ломаным путем из Москвы через Полтаву, Гангут и Ништадт вдвинул Россию в семью европейских держав и народов. С той минуты Европа была объединена и закончена, впервые стала цельной и сплоченной, Западно-Восточной Европой. Оплакивая смерть своего преобразователя, и Россия впервые почувствовала сквозь слезы свою столь неожиданно и быстро создавшуюся международную и политическую мощь. Это было чувство, ей непривычное и незнакомое; оно и было первым движением пробуждавшегося народного самосознания. Но силы духовные все еще оставались

как бы в забытьи, в привычном коснении, да и новая материальная работа, грозно заданная народу, мало помогала их возбуждению. Петр трогал их мимоходом, отдельными толчками, вызывая в лучших умах первые проблемски русской политической мысли, а в массе — крики боли, выражавшиеся в заговорах, в протестующих подпольных памфлетах и темных толках про антихриста и близкую кончину мира. Конечно, и они, эти силы, не были совсем безучастны в работе Петра: они сказывались в политической выносливости, с какою народ, несмотря на свое чувство боли и эти протесты, отдавал все — и труд, и достояние, и жизнь — на пользу государства. Но преждевременно оторванный от своего дела, Петр завещал дальнейшим поколениям средство довершить его, оставил своему народу ключ, которым можно было бы разомкнуть сковывавшие его дух цепи, — насажденную им науку.

И ключ понадобился скоро. Один русский писатель недавнего прошлого хорошо сказал, что Петр своей реформой сделал вызов России, ее гению, и Россия ответила ему.

Но ответ дан был не сразу: и Пушкин исторически подготавливался; между ним и Петром легло три поколения. На призыв, раздавшийся с престола, прежде всего откликнулся человек с самого низа общества и откликнулся так, что преобразователь из глубины своей петропавловской гробницы был вправе воскликнуть: *ныне отпускаеши*. Холмогорский крестьянский сын, отведав московской славяно-греко-латинской, а потом марбургской немецкой науки, внес первое русское и очень крупное имя в историю европейского научного знания. Потом в неширокий еще поток русского просвещения введена была тонкая, но довольно энергичная струйка вроде электрического тока. Петр брал с Запада, что находил пригодным для России в самой его жизни, брал готовое, бытовое, практически испробованное — парики, кафтаны, машины, мастерства, учебники, государственные коллегии. Идеи и чувства, над которыми много нужно работать, чтобы переработать их в нравы, в житейские отношения, занимали его гораздо менее. Он и английский парламент понял и оценил именно с этой практической стороны: на одном заседании в присутствии короля, наслушавшись речей оппозиции, Петр сказал своим: «Весело слушать, когда сыны отечества открыто говорят королю правду; вот чему должно у англичан учиться». Екатерина II поступала иначе: брезгуя как философ исторической действительностью, не желая марать рук не всегда опрятной практикой

западноевропейской жизни, она брала оттуда прямо идеалы, последние лучшие слова западноевропейской мысли, которые и на родине-то казались светлыми и несбыточными мечтами. Уровень русской жизни не поднялся, но Екатерина добилась некоторого подъема русских умов. С той поры над нашей доморощенной действительностью стала парить идея, чуждая, заимствованная идея, но все же служившая путеводной звездой для тех, кто из родной мглы искал выхода к вифлеемскому свету.

Я не скажу фразы, если скажу, что поэзия Пушкина была подготовлена последовательными усилиями двух эпох — Петра I и Екатерины II. Целый век нашей истории работал, чтобы сделать русскую жизнь способной к такому проявлению русского художественного гения. Что сказалось в этой поэзии? До сих пор она не перестает изумлять разнообразием своих мотивов: здесь и детская сказочка, и детская песенка про птичку божью, и знобящий душу анализ скупого рыцарского сердца перед раскрытыми сундуками с золотом, и *Брожу ли я вдоль улиц шумных*, и *Безумных лет угасшее веселье*, и разгулье удалое, и злые речи Мефистофеля, и священный ужас поэта, внимающего кроткому поэтическому укору московского митрополита, и озаренная теплым светом холодная пустыня скучающей души великосветского бродяги, и «горный ангелов полет, и гад морских подземный ход, и дольней лозы прозябанье».

Пушкин не был поэтом какого-либо одинокого чувства или настроения, даже целого порядка однородных чувств и настроений: пришлось бы перебрать весь состав души человеческой, перечисляя мотивы его поэзии. Недаром муза еще в младенчестве вручила ему семиствольную цевницу, способную на семь ладов петь и «гимны важные, внушенные богами, и песни мирные фригийских пастухов». Перечитывая его лирические пьесы в хронологическом порядке, испытываешь какую-то ободряющую поэтическую качку от этой быстрой смены несходных чувств и образов, где летучей очередью в стройном разнозвучии проносятся и скучно-грустные впечатления зимней дороги под звуки длинной разгульно-тоскливой песни ямщика, и исполненное светлых надежд послание в Сибирь к декабрьским заточникам, и шаловливый альбомный комплимент, и высокое призвание поэта в величавом образе библейского пророка, а рядом в *Поэте* так жизненно-просто объяснены и самые эти кажущиеся столь своенравными переходы от низменной сцены малодушных состояний к вдохновенным подъемам свыше

призванного духа. Это необъятное протяжение поэтического голоса, дававшее ему силу «владеть и смехом и слезами», еще расширялось необычайной восприимчивостью и гибкостью поэтического понимания, умением проникать в самые разнообразные людские положения, вживаться в чужую душу, всевозможные мирозерцания и настроения, в дух самых отдаленных друг от друга веков и самых несродных один другому народов, воспроизводить и коран и Анакреона, и Шенье и Парни, и Байрона и Данте, и рыцарские времена и песни западных славян, и волшебные сказания старинной русской былины и темную эпоху Бориса Годунова, и не остывшие еще предания пугачевской и помещичьей старины. И из этого плавного и мирного потока впечатлений складывается в воображении образ поэта, который не живет, а горит, постепенно разгораясь ровным и сильным пламенем, сжигая нечистую примесь возраста и времени и в себе самом переплавляя в образы и звуки разнообразные движения человеческой души, великие и малые явления человеческой жизни.

Да в поэзии Пушкина и нет ни великого, ни малого: все уравнивается, становясь прекрасным, и стройно укладывается в цельное мирозерцание, в бодрое настроение. Простенький вид и величественная картина природы, скромное житейское положение и трагический момент, самое незатейливое ежедневное чувство и редкий порыв человеческого духа — все это выходит у Пушкина реально-точно и жизненно-просто и все освещено каким-то внутренним светом, мягким и теплым. Источник этого света — особый взгляд на жизнь, вечно бодрый, светлый и примирительный, умеющий разглядеть затерявшиеся в житейской сумятице едва тлеющие искры добра и порядка и ими осветить темный смысл людских зол и недоразумений. Как сложился, откуда внушен этот взгляд? Конечно, прежде всего усилиями счастливо одаренного личного духа, стремящегося проникнуть в затемняемый житейскими противоречиями смысл жизни. вспомните, как Пушкин ночью, в часы бессонницы, тревожимый «жизни мышью беготней», вслушиваясь в ее скучный шепот, силился понять ее смысл и учил ее темный язык. Но неуловимы источники и способы поэтического понимания, умеющего и вокруг себя подметить незаметное для простого глаза, рассеянные там и сям проблески разума жизни и собрать их в светоч, способный осветить темные пути и цели нашего существования. Тот же взгляд просвечивает из глубины русского народного мышления и чувствования, в наших песнях и пословицах, в ходе истории нашего

народа, в основе всего его бытового склада. Заглянув пристально в самого себя, каждый из нас найдет его и в основе своего личного настроения, не мимолетного, случайно набегающего, а того постоянного настроения, которым определяются направление и темп жизни каждого из нас. Вникните в него еще поглубже, разберите мотивы поддерживаемого им настроения, и вы увидите, что они даже не специфически русские, национальные, а общечеловеческие мотивы общежития. Да разве это чье-либо национальное дело или монополия каких-либо избранных поколений, а не всегдашняя и общая задача человеческого духа — внести нравственный порядок в анархию людских отношений, как некогда творческое слово вызвало зримый нами космос из мирового хаоса?

Поэзия Пушкина — русский народный отзвук этой общечеловеческой работы. Общечеловеческим ее содержанием и направлением измеряется и ее значение для нашего национального самосознания. Она впервые показала нам, как русский дух, развернувшись во всю ширь и поднявшись полным взмахом, попытался овладеть всем поэтическим содержанием мировой жизни, и восточным и западным, и античным и библейским, и славянским и русским. Этой широтой поэтического захвата она дала нам почувствовать, какие нетронутые силы таятся в глубине вырастившего ее народного духа, ожидая своего призыва на общечеловеческое дело. Вместе с тем она приподняла настроение, повысила тон жизни русского читающего общества, дав столько новой изящной пищи сердцу и воображению, необъятно расширила наш поэтический кругозор, обогатив наш духовный обиход таким запасом отовсюду собранных чувств, впечатлений и образов, разновременных и разнородных картин и воспоминаний, облеченных в небывалые по совершенству литературные формы. Русский читатель более прежнего стал любить свой язык, ценить свою словесность, чтить своего писателя, наконец, уважать самого себя и свое отечество; за многое привычное в русской жизни ему стало теперь стыдно, иное стало казаться нетерпимым, другое обязательным если не по чувству нравственного долга, то хотя из приличия. Литература перестала быть развлечением для скучающих, стала серьезным, ответственным делом, убежищем и органом мыслящих людей. Но что еще важнее для нашего самосознания: если через поэзию Пушкина мы стали лучше понимать чужое и серьезнее смотреть на свое, то через нее же мы сами стали понятнее и себе самим и чужим. В тоне и настроении этой поэзии, в

свойстве и сочетании основных мотивов, ее вдохновлявших, во взгляде поэта на жизнь, во всем складе его мирозерцания впервые обозначился духовный облик русского человека. В одной пьесе Пушкин сам назвал свой поэтический голос эхом русского народа. Но он видел народность писателя не в особенностях языка, не в выборе предметов из отечественной истории, а в особом образе мыслей и чувствований, принадлежащем исключительно какому-либо народу, в его особенной физиономии, создавшейся физическими и нравственными условиями его жизни и отражающейся в его поэзии. Вот эта физиономия русского народа с его образом мыслей и чувствований и отразилась образно и внятно в поэзии Пушкина. Это, как и сама эта поэзия, народ восприимчивый и наблюдательный, с трезвым и бодрым взглядом на жизнь, терпеливый и исполненный терпимости, чуждый сомнений и непритязательный, благодарный судьбе за радость и за горе, умеющий ценить хорошее чужое и шутить над дурным своим, простодушно и задушевно отзывчивый на все человеческое, незлопамятный и осторожный, мирный и примирительный.

В *Медном всаднике*, помните, есть два стиха с вопросами, обращенными к гиганту, который «с простертою рукою сидит на бронзовом коне»:

Какая дума на челе?  
Какая сила в нем сокрыта?

Сто лет спустя после рождения Пушкина мы можем ответить на эти вопросы. Дума на челе,—разумеется, о будущем России, а сокрытая в нем сила сказалась в том, что он овладел народной массой, похожей на ту бесформенную скалу, на которой остановился его бронзовый конь, и державно простертою рукою начал над ней свою преобразовательную работу. Та же сила сказалась еще в том, что русский поэт, ставший возможным по мановению той же простертой руки, сквозь окружавшее его общество, о котором я ради памятного дня ничего не хочу сказать, кроме того, что ему, право, было бы не грешно и не трудно быть немного лучше,—сквозь это общество первый прозрел в народной массе тот облик народа, который и отпечатлел в своей поэзии. Этим он предугадал задачу и дальнейшим поколениям: точно запечатлев в своем самосознании образ своего народа, провиденный поэтом, мы и наши потомки обязаны отделять от своего народного существа все лишнее, как случайный нарост, пока не предстанет пред миром и русский народ с тем обликом, который провиден поэтом. Тогда и исполнится

то, о чем некогда мечтал Пушкин вместе с Мицкевичем, тогда еще «мирным, благосклонным»:

«...о временах грядущих,  
Когда народы, распри позабыв,  
В великую семью соединятся»...

В этой мирной семье народов под знаменем Петра Великого и займет свое место мирный русский народ.

### О ВЗГЛЯДЕ ХУДОЖНИКА НА ОБСТАНОВКУ И УБОР ИЗОБРАЖАЕМОГО ИМ ЛИЦА

Человек — главный предмет искусства. Художник изображает его так, как он сам себя выражает или старается выразить. А человек любит выражать, обнаруживать себя. Понятно его побуждение: мы любим понимать себя и стараемся, чтобы и другие понимали нас так же, как мы сами себе представляемся.

Говорят, лицо есть зеркало души. Конечно так, если зеркало понимать как окно, в которое смотрит на мир человеческая душа и чрез которое на нее смотрит мир. Но у нас много и других средств выразить себя. Голос, склад речи, манеры, прическа, платье, походка, все, что составляет физиономию и наружность человека, все это окна, через которые наблюдатели заглядывают в нас, в нашу душевную жизнь. И внешняя обстановка, в какой живет человек, выразительна не менее его наружности. Его платье, фасад дома, который он себе строит, вещи, которыми он окружает себя в своей комнате, все это говорит про него и прежде всего говорит ему самому, кто он и зачем существует или желает существовать на свете. Человек любит видеть себя вокруг себя и напоминать другим, что он понимает, что он за человек.

Обстановку, какой окружает себя человек дома и в какой он выходит на улицу, вид, в каком он появляется в обществе, художнику необходимо наблюдать и надобно уметь, т. е. привыкнуть, наблюдать. На это есть свои правила и приметы. Когда вы входите в кабинет к человеку со средствами, у которого все просто и опрятно, по стенам ни одной картинки, на столе ни одной фотографии, никакой блестящей безделки и даже лампа какая-то матовая, будьте уверены, что перед вами человек замкнутый, но доброжелательный, очень мало интересующийся вами при первой встрече, но человек с подвижным и сильным воображением, не нуждающимся во внешних возбуждениях, и по вашему уходе он мысленно сделает из

вас что угодно, вылепит какой угодно идеал и уж непременно запомнит вас надолго, если только вы оставили в нем сколько-нибудь благоприятное впечатление. Я раз пришел к очень богатому барину. В маленьком кабинете на антресолях его собственного дома я заметил несколько худеньких стульев, кожаный сильно просиженный рваный диван, небольшой письменный стол на курьих ножках, с озеровидными пятнами на потертом зеленом сукне. Человек в опрятном фраке и безукоризненных белых перчатках на дорогом подносе поставил на стол кофе и при этом передвинул стоявшие на нем два подсвечника: тут я заметил, что это были бронзовые подсвечники старинной работы, ценное качество которой без труда почувствовал даже мой несведущий в таких вещах глаз. Мы долго и оживленно говорили о предмете, сильно его занимавшем, он с видимым любопытством меня выслушивал, при прощанье крепко жал мне руку за полученные сведения, а через неделю при встрече в гостях не узнал меня. Есть люди, которые любят щеголять нарядными драгоценными рубищами, чтобы заставить людей запомнить себя, и забывают о собеседнике тотчас, как только расстаются с ним.

Человек украшает то, в чем живет его сердце, во что кладет он свою душу, свои умственные и нравственные усилия. Современный человек, свободный и одинокий, замкнутый в себе и предоставленный самому себе, любит окружать себя дома всеми доступными ему житейскими удобствами, украшать, освещать и согревать свое гнездо. В древней Руси было иначе. Дома жили неприхотливо, кой-как. Домой приходили как будто только поест и отдохнуть, а работали, мыслили и чувствовали где-то на стороне. Местом лучших чувств и мыслей была церковь. Туда человек нес свой ум и свое сердце, а вместе с ними и свои достатки. Иностранцы, въезжая в большой древнерусский город, прежде всего поражались видом многочисленных каменных церквей, внушительно поднимавшихся над темными рядами деревянных домиков, уныло глядевших своими тусклыми слюдяными окнами на улицу или робко выглядывавших своими трубами из-за длинных заборов. В 1289 г. умирал на Волыни в местечке Любомли Владимир Василькович, очень богатый, могущественный и образованный для своего времени князь, построивший несколько городов и множество церквей, украшавший церкви и монастыри дорогими коваными иконами с жемчугом, серебряными сосудами, золотом шитыми бархатными завесами и книгами в золотых и серебряных окладах. Он

умирал от продолжительной и тяжелой болезни, во время которой лежал в своих хоромах *на полу на соломе*. Или возьмем жившего немного позднее московского князя Ивана Даниловича Калиту. Это был один из самых сильных и богатых князей, если не сильнейший и богачейший князь Северной Руси в начале XIV в., отличавшийся притом большим скопидомством, а между тем, перечисляя в своей первой духовной грамоте (не позднее 1328 г.) наиболее ценную домашнюю движимость, которую он оставлял своим наследникам, он прописывает 12 золотых цепей, 9 поясов золотых и несколько серебряных, 1 женское ожерелье, одно монисто, 14 женских обручей, 1 чело, 1 гривну, 7 кожухов и кафтанов, 1 золотую шапку, 6 золотых чаш и чар, 17 штук блюд и другой посуды золотой и серебряной и 1 золотую коробочку—все это, как видите, можно уложить в один порядочный сундук.

Теперь обстановка и убор человека далеко не имеют того значения, какое они имели в старые времена. Современный человек обставляет и убирает себя по своим понятиям и вкусам, по своему взгляду на жизнь и на себя, по той цене, какую он дает самому себе и людскому мнению о себе. Современный человек в своей обстановке и уборе ищет самого себя или показывает себя другим, афиширует, выставляет свою личность и потому заботится о том, чтобы все, чем он себя окружает и убирает, шло ему к лицу. Если исключить редких чудаков, мы обыкновенно стараемся окружить и выставить себя в лучшем виде, показаться себе самим и другим даже лучше, чем мы на самом деле. Вы скажете: это суетность, тщеславие, притворство. Так, совершенно так. Только позвольте обратить ваше внимание на два очень симпатичные побуждения. Во-первых, стараясь показаться себе самим лучше, чем мы на деле, мы этим обнаруживаем стремление к самоусовершенствованию, показываем, что хотя мы и не то, чем хотим казаться, но желали бы стать тем, чем притворяемся\*. А во-вторых, этим притворством мы хотим понравиться свету, произвести наилучшее впечатление на общество, т. е. выражаем уважение к людскому мнению, свидетельствуем почтение к ближнему, следовательно, заботимся об умножении удобств и приятностей общежития, стараемся увеличить в нем количество приятных впечатлений. Видимая суетность и тщеславие становятся вспомогательным средством или орудием альтруизма. Конечно, мы улыбаемся при виде иной дамы в пожилых годах и с юным сердцем, которая любит рядиться в молодые цвета. Но вы отдадите справедливость ее

доброму намерению: скрывая свой пожилой возраст, она ведь отклоняет вас от мысли о неприятности, которая ждет и каждого из вас.

В старые времена личности не позволялось быть столь свободной и откровенной. Лицо тонуло в обществе, в сословии, корпорации, семье, должно было своим видом и обстановкой выражать и поддерживать не свои личные чувства, вкусы, взгляды и стремления, а задачи и интересы занимаемого им общественного или государственного положения. Над личными вкусами и понятиями, даже над личными доблестями царили общеобразовательное приличие, общепризнанный обычай. В древней Греции даже честным и даровитым позволялось \*... В настоящее время зачастую встречаешь гимназиста, который идет с выражением Наполеона I или по меньшей мере Бисмарка, хотя в кармане у него балльная книжка, где все двойка, двойка и двойка; встречаешь порой и гимназистку, особенно в очках, что теперь не редкость, которая смотрит императрицей Екатериной II или даже самой Жорж Занд, хотя это просто Машенька Гусева с Зацепы, и больше ничего. Теперь такие несвойственные возрасту и положению выражения величия вызывают только веселую улыбку, а в старину они навлекли бы строгое внушение. В прежние времена положение обязывало и связывало, обстановка, как и самая физиономия человека, в значительной мере имела значение служебного мундира. Каждый ходил в приличном состоянии костюме, выступал присвоенной званию походкой, смотрел на людей штатным взглядом. Занимал человек властное положение в обществе — он должен был иметь властные жесты, говорить властные слова, глядеть повелительным взглядом, с утра до вечера не скидать с себя торжественного костюма, хотя бы все это было ему тяжело и противно. Родился князем Воротынским — поднимай голову выше и держи себя по-княжески, по-воротынски, а стал монахом — так и складывай смиренно руки на груди и береги глаза, опускай их долу, а не рассыпай по встречным и поперечным. Словом, назвался груздем, так полезай в кузов.

Когда древнерусский боярин в широком охабне и высокой горлатной шапке выезжал со двора верхом на богато убранном ногайском аргамеке, чтобы ехать в Кремль челом ударить государю, всякий встречный человек меньшего чину по костюму, посадке и самой физиономии всадника видел, что это действительно боярин, и кланялся ему до земли или в землю, как требовал обычаем, потому что ведь он — столп, за который весь мир держит-

ся, как однажды выразился про родовитых бояр знаменитый, но неродовитый князь Пожарский. Появись он на улице кой-как, запросто, в растрепанном виде, с легкомысленными, смеющимися глазами, он только неприятно смутил бы встречающих, как смутились бы молящиеся в соборном храме, если бы при полном праздничном освещении, среди всего церковного благолепия из царских дверей вышел владыка-митрополит в рубище и с улыбкой на устах.

Припоминаю один давний случай. Давали благотворительный концерт с участием какой-то дивы и с очень повышенными ценами. В первом ряду сидел в блестящих мундирах, фраках и туалетах цвет местного общества. К распорядителю, принимавшему у входа билеты, подходит скромно одетая и с скромным видом дама и подает один из первых номеров. Подозрительный и неловкий распорядитель посмотрел на билет, потом на даму, потом опять на билет и имел неосторожность спросить: «Позвольте узнать, как ваша фамилия?» — «Княгиня такая-то», — тихо ответила дама, выговорив такую фамилию, от которой у распорядителя зарябило в глазах, и он, растерянно извиняясь, повел ее к первому ряду, который встал весь при ее появлении. В старые времена житейская обстановка предвращала подобные недоразумения. Отдельные лица прятались за типами; внешними признаками резко отмечались и различались целые классы людей, общественные состояния, а классы, состояния рассматривались не как простые случайности рождения или капризы счастья, а как естественные нормы жизни или предназначения всем правящей всевышней десницы: кому что на роду написано, судьба.

Если вы потрудитесь вникнуть в логику такого исторического разума гения, который строил формы и отношения людского общежития, вам не покажутся странными некоторые явления старинной русской жизни, с которыми вы можете встретиться, изучая русские исторические памятники для своих художественных композиций. Столь известная в истории раскола, небызызвестная в русской живописи Федосья Прокофьевна Морозова, урожденная Соковнина, была большая московская боярыня времен царя Алексея Михайловича. Она была замужем за родным братом боярина Бориса Ивановича Морозова, воспитателя и свояка этого царя, и обладала огромным богатством: у ней было 8 тыс. душ крестьян; дома ей прислуживало человек 300 челяди; в дому у нее всякого добра было больше чем на 2½ миллиона рублей на нынешние деньги.

После, когда ей пришлось встать за благочестие, хотя и ложно понятое, за то, что она считала старой истинной верой, за двуперстие и сугубую аллилуйю, она показала, как она мало дорожит всеми дарованными ей житейскими благами и честью при дворе и золоченой кроватью дома, не побоялась ни допросов, ни сырого боровского подзелья, куда ее посадили. А посмотрите, как она, оставшись молодой вдовой, в «смирном образе», по-нашему в трауре, выезжала из дома: ее сажали в дорогую карету, украшенную серебром и мозаикой, в шесть или двенадцать лошадей, с гремющими цепями; за нею шло слуг, рабов и рабынь человек со сто, а при особенно торжественном поезде — с двести и с триста, оберегая честь и здоровье своей государыни-матушки. Царица ассирийская да и только, скажете вы, — раба суеверного и тщеславно пышного века! Хорошо. Перейдем к концу XVIII столетия, в век Вольтера, Руссо и императрицы Екатерины II, в эпоху разума, свободы, равенства и естественной простоты, когда под горячими лучами разгоревшейся человеческой мысли таяли людские суеверия и предрассудки. Вице-канцлер Екатерины II граф Иван Андреевич Остерман был сын любимца Петра Великого барона Андрея Ивановича Остермана. Этот вице-канцлер был образованный, неглупый и богатый дипломат, в домашней жизни не любил роскоши, держал себя важно, но без гордости. На святой неделе, когда в Петербурге бывало народное гулянье с качелями, он любил поглядеть, как веселится народ. Посмотрите, в какой обстановке появлялся он на гульбище. Он приезжал один в одноместной позолоченной карете с большими стеклами, точно фонарь, на шестерке белых лошадей; на запятках стояли два гайдука в голубых епанчах, из-под которых выглядывали казакины с серебряными снурками, а на головах высокие картузы с перьями и с серебряными бляхами на лицевой стороне, на которых виден был именной вензель господина; перед лошадьми шли два скорохода с булавами в руках, в нарядных костюмах, в щегольских чулках и башмаках, какая бы ни была слякоть. Ныне появление в такой обстановке придало бы народному гулянию характер публичного маскарада под открытым небом и было бы встречено веселым хохотом. Сто лет назад эту процессию столичная толпа встречала с обнаженными головами и почтительным шепотом: «Его сиятельство граф Остерман едет!»

Конечно, и в современной жизни много условного, ненужного для прямых целей общежития, но удобного

для прикрытия его недостатков. Люди, которым приходится видаться, но не о чем говорить, поневоле говорят о политике и погоде, чтобы не смотреть молча в глаза друг другу. Но эти условности, еще удержавшиеся в жизни по привычке или необходимости, эти переживания быстро теряют свою обязательность в общем сознании или в общественном мнении. Все более торжествует мысль, что каждый имеет право быть самим собой, если не мешает другим быть тем же и не производит общего затруднения. Мы улыбнемся при виде вороны в павлиньих перьях, но едва ли осудим ее в душе — за что? Если она умеет носить их прилично и не задевая ими простых неукрашенных ворон. В старые времена, при других понятиях и нравах, такая своеобычность была менее удобна и, во-первых, не совсем безопасна. Общественное мнение было более завистливо и нетерпимо, не выносило ничего выдающегося, незаурядного, своеобразного. Будь как все, шагай в ногу со всеми — таково было общее правило.

Известно, что в древней Руси дамы любили белиться и румяниться. Может быть, в этом обычае был свой смысл: он делал красивых менее красивыми, а дурных приближал к красивым и таким образом сглаживал произвол судьбы в неравномерном распределении даров природы. Если так, то обычай имел просветительно-благотворительную цель, заставляя счастливо одаренных поступаться долей полученных даров в пользу обездоленных. Но духовенство не благоволило к обычаю, подозревая в нем иные, худшие побуждения. Однако были софисты, которые замысливато оправдывали этот обычай. Вот что случилось в 1653 г. в доме муромского воеводы. В праздник собрались к нему гости. Пришел и протопоп Логгин и, благословляя хозяйку, спросил: не белишься ли? Гости вместе с хозяином подхватили это слово и накинулись на батюшку: так что ж, что белится? Ты, протопоп, белила хулишь, а ведь без белил и образов не пишут. Рассерженный о. Логгин жестко возразил: да если таким составом, каким иконы пишутся, ваши рожи намазать, так всем это, пожалуй, и не понравится. Однако от воеводы полетел в Москву донос к патриарху, что-де муромский протопоп Логгин хулит иконы. Один иноземец, бывший в Москве при царе Михаиле, рассказывает, что одна красивая московская боярыня не хотела белиться и румяниться. Тогда все дамы боярского круга взъелись на нее: «Она осрамить нас вздумала: я-де солнце, а вы оставайтесь тусклыми свечками при солнечном сиянии», и чрез мужей заставили-таки красавицу подчиниться обычаю: гори-де и ты, подобно

нам, тусклой свечкой при солнечном сиянии. Будь как все, шагай в ногу со всеми. Вот характерная нравоописательная картинка из записок известного московского подьячего времен царя Алексея Михайловича. «В домах своих живут они смотря по чину и общественному весу каждого, вообще же без особенных удобств. Малочинному приказному человеку нельзя построить хорошего дома: оболгут перед царем, что-де взяточник, издоимец, казнокрад, и много хлопот наделают тому человеку, пошлют на службу, которой исполнить нельзя, инструкцию такую напишут, что ничего не поймешь, и непременно упекут под суд, а там—батоги и казенное взыскание, продажа движимого и недвижимого с публичного торга. А ежели торговый человек или крестьянин необычно хорошо обстроится, ему податей навалят. И потому,— заключает Котошихин,— люди Московского государства домами живут негораздо устроенными и города и слободы у них неблагоустроенные же».

Впрочем, свобода убора и обстановки стеснялась не одной людской зависимостью, но и соображениями благочиния и благоустройства\*. При тогдашних нравах свобода могла повести и приводила к вредным излишествам и чудачествам, рассказами о которых так обильны наши предания о добрых старых временах. Правительство тогда считало своим долгом отечески опекать подданных и во имя общественной дисциплины вмешиваться в их частную жизнь. У нас, как и в других странах, к этой цели было направлено целое законодательство о платье и роскоши. Еще в прошедшем столетии у нас запрещался ввоз из-за границы некоторых дорогих материй и других предметов роскоши. Закон хотел сделать из людской слабости поощрение к труду, к образованию и общественному служению, из личной суетности и тщеславия—средство общественного порядка, щегольство превратить в стимул гражданского чувства. Обстановка должна была стать не просто выставкой богатства, но и отметкой общественного положения, социального распорядка лиц, знаком отличия за умение вести дела и за заслуги обществу и государству. Хочешь блеснуть перед людьми, доставить себе удовольствие, кольнуть их завистливые глаза своей персоной, ливреей лакея или упряжкой—прибери на это установленный патент трудолюбием и искусством да и делай это разумно и осторожно, чтобы люди не посмеялись и над тобой, и над тем, кто патентовал тебе привилегию колотить им глаза своей персоной или упряжкой. Раскройте жалованную грамоту императрицы Екатерины II на права и

выгоды городам Российской империи: вы найдете там ряд статей о том, как могли по закону выезжать люди разных городских состояний. Городское население по грамоте делилось на именитых граждан, на купечество трех гильдий, на цеховых ремесленников и простых рабочих. Эти звания приобретались городской общественной службой, образованием, искусством и размером капитала, т. е. величиной платимого с него в казну процентного сбора, значит, трудолюбием, талантом, услугами обществу и государству. Грамота прямо говорит, что «название городских обывателей есть следствие трудолюбия и добронравия, чем и приобрели отличное состояние». Так к высшему состоянию именитых граждан причислились наравне с крупнейшими капиталистами ученые, имеющие академические или университетские аттестаты, художники четырех художеств, именно архитекторы, живописцы, скульпторы и музыкосочинители также с академическими аттестатами «и по испытаниям главных российских училищ признанные таковыми». И вот что мы читаем в грамоте о правах выезда для лиц высших городских состояний: именитым гражданам дозволяется ездить по городу в карете парою и четвернею; купцам первой гильдии дозволяется ездить по городу в карете только парою, купцам второй — в коляске парою, третьей же гильдии запрещается ездить в карете и впрягать зимою и летом больше одной лошади; то же и цеховым ремесленникам или мещанам.

Но довольно, господа! Теперь подсчитаем, до чего мы договорились. Я обещал сказать вам свое мнение о том, как надобно художнику смотреть на обстановку и убор изображаемых им лиц. Этот взгляд устанавливается различным значением обстановки и убора в прежние времена и теперь, иначе говоря, историческим значением этих житейских подробностей. Это различие в свою очередь зависит от неодинакового отношения лица к обществу теперь и в прежние времена. Теперь человек старается сознавать и чувствовать себя свободной цельной единицей общества, которая живет для себя и даже свою деятельность на пользу общества рассматривает как свободное проявление своей личной потребности быть полезным для других. Согласно с этим он подбирает себе, разумеется в пределах своих средств, обстановку и убор по своим личным вкусам и понятиям, по своему взгляду на жизнь, на людей и на себя. Все, что мы видим на современном человеке и около него, есть его автобиография и самохарактеристика, так сказать. Мода, общепринятый обычай, общесоблазательное приличие указывают только границы

личного вкуса и произвола. Прежде лицо тонуло в обществе, было дробной величиной «мира», жило одной с ним жизнью, мыслило его общими мыслями, чувствовало его мирскими чувствами, разделяло его повальные вкусы и оптовые понятия, не умея выработать своих особых, личных, розничных, и ему позволялось быть самим собой лишь настолько, насколько это необходимо было для того, чтобы помочь ему жить как все, чтобы поддержать энергию его личного участия в хоровой гармонии жизни или в трудолюбиво автоматическом жужжании пчелиного улья. Люди прежних времен умели быть эгоистами не хуже нас, даже бывали чудаками и самодурами, какими не сумеем стать мы, но они менее нас умели быть оригинальными, без странностей, своеобразными и самобытными, без неудобных чудачеств, без потребности в полицейском надзоре. Потому в своей житейской обстановке, как и в своем наружном уборе, они были столь же мало своеобразны и изобретательны, как в своих чувствах и вкусах, повторяли общепринятые завитки, цвета и покрои, исторически сложившиеся, отцами и дедами завещанные. Теперь обстановка— есть характеристика личного настроения и положения человека, его средств и взгляда на свое отношение к обществу. Прежде она была выставкой его общественного положения, выражением не его взгляда на свое отношение к обществу, а взгляда общества на его общественное положение и значение. Ныне обставляет и держит себя, как сам себя понимает, а прежде— как его понимали другие, т. е. общество, в котором он жил. Отсюда следует, что, изображая современного человека, вы, разумеется, в указанных пределах общепризнаваемого обычая и приличия можете придумывать своему герою какую угодно обстановку, платье и прическу, лишь бы все это верно выражало его своеобразный характер, можете быть для него и портными и парикмахерами, только оставаясь художниками и психологами. Но в изображении стародавних людей художник обязан быть историком, окружать и убирать его, как тогда все себя окружали и убирали, хотя бы это окружение и этот убор и не согласовались с характером изображаемого лица\*.

# ПИСЬМА МОЛОДОГО В. О. КЛЮЧЕВСКОГО

1861 г.

1. И. В. и Е. Ф. ЕВРОПЕЙЦЕВЫМ\*

23—25 июля 1861 г.

Любезнейшие Иван Васильевич и тетенька!

Москва, 23 июля 1861 г.

Путь свой я кончил\* и, благодаря Бога, благополучно. 22-го в 8 с половиной часов вечера машина привезла нас к вокзалу Московско-Владимирской железной дороги — на самый край Москвы. Народ зашумел, засуетился, как обыкновенно бывает при высадке пассажиров; мы получили свой багаж и принялись отыскивать извозчика. Странное чувство охватило меня, когда я вышел из вокзала и стал садиться на извозчика. Москвы за темнотой и пылью нельзя было рассмотреть нисколько; чуялось что-то громадное — и только. В первый раз в жизни почувствовал я себя одиноким, когда мы отъехали от станции жел[езной] дороги: ведь ни назад, ни вперед не было ничего не только родного, знакомого даже! Мы ночевали на подворье — в гостинице второй руки. Поутру сегодня я отыскал Маршева\* и Покровского\*; они сказали мне, что квартира нанята уже и что они ждали только меня, чтобы переехать на нее; мы вскоре и переехали. Теперь я сижу в квартире один — Мар[шев] и Покр[овский] ушли с Очевым (у которого они стояли до переезда на квартиру — родственника Мар[ше]вым) в парк пить чай и гулять, а я остался, чтоб собраться с духом и отдать отчет и себе, и вам в моем положении; я теперь вам буду во всем отдавать отчет, потому что вам я обязан более, чем кому-либо, вам и, разумеется, маменьке. Но прежде попрошу у вас

известий о вашем житье-бытье. Что с маменькой? Мне сильно больно было расставаться с ней больной. Каково ваше здоровье? Вы, тетенька, слишком много плакали при прощанье, извините меня за это замечание: я, право, не стою этого. Поскорее известите о здоровье всех вас — тогда я буду вполне спокоен относительно Пензы.

Теперь послушайте моей истории. Я сказал, что я сижу один в своей квартире; надо еще добавить, что в нижнем этаже огромного каменного трехэтажного дома вблизи Тверской — одной из лучших московских улиц. Квартира наша — да что и описывать ее — превосходная комната, с мебелью, в два окна, перегорожена ширмами. Перед окнами длинный забор и сад купеческого клуба; часто буду слушать здесь музыку. Так как дом, в котором мы живем, не в самой Тверской, а в переулке, то здесь меньше шума, нет неугомонной скакатни экипажей — словом, прекрасно! Сегодня подали нам обед; мы, замечу кстати, положили обедать по-столичному в 4 часа с половиной. Каков же обед? Суп перловый, котлеты с макаронами и картофелем, жареный рябчик и, наконец, пирожное — что-то мудреное, чего я ни назвать, ни разобрать не умею. Очев, в качестве нашего наблюдателя и эконома (он живет недалеко от нас), очень хвалил наш обед; он нарочно приходил только для того, чтобы посмотреть наш стол и отведать. В случае какой-нибудь нужды мы звоним, и к нашим услугам является служитель. Дом, в котором мы живем, кажется, весь отдается внаем и разделен на такие же комнаты, какую занимаем мы; след[овательно], таких постояльцев, как мы, в нем много. Да, об ужине: ужина, разумеется, нет; кажется, его и не нужно после такого обеда, как сегодня, и после чаю в 8—9 часов вечера; и дорогой я уж испытал, что не ужинать — прекрасная вещь для здоровья, только привыкнуть немного. Что бы вы подумали о цене, которой стоит эта квартира и этот обед? 13 рубл[ей] сер[ебром] с человека. Что? Как на ваш взгляд? Дорого ужасно, не правда ли? И я совершенно согласен с вами, что ужасно дорого по мне, несмотря на все удобства, которыми нас окружили. Но послушайте, что дальше. Когда Маршев-сын сообщил, что квартира нанята хорошая и дешевая, всего в 13 [рублей] с человека, я сказал, что очень по мне дорого, но меня начали уверять, что это очень дешевая квартира со столом один раз в день. Я, разумеется, не разуверился: карман очень ясно доказывал, что дорого, — и дело с концом. Но я ничего не сказал. У меня было в уме при удобном случае высказать тотчас Маршеву-сыну

и Очеу, что меня напрасно ждали с такой квартирой, что можно было наперед видеть, что платить столько я решительно не в состоянии, но до самого обеда я не нашел случая высказать все это. Это я, впрочем, держу при себе до времени и вот почему: после обеда является хозяин. Я сказал, что Очев приходил пробовать наш обед. Он сейчас же сказал хозяину, нужны ли ему деньги; дело, видите ли, в том, что по-столичному деньги за месяц нужно отдать вперед; хозяин отвечал, разумеется, что деньги всегда нужны. Я думал, что придется мне тут объясниться, но Очев вынул и отдал 30 с чем-то рублей сер[ебром], и хозяин тотчас дал расписку, что получены деньги по 23 августа; след[овательно], за троих: меня, Маршева и Покровского. Вот судите по этому о моем будущем положении, да, пожалуй, и теперешнем. Что будет впереди, я пока еще не знаю. Мне не хочется обманываться излишними надеждами: я ехал в Москву, крепко надеясь на Бога, а потом на вас и на себя, не рассчитывая слишком много на чужой карман, что бы там со мной ни случилось. Маршев-отец, может быть, и думает удержать меня вместе со своими детьми и помогать мне, но он не говорил мне ясно, а только намекал на это. Я это со временем все уясню себе и передам вам; а пока я благодарен ему и за то, что он сделал для меня, и, кажется, могу быть уверен, что в продолжение этого месяца и августа обеспечен относительно стола и квартиры, не платя 13 р[ублей] с[еребром].

Теперь о самой дороге. Все время я был отлично здоров, ел все без разбора: и соленое, и кислое, и молоко, и яйца — словом, все, что запрещает диета, а лихорадка до сих пор и на глаза не показывалась, будто я бросил ее в овраг у пензенской заставы; даже дождь, ливший на нас в первую же ночь нашего путешествия, нисколько не подействовал на меня с дурной стороны. От шиблей и тряски нам-таки досталось; только на железной дороге мы отдохнули. Благодаря муромским пескам и прочим препятствиям мы проехали целую неделю до Владимира — г. е. 500 верст. Извозчики, чуя беду от железной дороги, брали очень дорого, но Тихон Алексеевич\* блистательно торговался и этим значительно сократил наши путевые издержки. Дивное дело! При всеобщей дороговизне, которую мы встречали на пути, в селах брали с нас за разные потребности дороже, чем в городах, даже таких, как Муром и Владимир. Напр[имер], за воду и самовар без чаю и сахару в селах брали с нас по 15 к[опеек] сер[ебром], а в означенных городах по 10; за простой,

негостинный обед (довольно сытный и сложный) в одном селе Влад[имирской] губернии мы заплатили по 30 к[опеек] сер[ебром] каждый, а в самом Владимире за такой же точный по 25 к[опеек] с[еребром]. Эти сельские дворники и особенно дворничихи—пакостный народ, настоящие кулаки. Посудите сами: неужели дешево и человечно взять за яйцо полторы коп[ейки] сер[ебром]? Мих[аил] Митроф[анович]\* хотел на одном дворе полакомиться ветчинкой; ему подали довольно плохой, некопченый окорок и содрали 15 к[опеек] сер[ебром] за фунт, хотя у него не достало сил съесть и четверти. Вся поездка с расходами на пищу и железной дорогой стоила мне 16 р[ублей] 55 к[опеек] с[еребром]. Нечего делать—Тих[он] Алексеев[ич] уверял, что ныне дороже, чем в прошлый год, и извозчики, и пища на постоялых дворах. Железная дорога от Владимира до Москвы тянется на пространстве 177 верст, и машина в 6<sup>1</sup>/<sub>2</sub> часов прокатила нас по нему за 2 р[убля] 21 коп[ейку] сер[ебром], да чемодан потянул больше пуда, и я отдал за него 38 коп[еек] сер[ебром]. Эта цена ненормальная; говорят, на первых порах по открытии всегда бывает дороже, со временем подешевеет. Кстати, замечу, что пензенскую и дорожную пыль я посовестился везти в Москву: к такому городу, как матушка-Москва златоглавая, нужно подъезжать с чистым телом по крайней мере, если не с чистой душой, и потому я был во Владимире в «дворянской», т. е., попросту сказать, довольно чистой бане и отдал 7 к[опеек] сер[ебром]. Я все цены прописываю здесь для того, чтобы вы сравнивали их с пензенскими и судили. К замечательным случаям поездки нужно особенно отнести два след[ующих]: я навестил Евфимия Петровича\*, и однажды среди поля ночью мы созерцали звезды, лежа на траве или голой земле, не помню хорошенько. Последнее, впрочем, довольно обыкновенная в дороге вещь: ехали, ехали, вдруг хряснула ось, и мы слезли и расположились на поле на спинах в ожидании извозчика, который поскакал обратно в деревню за новой телегой. В Саранск мы приехали на другой день в 3 часа пополудни и стали у брата Флоринского\*, моего товарища, который ехал с нами в другой телеге, у него мы и обедали; между прочим, ели превосходную яичницу, я съел так много, что мне стало страшно за себя, но лихорадка на этот раз спустила мне, как спускает и до сих пор. Отправившись к нашим, я прежде всего сходил посмотреть их церковь, но картин внутри не рассмотрел за своей слепотой и потому ничего не могу сказать о них. Кузин своих я не узнал ни одной, кроме

Сашеньки\*; она здорова и все та же, что была и в Пензе. Дмитрий Павлович\* благоденствует и служит в какой-то конторе, кажется по питейной части, но когда меня потчевали водкой, он отказался отвести свой ряд. Наши все здоровы, я от вашего имени просил у них извинения в том, что вы долго не писали к ним, и просил их писать в Пензу, что они и обещали. Из Саранска я выехал с приобретением: по случаю моей слепоты тетенька посоветовала мне нюхать табак и заставила понюхать для пробы, я расчихался, и утереться мне дали новый бумажный платок, так и шуршит. Я отказывался, говорил, что у меня в чемодане их множество, но меня заставили-таки взять.

25 июля.

С своим прошеньем я таки посуетился\*; мне должно было идти к президенту комиссии, чтобы просить его о позволении мне держать экзамен; он на мое объяснение, что в мае я не мог явиться по болезни, на что имеется свидетельство, заметил, что прошенье следовало бы подать тогда же, но поворочал бумаги, написал на прошенье «25 июля» и отдал, сказав: «Там примут» (т. е. в университете). 25 р[ублей] я отдал в университет. Мне не хотелось бы надоедать вам просьбами о деньгах, но вы теперь можете рассчитать мои потребности; особенно мне необходимо обзавестись хоть сколько-нибудь порядочной одеждой, потому что неловко в старом и кое-каком платье явиться на урок к какому-нибудь порядочному человеку. А этот урок, может быть, откроется скоро; я уже переговорил об этом деле с одним студентом университета из семинаристов; он рассказал мне о трудности жить в Москве на свои деньги, о своих опытах на этом поприще и о необходимости добывать средства всеми способами; он добавил, что зимой у него будет много случаев давать уроки и что он может сдать некоторые из них мне; он был так добр, что обещал похлопотать об этом в скором времени. Из сатина, подаренного дяденькой, я хочу сшить сюртук и брюки, если только хватит на это 4 аршин; в сюртуке я чувствую особенную нужду: мой старый стал уже совсем вытираться. Я теперь хожу в пальто, которое оставил у меня Митрофаньч: ему не захотелось везти его и еще теплое пальто в Питер. Так[им] обр[азом], до половины августа я прощеголяю в суконном пальто, а там начну в своем, а осенью... да осенью будет день, будет и пища.

О Москве я пока ничего не скажу, потому что еще не

вгляделся в нее хорошенько. В своем письме, пожалуйста, требуйте от меня всевозможных сведений о Москве, каких вам захочется иметь, постараюсь сообщить удовлетворительный ответ на все запросы. Маменьке я не пишу особенного письма потому, что мне пришлось бы повторить все, что я пишу к вам, ведь теперь мне одинаково писать и к вам, и к маменьке; все, что я должен сказать матери, я должен сказать и вам. Заверьте ее, что я отлично здоров и всего более желаю, чтобы она не горевала о мне, потому что мое положение таково, что пока еще не о чем много тужить. Пишите как можно больше о себе и о всех наших, это будет для меня всего спасительнее; иногда страшно беспокоиться при мысли, что-то поделывается в Пензе. Лизе\* — мой искренний привет. Дяденькам\* — почтение. Бабеньку\* поцелуйте за меня. Ваше письмо, надеюсь, выйдет из Пензы с первой же почтой по получении моего; пожалуйста, сделайте так. Как будет нужно, не замедлите, Иван Васильевич, сообщить мне тему будущей Вашей проповеди и назначьте срок, к которому я должен прислать ее. Означьте и то, в каком тоне нужно писать ее: Варлааму\*, пожалуй, не по нутру напишешь. Впрочем, это уже несколько известно мне. Прощайте. В следующем письме я постараюсь сообщить Вам, тетенька, много своих наблюдений над московскими дамскими костюмами; может быть, найдется что-нибудь любопытное и забавное, над чем можно поохотать от всего сердца. Прощайте.

Ваш В. Ключевский.

Р. С. Пашеньку\* прошу передать Маршевым две их книги, оставшиеся у дяденьки Николеньки: «Смесь» и «Современник» 1857 года. Мишеньку\* обнимаю нещетно раз». Катенька\* прыгает ли?

Мой адрес: В Москву, на Тверской, в Козицком переулке, в доме Лопыревского, в квартире Неждановой, такому-то имя рек.

2. П. И. ЕВРОПЕЙЦЕВУ\*

[26 июля 1861 г.]

Бесподобнейший Пашенька!

Я уверен, что тебе всего лучше хотелось бы услышать от меня что-нибудь вроде описаньица всех достопримечательностей дороги, как-то новых городов, муромского леса, железной дороги и, наконец, Москвы с ее бесподоб-

ными калачами и сайками, с ее золотыми главами на церквах, с ее Кремлем и пр., и пр., и пр. Хорошо, я тебя удовольствую во всех сих пунктах. Во-первых, новые для нас с тобой прежде и для тебя донесь города, попадавшиеся мне на дороге, или не стоят того, чтобы упоминать о них в географиях даже, не то чтобы в письме, или слишком хороши, чтобы писать о них кое-как. Напр[имер], что за городок Владимир? Он по крайней мере вдвое меньше Пензы, но, вылезь она хоть из кожи, не сравняться ей с маленьким и миленьким Владимиром. Улицы чистые, выложены камнем, так что пылинки нет, кажется, на них, стройные, окаймлены высокими красивыми домами; ну, словом, он так хорош, что я ничего не сумею сказать тебе о нем получше. Он на высокой горе, круче, чем на нашем пензенском гулянье со стороны Поповки\*, ажно смотреть страшно; думаю, поработали монголы, когда брали его. А в соборе мощей и гробниц княжеских сколько! Куда ни обернись. А ночью, когда приедет поезд из Москвы (по жел[езной] дороге), по каменной мостовой, поднимается такая скакатня, что я уснуть не мог, вышел из номера и стал гулять по освещенной и оживленной улице. Шум, говор, стук, прилив и отлив толпы поразили меня; у меня дух захватило. Да, подумал я, здесь не Пензой пахнет. Помнишь ли, как ты чувствовал себя, когда в первый раз услышал при блестящей декорации музыку в театре? Как заискрились глаза и затанцевало сердце при виде ослепительных хромотропов? То же самое впечатление произвело на меня и оживленное движение улицы. Не обломовщина здесь: на каждом шагу боишься толчка и слышишь суетливый говор. «А Муром?» — спросишь ты. Ну, Муром почему-то показался мне посерьезнее Владимира, хотя и он так же оживлен и весел. Может, здесь имеет значение его древность и памятники исторические, которые здесь как-то ярче бросаются в глаза новичку. Я поклонился мощам Бориса и Глеба, жертвам Святополка Окаянного: они в открытой раке. Муром, говорят, богаче Владимира. Ну что тебе еще сказать об этих городах? Я вообще не очень наблюдателен, а потому довольствуйся, что успело попасть мне в разинутый рот, с которым я гулял по этим городам. Во-вторых, муромский лес — да что об муромском лесе и говорить! Мы ехали, ехали, верст 60, все муромским лесом, а настоящего леса, где Соловей-разбойник мог бы уместиться на просторе с своим ухарским свистом, не видал. Все отрепье осталось по дороге, вылинял он, как моя голова, видно, тоже лихорад-

ку потерпел от топора русского мужика. Издали мне указывали его протяжение в длину; я смотрел, смотрел, полгоризонта заслонил он собой. Но сказочных страхов в нем нет и следа; я, напротив, любовался высотой и стройностью сосен: саженей 10, кажется, до верхушки, и ни одного кривого сучка, ни одной кривой извилины. В-третьих, что сказать тебе о чугушке и не знаю, потому что слишком уж много хочется сказать. Тут, брат, все новость — чудо-юдо морское, да и только. Ни по каким описаниям и рисункам не доберешься до того, что дается понятию при взгляде; дело не в одном пониманье механизма, который для меня наполовину и теперь не понятен, но и во впечатлении, какое производит он в первый раз. Меня морозом подрало по коже, когда я сел в вагон, и машина, поешушная звонку, тронулась сперва медленно, а потом все более и более ускоряла и, наконец, понеслась так, что трудно было рассмотреть мелькавшие мимо предметы. И при этой быстроте (до 30 [верст] в час) не тряхнет: колеса катятся по рельсам ровно, без толчков. В вагоне говор: знакомятся на живую нитку, курят, болтают, закусывают, спят — все что угодно; машина спокойно тащит за собой целую деревню вагонов, только по временам фыркая, как лошадь, или же оглушая продолжительным свистом, очень похожим на ржанье здоровой лошади: это выпускают из нее пар. И при этом обольстительно прислушаться, как неумолкаемо идет ее механическая работа: рычаги ворочают и колеса стучат по чугунным рельсам, ну, словом, есть от чего морозу пробежать по телу, не от страха — он и на ум никому не придет, когда сидишь в вагоне, а просто от восторга. Мне хотелось бы передать тебе наружный вид машины, да, кажется, не сумею: нужно его видеть самому, чтоб он ясно дался понятию. Притом нужно разобрать и ее устройство, а я и сам его не вполне еще знаю. Толковали мне, да не все еще уяснил я себе, а по книжке, брат, да по рисункам не все разберешь. Такая уж, видишь ли ты, штука: приглядишься к ней в натуре. Извини за скудость этих сведений, со временем напишу потолковитее. А Москва, а Кремль, а Царь-колокол и Царь-пушка, а Иван Великий? Да, все это в Москве где-то, и Москва в Москве, и Кремль, и все, только кто их знает — я не видел ни Москвы, ни Кремля, ничего, хоть три дня живу в Москве. Ходишь по Москве, а Москвы не разберешь, все улицы, улицы, улицы и все улицы — заплутаешься, или пойдешь к югу и идешь все к югу, а вернешься домой с севера — и как это вышло так, не поймешь. Но утешься, когда сам

узнаю, все расскажу. А стóбит того, чтоб походить да посмотреть; Русь вся тут, и с ногами, и руками, и с голицами даже. Но о калачах и сайках и баять нечего — заеденье. Стоят и те и другие по 5 к[опеек] сер[ебром] за штуку; но они таковы, что одного калача или сайки достаточно для того, чтоб после быть спокойну относительно желудка по крайности на три часа. Прощай! Пиши. Заклинаю тебя заниматься по древним языкам и арифметике. География сама за себя говорит. Сундук-то мой разрой.

Твой В. Ключевский.

### 3. И. В. и Е. Ф. ЕВРОПЕЙЦЕВЫМ

*19 августа 1861 г.*

Любезные Иван Васильевич и тетенька!

Москва, 19 августа 1861.

Я заставил вас долго ждать от меня ответа на ваше письмо, хотя это зависело не от меня. Я сейчас объясню вам причину этого. Объявление от почтамта я получил, кажется, 11 авг[уста], перед уходом в университет: 8-го начались экзамены и продолжались каждый день до 16-го, исключая двух праздников; духу перевести нельзя было, к каждому дню нужно было перечитать кипу книг — одним словом, было горячее время. Мне никак нельзя было сходить на почту; мне ужасно хотелось поскорее прочитать ваше письмо, узнать о вас что-нибудь, а между тем письмо пробыло на почте до 16-го, когда был последний экзамен. Я с трудом донес письмо нераспечатанным до своей квартиры: так сильно хотелось мне распечатать его дорогой. Говорить ли вам, как меня обрадовали ваши полные прежней любви ко мне строки? Я прочитал их с свободным дыханьем, потому что впереди не было более этих беспокойных экзаменов. На этот раз, как нарочно к моему счастью, я был один дома и на просторе и помечтал, и погрустил так неизъяснимо сладко о вас, о своем прошлом и опять о вас, и погрустил с той радостью, с какой может грустить человек, окончивший экзамен и вспоминающий на досуге о далеких родных и далеком родном уголке, зная, что там все благополучно. Каждая строчка ваша напомнила мне что-нибудь из бывшего, и я много вспомнил и много передумал. Словом, мне было хорошо в эту минуту, как редко бывает в жизни. Вы поймете мое состояние в эту минуту. Мне было тем более хорошо, что и я с своей стороны имел сообщить вам известие, котсрое,

надеюсь, хоть немного заплатит вам за ту заботливость о мне, какой полны ваши слова. Вот это известие, которого вы, вероятно, давно ожидаете от меня. Экзамены кончились, и кончились лучше для меня, чем я когда-нибудь думал. Я по всем предметам поставил «удовлетворительно», кроме истории, русской словесности (с сочинением), латинского и греческого<sup>1</sup> языков, по которым я отвечал «весьма удовлетворительно». (Замечу, что в университете существует три балла: неудовлетворительный — для неответавших или ответавших слабо, удовлетворительный — для ответавших сколько нужно и весьма удовлетворительный — для ответавших отчетливо и более чем сколько нужно для первоначального знания.) Объявление о принятии последует не раньше 25-го, но я об нем могу не хлопотать. Я наконец прошел эту тяжелую дорогу, которая называется вступлением в университет, — дорогу бесплодную вместе [с тем] по своим научным результатам: все к спеху да сроку, а наука, вы знаете, берется медленной, терпеливой осадой и ничем не стесненной головой. Слава Богу, теперь я избавился от этой лихорадочной работы и начинаю другой, свободный, еще мало знакомый мне труд! Благословите меня на этой новой дороге!

Кажется, теперь я довольно сказал о себе. Прежде всего я благодарю вас и мамашу за присылку, я вам буду аккуратно сообщать о каждом рубле, который потрачу на что-нибудь; теперь пока я купил себе только халат, дав за него свой старый и 2 р[убля] 50 к[опеек] сер[ебром], халат славный; мне говорили, что в Пензе за три р[убля] с трудом купить можно. Может быть, вы побраните меня за это немножко, но, право, дома ходить не в чем было, а в старом неловко — люди, знаете, бывают. Зато я теперь в нем чистый Илья Ильич Обломов: и хожу, и сплю в нем; он к тому же такой уемистый, хоть на жениха Пастраны\*, так впору.

Вы пишете о Пашеньке и Мишеньке. О Пашеньке теперь много хлопотать, кажется, не нужно: он сам уже понимает больше, чем я в его лета понимал при помощи других, да на него всегда можно положиться. Мы с ним начнем теперь длинную трактацию о своих предметах, о классиках, историях и т. п. Его письмо ко мне так хорошо, так стройно написано, что даже при всей моей уверенности в способностях Пашеньки я не ожидал от него этого; расцелуйте его за это! Мишенька также не отстанет, что ни говорите; он только не похож на

<sup>1</sup> Первоначально было: латинскому и греческому.

Пашеньку характером: Пашенька тверже, мужественнее, чем Мишенька, в натуре которого много женственного, нежного; потому-то он и кажется теперь слабее Пашеньки. Но слабее ли он в самом деле—это еще вопрос. Мне кажется, что для такого характера укрепляющим средством нужно избрать то, что<sup>1</sup> благотельно вообще для всякого ребенка,—это стараться поддерживать в нем постоянно веселое, бодрое, живое настроение духа и отстранять от него все, что может привести его в уныние, в раздумье. Вы знаете, что не окрепшая еще голова особенно легко гнется под влиянием неприятных, тяжелых обстоятельств; тут нужно поддерживать, ободрить ее, и она будет свободно и легко развиваться.

Теперь касательно квартиры. Ожидаемый нами скорый приезд самого Маршева, вероятно, окончательно решит мое положение. Но вы не думайте, чтобы я стал платить 13 р[ублей] сер[ебром] своих денег за квартиру: никогда! Я говорил, что это не по мне, но меня пригласили, я проживу месяц, полтора, и если нужно будет, долее, а не нужно—так до свидания! Место и угол будет! Словом, по этому предмету как-нибудь сделаюсь.

В следующем письме сообщите, Иван Васильевич, текст на вашу проповедь и кое-какие другие подробности, что найдете нужным, и назначьте срок. В книжных магазинах здесь можно все достать—и очень дешево.

Вчера был у нас М. М. Попов проездом из П[етер]б[урга] в Тамбов: по приезде в Пензу он обещал быть у вас, чтобы передать вам о нашем житье то, что не укладывается на бумаге.

В университете между студентами ходят толки о том, как бы избавиться от годовой платы за право слушания лекций, так беспардонно взимаемой со всех поголовно. Носятся слухи (разумеется, только в кружках, близких к университету), что подумывают о просьбе к императору по этому предмету. Пожертвования в пользу бедных студентов идут довольно живо; я еще буду иметь случай поговорить с вами об этом благотельном явлении в безотрадной русской жизни. Много бы хотелось сообщить вам кое-чего касательно этого; у нас ходят толки, любопытные в высшей степени, намекающие на то, что и на Руси не все шито да крыто, что и в ней кое-где движутся и борются, а не безмолвствуют покорно; но об этом как-то еще страшно передавать на бумаге...

Теперь Вам словечка два отдельно, тетенька! Я знаю,

<sup>1</sup> Далее зачеркнуто: для.

кто особенно<sup>1</sup> пролил много слез над моим первым письмом. Как ни отрадно мне видеть в Вас, милая тетенька, столько любви ко мне, но я опять прошу Вас поменьше обо мне горевать и быть поскупее на слезы обо мне: они нужны для жизни, для здоровья, которым Вы и без того не можете похвалиться. Я опять прошу Вас подождать обещанных мною сведений о Москве: только еще начинаю я изучать эту громаду с ее странными домами и улицами и вовсе не странными людьми. Простите за такое долгое неисполнение обещанного: все исполню. Маменьке, Машеньке \*—мой искренний поцелуй, бабенке—мое сердечное уважение и всем вам—мой радостный привет и благодарный поклон до земли! Пишите скорее!

В. Ключевский.

#### 4. П. П. ГВОЗДЕВУ \*

3 сентября 1861 г.

Москва, 3 сентября 1861 г.

Адрес мой: На Тверской, в Козицком переулке, в доме г-на Лопырева, в квартире г-жи Неждановой, студенту импер[аторского] Моск[овского] университета и пр.

Мой милый и достолубезный Порфирий!

Я, наконец, разламываю печать молчания и пишу... Но после этого великолепного тропа меня бросает в холод пространство, на котором я предназначил себе пройти, чтобы высказать тебе все, что нужно. Шутка ли, целый лист! А ведь я, ты знаешь, не люблю оставлять пустошей где бы то ни было, особенно на бумаге: все нужно вспахать и взбор[о]новать... хоть не сохой, а стальным пером, но все же и это не пустяки. Ну, да ничего: поучусь и испытаю себя на этом поприще пространным. Прежде всего снисхождение с твоей стороны: я сегодня чувствую в себе такой позыв на глупости, что непременно нужно с твоей стороны снисхождение, чтобы остаться спокойным мне насчет впечатления, какое может произвести на тебя мое послание.

Начну. Так[им] обр[азом] вступление мое таково, что твое милостивое снисхождение должно с него начать свою деятельность. Я болтаю без опасений, что скоро подойду

<sup>1</sup> Над зачеркнутым: больше.

к тому, впрочем, желанному местечку, где непременно уж нужно раскланяться и подписать: «Ваш покорнейший слуга имѣрк». Местечка этого еще далеко не скоро дождешься. «Да что же это такое!» — восклицает наш «Вечный Жид»\*. Понимаешь кто — который, конечно, вместе с тобой читает это глупое... pardon, не так — это длинное и умное писание: «Что он там городит? Что ж дела-то нет?» «А что такое это за дело? — спрошу я его в эту минуту. — Экзамен, что ли?» Да разве экзамен — дело? Помилуйте, с Чуконского<sup>1</sup> Носа, что ли, вы? Европейцы, даже пензенские, этого не могут сказать безнаказанно, а московские (сиречь ваш покорнейший слуга В. О. К.) просто говорят, что это безделье. Доказательства нужно: подожди, мой «Жид» (я сильно сомневаюсь в твоей вечности и потому опускаю этот эпитет), смотри на обороте; а так как до него еще долго, так мы пофантазируем еще сколько душеньке угодно. Но... тс! Молчать, мальчишки! «Встаньте», — слышу я эти вдохновенные слова, из моего чудного далека слышу — завидую вам. Дивные образы, чудно ласкающие звуки встают в моей душе и сладко звенят в ушах. «Сочиненьице, сочиненьице-с! Пожалуйте-с! Что-с? Не написали-с? Как же-с это-с? Г[осподин] Алгебров! Пожалуйте-с!» — «Не написал, Кон[стантин] Федор[ович]\*!»... «Что же так-с?» — «Проспал: вчера долго из догматики учил»... и пр., и пр. Русь! Вижу тебя, из моего чудного, прекрасного далека вижу тебя! «Об овсе к след[ующему] классу!» «Прор[ок] Иезекииль», — слышится тихий голос. Ух! Дух захватывает от воспоминаний! Терпение, друзья, терпение! Оно — величайшая добродетель! Другая картина: лето, тихий июньский день, окно открыто, тишина, слышно: «Как закон был руководителем иудеев... так и философия есть детоводительница ко Христу»; голос журчит, как ручей, строчит, как приказный, а вдали светло, поляна нежится на солнце; тени, чудные тени медленно движутся, сменяются, словно декорации. Всесвятская роща\* то темнеет, то вдруг освещается, а дальше — лес синее, как кайма казенной бланки. Чудно, друзья, на волю скорее, на волю! «Пор[фирий] Гвоздев!» — слышится с кафедры. Прости, очарование! И листы тетради шумно начинают перелетать от одной руки к другой. Занавес, однако ж, опускается; действие второе, сцена первая: Воскресенский — в земле; Аристидов — idem<sup>2</sup>; сцена вторая: Москва, университет, и

<sup>1</sup> Так в рукописи.

<sup>2</sup> то же самое (лат.).

Буслаев\*, и Сергиевский, и Ешевский\*—на кафедре. «Чтобы войти в интересы нравственной жизни народа, надобно изучить его словесность»,—слышится с этой кафедры. Как ты думаешь, лучше ли это прежних сцен? Но постой: аудитория начинает волноваться; несколько голов кланяются, вставая; на кафедру всходит невзрачный, с алыми полосами вокруг глаз человек, торопливо собирает волосы на правом виске за ухо; кафедру окружает толпа; один бесцеремонно кладет бумагу, карандаш и локоть на самую кафедру подле тетрадки профессора; тихо; раздается неловкий, неясный, запинаящийся голос: «М[илостивые] г[оспода]!»—и полилась живая, горячая речь; все напряженно слушают, уставившись в кафедру глазами; а оттуда все льется и льется речь: «Вся жизнь древнего мира разобрана во всех частях, во всех подробностях; все могилы раскопаны; оттуда вынута все и нужное, и ненужное, остался один прах...» Чем дальше, тем шире раскрывается душа; ничего нового, все общее и более или менее читанное или слышанное; но любо становится на душе, и чувствуешь, как эти читанные и слышанные мысли с новой силой, с новым обаянием теснятся не в голову одну, а во всю душу, во все существо. Это Ешевский говорит о древнем мире! Как ты думаешь? Похоже ли это на мертвое чтение какой-нибудь допотопной статейки из «Христ[ианского] чтения»\* 1820-х годов? Похоже ли это на горячее даже словоизвержение с высоты догматической кафедры—понимаешь кого?.. Но довольно: оборот подошел; досадно, как крещенский сочельник после святок! К делу, к делу... «Non ad rem»<sup>1</sup>,—слышится... Но дальше, прочь воспоминания!

С чего ж начать? Да, с безделья, с экзамена. Какая проза! Боже мой! Неужели ты не чувствуешь, какая скука после Ешевского и др[угих] писать об экзамене? Нечего делать! Надобно сдержатъ слово, подать хлеб вместо камня, а может быть, и наоборот... Но нет, сил не хватает; опять звучит в ушах: «Отчизне кубок сей, друзья!»\* Опять перо просится в Пензу (прости за это избитое выраженье). Что Флоринский? Что Разумов\*? Что... Фу! Сколько имен просится на бумагу! Словом, что все вы? Пенза, семинария, ректор, инспектор\*, Констехтер, Степан Васильевич\*! Какие знакомые имена, и сколько противоположных ощущений, благодарных и враждебных воспоминаний подымают они в душе! По-прежнему ли ректор лает на мир божий; по-прежнему ли

<sup>1</sup> «Не к делу» (лат.).

К[онстантин] Ф[едорович] просит сочинений и трактует о Магомете? По-прежнему ли Ст[епан] Вас[ильевич] своим мягким, женственным, полным симпатии, хотя немножко гнущим голоском поведает своим неблагодарным, да, неблагодарным, слушателям тайны откровения? Несравненный человек, который больше и жарче всех желал нам добра, меньше всех делал зла или, лучше сказать, вовсе его не делал и которого, однако ж, меньше всех ценили и понимали и, вероятно, ценят и понимают до сих пор! Тихая, безобидная душа! Возмутительно, безнравственно в высшей степени бросить грязью в такого человека. Привет ему от всей души!

Так, я прав: камень вместо хлеба; но ведь камни разные бывают, и хлеб хлебу розь (по пословице — надобно прибавить, чтобы оправдаться в незнании, как написать: розь или рознь). Нам, например, целых 10 лет подавали хлеб, но какой? Все духовный, самый наисытнейший, а если бросали камня, так уж непременно дикари ужасного размера\*. А я подал тебе «драгоценный» камень — изумруд настоящий, алмаз дорогой. А хлеба? Где мне взять хлеба, когда у самого нет: в Москве все дорого... Даже просвещение покупается у Сухаревой башни на рынке (в Москве никто не говорит: на базаре; это слово татарское, хотя никому не приходилось так часто и так больно знакомиться с татарьём, как в Москве). «Да будет тебе, хлын ты эдакой!» — кричит «Вечный Жид». Bravo, Степан Андреев, bravo! Везде себя выдержишь. Молодёц! Всех клеймит своим именем. На колена перед Парадизовым, на колена! Заслуженный профессор плутологии! Повинуюсь тебе и пишу: Конец сердцеизвержению!

Ты просил, мой милый стоик Порфириус, написать тебе все как было. Дело нетрудное, да и комедия не так сложна, чтобы затрудняться в передаче ее на бумаге. Но... еще отступление! Отгони «Жида» и прочти один; в этот миг перед моими окнами (коих два) стоит италиянец и вертит свою шарманку и дребезжащая шарманка играет вдохновенную песнь. О чем? И сам не знаю, — а сладко, невыразимо сладко слушать. Это обыкновенное явление дня, особенно праздничного, как сегодня, и я тебя не поздравляю с этим, потому что едва ли скажу что-нибудь дельное. Но италиянец ушел: взгомозившаяся поэзия опять улеглась у меня на душе, как голодная собака, увидевшая, что прохожий далеко. «Тра-ра-ра, тра-ла-ла!» — слышу я замирающие звуки. Ты, конечно, избавишь меня от необходимости описывать путешествие; если

что в нем есть нового, интересного, так это первое знакомство с чугушкой, с локомотивом, фыркающим и ржущим, как усталая лошадь.— А звук шарманки опять слышится...— Но ты сам можешь понять, что описать локомотива и всего поезда невозможно\* и бесполезно описывать; нужно видеть самому, а до моих ощущений, возбужденных этой новой ездой, тебе, конечно, нет никакого дела.— Ах, проклятая! Опять играет!— Вот, брат, рекомендую: как этаких людей учтивее зовут! Прямо с экзамена начнем. «Ваше превосходительство!— сказал я, пришедши к председателю экзаменационной комиссии Щуровскому. чтобы просить его допустить меня к августовским экзаменам.— В продолжение апреля и мая я был нездоров, на что и медиц[инское] свидетельство имеется; потому... и пр.». «Да теперь поздно»,— отвечает Щ[уровский]; потом переворочал документы, прочел аттестат, с немалым усилием, как заметил я, разбирая слова ректора; наконец, написал на прошении «25 авг[уста]»<sup>1</sup> и отдал, сказав: «Отнесите завтра, там (т. е. в университете) примут».— Опять шарманка играет и что же?.. «Хуторок» Кольцова: «На горе за рекой хуторочек стои-и-тт»\*. Отдал я на другой день прошение и 25 руб[лей] с[еребром] за первое полугодие и отправился к своим ненавистным алгебрам и геометриям. С 7-го числа начались экзамены\*, и пошли писать каждый день до 16 августа. Первый экзамен был письменный. Тема: «Мое воспитание». «Господа,— сказал профессор,— пишите прямо дело, без философских умствований и предисловий». «Господа,— продолжал Буслаев речь этого профессора,— обратите особенное внимание на правописание: одна орфографическая ошибка отнимает право на поступление в университет». Я, исполняя слова первого профессора, dixi<sup>2</sup>, что было на душе, и animam levavi<sup>3</sup>. Всему досталось, а особенно семинарии, и торжественно заключил свое сочинение сими словесами: «Вечная память тебе, патриархальная, незабвенная школа! Ты больше поучала, чем учила!» После я опомнился и потрусил немножко за свою горячность, но все кончилось благополучно. Назавтра экзамен из русской словесности и закона божия. Приходит Сергиевский, солидный человек, с короткими волосами, с интересной бледностью лица, с ослепительно белыми воротничками рубашки и чуждыми большими ресницами,

<sup>1</sup> Описка В. О. Ключевского, исправлено рукой П. П. Гвоздева на июль (см. также письмо 1).

<sup>2</sup> сказал (лат.).

<sup>3</sup> душу облегчил (лат.).

сообщающими какой-то девственный, очаровательный оттенок его мягкому взгляду, даже несколько ленивому. Движением руки он пригласил желающих подходить к столу; сам он не экзаменовал, предоставив это другому священнику из гимназии. Я стал отвечать из катехизиса о 9-м члене. Свящ[енник] спросил меня, сколько было вселен[ских] соборов, когда и по какому случаю был последний. Я сказал. Он взглянул на Сергиевского, произнеши «семинарист», тот кивнул головой—и дело кончено: «удовлетворительно». «Вы из какой семинарии?»—спросил Сергиевский. Я сказал. «Кто у вас ректор?»—«Евпсихий».—«Откуда он?»—«Не знаю».—«Что это за слухи ходят, кажется, про вашу семинарию?»—«Не знаю, я давно-таки расстался с семинарией и потому мало знаю, что в ней случилось в последнее время». Он кивнул головой. Говорит он тихо, будто нехотя, но ясно, прекрасным, ровным голосом. Подхожу к столу словесности; здесь экзаменовал Соснецкий, учитель 3-й гимназии. «Вы Ключевский?»—спросил он, поворачиваясь ко мне своим полновесным брюхом. «Да». «Ваше сочинение очень хорошо-с, очень хорошо-с; только вот здесь не совсем точно выражение. Не правда ли?»—продолжал он, прочитав неточное выражение. Я, разумеется, согласился: до возражений ли было мне; у меня горели глаза, глядя на очаровательную отметку, стоявшую под моим сочинением: «5». Я взял билет: досталось из истории русск[ой] сл[овесности] о Ломоносове. Я читал статью, кажется «Современника», о вновь изданных письмах Ломоносова, относящихся к его заграничному периоду жизни, когда он был в Марбурге\*; верно, ты читал также. Поэтому об этом времени его жизни распространился особенно. Соснецкий мой то и дело твердил: «Хорошо-с, хорошо-с», когда я говорил о деятельности Л[омоносова] ученой, литературной и т. д., и кончил тем, что сказал: «Другой билет—из теории словесности». Он был, как нарочно, об образцах отечественного эпоса. Опять пришлось говорить о Лом[оносове] с его «Петриадой»\*. Перед экзаменом я достал лекции этого самого Соснецкого, и мне легко было отвечать на все его вопросы, которые он давал почти слово в слово по своим лекциям. «Вы отвечали очень хорошо,—сказал он в заключение,—довольно-с». «А из славянского—нужно?»—спросил я черт знает к чему. «Да Вы, вероятно, знаете его, ведь Вы семинарист? Довольно с Вас». Я пошел и возвеселился в сердце своем.

На другой день была история и география. Чувствуя,

что только сумасшедшему может прийти в голову мысль готовиться к завтрашнему дню по трем книгам Вебера, я взял Берте\*, прочитал его от доски до доски, повторил все цифры хронологические и все имена—весь этот исторический горох, так легко высыпающийся из головы при первом дуновении ветра, русскую историю не перечитывал, географию русскую и всеобщую и не мечтал перечитать—и, таким образом, на др[угой] день отправился. И досталась же мне из географии самая чушь: о полит[ическом] состоянии Австралии. Я сказал кое-что, прибавив в заключение, что это такая вещь, о которой я мало знаю подробностей. «Возьмите еще билет»,—сказал плешивый экзаменатор. Я взял еще хуже: о племенах Российской империи; сказал, что знал, по крайней мере на половину вопросов ответил глубокомысленным молчанием и кончил тем, что спросил: «Сколько мне?» «Удовлетворительно»,—отвечал тот, хотя не совсем на вопрос. Из истории дело шло гораздо лучше. Дело шло о Столетней войне Англии и Франции при доме Валуа в XIV и XV веках; из русск[ой] истории—об Ольге. Тут я был у себя дома, в своей тарелке. Экзаменовал солидный гимназ[ический] учитель: мы с ним болтали долго и кончили тем, что он сказал: «Довольно, хорошо», но сколько поставил, не знаю, ибо забыл спросить. Все его вопросы были очень просты и более или менее знакомы нам, т. е. читавшим хоть что-нибудь историческое, кроме Берте, т. е. тебе, мне, как и другим из нашей среды. Хронологию нужно было определять приблизительно: половинами, четвертями века—и довольно; так определил я время царствования Людовика XI. Я был весел, но завтра математика и физика: мороз пробирает при одной мысли. Но нет трагедии в жизни без комического пятого действия. Я подошел к самому профессору математической мудрости и не раскаялся. Надобно сказать, что всех не поступающих на матем[атический] факультет экзаменовали особенно: доброе предзнаменование! Профессор посадил меня—как и всех экзаменовавшихся—подле себя на стулу, и я начал: разделал ему приведение дробей к одному знаменателю, умножение дробей, сказал, как вписать квадрат и шестиугольник в круге, прибавил, что десятиугольника не умею вписать и что из алгебры о формулах прогрессии не имам понятия; я врал—имел понятие, только когда-то, а теперь забыл... «Да Вы знаете что-нибудь из алгебры?»—спросил он в полной уверенности, что я отвечу, как следует, т. е. отрицательно. Но я отвечал, что знаю все, кроме прогрессий и логарифмов

(т. е. все, кроме половины или еще менее). Он не удивился и дал решить уравнение; я решил и даже прибавил, что решение вышло отрицательное, тонко намекнув этим, что задача была не совсем правильная. Этим кончилась математ[ическая] комедия. Из физики еще лучше: экзаменатор выслушал несвязную болтовню о камер-обскуре, попросил описать барометр, как знаю, и сказал: «Довольно». Муза! Воспой милосердие математиков-профессоров! О формулах физики не было и речи. Но зато как же прохватили нас — филологов — по классической древности, сиречь по латинскому и греческому языкам! Нас также отделили; экзаменовал сам Леонтьев \* и какой-то сердитый старик-учитель. Учителя вообще придирчивее профессоров. По-латыни был перевод на латинский; позволяли пользоваться грамматиками и спрашивать неизвестные слова. С латинского переводил я речь Цицер[она] против Катилины. «Что Вы переводили?» — спросил меня старик. Я сказал что-то. «Да, впрочем, — ответил он, — Вы ведь на филологический фак[ультет], так должны знать все», — и открыл Цицерона. Я перевел строк восемь довольно опрятно. Затем началась грамматическая попытка; все формы глаголов, имен и пр., какие он спрашивал. Я ему честь имел доносить; та же комедия, что и при Любомудрове. То же по-гречески: написали только не перевод, а диктант; пробрал меня один учитель по формам склонения и спряжения, разобрал я ему диктант; он был верен, только ударение одно я поставил не так; учитель доносит Леонтьеву, что этот господин знает формы отчетливо, только теорию ударений не совсем; я сижу у столика и думаю: «Каково? Из одной ошибки заключил. Ай да маэстро!» Сам Леонтьев изволил спросить меня об энклитических словах, а я изволил ему отвечать кое-что. Для других этот экзамен был гораздо слабее. По-немецки диктовка для нас — семинаристов — дело непривычное; но лексикон и, если найдутся, люди выручат; а перевод ничего не стоит, лишь имей лексикон в руках; перевод устный ничего тоже не стоит; вопросы не мудрые. А по-французски? О, французы — народ деликатный; они даже не заставляли писать под диктовку, а просто ограничились одним устным переводом, при котором не скупясь сказывают незнакомые слова. Вот и весь экзамен; теперь ты видишь, дело ли это. Нет, милый мой стоик, это безделье, ужасное безделье, если к экзамену причислить все время приготовления. Голова тупеет, теряешь смысл в самых простых вещах по милости этого лихорадочного, торопливого приготовления. Не думай, что я

говору обо всем времени приготовления; нет, я говорю о последних двух месяцах перед экзаменом. Если у кого в распоряжении год для подготовки или около того (разумею наш кружок семинарский), тот свободно может сделать свое дело, не испытывая этой головоломки, тупой и бессмысленной, какую испытал я, приехав в Москву. Тебе, кажется, не нужно говорить, что самый плодотворный труд — это свободный, безотчетный, не для экзаменационного столика.

Вот вам и дело. Я, как видите, самый деловой малый: сколько написал об одном экзамене! Впрочем, сказал ли я, что нужно, — не знаю. Предоставляю тебе и всякому из наших адресоваться ко мне со всевозможными вопросами по этому делу. Заметь, что кончивший курс семинарии порядочно держит неполный экзамен.

Довольно ли? Я уж перешел заветное местечко подписи и перешел незаметно, и вот теперь ползу по этому участочку не без тайной боязни за тяжесть письма перед почтовой придирчивостью. Кажется — опять спрашиваю я — немудреная вещь этот экзамен? А между тем везде у нас говорят, что ныне особенно строг был августовский экзамен в Москве, что петербургский даже несравненно слабее. Да вот и факт: за латинский язык и сочинение не допустили даже к продолжению экзамена в одной аудитории (нас разделили по буквам на разные аудитории) из 22 целых 20 человек (в том числе всех пензенских гимназистов без исключения, которые приехали в Москву в университет). Но ведь это не по нашей, не по семинарской части: здесь дело идет о латыни и орфографии; а именно на этом и просаживается гимназическая братия. Неужто нам учиться латыни и орфографии, — нам, всю жизнь положившим на это! Так[им] обр[азом], приемка по десяти процентов никого из вас не должна возмущать. А это очень забавно: из 22 двое вступили! А пензенская гимназия получила невыгодную репутацию; французский экзаменатор, узнав, что я из пензенской семинарии, сие ми рек: «Что это? Пензенская гимназия славится тем, что ученики ничего не знают по языкам». Я сказал, что я не знаю почему. А? Как ты об этом мыслишь? Х ф а к т многозначительный!

Но берег, друзья мои, берег! Прощай, веселая семинарская жизнь! Но нет! Еще долго звучать будет во мне своими звучными, лучшими струнами эта жизнь! А ведь сознайся, что много, очень много прекрасных, мелодических звуков в этой жизни, как жизни, обхватившей нашу первую дорогую молодость; хотя и много в этой жизни

терний и волчцов, но зато в ней есть одно благо, одно редкое, утешительное явление—это товарищество, задушевность между учащимися, и я жалею, что опустил это из виду, когда писал «Мое воспитание», чтоб хотя этим немножко смягчить суровость картины. Пожми руку всем прежним друзьям моим, которые, впрочем, останутся всегдашними нашими общими друзьями, и передай мой задушевный, искренний, семинарский привет. Д[митрий], В[асилий] Добросердовы, Е. В. Разумов, В. В. Прилуцкий\*, А. И. Любимов, В. В. Холмовский, Алгебров, Сатурнов\*—все, все, с кем на одной скамье слушали мы скудную семинарщину и кто еще до сих пор ее слушает,—мой искренний привет! О Парадизове уж и не говорю. Затем поздравьте меня с новым положением—особенно ты, мой Порфирус!

Весь ваш, студент Московского унив[ерситета] историко-филолог[ического] факульт[ета] В. Ключевский.

Каково? Пишите все и спрашивайте все, что нужно. Adieu, mes amis!<sup>1</sup>

Рукой П. П. Гвоздева: Получено 17 сентября.  
Гвоздев.

### 5. В. В. ХОЛМОВСКОМУ\*

27 сентября 1861 г.

Москва, 27 сент[ября] 1861 г.

Мой адрес: На Тверской, в Козицком переулке, в доме Лопыревского, в квартире г-жи Неждановой, студенту имп[ераторского] Моск[овского] университета такому-то.

Васенька!

Ты, верно, заждался моего письма. Виноват, брани, только дай руку при свиданье. Так бы сказал я, если бы увиделся с тобой! Что подельваешь? Мучишься, думаю! Догматика, Констехтер! Ох, проклятые! Ну, а я—нет. У меня иная догматика! Я опять начал прежнюю жизнь, прерванную на время приготовлением, только, разумеется, нет прежней живости, да на носу явились очки, потому что наконец не стало никакой возможности щуриться, чтобы разобрать слово. Попались мне в руки опять мои милые классики, мой Саллюстий, Гораций, Виргилий—это мои старые знакомые; с другими только что знакомлюсь, как с Геродотом, Гомером, Ксенофонтом. Славное зна-

<sup>1</sup> Прощайте, мои друзья! (фр.).

комство. А моя История, моя хорошенькая История! Я опять не разлучаюсь с ней ни математикой, ни катехизисом. Знаешь ли, какая миленькая девочка эта История? Только немножко чересчур серьезна, не всегда поддается влюбленным объятиям. Право, любо живется с таким обществом. А филологическая мудрость! Корни да формы, формы да корни!

Интересно ли будет для тебя дать тебе понятие о моей теперешней жизни, о моем житье-бытье студенческом? А ничего, довольно забавно! Сколько личностей всяких и странных, и смешных, и серьезных узнаешь в самое короткое время! Но прежде нужно кое о чем спросить тебя. Как поживает наша Поповка\*? Как тамошние разные личности? Ордалион Васильевич\* что подделывает? Петр Васильевич\*? Авдотья Яковлевна\*? «Век»\* читаешь ли? Милый «Век»! Я давно не видался с ним, почти с тех пор, как уехал из Пензы. Обо всем сем напиши accuratissime et diligenter<sup>1</sup>.

Ну, а теперь посмотри, как я поживаю. Прежде всего, вероятно, ты желал бы познакомиться с университетом! Собственно домашнее житье мое уже я определил тебе, сказав, с кем я знакомлюсь. Чтобы показать тебе весь университет, выбираю пятницу, как такой день, когда выходят на сцену все замечательные личности. Так слушай, что я вижу и делаю в пятницу! В 9 часов я уже в университете, показываю сторожу свой входной билет, без чего не пустят, скидаю пальтишко, вешаю и бегу в аудиторию. Там шумно движутся толпы мундированных и немундированных студьянов и нестудьянов\*. Человек с 200 в аудитории из разных факультетов. Вот спешат на места. Входит на кафедру человек лет сорока—стриженный, здоровый. Начинает нюхать табак будто из-под руки, тишком, так забавно посматривая на слушателей. Вдруг как заголосит, так наивно, будто с возу упал. Он начинает говорить... ну хоть о том, как поживали славяне в давно минувшую пору, когда еще не было Рюриков и варяг[ов] между ними, какие предания, какие верования были у них, какие песни пели они и какие сказки о богах, героях и чудовищах сказывали славянки своим детям, качая их в колыбели, словом, говорит о том, как жили, думали наши прадеды в эту далекую эпоху. Народ, и только народ, с его метким, вещим словом, с его понятиями—вот что больше всего занимает его. Ты уже догадываешься, кто это. Это—наш простодушный Бусла-

<sup>1</sup> самым тщательным образом и прилежно (лат.).

ев, горячий любитель родной русской старины, русского народа и его слова,—говорю «любитель», хотя он ужасный специалист, ужасный ученый, а ученые редко питают такую горячую, такую свежую, юношескую любовь к своему предмету. Возьми любое его сочинение, каждая строка его говорит о его горячей любви к интересам нашего народа, равно как и о его глубоком знании этого народа. В одной песне, в маленькой поговорке он укажет глубокий, жизненный смысл, откроет верование и воззрение народа. Иногда он, видимо, одушевляется, читая о народной, любимой им жизни, как-то забавно ударяя на особенно сильные слова своей речи.

«То старина и то дѣянье!

Нашим мблодцам на утешенье» и пр.—

так заключил он одну из своих лекций, объясняя, какой смысл имеет этот припев старинных наших сказок о Владимире Красном Солнышке. Прорвал звонок, и Буслаев уходит. Открывается второе действие. Я быстро пробегаю записанную лекцию, разбирая странные каракули, которыми написал лекцию второпях. Предмет чтений Буслаева—«История древней русской словесности в связи с современным ей состоянием западных литератур того или другого века».

Входит Сергиевский, профессор богословия, редактор «Прав[ославного] обозрения»\*. Как передать тебе его наружность? Он еще молодой, лет 35-ти, смугл и бледен, сколько можно быть бледным смуглому лицу. Черты лица его удивительно правильны. Глаза, с длинными ресницами, как-то особенно мягки. Волоса его очень коротки, он зачесывает их спереди назад почти без ряда, как у Горизонтова. Нарукавники, выбивающиеся из-под длинных и широких рукавов его рясы, поразительной белизны. Вообще он щеголь. Говорит он медленно, резко выговаривая язычные звуки<sup>1</sup>. Голос у него твердый и как-то беззвучный. Начинает он как-то басом, тихо, потом оживляется, все становится громче и громче и переходит во что-то среднее между обыкновенным, что называется ни басом, ни тенором, и тем тонким голосом, которым говорит человек до 15—16-ти лет. Разумеется, в его лекциях не нужно искать варлаамовской глубины; ее нет у него. Зато он всегда умеет оживить их современным интересом, какой имеют для нас те или другие богословские истины. Лекции его знакомят нас не только с современной богословской, но и философской наукой,

<sup>1</sup> В рукописи ошибочно: буквы.

потому что он всегда ставит ту или другую истину богословскую глаз на глаз с философскими мнениями, не боясь, что окажется несостоятельным перед этими мнениями философских голов. Он смело вышел против Фейербаха, закоренелого современного материалиста, отвергающего бога, душу и все духовное, не побоялся изложить его учение и твердо отвечал на все его антирелигиозные положения. И ведь это делает священник-богослов! Да не по-евпсихиевски. Евпсихий выругает—и дело с концом. «Безумцы!»—сказал бы он об этих философах, не потрудившись даже узнать, в чем состоят эти безумства. Он знает смутно, что эти философы что-то против религии; ну и по морде их за это! Оттого-то так и живы лекции Сергиевского, что в них чувствуется нынешняя мысль, нынешний интерес, а не допотопные глубины Варлаама. Я бы хотел ближе познакомить тебя с его чтениями, не ограничиваясь общими и поверхностными заметками. Но подожди, время будет.

Но лекция кончилась. Небольшая кучка нас— историко-филологов—спешит из большой аудитории вниз, в маленькую комнату. Класс и лекция из латинской стилистики, сиречь учение о лат[инском] слого. Профессор по этому предмету—немец Клин, почему и предмет его прозвали вместо стилистики клинистикой: тут, знаешь, все—и профессор, и наука—заключены в одно слово. Входит седенький, беззубый старик и начинает: «*In proxima schola, carissimi, de nominativo diximus. Nunc pergamus...*»<sup>1</sup> и пр. Такой неблагодарный немчура: лет 20 учит в Москве и не знает ни слова по-русски, по крайней мере не сказал еще ни слова; мелет себе по-латыни, выговаривая на немецкий лад «*sibi*»<sup>2</sup>, как «зиби», «*juvenes*»<sup>3</sup>—«юфенес», «*neutrum*»<sup>4</sup>—«найтрум». Впрочем, я овладел совершенно его языком и понимаю теперь до слова его латинскую болтовню. Переводит он из немецкой книжонки с немецкого на латинский, обращаясь к каждому, кого хочет заставить переводить, так: «*Tu, carissime, perge!*»<sup>5</sup> Беда, кто не знает по-латыни или по-немецки: ничего не поймет, лучше уходи из аудитории. А нюхает как безобразно эта олицетворенная латынь! Вот хоть бы и римлянам поучиться у него этому мастерству, так впору, если

<sup>1</sup> «На последнем занятии, дражайшие, мы говорили о номинативе. Теперь устремимся...» (лат.).

<sup>2</sup> себе (лат.).

<sup>3</sup> юноша (лат.).

<sup>4</sup> средний род (лат.).

<sup>5</sup> «Ты, дражайший, стремись!» (лат.).

они только охотники были до него! Даже не всегда чувствует старый, что у него под носом не все обстоит благополучно, а нужно вынуть платок! Впрочем, старик хороший. Но конец латинской болтовне. Звонок, и мы опять спешим в большую аудиторию, чтобы освежить голову от различных герундий на *dum*, творит[ельных] самостоятельных, винительных с неопред[еленным] или неопределенных с винит[ельным], освежить живую речь, которая сейчас польется с кафедры. Ждем новой живой головы, башки, как мы бывало говаривали, нового дельца мысли и науки. Вот, наконец, входит Ешевский, профессор всеобщей истории. Странное, неприятное впечатление производит его лицо в первый раз. Оно неправильно, нос как-то похож на чекушку или сморчок, цвет лица какой-то синеватый; он, по-видимому, очень слаб, худ, глаза бесцветны, вообще невзрачный! Ему лет с 30 с небольшим. Но читает он прекрасно, т. е. содержание его чтений прекрасно, а выговор его не очень хорош. Он говорит тихо, слабым голосом, некоторые слова произносит с трудом. Но заслушаешься этого человека. Редко когда был я так поражен мыслью, словом другого, как после первой его лекции, где говорил он о значении древнего мира для нас, людей XIX века по р[ождеству] Х[ристову], об интересе, с которым обращаются к изучению этого давно минувшего, величавого классического мира самые практические люди нашего века, как Наполеон III или торговые североамериканцы. Какой, в самом деле, интерес могут, по-видимому, находить в этом отжившем мире современные практики, по уши погруженные в интересы кармана? А между тем это так. Английский банкир — с именем банкира мы привыкли соединять мысль о сибарите и страшном эгоисте, который ничего не хочет знать, кроме кармана. Английский банкир Грот нашел же интерес в древней Греции, когда отдал на изучение ее истории целых 30 лет своей жизни и написал 12 толстенных томов\* об ней, не из одного ли<sup>1</sup> только гробокопательства делал он это, а, верно, находил живой современный интерес. Трудно передать тебе все содержание прочитанного Ешевским даже в общих чертах: содержание их очень богато. Он прочитал 8 лекций и еще не вышел из введения. И об нем я повторяю то же, что о Сергиевском. Прочтем когда-нибудь вместе его лекции. Я составляю их особенно усердно\*. Но и Ешевский уходит. Уже 2 часа. Еще одна лекция Герца\*, который читает

<sup>1</sup> Так в рукописи.

желающим историю и археологию искусства. Предмет совершенно новый! Приходило ли когда на ум разбирать, что это за стиль, по которому строены наши церкви, что это за византийский и готический стиль, а еще более романский? Герц выбрал на нынешний год читать историю византийского искусства. Сам он здоровенный красный человек лет 36—[3]8, с прекрасным перстнем на левой руке. Видно, что человек искусства. Но об нем я много не буду говорить или лучше закончу тем, что молодец по наружности. С ним я еще не успел сойтись близко, т. е. не познакомиться, а узнать. 3 часа. Желудок сильно дает это знать. Голова утомлена 6-часовой работой уха, если не мысли.

Вот я вывел тебе некоторых корифеев не только университетской, но и всей русской науки. Буслаев, Ешевский, Сергиевский—разве не вся Россия знает их, как самых смелых бойцов науки и образования? Равных им можно по пальцам перечесть. С другими еще успею познакомить тебя, хотя, может статься, так же плохо, как с названными. Но ты извинишь меня. Ты просил меня описать экзамен вступительный; я описал его в письме к Гвоздеву\* сколько мог, и ты, верно, уже прочитал. Пиши, пожми крепко, крепко руку Ордалиону Васильевичу и Петру Васильевичу с Ав[дотьей] Яко[влев]ной и передай мой искренний привет.

О[рдалиона] В[асильевича] проси писать. Прощай.

Твой закадычный Ключевский.

6. П. П. ГВОЗДЕВУ

27 сентября 1861 г.

В: Читая вторую половину письма, не спрашивай, к чему это пишет он; иначе слишком часто придется спрашивать.

Москва, 27 сентября 1861.

Carissime Porphyri! <sup>1</sup>

Первым долгом почитаю пожелать тебе от Бога всякого здравия и благополучия; о себе уведомляю, что жив и здоров, и посылаю тебе родительское благословение, в сем письме зашитое. Будь прилежен во всяких науках и учись. Слушайся наставников и старших и Богу повинуйся. Ходи в церковь божию, молись усерднее. Тогда будешь хороший мальчик. Sic!.. <sup>2</sup>

<sup>1</sup> Дружище Порфирий! (лат.).

<sup>2</sup> Именно таким образом! (лат.).

С того времени, как я писал в первый раз, прошло, кажись, 20 дней; отчего это так медленно ходит почта из Пензы, особенно из пензенской семинарии? Предоставляю решить это тебе.

Впрочем, неужели мне дожидаться, пока ты выучишь из догматики и напишешь мне? Я пишу и без твоего ответа опять задаю тебе вопрос. Так, бывало, делалось у нас. Итак, не сыграть ли тебе штучку элегического духа, как сделал я в прежнем письме моем? Нет, уж этого не сделаю, дорожа своей quasi<sup>1</sup>-репутацией.

Слушай. Я кончил в прежнем письме экзаменами. Глупая вещь! Теперь я хочу сказать тебе кое-что о наших профессорах. Хочешь ли?

Начнем с Сергиевского. С особой его ты уже знаком, да, кажется, и касательно направления *pop es ignarus*<sup>2</sup>. Потому тебя трудно удивить какой-нибудь новостью. Но пусть назовешь меня ненаблюдательным, скажешь, что и без Вашего, мол, Студенческого Сиятельства знаем это, а я все-таки скажу, что Сергиевский для меня интересен. Он чует, что схоластикой Антония\* поселишь только отвращение к богословию, притом в людях, и без того косо взирающих на богословие. Потому всякий вопрос он ставит прямо перед лицо[м] современной мысли. Когда он излагал обычные доказательства бытия божия от природы, от духа человеческого,— знаешь, космологическое, онтологическое и прочие вещи,—видно было, что ему тяжело держаться на этих старых подмостках, но зато, как начал он говорить о современных взглядах на эту истину, об атеизме, материализме и прочих зверках немецкой головы, тогда любо слушать! Он тут не чужд даже красноречия! Но я чувствую, что вяло характеризую! Нелегко раскрыть тебе всю суть того впечатления, какое выносишь из его лекций. Я даже нередко после его чтения делался детски религиозен, невзирая на 20 лет. Но скажу тебе раз навсегда: ты знаешь, я охотник до красного словца, для которого не пожалею и отца, а потому извини, если я вместо дельного определения предложу тебе какое-нибудь чувствительное умиление от того или другого умилительного предмета. Сер[гиевский] начал свои чтения с того, что опрокинул предрассудки против богословия, что будто оно—наука духовная, не нужная для светских, что оно сухо и что оно, как и религия, не развивается.

<sup>1</sup> якобы (лат.).

<sup>2</sup> хорошо знаешь (лат.).

Досталось же здесь и светским quasi-просвещенным прогрессистам, махнувшим рукой на всякое богословствование. Ты уж, разумеется, догадываешься, что сказал он о последнем предрассудке, т. е. что религия как истина сама по себе не развивается вне нашего сознания, что она искони существует полно и определенно, но что она развивается как предмет нашего ведения, что в человеческую голову она не может разом войти всеми своими сторонами. Хорошо, по крайней мере я так думаю, характеризовал он различие между духовным и светским воспитанием, говоря о втором предрассудке. Вот его главные мысли: духовный (семинарист, сиречь и академик) живет больше в области понятий о предметах, чем в среде самих предметов; потому он сделает отличное определение предмета, а светский отлично опишет предмет. Как ты думаешь об этом? Хорошо говорил он о примирении между верой и разумом. По его [мнению], вопрос этот родился незаконно, в католицизме, и притом из побуждений, чуждых собственно науке, что в правильном развитии человек не задумался бы о разладе между верой и наукой. Но прости, лучше до следующего раза: неужели ты не чувствуешь зевоты от этих вялых словес моих? Лучше напишу, когда ты напишешь. Притом ты сам мастер на все богословствования, ну а я—нет, не то, что ты. Скажу: «Хорошо, интересно»—и только!

Перейдем к другим, в свою собственную тарелку. Ты уже догадываешься, о чем хочу баять. Словесность, история—вот тут, может, что лучше встретишь. Я, кажется, уже написал тебе несколько умильных чувств или чувствительных умилений о Буслаеве и Ешевском. Попытаюсь теперь сказать несколько о деле. Ешевский читает древнюю историю. Это худенький, плохонький молодой человек лет 30-ти. Говорит он слабым голосом, некоторые слова выговаривает будто с трудом, как я—знаешь! Недавно был магистерский диспут Н. Попова\*, профессора М[осковского] университета. Ешевский был его официальным оппонентом. Я не был сам, но говорили, что он возражал чертовски хорошо. Ну, этот возразить сумеет. Направление его лекций не совсем обыкновенное. Пока еще он все продолжает вводить нас в науку. Главный вопрос для него в преддверии истории—вопрос о расах. Как образовались современные типы кавказский, монгольский, американский и пр., чем объяснить их физические и духовные особенности, как смотрят на это различные ученые—вот главное содержание того, что он до сих прочитал нам. Он распространяется о том,

как влияют на племена внешние условия природы, как различные смешения племен изменяют физиономию их и пр. Надо сказать, что он здесь «довольно занимателен». Вот еще вопрос, затронутый им. Отчего это явление, что дикие племена так быстро вымирают, знакомясь с европейцами? В Америке и Австралии—езде, где является европеец с своей цивилизацией, дикари быстро уменьшаются. Много ли осталось первобытных жителей в Америке? Неужели их свежая натура не выдерживает этой слишком изысканной пищи, которую предлагает европейское просвещение? Как, ты думаешь, объяснил Ешевский этот вопрос? По его [мнению], не цивилизация, а сам европеец виноват<sup>1</sup> в этом. Разве цивилизацию и евангелие приносит он в дикое общество прежде всего? Нет, он вносит в это общество свою жадность к деньгам, свою водку да ненасытимое сладострастие. Он знакомит дикарей прежде всего со своей саблей и ружьем, разумеется пробуя их на диких же, а потом с европейским галантерейным волокитством да болезнями Венеры. Сколько негров погибло от американских плантаторов? А сколько негрятенок испорчено было их ненасытным сладострастием, несмотря на их черноту? Целое племя образовалось от этих грешков. Раствление вносит европеец прежде всего в общество дикарей, если не истребляет их окончательно. Вот где причина вымирания дикарей, а не в том, будто им не по нутру наука и христианство Европы. Понимают ли европейскую науку те рыла, которые так бесцеремонно хозяйничают в землях дикарей? О, когда-нибудь жестоко поплатится Европа за этих вырожденков своих, которые под знаменем христианства и цивилизации приходят к бедным дикарям, чтобы внести туда свою водку и зверское корыстолюбие, а за этот товар взять с них чистое золото да свеженьких дикарок! Конечно, они ведь не чета каким-нибудь дряблым камелиям! Прочти хоть историю завоевания Америки, чтобы видеть все это.

Дал ли я хоть малое понятие об чтениях Ешевского, не думаю. Но я и не хотел дать этого, хоть и обещал. Знаешь ли отчего? Не умел—и только! Подожди, когда-нибудь прочтешь самые лекции: я записываю их очень подробно. Кстати, воспользуюсь случаем, чтобы пофантазировать и посентиментальничать на мой собственный счет. Знаешь ли, какая иногда апатия поселяется у меня в душе! Ведь вот не сумел же, да и не мог получше и поживее познакомить тебя с самой сущностью лекций

<sup>1</sup> В рукописи дважды.

Ешевского! А ведь было бы о чем сказать. Разве, ты думаешь, только такие вещи говорят Сергиевский и Ешевский и так вяло, как я тебе передаю? Помилуй, пожалуйста, не думай этого! На свободе впервые чувствую я, что недаром прошли для меня семинарские и подобные им домашние потасовки, которые выпали мне на долю. Энергии, энергии недостает мне теперь! Страшная, мучительная апатическая пустота свирепствует подчас во мне. «Где мои прежние силы?» — спрашиваю я иногда себя с забавным отчаянием. Неужели их и не было, а я только электризовался нашим старым семинарским обществом? А ведь я семинаристом не чувствовал в себе этой апатии. Я был таков же, как и ты и все наши закадычные. Вы и теперь по-прежнему молоды и живы, а я старею, тупею. Господи, отчего это? Отчего иногда не хочется идти в библиотеку? Отчего руки опускаются иногда пред каким-нибудь сокровищем науки, которое подает библиотекарь? Отчего бессмысленно смотришь на строки, не понимая, не чувствуя, даже без надежды понять и почувствовать? Отчего это, скажи хоть ты мне! Ведь я не волочился, по крайней мере горячо. Где же пропали, на что потратил я свои силы, свою энергию? Я даже в хороших влюблялся осторожно; камелии были мне всегда противны. Пил я мало. Неужели два-три кутежа могли выбить из меня всю силу и молодость? Скажи мне, ради Бога? Ведь ты стоик и можешь спокойно разгадать эту загадку.

Вот что я скажу тебе: нынешней весной я много-таки понес потерь. Лихорадка, конечно, сама по себе вещь ничтожная, но она, мне кажется, не без причины так скверно выразилась. Знаешь ли что? К пасхе у меня много накопело горечи в душе, и провидение сжалилось надо мной, разрешив все это страшным пароксизмом. Это была гроза летом, которая прочищает атмосферу. Я оговорюсь: тебя, может, забавляет эта наивная откровенность; ты, может, удивишься мелодраматическому отчаянию, с которым я, Бог знает к чему, пишу тебе мою биографию. Но мне дела нет до этого. Ведь если не тебе, кому больше высказаться? А разве ты осудишь или выдашь? Забавляйся сколько хочешь, а выслушай. Ты знаешь, где и как я жил в последнюю зиму\*. Это не пустяки. Боже мой, сколько унижения, сколько тяжелых впечатлений пришлось мне вынести в эту зиму и весну. Ты думаешь, шутка услышать хоть такие слова: «Вот, Вас[илий] Ос[ипович], поедете, да как не выдержите экзамена, а там еще жениться захочется. Так ли?» И это

сказал еще человек, будто сочувствующий всему доброму, всему молодому! Как тяжело было на душе, когда мне сказали это! А ведь это не один раз случилось. Я не скажу, кто так выразился, может, догадаешься. Человеку страшно хочется в университет, он готовится, боится, а ему говорят такие вещи! Да, подобные сцены не прошли мне даром. Много сора занесли они в меня! А домашние дела? Об них и говорить нечего, знаешь сам. Разве добро выйдет из постоянного сознания, что тебе нечем оборониться против какой-нибудь<sup>1</sup>... и какой-нибудь наезднической выходки петуха-мальчика насчет твоей личности? А этих мальчишеских выходов было много, и теперь они продолжают, и ты знаешь от кого. Но *necessitas est necessitas!*<sup>2</sup> Значит, и говорить нечего. Хоть бы ты поднял какой-нибудь спор со мной, чтобы оживить меня, как бывало спорили мы в былые времена! Право, сделай это, повороти как-нибудь мою бессильную апатичность, взволнуй какой-нибудь странностью, хоть выругай меня, что ли! Скучно иногда до смерти, даже совестно! Того ли ждал ты от меня из Москвы? Думал ли ты, мой стоик, что я, вступив в университет, находясь под влиянием Буславевых, Ешевских и пр., стану говорить такие постыдные вещи? Тебе, может, даже смешно, дико читать и слышать такую чушь! Но что же я буду делать, когда дрожишь за себя, за свою силу и энергию, боясь потерять их черт знает из-за чего, если уже не потерял? Пиши, прошу тебя, заспорь о чем-нибудь и дай обещание, что будешь слушать снисходительно всякую чепуху от меня. Я уж и не прошу о том, что ты поймешь и простишь всю эту странную элегию, которую я сейчас спел тебе. Побьешь, но выслушаешь. Я не сомневаюсь в этом. «А о Буслаеве что же?» — спросишь ты. Что делать? Видно, до следующего раза! Все до следующего! Зарапортовался немножечко. Пиши и спрашивай. Обещаю поговорить о нем<sup>3</sup> серьезнее, когда узнаю, чего именно ты хочешь. Иль ты уже изверился в мои обещания? Прости, прости! Все опишу, только скажи именно, что нужно. Что Флоринский? Жми руку всем нашим. О Парадизове опять не хочу говорить: что об нем говорить? Хлын — и только. Чтобы и он писал! А то я его! Передай другое письмо Холмовскому.

Твой Ключевский.

Рукou П. П. Гвоздева: Получено 4 октября.

Гвоздев.

<sup>1</sup> Далее на сгибе стерты слова три.

<sup>2</sup> нужда есть нужда (лат.).

<sup>3</sup> Над строкой: Бусл[аеве].

## 7. П. П. ГВОЗДЕВУ

11 октября 1861 г.

Москва, 11 окт[ября] 1861 г.

Carissime Porphyri!

Письмо твое от 27 сент[ября] и обрадовало и опечалило меня: обрадовало потому, что я дождался наконец от тебя слова, опечалило потому, что я прочитал в нем кое-что и неприятное, напр[имер] исключение двух названных тобою старых наших товарищей; только этого недоставало им, и притом почти у берега к желанному освобождению. Дальше: непонятно для меня, из чего заключил ты о блистательной выдержке мною экзамена? Вот об этой блистательности-то и не думал я, когда писал к тебе. Блистательность? Какое противное слово! В нем есть что-то пускающее пыль в глаза, ослепительное! А ослеплять, пылить глаза — это, как хочешь, незаконное кокетство собою! И из чего заключил ты о ней? Если я вошел в подробности при описании экзамена, то я хотел тебе дать этим возможно ясное представление об этом зверке, который так пугал меня в Пензе. Вероятно, ты понял в буквальном смысле слова Соснецкого: «Оч[ень] хорошо-с, оч[ень] хорошо!» Да ведь это особенная метафора, которая еще не попала в риторику, метафора вежливости, всегда употребляемая в самом переносном смысле и часто значащая просто: «Как Вы, однако ж, скверно говорите». Такие ли еще фразы встречается услышать из уст ученой братии.

Проф[ессор] лат[инского] языка всегда так начинает нам свою лекцию объяснения Цицеронова «De officiis» (что мы теперь переводим, если можно назвать переводом самое микроскопическое рассмотрение каждого слова): «Если вы, г[оспода], позвольте мне, я попросил бы кого-нибудь из вас принять на себя труд продолжать со мной объяснение Цицерона» — и студента, который окончил перевод, всегда приветствует с самой вежливой дамской улыбкой: «Покорно Вас благодарю». Неужели можно что-нибудь особенное выводить из подобных комплиментов? Здесь все так: иногда даже совестно становится с непривычки слышать такие вежливости от какой-нибудь ученой головы. Раз как-то вздумал я обратиться к тому же профессору лат[инского] яз[ыка] за объяснением одной темной фразы в «Tusculanae disputationes» Цицерона (которые он сам же дал мне с таким ответом на мою просьбу: «Извольте, извольте! Сколько угодно!»). Не

успел я еще раскрыть рта, как он уж: «Что прикажете? Сделайте милость, сделайте милость!» И действительно, сделал я ему милость: продержал минут 15 в холодном коридоре, пока он путешествовал по нескольким книгам Цицерона, где у него замечены были фразы, объясняющие, в каком иногда смысле употреблял Цицерон глагол «contineo». А то лектор нем[ецкого] языка, заметив, что кто-нибудь сидит без книги, предложит ему свою и бесцеремонно усядется рядом с ним за партой. Такие уж нравы!

Твое заключение о моей блистательности испугало меня тем более, что ты пишешь, что читал мое послание посторонним лицам. Боже! Что подумают обо мне? «Хвастун»,— скажут многие. Действительно, ты сделал лишнее, торжественно прочитав мое письмо. Даже Флоринскому не следовало бы переписывать всего письма: вторую половину, где об экзамене, и то с пропусками,— и было бы достаточно. Но уж если сделано, то сам же и защищай меня перед теми, кто будет обвинять меня в мнимом хвастовстве. Но не подумай, мой милый корреспондент, что я тебя упрекаю или, еще более, сержусь на тебя: помилуй Бог! Я говорю только о первомигновом впечатлении. Письмо твое так хорошо, я прочитал его так жадно, что Бог знает, что бы дал, чтоб пожать тебе тогда же руку. Как я рад, что Флоринский кончил хорошо! Сообщи мне, если он пишет что о Киеве и тамошней академической доктрине. Да вот еще что: какого тебе труда стоило, думаю, переписывать дословно наши письма, особенно мое! Ведь это не безделица!

Ну, а теперь что? Не об университете ли? Мне тяжело говорить о той катастрофе, которую теперь переживает наш университет\*. Ты, может, уже знаешь что-нибудь и освободишь меня от обязанности подробно описывать тебе все дело, к тому же это и не совсем удобно в письме, посылаемом по казенной почте. Скажу тебе только вот что: по случаю закрытия Петерб[ургского] университета за волнения на юрид[ическом] факультете у нас читали прокламацию, рьяную, раздражительную, в тоне «Aux armes, citoyens!»<sup>1</sup>. Она прислана была из Пет[ербур]га. Читавшему отвечали шумными рукоплесканиями. Входит инспектор: в это время чтение еще продолжалось; инспектор подошел к читавшему (он был поляк и читал с высоты кафедры, подняв вверх правую руку), взял его за руку и просил сойти. Но оратор продолжал читать, не удостоивая

<sup>1</sup> «К оружию, граждане!» (фр.).

инспектора вниманием. Наконец он кончил и сошел при шуме рукоплесканий. Инспектор стал говорить о нарушении правила (чтобы не было ничего похожего на сходки, тем более возмутительные); ему отвечали оглушительным свистом, так что он не мог сказать слова. Дело сделано; аудитория опустела; все ушли в сад; начали составлять адрес к государю, чтобы отменить обязательность в платеже 50 р[ублей] и других стеснительных правил. Адрес был в таком тоне: «желаем», «желаем». Посуди, кто же согласится удовлетворить такому бесцеремонному желанию, кто удовлетворит ему из наших величественных регистраторов (понимаешь!). Стали подписываться под адрес[ом]. Между тем явился протест от многих студентов, что этот шум и свист для них чуждое дело и они не разделяли и не хотят разделять его. Значит, беспорядок — дело немногих мальчиков. На третий день по решению совета унив[ерсите]та 1-й и 2-й курсы юрид[ического] фа[культета] были объявлены закрытыми на год. Вот как! Но дело разгоралось. Раз из сада целая толпа студентов двинулась к дверям унив[ерсите]та и с шумом и криками начала требовать инспектора, грозя иначе вломиться силою и отыскать его.

Сам можешь обсудить, какого это рода дело! Я отвернулся от него, как и многие, возмущенные его обстановкой. Явились партии в саду, явились демагоги, кричавшие о том, что их имена будут написаны золотыми буквами у потомства. Говорят, на совете С. М. Соловьев\* и Б. Чичерин\* сильно восставали против этих беспорядков и величали крикунов школьниками. Некоторые студенты так горячо увлеклись, что кричали: «Пусть закроют наш университет!» Как легко сказать это! А думал ли кто, что все эти крики не стоили одного слова лекции Буслаева или кого другого. Я приведу тебе слова речи Буслаева, которые остались у меня в памяти, речи, которой он объяснился с нами по поводу всех этих происшествий, и предоставляю тебе самому обсудить все это дело.

«М[илостивые] г[оспода]! Мне было бы тяжело продолжать мои лекции, не объяснившись с вами по поводу совершившихся событий, не сложив ту тяжесть, которая теперь лежит у меня на сердце. Слышатся возгласы о каких-то преобразованиях университета с его профессорами, которых обвиняют в том, что они замкнулись в своих науках и не хотят знать того, что делается вокруг них (это о студентах речь). Что сказать на это? Предваряю вас, г[оспода], что я решился высказаться откровенно. Всякое молчание ведет к недоразумению, а всякое недоразумение

питает ложь. Итак, я откровенно объяснюсь с вами. Я сам вырос и физически, и нравственно в стенах этого университета, и, сколько припомню, при мне не было между студентами и профессорами другой теснейшей связи, кроме научной, и еще доселе не знаю, может ли существовать какая-нибудь другая связь. Теперь, г[оспода], эта связь разорвана. Слышатся возгласы: быть или не быть университету! В этих возгласах слышатся и другие: быть или не быть профессорам! Что это? Что значат эти хлопотливые заботы о житейских, практических делах (намек на хлопоты об отменении платы и т. п.)? Все эти крики о житейских вещах и преобразованиях, г[оспода], еще хуже самих свистков, которыми студенты награждают непризнанного оратора (инспектора). Они разрушают самовольно связь с наукой, отодвигают ее на второй план, разрушают прямые, самые дорогие отношения между представителями ее и слушателями. Быть или не быть профессорам! Это значит: быть или не быть университетскому образованию! Я никого не хочу ни обвинять, ни оправдывать, но позволяю себе видеть во всем этом не что иное, как глубокое оскорбление преподавателям, которые по мере сил своих посвятили себя на дело вашего образования, а в лице их и глубокое оскорбление мирной науке!» Он говорил горячо, изменялся в лице: то бледнел, то оживлялся как-то особенно. К сожалению, люди, о которых он говорил, т. е. агитаторы волнения, не слышали его: они были в саду, на совещаниях. Обсуди это дело, и ты согласишься со мной, что это не более как вопрос дня—*question du jour*,—отличающийся сильным мальчишеством. Испортили сначала дело, а потом принялись за адрес. Вот почему я отвернулся от него. Адрес, кажется, падет, потому что приверженцы его разделяются на партии. О конце сообщу в свое время. Еще оговорка: я слабо и без связи передал тебе речь Буслаева: 1) потому что она сама по себе была темна, 2) что я писал на память.

Но—да мимо идет от нас чаша сия! «Отче!—нужно бы сказать непризнанным демагогам.—Отче! Отпусти им, не ведят бо, что творят!» Говорят, скоро откроют закрытые курсы, хоть закрытие объявлено было на целый год. Поговорим лучше о мирной, никогда не падающей, вечно пребывающей науке. Вчера я был у Буслаева. Как радушно принимает он всякого, кто приходит к нему за наукой. Я пробыл у него часа с три, сидя за Гриммом, именно за его «*Geschichte der deutschen Sprache*». Буслаев отметил мне несколько глав, сказав: «Прочтете это—там

я укажу Вам другое. Но говорю наперед, что Гримма читать нелегко!» И правда, есть над чем поломать голову. За его анализом так трудно следить, что приходится несколько раз перечитывать фразу. Но зато и стоит: подчас вслед за сухим филологическим разбором следует у него поэтическая тирада, воссоздающая ту или другую сторону древней жизни народа. Я прочитал вчера о различных эпохах развития первобытного народа: каменной, медной и железной и соединенном со второй из них быте пастушеском. «Я бы рад был,—сказал мне Буслаев при прощанье, крепко-таки пожимая мою руку,—если бы плодом всех моих лекций было прочтение одной этой книги! Еще привыкнете, вчитаетесь—и тогда будет легче!» Ты просил меня написать тебе какую-нибудь коротенькую лекцию. Исполняю твое очень понятное желание. Но какую же именно? Ты говоришь, чтобы я написал тебе, таков ли Сергиевский в своих лекциях, как в своем «Обзрении»? Я тебе кое-что уже передал о нем, а теперь выписываю его последнюю лекцию о религии. Определение религии он сделал после изложения двух, по его мнению, основных истин христианства: истины личного Бога и истины личного бессмертия человека. Я по возможности избегал своих дополнений и старался представить тебе собственные слова Сергиевского; конечно, многое исчезло у меня, но я смело ручаюсь за точность развития мыслей в моем списке, как шли они из «прекрасных уст» нашего теолога.

Что такое религия? Всякому понятно, что физический человек живет в непосредственном единении с физ[ической] природой. А если взять одно только этимологическое значение слова «религия» (religio), то жизнь человека в непосредственном единении с природой будет тоже своего рода религия. Здесь религия физической жизни, физического человека. Точно так и личность человека живет в непосредственном единении с личностью Бога. Это состояние выше физического. Факт того единения, этого высшего жизненного состояния человека и составляет то, что называется собственно религиею. Религия есть жизненное состояние, жизненный факт, а не какое-нибудь временное стремление к бесконечному; это целая действительная жизнь человека, а не умственное, не мысленное только представление Бога: это самая жизнь человека. В религии человек ищет не понятия только о Боге, но самого Бога, личное существо.

Если вы поняли сущность этого определения, что религия есть жизненное состояние человека, жизненный

факт, то поймете, почему религию нельзя определять как систему тех или других религиозных истин. Это было бы так же странно, как если бы мы стали определять связь человека с природой системой познаний о природе. Религия — не какое-нибудь понятие или умопредставление, а факт; она — не учение, а жизнь души, жизненное состояние человека... К этому определению религии близко, хотя и не совсем, подходит обыкновенное определение религии как союза, завета Бога с человеком. Под именем завета разумеется собственно божеств[енное] откровение, а выражение: союз Бога с человеком — надо распространить: союз Бога с человеком и человека с Богом. Взаимное единение Бога и человека предполагает уже деятельность и божественную, и человеческую.

С этой точки зрения нетрудно понять значение и недостатки двух взглядов, противоположных один другому и враждебных истинному пониманию души человеческой, именно взгляда натуралистов и взгляда супранатуралистов. Натурализм — взгляд естественный или, лучше, естественников, если можно сказать такое слово; супранатурализм — взгляд сверхъестественный, сверхъестественников. Супранатурализм все содержание религии думает видеть в одном сверхъестественном и из сил и способностей человека делает только формальное употребление, как орудие для восприятия этого сверхъестественного. Натурализм, напротив, видит религию чисто в сознании человека, в одном разуме (и потребности изучения самой природы). Что же до откровения, то он или отвергает его совершенно, или же если и принимает, то делает из него чисто формальное употребление, пользуясь им, чтобы прояснить свое собственное учение, но не принимает его за источник религии. Обе, таким образом, системы по самым принципам своим становятся в прямое противоречие между собою. Расходясь в основании, они расходятся и в выводах. Для системы супранатуралистов религиозная истина заключается только в божественном; религия есть нечто исключительно божественное, без всякого посредства со стороны человеческого. Для натуралистов она — нечто исключительно человеческое, без всякого непосредственного содействия от Бога. Хотя натурализм употребляет слова «божеств[енное] откровение», но он разумеет здесь общее откровение, совокупность всех сил и истин человеческого ума.

Помещаясь исключительно на точке зрения одной какой-либо из этих систем, нельзя объять всю целостность религии, потому что каждая из них объемлет только одну

часть того целого, которое составляет религию. Они разделяют то, что религия самым внутренним образом соединяет в одно органическое целое. Супранатурализм хочет понимать религию как нечто исключительно божественное, вне всякого действия со стороны человеческого, вне истории. Натурализм силится высвободить религию из этой исключительности и делает из нее нечто чисто человеческое, натуральное, вне всякой существенной связи с божественным. Но религия — божественное и человеческое вместе; она состоит из двух сторон, которые удерживают свое полное значение только тогда, когда их не разрывают, а оставляют тесно соединенными одну с другой. Поэтому мы не проповедуем доверчивости супранатурализма, который вне сверхъестественного видит только глубокую тьму; равно не проповедуем и самодовольного натурализма, который думает, что для него все прозрачно и что нет нужды в божественном.

Вы видите, что обе системы равно грешат и грешат роковым заблуждением именно оттого, что смотрят на религию не как на самую жизнь, а как на учение. Но мы говорим, что религия не учение, а жизнь, совокупность действительных, жизненных отношений личности человека к личности Бога, к живому божеству. Следов[ательно], с нашей точки зрения не может быть и вопроса о том, довольно ли или не довольно для наших познаний о религии одного откровения. Когда говорят о взаимном отношении, уже само собою предполагается деятельность и с той и с другой стороны.

Однако, если с нашей точки зрения вопрос этот решается сам собой, мы не можем не говорить о нем более подробно, потому что с других точек наше решение отвергается. Итак, нам нужно знать, почему и как отрицается оно, и показать несостоятельность этого отрицания.

Что такое божественное откровение вообще? Это личное самосообщение человека с Богом. Я утверждаю, что без откровения, так понимаемого, не может быть и религии. Хотя совокупность религиозных истин еще не составляет религии, однако как жизнь вообще невозможна без всяких познаний, так и религия невозможна без восприятия тех или других истин. Итак, можно ли обойтись без бож[ественного] откровения? Наш ответ: нет, не может человек обойтись без него, и мы основываемся в своем мнении на теории наших познаний вообще. Потребность откровения в религии есть следствие самого образа познавания нашего разума. Объясним.

Известно, что мы познаем умом. Какой предмет этого познания? Всю область этого познания можно разделить на два отдела: мы познаем или самих себя, или что находится вне нас. Как же ум наш приходит в соприкосновение с этими предметами познания? Себя мы познаем посредством внутреннего чувства, или самосознания, которое не оставляет ни малейшего сомнения относительно существования нас самих. Каждый сознает, что он мыслит, чувствует, действует, и никто не разуверит меня в моем существовании. Познавая так[им] обр[азом] самих себя, мы различаем между разнообразными впечатлениями и мыслями, приходящими извне, и между основой нашего сознания; эта основа есть наш внутренний капитал, наш внутренний фонд самопознания. Из этого внутреннего фонда мы выводим более или менее длинную цепь заключений. Вот 1-й метод нашего познания— «выведение» (*deductio*). Дедуктивную деятельность разума Бэкон сравнил с деятельностью паука, который сам из себя тянет нить своей паутины.

Но здесь представляется важный вопрос: может ли развиваться этот фонд без посредства природы, существующей вне нас? Опыт говорит, что не может. Не напрасно мы поставлены в тесной связи с внешней природой. Внешняя природа действует на нас, и вследствие этого действия зерна сознания, таящиеся внутри нас, пробуждаются к жизни, растут, распускаются. Как зерно хлеба не может расти без воды, воздуха, света, в пустоте, так и наше внутреннее нравств[енное] чувство, наша мысль не могли бы развиваться без действия окружающей нас среды и природы, если бы самая жизнь не делала запросов нашему уму и сердцу. Без соприкосновения с жизнью наше внутреннее богатство так и осталось бы скрытым в глубинах духа. Это доказывают дети, вследствие каких-нибудь обстоятельств оторванные от общества себе подобных, также глухонемые, по самому недостатку своему отчужденные от живого сообщения с окружающим обществом. К той же категории относятся и дикари; они, кажется, вполне сделались рабами природных влечений; в них спят непробудно требования нравственной и умственной жизни. Так много значит среда. Так[им] образом, человек не иначе может пользоваться своим внутренним богатством, как если не будет наведен на это богатство внешней природой и обстановкой. Отсюда другой метод познания— «наведение».

Но довольно. Продолжать буду в следующем письме, скором. Тороплюсь на почту. Пиши, пожалуйста, и

больше. Да попроси и Парадизова. Боже! Как много еще места осталось — а некогда! Досадно. На вопросы твои даже не могу теперь отвечать — после. Досадно, что вчера проспал после Гримма. Прощай, друг мой. Не обессудь за плохую лекцию, т. е. за плохую передачу ее. В следующий раз лучше будет. Пожалуйста, не давай ее тому, кто захочет видеть в ней меня с моими недостатками, но прочти всем желающим правды. Прощай!

Твой Василий Ключевский.

В. В. Холмовскому крепчайшее рукопожатие. *Idem et caeteris*<sup>1</sup>.

Проси их писать ко мне. Господи, как обрадует меня всякое ваше словечко. А я весь к вашим услугам. Боже! 12 без  $\frac{1}{4}$ !

Рукой П. П. Гвоздева. Получено 18 октября.

Гвоздев.

## 8. И. В. ЕВРОПЕЙЦЕВУ

18 октября 1861 г.

18 октября 1861 г.

[...] Я полагаю, что Вы уже имеете некоторые сведения о наших делах. По всей вероятности, Вы слышали, что был закрыт Петербургский университет за беспорядки, произведенные студентами. По случаю этого закрытия и у нас произошли шумные движения — свистали инспектора и подобное. Но это было делом немногих. Большинство студентов объявило инспектору, что они против этих неприличных действий. Сами согласитесь, что не студентам свистать и буяннить в аудитории; это и на улице неприятно и не совсем законно. Однако же так как эти действия произошли прежде всего в юридической аудитории, то совет университета решил, чтобы закрыть первые два курса юридического факультета на год. Теперь эти курсы опять открыты для тех, кто объявил себя против шумных действий. Это было в конце сентября, но дело здесь в том, что по милости всех этих событий мы были поставлены в самое неприятное, беспокойное положение. Было опасно писать письма, потому что носились слухи, будто на почте их вскрывают...

Из-за чего же, спросите Вы, произошли эти беспорядки?

<sup>1</sup> То же и другим (лат.).

Студенты хотели выручить товарищей, которые набушевали в аудитории, и решились хлопотать об отменении постановлений, стеснительных для студентов, особенно бедных, именно: об отменении поголовной обязанности платы за право слушания лекций; о позволении объясняться с начальством через депутатов, что по правилам не позволено. Все это было прекрасно. Предположено было подать министру или самому государю адрес обо всем этом. Но адрес сопровождался таким шумом, что он делался дерзким поступком, хотя в сущности он не должен быть таким. Напр[имер], однажды толпа студентов с шумом подступила из сада, где было сборище, к дверям университета и требовала инспектора, грозя в противном случае выломать двери, и на другой день в самом деле некоторые головы выломали решетку в коридоре, через которую проходят студенты, предъявляя поставленному здесь швейцару свои билеты. Ну, на что это похоже? Вследствие этого очень многие, в том числе и я, не хотели подписаться под адресом, во-первых, потому, что он производился уже незаконным образом, а кто хлопочет об изменении чего-либо, то для успеха должен еще подчиниться существующим постановлениям, не правда ли?—а во-вторых, и потому, что на этот адрес и не обратили бы внимания или еще и хуже сделали бы как с поступком не совсем почтительным. Вы понимаете, кто бы это сделал? Напр[имер], в адресе не говорилось: просим о том-то—нет, а прямо: желаем, требуем—и дело с концом. Наперед можно было видеть, что люди, к которым обращен был этот адрес, не привыкшие к такому тону бесцеремонному и еще недавно закрывшие университет Петербургский, не очень ласково ответят и московским студентам. Мало-помалу подписка под адрес[ом] уменьшалась; все было стало утихать. Жаль было только, что два курса юридические закрыты. Но вдруг в начале октября в ночь схвачены были полицией некоторые студенты без всякого объяснения, за что и почему. Это взволновало опять студенческий люд. Стали требовать у попечителя\* объяснения и при этом с шумом ввалились в комнату, где он был. Попечитель отказался говорить с такой бесцеремонной толпой. Призван был обер-полицмейстер\*, но ему заметили студенты, что ему здесь делать нечего, и с шумным свистом проводили с университетского двора. На другой день то же, но кончилось трагедией. Студенты, получив отказ у попечителя, отправились толпой к дому генерал-губернатора, чтобы у него попросить объяснения, почему арестованы

некоторые их товарищи. Отправились, разумеется, не все. Их сопровождала огромная толпа зрителей. Но здесь явилась полиция и проводила студентов до дома губернатора. При доме произошли беспорядки, и подан был жандармам знак хватать. Тут началось странное дело. Пешие и конные жандармы рассыпались по улице и всякого, кто имел какие-нибудь признаки студента (мундир, очки и подоб[ное]), бесцеремонно хватали за шиворот, стаскивали с дрожек, кто ехал, и тащили в часть. К Тверской нельзя было пройти. Некоторых студентов били палашами или чем попало. Сюда присоединились еще лавочники и прочая челядь, которой полиция успела объявить, что студенты хотят вместе с помещиками отнять у крестьян волю и что это все поляки бунтуют (какая нелепая несообразность!). Чернь также ловила студентов и с криками выдавала полиции. Многие посторонние были схвачены толпой по недоразумению, что они студенты. Иной студент шел, не зная ничего, по улице, и его беспардонно тащили в часть. Даже помощник инспектора просидел там несколько часов, потому что его приняли за студента. Поистине дело было плачевное! Хватали без всякого разбора и церемонности. Некоторые студенты вырывались и растрепанные, оборванные прибежали в университет поведать товарищам о случившемся. Некоторое время университет был в осадном положении, около него собралось множество народа, колясок, дрожек, будто на праздник, и в довершение декорации рыскали пред воротами жандармы, не пропуская никого ни в университет, ни из университета. Это многих, и в том числе меня, оставшихся в университете, спасло от жандармского палаша или копыта его лошади. Дело было слишком серьезное, чтобы не принять его к сердцу. Оказалось, что больше 300 человек сидели в части. Беспардонность полиции в обращении с студентами соединила всех студентов в той мысли, что полиции не должно пропустить это безнаказанно. Собрался совет профессоров, и решили вести дело судебным порядком, назначив со стороны университета депутата. Между тем перед частью до самой ночи стояла огромная толпа народу, и длинный ряд конных жандармов выстроен был в линейку на площади. Оставшиеся студенты сами хотели идти в часть и требовать, чтобы и их посадили вместе с товарищами, но их не взяли и некоторых схваченных выпустили и доселе продолжают выпускать. Лавочники и подобная челядь обнаружила себя против студентов, называя их буянами, говоря, что здесь действовали больше поляки,

что они шли разбить окна у губернатора: ходили самые нелепые слухи. В этом говоре толпы была своя доля правды: студенты действительно побуянили неприлично, разумеется, немного, но дело в том, что хватали всех без разбора и хватали бесцеремонно, с чисто солдатскими приемами. Но если чернь заявила себя против студентов, то высшие сословия иначе отнеслись к ним. Некоторые, правда, из высшего сословия, говорят, обвиняли во всем студентов, но вообще все недовольны были полицией. Говорят, дворяне хотят протестовать против ее поступков. Упомянем об одном, пожалуй, и трогательном, но отчасти и забавном выражении сочувствия студентам: дамы, бывшие постоянными зрительницами движений университета, после дневных арестов пришли к части (говорю, некоторые, иные очень щегольски одетые) и принесли узникам конфет целые узлы, объявив при этом, что они не будут танцевать с жандармскими офицерами, оскорблявшими их любимцев-студентов... Как хотите смотрите на это; я не отказываюсь видеть в этом и хорошее, но только смешно что-то немножко; видно, никакая комедия не обходится без трагедии и никакая трагедия без комедии; последнее и случилось с нами. Впрочем, от большей части дам московских и нельзя требовать большего: будет с них и этого. Во всяком случае спасибо им! С какой стороны ни смотреть на эту бойню, она выходит очень нехорошим делом со стороны полиции. Теперь идет об этом дело, и еще не могу сказать вам, чем оно кончится. Между тем все взволнованы, до лекций ли здесь! Решили прекратить ходить на лекции до окончания дела. Закрытые курсы открыты для тех, кто объявил себя против нехороших сцен, произведенных студентами в начале всего этого дела. Заявить себя против этого всякий должен, говорю должен, потому что эти сцены не идут к студентам, делают их уличными буянами. В этом большинство нас сходится; но бойня, учиненная полицией, заставляет забыть это и сочувствовать биенным страдальцам. Открытие курсов пришлось не вовремя, и порешили не ходить на лекции, пока не кончится все дело и не освободят всех арестованных. Вот и посудите, как дела делаются на свете. Что за время переживаем мы! Посудите сами: в Петербурге прекращены лекции, несмотря на то что университет открыт (с изданием новых, еще более невыгодных правил для студентов); Киевский закрыт; говорят, то же и с Казанским университетом; Московский закрыли сами студенты (на неделю, не больше). Сколько остается после этого? Харьковский — и только, но еще не известно

хорошо, что там делается. Как назвать это время? Безуниверситетским, междуцарствием полицейским. Что-то грустно, как хотите.

Впрочем, не беспокойтесь. Дело уладится; найдутся и там, наверху, люди, желающие добра университетам, и если не отменят правил, стеснительных для студентов, то и хуже ничего не будет: можно надеяться на это. Для успокоения нужно Вам сказать, что университет Московский не закроют никогда: это не Петербургский и никакой другой. Это говорил один из профессоров. Временное прекращение лекций самими студентами ничего не значит и не есть официальное закрытие со стороны начальства. Оно необходимо для скорейшего окончания дела. Будьте спокойны: нас защитят и все пойдет своим порядком. Самое дурное в нашем деле то, что его связывают с польскими волнениями, тогда как это не имеет ничего общего с ними. Это домашнее университетское дело, а не политическая демонстрация. А между тем что за события происходят вместе с этим. В Туле семинаристы волнуются, и полиция также, говорят, вмешалась в дело. Смута со всех сторон. В Петербурге, говорят, деятельно сочувствуют волнениям университета. К чему это? Тих[он] Алек[сеевич] проездом в Новгород\*, куда его назначили учителем, говорил, что и Щапов\* опять замешан в дело студентов, хотя сам он отказался от него. Хотелось бы еще кое-что передать Вам о Петербурге, но 1) не ручаюсь за их достоверность и 2) сами знаете, почему нельзя писать об этом. Ждем императора в Москву из его путешествия на юг России. Я здоров, хлопочу об уроках, которые имеются в виду [...]

#### 9. П. П. ГВОЗДЕВУ

27 октября 1861 г.

P. S. Общее замечание: пожалуйста, осторожно давай или читай это письмо другим, да вообще и вовсе не читай, исключая разве трактата о поэзии. А о совести после. Эта заметка оч[ень] важна, как увидишь.

Москва, 27 октября 1861.

Carissime!

Спешу передать тебе последние университетские события, чтобы перейти к твоему дорогому письму от 6 октября. Я немного соврал в последнем своем письме, сказав, что все наши дела не больше как вопрос дня. Судьба

разыграла из университета порядочную драму с трагическим оттенком. В самом деле, все есть: и пафос, и жертвы, и палаши, и даже кинжалы, хотя ими не действовали, а только они вошли в состав декорации как самая видная и бросающаяся в глаза черта. Но не знаю, что выйдет из этой драмы; боюсь, как бы не кончилось, подобно всему трагическому на свете, комедией. А есть много задатков для такого окончания; в число действующих лиц вмешалось много таких личностей (чтобы не сказать «рыл»), которые с ног до головы пропитаны не только комедией, но даже самым пошлым водевилем. Слушай же, как ни печально вести хронику подсобных событий. Я намекнул тебе в прошлом письме, что в университетском обществе образовались партии с различными направлениями и что адрес падает вследствие недостатка единодушия и умеренности в действии. Как нарочно, в тот же день, когда послал я тебе письмо, случилась катастрофа, притча, объединившая всех студентов и заставившая замолкнуть разноречивые толки. В ночь с 11 на 12 октября схвачены были полицией несколько студентов по неизвестным причинам. Студенты решили требовать у попечителя объяснения. Здесь крикуны нашу-мели, и попечитель отказался говорить. К несчастью, никакое дело не обходится без этих запечных певунов. Что оставалось делать? Толпой отправилось до 500 студентов к генерал-губернатору под предводительством выбранных депутатов, чтобы спросить его о причине ареста товарищей. Толпа эта двинулась из сада. Мы оставались в университете, и вскоре заперт был жандармами выход из него. Это спасло нас от многих бед. Надо сказать тебе, что еще с 11 числа, когда по случаю шума приглашен был обер-полицеймейстер, но студенты торжественным «браво!» проводили его со двора, так еще с 11-го перед университетом зевала густая толпа и стояло множество разнообразных экипажей. Дамы были не последними зрительницами дела; это заметить, потому что в связи с этим стоит одна комическая штучка, о которой скажу тебе ниже. Толпу провожала до самого дома полиция в лице нескольких жандармов. У дома произошли беспорядки, полиция не пускала, студенты теснились — искорка вспыхнула, и пожар разлился. По сигналу студентов оцепили и начали хватать. Некоторые бросились бежать; жандармы за ними; произошла свалка; несколько часов по Тверской и Никитской не было прохода. Жандармы не церемонились, с обнаженными палашами мчались за каждым носившим какие-нибудь признаки студента, т. е.

мундир, очки, книги и пр[очее]. При малейшем сопротивлении жандармы начинали употреблять военные приемы; многие студенты пострадали от их палашей и лошадей (но крови не было, плашмя значит). Чернь в лице лавочников, предупрежденная полицией (так говорят), что студенты хотят зарезать губернатора и что они думают вместе с помещиками отнять у крестьян волю, злобно бросалась на студентов и выдавала полиции. Мы узнали об этом от некоторых мучеников, вырвавшихся из жандармских когтей и прибежавших в университет в растрепанном виде и, разумеется, не без мелодраматических выходов вроде подвязки глаза, на котором была ничтожная царапина, сделанная самим же (может, даже вследствие беседы с бутылкой). Но всех тронуло это событие. Ожесточение полиции было таково, что один жандарм оказался задавленным лошадью другого; хватали без разбора, даже попался один субинспектор (на универ[ситетском] языке «субик»), принятый за студента. Так же и другие совершенно сторонние. К вечеру до 320 челов[ек] набралось в части. Студенты хотели идти все и требовать, чтобы и их взяли, некоторые действительно выкинули такое коленце, но им отказали по неимению места, вероятно. Что делать? Собрался совет; на другой день он объявил (т. е. совет профессоров и пр[очих]) 2 пункта: [1]) что он изберет депутата из числа профессоров для исследования дела и 2) чтобы студенты прекратили сходки (по правилам они запрещены, но происходили свободно на крыльце и перед дверьми университета, не только в саду, причем не стеснялись даже касательно папирос). Перед частью на площади до поздней ночи происходили в густой толпе москвичей толки о случившемся, Чем же кончилось? А пока еще вот в каком положении дела: говорят, дворянство протестует, как против насилия; студенты решили перестать на несколько времени ходить на лекции, чтобы, с одной ст[ороны], скорее кончить дело, а с второй — дать знать кому следует, что студенты небезопасны даже в стенах университета. И теперь мы дома, и почти можно сказать, что Моск[овский] университет закрыт наполовину студентами же, а не силою, разумеется, на несколько дней. Закрытые два курса юр[идического] фак[ультета] открыты для тех, кто заявил себя против выходов первых дней (27—29 сент[ября]). Вот и покачай головой-то, сказал бы я тебе, хлопая тебя по плечу, что за время переживаем мы! Слышно, Казанский университет закрыт; в Петербургском дела еще серьезнее, и хватают шире; в Киеве также, слышно, не читают лекций. Сколько универ-

ситетов остается затем? Но Московский не закроют, разве студенты выйдут сами, но этого быть не может: Буслаев, Соловьев, Ешевский... Есть за что подержаться. Где найдешь подобных? Но не знаю, что будет полиции: а надо бы дать ей заметить, что университетская молодежь — не толпа. Императ[ор] на днях, возвращаясь с юга, только два часа был в Москве<sup>1</sup>; говорят, предоставил вести дело губерн[атору] Тучкову. А вот штука: некоторые дамы приходили к «узникам» с конфетами и серьезно объявили, что с жандармскими офицерами танцевать не будут за то, что эти оскорбили студентов. Пленных освобождают, и теперь их в части не больше 30 с чем-то. Что выйдет из всего, еще никто не знает.

Подождем, подождем, а между тем не верь тому, кто скажет тебе в доказательство того, что и студенты дрались с жандармами, что на площади-де поднято 3 кинжала и 58 палок, как напечатано в «Московск[их] полиц[ейских] ведомостях». Я слышал, что кинжалы эти куплены полицией же в магазине и объявлены за студенческие, а с палками ходит большая часть студентов (я также не в исключении из этого правила). Но некоторые дрались, защищались, правильнее выражаясь, и это ничего не доказывает.

Довольно. На днях проездом из Петербурга в Новгород Нижний заходил к нам Т. А. Горизонтов и передал много свежих новостей. Он перешел в тамошнюю семинарию, кажется, на словесность. Он передал, между прочим, жалостную комедию, где действующим героем был Евпсихий. Замечательно, что в Петербурге до мелочей знают все наши семинарские скандалы. Благодетели Евпсихия выхлопотали было ему викария в Казань; вдруг в это же самое время шлет Евпсихий, кажется, неофициальное извещение, что он-де и слеп, и глух, и нем и не может отправлять Богом порученную ему должность. Каков пассаж! Дело, говорят, стало вследствие сего: викарий божества улетел! Твое известие, что архиерей дурно аттестовал его, подтвердил и Горизонтов. Может, ты уже слышал это и вернее, чем я. Вот замечательно, что вся наша партия (sic!) оставила Пензу: Т. Горизонтова нет, Розанов\* перешел дьячком в Штутгардт (Баденск[ое] герцогств[о]), при тамошней русской миссии, Лавров в Перми, я с Покровским в Москве. У, как раскидались! Теперь Яшенька\* может спать покойно в объятиях ненаглядной Марьи Петровны; и только ты один, как одинокий

<sup>1</sup> Далее зачеркнуто 6—7 неразобранных слов.

дуб, стоишь еще на пути среди прочищенного поля и, к досаде неких их, стоически шумишь своими многолиственными ветвями! Шуми, шуми, мой широкотенистый дуб, и не давай покоя сверчкам запечным! Но будь и осторожен, или ты надеешься на себя? Т[ихон] А[лексееви]ч хотел списаться с тобой о чем-то. Горизонтов виделся в П[етер]б[урге] со Щаповым, который передал ему, что в 3-м отделении (куда всех госуд[арственных] преступников сажают) еще ничего, хорошо кормят и пр[очее], но что в крепости отвратительно сидеть\*. Он, Щап[ов] т. е., нечаянно замешался в дело тамошних студентов, и его прицепили было, хотя он отказывался от участия. Несчастливая голова! Он давно уже в венерической (заметь про себя) и, однако ж, пьянствует ужасно. Так вот какие дела, а между тем жалко все-таки, что Евпсихий так одурачен! Ведь не он виноват главным образом, но верно так уж ведется исстари, что на бедного Макара и шишки валяются.

Ну, а теперь твое письмо, к несчастью, только еще второе. Минуя благодарности, которые здесь подразумеваются, и, как человек, которому не чуждо все человеческое, следов[ательно], и самолюбие, я указываю прямо на то место, где ты пишешь о памяти, оставленной мною в семинарии. Если меня помнят еще там, то и во мне еще свежо живет эта семинария и семинарское время. Странно, как часто ни разыгрываю в душе чувствительные фантазии на эту тему, они не смешны мне и даже часто трогают не на шутку. Откровенно передаю тебе одну забавную черту из моей теперешней жизни: потушив свечу после 5-часового коптенья над какой-нибудь «Kirchengeschichte der germanischen Völker» или Геродотом и завалившись на диван, я люблю выводить в потемках на сцену свое бывшее: Пензу с семинарией, товарищами, знакомыми, научными спорами и (не смейся!) знакомками в 16—18 лет, которых, впрочем, было очень немного; люблю я в это время побаловать свою фантазию и даже посентиментальничать. Что делать? Былые мечты и образы так приветливо выются в темноте, и что за беда, если между этими образами там где-нибудь на заднем плане мелькнет хорошенькая фигурка с белым лицом и черными волосами, а я безумствую, как в былые времена, смотрю на этот фантастический образ и опять влюбляюсь, как прежде. Смешно, а правда. Весело смотреть мне и на этот ряд моих прежних друзей (нечего и говорить, кто стоит во главе этого ряда), который вывожу я перед своими глазами, как древний чародей выводил тени людей, далеких или давно сошедших с поверхности земли. Но

этот ряд друзей не сошел еще даже и с поверхности моего мозга, и даже с оболочки сердца (выражусь так, по-риторски). Что ни говори, а долго не отживает еще это прошлое время, несмотря на перемену обстановки, и долго новое время не заменит вполне старого. И также долго не перестает человек, окруженный новой сферой, разогревать в себе старые чувства прошлого, как я разогреваю теперь к твоей досаде. Знаешь ли что? В каждом письме, где нет места для церемонности, непременно повторятся давно известные и уже избитые мотивы, которые после странно действуют на тебя же, не нравятся, но которых избежать нельзя. Это напомнил ты мне, выписав две фразы из моего предпоследнего письма; мне они показались странными, а я все-таки понимаю то состояние, в котором сказаны они, и не поручусь за то, что это состояние не повторится,—и что же? Вот действительно повторилось же. Я теперь опять так же готов написать тебе такие же чувствования, как прежде, если уже не написал. А все потому, что ты напомнил мне старое. Как я рад был, прочитав у тебя, что я еще в памяти у вас! Но признаюсь—ты чересчур расхвалил меня. Я попрошу тебя еще об одном: подмечай, что поговаривают обо мне старые педагоги (Абрам\*, Бурлуцкий и подобные). Мне очень бы хотелось узнать их мнение насчет их заблудшей овцы. Вообще ты хорошо, и сказать нельзя, как хорошо, сделал в твоём письме, написав о делах семинарии и о своем в высшей степени забавном и геройском процессе с Бурлуцким. Я подивился. Между тем странным кажется мне, что не пишут Парадизов, Разумов, Холмовский. Подвигни их и всех, кто имеет или имел со мною дело. Парадизов! Молчит «Жид» этакой—и только. Хотелось бы мне сказать ему теперь самый сахарный комплимент, да не идет в голову, и я посылаю ему крепкое словцо за его лень. «Степан Парадизов!—восклицаю я.—Что не пишешь? «Жид» бессмертный!» Если имеешь что от Флоринского, передай, а ему напиши от меня крепчайшее пожатие.

На мне лежит еще обязанность познакомить тебя с тем студенческим обществом, в котором я преимущественно вращаюсь. Оно пока еще очень малочисленно, но мы начинаем уже жить по-старому, семинарскому, тем более что эти новые близкие знакомцы—семинарская же, следов[ательно], наша родная братия. Один из них из Московской академии, где был он год,—Фивейский, самая идеальная, добрая, откровенная голова. Он скрипач, и мы часто, собравшись в кружок, слушаем его «Ах, подру-

женьки, как грустно». Любо. Я же страстно люблю слушать музыку, хотя также страшно не люблю учиться музыке. Другой из нашего кружка—Гиляров\*, сын моск[овского] священника, племянник известного Гилярова-Платонова, из здешней семинарии. Я бываю у него, образуем кружок и болтаем. К тому же у него сестра, довольно сильная в деле очаровывания, а потому мы очень охотно собираемся у него и еще охотнее смотрим в комнату, где виднеется довольно высокий лоб с русыми волосами. Старая штука! Другие в этом же роде, и хорошо с ними, хоть немножко заменяют старые знакомства и связи. Народ все дельный: поставим бутылку (впрочем, редко) и философствуем на просторе. И только тебя нет. Тогда все было бы как нельзя лучше.

Я не написал тебе об одном профессоре, бывало не выходящем у меня из головы,—это Соловьев. Он не читает у нас на 1-м курсе, так как у нас нет в программе первого года русской истории; она начинается со второго. Соловьев читает на 3-м и 4-м курсах. Я слушал его раз и заслушался. Он читает чрезвычайно медленно, так что можно записывать до слова. Лекции его как-то особенно выработаны, хотя он читает экспромтом. За живое задевает его здоровая, критическая мысль, подчас не чуждая самой трезвой поэзии. Я слушал его чтение о заселении славянами Северо-Восточной равнины и влиянии ее на быт славян сравнительно с германскими народами. Я переписал эту лекцию на почтовой бумаге и как-нибудь перешлю ее тебе, потому что лень переписывать. Сам он довольно толстый, красный, уже пожилой человек с золотыми очками на носу. Больше пока не знаю, что написать об нем.

Я писал к тебе, что хожу к Буслаеву читать Гримма, этого знаменитого исследователя немецкой литературы (я читаю Якова Гримма, так как есть еще другой—брат его, специалист по тому же предмету). Как-то при расставании мы разговорились с Буслаевым по поводу одного предмета филологического, а потом перешли и к постороннему. «Вы откуда?»—спросил он. «Из Пензы, из тамошней семинарии».—«А! Так мы с Вами земляки: я также оттуда». Вот тебе подтверждение слуха, который был у нас о его происхождении. Принимает он радушно и запросто, и как уютно сидеть у него между длинными шкапами с множеством книг на всевозможных языках. Как у исследователя русской старины, у него целая куча всевозможных русских церковных книг, в которые и заглянуть-то страшно—так стары они и такой странной

печати, вероятно, еще первых времен по заведении на Руси типографии. Теперь я занимаюсь под его руководством древнегерманской мифологией по великолепному литературному памятнику, именно по песням древней Эдды\*. Это произведение древнесеверной скандинавской поэзии поспорит с Гомером. В нем изображены мифологические воззрения германских народов и весь их эпос. Великолепна эта поэзия! Какое широкое, глубокое мировоззрение. Не то что наша русская или, лучше, славянская поэзия. Я упомянул выше об одной книге, взятой мной у Буслаева, именно о церковной истории германских народов. Там по Эдде представлена вся мифология немецких племен с ее глубоким гуманным смыслом. Автор, изображая ее, находит в ней уже зачатки предрасположения к христианству. Вот как там, у немцев, разрабатывают свою церковную историю! И вообще хорошо действует на душу даже первое знакомство с германской народной поэзией. При всей любви к родному этого не найдешь в поэзии русской; не найдешь в ней этого смелого, широкого развития, этого бодрого духа, который веет в германском героическом эпосе, проникнутом самым гуманным чувством. Что за личности, светлые, самые человеческие выступают в этом эпосе! А у нас не найдешь этого: кой-где, будто ненарочно, мелькнет в нашем эпосе светлое лицо вроде буй тура Всеволода Олеговича с его плачущей Ярославной\* — и то уже в эпосе позднейшем, историческом (эти лица в «Слове о полку Игореве» — единственном несравненном эпическом произведении древней Руси). Да и с чего взяться у нас такой поэзии? Откуда явиться у нас этим светлым, поэтическим образам и лицам, какие находим мы в поэзии немецкой? Там жизнь была иная, удалая, свободная, праздничная, если можно так выразиться. Там действительность не была так сурова, чтобы заставить забыть о поэзии; там можно было увлечься народной фантазией в область светлых представлений, когда самая жизнь будила в человеке его светлые струны; там женщина всегда являлась с своими правами на гражданство, с своей вещей силой и смягчающим действием на общество. А у нас всегда была на первом плане тяжелая нужда, тяжелая борьба с бедной природой да давящими историческими обстоятельствами, татарщиной, византиевщиной, боярщиной и пр[очим]. Некогда было думать о поэзии. С первых пор христианства русский человек стал грехом считать свою родную старину, свою народность. Песню он называл бесовской потехой; пляску, музыку — выдумками дьявола. И нынче есть

попы, разгоняющие хороводы в селах; таков поп, который сменил моего отца в известном тебе селе Можáровке\*. Это я передаю тебе как факт, мною виденный. Где тут разыгаться фантазии народа, когда над ней тяготели византийские ужасы адских мук и козней бесовских? Могла ли образоваться светлая семейная и общественная жизнь, когда женщина была лишним членом общества, когда в ней видели (с христианско-византийской точки зрения) только орудие беса, сосуд всякого зла и соблазна? Ее считали, да и ныне считает простой люд, существом хуже и бесполезнее лошади (ссылаюсь на статью «Около мужичков» в сент[ябрьской] кн[ижке] «От[ечественных] зап[исок]» 1861 г.)\*. Она была заперта в тереме в высшем и богатейшем классе общества, а в низшем над ней тяготела домашняя забота и плетка мужа. Знаешь, что в древнем свадебном обряде отец невесты дарил жениха плеткой для известного употребления. Прочти, если не прочитал еще, «Грозу» Островского («Библиотека» д[ля] чт[ения]), 1860 г., янв[арь]); и ты увидишь, какая тяжелая сфера, какая безотрадная жизнь окружала и еще донныне кое-где окружает бедную русскую женщину. Тебе известен мотив, самый обыкновенный в нашей песне: удалой парень с тоски и кручины теряет свою голову и пускается во вся тяжкая, не зная другого выхода из сердечной тучи, или девушка, задавленная обстановкой, жалуется на судьбу или измену суженого: «Выйду ль я на реченьку, посмотрю ль на быстрюю,—унеси ты мое горе, быстра реченька, с собой!»\*— вот ее обычная песня! Кольцов подчас идеализировал чисто народные мотивы, и потому у него самая грусть русской женщины выходит как-то особенно светло; но в самой народной песне было иначе, в гораздо более мрачном виде. Где тут родиться веселой песне или широкому светлому воззрению? Будни, безотрадные будни окружали русскую жизнь испокон века; оттого он, этот русский человек (я говорю о простолюдине, потому что высшее общество, созданное Петром,— это уже немецкие панталонники, как однажды выразился Буслаев в своем разговоре с нами, разумеется, у себя дома) и вышел таким материалистом, с таким прозаическим взглядом на жизнь, что резко бросается в глаза при всяком столкновении с ним. Он потерт жизнью, потерт и друзьями, и недругами и дорого купил свою опытность, практичность; он нуждой разочаровался в жизни и враг теории, которую зовет он немчурой, любя свой вековечный «авось» и «как-нибудь», лишь бы разделаться с делом. Нужда выучила его жить «себе на уме» и смотреть

на все с высоты полатей. Разве песня его забава, плод светлого настроения? Он уныло тянет что-то нескончаемое и безрадостное, ходя в поту за сохой с своей клячей. «Ну, тащися, сивка!» \* Кольцова — редкая минута в жизни русского мужика; чаще приходится петь ему: «Сяду я за стол — да подумаю: как на свете жить одинокому?» \* Разве веселая струна звучит в песне русской женщины? Нет, там звучит какая-то стонущая нота. Послушай, что поет она о своей песне:

Нам и песни — не веселье!  
От тоски мы их поем!

Эти слова хотя и не из чисто народной песни (из «Аск[ольдовой] могилы» — оперы Глинки \*), прекрасно выражают всю историю русской поэзии. «От тоски мы их поем». Певец полка Игорева жалуется на княжеские распри; в каждой песне человек русский жалуется на судьбу, на злую кручину, а женщина — на злую мачеху, на злого мужа или свекра — все жалоба, все стон, и нигде светлого мотива, веселого, игривого чувства:

Вьдь на Волгу: чей стон раздастся  
Над великою русской рекой?  
Этот стон у нас песнью зовется:  
То бурлаки идут бичевой!  
Волга, Волга! Весной многоводною  
Ты не так заливаешь поля,  
Как великою скорбью народною  
Переполнена наша земля!  
(Некрасов. Парадный подъезд \*)

А все же дорогá и эта поэзия, и эта грустная песня, и еще тем дороже, что поет ее бедный русский народ. Она дороже да и гуманнее всех песен Жуковского и Пушкина, и Лермонтова, песен блестящего, как фейерверк, и пустого, как фейерверк же, высшего света, созданного, скроенного Бог знает из каких заморских лоскутов, на живую нитку и часто вовсе не по плечу русского человека. Может, ты недоверчиво смотришь на мою не чуждую увлечения элегию на тему русской жизни. Прочти, и непременно прочти в сент[ябрьской] кн[ижке] «От[ечественных] зап[исок]» 1861 г. статью Буслаева «О русских народных книгах и лубочных изданиях», и ты увидишь, что я говорю правду. Тогда же я передам тебе и анекдот об этой статье, рассказанный самим Буслаевым нам — нескольким студентам, собирающимся у него, анекдот, характеризующий одну сторону университета.

Я разговорился и позабыл дописать тебе лекцию Сергиевского. Что делать? Уж негде. Видно, подождешь.

Только пиши, пожалуйста. Эта просьба сделалась у меня вроде Катоновского «*Delendam esse Carthaginem*»<sup>1</sup>, и кстати и некстати все прошу писать тебя, да и других тоже, в чем и ты поможешь мне. О северной мифологии, о которой я так разглагогался, скажу тебе, что я непременно познакомлю тебя с ней, если есть охота слушать (а на охоту с твоей стороны я рассчитываю смело). Бываешь ли ты у наших? Не мешало бы, чтобы узнать их положение и передать мне; сами они этого не сделают. Только будь осторожен в передаче моего письма. Прощай же, дружище (как филолог, замечу, что «*carissime*» оч[ень] идет переводить «дружище»; там и здесь окончание длинное: «*issime*» — «ище» — сходно, не так ли?). Жми руку Парадизову, Холмов[скому], Любимову (А. И. и П. Я.), Разумову, Богоявл[енско]му, Добр[осерд]овым (Д[митрию], В[асилию] и али<sup>2</sup>), Ара[вийск]ому, Прилуцкому, Василькову, Сатурновым, Алгеброву, Весело[вск]ому и всем, всем друзьям, сколько ни есть.

В. Ключевский.

Рукой П. П. Гвоздева: Получено 4 ноября.

#### 10. В. В. ХОЛМОВСКОМУ

18 ноября [1861 г.]

Москва, 18 ноября.

Васенька!

Без дальнейших комплиментов я укажу тебе на одно обстоятельство, чтобы ты мог судить, как обрадовал меня пакет твой с тремя письмами. Часов около 6, сумерками, я валялся на диване с папироской, созерцая темный потолок и помышляя о делах человеческих, об их проходимости и между тем с сокрушением сердечным сетуя, что не пишут из Пензы. И нужно же было случиться так, что в самый разгар элегического умиленного сетования *madame de la chambre*<sup>3</sup>, так сказать, подает письмо. Хотя это, надобно тебе заметить, и препротивная рожа, однако ж на минуту она показалась мне благодетельной феей, черт бы ее взял. Но мое удовольствие уцентрировалось, так сказать, когда прочел я твое милейшее письмо. Вот это хорошо, без церемоний, пожалуйста, пиши всегда на догматике: на ней отлично писать. Не знаю, как и похвалить тебя за твое

<sup>1</sup> «Карфаген должен быть разрушен» (лат.).

<sup>2</sup> другим (лат.).

<sup>3</sup> хозяйка (фр.).

равнодушные к очкам и мундирам и тому подобным украшениям зверей. Так! Что смотреть на них? Всегда при встрече с очками и мундирами и т[ому] п[одобным] помни, что под этими немецкими штуками кроется зверь или по крайней мере татарский баскак. Ты отлично умел заставить меня писать к тебе без отлагательств: нашедши в письме штучку, я не мог уже располагать своим будущим тогда и настоящим теперь письмом, ты заранее купил его у меня. Bravo! Посмотри, пожалуйста, неужели же я так обленился есмь, что не хватит у меня лишних сил сходить лишний раз на почту? Помилуй, пощади!

В моем письме я не обещаю ничего важного, а потому прежде всего перехожу к важнейшему. Ордалион Васильевич сделал мне сердечнейшую услугу, сделав приписку ко мне. Благодарение ему вот этакое! Знаешь, до земли поклонение. Петру Васильевичу, Авдотье Яковлевне и, если в Пензе, Александре Васильевне—мой самый искренний привет!

Потом я должен тебе заметить, что я вовсе не клял тебя за молчание, а только сетовал умильно по обыкновению. Каждое утро заходил я к раздатчику писем в университете спросить, нет ли письма, но, слава Богу, получил на диване. Какой же повод прекрасный посетовать в том, что первое письмо твое погибло! Где бы оно могло завязнуть? Благодаря успокоению университетской бури в стакане теперь, кажется, на почте не вскрывают и не задерживают писем, адресованных на имя студента. Впрочем, я еще полагаю по почтамту—авось найду! Что тебе сказать об делах наших, т. е. моих и не моих? Теперь я пустился в одну операцию, какую, и сказать нелегко—не то литературную, не то денежную, не то черт знает какую! У меня в порядке записаны были прочитанные нын[ешней] третьей лекции Ешевского о древней истории; соболезнуя о участи студентов, не записывающих и даже не обнаруживающих желание записывать лекции, один сердобольный студент же решил литографировать лекции эти, знаешь, как «Физика»—громадная книжища Тих[она] А[лексеевича] Горизонтова, что, бывало, таскал он в класс,—в таком роде. Но, взявшись за это, он не имел порядочно записанных лекций Ешевского, а у него нельзя было взять, потому что он читает экспромтом—ну, так[им] манером и втянулся неволью в операцию: я редактор текста, а он издатель, и дело в шляпе, и благословение племен и народов, нуждающихся в лекциях, особенно в тяжкую годину «испытаний» (examina). Вот тебе самая свежая, не успевшая даже и попортиться

новость по университету, случившаяся сегодня. Буслаев читал сегодня об Илье Муромце как самом ярком лице нашей мифологии, рассказал его интрижку с одной княжной и перешел к разбору мнений славянофилов об этом муромском герое, которые в увлечении всем русским и вместе и византийско-христианским, хоть это в сущности вовсе несовместимо, говорят, что в Илье Муромце олицетворилось много христианских воззрений народа, что, словом, это тот же святой русский (как угодник божий — чуть не так). Посмеявшись, как и следовало, над такой наивностью, Бусл[аев] перешел к разбору этих святош-ханжей, которые смотрят на все архиерейскими очками столпников и т[ому] п[одобных] чудаков, и, наконец, заключил лекцию подобной фразой: что-де наивное, искреннее верование язычника гораздо выше и лучше христианских верований ханжи и балаганного святоши. Ясно было, в кого он пускает стрелу. Раздался взрыв рукоплесканий, а это, знаешь, нам строго запрещено. Профессор встал на кафедру и вежливо раскланивался, пока гремели рукоплескания, а потом ушел, так как лекция была уже прочитана. Но вслед за ним явился инспектор\*, взошел на кафедру и почтительно, с оговорками держал речь о том, что он должен напомнить и просить как частное лицо, а не в качестве инспектора вспомнить, что аплодировать и т. п. профессору в аудитории нельзя. Тем, разумеется, все и кончилось. Но заметь, это важно: если аплодировали, значит, не вытерпели. Вообще Буслаев — одним словом!

Не сказать ли тебе чего о театре? Был как-то на итальянской опере: но музыка — суть-то в опере — не понравилась, а итальянского языка не знаю; пенье было хитро, но совершенно бессмысленно. Но зато удалось же побывать и на хорошей штучке. Как-то Маршев-отец по приезде в Москву затащил нас в ложу; давали, между прочим, «Русскую свадьбу»\*, балет. Он весь состоял в танцах маленьких-премаленьких учеников и учениц театральной школы. Ну, как уж мило пляшут эти штукари, особенно девочки! Зато, братец ты мой, и в другом роде штуки бывают. Это был балет — и только. Но ты знаешь, что такое балет вообще. Это выставка, и притом вовсе не художественная, того, что все стараются скрыть, — понимаешь? А ты думаешь, что все художественные выставки бывают на свете? И главная роль здесь танцовщиц. Такие здесь бывают поднятия ног, что и в очках одних, без бинокля жутко. Или, напр[имер], актер берет актрису и, поднимая ее вниз головой, описывает таким

образом полукруг самый неделикатный. Меня в это время всегда интересуют больше дамы, сидящие так величественно скромно в нижних ложах, откуда особенно хорошо видно все. Каково им-то в это время? Вообще танцовщицы кажутся красавицами, чуть не девочками, аленькими такими, хоть иная из них уже раз шесть носила в себе образ и подобие божие. А все такие легкие, воздушные, знаешь, старая штука! А старички-то, старички-то в восторге, сидя в креслах, приставляют бинокли к потухающим глазкам! Видно, как потряхивает вот этот солидный крестonosец плешивой головой, впиваясь жадно в каждое движение и обнаружение актрисы, будто не видал отроду подобного у себя дома, дурак этакой! Если хочешь наслаждаться в Москве тем, что есть лучшего в театре, иди в Малый театр (сказанные штуки творятся в так называемом Большом), и иди именно, когда дают Грибоедова, Островского, Гоголя и т. п., впрочем, немногих наших истинных комиков. Вот тут есть чего посмотреть. Здесь можно и посмеяться, как смеешься только в лучшую минуту жизни; отсюда же можно выйти и с таким впечатлением, какого в церкви не всегда получишь. Не забуду я «Грозы» Островского! Кажется, лучше пьесы невозможно написать! Теперь как-то боишься идти на эту пьесу в другой раз, будто боишься разбередить старую рану.

Из всего этого ты можешь видеть, что в Москве есть разные вещи, и такие, которые на пристойном языке называются хорошими, и такие, которые на том же языке именуется «неприличными». То же можно сказать и об университете, в частности. В силу того закона, что никакое почти жилье не обходится без тараканов, и у нас есть отличные прусаки. Вот хоть немец этот, лектор немецкого языка\*. На экзамене строг и скромен, как Фетида иль Паллада, а послушай, что калякает он в аудитории, на лекции, если можно по привычке перевод назвать лекцией. Он в час переводит не больше 10 строк, а все остальное время рассказывает нам такие «штукенции», каких и в «Полицейских ведомостях» не прочтешь. Уморит! Это, впрочем, он делает только на нашем курсе филологов, потому что мы ходили к нему всегда не более как в двух экземплярах, а чаще и по одному. Значит, бояться некого, людей немного, иногда не хватает и на то, чтобы хоть двойственное составить, притом и люди-то все приятели (мы, ходящие пока с ним),—ну и распоясывается себе как душе немецкой угодно. Другое дело известный тебе уже стилист Клин. Впрочем, о нем я ничего не могу

сказать, потому что в последний раз виделся с ним еще в начале октября, кажется, и с того времени не бывал. Так же поступают и все, и у него никогда больше одного не присутствует. Что ж? Ведь он тоже христианин; след[овательно], знает, что «иде же двое (а трое — оно уже и нельзя сказать) соберутся во имя мое»\* и пр. ... Впрочем, не подумай, что так и с другими делают. Нет! К этим не ходят потому, что нужды мало, околесную несут. Немецкий, напр[имер], этот лектор однажды минут 40 рассказывал нам скандальнейшую историю про своего племянника, сев с нами за парту, и хохотал сам до упаду. Вот оно как!

Впрочем, и я вслед за ним занес чепуху. Разумову я не буду отвечать особенным письмом, хоть и чувствую, что поступлю скверно, Впрочем, только на этот раз, а впоследствии напишу непременно. Так передай ему сии слова: «Евфим, мол, Васильевич! Первое, что я замечу тебе, это то, что за слова твои ты (т. е. я) заставляешь бояться, благоговеть — я бы по старому обычаю уши надрал. А второе, ты так одолжил меня письмом, что ни пером написать, ни в сказке рассказать. Третье, что я вот как рад тому, что ты принялся за дело, хотя — слушай комплимент — ты и прежде был дельный. Пей, да дело разумей! Вот молодёц! Эх, если бы ты был в университете, да и все вы! Как любителю беллетристики чувства рекомандую тебе в [в]новь вышедшем издании сочинений Достоевского «Неточку Незванову» в первом томе. Чудо что за роман! Редкий роман, если это роман только! По пальцам можно перечесть подобного достоинства. А выучишься ли французскому языку? Пожалуйста, как друга прошу выучиться, если в виду имеешь светскую карьеру. То-то удовольствие-то, если знаешь какой-нибудь язык европейский из западных! Каких нет сокровищ на этих языках! Я сам испытываю теперь это удовольствие. Прощай же, мой Евфим Васильевич, жму руку и прошу писать почаще!»

Ну что ж теперь еще? Прощай и ты, мой Васенька, т. е. не прощай, а ругай, если за дело; но до свидания. Поклонись от меня всем пензенским хорошеньким, каких знаешь; это не последняя статья моей просьбы. В Москве нет хорошеньких, все дрянь бульварная. В театр, куда ни посмотри, все рожа да рожа, почти ни на ком человеческого лица нет. Тряпки, как и их юбки! Прощай, пиши.

Твой Ключевский.

## 11. П. П. ГВОЗДЕВУ

25 ноября 1861 г.

Москва, 25<sup>1</sup> ноября 1861.

Порфирий!

Начну письмо вовсе не веселой новостью: на днях умер в Москве Добролюбов\*, сотрудник «Современника» по отделу критики. Эта потеря стоит того, чтобы пожалеть о ней во глубине души. Прочти на память об нем его «Темное царство» в «Современнике» года за два назад\*: увидишь, что был за человек! Семинарист он был и умер от чахотки.

Ну что, мой друг! Чем занять твой стоический ум? Какие интересы волнуют ваше общество? Как Бурлуцкий назидает вас душеспасительными примерами вместо русской церковной истории, которая для него что-то вроде terra incognita<sup>2</sup>? Изучай эту мумию, как памятник когда-то бывшего периода само- и стародуров. Ведь уж отпетые, схороненные, изгнившие лица, хотя, может, переживут еще нас с тобой. Что им? Чем волнуются они? Разве раз в год, в ночь творчества — понимаешь? Да ведь это собачье волнение и вовсе не действует разрушительно на душу. Впрочем, я заговорил о Бурлуцком только потому, что он «соприкосновенен» церковной истории, а я хочу тебе сказать о церковной истории. Эх, брат! Как жаль, что мы слушали с тобой, да и не слушали даже, а просто зубрили какие-то подонки из скандалов свят[ых] отцов, а не развитие христианских идей в человечестве. Сергиевский, как я писал тебе, читает хорошо, но я не нашел в нем того, чего желаю теперь. Слушание Сергиевского среди толков о разных системах, возникших и возникающих в стране систем, т. е. в Германии, из которых многие безусловно отвергают не только христианство, но и вообще религию, среди этих толков слушание догматики Сергиевского приводит меня к самому живому убеждению в необходимости изучения истории христианства. Надо заметить, что в переходное время, какое и мы переживаем теперь, когда затрагивают и вызывают на суд критики все стороны жизни, необходимо коснуться<sup>3</sup> и религии. Интерес религиозный, след[овательно], теперь очень силен. Я не буду приводить тебе фактов этого религиозного движения: сам знаешь и читал. Но христианство подвергнуто,

<sup>1</sup> Первоначально было: 22.

<sup>2</sup> неизведанная земля (лат.).

<sup>3</sup> В рукописи: коснулись.

кажется, самой строгой критике: Фейербах отвергнул окончательно всякую из существующих религий, назвав их все произведением человеческой фантазии. Бог, как выводит он из исследования всех религий, есть не отдельное, абсолютное существо, а произведение воображения, идеал человека данной эпохи. Боги Греции, веселые, волочащиеся с богинями, весело танцующие на Олимпе, суть не что иное, как отражение жизни греков, их идеал; суровые боги кельтов — идеальное воплощение их суровой природы, и Христос — идеал, созданный фантазией новоевропейского мира и т. д. Вот главная мысль Фейербаха, как говорит он в своих лекциях «О сущности религии»<sup>1</sup> (я читаю теперь). Чтобы яснее видеть мог ты это, вот его слова\*: «Всякий бог есть существо воображения, есть образ и именно «образ человека», но образ, который человек поставляет вне себя и представляет существом самостоятельным. Воображение направляется именно соответственно свойствам человека; мрачный, робкий, боязливый человек творит себе воображением страшных существ, страшных богов; довольный жизнью веселый человек, напротив, творит себе светлых, дружественных богов. Сколь различны люди, столь различны и создания их воображения, их боги. След[овательно],—гов[орит] Фейербах,—не человек создан по образу и подобию божию, а человеком творится бог по<sup>2</sup> образу и подобию человека». Вот главная идея, проникающая всю теорию Фейербаха. Фейербах — материалист и выдвигает на первый план природу, признаваясь, что ему не стыдно зависеть от природы и подчиняться ей как действительно существующему, а не произведению воображения!

Вот откуда опасность для христианства. А сколько еще других, менее решительных и змов появляется теперь! Но разве утешение в том, что многие еще веруют в православие? Не в том дело. Теперь затронуты самые внутренние глубины православия, и от них требуют решительного да или нет. Вот чем бы заняться всем теологам семинарий и академий, их преподобиям и высокопреподобиям, если они искренно хотят защитить целостность православия. А они лишь ругаются и знать не хотят, что делается подле. Кто дельно разобрал у нас, не ругаясь, хоть одну систему Германии, несогласную с православием?

Вот ввиду этих обстоятельств и чувствуешь потребность поближе познакомиться с историей христианства.

<sup>1</sup> Над зачеркнутым: христианства.

<sup>2</sup> Далее зачеркнуто: своему.

Без истории теперь, как и во всякое переходное время, нет спасения. Чувствуешь, что многое оказывается несостоятельным, а между тем, очертя голову, не хочется бросить своих старых верований, занявших столько душевных сил. Хочется прежде проверить их критически\*, попытаться, нет ли еще в них чего удовлетворяющего. Жалко бросить их, потому что они прежде были родником лучших мыслей и чувств. Вот и хочется свести счеты: вызвать пред исторический трибунал всех этих святых отцов, спросить у них, что они сделали не для себя, не для немногих, а для массы, которая так доверчиво и так благоговейно отдалась их водительству? Развили ли они в чистоте истины Христа, не затемнили ли они, что ясно в евангелии, и не возвели ли самого Христа на высоту, которой, может, он сам не желал? Словом, проверить весь исторический ход христианства, проверить беспристрастно, и все равно, к чему бы ни повела эта поверка, хоть бы даже к отрицанию христианства; по крайней мере тогда мы имели бы право, положи руку на сердце, сказать всем, что мы не покривили душой во имя какой-нибудь домашнего изделия теории, не поклонились ни пред каким авторитетом, чтобы им прикрыть несостоятельность собственного ума,—словом, поступили добросовестно, след[овательно], либерально в настоящем значении слова.

Ты знаешь, что благодаря ревнителям псевдоортодоксии, которым любо было ловить рыбу в мутной воде, нас мистифицировали как дураков, нас, т. е. толпу, пугали нечеловеческими муками, ободряли грубыми удовольствиями рая вроде ничегонеделанья и бесцельного созерцания чего-то. Ум человеческий как злейший еретик преследовался и еще преследуется; жаль, что он не горит, а то давно бы на костре сожгли. «Но, как говорит Гейне\*, ум имеет свои вечные права; его нельзя задушить богословскими тезисами и убаюкать колокольным звоном. Он разбил свои цепи и разорвал железные помочи, на которых водила его мать церковей (Рим), и в опьянении свободой он полетел по всему миру, всходил на высочайшие вершины гор, торжествовал от гордости, вспомнил свое старое сомнение, раскопал все диковины дня и пересчитал звезды ночи». Какие энергические слова! Но кто виноват? И за дело обманщикам под мантией православия, если этот ум разоблачит всю их тайную пошлость, а вместе с ними опрокинет и их учение!

Так ныне много вопросов задано христианству. Повторяю, нам нет спасения без истории. Но что делать с теми верованиями, которые воспитали нас, что делать с ними,

пока будешь рыться в истории да добиваться от нее ответа? Что делать с ними, пока продолжится настоящий кризис, вызванный материализмом? На все наброшен скептический платок, а бараном быть не хочется; не хочется идти на помочах услужливых отцов. Я не могу теперь ответить на это. Но пока в христианстве есть одна сторона, которой можно отдаться без опасений, пред которой еще можно преклониться с самой беззаветной, детской доверчивостью; это его всемирно-историческое значение, это его человечность, так много исцелившая ран в мире. Пока еще ничего не решено в вопросе, можно поклониться пред этим вечным, никогда не умирающим значением христианства. Ты, может, удивишься, как это я, такой консерватор прежде, такой богомольный, дошел до такой либеральности в деле религии. Подумаешь так и ошибешься. Я не дошел, а нашел эту либеральность, если тебе хочется употребить это слово, ненавистное для меня в смысле слепой ломки, в каком его бол[ьшей] част[ью] принимают. Я прежде дорожил своими верованиями, вынесенными из детства, но потом, как и все, как и ты, может быть, увидел в них так много фальшивого, что и истинное сделалось сомнительным. Я не хочу делать ломку, сломя голову; мне жалко расстаться со стариной своей, мне, как и всякому, не хочется терпеть глазоотводов и фокусничества, чего очень много в наших верованиях, благодаря неутомимой фантазии наших отцов-капуцинов. Так не называй меня либералом, а просто человеком, как и всякий, ищущим истины.

Не знаю, будет ли время тебе: ведь у вас экзамены. Я бы хотел поговорить с тобой о Фейербахе. Да и ты поговорил бы со мной, отвечая на мои письма, поспорил, представил доводы, и т. д. Фейербах, как ты знаешь, запрещен у нас как атеист! Атеист! Не боятся ли испортить нас! Наши души воспитывают для царствия божия, как мусульмане своих дочерей для гарема султана—нежно, отдавая от нас все нечистое, как бы мы не замарались, не простудились. Гнусно! Нет, чтобы закалить наш дух, поставя лицом к лицу со всем, что есть дурного и злого, дав только средства различить это злое и бороться с ним! Ведь это и называется настоящим воспитанием, а не тепличное прозябание в теплоте и неге! Так ли?

Прощай. Не забудь просьбы. Да скажи Флоринскому, если скоро будет писать, что я прошу извинить и даже простить меня за то, что я до сих пор не ответил на его письмо. Прилагаемое письмо передай Холмовскому, а он

отдаст нашим. Кланяйся всей семинарии и скажи, что я ей желаю лучшего, чего можно пожелать,—свободы мысли.

Твой Василий Ключевский.

Р. S. В университете тихо, будто ничего и не было. Пиши ко мне с простым адресом: «Студенту такому-то», прямо в ун[иверсите]т, без обозначения квартиры: может, ее скоро переменим; и другим скажи, кто будет писать.

## 12. И. В. и Е. Ф. ЕВРОПЕЙЦЕВЫМ

2 декабря 1861 г.

Москва, 2 декабря 1861.

Адресуйте письма прямо в университет, такому-то, без обозначения квартиры, до р о с п у с к а, т. е. до 20 декабря.

Дорогие Иван Васильевич и тетенька!

Первое, за что я благодарен вам в вашем письме от 22 ноябр[я], это обещание, что вы скоро еще напишете мне,—почему, и говорить не нужно, только за письмом издалека и отведешь душу. Странное впечатление произвело на меня ваше письмо: когда я прочитал его, мне показалось, что 10 часов прошло с того, как я начал его читать—так тяжелы были некоторые вести, сообщенные вами. Но они не удивили меня особенною странностью: от Солонкова нельзя ожидать что-нибудь другого. Только плюнуть на его дверь да отрясти прах с ног, чтобы не принести домой и пылинки из этого скверного дома аки благочестивого человека. Скотина—и больше клички ему нет! Я пожалел, что вы не передали подробно разговора с ним. Ведь только то мешает, что проживет долго в Пензе, а то бы можно весь его разговор и все это событие представить его же рылу, да только на печатном листе; тогда бы и заговорил он, что весь свет в пороках погрязает; что уважения к его святому свинскому рылу нет. Шебарша! В помойную яму бы его! Заговорил бы он тогда о премудрости сына Сирахова!

«История» Соловьева прежде стоила отдельно по выпускам, кажется, 2½ руб[ля] серебр[ом]. Но, к счастью, теперь она вышла целой книжкой и стоит 1½ руб[ля] серебр[ом]. Я думал было сделать так: купить и Соловьева, и Иловайского\*, который стоит не больше рубля сер[ебром], если не меньше, да не знаю, сделаю ли; а обе эти истории были бы прекрасным руководством.

Я пишу к вам в субботу, а во вторник 5 дек[абря] Маршев выедет из Москвы в Пензу,—и что особенно замечательно,—с сыном. Я, следовательно, соврал, хотя невольно, сказав, что сын уедет в марте, а это потому, что у них на дню 7 пятниц. Вы просили, чтобы я о средствах своих написал вам, а теперь, по этому случаю, это необходимо. Так как месяц окончится 23 дек[абря], то Маршев заплатил за него за всех троих, хотя сын уедет скоро, 5 дек[абря], но это уж так делается: прожил в месячной квартире 2 дня, а плати за весь месяц. Стало быть, мы с Покровским спокойно можем прожить еще 21 день на старой квартире, ну а там нужно убираться. По сделанным справкам видно, что мы можем отыскать себе комнату с порядочною ценою рублей в 5 или 6 сереб[ром] да обед рубля в 4 или 5 сер[ебром]. Мы высчитывали с Покровским, что вообще можно сделать так, что за стол и квартиру придется с брата хоть, напр[имер], рублей 8 в месяц и никак не больше, а меньше бы легко. По крайней мере многие наши знакомые живут так и не жалуются. А в крайности можно и поубавить. На настоящей квартире, надо заметить, брали с нас по 13 рублей бессовестно, черт знает за что, потому только, что у Тверской, аки бы в центре, тогда как есть квартиры и ближе к университету, и дешевле, и не хуже. Так вот в каком положении дела; в эти 20 дней надобно кое-как устроить и—чему я очень радуюсь—стать несколько свободнее, т. е. дальше от чужих людей. Относительно платы за слушанье лекций скажу вам, что имеется в виду улизнуть от нее; не то, чтобы вовсе не платить, а заплатить совершенно сторонними деньгами. Есть одно общество, имеющее благую цель помогать для вступления в университет; плата за слушанье подходит под эту цель, хоть не прямо, а потому господин, чрез которого мы простираем виды на это общество, уверяет, что 25 р[ублей] можно будет получить наверно. Во всяком случае надежда имеется. Изыскивать деньги нужно всячески, так сказать, и я прожектирую ужасно: авось удастся. Во всяком случае не пропадем, и до пули не дойдем, и говорить об этом нечего.

Вы пишете, чтобы я просил Пашеньку писать ко мне поплодовитее. Действительно, я имею право упрекнуть его в короткости его последнего письма. Он бы свои какие-нибудь мысли высказал, как бы это было хорошо! При посылке книги я напишу ему вроде первого слова при вступлении в «Историю» Соловьева, а теперь прошу его подождать. Мишенька ленится, пишете вы. Не знаю, что на это сказать вам. Лениость надоедает мальчику так же,

как и наука, если она не интересуется. Поленится и перестанет! Не знаю, что бы отыскать ему особенно интересное по части книг. Ведь у нас такая дрянь эти детские книги, что беда. Может быть, найду какую-нибудь и пришлю в подарок. Пусть читает да будет весел: это всего важнее.

Ну а Катюре хотел бы я написать оду вроде той, какую послал Мишеньке, да жаль, что еще не читает! Да! Получили ли письмо от Гвоздева, кажется, от 25 ноября? Там я писал вам, что Маршев возьмет сына в апреле или марте. Не знаю, что хотят они сделать. Говорят, что до мая будет сын готовиться к вступительному экзамену. Одно для меня показалось странным. Живя на счет чужих, Маршевых, и зная характер некоторых лиц этого семейства, что и вам не безызвестно, я уверен был, что там, в Пензе, на чем свет стоит пушат нашу милость. Но добрый Ив[ан] Яков[леви]ч Покровский\* в недавнем письме своем ко мне говорит, что обо мне еще живет добрая память в том доме, где прожил я больше года. Что ни говорите, а я этому оч[ень] рад, меньше икоты будешь испытывать, когда меньше ругать будут заочно.

Так Лиза-то чуть было не попала в попадьи села Котла! Хоть, может быть, эта история подействовала на вас очень неприятным и даже грустным образом, однако же в продолжение того как я пишу к вам это письмо, у меня часто порывалась рука<sup>1</sup> пошутить над этим обстоятельством. А хороша была б сельская попадьа, «матушка»! Теперь иначе и не буду писать к ней, как начиная письмо «Матушка». Пусть бранит!

Дяденька Н[иколай] Ф[едорович] имеет право сердиться на меня, но лучше бы написать и побранить, чем молчать. С книгой я надеюсь послать целый транспорт писем и ему постараюсь написать больше.

Пашенька пишет, что не объяснит он себе различие в выговоре *é* и *è*. Различие нелегко передать на бумаге: *é* произносится более или менее с замкнутым ртом, ближе к нашему «*есть*», потому и зовется *é* закрытое; а *è* произносится с открытым ртом, как *э* или подобным образом. Нужно довольно раскрыть сначала рот, чтобы выговорить его, напр[имер], *рёге*—*пэр*. Больше не могу написать об этом. Я прошу его не бросать древних языков, заниматься ими больше всего: это не пропадет даром. Нужно положить себе за правило—перейти в риторику с умением свободно читать простую латынь,

<sup>1</sup> Далее зачеркнуто: пу.

как, напр[имер], Юлия Цезаря и даже Кор[нелия] Непота, а по-гречески хоть знать хорошо грамматику, т. е. этимологию, если уж не станет сил дойти до свободного перевода. Вот бы мы заговорили тогда по-классически!

Не знаю, писал ли я вам, что я хожу по воскресеньям к Буслаеву, и вот зачем. Нас человека 4 обнаружили охоту к филологическим копаньям, и он решился с охотой читать нам у себя дома по воскресеньям сравнительное языкознание, общую грамматику индоевропейских языков. Нет ничего лучше этих чтений у него в кабинете, без церемоний и формальностей. Он сядет на своих странно устроенных креслах обыкновенно с ногами, т. е. не кресла с ногами, а он усядется на них с ногами, в туфлях — и пошла филология! Дай ему Бог здоровья!

В университете он читает нам теперь о византийской литературе, из которой как источника шли к нам в первое время по принятии христианства литературные предания и образцы. Я хотел бы кое-что написать вам об этом, потому что это имеет значение для церковной истории. Я также хотел бы написать об римских катакомбах, с которыми познакомился по указанию Буслаева из одного французского издания, где сняты все архитектурные и живописные памятники этих катакомб, бывших убежищами гонимых христиан первых веков. И напишу непременно! А теперь будьте здоровы. Кланяйтесь всем, маменьке, бабеньке и всем-всем. А плакать не нужно. Стоит ли!

Ваш Ключевский.

13. П. П. ГВОЗДЕВУ

9 декабря [1861 г.]

9 декабря.

Порфирий!

Пишу, торопясь! Так твое письмо было хорошо, что решился ответить тебе, хотя уже опоздал и плачу штраф: получил письмо поздно в субботу. Благодарю, брат! На рожд[ество] не поеду; поезжай куда хочешь из Пензы. С Маршевым я тебе не написал, еще что выйдет! Получил ли письмо о Фейербахе\*?

Вот что? Твое письмо, т. е. известный диалог в нем, мы хотим с Покр[овским] тиснуть гольем в «Искру»\*. Как ты думаешь, дружище? Напиши, согласен или нет? Словом, скажи, как думаешь о сем!

Ты в университет!<sup>1</sup> Святители, дай-то господи! Пиши еще до отъезда. Да вот что! Прислушайся, что будут баять о нас у М[аршевы]х. Вот, я думаю, штуки-то пойдут. Александру не верь ни в чем: знаешь, совет на <sup>9</sup>/<sub>10</sub>, а остальное — правда. Прощай, дружище! Благодарю еще раз от души. Семинарии привет. Сегодня на юр[идическом] фак[ультете] освистали Чичерина\*. История вышла.

На имя Очева письмо получил. Но, повторяю, пиши прямо в университет, без квартиры. Будь у наших, и еще им от меня известно что<sup>2</sup>.

Прощай!

Ключев[ский].

Рукой П. П. Гвоздева: Получено 16 декабря.

Порфирий Гвоздев.

1862 г.

14. П. П. ГВОЗДЕВУ

27 января 1862 г.

Москва, 27 янв[аря] 1862 г.

Бесценнейший мой Порфирий!

Кажется, мы еще не видались с тобой в 62 году, так здорово, с новым, значит, годом! Давно порывался я написать тебе, да дело, дело по самое горло душило дыханье и не позволяло оторваться, а дело-то чуждое, заказное — беда! Проклятье ремеслу и ремесленничеству, где оно не у места! Уж как хотелось мне отвести с тобой душу! Ну, что ты делаешь? Что так долго не пишешь? От С. И. Флор[инского] получил я в продолжение вакансии письмо, на которое ответил довольно оригинально, и сегодня (т. е. вчера 26-го) получил от него другое письмо, где он пишет, что «пустил» письмо к тебе. Дело вот в чем. Когда я получил письмо от него в вакансию, я был дурно настроен, выражаясь поэтически, если хочешь. Со злости я решился выместить досаду хоть на ком-нибудь, на тебе даже, если бы ты попался под руку. А тут получил я письмо от Степана с требованием немедленного ответа. «А! — думаю. — Погоди, дружок, я тебе отвечу» — и сел,

<sup>1</sup> Поговору об этом в след[ующую] среду больше. (Примечание Ключевского.)

<sup>2</sup> Так в рукописи.

да и накатал такую чертовщину, что теперь и самому совестно. Видишь ли, читал я тогда книгу на франц[узском] языке «О происхождении языка» Ренана. Вот я и решился досадить Степану. Зная, что он не знает по-французски, да и по-немецки плохо понимает, я начал толковать в письме о книге Ренана и делать длинные выписки в подлиннике, не переводя, прибавляя после каждой выписки фразы вроде след[ующей]: «Смотри-ка, как это хорошо сказано, как метко, поэтично!» К довершению шутки я сравнил выводы Ренана с выводами другого филолога, но не француза, а немца—Гримма—и присоединил к французским выпискам тьму немецких, взятых из прочтенного мною сочинения Гримма под тем же заглавием, также сопровождая их вышеприведенными фразами и восклицаниями. Комедия—и только! Вот, думаю, помается! Знай, мол, наших, когда они не в духе. А прочитать ему было необходимо, потому что я требовал безапелляционно ответа на эти выписки. И действительно, я вполне достиг своей цели: судя по его последнему письму, мои выписки так измучили и досадили ему, что он чуть не со слезами молит меня не писать больше выписок (а я, замечу, еще обещал ему продолжать их и в след[ующем] письме) или, если уж на меня напала такая ярость хватать за горло всякого и совать ему в нос какого-нибудь Ренана, приговаривая: «Понюхай-ка, чем пахнет?», то делать это на русском языке. Ведь сыграл пульку, не правда ли? Думаю, он и тебе писал об этом. Бедный Степан! Ни за что пострадал. Ну что, если бы ты подвернулся! И тебе не спустил бы, ей-ей не спустил бы! Но нет, тебя спасла деревня, в которую ты убрался на рождество.

Теперь я не буду отвечать тебе на твое суждение о Фейербахе, высказанное в твоём последнем письме. Теперь я сообщу тебе другую новость, важнее моего возражения. Впрочем, не думай, что я вовсе оставлю без внимания твое мнение: нет, я еще доберусь до него; оно мне показалось замечательным, несмотря на краткость, с какой ты высказал его, и вот по тому-то, по этой-то замечательности и, так сказать, типичности твоего мнения я выдвину против него всю свою полевую и тяжелую артиллерию, и тогда, брат, держись! Но это до поры до времени. А теперь—к новости, о которой я упомянул.

У нас наконец читает Юркевич. Перетащили-таки его из Киева, к досаде Киевской академии. Ведь он, писал Степан, был ее украшением. У нас он читает на филологическом фак[ультете] на 2-м и 3-м курсах, но к нему

сходится множество других студентов. Предмет его чтений, как ты, может, знаешь уже, история философии. Зная, что ты интересуешься философией и что у нас в семинарии (у нас в семинарии!) не было читано ничего похожего на историю философии, я решился передать тебе, что услышал на двух последних лекциях, и впредь обещаюсь подробно давать тебе стчет в его чтениях, ведь это не надоест тебе, как надоела Степану моя взятая напрокат филология?

Прежде всего о внешней обстановке и о личности Юркевича. На лекции Юркевича каждый раз ходят не одни студенты, но и другие интересующиеся этим: попечитель нашего университета генерал (единственный представитель воинства у нас), ректор Альфонский\*, Сергиевский, сотрудник его журнала свящ[енник] Преображенский\* и другие профессора. Сергиевский даже бросает свою лекцию во вторник, потому что она совпадает с лекцией Юркевича. Представь же себе. Аудитория переполнена студентами и стульями для «высоких» посетителей. Вот расступаются толпы (плохо живописую, что делать), является блестящая свита под командой военного мундира, а на кафедру всходит маленький человек, смуглый, вовсе не с маленьким лицом, замечательно широким и выдавшимся ртом, лет 35-ти, в густых синих очках, с перчаткой коричневого цвета на левой руке, раскланивается так медленно и, не садясь, стоя, начинает говорить экспромтом с сильным хохлацким акцентом. А напротив него как раз уселись, будто нарочно, Чичерин и Сергиевский — эти два великие софиста нашей науки. Им только и сидеть рядом, как двум родным братцам. Но вот и вся картина. Теперь — к содержанию двух последних лекций Юркевича (двух первых я не слышал, потому что тогда еще не было у меня билета на вход в университет за второе полугодие).

Я не записываю за Юркевичем, да и невозможно. До записывания ли, когда неудержимо, нескончаемой нитью тянется мысль, и едва успеваешь следить за ее развитием. Да и не нужно. После каждой лекции в голове остается такое ясное представление о всем прочитанном, что стоит только употребить небольшое внимание, чтобы после быть в состоянии повторить весь ряд мыслей. Так ясно, диалектически последовательно изложение Юркевича. Признаюсь, я не ждал этого, судя о Юркевиче по его статье, перепечатанной в «Русск[ом] вестн[ике]» из киевского издания, статье, подавшей повод к курьезной полемике в «Современнике». Не читал ли отзыв о ней Черны-

шевского в «Современнике»? \* Я постараюсь по возможности, насколько могу т. е., [изложить] содержание этих двух лекций, приводя иногда самые слова Юркевича, оставшиеся у меня в памяти. О его взгляде на философию вообще — после.

Дело идет о характере главных направлений философских, которые коротко передал Юркевич как введение в историю философии. Он начал с идеализма. Слушай же и извини, где не сумею ясно представить мысль Юркевича: это уж относи прямо ко мне. Попытаю себя в философском изложении с чужих слов.

При взгляде на каждый предмет у нас рождается вопрос: от чего он произошел, какие его свойства? Т. е. самый простой анализ вещей, подлежащих нашему чувству, приводит нас к вопросу<sup>1</sup> об их причинности и свойствах. Но свойства вещей постоянно изменяются (для объяснения философских направлений я обращаюсь только к последнему вопросу о свойствах, потому что он связан теснее с ними, и оставляю в стороне первый вопрос — так сделал Юрк[евич]). Ни одной вещи не можем мы приписать какого-нибудь постоянного, несокрушимого качества. Вода делается паром, пар сгущается в облако, облако разрешается водой и т. д. То же и во внутреннем мире духа человеческого. Воображение строит образы, но рассудок разбивает их; чувства враждуют также с холодным рассудком, рассудок с тем, что мы называем совестью. По-видимому, нет единства и здесь, как и во внешнем мире нет постоянства, общности. Но при такой изменчивости мы не можем мыслить о предметах и их свойствах. Как подчинить размышлению эти непрерывные изменения вещей? Как помирить с разумом, требующим единства, эти противоречия вещей? Где найти точку опоры? Вещь постоянно меняет свои качества, постоянно делается неверна самой себе. Огонь погас. Но если он погас, то он перестал быть огнем, а если он огонь, то он не погас. Так, подступая с анализом к простым выражениям обыденного смысла, мы встречаемся с вопросами, составляющими первые, начальные задачи философии.

На решении этого вопроса об изменении вещей и основывается построение системы идеализма. Простой, обыденный смысл держится на вере в вещи, на непосредственном их восприятии нашими чувствами. Философский анализ мирит или старается примирить те противоречия, которые открываются в вещах мыслящему духу при

<sup>1</sup> Над зачеркнутым: анализу.

помощи этого анализа. Как же смотрит на изменение вещей идеализм, как решает он это изменение их свойств, не поддающееся мышлению?

Протагор высказал принцип: «Человек есть мера вещей». Это значит, что вещи существуют только сообразно с нашим впечатлением, с нашим восприятием, а не самостоятельно, не как факт даже! Идя далее, приходим к тому, что самое их бытие создается нашими чувствами; их свойства и развитие существуют только по требованию нашего ощущения, нашего «я», в процессе нашего мышления, что ли, если можно так сказать, нашего ощущения. Следов[ательно], бытие вещей само по себе призрак, создание нашего «я». Эти вещи нужны для нашей внутренней жизни, и мы создаем их. Такого крайнего развития достигло это идеальное направление у Фихте. Протагор, говоря, что человек есть мера вещей, решал изменение вещей тем, что эти изменения, все свойства вещей суть результат развития нашего внутреннего впечатления. Вещь существует так, как воспринимает ее наше ощущение; ее свойства не в ней самой, а в нашем ощущении. От изменения нашего ощущения зависит изменение вещей. Фихте пошел дальше, отрицая самую сущность вещей и делая их созданием наших чувств. Так решен вопрос этими двумя идеалистами. Все существует только по отношению к нашему «я». Это идеализм «субъективный», поставляющий центром и точкой исхода всех вещей наше внутреннее «я».

Но с той же логикой, какой пользуется этот идеализм в отношении к вещам, можно подступить и к этому центру и этой точке исхода всех вещей, к этому внутреннему «я». Почему же наше внутреннее восприятие — несомненный факт? Почему не сказать, что и наше внутреннее ощущение, создающее вещи, есть такое же прозрачное «ничто», как и создаваемые им вещи? Почему только наше ощущение есть несомненная мера, надежный критерий бытия вещей, а не принадлежит к разряду этих же явлений, которые оно создает так произвольно? Но тогда что же будет точкой исхода нашего ощущения? Каким еще началом будет обуславливаться бытие нашего ощущения? Очевидно, мы приходим к полнейшему нигилизму. Да кроме того, вследствие чего именно является у нас нужда создавать в своем впечатлении те или другие вещи? Откуда мы получаем толчок к этому?

Но есть еще идеализм предметный, объективный. Этот идеализм предоставляет вещам бытие, независимое от нашего ощущения, но делает его чисто формальным.

Вещь существует, но не сама по себе и для себя, не «an und für sich», по немецкому выражению, а подчиняется другому, собственно, внешнему<sup>1</sup>, пожалуй, началу, идее, для которой вещь служит только формой, выражением. Вещь изменяется, становится другой, эта другая вещь опять становится другой, и так ad infinitum<sup>2</sup>, до бесконечности, и все это бесконечное изменение, развитие вещи, вся эта ее история заканчивается одним положительным результатом — полным выражением лежащей в ней идеи. Следов[ательно], все изменения, все развитие вещи есть не что иное, как форма, в которой идет развитие идеи. Таков взгляд на вещи и их изменение у Платона и Аристотеля, так же смотрят на это Шеллинг и Гегель. Аристотель высказывает мысль, что все держится на мысли; следоват[ельно], эту мысль он делает исходом всего существующего; следоват[ельно], повторю, все постигаемое нашими чувствами есть только внешнее, невольное, необходимое выражение лежащей в основе всего мысли.

Таково воззрение идеализма предметного. Сквозь все вещи он смотрит, как сквозь прозрачные формы, на лежащую в них идею. Вещь развивается не для себя и не сама по себе, а по требованию и мере развития этой идеи.

«Этот идеализм,— говорит Юркевич,— особенно рекомендует себя тем, что лучше всех истолковывает, осмысляет историю человечества. Для него все явления жизни человеческой не случайные, слепые, досадные явления, ни к чему не направленные и не из разумных начал выходящие, а необходимые, логические выражения жизни духа человеческого». Все существующее действительно и разумно, говорит Гегель.

Больше Юркевич не сказал ничего об этой заслуге идеализма. Но здесь я остановлюсь немного, чтобы сделать одно замечание. По словам Юркевича, выходит, что ничего лучше и быть не может для истории, как толкование по идеализму судеб человеческих, потому что лучшего, по-видимому, нет. Чего же больше? Все явления осмысляются, в исторических событиях можно найти смысл, можно верить вечно присущему истории человеческому духу, который ведет человечество такой умной дорогой и уж, вероятно, к не менее умной цели. Остается сложить руки, или, если это уж слишком помагометански, делать свое дело, несмотря ни на что и все

<sup>1</sup> Т. е. не то чтобы внешнему, а не связанному с ним органически, просто влитому в том смысле, как неорганически связан с формой металл, который в нее влит. (Примечание Ключевского.)

<sup>2</sup> без конца (лат.).

предоставляя разумному началу, движущему историей. Прогресс несомненен, разумный принцип не может привести к глупой цели. Не правда ли, как легко и как блестяще? Но под этой наружностью, так заманчивой и блестящей, лежит мертвящая доктрина. Возьмем самого Гегеля. Как он объяснил историю? Он скомкал и по-своему начертил программу для прошедшего и заставил его выстроиться и идти по этой программе. Он мало обращал внимания на порядок фактов, переставлял хронологические цифры по-своему, у него буддизм является прежде брамаизма и под.<sup>1</sup>, он, словом, захотел вытянуть историю в ровную философскую струнку. И действительно, история вышла у него такая умная, как будто ее двигали гении человечества по умному, наперед составленному плану,—такая ровная, нигде иголки не подобьешь, как говорят. Но это только потому, что проницательный философ ловко сумел заткнуть все малейшие дырочки в истории своими толкованиями. На основании такого идеалистического толкования возникла целая школа историческая. Для этой школы все бывшее и существующее вытекало из естественных причин и условий, следов[ательно], неизбежно, след[овательно], так тому и быть надлежало или надлежит. Но, во-перв[ых], ведь это пахнет магометанским фатализмом; когда все необходимо и разумно, что было и есть, все вышло из прямых причин естественным образом, то дух человеческий не может, следоват[ельно], восстать против чего-нибудь положительно вредного в истории, потому что оно было неизбежно и разумно; следовательно, у духа отнимается инициатива действия, и он должен подчиниться неизбежному ходу исторических причин и условий. Ведь уж машина истории заведена; следова[тельно], нельзя изменить ничего, что она сработает, потому что так необходимо при ее действии. И что это за фатум такой—этот неизбежный ход исторических причин и условий? При таком воззрении со всем нужно мириться, все оправдывать и ни против чего не действовать. Соловьев оправдывает же и даже защищает московскую централизацию с ее беспардонным деспотизмом и самодурством. Предоставляю тебе додумать остальное. Я хотел только заметить тебе, что принцип исторической необходимости, основывающийся на положении Гегеля «все действительно и разумно», положении, стоя на котором, так легко справиться со всем в мире,—что этот принцип вовсе не лучше мертвящего фатализма,

<sup>1</sup> Так в рукописи.

потому что равно обезоруживает свободную деятельность во имя каких-то неисповедимых и неотвратимых путей истории. Это положение и было одной из главных причин, заставивших так скоро стащить на кладбище гегелевскую систему. Но Юркевич, может, потому не занялся более подробным рассмотрением этой стороны, что еще будет время при самом изложении истории идеализма. Во всяком случае я не думаю, чтобы он стоял за этот принцип Гегеля.

Итак, в основе всего лежит идея. Вещь—только форма ее. Изменение вещи—неизбежный и постоянный закон, налагаемый на нее жизнью и условиями развития идеи. Так решается вопрос об изменении вещей у идеализма.

Совсем иначе смотрит на дело реализм. Для него вещь прежде всего вещь и больше ничего. А есть а, нечто (т. е. вещь) не может быть другим, не тем, что оно есть. Следов[ательно], за каждой вещью он признает самостоятельное значение и постоянное, несокрушимое качество. Существовая не для какой-нибудь идеи, а для себя, вещь всегда сохраняет свое качество, без которого она перестает быть собой самой. Но как же объясняет реализм изменения, постоянно замечаемые в вещах. А очень просто. Представь, что весь мир существует из 10 простых вещей, А, В, С и т. д. Все вещи, подлежащие чувству, сложны. Положим, что А в соединении с В производит в нас впечатление света, в соединении с С—ощущение тепла, с F—электричества. Так[им] обр[азом], А в различных соединениях производит различные впечатления. Но следует ли из того, что оно меняется в своем основном качестве? Нет, оно только видоизменяется от различных соединений, нагревая вещь в соединении с С, электризуя ее с F<sup>1</sup>, и т. д. Мы ощущаем только сложное действие различных элементов, различных агентов, производящих в нас то или другое ощущение, а основное свойство каждого элемента, каждого агента не дается нашему ощущению, так как эти элементы существуют только сложными. Очевидно, дело склоняется к атомам с их постоянными, несокрушимыми свойствами. Что же такое изменение вещи? А это не что иное, как следствие различных комбинаций элементов, основных атомов, это кучка, которая составила<sup>2</sup> из соединения основных частей. Если вещь изменяется, значит, в ее

<sup>1</sup> В рукописи ошибочно: В.

<sup>2</sup> Далее зачеркнуто: соединения.

состав вошли другие ингредиенты, начала, основные атомы, как угодно назови их, или же те же самые атомы расположены различно, но их свойства все-таки остаются неизменны. Вода переходит в лед, потому что иначе располагаются составные ее элементы. Стало быть, если изменения суть только комбинации вещей и их свойства не изменяются, а только не даются нашему опыту, то все развитие вещей есть вариировка одних и тех же элементов, а не выражение какого-то прогрессивного движения идеи; значит, во всех изменениях нет никакого высшего начала, которому они служили бы выражением, воплощением. Так и смотрит реализм на это дело. Представитель его в новейшее время есть Герbart.

Борьба этих двух направлений—реализма, который прежде всего видит в вещах то, что они есть, и идеализма, для которого вещи только форм<sup>1</sup>... совершенно друг<sup>1</sup>... проходит по всей истории философии, след[овательно], по всему развитию духа человеческого. «Не было ни одной образованной эпохи,—говорит Юркевич,—в которой мы не нашли бы рядом представителей того и другого. Уже в самом начале развития греческой философии выступают Гераклит и элеатическая школа с этими двумя противоположными направлениями; в наше время наравне с Гегелем и Шеллингом стоит Герbart. Это оттого, что оба направления имеют важное практическое значение; их влияние не ограничивается наукой, но проходит и в ежедневный порядок вещей и сообщает жизни особенный строй. Много практических вопросов решаются так или иначе, смотря по началу, из которого выводят их решения; реализм решает не так, как идеализм, и обратно. Ныне всякий непременно должен стать на ту или другую сторону. Самые обыкновенные, житейские, государственные и общественные вопросы, решаясь с точки зрения того или другого, разделяют общество, каждого его члена от другого. Если бы,—говорит Юркевич,—собрать всех ученых в одну республику, конечно, это была бы самая бурная, беспокойная республика,—то каждый, к какой бы специальности он ни принадлежал, непременно заявил бы себя в пользу или реализма, или идеализма».

Так возьмем взгляд того и другого на государство. Для идеалиста государство—норма жизни, блага народного, неизбежное и единственно разумное условие жизни человечества, потому что так сложилась история, что составилось государство. Видя во всем высший смысл, высшее

<sup>1</sup> Далее текст рукописи поврежден на сгибе.

начало, идею, идеализм и в государстве видит форму, необходимую для высшего развития человечества и сообразную с идеей человека. Если идеализм говорит об улучшении, о преобразовании государства, то для него важнее всего не настоящая потребность, а условие истории. Он спрашивает прежде всего, на какой ступени развития стоит в настоящую минуту народ или общество, чтобы вывести из этого сообразное с условиями и требованиями истории преобразование. Настоящие нужды принимаются в расчет уже после. Очевидно, он дорожит правильным ходом истории и боится нарушить этот ход произвольным шагом вперед. Оттого идеализм так отзывается консервативным духом. Не так смотрит на государство реализм. В чем идеализм видит высшее начало, там реализм находит простое явление. То же и в государстве. Интересы каждого лица приходят в столкновение с интересами другого; является борьба эгоизма, разделяющая людей. Для ограничения этой борьбы выдумали, изобрели государство, где люди, соединяясь, уславливаются друг с другом не вредить своим эгоизмом друг другу. Следов[ательно], государство также придумано для облегчения отношений, как письменность и книгопечатание для облегчения<sup>1</sup>... а не логически неизбежное следствие высшего развития духа человеческого. Преобразование то хорошо, которое сообразно с современными нуждами общества. Если эти нужды идут наперекор истории, не стоит останавливаться пред этим. Отчего не разорвать связи с прошедшим, когда это нужно? Государство вовсе поэтому не форма, сообразная и необходимая по идее человека, а сделка лиц между собою. Условия изменились, отчего не изменить и этой формы, когда нужно. Реализм не признает высшего начала в развитии государства; не может быть, следов[ательно], и высшей системы политической, руководящейся историческими результатами и условиями. В государстве может быть только благоразумие, политическая практичность, умение удовлетворить настоящим потребностям, которые составляют единственную основу и руководство для его преобразования. Таков взгляд реализма. Каков он по себе, предоставляю оценить тебе.

Этим я ограничусь. Скоро передам тебе характеристику других систем—эмпиризма, рационализма, мистики. Ты напишешь, в каком виде я должен сообщать тебе выслушанное мною. Чувствую, что это письмо у меня

<sup>1</sup> Далее текст рукописи поврежден на сгибе.

вьшло не совсем стройным и ясным. Но ты извинишь. Пиши же. Парадизову и Разумову, и Холмовскому, и всем мое нижайшее.

Твой В. Ключевский.

Рукой П. П. Гвоздева: Получено 4 февраля.  
Гвоздев.

15. П. П. ГВОЗДЕВУ

14 февраля 1862 г.

Москва, 14 февраля 1862.

Порфириус!

За последние слова твоего последнего письма «Прошу извинения за глупейшее заключение» и пр., за эти слова предоставляю тебе самому сделать себе нотацию, да еще какую!

Диалог пойдет, кажется, в дело, по крайней мере я стараюсь. Кое-что я добавлю, но, кроме указанного тобою, ничего не изменю. Теперь он еще, впрочем, к печатному станку не подвинулся, и это оттого, что мне навязали перевод длиннейшей и чуждейшей мне статьи из немецкого журнала, которую я дня два только еще кончил. Потом, приотдохнув, двину диалог и дам тебе знать обо всем как следует.

Отвечаю ли я на твои запросы? Напомни, если о чем смолчал по забывчивости.

Я ждал было от тебя другого письма, да вот уже масленица, а блин еще комом. К Флоринскому после известной тебе проказы не писал еще. Хохочет, думаю. Да я его повожу еще за нос.

Сергиевский—писал ли я тебе?—неистовствует еще о сущности христианства. Нечего делать ему! А когда-то ведь я его защищал. Каюсь, да мало ли в чем я теперь каюсь!

Юркевич по-прежнему является с военной и невоенной свитой, и по-прежнему его чтения возбуждают интерес; это потому, что он не говорит фраз. Чрезвычайно любопытно, слушая его, оглянуться по сторонам, на эти внимающие лики слушателей. Иной самые глаза выстроил так, что хочет проглотить вместе с лекцией профессора. Другой так себе, будто говорит: «Гм! Мы это знаем, нас не проведешь, нам это знакомо, а впрочем, что же не послушать». А третий и глаз выстроить не умеет, и равнодушным прикинуться сил нет; хочет быть тоже

будто так себе, а чего — видно, как у него лоб воротит, а ничего нейдет. Знаю я одного товарища, знатока латинского языка и вообще любителя классической древности. Как взглянешь на его узкий лоб и на эти с каким-то усилием поднимающиеся из-под очков глаза, так и хочется сказать: «Эх, малый!» Без ума от классиков: на днях сел за Цицерона, за его «*Tusculanae disputationes*» и сейчас же бежит (он стоит в соседн[ей] комнате с нашей): «Ах, что за философская голова у Цицерона!» Вот уж, признаюсь, что ни поп, то батька. И, благоговей перед компиляторской философией à la Cicero<sup>1</sup>, эта голова (т. е. сего господина любителя), кажется, отроду не осенялась присутствием своей мысли. Ни разу не сказал еще он ни одного дельного слова о Юркевиче и его лекциях, не побранил даже, а ведь горяч как — беда! Сочувствуем-де... Не советую быть таким любителем классиков!

Но я, кажется, вдался в физиологию, так сказать, своих товарищей. Ты, пожалуй, подумаешь: «Вот-де гусь-то, своих же однокорытников похабит. Честно ли это?» Честно ли, нечестно ли, а описанная особа — тип студенческого кружка, и, признаюсь, невеселый тип. Да будет... ну его! Везде много таких.

Ты, пожалуй, спросишь, к какому же разряду внимающих я принадлежу — к выстраивающим ли глаза во фронт, или свысока небрежно взирающим, или туполобым любителям классиков, как описанный. «Бог è знает», — как сказал бы мужик. Но по снисходительности ты, конечно, не отнесешь к последнему. Я только потому заговорил об этом, что действительно любопытно, слушая Юркевича, посмотреть вокруг. Славные лбы можно встретить, многообещающие, не одни классические с трудно поднимающимися очами.

Да! Парадизов на меня за что-то сердит, это очевидно: не пишет. Ефим — тоже. Что с ними будешь делать?

Как тебе показалась моя реляция о чтениях Юркевича? Вот, чай, поломал ты голову, распутывая эту путаницу! Что ни говори, а написал я скверно. Не удастся ли получше теперь? Посмотрим. Начну.

Я тебе должен бы еще передать характеристику некоторых систем философских, напр[имер] эмпиризма, мистики, рационализма. Да это при случае. Теперь к самой истории философии. Не знаю, для чего Юркевич почти две лекции посвятил только тому, чтобы доказать, что к изучению истории философии мы не можем присту-

<sup>1</sup> на манер Цицерона (*фр.*).

пать с каким-нибудь готовым взглядом, что это ничему не поможет, если не помешает еще правильному пониманию дела. Кто же сомневался в этом, да и не в одной истории философии, а и во всякой вообще науке? Здесь он, кстати, изложил взгляд Гегеля на ход истории философии и вообще человечества. С основным положением этого взгляда мы уже знакомы с тобой: все существующее или существовавшее разумно, т. е. происходит от логических причин, не случайно, а необходимо. Все исторические явления, по Гегелю, не простые, случайные явления, а необходимо обуславливаются предшествующим развитием. Так и в истории философии каждое движение, каждая новая система логически вытекала из прежнего состояния философии и не зависела от каких-нибудь случайных, посторонних причин, посторонних, т. е. для философии; следовательно, для Гегеля не может быть и речи о так называемых исторических случайностях. Но очевидно, такой взгляд нельзя провести чрез всю историю и приложить к каждому явлению. В иных случаях действительно историческое развитие философии правильно следует закону постепенности; следующая система берет другую сторону предмета, чем прежняя; следов[ательно], восполняет ее, развивает, следов[ательно], логически выходит из прежней. Но иногда то или другое направление философии зависит не исключительно от прежнего состояния ее, а от причин, для нее сторонних, случайных, которые могли быть и не быть, напр[имер], от политических переворотов, от настроения общества на какой-нибудь лад, вынужденный историческими обстоятельствами, как во времена Канта, в конце прошлого и начале настоящего века, была мания на мораль. Все эти условия проистекают из обстоятельств, «дорогих для человечества, может быть, но посторонних собственно для философии». Ведь человечество живет не для одной только философии как науки; у него есть другие нужды и потребности, не столь высокие, но не менее законные и неизбежные. Следов[ательно], развитие философии, какое хочет навязать ее истории Гегель, могло быть только тогда, если бы в истории человечества была одна высшая цель — философия; но этого не могло и не может быть. Это первая мысль Гегеля; ее можно вложить в такую формулу определения истории философии: история философии есть развитие, вечное движение духа человеческого, который развивается притом сам из себя, т. е. помимо посторонних обстоятельств.

Далее, Гегель проводит в истории ф[илософии] ту

мысль, что каждая система соединяет в себе все формы и начала предшествовавших систем и, кроме того, составляет еще высшую ступень развития духа, непременно высшую, т. е. развитие совершается в неизменном порядке возрастающей прогрессии. Но этот взгляд может оправдаться в приложении только к цветущей поре философии, напр[имер] в Греции во времена Сократа, Платона, Аристотеля. Действительно, учение двух последних строго соединило в себе формы и начала общего корня — Сократа и, кроме того, повело дальше его развитие. Но по связи этой мысли с прежней и это не всегда оправдывается. Философия не всегда следует такому правильному развитию. Вся схоластика средних веков была разве продолжением греческой философии, а не полнейшим упадком всякой философской мысли?

Таким образом, взгляд Гегеля на историю философии формулируется так: «Художник работы тысячелетий есть живой мыслящий дух человека, постоянно и правильно развивающийся сам из себя. Дело его состоит в том, чтобы привести в сознание то, что он есть. Каждая система есть ступень той бесконечной лестницы, по которой он восходит до этого самосознания». Вся историческая работа — дело духа человеческого и его самосознания. Поэтому философия есть мысль о мире, поскольку он завершен, т. е. насколько он развился до настоящего момента. Следов[ательно], история философии имеет предметом проследить процесс образования мира, как и развития духа, входящего деятелем в этот процесс. Мыслимо только прошедшее и настоящее, что выработано историей, а то, что будет, должно быть, философия не может определить. Живой мыслящий дух в своем восхождении к самосознанию не может зайти вперед и предсказать будущее развитие мира: там он еще не действовал, и потому это лежит вне его сознания. Кант добавляет, что философия есть мысль и о том, что должно быть. Но Гегель предоставляет будущее развитие неизменному действию законов развития и не берется судить о нем.

Последователи его вели дальше это воззрение. Если Гегель предоставлял духу человеческому деятельное участие в развитии и ходе истории, то один из его последователей (Эрдман) отнял эту деятельность, предоставляя ему только наблюдение. По его взгляду, вся история человечества идет двумя руслами: одним идет свободное развитие человечества, другим — его понимание. След[овательно], история этого развития есть история собственно человечества, а уяснение, сознание этого развития есть

история философии. Гегель ограничивал философию только тем состоянием, той ступенью, которой достиг мир в настоящий момент, и не пускал ее дальше; Эрдман признает за философией или за мыслящим духом только пассивную роль и не дает ему деятельного участия в жизни. Мыслящий дух или философский — не деятельный, творящий элемент в жизни, а только страдательный наблюдатель совершающегося, так как он дает только понимание существующего, не имея силы дать ему направление. Мишле говорит, что философия (я называю здесь то философия, то мыслящий дух — понимаешь — в каком значении: всякий думает умом, но не всякий философствует) не дает новых определений для жизни; ее обязанность — сознать разумность существующего. Как будто жизнь идет так, что днем действуют, а в сумерки отдают себе отчет в сделанном. Вследствие этого философия своим пониманием относится только к прошедшему, обдумывает его после самого процесса развития. И тот и другой последователи делят историю человечества на две струи, из которых одной течет самая жизнь, а другой — у первого одновременно идущей, а у второго немного отстающей — идет мысль над этой жизнью, анализ, рефлексия. Из всего этого выходит то, что философия имеет только теоретический интерес; она — спокойное, пассивное понимание существующего, которому она не может дать направления, тона, и не входит в историю как деятельная сила.

На чем основываются эти взгляды? Основания эти ведутся так: народ начинает свою историческую жизнь не мыслью о том, как жить, в каком направлении вести свое развитие, след[овательно], начинает не философией; его цивилизация прежде всего обуславливается географическими, этнографическими и пр[очими] причинами или деятелями, обстановкой народа. Философия является у него уже после, когда он совершит значительный акт развития, достигнет известной степени образования и степени значительной, след[овательно], как бы уже под вечер, как бы уже для того, чтобы на отдыхе и досуге от прежних работ взглянуть на пройденную дорогу, свести счеты с прожитым, осмыслить его и собраться с мыслями и силами для дальнейшего хода. Но это прожитое, пройденное, стало быть, прожито и пройдено под влиянием других деятелей, не философии. И дальнейший ход вовсе не определяется явившейся под вечер философией; на завтра, наутро жизнь опять начнется под влиянием прежних деятелей и опять не философии. Но такой взгляд может опереться

только на некоторые факты. Приведу от себя в пример нашу историю. Мы прожили 1000 лет. Выработали ли мы что-нибудь, нажили ли хоть сколько-нибудь своего добра, это вопрос другой, но только очевидно—мы жили, действовали, не спали же, а вечер еще далеко от нас и долго не настанет, может, время свести полные и ясные счета с своим прошлым; следов[ательно], философия у нас не действовала, потому что ее нет на Руси и доселе, т. е. нашей, нами добытой философии. Но Россия не пример для всех и не общее правило. И нельзя отказать в деятельной силе философии по отношению к жизни, к истории народа и человечества. Конечно, жить можно и без философии; мы жили же тысячу лет, но где есть она, выработалась, там она не может остаться без влияния на дальнейшую судьбу народа и человечества. Довольно указать на два примера. Сократа осудили за его учение, следов[ательно], боялись не одного только теоретического влияния его философии. В XVIII веке энциклопедисты, Руссо и проч[ие], были одними из главных деятелей, произведших революцию.

Таким обр[азом], по взгляду Гегеля: 1) Все философские системы следуют одна за другой постепенно по закону необходимости; каждая есть логический вывод из предшествующей; этот логический вывод может быть или продолжением прежнего, или ему противоположным явлением: в том и другом логика не нарушается. За развитием, напр[имер], идеализма может следовать развитие реализма, и это будет логично; далее, за реализмом прогрессивно может явиться материализм, как это видим мы в наше время,— за Гегелем идет Герbart, за Герbartом Бюхнер. 2) Каждая система принимает в себя все начала и результаты прежних и ведет их дальше, представляя высшую степень философского развития. Очевидно, эта вторая мысль стоит в тесной внутренней связи с первой: она— оправдание первой мысли; логическое развитие философских систем нарушилось бы, если бы следующая система, отвергнув результаты прежней, начинала сызнова. Наконец, у последователей Г[егеля] философия есть только безучастная зрительница и толковательница того, что совершается перед ее глазами под влиянием иных деятелей. Наблюдая жизнь, философия меж тем своим порядком развивается помимо всех временных и случайных причин и условий, идет своей незаграждаемой интересами дня дорогой, руководясь вечно неизменными, родными ее сущности логическими законами. Такова, кажется, мысль Гегеля и его школы.

Но мы видим, что не всегда философия идет так независимо от вопросов дня, от нужд ежедневной жизни. Она подчиняется обстановке истории, агентам, чуждым собственно ей, но важным для жизни, следов[ательно], не всегда повинуется строго логическим законам, часто зависит от сторонних для нее, след[овательно], более и менее случайных обстоятельств. Время не всегда предано исключительно интересам науки, не всегда ставит философию высшей и конечной целью истории. Часто и философия подчиняется чуждым для нее интересам и условиям общественным, нравственным, религиозным и т. д. Этим определяется и прогресс философии. История человечества постоянно идет и развивается в своих формах. Но таков ли этот прогресс, что следующее непременно лучше прежнего? Кажется, ответить утвердительно нельзя за всякое время и без оговорок<sup>1</sup>. Если бы философия была исключительной целью исторических работ человечества, то в ней было бы постоянное движение вперед, но она только маленькая частичка в общем развитии человечества. Так, повторю, нужно знать, чем заинтересована известная эпоха, историей ли философии или вообще историей человечества, в которой история философии составляет только струю в потоке.

Такими мыслями и доводами привел нас Юркевич к тому выводу, что нельзя полагаться на какой-нибудь общий взгляд на историю философии и с ним приступать к изучению ее. Развитие философии слишком разнообразно, как и всякой другой стороны жизни человечества, чтобы подвести его под мерку какой-нибудь строго определенной и более или менее узкой системы, теории или мысли.

В следующем письме я передам тебе начало самой истории философии, т. е. характеристику первых греческих школ: ионийской, элейской, пифагорейской. Ну, удалось ли на этот раз? Едва ли.

Чтобы не обременять почты, я нарочно избрал такую оригинальную бумагу\*. На ней можно сколько угодно переслать, хоть целую книгу, за одну марку. Досталось, чай, тебе разбирать слова на этой бумаге!

Пиши о наших, что знаешь. Я живу так себе, по-прежнему. Могу сказать вполне о себе, что Пушкин сказал о телеге жизни:

Хоть тяжело подчас в ней бремя,  
Телега на ходу легка\*.

<sup>1</sup> Прогресс, кажется мне, совсем не то. Извини это рассуждение о прогрессе, таком избитом слове. (Примечание Ключевского.)

Жми руку всем прежним сослуживцам.

В. Ключевский.

В. В. Холмовский — что не пишет? Батюшки мои!

*Рукой П. П. Гвоздева:* Получено 27 февраля.

Порфирий Гвоздев.

16. П. П. ГВОЗДЕВУ

17 марта 1862 г.

Москва, 17 марта 1862.

Порфирие!

Какое впечатление произвело на меня твое письмо, в каком ты спорил со мною, спрашиваешь ты (оно получено). Да какое? Отвечать хорошенько я на это не могу: не комплимент же сказать тебе. Ты сказал в нем свой взгляд, основанный на положениях, из которых с некоторыми я согласен, а с некоторыми — нет. Но я теперь не буду оспаривать тебя. Но ты, вероятно, лжешь, говоря, что писал его не столько потому, что был убежден в этом взгляде, сколько потому, что надо было что-нибудь написать. Относительно же «нотации» мы, вероятно, друг друга не переспорим. Флоринский не писал еще, и я тоже, и чувствую, что делаю скверность, да как-то времени не нахожу, да и о чем писать, еще не надумал. Ты вызываешь на объяснение о Сергиевском. Да что же — буду говорить о нем, чтобы доказать, что он нас на кафедре надувает, морочит, как баб деревенских коробейник, выкладывает им свои гнилые, но подкрашенные новейшей краской товары и говорит, что первый сорт, самоновейший. Сергиевский — лирик, двух слов не скажет, чтобы не высказать «чувства»; его место на церковной кафедре перед публикой, немного образованной и требующей от проповедника сладкого, праздного щекотания ушей «свободномыслящим» словом. И он так привык (его любят в Москве) к этой церковной кафедре, что и перед студентами он является не профессором богословия, а оратором à la Массильон. Суди сам: в прошлой лекции он минут 45 говорил сильно, с жестами, разумеется приличными, выразительно — и все о чем же? О том, как Бог возлюбил человеков и послал им сына своего единородного, и нового ничего не сказал, да и не ждал никто, но надоела эта приторная, бабья, неприличная на кафедре толковня. Ты хвалишь его журнал\*, и я согласен с тобой: журнал хороший, кажется, и во всяком случае нужный. Но ведь я

сужу только по лекциям его, а в журнале своем он, кажется, ничего не пишет. Он не сух и мертв, как пишешь ты; он мягок, как намоченное шелковое платье барыни, и жив, как эта барыня подчас. Но что тяжело видеть и слышать это—я согласен с тобой. Не переварилось, значит, направление, взятое со стороны, напрокат, из немецкого магазина, и вот теперь разрешается поносом ненужных слов—извини за циничность выражения.

А славную пулю отлил кто-то в «Искре»! Bravo! Если бы времени побольше, мы бы не отстали с тобой. Да подожди. Пар[адизов], Разу[мов], Холм[овский] не писали. А в Пензу я не знаю, приеду ли; во всяком случае не раньше половины июня. Засел, значит, в Москве, как прежде в Пензе.

Вот тебе и еще факты из деятельности нашей иерархии клерикальной. Не видал ли ты в сент[ябрьских] «От[ече- ственных] з[аписках]» статью Буслаева о лубочных изданиях \*? Там стоит: «статья первая». Вторая не допущена духовной цензурой: религия-де страдает. Я видел у Буслаева эту отверженную статью с красными пометками. Ну, и «завязывал» же он их святейшествам.

Для университетов вышли неофициально новые правила и обсуждаются советами университетов \*. Бусл[аев] уверяет, что они не пройдут. Представь, карцер! А? Профессора восстали на правило, запрещающее студентам выражать знаки одобрения или порицания профессорам, т. е. свист и аплодисменты. Плата со студентов падает окончательно.

Что же о Юркевиче? Его лекции литографируются, но дурно составлены. Они будут в Пензе у Марш[ева]. Давай говорить о философии греков! Ну, прочитал он до Сократа и теперь о нем будет говорить. Я передам кратко содержание его лекций до Сократа, что запомню. Начал он с ионийской школы. Ионийские колонии знаешь—на берегу Малой Азии, опередили европейских греков в просвещении, и там вместе с эпопеей Гомера и «Историей» Геродота возникли первые начала философии. Юркевич, впрочем, вовсе не говорит ничего, почему здесь возникла прежде философия. Вообще он ведет свою историю особняком как-то от остальной общественной жизни греков, а ведь связь-то неразрывная. Ионийская школа: Фалес, Анаксимандр, Анаксимен—решала вопрос о натуре вещей. От чего вещь произошла, из чего состоит она? Фалес полагал коренным началом всего существующего воду, другой—воздух (Анаксимен), третий—огонь \*. Элейская школа: Зенон, Ксенофан, Парменид—

развивала идею единства мира, идею, что кажущееся разнообразие вещей и их изменение только существует в опыте, но не в самой природе вещей. Зенон показывал здесь, как ошибается ежедневный опыт в своих определениях; он основал диалектику, науку указывать противоречия ежедневного опыта или обыкновенного смысла. Обыкновенные понятия о пространстве, времени, множественности он подверг анализу и указал в них нелогичность. Здесь Юркевич много говорил об атомисте Демокрите, материалисте. Ты уже знаешь учение атомистов, как эти атомы по «случаю» соединились и образовали мир. Подробности—не теперь. Наконец, пифагорейская школа в основе вещей как главное, существенное их качество полагала<sup>1</sup> число. Все имеет число, составлено из единиц. Эта строгая математическая школа проповедовала строго нравственное учение о человеке, о добродетели и мудрости. Хоть собственно из этого ничего нельзя понять ясно, но я не буду распространяться. Когда-ниб[удь], при случае поговорим еще. Этим я хотел только показать тебе, как много прочитано до философии Сократа и софистов, с которыми он боролся.

Около этого времени в Греции развивался взгляд практически философский на жизнь. С одной стороны, философы учили о благе, которое они думали найти в отсутствии неприятного—Эпикур, или же в наслаждении положительно—Аристипп. Платон, развивая этот взгляд, старался определить идею блага и из нее вынести понятие практического блага, счастья.

Пока оставляю развитие этого учения о благе, а равно и взгляды софистов и противоположные им взгляды Платона и Аристотеля на общественно-политическую жизнь. Это после, может быть. Теперь об учении софистов, о мышлении и о возражениях против них Сократа.

До софистов философия изучала вещи, их изменения. Зенон, напр[имер], показывал, как логическое мышление расходится с теми понятиями, которые мы составляем по непосредственному опыту. Теперь нужно было решить задачу, что такое само мышление, что познание, какое его значение? Софисты решали вопрос так: человек есть мера всех вещей, что истина может измеряться взглядом каждого. След[овательно], общей истины, в которой сходились бы все личные, неделимые взгляды, не может быть. Для каждого истина то, что он считает истиной, и потому сколько голов, столько и истинных взглядов, хоть

<sup>1</sup> Далее зачеркнуто: в.

бы они взаимно себя уничтожали: что ни мужик, то вера, что ни баба, то толк, как выражался, кажется, один из наших иерархов, ростовский, что ли\*, о раскольниках (или другой кто—черт его знает)<sup>1</sup>. Что же привело к таким понятиям об истине? На каких основаниях создан этот взгляд?

Мы получаем знание от впечатлений; красный цвет мы видим в вещах, потому что он такое впечатление производит на наш глаз. Другая вещь производит впечатление голубого цвета. Прежнее впечатление изгладилось, вытеснилось новым, а с ним и знание. Так в постоянной смене впечатлений сменяются и наши познания. Наше знание, так[им] обр[азом], постоянно изменяется, течет. Вот положение софистов, из которого они выводят законность взгляда каждого. По мне это красно, а по тебе бело, но у меня такое впечатление еще в голове держится, а у тебя другое уже вошло. Но ведь мы оба правы и говорим то, что говорят наши чувства. Сократ дал залп по такому взгляду, сказав, что мы имеем изменчивое, непостоянное знание, но что вместе мы знаем и об этом непостоянстве, что у нас есть еще знание и об этом изменчивом знании; стало, мы его можем контролировать.

Сказав, что наши впечатления и знания приходят и уходят, софисты останавливаются на том, что наши знания чисто личные, субъективные, как кто чувствует по опыту, а потому общей истины быть не может, потому что нельзя чувствовать одинаково. Ты с холоду вошел в комнату, и тебе в ней тепло, но можешь ли сказать вообще, что в ней тепло; а я слез с жаркой печи и чувствую, что мне в этой же комнате холодно, но и я не могу также сказать, что в ней вообще холодно. Значит, каждый по себе мерит истину, каждый—мера вещей. Отсюда естественно то заключение, что ложных мнений нет, а есть только несходные между собою мнения. Ты говоришь: это—чиж, а я: это—стриж; мы оба говорим правду, потому что нам кажется так, ощущение глаза таково. След[овательно], могут существовать два противоположных взгляда, и оба они истинны. Вот другое положение софистов. Теперь смотри же, как просто и естественно поддел их Сократ. Если, говорит он, два совершенно противоположные взгляда истинны, то истинно и третье, считающее оба эти взгляда ложными; след[овательно], истинно и то, что два противоположные

<sup>1</sup> Это, конечно, мне принадлежит; Юркевич этого не говорил. Видишь, я пишу не одно то, что слышал. (Примечание Ключевского.)

взгляда ложны. Ты говоришь — чиж, я — стриж; мы правы; третий говорит — ни чиж, ни стриж; след[овательно], истинно и то, что мы врем. Ведь таков взгляд третьего.

Далее, все наши понятия и впечатления подходят под те или другие высшие представления, общие категории. Все тела подходят под понятие тяжести, а металлы подходят под понятие тел; стало, и металлы подходят под понятие тяжести. Так. Это отношение силлогизма установлено Аристотелем. Но у софистов одно понятие подходит разом под несколько разнородных категорий. На этом основании они умели отлично морочить и развили ораторство, красноречие, в чем Юркевич видит заслугу софистов. Дело в том, с какой стороны взглянем на вещь. Путешествие хорошо, потому что делает нас опытнее. Ты развиваешь это так: оно знакомит с новыми людьми и землями; обогащает знаниями, наблюдениями, расширяет понятия; а я так: знакомит с новыми удовольствиями, потребностями, что рождает роскошь, опустошение кармана; делает нас опытнее, способнее надувать ближнего. Мы оба опять правы. Стало, все можно доказывать и опровергать в одно и то же время. Школа Сократа в лице Аристотеля установила про[тив]<sup>1</sup> такого взгляда правильное отношение силлогизма: каждое понятие нужно подводить под то высшее понятие, под которое оно подходит целиком, всем своим объемом.

Теперь к третьему взгляду софистов (предшествовавший риторский<sup>2</sup>... следствие второго). Наши понятия связаны словами. Ты видишь вещь красную, я — зеленую, а тот — белую. Эти ощущения мы называем цветом. Но цвет не общее понятие, а слово, которым мы с тобой уговорились называть наши ощущения. Общих родовых понятий нет. Это только общее название впечатлений. Сократ спрашивает софиста: что такое красота? Тот отвечает: прекрасная женщина. Он не определяет красоту общими, типическими чертами, так как для него не существует отвлеченного общего понятия красоты, а есть только в опыте формы, которые он «называет» прекрасными. Так[им] обр[азом], софисты приходят к отрицанию мышления, привязывая его к узкому впечатлению опыта, взаимно уничтожающемуся без общей категории.

Наконец, софисты уничтожают метафизические представления. Вот забавный силлогизм их. Когда мы учим другого, то хотим его сделать умным, но он, значит, еще

<sup>1</sup> Чтение предположительное, в рукописи коричневое пятно.

<sup>2</sup> Далее на сгибе стерлось одно слово.

не умен; стало, мы его хотим сделать не тем, что он есть, стало, хотим его уничтожить. Какова метафизика?

Тот же дух проникает и взгляды софистов на общество, государство. И здесь против них выступает учение Сократовой школы. Но об этом до следующего раза, скорого, добавлю тебе в утешение.

Жаль, что мое прошлое письмо так опоздало и распечаталось. Верно, любопытство заставило наших сделать это нарушение прав собственности. Но ты этого не делай с письмом, которое я прилагаю здесь, а отнеси его поскорее. В нем ничего любопытного. Извини за краткость и пиши скорее. Что Маршевы? Но им не передавай этого вопроса. Зачем? Прощай.

Твой Ключевский.

P. S. Каковы по тебе «Отцы и дети» Тургенева в втором номере «Русск[ого] вестн[ика]»? Прочти, пожалуйста. Ведь там—мы, наше поколение, самоновейшее, значит.

*Рукой П. П. Гвоздева: Получено 24 марта.*

17. П. П. ГВОЗДЕВУ

21 апреля 1862 г.

Москва, 21 апр[еля] 1862.

Порфириус!

Ну что? Пришла ли к вам весна? А к нам пришла: мостовая уж раскаляется, кровь смутно бродит, романтическое тряпье встает на душе. Москва, видимо, просится на дачу—на покой. Старые шутки со всем обаянием начинают действовать, и я чаще насвистываю какую-нибудь песню, хотя не всегда знаю, какую именно. Словом, прочти любое описание весны у Тургенева, и ты поймешь меня; у него, что касается весны, чувства,—все верно, хорошо, щекочет эстетическое чувство, ну а вот в последнем романе\* наврал, и не совсем по-детски, как врал порой в прежних сочинениях.

Вот тебе отчет по нашему делу—помнишь, по делу о масле. Последнее твое письмо с столь любезным диспутом твоим с Яшенькой живо заставило меня приняться за дело. Оно кое-что напомнило мне из «недалекого прошлого», для тебя еще, к несчастью, продолжающего быть настоящим (хотя—о штука!—ненадолго уже), и я взял да и переписал твои два письма с диалогами, кое-что подба-

вил из воспоминаний и составил таким образом «Педагогические сцены», коих две: первая — «Поучение», вторая — «Трагедия с маслом». В первой к твоему последнему диалогу подбавил я небольшую сцену свою с Яшей, оставшуюся у меня в памяти, — рассуждение о том, что надо ходить раньше в класс и не надо читать критики в журналах, — говорил, кажется, я тебе об этом. Переписав все это с вышешушенными заглавиями, что составило почтовый большой лист моего письма (стало быть, два — обыкновенного письма), отправил его к Миллеру, редактору «Развлечения»\*, издающегося в Москве. Но я никогда не знал, что такое «Развлечение», и потому послал «Сцены» невпопад. Миллер сказал мне, что в его журнале помещаются очень легонькие, смешные статьи, а «Сцены», где даже есть рассуждение о критике, слишком серьезны для него. «А ну, так убирайся к черту», — подумал я, принимая от него свой лист, и на другой день запечатал его и послал в «Искру», в Питер, значит, приложив письмо следующего содержания:

«Прошу редакцию «Искры» дать прилагаемым «Сценам» место в журнале, если она найдет это удобным. Двое выведенных здесь деятелей просвещения — давние знакомцы «Искры»: это Псих и Урлук\*. Прилагаемые сцены не больше как сколок с того, что говорят эти педагоги и стараются внушить своим воспитанникам. Недавно в семинарии, где они действуют, случилось событие, сильно их взволновавшее: один из учеников зарезался. Испуганные этим, а еще больше слухом, что по этому поводу дано знать в Петербург, Псих и его сотрудники подвергли энергическому порицанию некоторых молодых учителей, говоря, что в смерти несчастного виноваты больше всего вольные идеи, распространяемые этими учителями. Для предохранения от этих идей велено не брать книг в библиотеке»...

И прочее еще кое-что, не помню. Теперь жду и не знаю, как пойдет дело. Скверно, если и «Искра» откажется напечатать под предлогом неудобности. Э, черт их возьми с неудобностью. Посмотрим. Отправил я 19 апр[еля], и вот почему так долго не писал тебе: хотелось заправить дело, а потом уж известить тебя. Я старался всевозможно замазать, что дело идет в семинарии, но всякому ясно это. Да что за беда? Только если там напечатают, ты приготовься действовать на случай. Прицепят ведь, пожалуй, их братья: вали тогда все на меня. Вот посмеемся с тобой в бороды-то, если дело увенчается успехом. Ну, да помолчим пока. Да, ты назван в «Сценах»

Протовым, Семен — «Иван Кузьмичом с многоветвистыми бакенбардами», ректор — старичком в шапочке и т. п.<sup>1</sup> Если же не напечатаются «Сцены», мы удерем другую какую-нибудь штуку — а то ведь жаль, если эти гомерические подвиги Психа и Урлука с К<sup>0</sup> «не будут записаны для потомства на скрижалях истории» и пр.

Теперь я совершенно предан приготовлению к экзамену и потому ничего не делаю, разве иногда сядешь часа на три и переведешь стихов 80 из «Илиады». Да, на что тебе адрес моей квартиры? В университете у нас не прекращается прием писем, хоть и нет лекций, — так пиши в университет по-прежнему, да и нашим, если будет случай, передай и внуши это; а то они тоже, оправдываясь пасхальной вакацией, не пишут ко мне и, след[овательно], считают себя вправе<sup>2</sup> молчать — остроумное ведь заключение?

О Маршевых мало пишешь, — вот беда, а меня ведь это интересует. Понимаешь? Субъекты-то больно уж симпатичные. Не знаю, придется ли нам с тобой свидеться летом, а хорошо бы, черт побери! Мне ужасно хочется повидаться и попить с тобой! Да и со всеми пензенскими нашими! А ты, разумеется, во главе их. Но если придется прозимовать все лето в Москве, то я утешусь хоть немного тем, что улизну на дачу подмосковную (понеже дешевле и приятнее) с товарищем одним, болгаром по происхождению. Отличный малый! Черный, чумазый, энтузиаст, не любит фраз — одним словом, сильно смахивает на тебя\*. А таких прямых голов, известно тебе, я очень люблю, потому что сам чувствую в своей натуре большой недостаток этой прямоты душевной и бесцеремонности, как тоже известно тебе. Ну, и т[ак] далее — пойдут дела. Если я не [у]лизну в Пензу, постараюсь прислать тебе портрет с своей рожицы, которая, замечу кстати, немного расплылась и потолстела, черт знает с чего — сплю много, вероятно, по случаю скорых экзаменов, а другой причины нет: на пасху ни с кем интересно не цаловался... Теперь я, братец ты мой, относительно содержания своей физиономии хлопочу о двух статьях: об отрощении и беспрепятственном рощении волос на голове и взлелеянии баков. Впрочем, заботы по этому предмету ограничиваются пока тем, что я редко чешусь и никогда не помажусь и через два или три дня, если сижу дома,

<sup>1</sup> Да, Ст[епан] В[асильевич] — Васильем Степанычем, Воскресенский — Вознесенским, Абр[ам] Павл[ович] — Андреем Павловичем, я — Замковым и пр. (Примечание Ключевского.)

<sup>2</sup> Далее зачеркнуто: нипочем.

умываюсь. Да, если я останусь в Москве, то буду развлекаться прогулками к Буслаеву и с ним в Синодальную библиотеку—в интересе разбора рукописей старинных наших книжников и фарисеев. Что делать? Заинтересовавшись филологией, надо идти к самому делу к приложению филологии, т. е. к изучению словесности старинной и истории языка; иначе незачем было и приниматься за филологические операции. А вещь—ничего, изрядная.

Что тебе еще сказать? О Москве—ничего: весь день на улице—зеванье «Эй, яйца, яйца! Свежи лимоны-ы-ы!» и пр., а вечером тихо все, только в потемках по улицам да бульварам, да тротуарам шмыгают *amicae noctis obscurae*<sup>1</sup>. Ты знаешь, что такое московский бульвар? Вещь, стоящая изучения в статистическом и психологическом интересе. Это, братец ты мой, длинная аллея, усаженная деревьями, вроде нашей скверы, только длинная, не круглая, вдоль широкой улицы, посередине, между двумя рядами домов—понимаешь, ведь живо рисую? Такие бульвары огибают всю середину Москвы. Самый знаменитый из них в отношении охоты за шляпками—Тверской, сиречь именно тот, от которого недалеко помещаюсь я. Только я там редко бываю—утешься и не бойся за меня. Вот как наступит вечер, там музыка около маленького ресторанчика и, братец ты мой, столько прохвостов, что и-и! Здесь царствуют такие патриархальные нравы, что всякую даму встречную, если есть охота, ты можешь без церемонии взять под руку и гулять с ней, толковать обо всем: о Вольтере, о значении его в истории развития безбожия и камелий, об эмансипации женщин—только не крестьян, о том, что такое любовь и что кошелек—словом, обо всех живых современных вопросах левой руки. Нагулявшись, ты можешь, если опять есть охота, попросить спутницу (признаться, иногда очень красивую и милую) проводить тебя самого до квартиры и непременно получишь согласие. Дошедши до квартиры, можешь попросить войти, и войдет, и опять можете продолжать диспут о современных вопросах и т. д., и т. д.—до конца всех концов... Не веришь—спроси, когда увидишься, Вышеславцевых: они оба—ходоки по этим делам, специалисты, можно сказать. По субботам ты можешь заметить в Москве славную штуку: на поклонение Иверской б[ожьей] матери в Москве особенно усердствует, как ведомо, купечество. Так по субботам ты можешь заметить

<sup>1</sup> подруги ночи темной (лат.).

в некоторых местах Москвы явления такого сорта: мчатся экипажи из всей мочи, а в них сидят джентльмен с разряженной мамзелью. Спроси кого угодно: «Кто это?» — и получишь ответ: «Это купчики едут в баню!» А? Ведь в Пензе еще не дошли до такой общежительности.

Ты, я думаю, посылая к матери все нравы Москвы, ждешь чего получше, хоть, напр[имер], продолжения философии Юркевича. На этот раз уж, пожалуйста, прости за несоблюдение обещания. Если бы я думал писать о философских лекциях Юркевича, то 1) не принялся бы до следующей почты за письмо, а 2) пошел бы наперекор настроению, болтать, *caressime*, хочется, и дело с концом. Весна — пойми ты это! А впрочем, нет ничего отвратительнее весны в Москве; причин тому много; некоторые изложены мною выше. Отрядив это письмо только на болтовню, я ни слова не скажу серьезного, кроме разве немногих слов о журналах, которые я теперь читаю довольно прилежно. Интересно следить за этой борьбой разных партий и мнений, борьбой, часто пересыпаемой изрядною бранью, но все же живой, энергической. Всех виднее в этой перепалке «Современник» с Чернышевским — этим бесцеремонным семинаристом-социалистом и пр. Славно — что ни говори — отделяет он кой-кого. Борющиеся стороны или лагеря страшно перепутываются. Чичерин твердит об идеальном государстве — народе и народе — государстве (по его — это одно и то же), ратует за выделение в изолированное сословие дворянства, а Громека и Бестужев-Рюмин стреляют в него из «Отеч[ественных] зап[исок]» здоровенными залпами. «Современник» колотит по носу славянофилов, вопиет о бедствии пролетариев и честит по-русски праздную умозрительную философию. Буслаев, любитель и поклонник народности, пушит духовенство и славянофильское учение о русском народном духе, а «Современник» в лице Пыпина катает и Буслаева. Аксаков с своим «Днем»\* отстреливается исподтишка, а Соловьев мечет стрелы в Костомарова за его увлечения и «богопротивную» статью о басне, выдуманной народом, что ли, или кем другим, будто Сусанин спас царя. Соловьев говорит: «Спас! Костомаров соврал!» — и обнаруживает поползновение объяснить дело духом народа, по-славянофильски! Вот как! Соловьев, западник, не прочь протянуть руку славянофилам? Славная вообще возня идет в журналистике!\*

Поблагодари Парадизова за письмо и проси писать еще. Написал бы ему, да лень, сказать по правде. Сходи к

нашим и скажи, что здоров, или соври лучше, что нездоров, скорее напишут. А то, пожалуй, не ходи, а передай как-нибудь, если это не затруднит тебя.

Записывай все, что интересного говорится педагогами вашими: пригодится, брат. Свиснем.

Холмовскому, Разумову—мое нижайшее. Скоро еще напишу, и Парадизову вместе. Прощай.

В. Ключевский.

ВВ. Как образец полемики Громеки прочти, если хочешь, «Совр[еменную] хронику» «От[ечественных] зап[исок]» в третьем номере 1862 г. Он ее пишет.

Рукой П. П. Гвоздева: Получено 1 мая.

Гвоздев.

### 18. П. П. ГВОЗДЕВУ

14 июня 1862 г.

с. Зимарово, июня 14, 1862.

Porphyri!

Когда я, задумав наконец отвечать на твое последнее письмо, посмотрел на его дату и увидел, что она показывала 2 мая, я пришел в некоторый род ужаса—серьезно говорю. Черт знает, как случилось, что я пишу тебе больше чем месяц спустя после твоего уже письма, а мое последнее, следов[ательно], было еще раньше. Черт возьми, как ты, я думаю, разукрашивал меня за это! Да не писал ли ты еще ко мне после того? Если писал, то вотще погибло твое письмо: 29 мая я сдал последний экзамен, а 30-го [п]ополудни катил уже по Рязанскому шоссе по направлению к деревне, из которой теперь пишу тебе. Впрочем, я потороплюсь кой на что ответить прежде тебе, а потом уж поговорим frei<sup>1</sup>.

С самого отъезда я не видал «Искры»; знаю, что до восемнадцатого номера нашей вещи не было. Что после—не знаю. Думал было сделать запрос, да не удалось. Проездом чрез Рязань я заходил к Глебову\* и просидел дов[ольно] долго, т. е. с 4 до 12 ночи. Он на мой вопрос сказал, как человек, сносившийся с редакцией, что, всего вероятнее, вещь не явится, потому что духовная цензура сильно влияет и на этот журнал. Он добавил, что Розанов отправлял список всего своего дела с Психом, а явилось в печати только кое-что. Вот вследствие этого-то я, извини, и махнул на «Сцены» рукой. Но мы не должны бросать

<sup>1</sup> свободно (нем.).

дела. Во всяком случае у тебя с августа руки будут свободнее — мы примемся, а материал к тебе близко, и ты им воспользуешься. Вследствие этого ты должен писать мне преassigatissime<sup>1</sup> с первой почтой, где, как в зеркале, представить свое настоящее положение. Да, редакции не имеют обычая отвечать письменно из экономии 10 к[опеек] сер[ебром], а печатного не видел. Глебов же сказал, что он посылает обыкновенно без страховки.

«Какой я экзамен держал?» — спрашиваешь ты. Да на стипендию — и выдержал; вот баллы по первому курсу, поставленные мной: 4 (греч[еский] яз[ык]), 5, 5, 5, 5, 5. Не улыбайся, пожалуйста; это легче еще вступительного, кроме греч[еского] языка: там филология, филология и филология, да еще сравнительная<sup>2</sup>.

А что, сдуру ли или по естественной какой причине врет тебе А. Маршев о том, будто меня надули? Что он там, как баба на печи, ворочается да говорит черт знает что? Напиши, выдержал ли он и держал ли опять экзамен в университет, т. е. гимназический<sup>3</sup> выпускной экзамен, нужный для поступления в ун[иверсите]т. Экзаменовавшиеся в Москве из не выдержавших в прошлый год опять провалились все; их было, кажется, 3. Муравьев не экзаменовался — и сделал умнее всех; да он, кажется, во всех статьях будет лучше всех своих aequales<sup>4</sup>.

А портрет-то? Присылай свой, а мне нельзя раньше половины августа. А если бы ты прислал да еще если бы снялся кто другой из наших, — черт возьми, как это было бы великолепно. Казани ждать долго.

Думаю, ты видел Покровского. Собравшись на живую нитку, я не успел сказать ему ничего для передачи в Пензу. Послушай его, но постарайся уловить с первых же слов его любимый конек, и тогда поймешь его слова лучше его самого. Это с ним часто случается: конструкция мозга такая. Между прочим, постарайся передать к нему, чтобы он написал мне, если хочет, как он расстался с известным нам пастушком — так и скажи ему — В. И. Рязанцевым и виделся ли перед отъездом с болгаром, тем самым, о котором я писал тебе.

«Вот уж истинно, ты незабывающий и незабвенный друг»!! Это не я тебе говорю, а ты мне писал. Чудак!.. А Флоринский где? Приедет ли в Пензу? Вот этакое ему открой объятие и вспомни о Гримме и Ренане... Жаль, что

<sup>1</sup> самым тщательным образом (лат.).

<sup>2</sup> Далее зачеркнуто: п.

<sup>3</sup> Над зачеркнутым: экзамен и еще одним неразобранным словом.

<sup>4</sup> ровесников (лат.).

ты мало так читаешь журналов. Впрочем, что ж, если их негде брать. Не бегать же за ними с высунутым языком. А петербургские пожары 21, 22 и 28 мая\* — все-таки оч[ень] грустная вещь. В газетах прочтешь, если еще не читал. Определено всех заподозренных в поджоге судить в 24 часа военным судом.

Хочешь ли два слова о Благоразумове? Женился на московской сироте и, помимо законного кандидата, вступил профессором в московскую семинарию. Это я знаю по словам Автократова — Рафаила. Как думаешь, весела история или нет? Может, для героя ее и весела, а для меня как зрителя пахнет тупой комедией. Он даже спросил Автократова, который с ним знаком, завидует ли он ему? Смешно! Кочующий цыган-студент, как все мы, завидует ли осевшемуся благоразумию — фи, какая штука! Впрочем, *de gustibus non est disputandum*<sup>1</sup> — вольному воля. А Автократов — редкая голова! Поговорить с ним — значит прожить хорошую, веселую минуту, выражаясь немного поэтически.

Теперь о себе. Да что о себе? Из моего чудного, прекрасного далека простираю я теплые объятия Пензе. Мечта не сбылась — нынешним летом едва ли я буду там. А хотелось бы, хоть для того только, чтоб с тобой повидаться (или лучше с вами, в собира[тельном] смысле) да еще кой с кем; впрочем, последних не много... Я, бывало, мастер был на описание. Теперь едва ли. Да и что описывать? Перед окнами ровная, длинная, чисто русская равнина, на которой волнообразно движется от ветра рожь. Над этой равниной часто появляются тучи, богатые молниями и громами (риторика) и тяжелые грядущими дождями, по выражению Гоголя, да хандрой, которую производят они на меня, по моему выражению. Странное развитие принимает во мне эта дождевая хандра, отчего — не знаю: должно быть, нервная машина испортилась, и я чиню ее временной апатией ко всему на свете. Ты думаешь, может быть, что я теперь отдыхаю от трудов, свожу счеты с прожитым университетским годом. А я думаю совсем другое. Отдыхать, собственно, с намерением отдыхать я не люблю, как и работать с намерением работать. Да я и плохо различаю между этими понятиями: иногда считаю бездействием, что другие называют важным занятием, и наоборот. А счеты с прожитым годом я свел давно, почти одновременно с процессом самого проживания, и едва ли буду когда проверять их. Я

<sup>1</sup> о вкусах не следует спорить (лат.).

теперь кроме педагогических занятий почитываю да подумываю. Часто вижусь с мировыми посредниками и слушаю о крестьянских делах. Недавно видел рязанского губернатора\* и сидел за одним с ним столом; он проездом останавливался здесь и обедал у князя: sic humilis tollitur ad coela!<sup>1</sup> Не правда ли? Что и говорить!

Впрочем, тебе, думаю, интересней знать что другое. Проездом в Рязани мне пришлось много кой-чего наслушаться. Но я тебе скажу о семинарии. Туда я ходил, чтоб узнать адрес Глебова. Вот здание-то! Полы чугунные, над классами доски с надписью, двор чистый, лестницы — что в университете, церковь семинарская — просто шикарство. Вечером был у инспектора училища с Глебовым, иеромонаха... позабыл. Но славный человек — на обратном пути опять увижусь. И теперь у меня смутно бродит в голове смесь всего, что он говорил при мне Глебову: так много было говорено современного, что опасаясь за пищеварение. Архиерей — торгаш, известный всему духовному люду своим монгольским отношением к поповскому карману, и без того не плотно набитому. Это Смарагд\*. Но в другом, светском обществе Рязани (к которому принадлежало семейство, в котором мы по знакомству остановились) о нем говорят как о ловком, светском немножко человеке, но не сухом педанте. Из этого ты можешь воссоздать во всей первобытной свежести его образ...

А Глебов — прежняя дельная голова: читает философию по современным немецким материалистам — Бюхнеру, Молешотту и Фойгту, от одного имени которого дрожат католические отцы — проповедники. При этом он занимается еще по крестьянским делам в комитете губернии. Да, этот человек — действительно семинарист: его не стыдно назвать этим именем; многие не стоят этого имени, понеже оно значит многое, чего нарочно не выдумаешь и не вычитаешь, а что создается только под душливым веянием семинарской жизни.

Что тебе еще? Прощай — вот что. Пиши скорее. Мне хочется еще списаться с тобой до 15 июля. Пожми руку Парадизову, Разумову, Холмовскому и пр[очим] и плюй больше на фатальные болтовни разных Алек[сандров] Маршевых. Vale<sup>2</sup>.

Адрес мой: Рязанской губернии, Раненбургского уезда, в село Зимарово, его сиятельству князю Сергею Васильевичу Волконскому\*, с передачей В. Ключевскому.

В. Ключев[ский].

<sup>1</sup> так низкий поднимается до небес! (лат.).

<sup>2</sup> Прощай! (лат.).

Р. С. Михаилу Митрофановичу от меня постарайся вручить рукопожатие иль просто показать ему эти строки.

*На обороте:* П. П. Гвоздеву (по возможности, в медленном времени).

*Рукой П. П. Гвоздева:* Получено 23 июня.

Гвоздев.

## 19. И. В. ЕВРОПЕЙЦЕВУ

14 июня [1862 г.]

[...] Экзамен на стипендию сдан и хорошо: только из греческого 4, из остальных 5. О количестве стипендий еще ничего не знаю.

Экзамен кончился 29 мая, а назавтра в полдень я уже был в дороге: без сожаления и даже без всякого чувства оставлял я за спиной Москву; с Пензой я не расставался так. А ведь, кажется, и прожитой год в Москве стоил чего-нибудь: да, он многого стоит, так что другой раз он не повторится; дело ведомое, вчерашнего не воротить. А все же, выезжая из Москвы, я готов был сказать ей: «Э, убирайся!»

А все же, выезжая за заставу, я вздохнул свободнее. Впрочем, кто ж не вздыхает свободнее, выходя вообще за заставу? Это уж так водится. А у меня к этому присоединилось еще то, что год кончился, проползши по сердцу холодным и тяжелым чем-то, но не задев серьезно. Впрочем, ведь и это водится — и так следует. Обыкновенно накануне нового года жалеют, что скоро прошел старый год; а я благодарю судьбу, что так скоро прошел мой старый год, и бесконечно рад этому. Шахматам приходится становиться в различные клеточки: немудрено, что так странно расходятся иногда взгляды на один и тот же предмет. Вы спросите, Впрочем, едва ли спросите, видел ли и знаю ли я Москву. Я скажу, что видел Москву очень мало; в Успенском не был ни разу (зачем?), Филарета не видал и не хочу видеть; в Кремле — два раза мимоходом; в церкви вообще — два раза — в ноябре да на пасху как-то, к концу. Неужели при таком любопытстве я могу сказать, что видел Москву? Видел я Царь-колокол и пожалел, что такая масса стоит без дела; видел памятник Минину и Пожарскому перед Кремлевской стеной, да не любопытствовал даже поискать надписи и вовсе не почувствовал особого эффектного ощущения в себе от руки Минина, указывающей на Кремль. Но я могу сказать, что Москва мне хорошо знакома, по крайней

мере некоторыми сторонами; дух их я, кажется, понял... Да стоит ли об этом? Вот что в Питере за ужасы: не читали ли о пожарах 21, 22 и 28 мая, когда сгорело Министерство внут[ренних] дел (Шукин двор)? Полагаю, хорошо положение некоторых небогатых семейств: спасли очень мало из имущества или лучше почти ничего: некуда было тащить. Вообще винят поджоги. Подозреваемых или замеченных в поджоге велено судить в 24 часа по военному суду. [...]

20. П. П. ГВОЗДЕВУ

20 ноября 1862 г.

Москва, 20 ноября 1862.

Carissime!

Многочастне и многообразне надувал я смертных на своем веку, но так, как я с тобой поступил, уж и не запомню, когда поступал. Я уж хотел жар к жару поддать и писать тебе так, будто не получал твоего письма,—на дороге, мол, село,—чтоб придать хоть маленько вид благопристойности своему безбожному поступку. Означенная наверху дата гласит, что я отвечаю тебе ровно через два месяца после того, как ты мне писал! Конечно, в летописях корреспонденции таких случаев отъщещь немного. Но лучше поздно, чем никогда,—и я отвечаю на твое письмо. И ведь не то чтобы некогда было писать: куда!—а просто черт знает что такое: «замстило!»

Твое письмо порадовало меня двумя известиями: первое, что товарищем тебе из Пенз[енской] семинарии был Парадизов, а не кто иной; второе, что Разумов поступил вольным слушателем Каз[анского] университета. Хоть, говорят, профессора Каз[анского] университета большей частью—ох!—сига melius<sup>1</sup>, но хорошо уж и то, что он в Пензе не остался.

Ты спрашиваешь, не знаю ли я чего о Флоринском. Ничего, решительно ничего с того самого письма злополучного, в котором я стрельнул в него Гриммом и Ренаном, а ведь это было еще в конце прошлого года. Что же до другого твоего вопроса о письме твоем от 26 июня, то я получил его, но не знаю или позабыл, писал ли ты мне о моем письме, писанном красными чернилами\*. Кажется, писал, что получил.

Ты поступил великолепно, представив в письме своем

<sup>1</sup> оставляют желать лучшего (лат.).

содержание лекции о[тца] Хрисанфа \*. Но напрасно добавил, что она не заинтересует меня. Напротив, она очень меня заинтересовала, и в первую минуту по прочтении я хотел отвечать на нее подробнее, но теперь уже поздно. Хрисанф, очевидно, умный человек и за ум взялся. Но я не могу не обратить твоего и своего внимания на одно место лекции, именно сие: «Нравств[енное] богословие, чтоб быть живой и современной наукой, должно нисходить с своей высоты до разбора характеров и типов, обрисовываемых в повестях и романах современной литературы, как это делает эстетическая критика». Конечно, он прав, сказав, что христианская истина, неизменная в сущности и внутреннем развитии, изменяется в приложении к жизни. Но вывести из этого то, что он вывел в приведенной фразе,—это, воля твоя, сюрприз! Интересно знать, что будет делать нравств[енное] богословие, когда с своей высоты сойдет до разбора характеров и типов, обрисовываемых в современной литературе, характеров и типов, движимых в своем развитии и образе действий всевозможными мотивами, но только вовсе не нравственно-богословскими. Да будет мне позволено сказать,—это парадокс Хрисанфа, и его богословие почувствует себя очень в дурном состоянии духа, когда вмешается в толпу обиденных и литературных характеров и типов. Из тона и взгляда иеромонаха я даю себе право надеяться, что он вовсе не склонен винить современную обиденную и умственную жизнь в равнодушии к богословским принципам и в отсутствии их на практике. Думаю, что у него достанет на это исторического такта, чтобы не взвалить вину эту на современную жизнь. Если ведь было время, когда каждый мелочной лавочник интересовался знать, чем решили святые вселенские учителя вопрос о двух естествах И. Христа, то почему же не быть и такому времени, когда не только лавочник, но и покнижнее люди не хотят помнить не только о нравств[енном], но и всяком другом богословии. Теперь спрашивается, какую же позицию займет нравств[енное] богословие при разборе обиденных и литературных типов. Ведь в их деятельности нет ни капли нравственно-богословских принципов и тенденций, а между тем многие из них ведь очень нравственные характеры. Я понимаю, когда физиология общества разбирает житейские личности и деяния, но мне непонятным становится, когда за это дело берется богословие. Может, отец иеромонах, замечая слабость или даже отсутствие богословских или вообще христианских побуждений и начал в современной жизни, думает влить в нее эту

недостающую струю, ну хоть в интересе полноты этой жизни. Но мне в таком случае обидно и не хочется отнести его к слезливой фаланге людей, льющих слезы о современном растлении людей: кажется, он далек от этой кучки. Да и зачем именно насильно вливать эту религиозную струю в жизнь, когда она и без нее обходится, не делаясь, однако ж, хуже, что бы ни говорили там печальные плакальщики о совершенном падении морали в мире. Кажется, не ошибемся, если скажем, что философию никогда не помиришь и не сольешь с богословием; с этим соглашается даже Лоран, несмотря на то что постоянно твердит о незримых путях и целях Промысла, определяющих человеческую жизнь и невидимо ведущих ее к тому-то и тому-то. Наш автор «Православия и современности»\* хотел сделать что-то вроде предлагаемого Хрисанфом, да впал в такой туманный, непонятный мистицизм, правда довольно поэтический, но все же восточный, что лучше бы уж и не родиться той книжке на свет. Дело в том, что людям, волнующимся и проникающимся всеми живыми интересами, подобные книги и подобные стремления непонятны, а людям, чаящим живой воды от богословия, ничего оно не дает, т. е. они-то сами видят в ней только предлог и основание к своим задушевным мистическим суеверьям: и в том и другом случае доброе намерение богослова не доходит по адресу.

И что это за девическая ухватка—рекомендовать нравств[енному] богословию деятельность, которой занимается эстетическая критика? По-моему, дать какой бы то ни было науке характер или близость этой беззубой старухи—значит неуважительно отнестись к самой науке. Эстетическая критика! Будто она когда-нибудь обмолвилась хоть одним дельным словом о житейских характерах и типах! Уж оставил бы Хрисанф Григорьеву и Анненкову допевать их эстетические песни, беспрепятственно раздающиеся, как глас вопиющего в пустыне, который слушают разве институтки, да и то едва ли.

Но я верую, что Хрисанф обмолвился—и больше ничего. Я с уважением отношусь к его словам: «Обращение в православие иноверцев мы не поставляем целью нашей науке»—и поэтому не хочу придавать большого значения его словам о житейской, практической роли нравств[енного] богословия.

Благодаря тебя за эту лекцию, я бы попросил еще больше писать об академической науке. Что сказать тебе, да и говорить ли о своих занятиях? Трудно резюмировать мои занятия. Черт знает, чем я не занимаюсь. И по-

лит[ическую] экономию почитываю, и санскритский язык долблю; и по-английски кой-что поучиваю, и чешский и болгарский язык поворачиваю,—и, черт знает, что еще. Вообще же элемент сравнит[ельной] филологии и философия, так сказать, языкознания принял[и] на втором году свирепые размеры. Он льется и с кафедры греческого, и с кафедры славянских наречий из уст Бодянского, и с кафедры русской словесности от Буслаева, и каждая душонка наша бредит корнями и суффиксами. Окунуться в этот мир микроскопических инфузорий, называемых корнями и приставками,—значит увидеть много интересного.

Прилагаемый портрет или, вернее, карточка\* представляет меня, Покровского и Голубева, поступившего на юрид[ический] факультет. А на каком факультете Разумов? Жми руку Парадизову и постарайся писать скорее. Я было не хотел посылать карточки по ее плоховатости, да все лучше, чем ничего. Прощай. Увидишься с Разумовым—до земли ему. Потрудись написать, какие темы у вас для сочинения были за текущую треть.

Твой Ключевский.

Рукой П. П. Гвоздева: Получено 24 ноября.

Гвоздев.

1863 г.

21. И. В. ЕВРОПЕЙЦЕВУ

20 марта 1863 г.

[...] Недели две тому приезжал князь\* один. Поговорили о выборах (дворянских в Рязанской губернии) и о разных материях. Он, между прочим, сообщил мне много новостей. Так, с нового года в Рязанской губернии за генварь месяц было 160 человек, опившихся от удешевления водки. Вы знаете, что с 19<sup>1</sup> февр[аля] 1863 г. кончились зависимые отношения дворовых к помещикам и они отпускались на все четыре стороны. Поэтому ждали многие чего-то вроде волнений. «Но,—говорит князь,—я нарочно пробыл в Рязани дней пять после 19 февр[аля], и ко мне поступила только одна жалоба (от предводителя дворянства в Раненб[ургском] уезде) дворового на помещицу, да и то потому, как оказалось из слов дворового, что он лентяй—и потому помещица виновата, что он лентяй!»

<sup>1</sup> Вероятно, в публикации опечатка: 10.

Любопытно, какое впечатление произвела на дворян мысль, высказанная на выборах князем. Он передавал это с некоторым сожалением. Мысль состояла в том: так как с преобразованием в суде и земском устройстве прежнее сословное разделение должно уничтожиться, то и дворянство не должно теперь иметь особенных, дворянских интересов, отличных от крестьян и остальных сословий. А потому и в собраниях дворянских должны принимать участие все сословия. Многие очень недовольны этим, т. е. многие дворяне. Странно! А долго ли еще будут эти многие надувать губы по-барски, когда лучшие люди из их же среды уже громко говорят об этом. [...]

## 22. И. В. ЕВРОПЕЙЦЕВУ

20 декабря 1863 г.

[...] Когда Вы, Ив[ан] Васильев[ич], будете совершать службу на рождестве, вспомните, что и я стою в церкви и вас всех вспоминаю. В последнее время я стал усердно ходить в церковь, и я сейчас объясню Вам причину. Мне надо было писать сочинение по истории средневековой литературы, и я выбрал для этого сочинение одного епископа французск[ого] Дюрана\* «Rational des divins offices», что в простом переводе значит — толкование божественных служб XIII века. Книга эта состоит из пяти томов и излагает толкование всего богослужебного католического обихода средних веков. Несмотря на то что XIII век был временем полного развития могущества пап и сам автор близко стоял к папскому престолу, прежде чем стать епископом, в книге его еще не чувствуется того печального раскола, который уже был в полной силе между восточной и западной церквами. Может, это происходило оттого, что Дюран спокойно без прений хотел истолковать свой предмет и не заводил намеренно речи о несогласиях в христ[ианском] мире. Вот для изучения этой книги мне и понадобилось бывать в нашей церкви, чтобы присмотреться к нашему богослужению и сравнить его с толкованиями средневекового епископа. Хотя сочинение уже окончено, но изучение книги продолжаю я и теперь, потому что она сообщает чрезвычайно важные исторические факты.

Сообщаю Вам новость из нашего университетского мира: Соловьев начал читать публичные лекции по Европе после Наполеоновской империи. Доселе прочитал он до того времени, как Наполеон стал первым консулом. Его

характеристика Наполеона не лишена некоторых оригинальных черт. Он смотрит на него как на богатыря, вызванного бурями революции. Он, говорит Соловьев, преемник Франции, так как родился в Корсике. Сам Наполеон смотрел на себя как на героя вроде Македонского. Соловьев сообщил интересный разговор Наполеона с одним министром, когда уже был он императором. «Да, я поздно пришел», — сказал Наполеон. Министр изумился. «Я поздно пришел. Александр Македонский мог назвать себя сыном Бога, и вся Азия ему поверила: только мать его Олимпиада, да Аристотель, его учитель, да несколько афинских умников (философов) знали, что это ложь. А я — назови я себя сыном Бога — последняя пуассарка меня освищет. Да, я поздно пришел. Народы Европы слишком просвещены, и с ними не сделаешь ничего великого!» Такой человек-богатырь сознавал бессилие своей энергии против цивилизации Европы; он смешной санкюлот (по-нашему голоштаный). А племянник лезет на переделку мира! Нас, филологов двух последних курсов, Соловьев пускает даром! Как ясно и просто излагает он, можно видеть из того, что на прошлую лекцию я проводил одну знакомую, не знавшую истории прошлого столетия, знавшую только самые общеизвестные факты о Наполеоне, и по окончании она сказала мне, что все понятно ей и она все запомнила из читанного. [...]

1864 г.

23. [А. М. БОРОДИНОЙ]

23 июня [1864 г.]

Пишу к Вам. В каком бы настроении ни застало Вас мое письмо — все равно; я буду писать, что взбредет на ум. Рассказать ли Вам как поверенной историю моей души за прошлую неделю, или пофилософствовать о том о сем, или<sup>1</sup> того и другого понемножку? Лучше последнее.

Я начинаю, как добродушная Татьяна у Пушкина. Вы не смотрите на такое торжественное начало: оно не помешает мне помучить Вас всевозможным хламом. Слушайте же Вы, поверенная души моей, что случилось с моей бедной головой. Будьте терпеливы в новом<sup>2</sup> звании — поверенной.

<sup>1</sup> Далее зачеркнуто: и за.

<sup>2</sup> Над зачеркнутым: своим.

Во-перв[ых], ничего не случилось. После дождя я пришел к Вашим, здесь со мной произошло одно из тех превращений, которых ни одному смертному не миновать. В наших головах крепко сидит старое, закоренелое заблуждение, будто мы видим перемены в вещах только тогда, когда вещи переменяются. Совсем не так, и правду говорят на этот раз философы, что эти перемены только в нас, в наших глазах или ушах, а вещи остаются те же. Это<sup>1</sup> и случилось со мной. Притом — пусто что-то. Как будто «огни погашены, гирлянды сняты со стены». Фортепьяно стало выше, будто вытянулось. А ведь не оно вытянулось, а моя голова принизилась, придавленная чувством запустения. Вы улетели, мой тихий гений, и стало нам пусто и скучно.

Вот Вам и рассказ с философским объяснением. «Какие нежности!» — сказала бы Н[адежда] М[ихайловна]\*. Что делать? Я уж известная мягкая тряпка. А Н[адежда] М[ихайловна] была по-прежнему: сердилась, отвечала<sup>2</sup> на мои комплименты: «Ну ж, пожалуйста, кому другому, а не мне» — и смеялась своим неслышным, внутрь уходящим смехом.

Кстати, расскажу о своем новом рыцарском подвиге. Вы знаете, рыцарские подвиги совершаются рыцарями для их владычицы, по их воле. Так и я удостоился совершить такой подвиг для своей владычицы. На другой день заходил на минуту М. И. К.\* Надежда М[ихайловна] была в большой досаде, что он не принес 3-й части «Марева»\*, и после, обратясь ко мне, тихонько, под рукой и глядя в землю, сказала: «В[асилий] О[сипович]! Принесите мне 3-ю часть „Марева“». Я ответил спокойным «хорошо», которое ясно говорило, что просьба исполнится чрез полгода. Но если б кто знал, что делалось в моей рыцарской душе! На другой день, не чрез полгода, а чрез полсутка книга с шумом влетела в окно, а податель продолжал мерным шагом свое дальнейшее шествие: он шел самоуверенно и гордо, ибо совершил свое дело, исполнил волю повелительницы. Да, я рыцарь, хоть и чумазого пера. А теперь нет моей повелительницы: она ушла дня на два.

И вот этот рыцарь сидит целый день с затворенными ставнями, не зная, что делать с собой от тоски и жару. Пошел в Сокольники, и там вместо одного блага — жара — попал разом на три — жар, пыль и людей. Боже, сколько

<sup>1</sup> Над зачеркнутым: то же.

<sup>2</sup> Над зачеркнутым: говори[ла].

людей! И все повелительницы! В каждой аллее, куда ни загляни, все сидят они одни или с рыцарями. Богородица! Унеси из этого рыцарского, пыльного приюта—и я, одинокий, странств[ующий] рыцарь чумаз[ого] пера, побрел к вечеру обратно к своему спасу—Н.

Получил письмо из Р.\*—очень милое и обязательное. Наконец-то отвел душу. Вот и вся моя внеш[няя] история за прошлую неделю. Во внутреннем же мире души моей не[т]<sup>1</sup>... ничего, кроме скорби и тоски,—и вот опять слышу над ухом, словно удар молота, резкие слова Н[адежды] М[ихайловны]: «Какие нежности!»

А Вы-то, Вы-то что ж, мой «благодатный гений» (слова Гете)? Какие думы теснятся<sup>2</sup> в Вашей голове? Ходите ли Вы в полуд[енный] жар блуждать между деревьев и, отмахиваясь от комаров, сидите<sup>3</sup> ли под вечер<sup>4</sup> на мосту, следя задумчивыми глазами за медленным<sup>5</sup> движением последних теней дня, между тем как певучее население леса спешит закончить свои дневные песни и заботы? Видите, как поэтически силюсь я представить Вас<sup>6</sup> в Вашем лесном жилище. Скоро ли я увижу Вас? Хотелось бы, а предложить поездку кому-нибудь из Ваших еще не решаюсь; вот, скажут, как скоро соскучился. Напишите хоть строчку, хоть обругайте, если можно! До свиданья.

23 июня.

#### 24. [А. М. БОРОДИНОЙ]

29 июня—1 июля [1864 г.]

Я не исполнил Вашей просьбы, мой друг, не принялся за письмо в субботу, а пишу теперь, в понедельник, меж тем как в ограде Петра и Павла шумит и вертится ребячий базар. Мы возвратились, разумеется, без приключений, выпив дорогой от жару довольно меда и пива. Ваша дорога, действительно, короче, но такая пыльная, открытая. Я хотел любоваться видом открывающейся Москвы и особенно мигающей на солнце главой спаса—поэтическое чувство у меня запросилось было наружу. Куда тут! Наши головы повисли, ноги едва двигались—не до видов и пейзажей!

<sup>1</sup> Далее одно слово не разобрано.

<sup>2</sup> Над зачеркнутым: волнуют.

<sup>3</sup> Над зачеркнутым: или.

<sup>4</sup> Далее зачеркнуто: сидите.

<sup>5</sup> Над зачеркнутым: переходами.

<sup>6</sup> Над зачеркнутым: среди.

А слово свое я исполнил: как только Вы скрылись, я стал и объявил решительно, что не пойду, не объевшись земляники. Мы вышли из лесу через час. У Ваших домывали полы; мы пришли к чаю и передали что нужно. Я сказал, что Вы удвоились от толстоты. Н[адежда] М[ихайловна] острила, смеялась, капризничала. Рассказывала о своей прогулке в Химки—словом, была весела, как редко бываем мы с Вами. Я остался дочитывать «Марево» до всенощной. Веселое расположение моей повелительницы сообщилось и ее покорному слуге: хорошо быть около здорового человека в хорошую минуту, хотя и чувствуешь, что далеко стоишь от него и не все в нем понимаешь. Нам с Вами не смеяться таким смехом, каким смеются такие люди.

Я воротился домой опять без аппетита. Почему-то мне хотелось не спать эту ночь, и я прибегнул к помощи лиссабонского—не помогло, хоть я и просидел за полночь. Я имел причины на это: мне хотелось повертеть в голове приключения прошедших суток. Ну вот, думал я, еще одно из эфемерных (т. е. на несколько часов) знакомств—и всему виной эта Никсочка\*! Я уверен, что Е. Г., вспомнив о нас, не помянет добрым словом этого растрепанного рыболова с красным носом—если только вспомнит... Я старался припомнить и осмотреть все наши похождения: сколько смеха и сколько копеечного горя. Но были две минуты—одна долгая и вместе короткая, драматическая, другая очень короткая, но глубоко комическая. О первой Вам нечего говорить: помните нашу прогулку в глубь рощи, эта минута продолжалась поутру. Видите, как я нескромен. Другая была, когда Е. Г. накрыла нас на берегу; это было высококомическое положение<sup>1</sup>, когда я напрасно старался оправдаться, нагнувшись над св[оим] окуном, и она повела нас за собой, как баранов за рога.

Дама сердца сделала мне любезность, просила прийти на другой день, на время всенощной, от скуки. Я пришел, и мы гадали на какой-то любовной книжке А. Сумарокова, в стихах. Я загадал, не равнодушна ли Н[адежда] М[ихайловна] к В. Я. П.,—и вышло великолепно. Она загадала и обо мне; вышло, что я целую даже тропинки, по которым шла моя возлюбленная. Загадали и об Е[лизавете] М[ихайловне]\*—и диво, вышло что-то вроде того, что она благоразумием рассудка побеждает увлечения сердца. Долго смеялись и острили друг над другом.

<sup>1</sup> Над зачеркнутым: движение.

С[ергей] М[ихайлович]\* вернулся от всенощной и объявил, что был В. Я. П. с двумя господами, он<sup>1</sup> приводил их показывать А. С.\*, и они, говорил С[ергей] М[ихайлович], нарочно прошли мимо нее, смотря на нее почти в упор. Я постарался изъяснить неудовольствие на такую смелость, но Н[адежда] М[ихайловна] сказала: «Не беспокойтесь, ей приятно это». Я внутренне согласился с этим замечанием. В самом деле, А. С. может по праву и, разумеется, самодовольно петь кольцовскую «Что он ходит за мной, что он ищет меня?»\* Рыцарственная тройка была и у меня, но без меня.

Я не был в церкви, даже на праздник. Сегодня после обеда пошел нарочно и, нашедши под окном<sup>2</sup> Н[адежду] М[ихайловну], объявил, что войду в ограду кутить с мальчишками. Н[адежда] М[ихайловна] увещевала меня не срамиться и наконец пригрозила пустить в меня чем-то, если я не уберусь домой. Но я не послушался и прошел чрез ограду в надежде встретить С[ергея] М[ихайловича] и подурачиться<sup>3</sup> с ними; не тут-то было: где его отыскать среди сотен мелюзги, кишачей по траве. Окна у А. С. открыты все и уставлены цветами без цветов. Я постарался пройти как можно растрепаннее, как тоже празднующий.

Утром нашел в университете Ваше письмо. Добрый друг мой! Зачем хитрить и писать:  $\frac{\text{ВЫ}}{\text{Т}}$ ? Так бы и звали: Ты; это лучше идет к Вашей прямоте. А я вот не могу так: слишком церемонен. Меня недаром считают хитрым, хотя Вы<sup>4</sup> с большей справедливостью и называете<sup>5</sup> просто трусом. Вы как-то заметили мимоходом, что нельзя верить тому, что я пишу. Вы отчасти имели право сказать это. В самом деле, на бумаге я выражаюсь свободно и готов написать патетическую и — заметьте — искреннюю тираду Вам, моему доброму гению; а с глазу на глаз<sup>6</sup>, когда Вы так доверчиво и просто склоняете ко мне свою голову<sup>7</sup>, я стою как пень, у меня и руки опускаются, и я боюсь сделать лишнее движение. Это коренная черта и верный признак труса.

Видите, до чего дописалась моя бумажная смелость — опять до «нелепостей».

29 июня.

<sup>1</sup> Над зачеркнутым: кото[рых].

<sup>2</sup> Над зачеркнутым неразобранн<sup>ым</sup> словом.

<sup>3</sup> Над зачеркнутым неразобранн<sup>ым</sup> словом.

<sup>4</sup> Далее зачеркнуто: гораздо.

<sup>5</sup> Далее зачеркнуто: меня.

<sup>6</sup> Над зачеркнутым: при Вас.

<sup>7</sup> Над зачеркнутым: миленьк[ую].

Благодаря моей лени у меня невольно выходит что-то вроде дневника. Вместо того чтобы послать вышенаписанное тотчас же, я собрался это сделать через день и теперь считаю нужным приписать хоть что-нибудь — именно рассказать об одном случае<sup>1</sup>, происшедшем вчера в моем душевном мире, выражаясь высоким слогом. Смешно сказать, что случилось. После обеда вдруг мне стало прозаически скучно — и отчего? Оттого, что послышалось на улице: «Садова клубника». Как будто не каждый день по сту раз слышу я это. «Вот каприз больной души», — скажете Вы. Но слушайте дальше. Этот крик напомнил мне почему-то август, осень; я как будто хватился за голову, опомнился. «Ведь лето проходит», — тоскливо думалось мне. Мне почему-то все кажется, что лето я должен прожить какой-то широкой, полной жизнью. В мае, когда я был занят<sup>2</sup> три четверти суток, меня так и тянуло вдаль «взглянуть на дальние поля, узнать, прекрасна ли земля»\*. А теперь, на досуге, мне не хочется<sup>3</sup> нос высунуть из комнаты. И вот накануне первого июля я будто вспохватился: какой-то мираж мелькнул перед глазами. «В поле, в лес», — зашевелилось в душе с тем томительно-элегическим чувством, которому подобное можно найти только в стихах Жуковского. Так моя прозаическая скука сама собой перешла в элегическую грусть. «Где ж найти, — думалось мне, — ту минуту, когда бы все силы души проснулись и натянулись<sup>4</sup> со всей силой; хоть бы раз испытать это напряжение и<sup>5</sup> прорвать<sup>6</sup>... упрямо-черствое, серое переживание дня за день». Но вот лучшее доказательство неспособности к такому полному ощущению: даже и этот нежданно налетевший элегический каприз<sup>7</sup> не мог удержаться долго и только оставил на весь вечер дрянную скуку, которую заметила даже Н[адежда] М[ихайловна]; точь-в-точь как фосфорная спичка, вспыхнув на минуту красивым огнем, оставляет после себя отвратительный запах.

«Ну уж случай, — подумаете Вы, — стоило рассказывать о такой дряни». Да что же мне рассказать Вам получше, когда ни в одном углу моего существа не нахожу я ничего, что бы имело праздничный, нарядный

<sup>1</sup> Далее зачеркнуто: который едва ли будет Вам интерес[ен].

<sup>2</sup> Далее зачеркнуто: больше.

<sup>3</sup> Далее зачеркнуто: и глаз казать.

<sup>4</sup> Далее зачеркнуты два неразобранных слова.

<sup>5</sup> Далее зачеркнуто: среди упрямо.

<sup>6</sup> Далее не разобрано одно слово: мне (?); или (?).

<sup>7</sup> Далее зачеркнуто: сменилс[я].

вид, когда одеяние души моей так же растрепано, как и внешнее одеяние?

Завтра у Вас праздник — веселитесь хорошенько, чтоб мне<sup>1</sup>... было весело.

1 июля.

25. [А. М. БОРОДИНОЙ]

13 июля [1864 г.]

13 июля.

Вы имеете полное право сердиться на меня, и даже больше, чем сердиться. В тот вечер, как Вы приехали, я изволил быть в дурном настроении духа, т. е. смотреть букой. «Фи! Как ломается человек», — сказали, вероятно, Вы с справедливой досадой. Я хотел оправдываться в этом письме, но, рассудив, погнал прочь все оправдания. Но за то я ведь и наказан, и, признаюсь, довольно тяжело: я хотел застать Вас на другой день, чтобы покаяться, а тут вдруг дождь; само небо стало за Вас. Я пришел чрез полчаса после Вашего ухода.

Но и не совсем справедливо было бы сказать, что мне захотелось поломаться. Скука переходит в тоску или в тупую злость, когда совершенно теряешь власть<sup>2</sup> над самим собой<sup>3</sup>. «Известное оправдание, — подумаете Вы. — Скука!» Но не забудьте, что я не хочу оправдываться, потому что наказанным нет нужды оправдываться. Нет, я хочу сделать кое-что другое. Нет ничего скучнее, как слушать жалобы на скуку, — и я вовсе не для того заговорил о скуке, чтобы доложить Вам, что вот и я-де скучаю и потому имею право делать грубости. Далеко не то: я хочу — знаете ли, что я хочу? Я хочу от скуки пофилософствовать о скуке и имею на это важные причины. Во-перв[ых], иначе мне<sup>4</sup> не о чем писать Вам. Я должен описывать Вам события моей внешней и внутренней жизни. Но около меня ничего важного не произошло, а мой внутренний мир представляет собою обширное серое поле, на котором ничего нет и на которое смотреть не хочется. Во-втор[ых], — но вторая причина так оригинальна, что нужно сделать маленькое отступление. Помните ли Вы Спинозу — того чудного философа, о котором

<sup>1</sup> Далее не разобраны два слова: в душе (?).

<sup>2</sup> Над зачеркнутым: самообладание].

<sup>3</sup> Далее зачеркнуто: Знаю, знаю, что Вы.

<sup>4</sup> Далее зачеркнуто: нечего.

мы как-то раз читали с Вами? Это был необыкновенный человек и великий философ: все человечество и прошедшее и настоящее не считает у себя таких людей даже десятками. Как-то даже<sup>1</sup> неловко представлять его в ряду людей: так непохож он был на нас, обыкновенных смертных; словом<sup>2</sup>, это был падший дух, посланный на землю<sup>3</sup> на покаяние. Воспоминание о высшем мире, где он прежде жил, постоянно тянуло его мысль куда-то высоко от земли, а сознание проступка спасло его от того гордого пренебрежения к бедному миру людей, которым часто щеголяют нездешние существа; примирение, полное примирение с землей и небом, с добром и злом, с радостью и горем— вот что проповедовал он людям. Постоянно подымаясь мыслью над землей, он достиг недостигаемой высоты и оттуда, с своего прекрасного высока, бесстрастным, но внимательным и полным примирения взглядом окинул вечно волнующийся и<sup>4</sup>... мир и провозгласил (жаль, что немногие могли расслышать его слова), что в мире действительно существует только одно божественное существо, а все остальное призрак— волны на море, мгновенно поднимающиеся и пропадающие без следа в вечном движении.

Так вот этот философ<sup>5</sup> предложил людям верное лекарство от страстей: хоть он был<sup>6</sup> чужой между своими, но знал, чем особенно болеют люди. Он сказал, что страсть, как бы ни была она сильна и дурна, не надо ни презирать, ни любить<sup>7</sup>, ни ненавидеть, а нужно понять и разобрать и тогда она исчезнет сама собой. Не подъехать ли и нам с такой же операцией к скуке, которая мучит нас не хуже всякой страсти? Не хватить ли ее философским ножом? Хоть это, по правде, и не совсем острый нож, но для такого тупого злодея, как скука, м[ожет] б[ыть], такой и надобен. Поэты, кажется, сравнивают скуку с змеей; а змею бесполезно резать на куски: лучше разбить ей голову обо что-нибудь тупое и жесткое. Итак, мы будем философски разбирать скуку. Чтобы остаться верными всем правилам философских рассуждений, мы начнем с определений, что такое скука, как она

<sup>1</sup> Над зачеркнутым: трудно даже.

<sup>2</sup> Над зачеркнутым неразобранным словом.

<sup>3</sup> Далее зачеркнуто: для.

<sup>4</sup> Далее не разобрано одно слово: движущийся (?).

<sup>5</sup> Далее зачеркнуто: сказал.

<sup>6</sup> Далее зачеркнуто: между людей, как.

<sup>7</sup> Над зачеркнутым: хвалить.

действует между людьми, и т. д. Это будет прелюбопытное рассуждение, и Вы сохраните его как памятник, как доказательство, что от скуки я едва не поглупел,—ибо кому в полном разуме придет на ум философствовать о скуке?

Итак, что такое скука? Скука, говорят, есть болезнь образованных людей: простые люди никогда не скучают. Сколько несообразностей? Во-перв[ых], скука—не болезнь: всякая болезнь<sup>1</sup> более или менее сильно занимает, тревожит душу и тело, напрягает<sup>2</sup> наши силы, а скука есть именно такое состояние, когда ничто тебя не занимает, когда ни одну струнку души натянуть не можешь, хоть бы и хотелось, когда все силы твоего существа находятся в полном ослаблении, хоть и нет усталости и<sup>3</sup> смутно ворочается<sup>4</sup> потребность что-нибудь делать<sup>5</sup>; это, конечно, от души, но тот тяжелый и скверный летний сон, когда заспишься, спишь выше меры, смутно слышишь все, что около тебя происходит, и, однако ж, не хочешь подняться. Довольны ли Вы моим определением, из которого и я сам не могу ничего понять. Но... да будет так; пойдемте же дальше. Скука есть болезнь образованных людей. Вот это уж из рук вон смешно! Образование, говорят, дает человеку ясный взгляд на вещи, на других и на себя, на свои отношения к ним, на обязанности, подним[ает] силы души и тела<sup>6</sup>, а скучающий<sup>7</sup> не знает, что и делать с собой: во всех уголках его души хоть шаром покати, все куда[-то] спряталось,—ни мыслей, ни стремлений, ни сил—ничего нет, хоть плюнь<sup>8</sup>. Нет, здесь что-нибудь да не так. Мой философский нож<sup>9</sup> оказывается слишком плох: только мнет, а не режет. Поищем, нет ли где еще указаний на скуку. А помните ли Вы, что отвечал у Пушкина Мефистофель Фаусту\*, этому несчастному доктору, который зараз уж слишком много хватил из чаши жизни<sup>10</sup>, так что ему все приелось? Фауст говорит: «Мне скучно, бес!» Мефистофель...

<sup>1</sup> *Далее зачеркнуто:* есть нечто такое.

<sup>2</sup> *Далее зачеркнуто:* все.

<sup>3</sup> *Далее зачеркнуто:* она в.

<sup>4</sup> *Далее зачеркнуто:* сознан[ие].

<sup>5</sup> *Далее зачеркнуто:* говоря о.

<sup>6</sup> *Далее зачеркнуто:* и т. д. и два неразобранных слова.

<sup>7</sup> *Далее зачеркнуто:* то и дело вздыхает да и одно неразобранное слово.

<sup>8</sup> *Над зачеркнутым:* так что и.

<sup>9</sup> *Над зачеркнутым:* поищем, что ли, где; итак.

<sup>10</sup> *Над зачеркнутым неразобранным словом.*

«О-го,—подумаете Вы,—куда хватил!» Да, от своей маленькой, минутной, можно сказать, скуки я<sup>1</sup> шагнул к колоссальной, мировой фаустовской скуке. Злой Мефистофель!<sup>2</sup> Как насмешливо и холодно отозвался<sup>3</sup> он об этой гигантской скуке доктора Фауста? Итак, мы прощаемся с своей маленькой скукой; она исчезает при созерцании<sup>4</sup> скучающего гиганта, который так сердито говорит:<sup>5</sup> «Мне скучно, бес!» А между тем, действительно, век просвещения вызвал много скучающих людей. В начале нашего века явился байроновский Чайльд Гарольд — тоже громадный образ разочарованного и скучающего. А тут и у нас<sup>6</sup> тоже пошли скучающие сильные характеры: Онегин, Алеко, Печорин, Демон и пр., и пр. Какая пропасть скучающих героев<sup>7</sup>! Все они — сильные, могучие характеры, по свидетельству<sup>8</sup> их авторов, каждый из<sup>9</sup> [них] готов сказать, как Печорин: «Я чувствую в себе силы необъятные», — а между тем сидит с своими необъятными силами да зевает во весь геройский рот. А все ли они были<sup>10</sup> цвет образования<sup>11</sup>, пресыщены<sup>12</sup> до тошноты, как Алеко? Нет, здесь что-нибудь да не то. А что же?

Я уверен, что Вы начнете терять терпение, дожидаясь, скоро ли кончу я эту глупую затею трактовать со скуки о скуке. Я уже кончил, мой друг! Это ничто, что кончил вопросом: когда-нибудь решим, когда<sup>13</sup> опять найдет минутный каприз трактовать от скуки. А теперь уж нет ее, этой<sup>14</sup> злодейки, и я впадаю в такой веселый лиризм, что простираю к<sup>15</sup> Вам свои грязные руки<sup>16</sup>, мысленно осыпаю<sup>17</sup> Вас поцелуями<sup>18</sup> и чуть не с плясом говорю: «Нет, мы не будем скучать, пока есть в нас капля жизни!»

<sup>1</sup> Далее зачеркнуто: хватил.

<sup>2</sup> Далее зачеркнуты два неразобранных слова.

<sup>3</sup> Над зачеркнутым: встретил.

<sup>4</sup> Над зачеркнутым: перед таки[м] скучающим.

<sup>5</sup> Далее зачеркнуто: «Бес.

<sup>6</sup> Далее зачеркнуто: пошли.

<sup>7</sup> Над зачеркнутым: гигантов.

<sup>8</sup> Далее зачеркнуто: поэтов своих.

<sup>9</sup> Над зачеркнутым: все они.

<sup>10</sup> Далее зачеркнуто: люди.

<sup>11</sup> Далее зачеркнуто: по уши завязли (?) в цивилизации.

<sup>12</sup> Далее зачеркнуто: цивилизацией.

<sup>13</sup> Далее зачеркнуто: пр[идет].

<sup>14</sup> Далее зачеркнуто: скуч[и].

<sup>15</sup> Над зачеркнутым: готов послать.

<sup>16</sup> Далее зачеркнуто: готов.

<sup>17</sup> Над зачеркнутым: даю Вам м.

<sup>18</sup> Далее зачеркнуто: Ваши руки.

## 26. [А. М. БОРОДИНОЙ]

23 июля [1864 г.]

23 июля.

Я только что воротился из вояж де плезир<sup>1</sup>, предпринятого в Богородск,—воротился усталый, испеченный. Впрочем, это путешествие имело целью не один плезир: увы, плезир<sup>2</sup> досталось мне очень мало! Я имел лукавую<sup>3</sup> мысль исполнить тайное желание Н[адежды] М[ихайловны]—собрать сведения о К. и ими пощекотать ее уши. Я наконец совершенно делаюсь старой кумушкой, исполняющей сердечные поручения и подчас не чуждой желанья посплетничать. Я ничего не узнал, а уж сколько наплету!..

Всякие вояжи тем особенно хороши, что дают вояжеру отличный случай поболтать<sup>4</sup> о таких путевых впечатлениях, каких он и не испытал, а какие-н[ибудь] выдумал, где-нибудь прочитал, а от кого-н[ибудь] слышал. Но моя лень дает Вам лучшее ручательство, что я не решусь ни на то, ни на другое, ни на третье. Мне не хочется рассказывать и того, что было. Разве кое-что для потехи, но с условием—слушать терпеливо. Решившись ночевать в Б[огородске], я вздумал под вечер сходить в Сокольники повидаться с Г. Возвращаясь уже в сумерки, я предался размышлениям... Ведь могу же и я иметь свои размышления, как всякий барон имеет свою фантазию. Из этих элегических размышлений я выведен был около одной дачи, разумеется, музыкой: м[аленький?] оркестр играл какую-то польку или мазурку, а может быть, и польку-мазурку—не знаю. В пьеске были и заунывные, и веселые, задушевные нотки, но что сказывалось резче всего—это глубокое чувство меры. Каждый мотив, каждая задушевная нотка тянулась ни больше, ни меньше, как сколько следует, ни дразня, ни утомляя слуха, а<sup>5</sup> как-то мягко лаская его. Я думаю, такие именно ноты звучат в душе романти[ческого] любителя живых цветов, когда он вдруг появляется среди них с заранее приготовленной веселой бонтонной болтовней и ароматом от каждой нитки своего платья, оставляя в передней все свои закулисные дразги. Подойдя ближе, я увидел среди двора на усыпанной песком площадке несколько танцующих пар больших и

<sup>1</sup> приятное путешествие (фр.).

<sup>2</sup> Далее зачеркнуто: очень мало выпало.

<sup>3</sup> Над зачеркнутым: коварную.

<sup>4</sup> Далее зачеркнуто: даже.

<sup>5</sup> Над зачеркнутым: она.

маленьких, но больше маленьких. Они весело кружились по площадке одна за другой, и во всех их движениях (вероятно, и в глазах, если бы я мог разглядеть их глаза) сказывалось<sup>1</sup> то же чувство меры, которым была проникнута музыка. Кажется, здесь все можно было высчитать математически: столько-то золотников грации, столько-то золотников симпатии<sup>2</sup>, столько-то удали, столько-то<sup>3</sup> унций страстишки и т. д.

И т. д., и т. д. Когда я воротился, было уж совершенно темно. Весь Богородск пахнул сыростью; по улице неслись крики хоровода. Мы пошли слушать хороводные песни. Кружком стояло несколько десятков больших и малых обоего пола, и все тянули какую-то песню, из которой я разобрал: «Дома нету никого, полезай, сударь, в окно!» Но наше внимание привлекла след[ующая] сцена: среди этого кружка стояла взрослая, бледная дева с папиросой во рту, одетая по-городски с растрепанной прической, запустив обе руки в карманы черного бурнуса. Перед ней в кафтане с золотым воротничком и высоких сапогах рисовался парень, неистово выводя сильно охрипшим голосом ту же песню. Он не только пел, но и разыгрывал песню: то поправит шапку набок, то топнет ногой, то станет фертом, то положит обе руки на плечи своей прелестной визави, которая изредка отвечала ему некоторыми движениями. «Кукшина, Базелейт», — толкнул я своего приятеля. «Погоди, не торопись», — отвечал тот. Затянули «Плыла лебедь». Кружок тронулся и начал медленно двигаться вокруг, сцепясь рука с рукой. Одна пищала бог знает чем, другой басил тоже бог знает чем, третий просто орал на весь базар, и все это вливалось в ту невыразимую мелодию, которая могла бы взять за живое<sup>4</sup> и упоить подпившего молодца, но которая совершенно расстроит трезвый слух. Вдруг появляется в кругу<sup>5</sup> довольно пожилой, приземистый человек босиком, в пестрой рубахе и страшно тянет «Как по морю по Волынскому». Упомянутый парень с Кукшиной\* среди круга разыгрывал «лебедя со лебедушкой». Он же играл и сына Ивановича, Дуная в другой песне<sup>6</sup>; известный хороводный обиход, идущий от седой старины. Наконец запели плясую; из круга борзо вылетела какая-то тетка, руки в боки и

<sup>1</sup> Исправлено из слова: чувствовалось.

<sup>2</sup> Далее зачеркнуто: удали.

<sup>3</sup> Далее зачеркнуто: воз[деления].

<sup>4</sup> Над зачеркнутым: сердце.

<sup>5</sup> Далее зачеркнуто: старик.

<sup>6</sup> Далее зачеркнуто неразобранных слов пять.

пошла, и пошла; навстречу ей горничная в белом фартуке. «Эх, как<sup>1</sup> бы теперь гармошку», — закричал кто-то в толпе. Вот тут уж нет меры: тут кто в лес, кто по дрова и руками, и ногами, и горлом; что в ком есть, то и стараются и выкричать, и вытоптать ногами. Тут не вычислить математически ничего, ни граций, ни чувства, ни удали; тут все берут в охапку. Это отсутствие меры и числа может сильно понравиться, но, увы, только под нетрезвую руку. Вдруг является среди круга вышеупомянутый человек<sup>2</sup> в пестрой рубахе и босыми ногами начинает вытаптывать прелюбопытные штуки; всей компанией овладел необычайный восторг, мальчишки и девчонки заорали вслед за большими, и шапки полетели вверх со страшным «ура!». Этим все и кончилось. Мы потеряли из виду нашу Кукшину и ушли. Стояла тихая, темная, прохладная<sup>3</sup> ночь, обещавшая дождь. «Какую дрянь он мне рассказывает», — подумаете Вы. Что делать? Мой русский глаз ничего больше не мог заметить. Хоровод разошелся, но его песни и движения, казалось, еще носились в воздухе. Те же песни и движения исполняет вся русская земля в праздничные минуты, заканчивая<sup>4</sup> их трепак[ом] под игру гармошки. Что же другое можно мне заметить? Нужно очень тонкое чутье, чтобы в эти праздничные минуты заметить что-н[ибудь] больше трепака и возбуждаемых им чувств. О буднях не говорю. И так везде — снизу доверху; прочтите какой угодно русский роман или<sup>5</sup> повесть, там тоже мало меры, и в его речи звучит тот же мотив, который сказывается в стихах песни «Дома нету никого». Да, все вертится на этом мотиве, и трудно представить, какое широкое имеет он приложение на практике.

## 27. [А. М. БОРОДИНОЙ]

9 авг[уста].

9 августа [1864 г.]

Сейчас ходил<sup>6</sup> я в у[ниверситет] и пишу.

Вы, может быть, уже знаете, в какой тревоге обретаемся мы благодаря чьим-то стараниям поджечь дом Сарач[ева]. По рассказам обитателей, несколько попыток не удавалось, но вчера загорелся было сарай на том дворе, но пожарные затушили скоро. Ваши были, конеч-

<sup>1</sup> Над зачеркнутым: вот.

<sup>2</sup> Над зачеркнутым: старик.

<sup>3</sup> Над зачеркнутым: спокойн[ая].

<sup>4</sup> Далее зачеркнуто: веселое и два неразобранных слова.

<sup>5</sup> Над зачеркнутым: и.

<sup>6</sup> Над зачеркнутым: получил.

но, в испуге, особенно, кажется, Е[лизавета] М[ихайловна]. «Точно в Польше»\*, — сказала А[лександра] М[ихайловна]\*, сидя на выдвинутом<sup>1</sup> сундуке. Вчера же все важные<sup>2</sup> вещи отправили в безопасное место и успокоились. Вечером Н[адежда] М[ихайловна] страшно хохотала после испуга, и мы долго ночью гуляли по двору, караулили. За фортепьяно мы все поклялись крепко стоять, я — рад даже голову сложить<sup>3</sup>. Итак, будьте покойны.

Теперь посчитаемся. Я только что прочитал Ваше письмо. За начало я не стану Вас благодарить: я прочитал его раза три и еще не раз буду перечитывать<sup>4</sup>. Но — выражусь с досады несколько витиевато — зачем в мелодию, полную звуков бетховенской сонаты, вводить звуки, составляющие с ней странный, неприятный диссонанс? Помните ли Вы ту строчку в письме, вдоль листа? Она так и перерезала хорошие поперечные строки. Она спрашивает<sup>5</sup>, стоите ли Вы того названия, которое я Вам дал. А[нна] М[ихайловна]! Во всяких сколько-нибудь близких отношениях есть вещи совершенно решенные, хотя никто никогда не решал их: они сами решились и доказали себя тем, что явились и сознаются обеими сторонами, проще — и мной и Вами. Стоите ли Вы и пр.? Неужто Вы хотите, чтоб это было Вам доказано? И так это решено: для устранения диссонанса я принимаю Ваш вызов за да и для себя и для Вас.

Я давно не писал и каюсь, искренно каюсь. А расскажу Вам курьезный случай. Вчера во сне на меня страшно нападала собака. Спрашиваю Ал[ександру] М[ихайловну], что это значит. «Друг». — «Что такое друг?» — спрашиваю я. «Друг, друг, — отвечает она с улыбкой. — Кто-нибудь Вас поминает и желает с Вами видеться». «Ну, — подумал я, — знаю, кто это», — и, боясь, чтобы не догадались, понес какую-то околесицу. А сегодня и сон в руку! Пишу это для того, чтобы Вы, читая, так же весело засмеялись, как смеюсь я теперь.

Еще Вам новость: В. Я. П. был у меня два раза и оба раза объявил желание идти со мной к Вашим<sup>6</sup>. С Н[адеждой] М[ихайловной] они опять говорили — о чем? Разумеется, о романтизме, о любви и проч. Она сама

<sup>1</sup> Над зачеркнутым: узле.

<sup>2</sup> Над зачеркнутым: нуж[ные] вещь[и].

<sup>3</sup> Далее зачеркнуто: по выражению пап.

<sup>4</sup> Далее зачеркнуто: это.

<sup>5</sup> Над зачеркнутым: гласит.

<sup>6</sup> Далее зачеркнуто: и мы ход[или].

сказывала, что едва не проговорила ему о несчастных «Котах».

Вы пишете о тоске и великолепных ночах: опять диссонанс! А я хотел было писать Вам, что от этих великолепных ночей нет покою. Ну<sup>1</sup> зачем эта седая<sup>2</sup> молчаливая бабушка ходит всю ночь такими неслышными шагами и так внимательным глазом заглядывает<sup>3</sup> во все углы и окна, что ей за дело до этих углов и окон? Я сердит на нее: она не дает ни спать, ни дело делать, все манит вон из дому. Вы, впрочем, не дивитесь этому неудовольствию: людям несколько мечтательным, как я, не нравятся эти ясные<sup>4</sup> ночи; все так резко выступает на этом<sup>5</sup> холодном трезвом<sup>6</sup> свете, что нет<sup>7</sup> простора фантазии<sup>8</sup>; подобным мне людям всё были<sup>9</sup> эти сумрачные, душистые майские или июньские ночи<sup>10</sup>, а я их так жалко проспал или прозевал<sup>11</sup>.

Чем же мне разогнать Вашу тоску? Как-то я обещал Вам сообщить свои наблюдения<sup>12</sup>, впечатления, вынесенные из созерцания А. С. Займет ли это Вас? Предмет такой знакомый, да с тех пор я уж не видел ее, и мне придется припоминать; горячий след остыл. Но мне хочется написать Вам побольше о чем бы<sup>13</sup> то ни было, и я рад всякому подвернувшемуся под руку предмету. Перекрестясь, приступлю к сему делу трудному и великому.

Позвольте, не бьется ли сердце? Об этом не мешает справиться предварительно: ведь у многих билось и может биться не только сердце, но и все брэнное существо при одной мысли, а я принимаю дерзкую роль описателя. Нет, спокойно,—и рука не дрожит, можно пуститься. Она села на том месте, где часто сидел я около Вас, в углу, у двери в другую комнату; против нее спиной ко мне сидела Н[адежда] М[ихайловна], и мне из-за ее плеч можно было видеть ее лицо, но так, что в случае нужды легко<sup>14</sup> было и

<sup>1</sup> Далее зачеркнуто: что за дело этой.

<sup>2</sup> Далее зачеркнуто: холодная.

<sup>3</sup> Над зачеркнутым: посматривает.

<sup>4</sup> Над зачеркнутым: светлые, трезвые.

<sup>5</sup> Над зачеркнутым: облито таким.

<sup>6</sup> Далее зачеркнуто: серебристом.

<sup>7</sup> Далее зачеркнуто: [не] дают.

<sup>8</sup> Далее зачеркнуто: вот бы.

<sup>9</sup> Далее зачеркнуто: туман.

<sup>10</sup> Далее зачеркнуто: которые.

<sup>11</sup> Далее зачеркнуто: за книгой.

<sup>12</sup> Наверху зачеркнуто: замечания.

<sup>13</sup> Над зачеркнутым: и я рад.

<sup>14</sup> Над зачеркнутым: можно.

отвернуться. Я<sup>1</sup> дал вид, что внимательно рассматриваю дом визави, а меж тем исподтишка поглядывал куда следует. Она была, по-видимому, уверена в безопасности с моей стороны и, бросив на меня несколько беглых, недоверчивых взглядов, мало-помалу увлеклась разговором с Н[адеждой] М[ихайловной], веденным не громко и не тихо. Я его не слушал, не тем был занят. «Ну,— думаю,— она теперь забыла обо мне, а перед таким знакомым человеком, как Н[адежда] М[ихайловна], притворяться не станет». Я начал приглядываться<sup>2</sup>; сначала я ничего не заметил, даже смигнул, словно перед глазами моими мелькнула какая-то пестрая вещь, расписанная самыми яркими красками<sup>3</sup>. Обглядевшись, я стал всматриваться понемногу в это полное, красивое разгоревшееся лицо; меня так и обдало веянием здоровья. «Экая сила!»— шевельнулось в голове. В самом деле, сила сказывалась прежде всего на этом полном круглом лице—такая сила, что сама обладательница не могла с ней сладить; все на нем двигалось как-то само собой, даже не слушаясь ее воли, с какой-то удалью<sup>4</sup>, еще не испытавшей себя, не знающей себе меры. Ну, думаю, это растение выросло дома, не в поле, не на ветрах. Помните ли Вы рассказ Кохановской «После обеда в гостях»\*, который мы с Вами читали зимой? Помните ли ту незабвенную болтуню<sup>5</sup> Любовь Архиповну, которая так наивно рассказывает о своей шаловливой, беззаботной, девической<sup>6</sup> жизни? Я уверен, что такую именно удалой силой дышало ее лицо. Хоть еще долго А. С. жить, чтобы дожить до Любви Архиповны, но почему[-то] мне вспомнилась она при рассматривании лица А. С. Нельзя сказать, чтобы ему, этому лицу, и «скалы и тайные мели, и бури ему нипочем»\*, но оно не знает этих скал и бурь. Да, это растение росло в домашнем, спокойном, но в запущенном саду, на всей воле и просторе, без всякого вмешательства человеческого искусства (т. е. педагогики), как указала мать-природа. Но красивость, здоровье—дело известное, всякий видит это сразу: что ни дальше. Всмотр[иваюсь] дальше. Мне нет нужды описывать Вам черты лица: Вы их припомните. Впрочем, припомните ли? Н[адежда] М[ихайловна] как-то раз с своей обычной резкостью и

<sup>1</sup> *Над строкой*: оперся руками на.

<sup>2</sup> *Над зачеркнутым*: всматриваться.

<sup>3</sup> *Далее зачеркнуто*: Потом.

<sup>4</sup> *Далее зачеркнуто одно слово*: сваливало (?).

<sup>5</sup> *Над зачеркнутым*: старушку.

<sup>6</sup> *Над зачеркнутым*: молодости.

меткостью выразилась об А. С., что пока видишь ее, кажется, хорошо ее знаешь, а ушла она, и<sup>1</sup> не вспомнишь ни одной черты, как будто она незнакома. В самом деле, каждое лицо врезывается<sup>2</sup> в память какой-нибудь одной выдающейся чертой, одной какой-ниб[удь] особенностью, в которой мы стараемся уловить его характер; по этой черте, по этой особенности мы и припоминаем все остальные черты и особенности. И вот я с напряжением вглядываюсь, стараясь поймать эту черточку,— нет, не дается; глаз скользит, как по отполированной металлической поверхности, не останавливаясь ни на одной точке. Все черты, все движения как-то равны, одинаковы, и между тем на этой ровной поверхности идет какая-то странная игра, от которой рябит в глазах. Небольшие— сравнительно с лицом<sup>3</sup>— глаза так прытко бегают, выражение так быстро меняется; только начнешь ждать, что глаза<sup>4</sup> раскроются и остановятся на Н[адежде] М[ихайловне], брови поднимутся и лицо осветится добродушной, веселой улыбкой,— глядишь, нет, а уж свет пропал, какая-то тень подернула его и опять слетела, и еще несколько таких<sup>5</sup> переливов прошло, прежде чем глаз<sup>6</sup> успел мигнуть<sup>7</sup>. Эта поминутная<sup>8</sup> игра смешивает наблюдателя и не дает ему ни на чем остановиться. В ясный солнечный день при ветре смотрите на гладкое место, покрытое тенями деревьев: зашелестит ветер, и странно заиграют тени листьев и ветвей по гладкой<sup>9</sup> поверхности, оставляя на ней постоянно меняющиеся полосы света. Глазу приятна эта игра света и тени. Такая же игра происходила и предо мной, но на человек[еском] лице она действует неприятно. «Подвижная физиономия»,— подумаете Вы, и удивитесь: у А. С. подвижная физиономия! Совсем нет: подвижная физиономия глубоко волнуется, уж если говорить сравнениями; а это<sup>10</sup> какая-то зыбь, не выносящая ничего из глубины, подобная той, которой покрывается зеркало в вод, когда мгновенно набегают на

<sup>1</sup> Далее зачеркнуто: позабуд[ешь].

<sup>2</sup> Далее зачеркнуто: нам.

<sup>3</sup> Над строкой зачеркнуто: светл[ые].

<sup>4</sup> Далее зачеркнуто: широко.

<sup>5</sup> Далее зачеркнуто: изм[енений].

<sup>6</sup> Над зачеркнутым: один ми[г].

<sup>7</sup> Далее зачеркнуто: глазом.

<sup>8</sup> Над зачеркнутым: странная.

<sup>9</sup> Над строкой: освещенной.

<sup>10</sup> Далее зачеркнуто: похожа на что-то.

него легкий порыв ветерка<sup>1</sup>. Попробуйте остановить<sup>2</sup> здесь внимание на какой-нибудь одной маленькой волне, попробуйте разобрать порядок и строй в этой ряби; ничего не разберете, это не то что мирно поднимающиеся и падающие волны моря, заключу я опять сравнением, увы, не моим<sup>3</sup>, избитым поэтами всех времен и народов!

28. И. В. и Е. Ф. ЕВРОПЕЙЦЕВЫМ

12 августа 1864 г.

Москва, 12 авг[уста] 1864.

Любезные Иван Васильевич и тетушка!

Здоровы ли вы все? Вы уменьшите долю взыскания, которая следует с меня за то, что пишу спустя 1½ мес[яца] после вашего письма,— уменьшите во внимание к той скуке и тоске, в которой я провел нынешнее лето. Лето ведь уже проходит; под окнами то и дело кричат: «Сливы, яблоки, садо-вишенье!» Это такой же верный признак близкой осени, как и стаи журавлей, стремящихся на теплые воды. Я часто порывался писать, но на другой день вставал часов в 11 и уверял себя, что до почты не успеешь. И зато сколько вопросов готов я теперь задать вам: как прошел ваш храмовой праздник, потом 2 августа? Как прошла ярмарка? Как прошло у вас лето? И все прошло! Одно только идет еще: именно ходите ли за орехами? Дядюшка А[лександр] Ф[едорович] непременно ходит. Он великий мастер рвать орехи! Далее, вопросы. Были ли цветы в присаднике? Были ли огурцы в огороде? Течет ли в нем еще Шелаховка\* и ставят ли Польш с Михаэлисом мельницы на ней? И т. д., и т. д.

Благодарю вас за известия, к сожалению краткие, которые вы написали в прошлом письме. Вы пишете, что Лиза была у вас летом и жаловалась, что я не пишу. Но я и не мог и теперь не могу писать, потому что не найду того письма, в котором вы обозначили ее адрес, а в памяти он не удержался. Я бы хотел написать; вы передайте ей от меня поклон и скажите это, если будете ей писать или увидите. В следующем вашем письме я

<sup>1</sup> Далее зачеркнуто: Разберите и над ним одно неразобранное слово.

<sup>2</sup> Над зачеркнутым: сосредоточ[ить].

<sup>3</sup> Далее зачеркнуто: а столько раз.

прошу вас написать и о том, по какому адресу посылать ей письма. Как она поживает?

Я должен опять повторить к вам просьбу—напишите что-нибудь о саранских\*. Я знаю, что неисполнение этой просьбы зависит не всегда от вас: саранские мало и редко пишут, а потому и вы о них часто не имеете сведений. Я же совершенно ничего не знаю и вообразить не могу, как они поживают. Евфим Петр[ович], думаю, и сердиться на меня перестал с тетушкой\*. А как бы хотелось узнать что-нибудь о Сашеньке! Я думаю, она теперь значительно изменилась: три года не безделица. Есть ли у ней дети? Если есть, напишите: я подниму голову и скажу в раздумье: «Да, и я уж дядя!» А может, я давным-давно уж дядя. Не знаю, ибо о Евлампии Евф[имовне] и Алексее Евф[имовиче]\* также ничего не знаю.

Потом, потрудитесь написать—вместо того, чтобы писать о себе, я все прошу вас писать о мамаше, бабеньке: здоровы ли они? Попросите мамашу приписать строки две\*: уж сколько времени она ничего не писала. Вообще, как вы провели лето—напишите.

Теперь о Поле. Я ему не пишу прямо: пусть он еще раз почувствует, что не хорошо гулять месяц и ни разу мне не писать. Это говорю я по собств[енному] опыту, ибо сам гуляю вот уже третий месяц и не писал до сих пор и живо чувствую, как это нехорошо. Что же он делает на свободе? Созерцает летнее небо и позабывает, как всякий небо созерцающий, что ему следовало бы отписать мне обо всем. Как досадно! Я не писал ему к именинам именно потому, что было досадно. Теперь август—поэтическая пора лучших праздников—преображенья, успенья, Ивана постного,—лучших потому, что они вакационные, а время семинарское и теперь еще подчас так живо чувствуешь, будто еще только-только простился с ним. Во-перв[ых], всего лучше было бы в это поэтическое время его—положим—не поэтической руке изобразить свое состояние духа, а во-вт[орых], мимоходом написать, в котором он классе, как идут его семинарские отметки и как шествуют его собственные занятия, ибо, думаю, он этих вещей не смешивает. Какие учителя у них и учат как и чему? А я тогда написал бы ему свои мнения о том о сем, свои воспоминания, какие пойдут к делу, и все бы пошло как следует. Да и о Михаэлисе написал бы, что он и как; ведь это его дело. Одним словом, я готов разжурить Поля. Но собственно для него напишу новость. Так как он еще пребывает в обаянии риторики, то она не будет ему безынтересна. Российская словесность, она же и ритори-

ка, как известно, самый безалаберный предмет, некая куча навозная, где ни порядка, ни строя не имеется. И это не в семинарской одной словесности, но и во всех; в гимназии она — прибежище для учительской и ученической болтовни о разных художественностях, гениальностях, поэтичностях и прочих высших взглядах, не имея, однако ж, того достоинства семинарской, чтобы выучить писать без ошибок грамматических и орфографических. Теперь вышла программа, которая определяет, что должен знать по словесности учащийся в среднем учебн[ом] заведении, следов[ательно], и семинарии. По ней теперь экзаменуются для поступления в университет. Начало этой программы, которым она руководствовалась, правило ее: *non multa, sed multum* — знать не многое, но о немногом знать много, попросту немного, да хорошо. Программу эту давно составлял, я знаю, добрый Ф. И. Буслаев с некоторыми учителями здешних гимназий. Во-перв[ых], риторики, словесности, пиитики, всех этих учений о родах и видах произведений, всех этих теорий нет в программе, а есть только история литературы и то лишь главнейших писателей, да и из них требуется изучить какое-нибудь одно произведение, а из одного произведения, если оно большое, напр[имер] «Илиада», «Мертвые души», надо изучить хорошенько одну какую угодно часть, так чтобы в состоянии быть основательно разобрать ее. Общие рассуждения нужны только настолько, насколько требует его разбираемое место — не более. В семинарии нет истории русской литературы: теперь эта обширная quasi-наука сокращена так, что и семинарист может один одолеть ее. Вместо перечисления всех произведений русской словесности в программе стоят только след[ующие] писатели и произведения: былины и духовные стихи, Нестор, «Слово о полку Игореве», «Домострой» Сильвестра, Котошихин, Ломоносов, Державин, Карамзин, Крылов, Фонвизин, Пушкин, Гоголь — и все. Из каждого надо изучить одно или несколько произведений, причем указано и то, что писано об авторе, откуда можно узнать о нем нужное. Из иностранной литературы — только то, что переведено на русский язык. Поль может достать программу эту и в Пензе из любопытства, а пожалуй, и для руководства. Там узнает и то, что требуется по русской грамматике и церковнославянскому языку.

Но подобно древнему Катону, который, о чем бы ни говорил, всегда оканчивал речь роковыми словами «Caete-

rum censeo Carthaginem esse delendam»<sup>1</sup>, и я повторяю Полю, что лат[инский] и гр[еческий] языки не должны никогда выходить из круга его занятий. И он ничего об этом не хочет писать, сколько раз я ни задираю его! Кстати, занимается ли он новыми языками? Вот если бы выучился он по-немецки, я прислал бы ему для философии отличную немецкую психологию—маленькую книжечку («Neue Seelenlehre»), написанную просто и увлекательно, но излагающую учение о душе по системе знаменитого немецкого философа Бенеке. Читаешь ее, как занимательную повесть: ни глубокомысленных рассуждений, ни философского языка, а между тем не хуже какой угодно глубокой психологии разобраны и объяснены все явления душевной жизни. Итак, Поль должен избавить меня от досады на его упорное молчание.

У нас ждётся новость: 15 авг[уста] будет примерное сражение и маневры в присутствии императора, чего, говорят, с Николая уже не бывало. Но я не пойду смотреть: народу будет тьма, и мне с слепыми глазами ничего не удастся видеть, если бы и пошел.

Пишите; Вы, тетушка, также давно не писали сами, а как бы хорошо было. Да чтобы карточку-то! Я здоров и отсыпаюсь в ожидании открытия лекций. Кланяйтесь от меня всем, бабеньке, Ал[ександру] Фед[оро]вичу (просите и его написать), мамаше; Катюру и Михаэлиса несчетно раз! Прощайте до скорого письма!

Ваш В. Ключевский.

Передайте приложенное письмо дядюшке Н[иколаю] Ф[едоровичу]. Настя\* здравствует ли?

## 29. П. И. ЕВРОПЕЙЦЕВУ

[Ранее 28 октября 1864 г.]

Любезный Поль!

Признаться ли? Если бы на конце твоего письма не стояло твоего имени, я мог бы усомниться, ты ли писал это письмо. Не то чтобы там встретил я противное тому, что ты прежде говорил, но ты с такой догматической смелостью определил свой взгляд на некоторые предметы образования. И я не присутствовал при процессе этого определения, ты не соизволил посвятить меня в тайны той

<sup>1</sup> «Кроме того, я считаю, что Карфаген должен быть разрушен» (лат.).

работы, которой<sup>1</sup> сложила и определила в тебе эти взгляды! Что делать? Ты не захотел, молча делал свое дело, и я могу только посетовать на твою скрытность.

Но, во всяком случае, благодарю за письмо: столько приятных новостей принесло мне оно! Ты порядочно читаешь по-французски, готовишь себя для ест[ественных] наук и—само собой уже разумеется—не пренебрегаешь и математикой, без которой немислимо естествознание. Итак, ты, питомец теологии и философии, не презрел этих мирских, грешных наук! Похвально оказывать покровительство несправедливо гонимым! Притом не везде же гонимы они, эти грешные науки. Там, за стенами теологии они высоко подняли свое знамя, и смотри, сколько бойцов стоит под этим знаменем. Вся поднебесная оглашается кликом их славы. Я—абсолютный невежда в этих науках—даже я слышал имена и Гумбольдта, и Агассиса, и Дарвина, и др. Но главное—«ты ищешь не мертвого, парализующего образования, но такого, которое поддерживало бы внутреннюю жизнь души человеческой» и проч. И я после этого не понимаю, зачем бы тебе «с таким направлением стоять на воздухе и болтать ногами». Знаю, мало пищи дает семинария; но смотри, какая масса книг переведена и переводится на русский—все по естеств[енным] наукам, а для математики не нужно много книг: голова—лучшая книга для вычислений. Но... «в пылу философского восторга я,—пишешь ты,—забываю, что у меня под ногами нет почти ничего», т. е. нет реального образования. Вот в чем дело!.. Дальше, ты говоришь, что больше обрадовался бы, если бы я сказал что-нибудь в пользу новых языков, и прибавляешь: «Но древние языки—к чему мы тратим столько времени на них? Лат[инский] хоть в медицине и ест[ественной] истор[ии] пригодится... но греческий?» Позволь мне развить твою мысль по правилам хри[стианских] сравнениями, уподоблениями и примерами и прибавить несколько *pars pathetica*, т. е. чувствований души по этому поводу. В самом деле, почему? Для медицины и ест[ественной] ист[ории] нужно немножечко латинского, так, пустяки, несколько названий, а тут за ним сидят, сидят!.. И как досадно, что не только духовная школа, но и все европ[ейское] человечество тратило, тратит и, кажется, еще думает тратить столько дорогого времени за какими-нибудь Гомером, Фукидидом, Цицероном, Горацием *et caetera*<sup>2</sup>! И что это

<sup>1</sup> Так в рукописи.

<sup>2</sup> и так далее (лат.).

за злая ἀνάγκη<sup>1</sup>, что за неумолимая εἰμαρμένη<sup>2</sup>, что за адское fatum<sup>3</sup>, что новоевроп[ейское], христианское человечество с тех пор, как только стало помнить себя, сидит за этими язычниками и доселе не может отрешиться от грустного предрассудка, что уму-разуму надо учиться у этих чуждых нам людей и преимущественно черпать его из греч[еской] и лат[инской] грамматик!

Итак, напрасно считал я этот вопрос порешенным, напрасно вопил катоновским «Carthaginem esse delendam»<sup>4</sup>. Итак, я был βοῦ βοῶντος ἐν τῇ ἐρήμῳ!<sup>5</sup>

Между приведенными отрывочными замечаниями твоего письма я нашел такую связь: ты ищешь живого образования; живое образование есть образование реальное, именно такое образование дает естествознание, преимущественно по кр[айней] мере; для такого образования нет большой нужды в древних языках, гораздо важнее языки новые; не нужно для него и философской премудрости, ибо одна эта премудрость заставляет только болтать ногами на воздухе. Правильно ли восстановил я порядок твоих мыслей, скажи сам.

Прекрасно и это искание живого образования и прочной реальности знания, прекрасно и это недоверие к одним философским эволюциям и желание посредством знания новых языков стать участником современного умственного движения, совершающегося, увы, у других народов и от которого к нам летят одни щепки. Но, любезный Поль, выслушай, что я тебе скажу. Мне кажется, в основании твоего ряда мыслей лежит кое-что неясное; все неясное должно быть устранено, и я прошу преклонить твое ухо к моему ряду мыслей; может, кое-что станет для нас яснее.

Во-перв[ых], что такое мертвое образование, которого ты отвращаешься с похвальным негодованием? Есть ли это известные знания, навсегда осужденные на мертвенность, или что другое? Поразмислим о сем. Напрасно ищу я такого знания, которое абсолютно во всякой голове ложилось бы мертвым куском. То, что лежит таким куском в одной голове, смотришь—прекрасно растет и приносит самые свежие плоды в другой голове. Примечайка хорошенько! Не повторяется ли с нашим знанием та же история, какая случилась с семенами притчи Христовой?

<sup>1</sup> необходимость (греч.).

<sup>2</sup> роковая судьба (греч.).

<sup>3</sup> неотвратимая судьба, рок (лат.).

<sup>4</sup> «Карфаген должен быть разрушен» (лат.).

<sup>5</sup> гласом вопиющего в пустыне (греч.).

Одинаковые семена были вынесены на ниву, но одно упало на камень или в глухую трущобу, а другое на хорошую землю, и от этой разницы, т. е. от разницы в свойствах почвы, а не семени, произошло то, что одно семя стало мертвым, а другое выросло. Имеющий уши слышать да слышит! Семя—это знание; разные виды почвы—это разные мозги человеческие. Вот тебе толкование притчи, сделанное по строгим правилам герменевтики. Перенести точку зрения: знание, если оно уж знание, а не призрак или обман, не может быть мертвым; но оно может попасть в голову, не могущую принять и вырастить его. А эта печальная история может случиться со всякой головой, даже превосходной головой. Почва, по которой превосходно растет ячмень или рожь под 60° или 65° сев[ерной] шир[оты], конечно, хорошая почва, но не сей на ней нежных злаков юга, ибо пропадет твое семя, умрет в этой все-таки хорошей почве, «умрет и не воскреснет». Итак, переместись на солнце своей мыслью и там увидишь, что земля вертится; когда стоишь на земле, необходимо должно все прочее вертеться—у тебя в глазах. Мертвенность образования происходит не от тех или других знаний, усвояемых нами, а от способа усвоения, от свойства усвояющей головы. Мертво то, что лишено способности движения, развития; знание есть деятельность или продукт деятельности ума; если эта деятельность, направившись на известный предмет, ничего с ним не сделала, если он вошел в голову мертвой массой, то он так и остался мертвой массой, но не сделался знанием, и не потому не сделался им, что мертв по своей природе—таких предметов не имеется в области познаваемого,—а потому, что пришелся не по силам и свойствам познающей деятельности.

Я не стал бы пускаться в эти философствования, которых ты не любишь, если бы они не имели тесной связи с тем взглядом на твои занятия, который я хочу высказать тебе. Ты по опыту знаешь, чем отличается молодой ум, т. е. ум в молодости: он необыкновенно легко и крепко запоминает; говорят, в детстве и молодости свежа память. Пользуясь этим, детей и заставляют усваивать то, что требует только памяти,—заставляют многое учить наизусть, занимают их новыми языками и т. д.<sup>1</sup> Это время живой восприимчивости; с

<sup>1</sup> Далее зачеркнуто: Но самое тревожное, самое щекотливое дело в воспитании—пробуждение и развитие мыслящей деятельности. Как пробудить в этом запоминающем, пассивном уме потребность отчета, правильного размышления о том, что вошло в голову извне, потребность

усиленной энергией действуют тогда воспринимающие, пассивные силы души, подчиняющие ее внешнему действ[ию] мира,—внешние чувства, память, воображение, сердце. Тогда особенно живется и думается по непосредственному впечатлению, безотчетно. Эти силы постоянно стесняют своим влиянием свободную деятельность<sup>1</sup> ума. Отсюда и этот детский каприз, детское упрямство. Как<sup>2</sup> освободить молодую душу от этих внешних влияний, с такой силой<sup>3</sup> подсказывающих ей<sup>4</sup> решения помимо ума, как заставить ее действовать иногда одним умом? Вот для этой цели предлагают молодой голове математику. Она уединяет<sup>5</sup> нас<sup>6</sup> от всего ост[ального] мира, сосредоточивая внимание исключ[ительно] в пределах ума; здесь ум становится глаз на глаз с самим собою. При мат[ематических] вычислениях можно<sup>7</sup>, а иногда даже нужно не только забывать все, что видел, слышал и т. д., но и отрешаться от остальн[ых] способностей души; при реш[ении]<sup>8</sup> мат[ематических] задач молчит твоя<sup>9</sup> любовь и ненависть, тебе не подсказывает<sup>10</sup> никакое постор[оннее] соображение, никакой авторитет, ты не думаешь, что так следует сделать потому-то и потому-то, а просто говоришь: так надо, и только. В матем[атике] все отвлеченности; с отвлеченностей начинаются ее первые строки: что такое число, единица, пять, как не чистые отвлеченности.

(Что такое за выражение « $8+2=10$ », как не выражение того же закона, который требует признать, что 10 есть 10, и только, что эта вещь есть эта вещь и ничего

добираться до причин и угадывать следствия. Для этой цели предлагают ему математику. Математика не дает ничего реального, но она заставляет мысль идти по строгим правилам здравого рассудка, заставляет выводиться из данного только то, что выходит из него,—ни более, ни менее. В ней все—отвлеченность; с отвлеченностей начинаются ее первые строки: что такое число, единица, как не чистые отвлеченности? Арифметические или алгебраические вычисления становятся ум глаз на глаз с его природными законами и требованиями, отрешая от остальных способностей, которые изменяют иногда действие этих чистых законов, и, уединив так[им] обр[азом] ум сам в себя, заставляют его уяснить эти законы и по ним вести свою деятельность.

<sup>1</sup> Далее зачеркнуто: рассудка.

<sup>2</sup> Далее зачеркнуто: обуздать это.

<sup>3</sup> Далее зачеркнуто: действ[ующих].

<sup>4</sup> Над зачеркнутым: ему.

<sup>5</sup> Далее зачеркнуто: тоже.

<sup>6</sup> Далее зачеркнуто: в пределах нам.

<sup>7</sup> В рукописи ошибочно: нужно.

<sup>8</sup> Над зачеркнутым: решая.

<sup>9</sup> Над зачеркнутым: не чувствуешь ни.

<sup>10</sup> Над зачеркнутым: поможет.

более,— закона, который логика окрестила именем «законна тождества». А вот эта алгебр[аическая] формула « $a - (-b) = a + b$ » даже немислима, нелепа на практике, а между тем она есть выражение того же строгого закона ума.) Вот почему математика кажется сухой для детского ума: кто весь находится под влиянием внешних впечатлений, тому скучно и тяжело уединяться в своей голове и иметь дело, так сказать, с беспредметными представлениями и понятиями.

Но нельзя ограничиться одними беспредметными представлениями. Мы живем среди предметов внешних, случайных для нас, которые мы волей-неволей должны понять и узнать,— и вот тут-то начинается более скользкая дорога для нашего ума. В математике сложение поверяется вычитанием, а вычитание — сложением; в познании внешнего мира мы не отыскивали еще таких способов поверки; здесь, сбившись с прямого пути рассуждения, можно дойти до конца и не заметить заблуждения<sup>1</sup>.

### 30. П. И. ЕВРОПЕЙЦЕВУ

28 октября [1864 г.]

[...] Ты заявляешь, что классические языки, мертвые языки, «слишком высоко поставлены в нашем образовании». Предоставляя тебе самому судить, хорошо ли делать нападки на мертвых, я спрошу: где они слишком высоко поставлены в нашем образовании? Кто это ставил их так? Что гимназистов заставляют знать склонения и спряжения по Кюнеровой грамматике — неужели это значит поставить древние языки слишком высоко? Неужели выучиться ошупью идти (по указке учителя) по какому-нибудь Саллюстию или Корн[елию] Непоту — значит потратить много времени и много сил, как ты выражаешься? Зачем клеветать на русское образование, что оно заставляет тратить много времени и сил на древние языки? Эта клевета была бы отличным комплиментом ему, но, к сожалению, она — клевета, этого нет на самом деле. «Жаль, что нет Чернышевского, — восклицаешь ты, — вот человек!» Вероятно, ты не договорил, что вот этот человек задал бы этим несносным мертвым языкам, отнимающим у нас столько времени и сил. Ну, задал бы,

<sup>1</sup> Далее зачеркнуто: Мир наших логических понятий — довольно светлый мир, издали можно заметить, где придется стукнуться лбом, и заранее поворотить на прямую дорогу. Мир внешний — потемки.

поразил бы: что же из этого? Много ли чести бить лежачих! Вот если бы он заговорил об этом в Германии или Англии, там это имело бы смысл: там действительно теряют на них много времени, но не сил, а, напротив, приобретают от них громадные силы, делающие возможными такие явления в науке, как братья Гумбольдты, братья Гриммы, Лессинги, Фихте и проч., и проч. Как это умеют они делать—не нам с тобой допытаться. А на нашей бедной ниве просвещения—позволь выразиться несколько по-семинарски—поднимут вопрос о том, что-де если в учебной программе порядочные педагоги приняли ставить древние языки, то не мешало бы и нам подучить греческие и латинские грамматики—только этого и потребуют, не больше,—а глядишь, там уж в «Современнике» или «Русском слове» подняли страшный гвалт, зачем томить молодые, свежие силы над пустяками! Чернышевский—талантливая голова, ловкое перо, но если он говорил когда-нибудь печатно против древних языков в духе «Русского слова» или Антоновича, то будущий историк русской цивилизации, покрыв полным забвением и «Русское слово», и Антоновича с другими теперешними подвижниками «Современника», не отнесется с сочувствием к выходке Чернышевского, которого, разумеется, не пройдет молчанием. [...]

1866 г.

31. И. В. ЕВРОПЕЙЦЕВУ

20 апреля 1866 г.

20 апр[еля] 1866.

Любезный Иоанн Васильевич!

Известия, сообщенные Вами мне в полученном мною сегодня поутру письме, прибили и принизили меня. На днях Маршев, встретясь со мной, сказал: «Что у Вас там случилось?» «Что?»—спрашиваю я его. «Да, говорят, тетка, мать...» Вы знаете, Иван Васильевич, из моего последнего письма, к каким ожиданиям я был настроен, но намек<sup>1</sup> Маршева на тетушку показался мне до того нелеп, что я ничему не поверил и замаял речь. Может быть<sup>2</sup>, утешал я себя, чаша эта по милости божией мимо

<sup>1</sup> Над зачеркнутым: слова.

<sup>2</sup> Далее зачеркнуто: думал.

идет нас. Я ждал известия от Вас, а между тем до сего дня боялся зайти в университет, обходил его, чтобы не наткнуться на письмо. Сегодня<sup>1</sup>, когда я взял письмо<sup>2</sup> и увидел на нем черную печать, в сердце стукнула темная мысль: «Все кончено! Бедная матушка!» Но я никак не думал, что горе, которого я ожидал, только половина горя, о котором возвестило мне Ваше письмо. Две потери зараз — и какие потери! Теперь, когда я пишу к Вам<sup>3</sup>, когда я немного одумался и опомнился от тупого забвения<sup>4</sup>, давившего меня весь день, я чувствую<sup>5</sup> два едкие<sup>6</sup> ощущения, которые никак не соединяются в одно. К известию о матушке я был уже немного подготовлен: я спрашивал о<sup>7</sup> болезни, которой она страдала, и получал ответы, не позволявшие много надеяться. Но дорогая моя тетушка? Мог ли я<sup>8</sup> предполагать что-нибудь подобное? Когда я прочитал первые строки второй половины Вашего письма<sup>9</sup>, где Вы<sup>10</sup> после спокойного напоминания<sup>11</sup> уже известных мне событий прошлого года вдруг<sup>12</sup> переходите к известию о<sup>13</sup> тетушке, мне показалось, что Вы не пишете, а плачете: таким горьким горем проникнуты эти первые строки и так неожиданно и горько переданное ими известие, что, признаюсь Вам, я почти равнодушно прочитал далее о матушке<sup>14</sup>; это последнее<sup>15</sup> после первого показалось мне<sup>16</sup> по как[ой]-то странной логике очень простым и естественным. Теперь, читая и перечитывая вторую страницу Вашего письма, я с тупым упорством стараюсь решить<sup>17</sup>, какая потеря<sup>18</sup> тяжелее — та или эта. В<sup>19</sup> печали по матери говорит кровь: это тяжелая, долгая, глухая печаль; иного рода чувства<sup>20</sup> сказываются в печали

<sup>1</sup> Далее зачеркнуто: получив.

<sup>2</sup> Далее зачеркнуто: взглянув на.

<sup>3</sup> Далее зачеркнуто: по прошествии более по.

<sup>4</sup> Далее зачеркнуто: в каком.

<sup>5</sup> Далее зачеркнуто: что.

<sup>6</sup> Далее зачеркнуто: чувства.

<sup>7</sup> Далее зачеркнуто: ее.

<sup>8</sup> Далее зачеркнуто: предпо[ложить].

<sup>9</sup> Далее зачеркнуто: полагая.

<sup>10</sup> Далее зачеркнуто: вдруг.

<sup>11</sup> Далее зачеркнуто: преж[де].

<sup>12</sup> Далее зачеркнуто: перех[одите].

<sup>13</sup> Далее зачеркнуто: смерти.

<sup>14</sup> Далее зачеркнуто: в этом.

<sup>15</sup> Далее зачеркнуто: я уже почему-то был.

<sup>16</sup> Далее зачеркнуто: почему-то.

<sup>17</sup> Далее зачеркнуто: что.

<sup>18</sup> Далее зачеркнуто: хуже.

<sup>19</sup> Далее зачеркнуто: горе.

<sup>20</sup> Первоначально было: чувствами.

о тетушке. Мне грех забыть, чем была она для нас всех, для меня<sup>1</sup> в особенности, хотя, может быть, по недостатку нравственной<sup>2</sup> силы я не всегда ценил это<sup>3</sup> надлежащим образом<sup>4</sup>. Теперь я живо припоминаю<sup>5</sup> весну перед отъездом моим в Москву<sup>6</sup>, мою болезнь,—припоминаю, как она<sup>7</sup>, моя дорогая тетушка, с опасностью для себя заботилась обо мне, как накануне отъезда ночью долго беседовала со мной, там, в зале, у зеркала<sup>8</sup>, давала советы, просила писать по крайней мере раз в неделю, как плакала при прощанье, хотя сама едва встала с постели,—все это я живо вспоминаю теперь и<sup>9</sup> горько сознаю, что<sup>10</sup> все это по той же слабости нравственного чувства, развлекаемый ежедневными мелочами, я забывал<sup>11</sup>. Теперь я тщательно пересмотрел все уцелевшие письма, где есть ее приписочки, перечитал их: столько нежного, материнского чувства ко мне в этих немногих, наскоро написанных строчках! Я думаю, и Вам теперь дорога каждая строка ее: вот одна из ее приписок в Вашем письме от 20 марта 1863 года.

«Милый В. О.! Примите и от меня поздравление с наступающим светлым праздником, желаю в радости проводить оный; благодарю Вас за поздравление и заботливость о моем здоровье, теперь, слава Богу, здорова, чего и Вам желаю<sup>12</sup>. Как бы желательно повидаться с Вами; и во сне редко вижу. Прощайте. С любовью к Вам остаюсь Е[вдокия] Е[вропейцева].»

Я всматриваюсь на карточке в ее доброе лицо, немного постаревшее в сравнении с тем, как я<sup>13</sup> знал его в Пензе, и едим, болезненно сжимающим чувством поднимается во мне раскаяние. «Теперь посудите,—пишете Вы в заключение,—в каком я нахожусь положении». Хотя смутно, но я понимаю Ваше<sup>14</sup> душевное состояние, сравнивая его с своим: я<sup>15</sup> чувствую тяжесть этих невознагражденных по-

<sup>1</sup> Над зачеркнутым: всех, для меня, дл[я].

<sup>2</sup> Далее зачеркнуто: [нравствен]ного чувства.

<sup>3</sup> Далее зачеркнуто: в.

<sup>4</sup> Над строкой: степени.

<sup>5</sup> Далее зачеркнуто: лето.

<sup>6</sup> Далее зачеркнуто: свою.

<sup>7</sup> Далее зачеркнуто: с опас[ностью].

<sup>8</sup> Далее зачеркнуто: просила.

<sup>9</sup> Далее зачеркнуто: все знаю.

<sup>10</sup> Далее зачеркнуто: не сделал.

<sup>11</sup> Далее зачеркнуто: и не сделал половины того.

<sup>12</sup> Далее зачеркнуто: желательно.

<sup>13</sup> Далее зачеркнуто: видел.

<sup>14</sup> Далее зачеркнуто: поло[жение].

<sup>15</sup> Далее зачеркнуто: сам.

терь, хотя<sup>1</sup>, вероятно, далеко не в такой степени, как Вы; но для Вас<sup>2</sup> воспоминания о наших милых, недавно покинувших нас, не<sup>3</sup> соединяются с упреками совести<sup>4</sup>, как для меня, и в этом мое горькое преимущество пред Вами. Вот что принижает меня нравственно, ослабляет во мне доверие к моим собственным нравственным силам: самым дорогим для меня людям я не воздал должного при их жизни. За матушку я буду отвечать Богу; мой неисполненный долг<sup>5</sup> к тетушке лучше всего высказать Вам. Я как теперь вижу ее накануне моего отъезда в Москву: с любовью, которая может равняться только материнской любви, она давала мне советы, высказывала свои желанья, говорила долго; ее советы я слишком часто забывал, то, о чем она просила, я едва исполнил и вполовину. Вот что внушает мне плохое доверие к своему нравственному чувству. За это я и наказан нравственно: мне не пришлось бросить прощального комка земли в их могилы...

Итак, родственный круг наш редет, гнездо разоряется, судьба сурово разбрасывает нас далеко друг от друга, но чаще всего препровождает в ближнее вечное селение, к женам-мироносицам; здесь, вокруг дедушки, понемногу один за другим<sup>6</sup> ложатся его чада и внуки, заводится новое гнездо,—спокойное, непробудное до дня оногo. И мне страшно сравнивать число отошедших в ту семью<sup>7</sup> на моей памяти с числом оставшихся здесь, с бабушкой: я боюсь прийти к слишком грустному итогу.

Может быть, любезный Иван Васильевич, при Вашем теперешнем<sup>8</sup> тяжелом положении не совсем уместна моя печальная болтовня, но для меня это единственное средство освободиться от тягостного чувства одиночества, которое особенно болезненно<sup>9</sup> жмет после Вашего письма. Вы будете снисходительны к моему<sup>10</sup> теперешнему многословию.

<sup>1</sup> Далее зачеркнуто: далеко, может быть.

<sup>2</sup> Далее зачеркнуто: горесть.

<sup>3</sup> Над строкой зачеркнуто: усилива[ются].

<sup>4</sup> Над зачеркнутым: чувств[ом] раскаяния.

<sup>5</sup> Далее зачеркнуто: пер[ед].

<sup>6</sup> Далее зачеркнуто: собираются.

<sup>7</sup> Далее зачеркнуто: вечной памяти.

<sup>8</sup> Далее зачеркнуто: печальном.

<sup>9</sup> Далее зачеркнуто: дало.

<sup>10</sup> Далее зачеркнуто: многословию.

1867 г.

32. П. П. ГВОЗДЕВУ

22 января 1867 г.

Москва, 22 янв[аря] 1867.

Любезный сват и кум!

Из глубины моего бессовестия пишу к тебе, *carissime Porphygi!* Следовало бы писать красными чернилами, чтобы наглядно представить цвет, который должен бы выступить на лице моем. Увы, и этого нет: лицо мое бело белизной Якова Петровича.

«Отчего же это?» — спросишь ты. Отчего!.. Я думаю, ты или кто-нибудь другой, имея обо мне лучшее мнение, чем следует, поговаривал: «Не заболел ли? Не пропал ли где-нибудь в чувашском овраге?» Нет, не пропал, но болел — и чем? Болезнью, против которой не найдешь ничего в аптеке, — бессовестием.

Впрочем, ты немножко извинишь меня, если войдешь в мое положение. Приехав, я едва успел обогреться, оттереть нос, как почувствовал, что неудержимая сила втягивает меня в колею, из которой я выступил на такое короткое и блаженное время. От[о]всюду протянулись пары рук, между которыми была не одна пара маленьких и очень недурных: подойди, подойди, кивали эти руки, и разом цап-царап! И понесли, и помчали — и, только отходя ко сну, иногда вспомнишь, что было, что надо сделать и чего не сделано. Ты ознакомился с моими эстетическими поползновениями, и, представь, в Большом театре идет такая сволочь, все по части Терпсихоры — и ни одной оперы. У кого и были голоса, верно, охрипли, и бедная Эвтерпа, оборванная и без юбки, стоит в уголку и горько рыдает; и я-то, ее записной поклонник, запиваю хмельническим свое горе. Проклятые Островский и Мольер свирепствуют на обоих театрах перед публикой, давно страдающей страстью саморугания. Вот, в эстетическом голоде твой повеса шляется по домам, где может перепасть в его уши один-другой заветный звук Бетховена или Мендельсона-Бартольди.

Вот тебе и объяснение беспутства, с которым я до сих пор не собрался писать тебе. О другом не говорю: там пыль, скука, сор.

Москва — как всегда: голова у задницы, а впереди живот да кулак. Как только приехал я, мне рассказали, что известный московский миллионер Хлудов с товарищи

побил немцев и немку в одном трактире. И ничего! Молодые адвокаты защитили так, что им проходу не давали после товарищи, тыча в глаза устарелыми вещами вроде совести, чести, уважения к общественному мнению и т[ому] п[одобным] сором. Потом рассказали мне, что замоскворецкие купцы решили поддерживать материально Аксакова и его «Москву»\*, а может быть, даже и вызвали его к издательской деятельности, к которой он, впрочем, до сих пор не обнаружил особенного таланта. Я, впрочем, не читаю «Москвы» и не могу ничего сказать о ней. Но вот скандал: вчера в университетской типографии узнал я, что «Москва» получила первое предостережение за то, что резко выразилась о высшем московском иерархе (зри в «Москве», если хочешь). Как, думаю, повернулись замоскворецкие желудки! Но ты не можешь себе представить того дыма, той чепухи, которой наполнилась наша атмосфера по случаю закрытия Петерб[ургского] земского собрания. Ведь мы — политики, мы — т. е. кружок камрадов, живущих в номерах одного дома: Катков всегда в руках у нас за чаем\* в 6 часов вечера. Вот поспорив, поговорив в этом маленьком кружке, я остался при мысли, что Петерб[ургское] собрание напакостило; почти все против меня, и только сегодня угомонились немного, прочитав передовую статью «Моск[овских] ведомостей»\*, где развиваются мысли, подобные вчера мною высказанным. Смотри, как мы сошлись с московским генералом от журналистики. Но зато — Боже мой! — что делается в Москве, как надулись петухи, как распустили хвосты родовитые павлины! Голов совсем не видно, одни нарядные перистые задницы. наших задели! Вот из-за чего дело, а не из чего-либо другого, не думай!

Будущее, закон, преуспевание родины — все это такие мерзлые идеи, которые портят зубы, — а вот «наших задели», «нас смазали по приличным физиономиям» — это понятно, и «Aux armes, citoyens!» А citoyens? Что сделают citoyens?<sup>1</sup>

Посмотрят да и скажут: «Баре!» А то и этого не скажут.

Все перемелется! Не подходи к конуре, когда там злая собака лежит; в этом храбрости немного, это лишь мальчишки делают. Таковы правила, которых держится теперь твой покорный слуга. Эта змеиная мудрость, соединенная с голубиной кротостью, теперь очень по

<sup>1</sup> «К оружию, граждане!» А граждане? Что сделают граждане? (фр.).

душе мне, ибо дает возможность оставаться спокойным среди либеральной эрекции, которую вызвало несчастное событие.

Читаешь ли «О народном представительстве» Чичерина? Прочти хоть не всю, всю прочесть — большой подвиг! Одно жаль: никому эта книга в настоящем случае глаз не колет, никто не черпает оттуда объяснения событий и правила для руководства; никто не хочет извлечь оттуда того результата, что есть писанные пряники сумеет всякий, но выучиться грамоте не всякому хочется, да и не легко.

Читай отчет о твоём поручении: достал я греческую книгу — диалоги Платона с немецкими комментариями; Виргилия Вагнера имею в виду; на днях один из товарищей, занимающийся древними языками, принесет мне список других классиков с примечаниями и комментариями, идущими к тебе; я положился на его библиографические знания и буду руководствоваться ими в выборе изданий. Достал еще по дешевым ценам Ксенофонов «Anabasis», к этому присоединяю Гомера Крузиуса, по которому сам учился, и лучшее издание Тацита — Вальтера, к сожалению, только один 2-й том — это в виде презента тебе. Все это ты должен обсудить и дать мне наискорейше отзыв. Что это давно я должен был послать тебе и не послал только по бессовестной медлительности — это вне всякого спора и сомнения. А книжонки моей до сих пор не достал\*: вчера только узнал, что назначенные мне экземпляры валяются где-то в университетской типографии. Надеюсь скоро выправить и постараюсь очистить закоптевшую свою совесть.

С. А. Парадизова жду все в Москву и чуть не каждый день справляюсь в университете, нет ли письма по городской почте, извещающего о его приезде. Засвидетельствуй ему, его супруге и бесценным тестю и теще мое глубокое почтение, если еще я не потерял на это права. А музыкантке\* — как хочешь, лучше нет, ибо нехорошо, хоть я ей обязан не одной доброй минутой из моего казанского пребывания. Пиши, ведь ты бываешь у них, не бранит ли Парадизов, что я как в воду канул, ни слова не писал почти два месяца. Пиши, впрочем, все, что в голову придет, и, пожалуйста, без всякой связи, так поразмашистей — вот как я теперь.

Ивану Петровичу\* свидетельствую почтение. Если увидишь<sup>1</sup> Ник[олая] Ив[ановича] Ильм[инского]\*, тоже передай и ему.

<sup>1</sup> Далее зачеркнуто одно неразобранный слово.

Черт знает, что я накатал тебе! Нашим—Керенскому\*, Загоскину и т. д.—по поклонюшу.

Прощай и забудь, что я ein grosser Schwein<sup>1</sup>. Жду письма.

Твой В. Ключев[ский].

Разумову теперь же пишу. Вот, чай, злится на мое свинство!

Р. С. Кажется, мне придется обратиться к тебе с просьбой о справке в одной рукописи. Не знаю, будет ли это удобно. Писать обещаюсь чаще.

33. П. П. ГВОЗДЕВУ

9 февраля 1867 г.

Милейший Порфирий!

Пишу тебе неожиданно по поводу дела, которого ты, конечно, предвидеть не мог. Пишу с стесненным сердцем, с тяжестью на душе, какую я испытывал только в самые тяжелые минуты жизни. Забудь на время все свои текущие интересы, очисти душу от ежедневных впечатлений, сделай ее белым листом, и тогда почувствуешь, сознаешь весь истинный смысл того, что я имею передать тебе. Перенесись мыслью в наш университет, припомни кое-что из говоренного тебе мною и внемли. Сол[овьев], Чич[ерин], Дмитр[иев], Кап[устин], Рачин[ский] и Бабс[т] подают в отставку, вследствие гадостей, сделанных им большинством совета, и—и—одобрения этих гадостей министром\*. Во главе этого гадкого большинства стоят ректор, Леонтьев, Юркевич и Любимов; это самые крупные подлецы. Затем о значении этого события суди на следующих основаниях. Большинство выходящих принадлежит юрид[ическому] факультету, и после них смотри, кто остается на этом и без того бедном профессорами факультете старейшего русского университета: дура ректор\*, совершенно тупой Никольский (проф[ессор] гражданского права), меньше чем недалекий Беляев\* да ни рыба ни мясо Мильгаузен (проф[ессор] финанс[ового] права). Филологич[еский] факультет—да нужно ли говорить, кого лишается филологический факультет? Проф[ессор] ботаники Рач[инский]—также один из самых любимых студентами. Я не передаю тебе подробностей: тяжело написать и то, что ты читаешь теперь на этом листке.

<sup>1</sup> большая свинья (нем.).

Напишу — не замедлю. Дело, вероятно, получит еще развитие.

Я уверен, ты закроешь своего Цицерона, прочитав вышенаписанные строки, и задумаешься на минуту. Что бы ни вывел ты в своем раздумье из совершившегося, ставь в конце концов грустный-прегрустный итог: старейший русский университет уподобляется оборванной вдовице, лишаясь лучших людей, державших светоч мысли и науки<sup>1</sup>; обращаясь к остающимся дымным ночникам, ты прибавишь: уподобился ободранной и блудной вдовице. Я не разумею здесь немногих порядочных людей, еще не уходящих, которые, впрочем, исчезают в массе.

Ты можешь поделиться сообщенным с теми немногими, которые поймут его значение: это не секрет, но нет причины разглашать всего этого тем, которые останутся к нему равнодушны или перетолкуют вкривь. Дело знают еще немногие; оно, собственно, исполнится завтра. Я только что вернулся из среды, откуда оно исходит. Жди подробностей. Упомянутыми шестью, вероятно, дело не ограничится. Бусл[аев] оказывается вертихвостом и наивным, каким был всегда.

Позволь мне заключить это письмо известной тебе аллегорией, только немного измененной и подкрашенной, которая, может быть, не идет к моему письму, но почему-то упорно держится в голове. На скудную, хотя и нетронутую ниву в пасмурный день вышли немногие избранные деятели, взбороздили ее и полили собственным потом, чтобы наутро посеять семена истины. Но исконный враг, не хотяя добра роду человеческому, рано, до зари, выслал на ту ниву толпу бездельников, которые бросили в свежие борозды семена плевел и начали самодовольно расхаживать по полю, плюя и сморкаясь на землю, политую не их потом. С рассветом пришли вчерашние делатели, но, встретив наглую толпу с бесцеремонными манерами, с грустью отвернулись. Что они — махнут ли рукой на потерянный труд или будут ждать лучших времен?..

Ты не заставишь меня прилагать толкование.

Твой В. Ключев[ский].

Москва, 9 февр[аля] 1867, 2 часа пополуночи.

Р. S. За письмо твое оч[ень] благодарен; надеюсь, оно будет образцом для следующих твоих писем. За мою готовность поделиться с тобою без отлагательства тем,

<sup>1</sup> Над зачеркнутым неразобранным словом.

что глубоко ложится на душу, ты не останешься у меня в долгу, конечно. Книжонку свою из типографии выправил и надеюсь скоро двинуть к вам с другими. Сегодня от Герье\* слышал об Осокине, приехавшем сюда для магистерского экзамена по всеобщей истории из Казани. Когда он спросил меня, что я узнал в Казани об этом человеке, я сказал, что ничего. Странный отзыв Герье о нем по беседам, которые первый имел с ним, хочу поверить его сочинением и достаю его «Савонаролу»\*. Прощай и поменьше хвали меня. Ответ на твое письмо после, когда на душе будет полегче. Кланяйся всем моим казанским друзьям и себе, во-первых.

Разумов доселе не отвечал еще.

34. П. П. ГВОЗДЕВУ

16 февраля 1867 г.

Москва, 16 фев[аля] 1867.

Vita mea!<sup>1</sup>

Сегодня поедут к тебе давно ожидаемые тобою книги. В состав вязанки, сшитой нежными ручками, входят:

1. Десять экземпляров моего недопеченного печенья\*. Раздай их по надписям и при этом держи речь на тему, что об ученических писаниях, как и о мертвых, aut bene aut nihil<sup>2</sup>, т. е. читать их не следует. Ненадписанную отдай Е. Разумову для кого-то.

Куплены мною у Кунта для тебя:

2. Цицерона два творения: «De natura deorum» и «Orator»; первое нахожу важным по содержанию, второе — по изяществу изложения.

3. Virgilia — «Энеида».

4. Плавта — «Captivi».

5. Горация — «Сатиры» и «Эпистолы».

Все эти стоят 5 р[ублей] 25 к[опеек].

Затем следуют книги, купленные в лавке дешевых книг совершенно случайно:

6. Платона — несколько диалогов, в трех томиках.

7. Ксенофонта — «Anabasis».

Эти два грека обошлись: первый — в 80 к[опеек], второй — в 75 коп[еек], оба — в 1 р[убль] 55 к[опеек].

Из своих посылаю тебе только

8. Фукидида — несколько начальных книг.

<sup>1</sup> Жизнь моя! (лат.)

<sup>2</sup> или хорошо, или ничего (лат.).

Гомера и Тацита не мог найти; куда-то завалились во время моего отсутствия. Найду — пришлю.

Обещанной мною «Синонимики» Дедерлейна нет ни у Кунта, ни у Дейбнера, главных здешних немецких книгопродавцев.

За комментарии поставлю авторитет здешних профессоров: они, т. е. Иванов и Пеховский, обыкновенно указывают на эти издания студентам. Особенно в этом отношении рекомендую Вагнера и Крюгера.

Ты не преминешь заявить, не опустил ли я какого-нибудь сочинения, которое тебе желалось бы иметь, а также доволен ли ты выбором присланных.

Книгу Квачевского посылаю по письму Парадизова. Нашел ее в пятой лавке; не знаю, почему она так мало распространена. Стоит 1 р[убль] 85 к[опеек], не знаю, такова ли объявленная цена.

На роже моей не прогневайся: карточки снять не успел.

Увольнение шести профессоров подняло шум в некоторых, даже во многих московских сферах. Баршева ругают, — а стоит ли? Вот Леонтьева с Юркевичем надо бы пробрать: ведь они — эссенция-то. Прочти, если попадет-ся, передовую статью в «Москов[ских] ведом[остях]» 11 февр[аля]\*; зная дело, ты поймешь заднюю мысль и намеки; что за подлость! От них самих — пока ничего. Сегодня — четверг; надеюсь узнать кое-что у Сол[овьева] любопытного; тебе сообщу в таком случае. Оптимисты надеются, что все уладится и шестеро воротятся; судя по их сдержанной твердости, по решительному и спокойному тону, — едва ли. Я этому мало верю, может быть, именно потому, что сильно желаю этого.

*Bene vale, oscule mi!*<sup>1</sup>

Кланяйся друзьям. Объясни мне, если можешь, молчание Е. Разумова. Ильминскому и Некрасову засвидетельствуй при передаче, что поручено. Ивану Петровичу — накрепчайше жми руку. Не забыл ли кому обещанного экземпляра?

Твой В. Ключ[евский].

P. S. Остальные твои деньги и книги пришлю по получении письма от тебя.

Рукой П. П. Гвоздева: Получено 1 марта.

Гвоздев.

<sup>1</sup> Прощай, свет очей моих! (лат.)

1868 г.

35. Н. И. МИЗЕРОВСКОМУ \*

25 февраля 1868 г.

Москва, 25 февраля 1868.

Любезнейший Николай Иванович!

Письмо твое от 14 июня 1867 передано мне братом на днях, и я спешу отвечать тебе, хотя оно писано год почти назад.

Вместе с письмом получил я и три карточки с изображениями тебя и твоей супруги. Тон твоего письма, дружеский размах чувств и пера, с которым оно писано, самый излишек карточек — все это слишком красноречиво говорит о той особенной логике души, которая руководит старым другом, логике, понятной и трогательной, хотя не похожей на ту, которую учил я сперва по скаредным запискам Абрама, а потом по сухим немецким учебникам. Эта логика так сильно действует, что я нарушаю свою привычку — не отвечать на письма скоро и пишу к тебе. Письмо твое, короткое и скупое на известия, многое напомнило мне, многое полузабытое подняло в душе и во многом укололо меня. Сильнее всего уколола твоя нелогичная дружеская логика: ни в чем не виноватый, ты несколько раз просишь у меня прощения. Я помню все просьбы, переданные тобою чрез сестру, чрез покойную мать, чтоб я написал тебе, — и ни одной до сих пор не исполнил: вот кто виноват, вот кому следует неоднократно просить прощения — мне!

Ко всему этому, к дружбе, оставшейся неизменной, к присылке письма и портретов, присоединилось еще то, что рассказал мне брат о последних днях жизни покойного Ивана Васильевича; ты был при последних его минутах и похоронил его. Когда приведет Бог мне увидеться с тобой, я крепко обниму тебя за все.

Ты просишь уведомить тебя о моем житье-бытье. Прости за откровенность: я не мастер и не охотник писать об этом, именно об этом. Постараюсь дать тебе понятие о своем житье чрез противоположение его твоему: кажется, это будет всего лучше. Ты служишь, и служишь давно; я уже почти три года как вышел из университета с кандидатской степенью и нигде не служу, не потому, чтобы не находил места, — мест много представлялось и представляется, а потому, что мне нравится не служить, я успел почувствовать прелесть нигде не служенья, если

можно так выразиться, и стараюсь продлить по возможности дольше это состояние, тем более что необходимости давящей еще не чувствуется, занятия, дающие деньги, есть, и их можно усиливать сколько угодно, было бы здоровье. Товарищи, кончившие со мною вместе университетский курс и ниже меня, давно уселись по местам, почти все переженились, при встречах со мною качают поучительно головой, прибавляя: «Пора, пора служить!» Я, с своей стороны, одобряю их совет и думаю про себя воспользоваться им как можно позже. Вот и ты определился, уселся, завелся спутницей (и по секрету, тебе одному на ухо скажу: «очень и очень милой»). А я по-прежнему остаюсь в разряде людей, о которых сказано: «Не имамы зде пребывающего града, но грядущего взыскуем»\*. Не подумай, пожалуйста, что я хвастаюсь, наряжаюсь в это равнодушие к оседлой степенной жизни; нет, я глубоко уважаю людей, которые успели осесться, стать людьми, и считаю странствующих артистов, подобных мне, полулюдьми. Но я скажу тебе причину, почему я, уважая оседлую жизнь, избегаю ее: уважая ее, людей, вступивших в нее, я ценю то мужество, силу души, характера, которые нужны для этого; избегая ее сам, я делаю это потому, что чувствую в себе недостаток этих свойств. Но ты знаешь, можно не только примириться с своими слабостями, можно даже полюбить их. И мне действительно нравится это сознание слабости, этой неспособности отвечать за двоих или даже больше, которая нужна человеку оседлому и которой, кажется, у меня нет от природы. Чувство одиночества не только не пугает меня, даже доставляет эгоистическое удовольствие. Вот тебе моя дружеская исповедь. Продолжаю начатое противоположение. Энергией веет от твоего лица. Когда я посмотрел на карточку, представляющую тебя с супругой, я подумал: «Да, на этого можно опереться, поддержит». Посмотри на мою теперешнюю фигуру, изображенную на прилагаемом при сем нерукотворенном, по твоему удачному выражению, образе; я тебя настоятельно прошу написать мне, что ты найдешь в этой фигуре, изменился ли я; но что бы ты ни нашел, ты не найдешь одного: силы воли, энергии или чего-нибудь подобного. Я продолжаю заниматься предметом, который я избрал трудом своей жизни, говоря высоким слогом, т. е. русской историей. Теперь я занимаюсь историей древнерусских монастырей\*, читаю жития русских святых в рукописях, которых так много в здешних библиотеках. Занятие это доставляет мне большое наслаждение:

оно укрепляет веру в русский народ, о котором так сильно сомневаются, выйдет ли из него что-нибудь путное. Мои напечатанные трудишки меня не удовлетворяют\*; тебе я послал бы их, да нахожу лучшим подождать, пока выйдет из моей головы что-нибудь более дельное. К этому направлены пока все мои планы о будущем; о карьере пока думаю мало: что бы ни было со мной впоследствии, как бы ни устроилась моя жизнь, я иногда молю Бога только о том, чтобы душевный мир, так часто возмущавшийся, не оставлял меня, дальше этого не простираются мои желания.

Два слова о Пензе. Ты знаешь, как она опустела для меня. Но меня утешает одно: когда мне придется взглянуть на ее родные мне стены, я буду знать, кого искать, с кем поговорить, и один из первых домов, куда постучусь я, будет дом на Дворянской, третий от угла.

Я надеюсь, дорогой Н[иколай] Ив[анович], что я скоро получу от тебя не ответ на мое настоящее письмо, а просто письмо. Это будет началом возобновления наших отношений.

Свидетельствую глубокое почтение твоей супруге: я уже предполагаю себя знакомым ей, хотя, по непростительному недосмотру, ты не сообщил ее имени.

Преданный тебе В. Ключевский.

1869 г.

36. П. П. ГВОЗДЕВУ

2 сентября 1869 г.

Москва, 2 сент[ября] 1869.

Mein lieber, cher, dear, amicissime, ω φίλτατε, Kochany, liby<sup>1</sup>  
и любезнейший Порфиросец!

Радуюсь твоему выступлению в жизни: самый трудный шаг сделан, фрак надет и белый галстух повязан. Оно, конечно, паскудно выступать в свет на педагогическом обеде, да еще по распоряжению начальства, но делать нечего, такие уж нравы, что никто теперь на обедолюбивой Руси не обедает так часто публично, как почтенное учено-педагогическое сословие. А желал бы взглянуть на

<sup>1</sup> Мой любимый, дорогой (нем., фр., англ., итал., греч., польск., чешск.).

тебя во фраке и белом галстухе. Но самое приятное в твоём вкушении действительной жизни для меня то, что ты совершил это вкушение и будешь продолжать это на берегах быстроводной Казанки и бурного Булака. С этим тебя можно поздравить; себя я уж поздравил от души, ибо боялся твоего «уединения» из Казани.

Итак, ты опередил меня: ты уже гражданин со всеми, правда, паскудными политическими правами российского гражданина, с правом быть присяжным и т. д., а я еще нет, еще *semicivis*<sup>1</sup>, если такое слово есть в лат[инском] лексиконе. Но и меня разобрала жажда гражданской полноправности при чтении рассказа о твоей консекрации в гражданство. Я хотел по крайней мере убедить тебя и—что еще труднее и безнадежнее—себя в способности к гражданскому полноправию. Средством для этого избрано исполнение дружеского поручения. Из того, как я исполнил это поручение, можешь судить о степени означенной способности.

Паршивый Дейбнер до сих пор не получил писем Плиния, хотя, как уверяет, послал за ними; в других лавках их также нет. Я хочу отдать за них деньги вперед, чтобы поощрить к скорейшему исполнению дела. Относительно переводов римских классиков достигнут некоторый успех: к тебе едут речи Цицерона («*in Catilinam*» нет, а они-то вероятно и нужны), Ю. Цезарь, Овидий, Саллюстий, Virgiliy, 21[-я] кн[ига] Т. Ливия, Гораций—словом, все, что значится в твоём письме. Здесь меня смущает одно: нет ли всего этого в других лучших переводах и изданиях? Но я взял что было в магазине. Далее, некоторые из приведенных писателей изданы и в русском переводе, но я предпочел немецкий: и дешевле и безопаснее. Качество же пересылаемых переводов узнаешь употреблением и напишешь мне. Далее, издания Горация и Virgiliya с размерами меня несколько затруднили. Так, размеченного Virgiliya, как у тебя в письме, не нашел в магазине. Уж как-нибудь изловчись с Virgiliyevym гекзаметром сам или пропиши, где бы поискать его. Что до Горация, то я посылаю своего в издании Наука: все просмотренные мною в лавке издания или ничего не говорят о метре, или же выставляют такую табличку, какую найдешь вначале у Наука. Здесь отыщешь все горацианские метры лирические с обозначением, каким метром писана каждая ода. Помню, что у нас в университете других метрических обозначений к одам Горация ни у

<sup>1</sup> полугражданин (лат.).

кого не было. Впрочем, ты напишешь, попал ли я в твоё требование или нет. Латинская грамматика, о которой ты пишешь, не посылается тебе потому, что я ещё не виделся ни с одним авторитетным классиком, у которого можно было бы справиться о сем. Когда я учился, хвалили Мадвига; но, может быть, эту ты имеешь или она уже не лучшая? Не знаю, насколько я досажу тебе тем, что отложу высылку грамматики до справки, но вышлю, будь покоен.

Однако ж воспой будущего гражданина, может быть, на своей горе. Уж если он начнет подвизаться по части гражданских добродетелей, то перельет чрез край. Впрочем, таковы вообще все будущие, но не действительные граждане. Я превзошел твои требования в некоторых пунктах, хотя в других, может быть более важных, не удовлетворил им вполне; и это — неизбежное свойство тех же ожидаемых наклеывающихся граждан. Ты писал, что, когда будут у тебя деньги, ты попросишь меня выслать разные римские литературы и древности. Я же, не дожидаясь твоего экономического развития, взял да и послал тебе чаемые тобою сочинения. Впрочем, здесь я соблюл некоторую осторожность: взял «Древности» Ланге — классическое сочинение, но о Беккере, про которого ничего не знаю, буду ждать дальнейших распоряжений. Кроме Бэра мне показывали недавнюю книгу по истории римской литер[атуры] Тейфеля; Бэр же издается новым изданием, коего вышел 1-й том и 2-й, но еще не получен; поразмыслив, я решил, что человеку, привыкшему к населению казанских лесов, безопаснее послать медведя, чем черта, — и послал 1-й т[ом] Бэра. Ты напишешь, выслать ли тебе конец сочинения по прежнему изданию или ждать выхода нового, уже начатого. Хочешь — сердись, хочешь — нет, но ты видишь, что я, все еще состоящий при министерстве ничегонеделания по департаменту неисполнения слов и обещаний, иногда люблю заглянуть и в другие ведомства.

	Счет
Классики в переводах все огулом	с уступкой . . . . . 8 руб. 50 коп.
«Римские древности» Ланге, два тома	» . . . . . 4 руб. 30 коп.
«Ист[ория] римск[ой] литер[атуры]» Бэра, 1-й т[ом]	» . . . . . 4 руб.
Горация «Оды и Эподы», ко[мментированные] Науком	» . . . . . 0 руб. 0 коп.
Пересылка .....	Не знаю
	Итого . . . . . 16 руб. 80 коп.

Итого ты мне должен 6 р[ублей] 80 к[опеек] да за пересылку, о коей до след[ующего] письма.

Передай мой искренний поклон Ивану Петровичу и Ф. М. Керенскому.

Преданный тебе В. Ключевский.

Деньги можешь выслать не тотчас, даже попрдержать, по моему примеру, на неопред[еленное] время.

NB. Обозначь, по прежнему ли адресу писать впредь или по какому-н[ибудь] новому.

37. П. П. ГВОЗДЕВУ

15 сентября 1869 г.

Москва, 15 сент[ября] 1869.

Aestuosissime!<sup>1</sup>

Разрешаю твое aestum<sup>2</sup>. Получаю я однажды претолстый конверт, в коем под двумя 10-копеечными марками нахожу тетрадь в 4 почтовых полулиста; развертываю, проглядываю—и удивляюсь. Достало же у человека терпения выписать статьи целиком. Я не могу обозначить тебе с доскональностью, сколько выписано из каждой статьи строк, ибо тетрадь твоя вместе с моим портфелем находится в эту минуту в музее, где я роюсь в рукописях Ундольского\*. Но я тебе представлю осязательные доказательства получения этих выписок для рассеяния твоего фоминского неверия. Щупай—выписки на 4 полулистах: сперва идет продолжение сказания о Михаиле Черниговском; дальше целиком жития Петра митрополита и Никиты архиепископа; затем в конце, на последней странице, твое письмо, где между прочим извещаешь, что № 238 не достал еще, но достанешь. Главным доказательством должно послужить для тебя то, что статьи выписаны целиком; это для меня совершенно неожиданно, и выдумать этого я не мог. Судя по твоим выражениям о<sup>3</sup> посылке, возбуждившей твои опасения, я с своей стороны убежден, что она—та самая, которую я получил, кажется, на другой день по отсылке к тебе книг и которая описана мною выше. К тому же подумай, Фома: ты мне прислал только одно письмо на полулисте—без выписок, с описанием твоего выступления в свет и с поручениями;

<sup>1</sup> Беспоконейший! (лат.)

<sup>2</sup> беспоконство (лат.).

<sup>3</sup> Далее зачеркнута буква: б.

все же полученные мною выписки до и после спорной посылки были на листах; как же мог я выдумать, что самые большие выписки ты поместишь на полулистах? Наконец, ты пишешь, что посланных книг еще не получил, но видно, что ты получил письмо, отправленное одновременно с ними. В этом письме, начинающемся тьмою эпитетов на всех сколько-нибудь известных мне диалектах, я, кажется, изображал тебе мое восхищение от такой объемистой посылки, превзошедшей все мои ожидания.

Однако ж это дрябно, что книги тобой еще не получены. Чрез это я лишен твоего отзыва о том, так ли исполнил я твои поручения, как следовало, те ли издания послал, какие было надобно, и, наконец, дорого ли дал или нет по внутреннему их достоинству и т. п. О метрах пишешь, что хотелось бы изучить все; если посланное мною издание Горация с обозначением метрических схем недостаточно, то не поискать ли какого специального руководства к римской метрике: у немцев непременно есть. Бэра получишь, когда приедет его 2-й том. Как поступить с Тейфелем — недоумеваю. Подожди, спрошу у знатока и поступлю сообразно с отзывом и с ценой. О Беккере выражаешься нерешительно: «Не мешало бы». По мифологии не хочешь ли Преллера? Имеешь ли «Античную общину» Фюстель-Куланжа? Переведена Коршем сносно. Там остроумно указана связь античной религии с гражданским устройством Греции и Рима: тоже, значит, немножко по части мифологии. Остальное исполню по возможности согласно с буквальным смыслом твоих слов.

В письме своем ты сообщаяешь мне пречувствительное для меня известие: это поездка Ф. М. Керенского в нашу губернию и свидание его с моей сестрой. Дело вот в чем. Года два тому я послал к ней письмо по сомнительному адресу; хотя письмо было денежное, однако я с тех пор не получал от нее ни строчки. Потому я решил, что адрес негоден и письмо не дошло. Но другого я не знал и потому с тех пор не писал к ней. Это производило во мне скверные чувства неизвестности, опасения и т. п. Расспроси, пожалуйста, Ф[едора] М[ихайловича], не знает ли он, как надо адресоваться в эту мерзкую Пёстровку, и извести меня о результате. Или, если он переписывается с кем-нибудь из тамошних, не может ли он прописать для передачи ей чрез знакомых, чтобы она скорее писала ко мне по адресу, тебе известному? Впервые узнаю, что мы с Ф[едором] М[ихайловичем] некоторым образом свойствен-

ники\*. Если он чрез твое посредство выведет меня из неизвестности относительно пёстровского захолустья, я за его и за твое здоровье свечку 10-коп[еечную] поставлю Николе Угоднику!

Деньги за Квачевского, должны мне Парадизовым, я перевел на тебя и, кажется, тогда же уполномочил тебя взыскать. Если же ты не получил, то я тебе был должен 10 р[ублей] + 1 р[убль] 80 к[опеек]. По этому расчету и определяй теперешний долг мне.

Я было хотел попросить тебя кой о чем насчет «Православн[ого] собеседника» и его изданий, да ты уж сделал такую тьму по моим поручениям, что совестно; да могу и обойтись, сберегая твое терпение для будущих более важных нужд, кои опять попрошу тебя привести к удовлетворению и кои, разумеется, будут касаться той же, столь надоевшей тебе, соловецкой б[иблиоте]ки. Представь, какая неожиданная встреча: кажется, мне придется в своей книжице понюхать вашего попечителя, а моего бывшего инспектора (в первый год моего университетского) курса) Шестакова\* и подрать его за его блудодеяния по части российских житий святых, напечатанные в «Ж[урнале] Мин[истерства] н[ародного] просв[ещения]» и в «Прав[ославном] соб[еседнике]». Если это случится и я не раздумаю, тогда нарочно пошлю ему экземпляр. Напиши при случае, каков и как читает Осокин, как думают о нем студенты. Я с ним встречался в Москве во время его многострадального магистерского экзамена и беседовал; он произвел на меня неприятное, мож[ет] б[ыть] неверное, впечатление. Во-перв[ых], он мне показался страшным педантом, а во-втор[ых], мнящимся быти если не Нибуром, то по крайней мере Грановским. Книжищи его об альбигойцах не читал\*, но Герье прескверного о ней мнения. Но зато, что за душа у вас Аристов — русак с подошвы до маковки и, кажется, не без дарований, сколько мог я узнать его в продолжение часового знакомства.

Кажись, пока довольно. Передай специальный поклон Ивану Петровичу и потом кланяйся всем нашим приятелям, живым и мертвым.

Раствой В. Ключев[ский].

Деньги высылать не спеши. Подчеркнутые в поганных языках слова я почти все разобрал и догадался, как исправить; остальные неясности и погрешности неважны. Вообще, ты сделал выписки славно, за что да попомнит тебе Бог в день страшного суда в числе других твоих

добродетельных деяний. За все это посылаю письмо к тебе в розовом конверте.

1870 г.

38. П. П. ГВОЗДЕВУ

30 марта 1870 г.

Москва, 30 марта 1870.

Милый Porphygi!

Твое последнее письмо взывало ко мне напрасно: отвечаю только теперь. Прежде всего величайшее спасибо тебе и Ивану Петровичу за присылку «Прав[ославного] соб[еседника]». Остается узнать опять, сколько я должен тебе. О сем, кажется, ты не пишешь. О Бэре я спрашивал у Дейбнера\* раза три: сует мне первое издание, а я спрашиваю второе издание 2-го тома: «Нет, еще не получали!» Вообще свинья этот Дейбнер. И тебя и Ф. М. [Керенского] благодарю за пересылку адреса к сестре; недавно я от нее получил письмо. Напиши, пожалуйста, обо всем, между прочим, о том, читал ли кто из знакомых о Щапове в «Прав[ославном] обзор[ении]»\* (1870, № 2) и что говорит. Я думаю, память о казанском светиле еще держится в Казани. Пожалуйста, пиши и не сердись на меня. Меня тянут в Дерпт\*, а я упираюсь. Спешу домарать свою книжицу\*.

Поклон Ивану Петровичу.

Преданный тебе В. Ключевск[ий].

Новый адрес: Полянский рынок, д. Сарачева, № 337, кв. 21.

# ДНЕВНИКИ И ДНЕВНИКОВЫЕ ЗАПИСИ

## ДНЕВНИКОВЫЕ ЗАПИСИ 1861—1866 гг.

1861 г.

21 окт[ября]

Сегодня для меня черный день, и я в ударе. Сегодня мне так тесно, так тесно, на сердце такая туча, что хоть бы в воду. Ничто с такой силой не вызывает мучительной, безотрадной мысли, самой ядовитой, разъедающей мысли, как подобная минута. А между тем я гоню эту мысль; мне хочется повторить общеупотребительный мотив в таком состоянии; выражаясь трагически или, лучше, мелодраматически, мне хочется упиться тоской. Ведь мысль ослабит, опошлит, осмеет мою мировую тоску; ведь ни радость, ни грусть, ни самая смерть—ничто не устоит против всеокрушающей силы анализа. А мне не хочется, чтобы даром прошла для меня эта черная минута; мне хочется, чтобы она оставила во мне глубокий след и честно, с достоинством ушла от меня к кому-нибудь другому, подобно мне дающему дань этой минуте, ушла с честью, а не со свистом рассудка, всегда неучтиво провожающего со двора подобные поэтические минуты. Потому хочется мне до дна вычерпать эту чашку желчи, накопившейся во мне, чтоб хоть этим взять с досады за скверное положение.

Я знаю два состояния, когда человек с радостью или, если уж это слишком, бестрепетно и без сожаленья готов обратиться бы спиной к жизни со всеми ее прелестями и охотно принять пулю в лоб от услужливой руки и что-нибудь в этом роде. Разумеется, я имею здесь в виду

только себя и не могу рассчитывать на других. Первое, когда он в лирическом припадке слушает музыку, будь то хоть неловкое визжание скрипки в руках недоучившегося артиста; когда звуки в нем самом будят все живые струны и заставляют его забыть все, кроме настоящей минуты. Тут он готов хоть сейчас пожать на прощанье руку и друзьям и недругам и весело, без оглядки на прошлое и без пытливого исследования касательно той жизни, куда он сейчас хочет шагнуть, готов, очертя голову, броситься в эту жизнь или, лучше, не жизнь, потому что здесь он даже и не предполагает в будущем жизни и даже вовсе ничего не предполагает, не имея даже времени и охоты спросить себя о том, что там будет, жизнь или ничтожество, или что еще хуже. Ему все равно, что бы ни было. Это состояние редкое, полупьяное, самое веселое, потому что чуждо всякого анализа, всякой мысли и потому бессмысленно. Но другое состояние не так упреительно, хотя после делается не менее поэтичным. Это мое теперешнее состояние, когда на сердце что-то беспощадно скребет и рвет, когда все святое и все носящее признак так называемого счастья жизни делается чем-то в высшей степени возмутительным, когда кошунство — самая умеренная мысль в голове. Какая злобная насмешка, какой задирающий сарказм слышится во всей жизни. Это печоринское состояние. Здесь один шаг до полнейшего, чудовищного отрицания всего на свете. Это состояние убийственное и всего ближе к сумасшествию, и сумасшествию тем более мучительному, что и в нем не теряется сознание, будто здоровое. Здесь мысль о смерти даже злобно радуется, потому что все, что обещает хоть какую-нибудь перемену, есть или кажется уже благом: по крайней мере не предвидишь худшего. Здесь жизнь, прошлое уже враг, как и настоящее: здесь не протянешь руки даже другу. Эти минуты будят, что уснуло в душе, развивают, заставляют догонять, в чем отстал от жизни, но после и врагу не пожелаешь подобной минуты, как она ни поэтична. Но какой бессовестной сделки не в состоянии сделать человек с самим собой, со своей совестью!

Жизнь подчас злобно смеется над своими пасынками, а я, кажется, в их числе. Сегодня я получил то, чего никогда не ожидал, о чем только мечтал как о несбыточном счастье со всей пылкостью школьника, и случилось же так, что в *pendant*<sup>1</sup> с этим узнал самое скверное, самое

<sup>1</sup> под стать (фр.).

отвратительное для всякого чувствительного настроения. Да, комедия превосходная! «Пряди, моя пряжа!..»\*

14 нояб[ря]

...Какое-то беспокойное, будто тоскливое чувство овладевает душой, когда представишь себе эти неоглядные, безбрежные пустыни Сирии, Вавилонии и пр., на которых давно уже замолк всякий шум, остановилось всякое живое движение живой исторической жизни. А было время, когда и на этих пустынях раздавался этот исторический шум, горела эта живая историческая жизнь; когда необъятные города, полные народа, жили живыми интересами, многолюдные караваны шли с товарами издалека—из Финикии, Индии, Аравии, Египта, двигались бесчисленные<sup>1</sup> нестройные массы войск во главе с каким-н[ибудь] Небукаднцаром\* и Рамзесом, часто одним разрушительным набегом стиравшие с лица земли многолюдные города. Было время, когда и над этими пустынями носился оживляющий дух человечества. Но несколько губительных нашествий диких орд да тихое, незаметное действие исторической проходимости заглушили прежний живой шум, остановили прежнее живое движение; всемирно-историческая драма этих пустынь кончилась, и они теперь молчат, будто отдыхают от прежних волнений<sup>2</sup>. А между тем историческая возня и движение перешли на другую почву, еще не истощенную жизнью, в другие страны, которые прежде, в пору разгара жизни этих пустынь<sup>3</sup>, были так же безмолвны и не тронуты хлопотливой рукой человека, как теперь эти пустыни. Восстанут ли эти пустыни когда-нибудь опять к своей прежней жизни, которая звучит теперь в смутн[ых] сказаниях, восстанут ли, собравшись с новыми силами, и не погаснет ли опять живая жизнь в странах, где теперь так ярко горит она, чтобы в свою очередь погрузиться в вековой сон от вековых трудов и волнений?..

1862 г.

9 марта

...Жутко стоять между двух огней. Лучше идти против двух дул, чем стоять, не зная, куда броситься, когда с обеих сторон направлены против тебя по одному дулу.

<sup>1</sup> Далее зачеркнуто: армии.

<sup>2</sup> Далее зачеркнуто: встанут ли.

<sup>3</sup> Далее зачеркнуто: бывшие.

Мне часто хочется безотчетно и безраздельно отдаться науке, сделаться записным жрецом ее, закрыв и уши и глаза от остального, окружающего, но только на время. Здесь не страх перед действительностью, не трусость от сознания недостатка сил для восприятия и осуществления того, о чем речь ведется всеми деятелями нашей современной жизни. Нет, хочется поскорее понабраться нужных запасов, без которых, говорят, ничего нельзя сделать, а чтобы скорее сделать это, я думаю на время замкнуться и не развлекаться. Но стоит заглянуть в какой-нибудь из живых, немногих наших журналов, чтобы перевернуть в себе эти аскетические мысли, стоит встретиться только с этими речами и вопросами, чтобы увлечься ими и забыть мирную книгу. В самом деле, можно ли спокойно оставаться и смотреть, когда там копошится мысль в каком-нибудь далеком уголке Руси, когда неотступно, со всей силой тянут к себе эти вопросы, глухо, но сильно раздающиеся из-под маскированной, а подчас и немаскированной речи? И готов сказать себе: стыдно оставаться глухим при этом родном споре, стыдно не знать его. Что же за беда такая, что наука должна непременно заколачивать ухо от всего, что творится и шумит перед тобой! Жутко стоять между двух огней! Лучше бы что-нибудь определенное скорее. Энергии, и без того небольшой, много пропадает в этих болезненных метаньях из стороны в сторону.

Меня часто удивляет одно. Я знаю многих людей — людей мысли и знаний, небезызвестных в литературе. Они не то чтобы окончательно не знали нашей современной жизни и ее стремлений и надежд: они иногда пустят сильной фразой, пожалуй, мыслью о современном положении, но они как-то изолированно стоят, говорят, но не хотят возвести своих слов в живой принцип, в твердое верование, неотступно влекущее к делу. Они будто без лагеря, а как действовать теперь, не принадлежа к какому-нибудь лагерю? Отчего их так много, и не принимаются живо за дело, которое выходит из их же слов как следствие, выведенное логически, а скажут да и замолчат, словно обмолвились. Ведь есть же и у нас люди, но их немного, которые принялись за свое слово как за жизненное дело, как за святое верование, как исповедники первых веков христианства. Ведь и у них пока еще все дело ограничивается словом, но это слово — жизнь, оно бросает в энергическое одушевление и дает силы и средства к делу. Отчего же другие, причастные делу жизни, не говорят так же? Отчего все, кому следует хоть

по ремеслу, не соединятся в дружный протест и не заявят решительно, что все стоят за дело правды?..

Пока ограничиваешься такими мыслями и стоишь, как недоросль, которому хотелось бы побегать да пожить самостоятельно, но которого еще нельзя выпустить на волю, потому что не выучил урока. Пока не знаешь, что делать, и только урывками прислушиваешься к «подземной работе зиждательных сил жизни», как говорит Григ[орьев]\*. А энергия и добросовестность уходит, и сам чувствуешь, что делаешь с собой нечестную сделку...

6 мая

...Идут... Не хочу я разменять внезапно навеянного уединением так назыв[аемого] вдохновения на мелкие, внешние впечатления бульвара. Глаз на глаз с собой, под самодельный напев неведомой песни как-то свежее встает и копошится на душе вся эта дрянь, весь этот романтический хлам, накопленный глухой жизнью, но милый для моей романтической души, среди которого, как среди сора, насмешливый петух найдет подчас довольно светлый камешек. И я, как петух, не раз находил этот камешек, но, как петух же, подчас не умел ничего с ним сделать. Но теперь, кажется, сделаю. И в виду движенья бульварного мне хочется замкнуться от всего и похвастаться незримо для всех, стало быть, безобидно для всех своим внутренним довольством и хочется до злорадства смеяться над суетностью других. Да, романтизм!..

18 июля

Да, славны бубны за горами!\* Хороша бывает жизнь, да за горами, не у нас. Хорошо<sup>1</sup>, у кого хватает сил навсегда иль по кр[айней] мере возможно дольше сохранить впечатление, вынесенное из суровых явлений, в которых был не зрителем только, но и действующим<sup>2</sup> лицом, сохранив, и твердо систематически провесть в дело, не поддаваясь влиянию так назыв[аемых] милых очаровывающих явлений<sup>3</sup>, которые подчас наворачиваются из разных передряг, комбинаций и столкновений. Зачем непременно поддаваться и изменять впечатлению, вынесенному из молодости? Да и какое имеешь право подумывать, что эти светлые, в самозабвение приводящие явления непременно для тебя делаются, а не случайно столкнулись с тобой как стоящим на дороге, хоть и кажется,

<sup>1</sup> Далее зачеркнуто: кто.

<sup>2</sup> Далее зачеркнуто: персоной.

<sup>3</sup> Далее зачеркнуто: в.

что ты принимаешь в них совершенно свободное участие! Мало ли каких нет жизней, да разве во всех считать себя участником, тогда как с ними только сталкиваешься,— не больше. А ведь на это суровое, неловкое, неприличное для других понятие потратились силы молодости, помялись лучшие усилия человека! Их, этих сил и усилий, не достанешь в другой раз, а явления встретишь всякие; да и самому их выдумать немудрено для потехи, но не больше опять. Да-с. Все это бубны—и только.

1865 г.

Зм.<sup>1</sup>, 22 июля

Мудрые люди много толкуют о необходимости спокойствия духа, которое позволяет ясно смотреть на мир и жизнь и оставаться твердым во всех превратностях мира и жизни. Люди обыкновенные, не одаренные какой-нибудь долей впечатлительности и не лишенные стремления к лучшему, может быть, так же хорошо понимают разумность этого правила в теории и, однако ж, расстаются с ним без сожаления при первой житейской волне, нахлынувшей на них. Даже после, когда, перетерпев много волнений по невнимательности к мудрому правилу, долго проносившись по бурным волнам угрюмого житейского моря, как говорят в стихах, они выберутся наконец на берег измученными и измоченными,— даже и тогда они с какой-то тайной симпатией оглядываются на только что покинутые волны и не жалеют, что забыто было ими на этот раз мудрое правило. Люди благоразумные, окружая их, размахивают руками, ахают и с наставительным упреком указывают на их смешной наряд и беспорядочные, усталые физиономии. И сами они не бросятся добровольно, без нужды в эти волны, на которые теперь они смотрят с такой любовью и с таким раздумьем, но, застигнутые ими неожиданно, они не побегут от них в различные убежища, созданные умом и верой человека. Им сладко чувствовать себя в борьбе, сладко сознавать, что и их силы, подобно этим волнам, поднимаются с глубины души и приходят в напряженное движение. Но какой выигрыш от этой борьбы, большею частью и главным образом происходящей внутри самих борцов, незаметно для посторонних глаз? Личные особенности характеров и различные обстоятельства, посторонние до бесконечности, разнообразят цели и приемы этой борьбы;

<sup>1</sup> Так в рукописи.

но можно сказать, что эти цели и приемы несущественны, случайны в этой борьбе; главное — самая борьба, процесс ее, как в жизни моря главное — самое волнение, а не те случайные, мелкие явления, которые происходят вследствие его, как кораблекрушения, выкидывания раковин на берег и т. п. Над процессом, в котором он сам главное, а не результат, обыкновенно смеются как над делом, похожим на чтение гоголевского Петрушки; но в истории человечества, которая вся состоит из такой трудной работы и дает, однако ж, такие сравнительно неважные результаты, что пессимисты и различные скептики всегда являются с большими правами на бытие и даже внимание, в истории на первом плане всегда останется процесс жизни, а не результаты. Так и в жизни духа: главное в борьбе [то], что из нее может выйти дух, способный к борьбе, к деятельности.

Любопытно следить в обществе за типом этих молчаливых любителей борьбы, истинных житейских борцов; только это дело труднее, чем думают обыкновенно. Трудность происходит оттого, что это большею частью люди скромные, незаметные, ничем не бросающиеся в глаза. Мы привыкли соединять с понятием борьбы энергические жесты, размахивание руками, высокие тоны в голосе и т. п. Но подобных признаков мы не найдем в наших борцах. Они не имеют ничего общего с обыкновенными героями человеческого общества; они не имеют ничего общего ни с крикунами-самодурами, ругающимися направо и налево, ни с дерзкими фатами, проповедниками истины и добра, проповедовающими<sup>1</sup> это по привычке говорить о том, чего сами не знают, ни с теми блестящими, могучими героями, которые совершают чудные подвиги на славу себе и на удивление людям, которые важно расхаживают такими крупными шагами перед удивленными и аплодирующими зрителями. Ничуть не похожи наши герои на эти жалкие, безобразные остатки гомеровских Агамемнонов, Ферситов и Ахиллесов. Они не похожи и на новый тип тех бескорыстных, благородных, неугомонных двигателей общества, поборников правды и любви к человечеству, резко отмеченных печатью энергии и нервной стремительности, сильно смахивающей на женственность, — этих деятелей нашего века, которым так приятно мутить воспитавшее их родимое болотце. Все эти люди, и старых и новых типов, больше живут внешней жизнью, любят прилагать к себе правило «что в печи, все на стол

<sup>1</sup> Далее зачеркнуто: об [это]м.

мечи»,— люди, ходящие на пружинах, как бы ни были благовидны эти пружины и как бы далеко ни скрывались они в глубине их души; они так любят рисоваться своей борьбой, своими подвигами, даже прорезами на платье, полученными в борьбе вместо ран. Нет, наши герои— люди совсем иного рода. Их борьба происходит на заднем дворе человечества— борьба бесславная, бесшумная, никого не беспокоящая. Эти гномы, подземные карлики, которые работают драгоценные металлы на людей, живущих на поверхности. Оттого их тип наименее обработан и уяснен историческим сознанием человечества. Люди обыкновенные не обращают на них внимания, герои презирают их, а сами они слишком скромны и слишком уважают свое дело, чтобы заявлять о себе человечеству, чтобы тыкать в глаза каждому своим делом. История пропустила их; она отмечает на своих скрижалях только то, что шумит и гремит; но зато ведь так и поверхностна эта наука, так далека от первоначальных источников тех явлений, которые она описывает и исследует. Наши карлики незаметны для наблюдателей и, как карлики подземного мира, даже боятся обращать на себя внимание, бегают от любопытных глаз, но горько почувствовало бы человечество их отсутствие, если бы на минуту прекратили они свою подземную, незримую и неслышную работу на пользу человечества. Трудно наблюдать этих людей, но кто серьезно интересуется жизнью обществ и всего человечества, для того изучение таких людей— важное дело, а встречи с экземплярами этого типа— истинная находка; надо только смотреть в оба и всего менее останавливаться на внешних чертах.

1866 г.

14 апр[еля]

...Мне знаком он\*— эта жалкая жертва; мы все хорошо знаем, вдоволь насмотрелись на этих бледных мучеников собственного бессилия! Теперь, и только теперь приковали его к стене, чтобы предохранить от покушения против себя, связать не владеющую собой волю. А прежде чего смотрели? Что было бы с несчастным, если бы вывели его показать народу? А это было бы поучительно; тогда можно было бы сказать, указывая на жалкого злодея: вот смотрите, отцы, на свое детище! В нем ярко высказалось все, что по мелочам рассыпано по вашим надорванным, вскруженным и отуманенным головам. Но нет, из всего этого вышла бы пошлая и зверская

мелодрама, достойная только нашего театра. Растерзали бы несчастного, и без того измученного. Темная масса кинулась бы на свое детище, потребила бы от земли память его и опять принялась бы за овации, как будто уничтожив всех врагов. Господи! Какая безобразная путаница понятий! Какой чад в головах! Бледный, свихнувшийся ипохондрик и меланхолик, помышляя о самоубийстве, развивает идеи крайнего либерализма и социализма, выходит на площадь с ужасной целью, случай уничтожает нечестивый замысел, и вся страна ликует, весело кричит и, кидая шапки на воздух, провозглашает свое избавление от чего-то! Чему рада эта толпа? Чего ей? *Rapem et circenses!*<sup>1</sup> Вместо того чтобы глубоко задуматься над бедствием, готовым совершиться, зорко приникнуть к опасности, показавшей когти, вместо того чтобы грозным, сдержанным видом привести в трепет потаенного врага, вместо этого она самодовольно выходит на площадь\*, своими дешевыми криками пред монументами народной славы тревожит святотатственно покой великих подвижников, потрудившихся на пользу родины. О родина! Не напугаешь ты этими пьяными овациями ловкого врага! Он здесь же из-за угла смеется над твоими патриотическими криками и вместе с другими<sup>2</sup> кидает в толпу грошовые хлебы. Нет в тебе, беззащитная родина, ни выдержки, ни умения понимать вещи как следует. Не так поступали великие народы в минуты грозной опасности. Молча, стиснув зубы, готовились они встретить какого угодно врага; в полночь, среди глубокого молчания, под незримым покровительством высшей силы выбирался надежный муж, которому республика давала полномочие смотреть, чтобы отечество не потерпело какого урона, и пользоваться для этой цели имуществом и жизнью всех сограждан...

[Между 14 апреля и 7 мая]

А вот и интеллигенция!\* Что она? Как себя чувствует? Грустно! Народ безумствует пред великими фигурами Минина и Пожарского, не понимая их смысла и значения, жаждет молебнов с вином, попирает и религию и историю — все свое нравственное и умственное достояние. А интеллигенции грезятся призраки или сама она становится безобразным призраком, в действительность которого не хотелось бы верить. Презренная учащаяся молодежь, ругающаяся и над верой и над народом, устраивает

<sup>1</sup> Хлеба и зрелищ! (лат.)

<sup>2</sup> Далее зачеркнуто: будет.

процессии к Иверской, ставит неугасимые лампы, носит на руках заведомого, осмеянного ей самой дурака и мошенника,—и всякий глупый торгаш чувствует себя вправе сказать ей в глаза, что еще недавно она бунтовала на всех трех языках. Мыслящие люди, неучащиеся дети,—что они?—толкуют о черни, смешивая ее с народом и сравнивая с парижским пролетариатом, глумятся над ее безобразиями и боятся ее дикой силы, кружатся в болоте собственных недодуманных, нервических соображений и, не зная выхода, не видя ничего ни впереди, ни за собой, вызывают великие тени Петра и Екатерины, винят их в собственных гадостях, не желая подумать, что в их собственные головы не влезет и миллионной доли того, что продумали и выносили в душе поругаемые великие наши деятели. Предания, будущее и прошедшее—все нипочем!.. Мне жаль тебя, русская мысль, и тебя, русский народ! Ты являешься каким-то голым существом после тысячелетней жизни, без имени, без наследия, без будущности, без опыта. Ты, как бесприданная фривольная невеста, осужден на позорную участь сидеть у моря и ждать благодетельного жениха, который бы взял тебя в свои руки, а не то ты принуждена будешь отдаться первому покупщику, который, разрядив и оборвав тебя со всех сторон, бросит тебя потом, как ненужную, истасканную тряпку. И теперь, когда везде, во всякой церкви и во всяком кабаке орут во весь голос «Боже, царя храни!», мне хочется с горькими сдавленными слезами пропеть про себя «Боже, храни бедный народ, бедную Россию!»

7 мая

Прежде давно, в лета моей юности, в лета невозвратно мелькнувшего детства, я любил представлять себе разные патетические, трогательные сцены. Я, наприм[ер], любил представлять себе весенний, тихий, полный упоения вечер в темном саду: я гуляю с человеком или, лучше сказать, с женщиной, которая стоит выше потребностей своего пола, которая умеет милым, женским сердцем отозваться на великие вопросы времени. Вечер задумчиво безмолвствует; кажется, вокруг нет ни души, и мы тихо ведем свою задушевную беседу. Любил я представлять себе и другие сцены: тот же вечер и та же тишь, та же доверчивая душа около меня. Но это не друг, не сочувствующий мне друг, а любящая женщина, которой дорог каждый удар моего сердца. Все, что есть для нее лучшего в жизни, все это соединено во мне. Мы идем по такой же тихой аллее, вечером, вдаль от шума. Господи! Что на сердце у нас!

Кажется, все, что чувствовали люди с Адама до какого-нибудь парикмахера Алексея Иванова из Парижа, все это, исправленное и дополненное, бьется в нас неудержимым ключом. Все это любил я представлять в годы моей юности. Годы шли, и все мечты незаметно осуществлялись; сцены, одна мысль о которых приводила в дрожь юную душу, проходили одна за другой, и, раб мелких интересов, я не замечал, что осуществляется то, чего я так пламенно желал прежде. Я холодно проходил мимо таких моментов в моей жизни, которыми особенно дорожат добрые, чувствительные люди и которые так редко повторяются. Холодно и сухо отнесся я к ним. Холодно и сухо и теперь смотрю я на них. Но чем больше холодности было к ним тогда, тем больше жалею об них я теперь.

13 мая

Я стал, так сказать, на распутии впечатлений: так много их перекрестилось во мне сегодня и так они разнообразны. Нет сомнения, для половины своих настроений мы не могли бы указать ясно и полно причин, их вызвавших, и даже точно представить процесс их образования. Действие этих причин лежит еще по ту сторону нашего сознания, причины эти начали действовать в то время, когда сознание было обращено на другое, и перемена, происшедшая от действия этих причин, стала доступна сознанию уже тогда, когда она совершила целый огромный фазис своего развития, когда душа получила уже толчок к движению и совершает его по инерции, не выставляя причин, первоначально его произведших. Все это очень похоже на ключ, бьющий из земли: место, где мы видим его начало, есть только случайный пункт, часто бесконечно удаленный от действительного его начала. Но любопытно следить и за процессом внешнего обнаружения известного душевного движения, как ни мало указывает он на свои причины и как поэтому ни темен он сам по себе, как вторая часть повести, начало которой нам неизвестно. Я почувствовал себя как-то живее обыкновенного, точно что подмывало меня. Это происходило от мысли, что скоро последует перемена места. Такое само по себе маловажное обстоятельство всегда производит на меня странное, неопределенное действие, более, впрочем, тревожное: точно я сбрасываю с себя ношу, но в которой лежит что-то, чего я не хотел бы бросить вместе с прочими вещами, на мне лежавшими. Особенно сильно это чувство, когда знаешь, [что] вместе

с<sup>1</sup> местом расстаешься с людьми, которых едва ли опять увидишь и во всяком случае не возобновишь прежних отношений. Здесь есть довольно простая причина: людей, с которыми хоть несколько месяцев прожил даже без привязанности к ним, жаль оставлять, потому что они занимали мысль, на установление отношений к ним, на изучение их потрачен труд, который сближает наши симпатии со всем, к чему мы его ни направляем. Моя тревога выразилась в неуместных подшучиваниях над приятелем, который подвернулся и провинился только тем, что мне не хотелось знать того, что со мною происходило. Скоро мы вышли: теплый, но не жаркий солнечный день, какой бывает, когда небо закрыто облаками, еще не сгустившимися в тучу, навевал смутную мысль о том, что можно найти более надежное средство игнорировать себя на этот день, чем подшучиванья над приятелем; средство это — выйти из себя, как говорят, и отдаться внешним впечатлениям. Сначала — внимательность к встречным, далее — болтливая откровенная беседа с приятелем, а там — потянуло куда-то вдаль, подальше от настоящего местонахождения, где будет новое, где есть, с чем связаны былые воспоминания. И вот мы в Нескучном: к досаде моего больного приятеля, я таскаю его по аллеям, по пригоркам, стараюсь оживиться до последней степени и больше для возбуждения внутреннего удовольствия, чем для выражения его, повторяю: «Господи, как здесь хорошо! Как хорошо!» И усилия, сначала очень смешные, не пропали даром. Старое, редко испытываемое, но когда-то испытанное именно здесь настроение по законам сцепления ощущений начало слагаться и овладевать душой, вытесняя смутные движения, бродившие прежде.

## ДНЕВНИК 1867—1877 гг.

1867 г.

23 марта

Во мне слишком резко отпечатлеваются внешние впечатления — так резко и в таком количестве, что отрицают возможность всякого серьезного обсуждения. В мои лета внешние возбуждения не могут быть так благотворны, как 5—6 лет тому назад. Я чувствую, как в жару этих

<sup>1</sup> Далее зачеркнуто: этим.

возбуждений тают мои нравственные и телесные силы... Господи! Дай мне опору подтверже тех, какие я имею, за которую бы мог я ухватиться всякий раз, как эти внешние порывы будут совлекать меня с прямого пути! Дай мне силы стать в 25 лет добровольным старцем, чтобы в 30 не быть им поневоле!..

Три жизненные дороги, к которым подъезжали сказочные богатыри, мелькают и предо мной—и ни одна из них мне не нравится. Пока я не подошел к ним, я призываю к себе спокойствие безучастного наблюдателя, пока рассеется мрак, покрывающий наше гадкое время. Тогда мне будет все равно, по какой ни идти дороге. Одного бы еще попросил я у Бога—сохранения хоть капли веры в людей, след[овательно], и в себя...

30 марта

Тоскливо, грустно отзываются во мне звуки жизни. Сколько в них негармоничного, жестокого! Как раздражителен и восприимчив мой внутренний слух! Труд заглушает во мне эти отзывы, полные боли. Но как только на минуту станешь свободен, опять начинаются эти припадки... уныния. В степь бы... или в лес!

20 апреля

Нет, не варятся во мне впечатления, оставляемые несущейся вокруг меня жизнью. Чем более вживаешься в нее, тем сильнее растет во мне отвращение к ней. Она словно вино для меня: чем больше пьешь его, тем противнее оно становится. И как только на минуту почувствуешь отлив этого житейского потока, как только мысль освободится от его давления, странная фантазия шевелится в голове: хотелось бы, закрыв глаза, уйти куда-нибудь далеко от живущего, в темный первобытный лес, на берега пустынной речки и с суеверной доверчивостью язычника в грустной, грустной песне поведать свои свинцовые думы и неподвижному вековому дереву, и вечно болтливой, вечно движущейся речке...

23 июня

С привычным чувством берусь я за свой маленький дневник, чтобы занести в него несколько дум, долго и медленно спевших и до того уже созревших, что они, как что-то готовое и законченное, пали на дно души, словно спелые зерна, вывезанные ветром на землю из долго питавшего их колоса. Легкую, не волнующую радость испытываешь в минуты этого душевного сче-

водства: ведь эти выношенные и выдержанные думы называют нравственным капиталом человека, и, занося несколько новых строк в эту приходную книгу души, самодовольно чувствуешь, как постепенно этот капитал растет и растет.

На этот раз, впрочем, я не увеличиваю его какой-нибудь положительной суммой, а скорее делаю к нему отрицательную прибавку: уничтожить долг значит также увеличить капитал... Много нравственных ценностей, недостававших у меня, стремился я приобрести; тревожнее и настойчивее всего добиваюсь я этой нравственной устойчивости против набегающих впечатлений, этой способности, вращаясь в круговороте жизни, не сходить с положения зрителя, мысль о чем так привязчиво преследовала меня. Но все это — преждевременные, напрасные усилия, пока еще не устранен наследственный недостаток, отцовский долг, мешавший дальнейшему росту благоприобретаемого душевного имущества. Прежде чем добиваться этой устойчивости, этой стоической *constantia*<sup>1</sup> духа, надо было освободиться от боязни нравственного одиночества, от этой болезненной потребности в чужом внимании, в чужом сочувствии к нам, которого мы ищем, едва тронется в нас развитие самосознания. Этому исканию посвящаем мы лучшие усилия своего духа; мысль о неуспехе в этом деле обдает нас холодом и болезненно сжимает сердце. И вот, кажется, эта мысль начинает терять свой пугающий характер, перестаешь чувствовать себя совершенно потерянным, когда представишь себя на дальнейшем пути нравственно одиноким бобылем, — и зарождается в глубине души сладкое чаяние, что завершение этого душевного процесса принесет тот внутренний мир, которого так жадно ищешь и просишь у судьбы, и ту нравственную устойчивость, при которой перестанешь быть степным ковылем, колеблемым в разные стороны по прихоти набегающего ветра...

30 июня

Мы не привыкли обращать должного внимания на многие явления, из которых слагается внутренняя история человека, — и именно на те явления, которые, возникая из обыкновенных, самых простых причин, производят в нас незаметную, неосязаемую работу и уж только результат дают нашему сознанию. Удивительно ли, что в нас иногда обнаруживается так много непонятого для нас самих,

<sup>1</sup> устойчивости (лат.).

неожиданного, чудесного. Каждая дума, ощущение, каждая сцена, пронесшаяся пред глазами, оставляет след в душе, не всегда сознаваемый; а из суммы таких следов складывается известное настроение, даже взгляд. Если для образования известного характера необходим выбор подходящих к нему впечатлений, то этот выбор невозможен без предварительного изучения свойств и причин впечатлений, наиболее обыкновенных и часто возникающих, а также и условий, при которых они действуют на человека известным образом.

Сегодня любимые картины стояли пред глазами, любимые всегдашние думы проносились в голове. Условия, при которых встретились те и другие, тесно связали их между собою, как причины и следствия взаимодействовавшие... Вот опять с наслаждением шагал я по обширному, прекрасному саду. Бесконечным полукругом идущий пруд лежал так спокойно, неподвижно, что невольно замечаешь едва заметное движение выплывшей погреться на солнце рыбы, хотя не всегда видишь ее самоё. Мягкий, не слепящий свет вечернего солнца резкими полосами лег на воду; вот под острым углом отрезал он себе косую полосу воды от одного берега до другого, ярко выставив пред глазами и черную спину нежащейся рыбы, и один борт дремлющей у берега лодки, и скошенную траву на берегу и наконец теряясь в чаще деревьев. Местами эти деревья, липы, сосны и березы толпой подошли к самому пруду, с любопытством нагнулись над неподвижными, прозрачными водами и пристально, не шевелясь и не мигая, смотрят на свои зеленые пышные кудрявые ветви. А тут, в стороне, за небольшой рощей, другая картина. Глубоким полукругом стали тонкие березы; в него зеленым потоком врезывается из необъятной шири и дали нива, вся сплошь озаренная ровным, будто утомленным светом. В стороне, из углубления поднимаются темные вершины деревьев, а над ними высятся главы и кресты двух колоколен, еще горящие последними лучами. Стоишь и смотришь; а в душе точно все, вся внутренняя работа останавливается, мысль дремлет, никакого ощущения не назовешь по имени, сам точно расширяешься и наполняешься чем-то легким и свежим—словом, становишься на рубеже, отделяющем сознательную личную жизнь от непосредственной общей жизни природы...

9 июля

Любопытно, какие факты знаменуют время, обличают характер нашей государственной жизни. Начнем с самого

верха. В Риге сказывается речь высочайшая о единении с русской семьей\* как необходимом условии существования инородческих украин России, а министр проводит планы в духе полонизма, о которых и поляк-шляхтич безнадежно покачивает головой. Государь и народ радушно принимают славян, а правительственный орган ругает их и прием, им оказанный. Правительство дало свободу 20 миллионам душ, а правительственный орган скрежещет зубами и проповедует о необходимости патримониальной полиции. Правительство в видах свободы мысли отменило предварительную цензуру, а министр из личной мести дает газете предостережение на другой день по ее возобновлении после запрещения за неуважение к начальству: мелочная пошлость прикрывается святостью закона. Правительство нуждается в деньгах, продает все, что продать можно,—и сыплет пожизненными пенсиями ничего не сделавшим тузам, дает какому-нибудь управляющему департаментом бар[ону] Врангелю, вору и мошеннику всем известному, до 23 000 жалованья, и, между прочим, за то, что он подал мнение—при составлении судебного устава—о необходимости жаловать судей орденами. В обществе то же: граф какой-нибудь, Бобринский напр[имер], человек либерального происхождения (предок—сын Екатерины II и Орлова), прежде считался красным из красных, а теперь один из типических затылков, на которых опирается «Весть»\*. И чрез полвека какой-нибудь педант-историк, окидывая ученым и многоглупым взглядом недавнее минувшее, будет искать в действиях правительства и найдет великие принципы, им руководившие, а в обществе выследит зародыши великих движений и интересов, завязавшиеся в это время. Великие принципы, зародыши великих движений и интересов! Просто великое бессмыслие и жизнь день-за-день! Бывают же гнусные времена, доживает же до них общество, которому нет оснований отказать в будущем, когда желательными становятся насильственные перевороты!..

29 июля

Наше поколение дряхлеет в мечтаниях и самообольщениях. Оно точно молодое дерево, застигнутое холодом во время весны: летнее солнце только сушит его тощие, худосочные листья. Известные учения, всем надоевшие измы выдохлись и брошены; высокообразованные и гуманно развитые люди, впрочем, сохранили немногие капли этих духов в виде благородных, гуманных убеждений и идей; но жизнь безжалостно докалывает эти пузырьки,

сберегаемые для освежения и подкрепления слабых голов. Это похоже на игру черта с младенцем, и было бы чрезвычайно жестоко, если бы одно недоразумение не делало этой игры смешной и нелепой. Между тем как дух времени, общество избивает этих младенцев, гниющих в более или менее возвышенных мечтах о будущих лучших временах,

...Когда народы, распри позабыв,  
В великую семью соединятся\*.

Оно не хочет подумать о том, что эти младенцы — его же дети и живая улика отцов. В чем сущность и последний результат этих не только социально-коммунистических, но и тех благонамеренных, так называемых научных, мечтаний о человеке и обществе, которые наши сентиментальные педагоги-институтки внушают при всяком случае своим гимназическим отрокам? В полном предании себя на заклятие обществу, в сквозном проникновении себя идеей о благе людей, о поголовном братстве и равноправности всех на одинаковое развитие, на одинаковые наслаждения и удобства, в совершенном обезличении человека. Зачем же наше общественное сознание брезгливо отворачивается от этих бредней как противных духу и строю нашей жизни, как подрывающих основы ее? Разве не тем же пропитан дух и строй нашей жизни? Разве не этим же протухшим салом смазываются все ее колеса?..

5 авг[уста]

Есть своеобразная поэзия в раздумье человека о будущей судьбе своей, когда он подходит к рубежу действительной, настоящей жизни хоть с каплей прежнего юношеского одушевления. Пробравшись извилистыми тропами юности и так называемого воспитания, с сомнением и надеждой останавливается он пред камнем, откуда начинается расход великих житейских дорог, читает вещи надписи, гласящие о выборе той или другой, и с тревожной думой смотрит в туманную даль. Все есть в этой думе, и трудно сказать, чего больше — мысли, сердца, фантазии и старания обмануть себя или чего другого; образы прошедшего, призраки и чаяния будущего сталкиваются в голове и набрасывают на все ее образы, создаваемые ею вместо мыслей, тот же туманный покров, какой лежит на простирающейся пред глазами дали. Тут все мыслит в человеке с ног до головы, и, разумеется, мыслит неясно, безотчетно, детски, как умеет мыслить только юность, незнакомая с разделениями и определениями.

А и теперь каждого встречают тоже три дороги, какие останавливали сказочных богатырей по выезде из дома родного батюшки. Это не<sup>1</sup> карьеры, которые устраиваются для каждого большею частью посторонними обстоятельствами, независимыми от нашей воли; это особые мирозерцания, особые отношения к жизни, которые каждый может и должен избрать свободно, добровольно. Первая, средняя, есть дорога предания, пассивного, послушного следования за другими. Другая, направо, есть дорога насилия, физического, умственного или нравственного — все равно, дорога людей, стремящихся вести других за собой, давать им тон, вертеться везде впереди, импонировать...

14 авг[уста]

Не так еще давно из разных лагерей неслись дикие крики, призывавшие к благоговению пред народом, пред черной народной массой. На колени пред народом! Учитесь у народа уму-разуму! Черпайте из его священной сокровищницы великие уроки истины и правды! Скиньте свои паскудные сюртучишки и облекитесь в эти святые зипуны! Последний призыв нашел многих последователей. Но между тем как раздавались эти вопли о поклонении пред мужиком, мужик не слушал, да и не слышал их; между тем как увивались около него и лизали его грязный зипун, он — сказать к чести его — смеялся над этим холопским занятием. Эти вопли и безобразия, кажется, проходят, разумеется, без результатов и уроков, как все проходит на Руси. Но и теперь иной мистический глубоко-мысленный анналоед не прочь пугнуть робкого новичка, таинственно указывая на неразгаданный смысл, на эту коренную суть нашей народности, таящую в себе чудеса; красиво задумавшись и повесив голову, с видом генерала от истории он любит кольнуть начинающего или непосвященного замечанием: «Что все ваши изыскания и разглагольствия? Вот поди-ка, разгадай-ка мне, что таится в глубине народного нашего духа, раскуси-ка ядро нашей народности — и тогда найдешь чудеса неслыханные и невиданные. Жар-птицу за хвост поймашь, камень самоцветный в карман положишь!»... Но ведь это то же холопское ползание пред зипуном, только в более приличном, ученом виде...

Благоговение пред народом, массой, пред черноземной нашей почвой, пред ее глубокой и широкой нетронутый

<sup>1</sup> Далее зачеркнуто одно неразобранное слово.

натурой! Но ведь благоговение возможно только пред сознательной, духовной силой. Имеет ли смысл преклонение пред громадой Мон-Блана? Наш народ совершил много великого, еще не признанного, не оцененного ни им самим, ни благоговеющими пред ним народопоклонниками. Но в создании этого великого действовали силы, подобные тем могучим и слепым силам, которые подняли громадные горы. Им можно изумляться, их можно страшиться; всего лучше спокойно изучать их действие и создания; но поклоняться им есть детская нелепость; подозревать в них таинственный глубокий разум есть самообольщение; это значит прилагать к ним, как к стене горох, свои собственные идеи или измышления, рядить их в свои наряды, как дети рядят куклы, и потом вести с ними умные беседы, слышанные от папеньки и маменьки. Что материальнее, бессознательнее чувства самосохранения? А ведь только эта одна могучая сила двигала нашим народом в его великих, гигантских деяниях. Все его малозамечаемые пока историей создания запечатлены резкой печатью борьбы за жизнь. Слава народу, который выдержал эту борьбу: поучительна история этой борьбы для будущих веков, но этим еще не завершается его призвание; надо еще подождать, пока он оправдает свое право на жизнь, столь мужественно завоеванное; надо подождать, было ли зачем огород городить,—и тогда уже с благоговейным вниманием и надеждой искать в глубине его народности, его духа той глубоко поучительной разумной сути, которая даст нам чудесные истины для будущего. Эта разумная суть развивается и обнаруживается сама для разумно ищущего глаза только тогда, когда народ, совершив с победой материальную борьбу за жизнь, начинает жить на счет свободных, разумных сил, запасается свободными, разумными интересами. А эта предварительная черная работа, закладка материальных основ жизни, пусть продолжается она тысячелетие, проста и понятна, ибо в сущности везде и всегда одинакова; изучать ее ход надобно внимательно и долго, ибо это все же работа человека, человеческого общества; и в формах, какие она принимала, могущих разнообразиться до бесконечности, легла не одна черта оригинальная, характеризующая природу человеческого общества в<sup>1</sup> известном положении или прознаменующая имеющий сложиться впоследствии, в другом периоде жизни, характер народа, его мирозерцание; но в массе, вышедшей из этой

<sup>1</sup> Здесь В. О. Ключевским поставлен знак сноски.

приготовительной работы, подозревать чудеса, искать необыкновенных уже образовавшихся свойств и явлений духа значит отведывать неиспеченное тесто. Эта масса всегда и везде одинакова в сущности; ее особенности внешние имеют только временное или местное значение, и было бы напрасно искать в ней свойств духа человеческого, имеющих вечное и общее значение, дополняющих развитие его неисчерпаемого содержания. Такое искание может только навредить тому более простому изучению, которого ждет совершившаяся приготовительная работа народа...

1868 г.

...Самая строгая наука не обязывает быть равнодушным к интересам настоящего. Если история способна научить чему-нибудь, то прежде всего сознанию себя самих, ясному взгляду на настоящее. В этом отношении интересы текущей жизни, уроки ее, могут служить надежной руководящей нитью, готовым указанием на то, что наиболее требует разъяснения в своих началах и развитии, а равно и готовой поверкой этого развития. Наше развитие совершалось под тяжелыми влияниями эпохи, когда изменялись не одни внешние отношения, когда переделывались и самые понятия, самые принципы. Из хаоса этих переделок, можно надеяться, мы выносим не одно бесплодное чувство тягости и равнодушия. Если наши опыты, уроки переживаемой нами действительности имеют какую-нибудь цену, то лишь потому, что они настойчиво укореняли в нас сознание необходимости в народной жизни некоторых начал, некоторых основных условий развития и научали нас ценить их как лучшие человеческие блага. Эти начала привыкли сводить к двум главным: чувству законности, права в мире внешних отношений и к деятельной мысли в индивидуальной сфере. В развитии и упрочении этих благ все наше будущее, все наше право на существование. Никто не может сказать, что из нас выйдет в далеком более или менее будущем. Но мы знаем, что из нас ничего не выйдет, если мы не усвоим себе этих элементарных оснований всякой истинно человеческой жизни. Вот наша руководящая нить, маяк, который мы не можем выпустить из вида при изысканиях в сумраке минувшего.

30 марта

В православном обществе есть класс людей, занимающих невыносимое положение относительно церкви. Эти

люди, во-перв[ых], истые дети своей церкви. От нее научились они проводить строгое различие между словом Божиим, откровенной истиной, спасшей мир, и теми формами и формулами, в которые облекла ее человеческая мудрость или человеческое творчество, чтобы приблизить ее к людскому разумению и ввести в круг людских отношений, сделать из нее узел и основу человеческого общества. Они привыкли помнить, что слово Божие вечно и неизменно, а те формы и формулы сильно проникнуты духом времени и места. Они вообще привыкли не смешивать потребностей религиозного духа с наклонностями чувственной природы, имеющими религию своим источником или предметом. Потому они никогда не были за церковь, в которой слово Божие слишком заглушается человеческими звуками, живая и действенная истина поочередно анатомируется схоластикой и гальванизируется религиозным фурором, и вера тонет в море форм и впечатлений, возбуждающих воображение и поднимающих страсти сердца. Пусть эти звуки и эти формы — прекраснейшие создания человеческого вдохновения; пусть веет в них высокая поэзия; все же это — земная плоть и кровь, и церковь, которая этим поддерживает веру в людях, этим действует на них, оставляя все другое на втором плане, — такая церковь падает на степень театра, только с исключительно религиозным репертуаром. Неполное развитие схоластики в вероучении и художественных форм в церковнослужении не спасло католической церкви, этой блудной дочери христианства, ни от богохульного папства с его учением о видимом главенстве и непогрешимости, ни от мерзости религиозного фанатизма с его крестовыми походами на еретиков и инквизицией, явлений, составляющих вечный позор католицизма. Люди, о которых речь, никогда не были за такую церковь: они слишком прониклись духом своей строгой матери, учащей «пленять разум в послушание веры», чтобы сочувствовать учению другой церкви, внушающей «пленять его в послушание чувства». Они ценят дух своей церкви, предлагающей сознанию человека чистую божественную мысль как она высказана в простоте евангельского рассказа и в творениях первоначальных церковных учителей, — мысль, не закрытую для человеческой веры схоластическими наслоениями и не разбавленную поэтическими развлеченными и декорациями. Ее обряд, скудный художественным развитием, всегда трезв и не туманит, не пьянит верующей мысли; формы ее богослужения, простые и сдержанные до сухости, более похожие на первые намеки, не заслоня-

ют собой перед созерцающим умом великой истории примирения Бога и человека, вечной истины и человеческого духа,— истории, которая легла в основание нашей религии и жизни. Этих характеристических свойств форм православия не могут не ценить люди, не любящие жертвовать чистой созерцаемой религиозной истиной возможно красивому ее выражению, возбуждающему наиболее приятные законные ощущения,— люди, привыкшие не терять из-за негармоничного голоса одинокого дьячка нити воспоминаний, вызываемых его чтением и пением,— и пусть указывают им на неразвитость православного церковного искусства или на недостаток пропагандистской энергии, также характеризующий нашу церковь,— они не посетуют ни на то, ни на другое, зная, что с церковью связаны у человека потребности повыше художественных и что не какое бы то ни было насилие, нравственное или физическое, лежит краеугольным камнем в ее основании. Потому-то так крепко стараются они держаться за церковные догматы и формы в их первоначальном, чистом виде, какой они находят в православии. Все их нравственные интересы и много общественных связаны с церковью; ей обязаны они воспитанием и укреплением в себе нравственных начал, которых не могла дать им недалекая, слабосильная школа нашего времени. И однако ж им неловко в церкви; они чувствуют себя будто только вполовину ее членами. Двойная причина производит это. Религиозные основы православия вечны и неизменны, но подробности его догматич[еских] определений, его церковной жизни, церковной обстановки создавались под различными временными и местными влияниями, уже исчезнувшими, и потому теперь обветшали. В глазах этих людей церковная жизнь и формулы церковного вероучения стали бессмысленными, по преданию, по привычке, установившимся переворачиванием великого содержания, завернутого в износившуюся оболочку, ленивым повторением изо дня в день раз затвержденных азов<sup>1</sup> из религиозной азбуки без движения вперед. Им смутно чувствуется что-то чрезвычайно кощунственное в этой неподвижной правильности церковного порядка, и необходимость обновления сознается яснее и яснее.

А между тем как некоторые чувствуют потребность обновления, дальнейшего углубления церковной жизни и вероучения в неисчерпаемое содержание христианства, большинство христианского общества чувствует себя до-

<sup>1</sup> В рукописи: задов.

вольным. Не в его среде создалось это содержание, не ему поведана впервые религиозная истина; наше общество само вышло из купели этой истины, и как тогда начало оно по внешним чертам христианства учиться складам в азбуке этой истины, так продолжает оно складывать и доселе. Здесь оно довольствуется складами отвлекаемой другими интересами в других сферах жизни, а между тем привычка раздвояться нравственно, служить и Богу и мамоне, оставлять религию за порогом будничной жизни родила в последней множество нравственных противоречий, непримиримых, пока не возвратится в нее полнота нравственной жизни, т. е. пока не будет внесен изгнанный религиозный элемент ее. Что же делать этим некоторым людям ввиду двустороннего отчуждения от церкви, с которой они так крепко связаны? Неужели каждому из них остается затвориться в своей душевной келье и там одному продолжить дело, которому нет места ни в праздничной, ни в будничной жизни христианского общества?..

18 апр[еля]

...(К прежнему.) Чтобы идти твердо, надо знать почву, по которой идем. Почва, по которой мы идем, набросана событиями и движениями последних двух десятилетий. Эти события и движения у всех еще в свежей памяти. Их исход в более или менее отдаленном будущем, но во всяком случае, когда бы ни произошел он, он существенно зависит от пробуждения и развития в обществе сил, бездействие которых и дало<sup>1</sup> этим событиям и движениям такое тяжелое направление. Может быть, это направление обнаруживает силу и живучесть, какой нет в его природе, какая искусственно сообщена ему недостатком противодействия: тем сильнее должна чувствоваться необходимость, чтобы эти силы скорее пробудились и восстановили равновесие в духовной жизни общества, нарушенное их продолжительным усыплением. Как среди непрерывных изысканных пиров люди, к ним не привыкшие, ощущают иногда неодолимый позыв к куску черного хлеба, так и мы среди легкой роскоши изысканных теорий не раз с тоской и жаждой вспоминали о самых простых, самых первоначальных основах общественного развития — о бодрости мысли и чувстве законности. Среди наших умственных и общественных оргий эти два питательных элемента находили себе всего меньше места; но чем больше

<sup>1</sup> Здесь В. О. Ключевским поставлен знак сноски.

непереваримые изобретения надорванного духа притупляли наш умственный и нравственный вкус, тем сильнее чувствовали мы питательность этих забытых или отверженных элементов, тем яснее сознавали их необходимость для общественного организма и привыкли ценить их, как лучшие блага, лучшие опоры человеческого общества...

24 апр[еля], набережная

Опять грезы и тревога! Опять на душе тот теплый пар, среди которого легко и свободно распускаются привычные и все еще не надоевшие думы. Сырой ночной дождь лежит еще свежими лужами. Месяц с чистого, жидкоголубого неба сыплет дождем по воде свои играющие блестки, пытливо, дерзко заглядывая в самое гнездо моих дум, и они с тревогой поднимаются, как спугнутые птицы... Вот они, эти белые праздные стены и чешуйчатые богини векового городка: безмолвно, глупо смотрятся они в давно знакомые воды, сжатые гранитом; точно они сделали свое дело, спели свою песню и ждут похвалы или награды. Но в этих стенах и башнях спят великие предания прошедшего: они — его бесполезные, но дорогие и красноречивые гробницы. Когда это прошедшее жило и действовало, и они не были без движения, и они тряслись от народных кликов, и они умели говорить огненными устами свинцовые слова разным заволжским, заокским и заднепровским недругам.

28 мая

Наука русской истории стоит на решительном моменте своего развития. Она вышла из хаоса более или менее счастливых, но всегда случайных, частных, бессвязных, часто противоречивых взглядов и суждений. В ее ходе открылся основной смысл, связавший все ее главные явления, части, остававшиеся доселе разорванными. С этого момента и начинается развитие науки в собственном смысле, ибо только выработкой этого основного смысла явлений кладется прочное основание дальнейшей научной обработке подробностей. Это научное основание нашей истории положено трудом, развивающимся неуклонно почти уже два десятилетия, «Историей России с древнейших времен»\*...

18 июня

Нельзя мыслить без предположений и гаданий. Мысль невольно забегает вперед факта и в области будущего старается положить свои последние результаты. История

человечества есть бесконечный ряд фактов, совершающихся независимо от личной воли, независимо даже, по-видимому, от какого-либо индивидуального сознания. В этом отношении они очень похожи на явления природы: и те и другие одинаково проникнуты характером необходимости и, следов[ательно], сами в себе одинаково чужды сознанию, ибо где действует необходимость, там нет места ни для сознательной воли, ни для свободной мысли. Чтобы овладеть областью таких явлений, мысли необходимо облечь ее покровом своей логики, ибо только под таким покровом и возможно сознание внешнего мира. В истории человечества есть своя связь явлений, свои неизменные законы, столь же чуждые уму и столь же мало покорные его влиянию, как связь и законы явлений природы. Мысль едва в силах обнять необозримую вереницу изменений, пройденных человечеством. Но этот необъятный процесс, этот громадный ряд ступеней, которым первобытный дикарь, дитя и раб внешнего мира, поднялся до сознания какого-нибудь Фихте, отрицающего внешний факт, есть недоигранная драма, роман без развязки и потому не имеет никакого смысла, если мы не поставим в конце его цели, выведенной логически из того смысла, какой сознание даст этому процессу. История слагается из двух великих параллельных движений — из определения отношений между людьми и развития власти мысли над внешним фактом, т. е. над природой. Смысл этого второго движения ясен сам по себе и оставался одним и тем же с первого момента движения. Ход его бесконечен, но результаты легко предвидимы и неизбежны. Мир факта есть мир, совершенно чуждый духу и бессознательный; он существует без него; законы его неизменны, дух может действовать на мир, но не может изменить его законы. Направить их по своему плану, заставить служить себе — вот его неисчерпаемая задача относительно этого мира. Дух встречает отпор своему действию на мир в неизменности его законов, но только пассивный, оборонительный отпор: обратного такого же воздействия на дух, наступления бессознательный мир оказать не может. Так, с одной стороны, только неподвижный отпор, с другой, постоянное наступление — вот залог постоянного успеха в борьбе духа с природой. Не то в среде человеческих отношений. Подобно природе, эта среда возникла также помимо мыслящего и отвлекающего, т. е. индивидуального духа; он не чертил своих планов, когда завязывался первый узел общества; он не присутствовал при установлении законов, по которым живет и

развивается человеческое общество и которые, по-видимому, так же бессознательны, так же неуступчивы влиянию и произволу духа, как и законы безличной природы; он не руководил первоначальными отношениями, сложившимися между людьми: здесь действовали другие силы человеческой природы, менее мыслящие, менее сознательные. Однако ж положение духа в сфере человеческих отношений совершенно другое, нежели в сфере материальной природы; там оно гораздо сложнее и труднее. Эта сфера не чужда ему: он связан с ней неразрывными связями. Возникнув без него, она не может обойтись без него в дальнейшем своем развитии. Он призван быть в нем необходимым активным деятелем, но он здесь не единственный сознательный активный деятель. Среда, на которую он призван действовать, есть живая сознающая себя среда, а не слепая бессознательная природа; его действие встречает не один пассивный отпор от бессознательных сил человеческого общества, но и такое же активное противодействие со стороны других ему подобных умов. Отсюда бесконечная борьба идей, личностей, партий и целых народов. Потому одно основное движение исторического процесса идет быстрее и прямее другого: власть духа над материей развивается быстрее, чем определяются человеческие отношения; законы духа и законы природы сознаны яснее и скорее, чем законы жизни человеческих обществ; там, где метафизика достигла весьма широкого развития и где столько сил природы покорно работают на человека, в общественных отношениях заметно и сильно действует еще много черт, относящихся по своему характеру к поре первоначальных варварских обществ. С самого момента зарождения первого общества до настоящего времени борьба сознательных и бессознательных сил человеческого общества вызвала бесконечный ряд перемен, сопровождающийся страданиями для человека. Высший пункт, который наметило себе человечество как цель трудного процесса определения человеческих отношений, но которого оно еще далеко не вполне достигло даже в лучших своих обществах, есть благоустроенное государство и свободная личность. Но эти цели, намеченные сознанием, еще вполне принадлежат к области упований, и разве преувеличивающий глаз способен усмотреть в действительности слабые признаки их осуществления... Благоустройство достигается в государстве ценою страшных жертв на счет справедливости и свободы лица; судя по характеру, какой развивают цивилизованные государства даже в текущем

столетии, можно подумать, что они решительно стремятся превратиться в огромные поместья, в которых чиновники и капиталисты с правительствами во главе, опираясь на знание и насилие, живут на счет громадных масс рабочих и плательщиков. С другой стороны, личность, раздражаемая постоянными оскорблениями ее прав, стремится во имя своей свободы разрушить, по-видимому, самые необходимые основания человеческого общества. Вообще эти два начала до сих пор не нашли средств подать другу другу руку. Очевидно, и государство с своими претензиями и аппаратами благоустройства, и личность с своими воспаленными мечтами о свободе суть одинаково переходящие явления, принадлежащие по природе своей к числу тех, от которых человечество успело уже отделаться. Очевидно также, что эти явления не могут дать смысла истории, если жизненный инстинкт не ведет под покровом их движения более разумного, которое дух человеческий направит со временем к своим высшим целям. Это движение идет давно, и его можно охарактеризовать тем, что в борьбе противоположных начал, действовавших доселе на верху человеческих обществ и одинаково проникнутых духом насилия, выковывалась, как в горниле, способность человека правильно понимать и осуществлять свои отношения к человеку. Все в истории служило этой главной цели. Таким образом, многовековая история получает значение школы, в которой люди учились разумно жить друг с другом. Когда это воспитание кончится и начнет давать заметные плоды, тогда разум человеческий, овладев тысячелетним трудом инстинкта, сумеет снять с человечества все школьные аппараты, которые доселе составляли его историю. Что он поставит на их месте, какие начала, какие формы — это скрывается в дали едва гадаемого будущего...

29 сент [ября]

Поколение людей, переживающих теперь третий десяток своей жизни, должно хорошенько вдуматься в свое прошлое, чтобы разумно определить свое положение и отношение к отечеству. Мы выросли под гнетом политического и нравственного унижения. Мы начали помнить себя среди глубокого затишья, когда никто ни о чем не думал серьезно и никто ничего не говорил нам серьезного. Затем последовали военные бури; с ними совпали первые минуты нашей сознательной жизни, но нам не были известны ни их причины, ни смысл, — да и не нам одним. Восточная война\*, падение Севастополя, Парижский мир — таковы

были первые полученные нами самые свежие и сильные впечатления исторической жизни России, тяжкими камнями повисшие на нашей шее за грех отцов. Под бременем этих впечатлений мы принагнулись и присмирели.

6 ноября

В душе человеческой есть дивное спасительное свойство реакционной экспансивности. Достигнув высшей степени напряжения, сузившись до крайности и здесь натолкнувшись на препятствие, не пускающее дальше, душа необъятно расширяется в прошедшее. Житейский толчок способен был бы привести в отчаяние, если бы эта расширяемость в прошедшее не являлась на помощь. Чем уже и тернистее становится путь человека, чем безнадежнее уходит он в себя, тем шире и глаже разворачивается в его воображении пройденная дорога. С прелестью теплого, насыщенного гнезда восстает пред ним минувшее, восстает не в реальной смуте и холоде, а в той волшебной переделке, какую способно производить с прошедшим только пережившее его сердце. Опять поднимаются песни, когда-то звучавшие, оживают биения, когда-то бившие в сердце. Так всякий раз, когда останавливается движение жизни в будущее, является возможность вновь пережить прожитое, но пережить в другой, идеальной редакции, ибо здесь хозяйничает уже творческий дух, а не внешние силы. Вот где смысл тех камней, которыми и усеян путь человека и о которые он так часто спотыкается в своем вечном суетливом стремлении вперед.

1869 г.

1 янв[аря]

Встречая новый год с обычной грустью и раздумьем, я следую правилу оглянуться на прошлый и занести то новое, что дал он. Прошедший год был обилен для меня внутренней борьбой и скуден той поэзией, которая открывает человеческому разумению сокровенную жизнь природы. Но зато я вступаю в новый год под тяжестью нового нравственного приобретения, которого до сих пор, до 28-го года жизни, не доставало в моем духовном капитале. Прежде переживаемые нравственные невзгоды вызывали реакцию, которая выражалась в бодрости духа, в жажде добра. Тревоги последнего времени оставили другое, дорого стоившее, но очень неблагоприятное наследие. Я впервые почувствовал прелесть зла, сознательного, намеренного зла. Мне пришлось отвесть всю сладость

самодовольствия при виде слез, злости, отчаяния, которые сам вызвал. Оказалось, что зло есть сила, которой можно иногда сильнее влиять на людей, нежели чем другим, более великодушным; оказалось, что часто надо мстить и ненавидеть, чтоб не быть пошлым. Но мне тяжело это приобретение, не варится во мне это наслаждение Мефистофеля, и я встречаю новый год желанием, даже молитвой—оскудеть опять этим новым чувством, и привлекательным и жгучим, как раскаленный империал.

## 2 июня

Трудно понять, почему Гейне вышел у нас из моды. Если величие поэта измеряется силой и полнотой, с какими он воспроизвел затаенные чувства и нравственный образ века, Гейне—величайший поэт нашего времени. Что составляет душу его поэзии? Чем он так неотразимо действует на нас? Это смесь самой разъедающей злобы с глубокой симпатической печалью, та смесь, которая так озадачивает в его великих песенках с теплым, задушевым началом и резко холодным, саркастическим концом. В этом отношении я не знаю более сильного юмориста. Он мучает читателя и вместе дает ему величайшее наслаждение, заставляет его переживать в быстрой очереди и самые горькие, и самые высокие думы нашего века. Говорят, есть яды с чрезвычайно сладким вкусом. В поэзии Гейне есть такой яд. Злоба—результат противоречия, а наш век—неугасимый очаг противоречий. Никогда тоска по свободе не охватывала сильнее европейское человечество, и никогда деспотизм не облакался в такие гигантские доспехи. Ум пролетария перешарил все закоулки общества, перебрал все основы его строя, осудил и отвергнул их как негодные, а социальное неравенство выступает еще угловатее, грубее от примеси аристократической и буржуазной снесь. Дух совершает громадные завоевания во внешнем мире—и все более забывается и подвергается вопросу в своей внутренней, духовной сфере. Никогда личность не чувствовала так сильно свои права и никогда так тяжело не давил ее установившийся, затвердевший порядок жизни, людских отношений со всем аппаратом цивилизации. Сколько элементов для воспитания в человеке тоски и злобы! Но может быть, потому, что Гейне с такой ужасающей силой вылил в свой мятежный стих эти задушевные впечатления времени, его и спешит забыть человечество: оно спешит отвернуться, увидав в нем, как в зеркале, свой ужасный, безобразный образ...

1871 г.

1 августа

...Появление государства вовсе не было прогрессом ни в общественном, ни в нравственном смысле. Я не понимаю, почему лицо, отказавшееся от самостоятельности, выше того, которое продолжает ею пользоваться, почему первое совершеннее, развитие второго в общественном отношении. Говорят, прогресс в том, что приняты меры против злоупотребления личной свободой и эти меры основаны на идее общего блага, идее, лежавшей в основе государства и неведомой в прежней личной отдельности людей. Но опять непонятно, почему солдат, не умеющий пользоваться оружием и бросивший его, стал оттого более вооруженный. Притом теперь можно довольно самоуверенно утверждать, что государство вовсе не было выходом из состояния войны всех против всех. И до государства существовали общественные союзы, кровные, религиозные, которые ограничивали личную свободу во имя лучших побуждений, чем государство. Последнее заменило добровольное и естественное подчинение первых условным и принудительным. В смысле нравственном появление государства было полным падением. Существование государства возможно только при известных нравственных понятиях и обязанностях, признаваемых его членами. Эти обязанности и понятия очень резко отличаются от правил обыкновенной людской нравственности. Ничего не стоит заметить, что эта последняя гораздо нравственнее политической морали. Уже то, что политическая нравственность бесконечно разнообразится по времени и месту, ставит ее ниже частной, которая устояла почти в одинаковом виде от первого грешника до последнего, от Адама до Наполеона III или Бисмарка. Между тем несомненно, что государство являлось плодом очень насущных потребностей общества. Остается точнее обобщить характер и происхождение этих потребностей. Вывод, впрочем, ясен сам по себе: потребности эти создавались различными неправильностями и затруднениями, развивавшимися между людьми. Но едва ли здесь можно усмотреть какой-нибудь прогресс. Если человек ломает себе ногу, едва ли костыль его воротит ему прежнюю быстроту движения; если же этот костыль ослабит деятельность и здоровой ноги, то здесь едва ли что можно видеть, кроме печального падения. Известно, что безнравственная политическая мораль иногда искажала понятия естественной человеческой нравственности. Все можно и должно объяснять; но оправдывать и считать прогрессом — едва ли...

1876 г.

10 сент[ября]

Говорят, одушевление к делу южных славян охватило и массы. Даже сильнее, чем интеллигенцию. Хотя говорят это преимущественно газеты, охотно верится этому, охотнее, чем противному. Масса увлекается легче по недостатку анализа; особенно если источник увлечения прост, говорит чувству и бескорыстен. Говорят далее, но уже не газеты, а мыслители, что такое увлечение — небывалое явление в нашей истории, которым можно гордиться. Тем хуже для нас, что мы, прожив тысячу лет, не испытали еще даже такого увлечения. Несмотря на то, можно поверить и этому. Но совсем невероятно мнение, высказанное сейчас С., что этот энтузиазм есть реакция служению мамоне, которому народ русский предался с 1856 г. Нам будто бы надоела грязь материальных похотей, банков, концессий, стало душно в чаду акций, дивидендов, разных узаконенных мошенничеств, и вот народное чувство вырвалось на свежий воздух человеческих, национальных, нравственных интересов. Общество всколебалось от страха подернуться плесенью от бездействия и зарости травой от затишья, подобно стоячему пруду.

Так[им] обр[азом], текущие события вдвойне любопытны: они наглядно показывают, как делаются исторические события и как сочиняются исторические легенды, т. е. как работает исторический прагматизм. Неудивительно, если историки часто открывают в исторических событиях смысл, которого не подозревали их читатели, когда этот смысл был тайной и для современников событий.

Философы-наблюдатели и философы-историки очень часто подражают тому простодушному сыну, которого мать учила говорить при встрече с покойником «царство ему небесное» и который практиковал эту инструкцию при первой же встрече с свадебным поездом.

1877 г.

21 мая

Стала чуть не общим местом фраза, что с каждым поколением падает нравственность. Особенно любят повторять это люди, которым перевалило за 40. Между тем можно надеяться, что народившиеся и имеющие народиться поколения будут нравственнее нас. Что такое наша нравственность, наше нравственное чувство? Это нечто

очень произвольное, индивидуальное и неясное; все, что в нем ясно, то отрицательного свойства. Мы твердо знаем такие требования морали: не воруй, не утирай носа пальцами, не прелюбодействуй, не ковыряй в носу при людях, не убий и т. п. Оказывается, что наш нравственный кодекс немного ушел от заповедей Моисея, а в некоторых пунктах отстал от него; так, мы знаем, что не следует желать жены приятеля, но если со стороны возжелаемой доказана любовь к возжелавшему, то даже окружной суд, т. е. присяжные, принимают это за смягчающее вину обстоятельство, если из такой aberrации сердца выйдет какое-нибудь уголовное дело. Эта ветхозаветная мораль только подкрашена некоторыми положительными правилами позднейшего изобретения, из которых, впрочем, общеприняты только два: одно — выдуманное христианством, другое — полицией многолюдного европейского города, именно «люби ближнего твоего, как самого себя» и «идя по улице, держись правой руки». Но первое так неопределенно и неловко выражено, что не считается практически обязательным, а второе хотя и соблюдается строго, но не улучшает людских отношений. Христианство пыталось противопоставить отрицательным заповедям Моисея свои положительные заповеди блаженства, но это чисто пассивные добродетели кротости, чистоты сердца, нищенства духовного, милосердия; в них много могильного романтизма, но нет живой деятельности. Их смысл также отрицательный, отличающийся от моисеевского десятословия только грамматической формой: «умри для жизни и всех<sup>1</sup> страстей ее». Деятельной положительной морали мы не создали, потому что<sup>2</sup> мало размышляли. То, что мы привыкли называть размыш[лением]...<sup>3</sup>

## ДНЕВНИКОВЫЕ ЗАПИСИ

1891—1901 гг.

1891 г.

Чит[ал] 19 октября 1891\*.

Хочет догматизировать и канониз[ировать] свои социалист[ические] или даже просто служебные похоти.

Этот зуд общественности — реакция сибаритскому ин-

<sup>1</sup> Далее зачеркнуто: ее.

<sup>2</sup> Далее зачеркнуто: мы.

<sup>3</sup> На этом текст обрывается; оборот листа чистый.

дивидуализму праздного барства как желание жить на земский счет и отвращение от личного труда при неуважении частной барской собственности кр[ес]т[ья]н, реакция принудительному крепостному труду. Не будит, а будирует мысль.

В средневековом мирозерцании признавался Христос без христианства; в соловьевском новейшем — истинное христианство без Христа торжествует, создаваемое неверующими.

Навязывает христианские основы социализму. Наполовину припадок неясной и воспаленной мысли, наполовину риторическая игра словами.

Дон Кихот христианства, который, желая повернуть человечество на христианскую стезю, новых язычников жалует в христианство.

Детские практические упражнения на катехизисные темы.

Трактирная терминология психиатрического общества. Общество Праведного Общежития, составленное из негодяев, — идеал С[оловьева].

Разговор с участковым приставом.

Он подвергает осмеянию закон исторического развития. Это — если бы кто стал негодовать на то, что дерево не растет вверх корнями.

Призыв к тому, что делается без того — рабочие уже на работе, а глупый бездельник бегаёт и кричит: «Ребята, скорей на работу!»

Хр[истиан]ство дано было не как готовый<sup>1</sup> общественный порядок, тогда оно было бы нелепой затеей, а как идеал личной жизни, который, единица за единицей перерабатывая людей, тем улучшает общежитие всякого полит[ического] склада.

Наружность протрезвившегося Любима Торцова\* с отросшими волосами — нечто среднее между длинноволосым попом и лохматым нигилистом — расстрига.

Десертный оратор, Дон Жуан философии.

Что-то пошлое, дурацкое, точно дуралей озорн[ой] ворвался в рабочую комнату, где делали свое дело, все перепутал, напакостил и убежал.

Это прямой внук Аввакума\*: христианское сознание своего времени. За христианство принял вселенское; только тот за эту иллюзию умирать готов был, а этот из нее делает промысл отхожий.

Истор[ическое] и еванг[ельское] хр[истиан]ство.

<sup>1</sup> Над строкой: определ[енный].

Атеисты всемилостивейше пожалованы в действительные статские хр[истиан]е.

Хочет спасать гуртом, не поодиночке, как доселе.

1892 г.

7 мая

Ведь только во сне твое сознание становится вне истории и то лишь одно сознание, а твой грезящий аппарат остается в ее сфере, в области культуры; твое одеяло, которое дает тебе возможность грезить, не стуча зуб об зуб, и твоя добросовестная хозяйка, накормившая тебя безопасным обедом,—ведь это продукты культуры, плоды просвещения, истории. Хромой Ярослав, разбитый Святополком и бежавший в Новгород, не имел ни того, ни другого на своем трудном пути. Идя по тротуару, ты видишь, что встречный обходит тебя слева, и ты норовишь посторониться вправо; извозчик предлагает тебе свои услуги, и ты, имея чем ему заплатить, садишься. Он едет рысью, нахально кричит «берегись» переходящим дорогу мужчинам и женщинам и вдруг без окрика осаждает лошадь. «Что случилось?»—думаешь ты. Ничего,—через дорогу плетется ребенок! Ты думаешь, что все это так просто и естественно, что это искони бывало и всегда быть должно, что мир создан с правилом держаться правой стороны и не давить ребенка. Нет, это не природа, а история. Это не сотворилось, а выработалось, стоило много трудов, ошибок, вдохновенных замыслов и разочарований. Когда ты, бывало, сидел за своим письменным столом, торопливо составляя реферат профессору для зачета полугодия и помышляя тоскливо о пропущенной «Руслане и Людмиле», ни перед собой, ни в себе ты не мог бы найти предмета неисторического: бумага, перо, профессор, опера, самая тоска твоя по ней, наконец, ты сам, как студент, зачитывающий полугодие,—все это целые главы истории, которых тебе не читали в аудитории, но которые ты должен понимать на основании тебе читанного. Размышляя о причинах Реформации, ты обо всех этих мелочах ровно ничего не думал и даже не считал их предметами, достойными размышления, а ведь и причины Реформации читались тебе только для того, чтобы приучить и расположить тебя размышлять о таких мелочах. Чтобы уметь создавать желательные людские отношения, надобно знать, как создавались действительные отношения. Знание прошедшего учит понимать настоящее, а понимать настоящее нужно.

1893 г.

Духи хороши, когда уничтожают запах, и невыносимы, когда сами становятся запахом.

16—19 июня

Значение идей в истории. Два рода идей: 1) маниловские мечты о несбыточном или донкихотские призраки отжитого и 2) новые комбинации мышления, знания и общежития, выведенные из наличных и усовершенствующие наличное мышление, знание или общежитие.

Иногда методологическая ошибка в преподавании есть просто педагогическая бестактность, следствие не сбившегося мышления, а испорченного сердца. Прилагать ко всем историческим явлениям статистический или иной подобный специальный метод, имеющий свою особую сферу применения,— все равно что лечить все болезни хиной. Это методологическая ошибка. Одобрять приемы борьбы национальных или партийных интересов с точки зрения нравственных правил значит смешивать политику, т. е. борьбу, с личной моралью, действие против врага с чувством к побежденному ближнему: это педагогическая бестактность.

Устав запрещает нам открывать заседания для публики, но он не предписывает нам таить от публики наши слова и поступки. Не зажмешь рта и не остановишь пера, да и нужно ли? Заседание перестанет б[ыть] тайной, как скоро звонком закроется.

Тупые практики часто обзывают красноречием убедительность слова и ясность мысли, к[ото]рых лишены сами.

«Съезд историков в Мюнхене». — «В[естник] Евр[опы]», 1893, июнь (Брикнера)\*. Доселе верили в общеобразовательное значение истории, как всякой науки, и в преподавании ее старались возбуждать мысль, образуя ум, питать нравственное чувство образцами доблестей и ужасами пороков, но не действовали прямо на волю, не подготовляли к деятельности практической в известном направлении, не дрессировали посредством изучения истории, а просто учили истории, предоставляя учащемуся самому добиваться конечных практических выводов и житейских приложений.

Теперь начали все чаще заказывать задачи и направления преподаванию истории. Общеобразовательное значение предмета хотят подменить специальными назначениями. Прежде сыну сапожника преподавали обыкновенную

общую историю, а не специальную историю сапожного мастерства. Недавно в Германии сверху поставили вопрос о преподавании истории, приспособленном специально к политическим надобностям именно немецкого имперского гражданина. Общие цели преподавания заменяются местными, конкретными, самосознание человека — немецким политическим сознанием, нравственное чувство — национальным, человечность<sup>1</sup> — патриотизмом.

Сами по себе все эти цели, как общие, так и частные, прекрасны, и ничего нет дурного в том, если они все достигаются разом, если немецкий гимназист из курса истории вынесет и исторически выправленное мышление, и живое нравственное чувство, и немецкий имперский патриотизм. Цели частные, местные сами по себе не возбуждают опасений; тревожно то, что теперь считают нужным говорить о них. Из этого следует, что считают нужным усиленно добиваться их на счет общих, а не желают или не надеются добиться тех и других вместе. Напрашивается целый ряд печальных заключений: значит, или общеобразовательные гуманные задачи<sup>2</sup>, прежде удававшиеся преподаванию, теперь ему стали не под силу, или они надоели, потеряли кредит и понадобилось заменить их более грубыми, или прежнее преподавание было бесцельно и шло куда глаза глядят, т. е. не шло никуда или шло, не зная куда, или у истории по самому существу предмета нет своей собственной научной цели, а могут быть только посторонние прикладные, т. е. накладные, — и таких печальн[ых] или можно надумать немало.

Не наука виновата, если с ней не знают, что делать, как обращаться. И выправка мышления, и развитие нравственного чувства, и политическое сознание, и чувство любви и долга к отечеству — очень хорошо, если все это является результатом изучения истории, но все это создает большие затруднения, как скоро ставится как задача ее изучения. Прежде всего возникает очень трудный вопрос: как этого достигнуть, какие для того нужны приемы. Для каждой спец[иальной] цели нужны и особые приемы, своего рода спец[иальный] метод. Это может показаться парадоксом; скажут, что методы изучения не подбираются по целям, а извлекаются из самого существа науки, из свойства и значения материала, подлежащего изучению. Да, методы изучения, ученого изучения, не подбираются по целям изучения, а указываются приро-

<sup>1</sup> Над строкой: «людскость».

<sup>2</sup> Над строкой: цели.

дою наук, и так как у всех наук только по одной природе, то у каждой из них должно быть только по одному методу, соответствующему особенностям ее содержания. Но<sup>1</sup>, казалось бы, то же можно сказать и о целях научного изучения: ведь и они должны ясно и непрерываемо указываться свойством и знач[ением] изучаемых предметов, а вот педагоги-преподаватели пререкаются о них. Это потому, что они — педагоги-преподаватели. Они ведут речь не о научных, а о педагогических целях и должны различать методы научного изучения и методы школьного преподавания; те и другие — не одно и то же, и последние даже сложнее первых, потому что должны соотноситься не только с изучаемым материалом, но и с обучаемым персоналом. Преподаватель обращается не к изучаемому предмету с целью познать его, а к воспринимающему мышлению с целью передать ему готовое познание, и передать не механически, как перекладываются вещи с места на место, а как свеча зажигается от другой, со всеми последствиями горения, светом и теплом. Преподавание — одно из средств воспитания, а в воспитании всего важнее знать, с кем дело имеешь и как его лучше сделать. Отечественную историю нельзя преподавать в высших классах гимназии так, как ее преподают в начальных сельских и городских училищах, и наоборот, хотя научная цель преподавания там и здесь одинакова — познание хода и склада жизни отечества. Многообразие преподавательской методики увеличивается еще оттого, что преподавание как воспитательное средство не останавливается на научной цели, а считает себя призванным готовить учащихся и к практическому употреблению приобретенных в школе научных познаний. Преподавание тем живее чувствует потребность вводить в учебные курсы такие прикладные выводы, что чисто научные цели достигаются им далеко не вполне. Желательно было бы, чтобы курс истории открыл пониманию учащихся законы и условия исторического процесса, но разумеющий свое дело учитель средней школы не поставит этого прямой и главной целью своего преподавания. Однако он понимает, что как бы искусно ни провел он перед глазами учеников цепь исторических явлений, изложенных в учебнике, какими бы детальными иллюстрациями ни пояснил их со своей стороны, изображаемые<sup>2</sup> им явления, не выходя из пределов учебного кругозора, останутся туманными кар-

<sup>1</sup> Над строкой вопросительный знак.

<sup>2</sup> Под строкой: рассказав.

тинами, движущимися по экрану; и, не имея возможности вскрыть перед учащимися закулисную механику этого движения, без чего вся историческая панорама может показаться простой иллюстрированной сказкой, он, естественно, старается осмыслить ее каким-либо доступным ученическому пониманию прикладным выводом и ставит в конце своего рассказа известное *fabula docet*<sup>1</sup>. Воспитатель найдет пищу юношескому сердцу и воображению и на тех высотах знания, которые недоступны для юношеского ума. Притом и эти не чисто научные, так называемые прикладные выводы вовсе уж не так бесплодны на деле для чистой науки, какими кажутся сами по себе<sup>2</sup>.

Р[оссия] и Фр[анция] в 1892—[1893] [гг.]: бывшая революционерка обнимает будущую.

Физический патриотизм — не любят родины, а тоскуют на чужбине<sup>3</sup>.

Наша литература — печатная корреспонденция между писателем без должности и должностным писарем-канцеляристом и его дочерью-курсисткой.

Умному талант часто мешает быть умным<sup>4</sup>, а дураку дает вид умного.

Сборный человек, умств[енная] и нрав[ственная] компиляция.

Иные умеют ничего не уметь.

+<sup>5</sup> Не умея держаться в обществе<sup>6</sup>, пессимисты жалуются, что общество не умеет держаться или жить с ними.

Человек — на свою тень.

+ Человек без воли и ума с одними инстинкт[ами] — у него нет рук, но 4 ноги.

С некоторыми людьми можно ужиться, только не зная их.

Сколько времени нужно людям, чтобы понять прожитое ими столетие? Три столетия. Когда человечество поймет смысл своей жизни? Через 3 тысячи лет после своей смерти.

Люди б[ольшей] частью пробавляются встречными знакомыми и встречными идеями, не имея ни друзей, ни своих убеждений.

<sup>1</sup> молва учит (лат.).

<sup>2</sup> Далее оборот листа и 7 листов с оборотами оставлены чистыми.

<sup>3</sup> Далее 17 строк до конца листа оставлены чистыми.

<sup>4</sup> Над строкой: делает дураком.

<sup>5</sup> Здесь и далее значок + поставлен Ключевским.

<sup>6</sup> Над строкой: жить с людьми.

- + Упрямство в молодости есть предчувствие<sup>1</sup> характера, в зрелом возрасте — отчаяние в нем<sup>2</sup>.
- Самолюбие чистое без примеси честолюбия — голый зуд личного интереса без всякого чувства чести.
- Гипнотизм — явление скорее религиозное, чем научное, вроде демонологии: он начинает существовать с той минуты, как начинают думать, что он существует. Это не гипотеза, объясняющая, что есть, а суеверие, допускающее, чего нет и не нужно.
- + Два рода праздных людей: одни делают что-нибудь от нечего делать, другие ничего не делают, не зная, что делать. Одни делом прикрывают безделье, другие бездельем спасаются от дела. Первые — спортсмены, вторые — мыслители, но бездельники и те и другие.
- Глаза<sup>3</sup> — не зеркало души, а ее зеркаль[ные] окна: сквозь них она видит улицу, но и улица видит душу.
- Им служат не умы, а только аппетиты.
- Прежде чем требовать, чтобы другие были достойны нашей любви, надобно заслужить их любовь.

### Конспект

Прежде всего показать, какие пути общения активного и пассивного России с З[ападной] Европой проложены были Петром и после него; что Россия воспринимала с З[апада] и как в свою очередь действовала на течение з[ападно]европейской жизни. Активное — международное политическое, пассивное — культурное. Они противодействовали одно другому: первое ставило полит[ическую] жизнь Европы в зависимость от России, второе ставило Россию в зависимость от Европы. Это противоречие в тогдашнем положении России. Но противоречиями поддерживается движение, развитие. Двойкий выход в XVIII в.: попытки установить разборчивое отношение ко второму и сделать необходимым (для европ[ейского] равновесия) первое. Перипетии в отношении к зап[адному] влиянию с Петра I. Объем влияния до Ек[атерины] II. Расширение сферы влияния при ней (идеи, литература, искусства). Проблески скептицизма в отношении к З[ападу] и помыслы о национ[альной] самобытности (Фонвизин и Болтин). Революция переносит реакцию из области мысли в политику.

<sup>1</sup> Над строкой: искание.

<sup>2</sup> Над строкой: найти его.

<sup>3</sup> Над строкой: Лучшие.

8 июля, С.-Петербург

Считают нелюдимом; на самом деле только застенчив и его лаской можно взять в руки. Реалист, наблюдателен и любознателен, и непривычка к отвлеченным вопросам — пробел воспитания скорее, чем недостаток мышления или предубеждения.

Политические вопросы д[олжны] быть в программе. Только от преподавателя и могут они быть усвоены и разъяснены. «Вы д[олжны] помнить, что вы проф[ессор] и преподаете, что находите нужным. Делайте, что следует делать, а что из этого выйдет, за это вы не отвечаете». Наше дело сказать правду, не заботясь о том, что скажет какой-н[ибудь] гвард[ейский] штаб-ротмистр. Надобно рассеять мнения и предубеждения самоуверенного окружающего невежества: «конституция — нелепость<sup>1</sup>, а республика — бестолочь». У России общие основы жизни с З[ападной] Евр[опой], но есть свои особенности. Что теперь несвоевременно, то еще нельзя назвать нелепостью; робкое предположение, что со временем мы примем европ[ейские] политические формы (и даже скоро), рано или поздно установим те же порядки, хотя и с некоторыми особенностями. Надобно исторически показать происхождение и смысл этих форм и стремлений. Нечего есть, и потому народы требуют обдуманного распоряжения его деньгами. Против догматизма. Я за это: историческое изложение покажет, что новое начало не произвол мысли, а естественное требование жизни.

Избегать ненужных подробностей, бьющих на нервы, но пользоваться склонностью к картинности и не делать огульных характеристик. В-т — безбожник и только! Это тот, кто провел веротерпимость не в избранный круг людей, а в понимание масс (я: сделал это потребностью общежития). Двигатели, руководители<sup>2</sup> д[олжны] быть характеризованы не одним анекдотом или эпитетом.

+Предстоит, не подчеркивая, нечувствительно вовлекать мысль в непривычные исторические размышления — и пробудить интерес. Беседа, конспект для предварительного ознакомления с ней, чтение по точному указанию на 1½ часа в сутки, не требуя отчета и прямо поощряя сделанным успехом к дальнейшему, поддерживая веру в свои силы. Беседа — не монолог.

<sup>1</sup> Над строкой: беспорядок.

<sup>2</sup> Над строкой: Робеспьер.

Запастись пособиями, картами и представить счет. Курс продолжить на другую зиму — от меня. Оглядку не с первого раза, а установив ход дела, чрез месяц, например.

Конспект, крупно и разборчиво переписанный, в две печ[атных] страницы для каждой беседы. Не репетиция пройденного пути, а изучение вновь.

Министр: история должна же давать им уроки, а этого они ни от кого не услышат, кроме профессора. Это ляжет в них на всю жизнь. Соррель. Прежде всего им надо говорить правду. Тэн — разговор о нем с самим: всего не читал, но местами — больше всего понравился язык. Как изображены злоупотребления монархии! А как дошло дело до террора, и эти злоупотребления показались маловажными, сносными сравнительно с ужасами [17]93 г. Признание о самодержавии, сцепляющем агломерат народов; без него, уверен, отпадут и Финляндия, и Зап[адный] край, и Кавказ. О Виноградове и Грановском, Васильевском, о бестактности «М[осковских] вед[омостей]» по поводу Корфа\* и путешествия ц[есареви]ча\*.

Лица окружающие: гр. Олсуфьев — самолюбие, капитан А. — корабельная архитектура — прекрасный молодой человек, врач Альшевский — надобно щадить его самолюбие (его система лечения холодным воздухом). Живут вместе, тесным кружком, как на необитаемом острове<sup>1</sup>.

Учителя истории дают уроки истории, но не сама история: зачем ей это делать, когда на то есть у ней учителя?

История, г[ово]рят не учившиеся ист[ории], а только философств[овавшие] о ней и потому ею пренебрегающие — Гегель, никого ничему не научила. Если это даже и правда, истории несколько не касается как науки: не цветы виноваты в том, что слепой их не видит. Но это и неправда: история учит даже тех, кто у нее не учится; она их проучивает за невежество и пренебрежение. Кто действует помимо ее или вопреки ее, тот всегда в конце жалеет о своем отношении к ней. Она пока учит не тому, как жить по ней, а как учиться у нее<sup>2</sup>, она пока только сечет своих непонятливых или ленивых учеников, как желудок наказывает жадных или неосторожных гастрономов, не сообщая им правил здорового питания, а только давая им чувствовать ошибки их в физиологии и увлече-

<sup>1</sup> Далее четыре строки оставлены чистыми.

<sup>2</sup> Над строкой: доказ[ывает] т[о]л[ь]ко свою пользу.

ния их аппетита<sup>1</sup>. История—что власть: когда людям хорошо, они забывают о ней и свое благоденствие приписывают себе самим; когда им становится плохо, они начинают чувствовать ее необходимость и ценить ее благоденствия.

28 июня, 10-й час вечера по моск[овскому] времени, между Чебоксарами и Козмодемьянском

«Александр» бежит прямо на Запад, где горизонт догорает последним огнем вечерней зари. Над заревом повисли разорванными лоскутами темно-синие редкие облака. Речная даль впереди белеет тускнеющим стеклом, справа окаймленным чуть заметной линией низкого берега<sup>2</sup>, и слева поднимается лесистая изогнутая стена. Впереди светло и свежо, а позади парохода сырая и серая мгла сливается с шумом взбудораженной воды и туда убегает черная струя дыма, мед[ленно] выползая из паровой трубы. На крытой палубе полегли вповалку<sup>3</sup> мужики и бабы, а по открытой носовой площадке бродят взад и вперед господа и госпожи 1-го и 2-го класса, парами и поодиночке, готовясь ко сну<sup>4</sup> и договаривая друг другу последние слова или додумывая последние мысли. Колеса глухо мелют воду, а от носа парохода в обе стороны убегают, пенясь и извиваясь на водяной зыби с мягким<sup>5</sup> рокотом, две недовольные чешуйчатые волны.

Кама, 27 июня

## История

Можно знакомить гимназиста с порядками, учреждениями, среди которых ему придется действовать, с людьми, с которыми ему придется иметь дело по выходе из школы, объяснять ему, что значит, для чего назначены и как сложились эти порядки, учреждения, как воспитаны и к чему стремятся эти люди. Здесь нет ничего преждевременного: человеку, готовящемуся вступить в действительную жизнь, отчего заранее не показать обстановку предстоящего ему пути? Это только поможет ему тверже идти по нему. Но говорить гимназисту о понятиях, чувствах и

<sup>1</sup> *Над строкой:* Слепые не видят цветов, но ощуща[ют] свет.

<sup>2</sup> *Далее зачеркнуто:* позади парохода.

<sup>3</sup> *Далее зачеркнуто:* разместились.

<sup>4</sup> *Над строкой:* нагуливая сон.

<sup>5</sup> *Над строкой:* мягко плещущ[им].

впечатлениях, которые возникнут в нем только по выходе из гимназии, на самом пути действ[ительной] жизни, заранее внушать ему, как он после должен относиться к тому или другому,—это значит разучивать жизнь, как разучивают театральную пьесу, натаскивать гражданина до гражданского возраста, как натаскивают охотничью собаку до настоящей охоты, внушать школьнику идеи и ощущения, прежде чем он в состоянии перевести их в действия воли. Это просто значит делать из человека либо актера, либо автоматическую машинку, полсжить ему в рот фальшивые макароны и заставить их жевать как настоящие, или еще хуже—положить настоящие и сказать: «Жуй, но держи пока во рту, а проглотишь завтра, когда будет аппетит<sup>1</sup> (когда придет время обеда)». До каких педагогических и даже прямо безнравственных выводов можно дойти, идя последовательно таким путем мышления! В воспитании надобно различать общие средства, которыми запасаются в школе для удовлетворения всяких потребностей, могущих возникнуть на жизненном пути, и специальные потребности, ожидающие человека на этом пути. Дать эти средства—задача школы; пробудить эти потребности в школьниках значит заменить преподавание политической гимнастикой.

Есть мысли, не приближающие к истине, но расстраивающие общежитие,—это мысли о противоречиях бытия. Гораздо больше нужно ума, чтобы их избежать, чем чтобы до них додуматься. Потому чаще всего до них додумываются полоумные.

+ Большинство современных верующих имеют не веру, а только аппетит веры, как дурной остаток хорошей наследственной привычки; это влюбчивые в церковь религиозные старички, которые, утратив способность верить сердцем, смакуют воспоминание о вере воображением.

Какая мерка для оценки прошедших исторических состояний?

У маленьких людей всегда большие притязания, как у несчастных большие надежды, и наоборот. Потому маленькие и несчастные утешаются ожиданием того, чего не имеют, а большие и счастливые скучают тем, что нечего желать. Этим поддерживается равновесие общежития: обе стороны не завидуют [друг] другу и мирятся с положени-

<sup>1</sup> Над строкой: проголодаешься.

ем одна другой (первая сторона перестает завидовать второй, а вторая начинает жалеть о первой).

Они так переполнены чувством собственного достоинства, что для самого достоинства не остается в них ни на дюйм места.

П[етр] I готов был для предупреждения беспорядка расстроить всякий порядок.

Предки израсходовали всю пену власти, оставив потомкам только одни осадки<sup>1</sup>.

Популяризатор совсем не то, что вульгаризатор: первый пускает идею или знание по вольному ветру, заражая людей, второй влачит ее по уличной грязи, забавляя мальчишек.

Большинство людей умирает спокойно потому, что так же мало понимают, что с ними делается в эту минуту, как мало понимали, что они делали до этой минуты.

История—факты и отношения, история литературы—мечты, идеалы, настроения. Источники для первой—вся письменность и всего менее художественная литература, для второй—всего более последняя и отчасти остальная письменность.

Многие живут только потому, что как-то ухитрились родиться и никак не умеют умереть. Жизнь их тем бесцельнее, чем нецелесообразнее было их рождение.

Ему ничего не дало воспитание и во всем отказала природа; всего ждать может от судьбы.

Кама, 23 июня

Наше ораторское искусство действует на чувство, а не на волю, трогает, но не убеждает, выкрадывает или ловит чужую мысль, а не склоняет и не пленит ее. Вина в слушателях: они любят быть тронутыми, но не способны быть убежденными; это поврежденные, а не мыслящие люди<sup>2</sup>. Оратор к мысли слушателя прокрадывается, чтобы разбудить, как осторожная горничная к спящей нервной барыне—сперва осторожно погладит. Скажите громко прямо к разуму: «Сударыня, пора вставать!» Испугаете и вызовете истерический припадок.

Аксиомы не доказываются; их истинность доказательна своей неопровержимостью.

Сидячее движение современного европейца сообщает современной действительности призрачный характер<sup>3</sup> электрического солнца среди темной ночи.

<sup>1</sup> Далее две строки оставлены чистыми.

<sup>2</sup> Далее: Ср. Сизс С. Бева V, 199.

<sup>3</sup> Над строкой: свет.

1899 г.

Перелом во властях со второй забастовки — ожесточение.

Неделя 15—21 февр[аля]

Понед[ельник], 15-е — начало забастовки\*. Сцены у Соколовского и Виноградова. Правление увольняет 34 студента за сходку<sup>1</sup>, 17-го — Ласточкина и Яковлева за выходы и еще 58 за агитацию. 18-го — еще увольнение 70-ти с чем-то (всего, кажется, 165). Семинарий у меня не состоялся. 18-го студенты просили за Яковлева\*. 21-го — частное совещание<sup>2</sup> профессоров с ректором. Эпизоды. Полномочие профессорам от ректора объявлять студентам о предстоящем пересмотре приговоров правления.

Маслен[ица], 22—28 февр[аля]

24-го — обед у Герье для юбилейных ораторов со Стасюлевичем<sup>3</sup>. Предостережение «Вестнику Е[вропы]»\*. Он за Николая I. Ссора Чич[ерина] с Ф. Коршем у Станк[евича] в тот же вечер. 28-го — у Черинова с Чичер[иным] об искусстве, сектах (у Трубецкого 26-го — о разговоре его с Боголеповым<sup>4</sup>).

1-я нед[еля поста], 1—7 марта

2 марта депутаты Исп[олнительного] комитета у меня с петицией\*. 3-го — два объявления о возвращении высланных. Разрешенные ректором генеральн[ые] сходки\* по факультетам (3-го и 4-го). На генеральной в актовом зале — 700 забастовать, 300 против. На филологической около 30 не прекращавших посещение лекций удалены со сходки и просили инспекцию защитить и поддержать их. Семинария 4-го опять не было: студенты усилы помощником инсп[екто]ра на сходку для усиления партии мирных. Просьба ко мне забастовщиков повторить пропущенные лекции (6-го).

2-я нед[еля поста], 8—14 марта

Возобновление лекций, нормально посещаемых<sup>5</sup>. Повторительное чтение (11 м[арта]) от 2 до 4 [часов]. Бюлле-

<sup>1</sup> Далее зачеркнуто: 16.

<sup>2</sup> Подчеркнуто красным карандашом.

<sup>3</sup> На полях: 22-го полиция у Никольского?

<sup>4</sup> Подчеркнуто синим карандашом.

<sup>5</sup> Далее зачеркнуто: Просьба ко мне от забастовщиков (10-го) повторить пропущенные [лекции].

ть 11 м[а]рта о формах дальнейшего протеста, решенно-го 1035 голосами при 481 еще не поданных (продолжать ли забастовку или петицию Ванновскому\*). 13-го решена<sup>1</sup> забастовка.

3-я нед[еля поста], 15—21 марта

Возобновление забастовки по постановлению большинства. 15-го Герье уговаривает вместо лекции. Ему: лично против забастовки, но подчиняются большинству (значит, оно из противников его +из минусов)<sup>2</sup>. С 17-го прекращение занятий с увольнением всех студентов до 22-го\*. Насильственное прекращение лекции Соколовского 16-го. Болезнь ректора Зернова\*. Поводы вторичной забастовки: неисполнение обещания сходов ректором и требование педелиной инструкции. 17-го—прекращение занятий в у[ниверсите]те. 19-го—у Беклемишевой Нарышкин о возобновлении занятий по решению большинства на сходке 1 марта в Петерб[ургском] у[ниверсите]те. В Харькове занятия возобновились после вторичного приема всех студентов, объявленных уволившимися. 17-го Угримова—о взятии Киевского у[ниверсите]та Драгомировым: «У[ниверсите]т занят; жду неприятеля». Там со стороны студентов были буйства в аудиториях и лабораториях. У нас 15-го и 16-го студенческие педели только наблюдали и записывали посещающих лекции. Впрочем, Тихомирова или Зографа пытались на лекции заставить уйти (при 4 слушателях) дов[ольно] грубо. 19-го первый разговор с Яков[левым] (растерянное стадо; картина сходки на универс[итетском] дворе). Мысль о вмешательстве. Временное закрытие Петерб[ургского] у[ниверсите]та 19 марта. «Моск[овские] вед[омости]» 20 марта\*. 21-го второй разговор с Яков[левым] (сцены при высылках). Невозможность обращения вследствие новых распоряжений у[ниверсите]та и полиции.

Высылки

4-я неделя поста, 22—28 марта

Разговоры с Ист[оминим] 22-го и 23-го: прекращение высылки невозможно; много слов; теперь общие меры; участь высланных облегчена будет при благополучном окончании дела. (21-го же рассказы Яков[лева]\*: добродушные полиции, жандарм[ский] офицер дает взаймы высылаемому; арест плем[янника] ректора; сцена на вокзале

<sup>1</sup> Подчеркнуто красным карандашом.

<sup>2</sup> На полях фраза очерчена красным карандашом.

утром 22-го и шапки долой; плачущая ректорша; сцены на Бронной при высылках и прислуга: «За что же их? Побили, что ль, кого?» До науки ли? Провокаторы с «Рим[ским] правом» Богол[епова]\* и шпионы с фотогр[афическими] приборами)<sup>1</sup>. 24-го похороны Троицкого. 25-го экстренное заседание ф[акультета]: не возобновлять лекции ввиду 3-й забастовки. 26-го очередное заседание: нападение на Брандта за переданный им выговор попечителя ф[акультета] по поводу его назначения и[сполняющим] д[олжность] декана. Вечер у Дек.: толки о действиях педелей. Толки о экзам[енационной] забастовке\*<sup>2</sup>. Бойкотир[ование] Соколов[ско]го на улице: шарлатан, спортсмен!

5-я нед[еля поста], 29 м[арта]—4 апр[еля]

Предположенное по слухам битье Тих[омирова] не состоялось. 31-го б[ыл] Як[овлев] и хотел уехать домой. 1 апреля начало экзаменов на юрид[ическом] ф[акультете] и в комиссии. Первые вызванные отказались; третий отвечал; сто прошений взято назад. Цитович обещает льготы<sup>3</sup>, каких не ожидают. Покорное отношение попечителя к Трепову. 3 апр[еля] вечером митроп[олит] и Ус. Организация студ[енче]ства у Исп[олнительного] комитета: выбор членов с кандидатами по запискам, докладчики, десятники. Смена состава при подозрении полиции. Заседание к[омитета] в бассейне Санд[уновских] бань. Слова гр[афа] Толст[ого] студентам о порченной пище в трактире и Тим[иряз]з[ева] о трактире угарном. Снегир[ев] и его сын, высланный в деревню.

[1890-е годы]

29 дек[абря]

У нас всегда были и теперь есть много ученых и мыслящих дельцов, прекрасно знающих<sup>4</sup> каждый среду, в которой он действует, умеющих следить за движением житейской волны, которая несет его. Но у нас недостает приборов, приемов и привычек, чтобы подводить общие итоги жизни, и потому нет умения собирать и сводить дробные, микроскопические наблюдения в общее представление о положении дел, в цельную картину пережива-

<sup>1</sup> Скобки поставлены синим карандашом, на полях текст очерчен красным карандашом.

<sup>2</sup> Подчеркнуто красным карандашом.

<sup>3</sup> Подчеркнуто красным карандашом.

<sup>4</sup> Над строкой: из коих.

емой минуты. Короче, у нас очень неудовлетворительно устройство народного самонаблюдения. Космогонический богатырь былин, который с трудом поднимает свои тяжелые ресницы и еще не видит своих ног, потому что по пояс в землю врос. Эта отсталость наблюдения от действительности, недостаточное понимание своей собственной деятельности, словом, недостаток народного самосознания— вот точка<sup>1</sup> зрения, которая служит исх[одным] пункт[ом] русск[ого] пессим[истического] мирозозерц[ания], почва, на которой растет русский пессимизм. Как скоро на эту почву попадет нетерпеливая, излишне возбужденная туземная мысль<sup>2</sup>, вырастают представления, которые становятся питательным содержанием<sup>3</sup> пессимизма. Это представления о том, что русская мысль и русская действительность далеко разошлись друг с другом и идут каждая своей дорогой, что первая, не понимая потребностей второй, не в состоянии направлять ее, а вторая, предоставленная своим стихийным влечениям, может привести к роковым результатам или по крайней мере к неожиданным кризисам и что не предвидится средств восстановить дружное взаимодействие той и другой.

[1900—1901 гг.]

В ряду мер для упорядочения университетской, собственно студенческой жизни не последнее место занимает устройство материального вспомоществования недостаточным студентам. В заявлениях студентов встречаем горькие жалобы на неравномерное и несправедливое распределение стипендий и пособий, на то, что степень недостаточности при этом распределении отходит на задний план, что стипендия в руках инспекции превращается в награду за благонадежность, зачетную исправность и т. п. Здесь важна не фактическая точность, а самая возможность подобных жалоб и подозрений. Желательно, чтобы не существовало никаких к тому поводов. Насколько важен для студентов вопрос о целесообразном устройстве материального вспомоществования недостаточным товарищам, об этом можно судить по тому, что Союзный совет землячеств, первоначально поставивший себе главной целью оказывать материальную поддержку своим членам, именно по вопросу о злоупотреблении разными видами

<sup>1</sup> Над зачеркнутым: та.

<sup>2</sup> Далее зачеркнуто: из нее.

<sup>3</sup> Над строкой: материалом.

благотворительности со стороны инспекции едва ли не впервые столкнулся с университетскими порядками, проявил свое оппозиционное направление.

Московский университет с примыкающими к нему благотворительными учреждениями располагает весьма обильными средствами вспомоществования недостаточным студентам. Это можно видеть по нижеследующим двум таблицам, из коих первая представляет распределение этих вспомогательных средств по размерам, факультетам и курсам, а вторая — по источникам, из которых эти средства почерпаются. В обеих таблицах сведены данные, относящиеся к 1899/1900 академическому, последнему вполне законченному отчетному году. Эти данные извлечены из записной инспекторской книжки, из дел Правления университета и канцелярии инспектора, из дел Комитета Общества для пособия нуждающимся студентам Московского университета и из дел Комитета Общежития имени императора Николая II<sup>1</sup>.

Материальная помощь студентам в 1899/1900 академическом году выразилась:

1. В выдаче стипендий на сумму приблизительно .....	150 069 руб. 65 коп.
2. В освобождении от платы за слушание лекций (считая годовую плату в среднем равную 90 руб.) на сумму .....	125 550 руб.
3. В выдаче пособий из казенных и благотворительных сумм университета на сумму .....	41 695 руб. 39 коп.
Итого от университета .....	317 315 руб. 04 коп.
4. В выдаче пособий от Комитета Общества вспомоществования недостаточным студентам на сумму .....	36 309 руб. 21 коп.
5. В выдаче бесплатных обедов на сумму ....	22 570 руб. 34 коп.
Итого от Комитета .....	58 879 руб. 55 коп.
6. В пособиях случайного характера на сумму .....	19 260 руб. 03 коп.
7. В даровом содержании 42 студентов в Лепешкинском общежитии (считая в среднем 9-месячное содержание в 308 руб. 43 коп.) на сумму .....	12 954 руб. 06 коп.
8. В даровом содержании 6 студентов в общежитии Николаевском на сумму .....	1800 руб.
9. В скидках с платы за содержание в Николаевском общежитии с остальных студентов .....	6880 руб.
10. В уплате комиссиями и отделениями Комитета Николаевского общежития за содер-	

<sup>1</sup> Далее текст написан почерком неизвестного лица, причем страница пронумерована 4, тогда как предыдущая — 2.

жане в этом общежитии 10 студентов в весеннем полугодии .....	1400 руб.
11. В выдаче пособий деньгами, платьем и обувью студентам Николаевского общежития .....	582 руб.
Итого от Николаевского общежития .....	10 662 руб.
Всего оказано помощи на сумму .....	419 070 руб. 68 коп. <sup>1</sup>

В этот общий итог не вошли суммы, не поддающиеся учету, например стоимость содержания студентов, живущих в Ляпинском общежитии, так что этот итог можно признать минимальным. Несмотря на столь обильные средства вспоможения, в 1899/1900 академическом году 69 студентов были уволены из университета за невзнос платы.

1901 г.

Засед[ание] ком[иссии] 2 марта\*

Одесса, 23 февр[аля], сходка, председатель Нейман. 11 студентов против беспорядков.

Духовской — спросить заключения всех профессоров о причинах волнений.

Предложение Алексева — как судить.

Предложение Снегирева — ознакомиться с данными Мин[истерства] вн[утренних] дел.

Председатель — Зернов.

Студенты требуют совещаний с комиссией по курсам с тремя требованиями.

Предполагаемая сходка у Пушкина от Комитета обществ[енного] протеста со студенч[ескими] требованиями и рабочих союзов (допущения).

Шмеман в Межев[ом] инст[итут]е 1 марта. Межевики требуют Устава [18]63 г.<sup>2</sup> (гонорар в руки профессорам).

Заседание 3 марта

Студенты желают знать текущие дела Правления, судьбу арестованных. Собирают подписи желающих посещать лекции в ожидании перемен универс[итетских] порядков.

Предложение просить о выпуске арестованных из тюрьмы, заменив помещением более сносным или по домам — для осведомления студентов.

Виноградов — выяснить задачи комиссии: 1) выяснение причин волнений; 2) сношения со студентами, сообщения

<sup>1</sup> Далее текст написан В. О. Ключевским.

<sup>2</sup> Над зачеркнутым: мера.

им и заявления от них. Профессора г[ово]рят со студентами отдельно от комиссии. Как отвечать на запросы студентов, когда решения по этому делу еще нет и мнение ее не высказано? Скажу, узнав от Кам[аровского?]. Обращение Комиссии к профессорам о сообщении своих переговоров со студентами.

На вопросы о других унив[ерситета]х отвечать: «Не знаю».

Заседания на следующей неделе в среду и субботу (7 и 10<sup>1</sup> марта 8 час[ов] веч[ера]).

Подкомиссия разбора документов — Цераский, Камаровский, Снегирев и я.

Цирк[уляр] Мин[истерства] н[ародного] пр[освещения] 21 июня [18]99 г.\* Циркуляр комиссии 9 марта [1]901 [г.]: собеседования студентов с их преподавателями в часы лекций по вопросам, касающимся унив[ерситетской] жизни, считать дозволенными. Просить осведомить об этом комиссию.

Сообщая об этом профессорам и приват-доц[ентам], заменяющим штатных профессоров, имею честь указать, что ими могут производиться вышеупом[янутые] собеседования с их слушателями в часы лекций, с тем, однако, чтобы собеседования эти не мешали правильн[ому] ходу преподавания. При этом имею честь просить професс[оров] и преподав[ателей] самих своевременно объявлять студентам об окончании каждого собеседования.

Заседание 17 марта

Слова ректора о роли комиссии.

Попечитель 17 марта Зернову. Сообщить профессорам чрез членов комиссии, чтобы они на собеседованиях не ставили на решение студентов вопроса о забастовке. Если профессора будут ставить такие вопросы и будут принимать от ст[удентов] противозаконные требования, то это будет полным крахом того дела успокоения студентов, которое имели в виду эти собеседования.

Голосование о посещавших у Умова.

2-й курс.

Марта 14 беседа Новгородцева. Странних возбуждений нет. Занятий не возобновят 73 против 60 по причине пострадавших.

<sup>1</sup> Позже исправлена на 9.

Донос 5-ти инспекций. Доверие профессорам. Ректор вызывал Н[овгородце]ва для замечания.

Бумага попечителя от Шварца о прокламациях.

Вывесить список пострадавших.

Заявления студентов комиссии.

[А.] Б. Фохт — заявление от себя.

Павлов — 3-й курс ест[ественного] факультета. Голосование по всем правилам.

Умов — 1-й курс мат[ематиков] и ест[ественни]ков, против забастовки из 200 [голосовало] 185.

Андреев — 1-й к[урс] математиков. Трое не могут поговорить без участия инспекции. Запрос о гарантии комиссии. Отказались сами от голосования по забастовке. Вопрос об студенческом деле, организации поднят профессором. «Когда комиссия кончит дело?» — спрашивали студенты. Обещал осведомлять студ[енто]в о решениях комиссии.

Шесть юристов о порядках.

1-й курс.

Мануилов \* — 160 ст[уденто]в желают возобновлять занятия<sup>1</sup>.

После Соколовского. 12—13 марта в тюрьме 22 студента — Духовской.

У Герье спросить конфиденциальный доклад \* № 22.

Виноградов — выработать весь доклад к лету.

К В. И. Герье 25 марта 2 часа<sup>2</sup>.

Со студентами постом 1901 [г.]

Разрозненность. Против инсинуаций. Средство заявления нужд<sup>3</sup>. Инспект[орские] стеснения. Недостаток близости проф[ессоров] к студ[ента]м. Против обвинения в полит[ической] агитации.

Временные правила \*.

[1.] Недостаток нравств[енного] возбуждения со стороны и поддержки.

2. Кабанов. Способ рассеяния ложных слухов общения студ[енто]в.

3. Средство: курсовая организация с кассой (взаимная близость). По группам (по научным интересам).

<sup>1</sup> Далее зачеркнуто: После Новгородцева, с которым не решили ничего.

<sup>2</sup> Далее три четверти листа оставлены чистыми.

<sup>3</sup> Далее зачеркнуто: Полиц[ейские].

Ненужность инспекций. Читальня — совещат[ельная] комната.

4. Университ[етские] формальности. Вольное<sup>1</sup> посещение лекций. Совпадение обязат[ельных] часов с необязат[ельными].

5.<sup>2</sup> Незнакомство студ[ентов] друг с другом.

6.<sup>3</sup>

## ДНЕВНИК 1901—1910 гг.

1901 г.

### Октябрь

Разрешение курсовых совещаний.

21 [октября]

Адрес факультета (мне?).

25 [октября]

Адрес студентов в Б. Словесной.

27 [октября]

Совещание студентов четырех курс[ов] ист[орико]-ф[илологического] ф[акульте]та под председательством П. Г. Вин[оградо]ва.

28 [октября]

Совет и избрание комиссии 12-ти\* для устройства курсовых совещаний.

29 и 30 [октября]

Заседание комиссии. 30-го — общая сходка в актовом зале с ведома ректора (до 300 чел[овек]).

31 [октября]

Выборы делегатов на 2-м курсе ист[орико]-ф[илологического] ф[акульте]та.

### Ноябрь 3

Мин[истр] Ванновский у меня на лекции. Вечером заседание комиссии и Правления с министром и попечителем. Совещание комиссии и ее решение прекратить свою деят[ельно]сть.

<sup>1</sup> Далее зачеркнуто: [Воль]ная запись.

<sup>2</sup> Далее зачеркнуто: Шестая часть лекций для незначета.

<sup>3</sup> Далее зачеркнуто: О плате.

4 [ноября]

Совещание комиссии с делегатами. После него объявление председателя о намерении выйти из у[ниверситета] при таком попечителе.

5 [ноября]

Хождение депутации (Рот, Умов, Тарасов и я) по этому делу.

Доклад комиссии Совету и сложение полномочий.

7 [ноября]

Совещание бывшей комиссии у кн[язя] Тр[убецкого]\*—собираться по временам для взаимного ознакомления с ходом дел. Утром председательство вм[есте] с кн[язем] Трубецким на собрании 1-го и 2-го курсов для выслушивания от делегатов отчета о хождении к министру. Рукопожатие попечителя.

8 [ноября]

Председательство с кн[язем] Тр[убецким] на собрании четырех курсов ист[орико]-ф[илологического] ф[акультета] для обсуждения открытого их письма к Вин[оградо]ву с выражением благодарности за участие в студ[енческих] делах.

9 [ноября]

Экстренный Совет для обсуждения министерского проекта правил студ[енческих] учреждений\*. Ход прений записан.

13 [ноября]

Совет для избрания комиссии 4-х по делу министерского проекта.

17 [ноября]

Доклад этой комиссии Совету.

20 [ноября]

Собрание бывшей комиссии 28 окт[ября] для обсуждения возражений попечителя на ее доклад и против его печатания. Адресы Вин[оградо]ву с разных ф[акультетов] (более 1500 подписей). Обсуждение проекта заключения комиссии (составл[ен] Вин[оградовым]) по этому делу. Толки о возобновлении комиссии 28 окт[ября] и условиях этого.

## Декабрь

Редакционная комиссия для оправдания отказа Совета образовать министерскую комиссию 13 сентября (я, Бобров, Хвостов и Мануилов).

Совещание у Ман[уилова] о письме П. Г. Виноградову от бывшей комиссии 12-ти.

16 [декабря]

Юбилей Н. И. Стороженко и хождение к Вин[оградо]ву с Герье.

19 [декабря]

Совещание у Шип[ова] (Нарышк[ин], Хомяков, Писар[ев], Стахов[ич]).

(План к 8 янв[аря].)

Вин[оградо]ву от факультета для удержания его от отставки\*.

20—21 [декабря]

Письмо ему от комиссии и его прощальный визит ко мне: «Надеюсь, воротитесь к нам, прежде чем нас уберут с поля сражения». Отъезд и сцены на вокзале: «До свидания, возвращайтесь!» — «Не надо, не надо»; рыдающий на груди Г[ерье?].

22 [декабря]

Ужин у Тест[ова] (18 человек). Речи Давыд[ова], Андреева etc.

23 [декабря]

Адресы.

27 [декабря]

У Е. А. Богол[епо]вой; ее рассказ, как умирал Н[иколай] П[авлович]\*.

29 [декабря]

Обед у Дав[ыдова] с Кони. Гр[аф] Пален и седлецкие униаты (в 1876 и 1888 гг.). О невозможности конституции по разноплеменности населения России. Я о Пугачеве наизнанку. Попытка определить момент: пра[витель]ство и общество перестали понимать и себя и друг друга\*. Письмо Вильгельма\*, показанное А[лександр]ом II Лорис-Меликову, и разговор последнего с Вильгельмом в Берлине после 1 марта<sup>1</sup>.

<sup>1</sup> Далее более половины листа оставлена чистой.

Выписать:

Переселенч[еское] движение — «Моск[овские] вед[омости]», 1901, № 317.

Продовольств[енное] дело — ib., 17 ноября.

1902 г.

Февраль 28, 1-я неделя поста.

Комиссия моя (26 янв[аря]) кончила доклад. Вопрос о депутатии в Петербург. Я против.

Март 1—2

Курсовые совещания о забастовке, разрешенные ректором, даже не спросившим, о чем будет речь. Беспорядочный их ход. У меня в субботу было около 10 слушателей.

5 [марта]

Совет. Доклад комиссии оспаривали Тарасов и Самоковасов; указывал на его противоречие мнению Совета на вопросы министра Духовской. Защищали Мануилов и Хвостов. Особое мнение Тимирязева\* и поход мой к нему с Вернадским\*. Безуспешно. Чтение донесений и прокламаций о событиях в других у[ниверситетах]. Прокламация негодующего на студентов офицера из Харькова. Слухи о беспорядках на Даниловской мануфактуре с казаками и солдатами. Продолжение курсовых совещаний.

Апрель

Крестьянский бунт в Полтавской и Харьковской губерниях (конец марта и нач[ало] апреля). Правит[ельственное] сообщение в «Моск[овских] ведомостях» № 117: Бельгард, полтавский губ[ернато]р, уволен, кн[язь] Оболенский, харьковский, получил Владимира 2-й степ[ени] «за примерную распорядительность» (суворовский налет). Два студента-подстрекателя, которых по усмирении кр[естья]не хотели утопить, казаки отбили. Сахарный песок по дороге, подобранный казаками к чаю. Хохлацкая пугачевщина.

29 [апреля]

Представление профессорской корпорации Зенгеру\*. Ораторская поза; речь произвела неопределенное и скорее неблагоприятное впечатление: нет программы.

Май

Перемена в отношении к рабочим: полиция или охрана против них вместе с фабрикантами. Причину перемены

приписывают Плеве, имевшему будто бы крупный разговор с моск[овским] ген[ерал]-губернатором\*. На Прохоровской фабрике новый набор рабочих с удалением принадлежащих к союзу. Записка Львова: критика фразистая без плана улучшения. Харьковские и полтавские беспорядки приводят в связь с новой системой засыпки продовольственных магазинов, предписанной Сипягиным\*,—по душам наличным, а не по надельным душевым участкам. Лопухин—директор Департамента госуд[арственной] полиции.

18 [июня?]

Договор англичан с бурами. Очерк войны, начатой осенью 1899 г., в «Моск[овских] вед[омостях]» 1902 г.\*

Ноябрь 29

А. С. Суворин. Вечер. Приезжал ставить в Худ[ожественном] театре свой «Вопрос». Успех его «Дмитрия Самозванца и Ксении» в Петербурге\*. Доходная статья—его театр. Рассказы: вялость, скука в петерб[ургском] обществе, сплетни. Лейб-м[едик] Отт и выкидыш. Филипп и его поворот природы. Сцена: она, он и мать, ходя по комнате. Художник Кравченко с маньчжурскими видами после обеда до 10—11 часов. Его рассказ о неприязни французов к русским в Китае и дружбе русских и немцев. Сам неприятно удивлен. Придворные жали руку. Разговор о курсе\*,—надо издать. Толки о конституции. Я: когда кучер в потемках теряет дорогу, он опускает вожжи и предоставляет лошадям искать путь. Давыдов Н. В. и письмо члена Гос[ударственного] совета кн[язя] Оболенского об издании для немногих при Дворе будто абастуманского курса\* (был 27 н[оя]бря).

30 [ноября]

Вечер у Богосл[овского] М. М. Рассказ Дена о рабочих и Афанасьеве и толки о естественном праве Новг[ородце]ва.

Дек[абрь] 1

Письмо к Пл[еве] о Милюкове\* от 30 н[оя]бря: «Недавно я узнал об аресте П[авла] Н[иколаевича] М[илюкова]. Не знаю его вины и не могу его оправдывать. Но он мой ученик по ун[иверситет]у и товарищ по О[бществу] и[стории] и др[евностей] р[оссийских], а его жена—моя ученица по В[ысшим] ж[енским] к[урсам] и дочь моего покойного товарища по академической службе. Возмож-

ное облегчение участи арестованного приму за великое себе одолжение, как благодеяние для его семьи, которая живет его учено-лит[ературным] трудом. Простите за беспокойство, если моя просьба неисполнима».

11 мая указ о вознаграждении землевладельцев, пострадавших от аграрных беспорядков в Харьк[овской] и Полт[авской] губ[ерниях], за счет кр[естьянских] обществ<sup>1</sup>.

1903 г.

Февраль

1-я нед[еля] в[еликого] поста—понеделник.  
17 [февраля]

У полицеймейстера об Ольге. Издания древнерусских памятников по рецензии Гётца—«Literaturzeitung». Выписки и отметки из газет к Пособию\*.

18 [февраля]

Гизо—продолжение VIII л[екции]\*. «В ожидании реформ»—«С[анкт]-П[етербургские] в[едомости]», № 45. О Николае фельетон—«М[осковские] в[едомости]», № 48. Абрамовича диспут о Патерике Печер[ском]\*—«С[анкт]-П[етербургские] в[едомости]», № 45. С С. И. Смирновым о житиях.

§ 1<sup>2</sup>.

19 [февраля]

Гельмгольца—«Отношение естествознания к системе наук»\*.

Логическая индукция—в изучении природы; ее основа—всеобщность явления, однообразное его повторение. Психологическая индукция—в изучении единичного духа; ее основа—психологическая вероятность, рассчитываемая по господствующим побуждениям. Историческая индукция—в изучении общественных явлений; ее основа—внушаемая природой нужда друг в друге (отсюда пример или подражание и народные привычки, выработанный по указаниям окружающей природы образ действий людей в общежитии). Метод—народно-психологическое чутье.

20—22 [февраля]

Кружок берендеев и берендеек; декадентские подарки и открытые письма друг другу; гаремные заседания на

<sup>1</sup> Далее четверть листа оставлена чистой.

<sup>2</sup> § 1 и далее цифры 2—10 написаны В. О. Ключевским красным карандашом.

коврах. Гельмгольц; исправление статьи о популяризации\* (21-го). Разговор о беллетристике на именинах у Л. Лоп[атина] (18-го). Ответ помощнику с[анкт]-пет[ербургского] попечителя о юбилейном издании (20-го). С. С. Слуцкий †(22-го). Гр[аф] Л. Толстой—рассказ Дав[ыдова] о его слабости и как он попался впросак с кронпринцессой саксонской\*. Гельмгольца—сохранение энергии\*.

23—24 [февраля]

Визит Гольцова. У В. А. Морозовой с Н. В. Д[ав]ы[д]овым (В. М. Соб[олевский] и В. И. Сиз[ов]). Похороны Слуцкого (24-го) и у А. Д. Кот.; с Барс[ковым?] распределение житий.

25 [февраля]

С Белавенцем. Газеты и «Пролегомена к Ибн-Фадлану»\*. О театре Ярцева—отложить «М[осковские] в[едомости]», № 53. Рахманов.

2<sup>1</sup>. Что такое историческая закономерность? Законы истории, прагматизм, связь причин и следствий—это все понятия, взятые из других наук, из других порядков идей. Законы возможны только в науках физических, естественных. Основа их—причинность, категории необходимости. Явления человеческого общежития регулируются законом достаточного основания, допускающим ход дел и так, и этак, и по-третьему, т. е. случайно. Для историка это безразлично. Для него важно не то, от чего что произошло, а что в чем вскрылось, какие свойства проявили личность и общество при известных условиях, в той или иной комбинации элементов общежития, хотя бы данное сочетание этих условий и элементов было необъяснимо в своем происхождении, т. е. казалось совершенно случайным. Историк должен отказаться от объяснения причин самих в себе: они ему понятны только как следствия предшествующих состояний, а следствия—только новые проявления сил и свойств личности и общества при новых условиях, в новых сочетаниях элементов общежития. Если историк хочет говорить своим языком, соответствующим природе изучаемого им предмета, он может говорить не о причинах и следствиях, категориях, взятых из области логического мышления. Сводя исторические явления к причинам и следствиям, придаем исторической жизни вид отчетливого, разумно-

<sup>1</sup> Написано красным карандашом.

сознательного, планомерного процесса, забывая, что в ней участвуют две силы, которым чужды эти логические определения—общество и внешняя природа. Имея в виду, что история—процесс не логический, а народно-психологический и что в нем основной предмет научного изучения—проявление сил и свойств человеческого духа, развиваемых общежитием, подойдем ближе к существу предмета, если сведем исторические явления к двум перемежающимся состояниям—настроению и движению, из коих одно постоянно вызывается другим или переходит в другое. Из каких элементов слагается и в каких явлениях обнаруживается то и другое состояние? Эта постоянная взаимная смена обоих состояний делает исторический процесс похожим на движение щепки, брошенной в волнообразно текущий поток: разве здесь есть место для причинной связи и можно ли признать причиной движения щепки ту волну, на хребте которой мы ее видим в данное мгновение и которая сейчас же исчезнет, сменяясь другою, сейчас же возникшей? В прагматическом, т. е. логическом, построении истории необходим посредствующий момент, связующий причины со следствиями. Таким моментом признается исторический факт, событие как произведение причин и вместе производитель следствий. Но, разбирая составные элементы исторического процесса, мы не найдем такого посредника. Исторический факт не идет в составе самого процесса, а выделяется из него как проявление—и притом случайное проявление—действия сил, работающих в процессе, подобно дыму, выделяющемуся из горения. Факт имеет свой источник в процессе, но сам не становится источником следствий, после него обнаруживающихся; эти следствия вытекают из самого процесса и вытекли бы из него, если бы он обнаружился не в этом факте, а в какой-либо иной форме, в другом сочетании явлений. Крестовые походы вышли из религиозного настроения средневековой католической Европы, направленного против ислама и обостренного четырехвековой борьбой с ним. Но при другом состоянии Византии они могли бы и не состояться или скоро прекратиться, а явления, после них обнаруживающиеся и признаваемые их следствиями, заняли бы свое место в истории Западной Европы, потому что они вышли из мирного ее сближения с арабской культурой, ставшего возможным не вследствие крестовой борьбы, а благодаря прекращению завоевательного движения в самом арабском мире (разумеются культурные следствия: усиление сношений с Востоком, дипломатических и торговых, расширение

знаний и понятий, заимствование искусств и житейских удобств). § 3.

26 февр[аля]

Гельмгольца та же лекция. Газеты и отметки к Пособию. Окончание заметки выше риведенной. Доклад Витте о поездке на Дальний Восток\*.

3<sup>1</sup>. «Эта закономерность (явления природы<sup>2</sup>) возбуждает главным образом тот интерес, который приковывает естествоиспытателя к его предмету. Это интерес, отличный от того, который возбуждается психологическими науками. (В духовной жизни совокупность взаимно переплетающихся влияний так сложна, что лишь весьма редко оказывается возможным определенно и ясно указать на их законы<sup>3</sup>.) К последним нас привлекает человек, изучаемый в различных направлениях его деятельности. Всякий подвиг, о котором повествует нам история, всякая сильная страсть, которую изображает нам искусство, всякое описание обычаев, государств[енного] устройства, культуры отдаленных от нас или древних народов захватывает и интересует нас, даже если мы знакомимся с ними и без научной последовательности. Мы во всяком случае находим в них связь и аналогию с нашими собственными представлениями и чувствами; мы научаемся распознавать те сокровенные способности и движения нашей собственной души, которые не проявляются при обыкновенном спокойном ходе жизни цивилизованного народа. Естественные науки не представляют интереса подобного рода» — «О сохранении силы» в «Популярн[ых] речах Гельмгольца», ч. 1, стр. 36.

27 февр[аля]

С В. А. Латышевым о Петре В[еликом]. Отметки из газет. У Дав[ыдова?] читал Венк[стерна] своего «Тезея»\*. Говорили о манифесте 26 февр[аля]\* — не одобряли за неожиданность и неясность. Я — предуведомление о пересмотре земского положения в смысле децентрализации. Пересмотр статьи о Петре В[еликом] и сотрудниках\*.

28 [февраля]

Училище. В Синодал[ьной] типографии отдал сентябрьские листки\*. Заметка к Уложению на особом листке.

<sup>1</sup> Написано красным карандашом.

<sup>2</sup> Текст в скобках — пояснение В. О. Ключевского.

<sup>3</sup> Текст в скобках вставлен В. О. Ключевским со с. 35—36 статьи Г. Гельмгольца «О сохранении силы».

Второе письмо от Латышева. Вчерашний разговор с Ел. А. Б[ородиной?]\* о разбитии окон в гимназии, о порче электропровода сыном попечителя, о его ответе на доклад эконома: «Я в это не вмешиваюсь, сообщите матери», об инквизиторском посещении уроков окружным инсп[ектором] Держ[авинным]; гимназисты: «Ревизия!»

1 марта

В банках. Хвалебные статьи в газетах о манифесте. Что ответить Латышеву? От Рождественского «История Мин[истерства] нар[одного] просвещения»\*.

8 марта

Выехал в Алупку.

10 и 11 [марта]

Хождение по Севастополю.

12 [марта]

В Алупку.

13<sup>1</sup> [марта]

Письма домой, М. А. и Н[адежде] М[ихайловне]\*.

22 [марта]

Письмо от Головачева.

23 [марта]

Письма из дома и от В. А. Латышева.

24 [марта]

Письмо домой (помета 23 м[арта]).

18—19 авг[уста]

Витте — председатель Комитета министров\*. Мин[истр] финансов — Плеске<sup>2</sup>.

Апрель 11

Письма Борису и декану об испыт[ательной] комиссии. К Смирнову С. И.

15—17 [апреля]

Исправление лекции о следствиях очер[едного] порядка и условий, ему противодей[ствовавших].

<sup>1</sup> В рукописи ошибочно: 12.

<sup>2</sup> Далее восьмая часть листа оставлена чистой.

21 [апреля]

Баладури и Табари о славянах \* в Хазарии в полов[ине] VIII в. Фотий о Руси при Аскольде. Дополн[ение] об основании В[еликого] княжества киевского. Походы Руси на В[изантию?]. Справка о погостах: Сол[овьев], I, пр[имечание] 212.

22 [апреля] и сл.

Переписка лекции о деятельности первых киевских князей и исправление для переписи лекций о происхождении Р[усской] Правды и гражд[анского] порядка.

27 [апреля]

Начал просмотр л[екций] о церковных уставах.

29 [апреля]

Конец исправления о деятельности первых князей и начало об очередном порядке.

30 [апреля]

Происхождение очередного порядка.

4<sup>1</sup>. Сопоставляя удельные и феодальные отношения, мы заметили в тех и других сходные черты, но не нашли сходства начал, оснований. Теперь можно объяснить происхождение этой видимой несообразности. Она произошла оттого, что политическая жизнь феодальной Европы и удельной Руси шла в противоположных направлениях. На Западе синьории и баронии, на которые распалась империя Карла В[еликого], формировались по образцу целого, которое они разрушали, и даже мелким феодалам передавали черты своего склада, какие тем дозволено было воспринять и какие они в состоянии были воспринять от своих первообразов. Феодальная Европа была собственно развалившаяся империя Карла В[еликого], из которой рефлективно и с местными преломлениями феодальный порядок распространялся потом в соседних с ней странах. У нас, напротив, удельный порядок сложился не из развалин очередного, не в пределах Киевской Руси, а сбоку ее, в соседнем окско-волжском междуречье, как новая политическая постройка на свежем финском пустыре. Бесформенная политически масса колонистов перенесла сюда с брошенных пепелищ только два прочные кадра политического и гражданского порядка: это были князь с своими державными правами и боярин с своими холопами.

<sup>1</sup> Написано красным карандашом.

Первый образовал удельное княжество, новую политическую форму, а второй восстановил на новом социальном грунте старую боярскую вотчину, село с челядью и с вольнонаемным закупом — крестьянином. Но и княжеский удел сложился по типу боярской вотчины, а Московское государство, собравшее уделы, сформировалось по образцу своих составных частей и составило вотчину своих собирателей, московских государей. Так, на феодальном Западе политическая жизнь шла сверху вниз, путем дробления целого на части, а в удельной Руси обратно — снизу вверх, путем сложения частей в целое. Там низшие политические формации усвоили форму высшей, которую они разрушали, а у нас, напротив, высшая усвоила форму низших, из которых она слагалась. Путь одинаков там и здесь, но неодинаковы направления хода; отсюда сходство явлений и различие процессов. 26 дек[абря].

Июль 30—31

Корректурa VI—VIII л[истов] и отправка. Пособие — л[исты] 5 и 6 и отправка. Вставка — следствия поместной системы. Дополнение XIV л[иста].

Сентябрь 10 и 11

Газеты не выходили. Забастовка наборщиков, требовавших 9-часового дня и повышения платы. Совещания наборщиков летом в Марьиной роще. Совещание типографщиков у Трепова, который за сопротивление движению. Один типографщик шел на сделку; Тр[епов] крикнул на него; но типографщики согласились на требования наборщиков, возвысив стоимость типографских работ (цены для заказчиков) на 30%. Не прекращали работ в Синодальной, где 9 сент[ября] толпа до 1000 ч[еловек] разбила окна и была разогнана казаками. Выходили «Моск[овский] листок» и «Русский листок»<sup>1</sup>.

5<sup>2</sup>. 24 дек[абря]

Способы мышления и способы познания, законы логики и метафизические категории, конечно, сохраняют непререкаемую силу во всяком акте мышления и познания. Но не всякой отраслью знания познающий ум овладел настолько, чтобы доступные ему приемы изучения и познания поднять до чистых законов логики и до отвлеченных категорий метафизики. В некоторых областях ведения он принужден пока довольствоваться некото-

<sup>1</sup> Далее около половины листа оставлена чистой.

<sup>2</sup> Написано красным карандашом.

рыми предварительными, более практическими формами мышления и определениями познания. В науках, где предмет познается путем опыта и самонаблюдения, приложимы и закон достаточного основания, и формулы возможности, необходимости, причинности, требования закономерности и целесообразности: там наблюдение можно проверять опытом, т. е. искусственно созданным явлением или внутренним ощущением. В науках, имеющих дело с историческим процессом, изучающий лишен таких методологических удобств: там наблюдение<sup>1</sup> и аналогия—наиболее действительные, если не единственные средства познания. Здесь трудно спрашивать себя, от чего что произошло и могло ли произойти что-либо другое: мысль довольствуется выяснением того, что за чем следовало и следовало ли из того же то же самое или подобное в другом месте или в другое время. Так метаф[изическое] требование причинности в историческом изучении преобразуется в искание последовательности явлений. Разум везде, даже в метафизической области, где он сам себе хозяин, потому что сам себя изучает, признает пределы своего познания. Он признает, что представляемый им мир не существует только в его представлении, но что, однако, этот мир познается им лишь насколько он есть его представление: познание и здесь стеснено пределами восприятия, наблюдения. Еще скромнее помыслы исторического ведения. Мы знаем, что в исторической жизни, как и во всем мироздании, должна быть своя закономерность, необходимая связь причин и следствий. Но при наличных средствах исторической науки наша мысль не в состоянии уловить эту связь, проникнуть в эту логику жизни и довольствуется наблюдением преемственности ее процессов. Значит, история отличается от других более точных наук не способами мышления, а только приемами изучения и пределами познания.

[1904 г.]

6<sup>2</sup>. 7 апреля

После Крымской войны р[усское] правительство поняло, что оно никуда не годится; после болгарской войны и р[усская] интеллигенция поняла, что ее правительство никуда не годится; теперь в японскую войну р[усский] народ начинает понимать, что и его правительство, и его интеллигенция равно никуда не годятся. Остается заклю-

<sup>1</sup> *Над строкой:* здесь чужими глазами.

<sup>2</sup> *Написано красным карандашом.*

чить такой мир с Японией, чтобы и правительство, и интеллигенция, и народ поняли, что все они одинаково никуда не годятся, и тогда прогрессивный паралич русского национального самосознания завершит последнюю фазу своей эволюции.

6 мая

Адресы Д. Н. Шипову. Мельник, спасая старую плотину своей мельницы от напирającego на нее паводка, снимает пену, взбиваемую у запруды потоком (Плеве).

13 мая

Цзинь-чжоу\*.

1 и 2 июня

Бой Штакельберга с Оки у Вафангоу\*: отступление наших с потерей 3½ тыс. или более. 2 июня потопление трех транспортов японских с целым пехотным полком крейсерами Безобразова «Россией», «Громобоем» и «Рюриком» в Корейском проливе.

3 июня

Убийство ген[ерал]-губ[ернатора] Бобрикова в здании финлянд[ского] Сената Шауманом, сыном отставного сенатора, тут же застрелившимся.

7<sup>1</sup>. Ближайшие задачи исторического изучения — не выяснение исторических законов. Пока предстоит выяснить не сущность исторического процесса, а только метод его изучения и возможные границы исторического познания. И не все исторические факторы вошли в историческую работу в полную меру своих сил. Так, еще трудно уловить действие философии на склад и ход общежития. Пока действие ограничивается только выяснением задач и приемов познания и природы познающего разума, но ее идеи о сущности вещей, о смысле бытия не направляли людских отношений, не влияли на настроение масс. Но если философия доселе этого не делала, отсюда не следует, что она не может этого делать. Может быть, философия ждет такой комбинации житейских условий, такого подъема умов, который сделает возможной перестройку людских отношений и интересов согласно с философски выясненным смыслом бытия. Тогда расширятся и пределы исторического познания и можно будет внести в учебник истории параграфы о философах, теперь

<sup>1</sup> Написано красным карандашом.

являющиеся в нем красивыми, но бесцельными сказками.  
§ 9.

8<sup>1</sup>. Нынешние экономические и политические классы в будущем заменятся разрядами или степенями интеллектуального развития, т. е. способности умственного напряжения.

9<sup>2</sup>. Закономерность явлений, повторяющихся или доступных искусственному воспроизведению, экспериментации. В истории нет ни тех, ни других. Но в истории вскрывается общежительная природа человека и вопрос о закономерности исторических явлений заменяется вопросом о последовательности, с какой вскрываются разные стороны и свойства этой природы.

10<sup>3</sup>. Право — исторический показатель, а не исторический фактор, термометр, а не температура. Действующее законодательство содержит в себе *minimum* правды, возможной в известное время. Порядочные люди нуждаются в законе только для защиты от непорядочных; но закон не преобразует последних в первых. Закон — рычаг, которым движется тяжеловесный, неуклюжий и шумный паровоз общественной жизни, называемый правительством, рычаг, но не пар.

2 июля

Чехов † в Баденвейлере (вел[икое] герц[ог]ство Баден)<sup>4</sup>.

1904

3 июня финл[яндский] ген[ерал]-губ[ернатор] Бобриков при входе в Сенат смертельно ранен тремя выстрелами Шауманом, сыном бывшего сенатора, чиновником Главного училищного управления Финляндии. Преступник застрелился<sup>5</sup>.

Ноябрь 6—9 (?)

Съезд город[ских] и земских деятелей в Петербурге\*: пункты против самодержавия. Банкеты\*<sup>6</sup>.

Декабря 31

С Як. Л. Барск[овым]. Два банкета в Петербурге:  
1) 6 дек[абря]? человек 200, корректный; ораторы Семев-

<sup>1</sup> Написано красным карандашом.

<sup>2</sup> Написано красным карандашом.

<sup>3</sup> Написано красным карандашом.

<sup>4</sup> Далее лист с четвертью оставлены чистыми.

<sup>5</sup> Далее половина листа оставлена чистой.

<sup>6</sup> Далее четвертая часть листа оставлена чистой.

ский и<sup>1</sup>; 2) многолюдный и беспорядочный с «долой сам[одержавие]» 14 дек[абря]. 28 ноября уличные беспорядки с избиванием дворниками по углам и дворам вопреки распоряжению полиции отводить манифестантов в участок без побой. На заседании перед 12 дек[абря] (8 дек[абря]?). Сам был против выборного собрания, и кн[язь] Свят[ополк]-М[ирский] подал после того в отставку. Но был упрощен во имя воинской чести по случаю военного времени. По издании указа 12 дек[абря]\* вторичная просьба об отставке. Прочат на время Платонова-старика\*, а потом Витте. Курс издан Витте в 20 экземплярах\*.

1905 г.

9 января

Движение рабочих (до 40 тыс. будто бы) к Зимнему дворцу за ответом на петицию, представленную накануне о[тцом] Гапоном Святоп[олк]-Мирскому с пунктами: 1) отделение церкви от государства, 2) представительное правление, 3) обеспечение неприкосновенности личности, 4) право непосредственного обращения рабочих к царю, 5) прекращение войны и еще что-то. В некоторых местах Петербурга толпы встречены войсками, давшими залп. Толпы не разбежались, а на другой залп не было приказа, и толпы шли дальше мимо войск. О[тец] Гапон с иконой спасителя. «Эта кровь навсегда отдалила царя от народа». Будто бы ранен и убран куда-то. От министра оповещано, что царь не будет говорить с рабочими, как они требовали в петиции.

11 января

Вчера по Житной прошли<sup>2</sup> часов в 5 к типографии Сытина, вероятно, чтобы прервать работу. Сегодня врывались в мастерские и типографии и прекращали работы. Рабочие расходились по домам, не присоединяясь к забастовщикам. Хозяевам полиция отсоветует возобновлять работы завтра, как в спокойный день. Ждут присоединения студентов. Извозчик: «Вот своя война началась». Сегодня в «Моск[овских] в[е]домостях» решительное объявление и[сполняющего] д[олжность] градоначальника\*.

<sup>1</sup> Далее оставлено место для фамилии.

<sup>2</sup> В рукописи: прошла.

21 янв [аря]

Русская интеллигенция бьется о собственную мысль, как рыба об лед, на который она выбросилась от духоты подо льдом<sup>1</sup>.

5 мая рескрипт об учреждении Постоян[ного] совета госуд[арственной] обороны.— «М[осковские] в[е]домости», № 170\*.

14 и 15 мая Цусимский бой.

13—17 июня рабочие в Одессе и бунт на «Потемкине Таврическом».— «Р[усские] в[е]домости», № 167\*.

6 июля депутация земских и город[ских] деятелей в Петергофе.

Конец июня. Бунт на «Потемкине». Разгром одесского порта.

6 авг[уста] манифест и положение о Гос[ударственной] думе. Равнодушие в народе.

21—24 [августа] резня татар с армянами в Баку. Разгром нефтяных промыслов. До 500 вышек сожжено\*. Убытки—сотни миллионов. Повод—резня татар армянами в Шуше. Войска мало.— «Р[усские] в[е]домости», № 231.

Сентябрь

7 и 9 [сентября]

Сходки студентов. Из 1800 участников 1200 с чем-то за возобновление занятий или за отказ от противодействия их возобновлению без отказа от революционной деятельности или по крайней мере от оппозиционного воспитания (Академия). Сколько-то за революцию с обструкцией (Революц[ионная] трибуна).

15 [сентября]

Открыт университет. Начаты занятия под условием, чтобы студенческие сходки, устрояемые явочным порядком, не мешали чтению лекций. Новгород[о]дце[ва] освистали, Филиппова выжили из аудитории. В академии о возможности отставки\*.

17 [сентября]

Я начал курс. Встретили молча, провожали шумным одобрением. Дичились друг друга—я их, они меня.

21 [сентября]

Сходка студентов до 5 часов. Сходка с курсистками, забастовавшими типографскими рабочими и другими по-

<sup>1</sup> Далее четвертая часть листа оставлена чистой.

сторонними с 7—8 часов. Рабочих с малолетками (8—9 лет) свыше 1000, курсисток до 500, студентов у[ниверсите]та много, других высших уч[ебных] заведений еще больше, всего до 4000; были и гимназисты. На лестнице юр[идического] корпуса опасность разрушения перил. Градоначальник Медем заготовил в Манеже какой-то отряд, полк или батальон, с боевыми патронами и три эскадрона конных жандармов. Говорил с ректором в у[ниверсите]те о забастовке типографских, о бомбах на сходке в у[ниверсите]те, о том, что до 5 часов сам ничего не знал. Комиссия сидела до первого часа пополуночи и решила закрыть у[ниверсите]т.

22 [сентября]

Сходка студентов с разрешения ректора, сторонних не пускали. Речи ректора и помощника: восторг. После них речь еврея Гринблата или чего-то в этом роде: полный поворот умов. Но решено 24-го собраться по курсам и «организоваться». Дано разрешение. Закрытие у[ниверсите]та озадачило: подумали, у[ниверсите]т не шутит. Совет с 8 до 12-го часа. Много речей и 4—5 строк резолюции о курсовых совещаниях 24-го.

27 [сентября]

Начало 11-дневной забастовки типографских наборщиков. Прекращение выпуска газет (кроме «Русского листка», не выходившего 2 дня).

29 [сентября]

Смерть кн[язя] С. Н. Трубецкого в Петербурге на заседании совета Мин[истерства] нар[одного] просвещения.

Октябрь

1—2 [октября]

Поездка в Петербург с венком на гроб ректора в церкви Еленинского госпиталя. Процессия с гробом на Николаевский вокзал. Разговор в карете со Стасю[леви]че]м и встреча с огромной толпой на Невском, шедшей от вокзала после проводов гроба в 3-м часу. Вагон с гробом тайно оставлен на запасном пути в Петербурге до 3<sup>1</sup>/<sub>2</sub> ч[аса] во избежание демонстраций на фабричных пунктах.

3 [октября]

Похороны князя. Гроб несли на руках студенты от университет[етской] церкви до Донского м[онастыря] почти

6 часов (до сумерек). «Марсельеза русская»\* в задних рядах процессии, «Вечная память» в передних. Отсутствие полиции по желанию студентов. Речь раввина над могилой. Казаки на Донской при возвращении процессии, их атаки и камни в них из толпы. Арест семи студентов и освобождение (7-го). Лекции идут<sup>1</sup>.

4 [октября]

Панихида на Пятницком кладбище в 50-ю годовщину смерти Грановского\*. Слух о процессии студентов на могилу — не состоялась.

6 [октября]

Забастовка всех дух[овных] академий с требованием введения временных правил 27 августа. Приезд митрополита в Моск[овскую] академию и его неудачные переговоры со студентами и профессорами (7-го).

9 [октября]

Начало железнодорожной забастовки (кроме Савеловской).

10 [октября]

Выбор Мануилова в ректоры (56+, 26-).

16 авг[уста] Портсмутский мир\*. 15 сент[ября] возвращение Витте в Петербург; 4 окт[ября] речь его в комиссии гр[афа] Сольского о свободе печати и о необходимости положить конец произволу; с 6 авг[уста] основные законы существуют лишь на бумаге; Гос[ударственная] дума пока остается только небольшою дырой, которую народные представители превратят в широко раскрытую дверь, как только соберутся. Октябрьская всеобщая забастовка; 17 окт[ября] — манифест, 18 [октября] Витте — премьер<sup>2</sup>.

26 [октября]

Военный бунт в Кронштадте<sup>3</sup>.

Ноябрь

Ноября 3

Отмена выкупных платежей с 1907 г. (около 90 мил[лионов]).

<sup>1</sup> Возможно, две последние фразы вписаны позже.

<sup>2</sup> Далее четверть листа оставлена чистой.

<sup>3</sup> Далее четверть листа оставлена чистой.

6—10 [ноября]

Земский съезд. Много речей и долгих речей. Временем не дорожат: у каждого по 48 часов суточных. Во всех речах главная pars pathetica, в иных esthetica, реже ethica, но всего чаще в заключение pars ironica. Парламентская корректность до шепетильности: заседание носит характер конституционной литургии, хотя иной оратор только что не называет своего оппонента собачьим сыном. Все хотят высказаться, и каждый для того, чтобы убедить самого себя в собственных мыслях. Так все ищут самих себя, собирают собственные растерянные мысли, и хотя все испуганы общим водоворотом, но каждый жаждет только самодовольства. Ясно одно: всем хочется усвоить конституционно-размашистые манеры, чтобы избавить себя от труда усвоить конституционно-свободные нравы.

Декабрь

11 декабря

Указ об участии рабочих в выборах в Гос[ударственные] думы как уполномоченных от рабочих, а не в качестве квартиронанимателей на съезде городских избирателей или по городским избирательным участкам и разъяснение Сената от 7 окт[ября] 1906 г. в первом смысле исключительно<sup>1</sup>.

9—12 [декабря]

Боевые дни. С утра до поздней ночи стрельба где-то в центре города: пушки разбивают баррикады, сооружению и восстановлению которых никто не мешает, но которые по их изготовлению заботливо обстреливают, предуведомя строителей, когда им следует утекать от огня. Обе стороны поняли друг друга, спелись и стройным дуэтом тянут песню самоуничтожения. Одни ночью выскочат из мебелированных нор на улицу, выволокут мебель у одурелых обывателей и, построив баррикаду, удерут; другие с ружьями и пулеметами выползут днем из казарм, разнесут эти баррикады, за которыми никто не сидит, и потом также утекут. Те и другие делают свое бездельническое дело и довольны—одни своей службой царю и отечеству, другие своей твердостью в убеждениях и верностью принципам.

9-го объявлена всеобщая забастовка, и железные дороги одна за другой прекращают движение в ожидании,

<sup>1</sup> Далее оставлены чистыми 6—7 строк.

когда окрестные крестьяне начнут разносить станции и избивать служащих. 10-го Моск[овский] исполнительный комитет Союза рабочих делегатов предписал к 6 часам вечера вооруженное восстание; но оно началось раньше с револьверами, палашами, что кому удалось добыть, против нагаек, винтовок, пушек и пулеметов. Бастуют все и вся, кто до революции не успел запастись хоть напрокат рассудком, от мала до велика, от стрелочника до министра и до самого. Не бастуют только городские и сельские хулиганы да казначеи, аккуратно и корректно выдающие казенное жалованье себе и забастовщикам.

Все от нечего делать или от неумения сделать что-нибудь принялись играть, одни в конституцию, другие в революцию, превращая в куклы идеи, идеалы, интересы, принципы. Одна власть, как настоящая кукла, ни во что не играет, даже в самое себя, а, благовоспитанно-послушно сложив на бумажных коленях свои пришитые к деревянным плечикам руки, притворилась, что ее нет, и стала выжидать, когда ее спрячут в детский шкафчик. Она поняла себя очень логично: она всегда отрицала свободу, никогда не умела выразуметь, что она и есть опора свободы, и потому, даровав свободу своим подданным, она умозаключила, что этим упразднила себя, т. е. сложила с себя всякую ответственность за что-либо. Она привыкла видеть в подданных своих холопов, невольников и их приучила смотреть на нее<sup>1</sup> как на плантатора, а когда узнала из доклада приказчиков, что ее белые негры взбунтовались и у нее нет силы их перевешать, она самоотверженно заперлась в своей усадьбе, сказав себе: а посмотрим, что из всей этой кутерьмы выйдет.

Учредительное собрание, которого требуют железнодорожники, телеграфисты, курсистки, все забастовщики и забастовщицы, есть комбинация русского ума — обезьяны: так бывало за границей, так должно быть и у нас. Учредительное собрание устанавливает основной закон, т. е. устройство верховной власти и ее отношение к подданным. Но вопрос об этом уже предreshен манифестом 17 октября. Там верховная власть уже ограничила себя, только довольно односторонне с левого бока. Царь обещал не издавать закона, не одобренного Г[осударственной] думой, как благовоспитанный кавалер не целует даму без ее согласия. Но там нет обещания утверждать закон, требуемый Г[осударственной] думой, — нет обязательства, установленного русским обычаем для кавалера, который

<sup>1</sup> Над строкой: власть.

сделает девицу матерью, обязательства купить ей корову для воспитания ребенка, угрожающего своим появлением на свет. Учредительному собранию предстанут три дороги. Оно может утвердить одностороннее ограничение верховной власти по манифесту 17 октября, и тогда оно окажется себя лишним, ибо это могла бы сделать и возведенная манифестом этого октября Г[осударственная] дума. Оно может вопреки этому манифесту восстановить полное затхлое, черносотенное самодержавие, и тогда оно явит себя совсем реакционным. Наконец, оно может, отменив всякую монархию, самодержавную и полусамодержавную, провозгласить республику, и тогда оно, призванное для водворения законного порядка, окажется революционным. Итак, Учредительному собранию придется выбирать между реакцией, революцией и собственной ненужностью, т. е. анархией, ибо его будут слушаться еще менее, чем самодержавного Витте или Трепова: это — жандармы хоть и дряхлой, но привычной власти, а то — ходоки власти притязательной, но зато вчерашней, — рекламисты народовластия, как товара, не находящего покупателей...

19 [декабря]

Канонада слышна до 1 часа ночи. Вероятно, это выпускают неизрасходованные заряды, чтобы не сдавать их обратно в цейхгауз, не марать журнала. Что случилось? Надобно найти смысл и в бессмыслице: в этом неприятная обязанность историка, в умном деле найти смысл сумеет всякий философ. Вооруженное восстание — это прием касторового масла для нашего государственного и общественного организма: он даст мало питательного, но прочистит желудок для здорового питания[...]<sup>1</sup>

1906 г.

Январь

9 [января]

Лиза †\* [...] <sup>2</sup>

Март

20 [марта]

Выборы выборщиков в Г[осударственную] думу в Петербурге.

<sup>1</sup> Далее 5—6 строк оставлены чистыми.

<sup>2</sup> Далее четыре строки оставлены чистыми.

11 и 21 [марта]

Выборы в Сергиевом посаде.

26 [марта]

Выборы в Москве. Общее оживление. Сцены агитации партийной у зданий, где б[ыли] выборы.

Апрель

20 апреля

Отставка гр. Витте; причины: несогласие с харитоновским проектом\* основных законов и недостаток самостоятельности. Премьер с окт[ября] 1905.

22 [апреля]

Рескрипты Витте и Дурново об их увольнении.

23 [апреля]

Покушение на Дубасова и убийство екатеринославского ген[ерал]-губернатора.

24 [апреля]

В продолжение всего XIX в[ека] с 1801 г., со вступления на престол Ал[ександра] I, русское правительство вело чисто провокаторскую деятельность: оно давало обществу ровно столько свободы, сколько было нужно, чтобы вызвать в нем первые ее проявления<sup>1</sup>, и потом накрывало и карало неосторожных простаков. Так было при Александре I: Сперанский со своими конституционными проектами стал таким невольным провокатором, чтобы вывести на свежую воду декабристов и потом в составе следственной комиссии иметь несчастье плакать при допросе своих попавшихся политических воспитанников. При имп[ераторе] Николае I правительственная провокация изменила тактику. Если нахальная аракчеевщина, сменившая стыдливую, совестливую сперанщину, стремилась заговор вытолкнуть на вооруженное восстание, то Николай I своей предательской бенкендорфщиной старался вогнуть общественное недовольство в заговор. Удачный исход опыта такой стратагемы, испробованный над поляками, надолго парализовал русские конспиративные силы, разбил их на бессильные кружки, и дело петрашевцев ярко обличило их бессилие. Были негодующие люди, как Герцен, Грановский, Белинский, но не было угрожающих, и постыдное царствование имп[ератора] Николая I благо-

<sup>1</sup> Далее зачеркнуто: свободы.

получно кончилось севастопольским поражением и Парижским миром. Настоящим питомником русской конспирации было правительство имп[ератора] Александра II. Все его великие реформы, непростительно запоздалые, были великодушно задуманы, спешно разработаны и недобросовестно исполнены, кроме разве реформы судебной и воинской. Монарх мудро соизволял, призванные работники, как братья Милютины, Самарин, самоотверженно проектировали, а ввязавшиеся в дело министры камарильи вроде Ланского, Толстого, Валуева, Тимашева раздельивали циркулярами высочайше утвержденные проекты в насмешки над народными ожиданиями. Царю-реформатору грозила роль самодержавного провокатора: Александр II вступал на путь первого Александра. Одной рукой он дарил реформы, возбуждавшие в обществе самые отважные ожидания, а другой выдвигал и поддерживал слуг, которые их разрушали. Полиция, не довольствуясь преследованием нелегальных поступков и чуя глухой ропот, хотела читать в умах и сердцах посредством доносов и обысков, отставками, арестами и ссылками карала предполагаемые помыслы и намерения и незаметно превратилась из стражи общественного порядка в организованный правительственный заговор против общества. Гр[аф] Толстой с Катковым создали целую систему школьно-полицейского классицизма с целью наделать из учащейся молодежи манекенов казенно-мундирной мысли, нравственно и умственно оскопленных слуг царя и оте[че]ства. Этими глубоко продуманными мерами преподаны были обществу, особенно подраставшему поколению, прекрасные уроки противоправительственной конспирации, плодотворно и быстро разросшейся на возделанной правительством почве общественного озлобления. Покушения участились и завершились делом 1 марта. Наступило царствование Александра III. Этот тяжелый на подъем царь не желал зла своей империи и не хотел играть с ней просто потому, что не понимал ее положения, да и вообще не любил сложных умственных комбинаций, каких требует игра политическая не менее, чем карточная. Сметливые лакеи самодержавного двора без труда заметили это и еще с меньшим трудом успели убедить благодушного барина, что все зло происходит от преждевременного либерализма реформ благородного, но слишком доверчивого родителя, что Россия еще не созрела до свободы и ее рано пускать в воду, потому что она еще не выучилась плавать. Все это показалось очень убедительно, и было решено раздавить подпольную крамолу, заменив сельских мирowych судей

отцами-благодетелями земскими начальниками, а выборных профессоров назначаемыми прямо из передней министра народного просвещения. Логика петербургских канцелярий вскрылась догола, как в бане. Общественное недовольство поддерживалось неполнотой реформ или недобросовестным, притворным их исполнением. Решено было окорнать реформы и добросовестно, открыто признаться в этом. Правительство прямо издевалось над обществом, говорило ему: вы требовали новых реформ—у вас отнимут и старые; вы негодовали на недобросовестное искажение высочайше даруемых реформ—вот вам добросовестное исполнение высочайше искаженных реформ. Так правительственная провокация получила новый облик. Прежде она подстерегала общество, чтобы заставить его обнаружиться; теперь она дразнила общество, чтобы заставить его потерять терпение. Результаты соответствовали изменению провокаторской тактики: прежде так или этак вылавливали подпольных крамольников, теперь и так и этак загоняли открытую оппозицию в подпольную крамолу.

8 сент[ября]

Перестраиваются не политические понятия и общественные интересы, а политические чувства и социальные отношения; думают не о том, что делать и как устроиться, а о том, что можно сделать и захватить и чего нельзя, кто враг и кого потому надо побить и кого опасно бить. Политическая революция разделяется в социальную усобицу, и само правительство превращается в одну из соц[иальных] партий, только маскируясь в личину государственного органа.

8 июля указ о роспуске Гос[ударственной] думы, созванной 27 апреля.

Марта 4 закон о свободе собраний.

Августа 19 и 20 учреждение военно-полевых судов в местностях, объявленных на военном положении или в положении чрезвычайной охраны.

5 октября указ об отмене некоторых стеснений для кр[естья]н.—«М[осковские] в[едомости]», № 249\*.

14 октября понижение платежей заемщиков Кр[естья]нского банка\*.

17 [октября] образование старообрядческих обществ.

Университет. Лекции начались 15 сентября. 2—5 октября закрыт за сходку в лекционные часы и не в указанном месте (в юридическом корпусе, а не в актовом

зале). Объявление о возобновлении занятий с угрозой закрыть у[ниверсите]т с увольнением всех студентов за повторение беспорядков. Это произвело впечатление. В то же время депутация ездил в Петербург протестовать Столыпину против вмешательства моск[овской] администрации в университетские дела, заставившего было ректора и его помощника подать в отставку. Мнимый успех поездки. 17 октября по постановлению сходки накануне должна была начаться трехдневная забастовка в память Баумана \*. 18 [октября] шумное сборище в юрид[ическом] корпусе и увещание ректора безуспешное. Сцены перед аудиторией Филиппова (борьба за дверь аудитории и речь барышни, обозвавшей революционеров-студентов хулиганами). Пение похоронного марша. Ректор закрывает у[ниверсите]т до 30 октября. Вечернее заседание советской комиссии. По сообщению ректора, под прикрытием общих сходов шли в аудиториях конспиративные совещания максималистов; их депутаты грозили ректору, что пойдут на все меры вплоть до бомб. Кадетская фракция подала ректору протест против гнета меньшинства. У[ниверсите]т с двух сторон сжат администрацией и максималистами и, если не сладит с положением, должен погибнуть.

12 августа

Передача удельных земель Крестьян[скому] банку для продажи малоземельным крестьянам.

27 авг[уста]

Казенные земли назначены для той же цели.

19 сент[ября]

И кабинетские земли в Алтайском округе переданы в распоряжение Главн[ого] управления землеустройства и земледелия для образования переселенческих участков.

Понижение платежей Крест[ьянскому] банку вызывает общегосударственный расход в 2 200 000 руб.

22 октября

Поместный собор имеет смысл только как местный орган собора вселенского. Но вселенского собора нет; следов[ательно], его местные органы могут быть только мертвыми членами разорванного организма. Местные православные церкви, теперь существующие, суть сделочные полицейско-политические учреждения, цель которых успокоить наивно верующие совести одних и зажать крикливо протестующие рты других. Обе эти цели приводят к третьей, самой желанной для правящей церковной иерар-

хии, это полное равнодушие мыслящей и спокойной части общества к делам своей местной церкви: пусть мертвые хоронят своих мертвецов. Русской церкви как христианского установления нет и быть не может; есть только рясофорное отделение временно-постоянной государственной охраны.

30 окт[ября] покушение на Рейнбота. Около того же времени покушение на Ренненкампфа. Совпадение с возвращением Витте в Петербург. Неистовство «М[осковских] вед[омостей]» по этому поводу\*.

## Декабрь

Убийство гр[афа] А. П. Игнатъева\*. Гольцов †. 8—9 [декабря] забастовка в память вооруженного восстания 1905 г. Закрытие у[ниверсите]та до конца семестра Советом 8 дек[абря]. Открытое письмо Совету от Ц[ентрально]го у[ниверситетского] органа.

## 18 [декабря]

Сообщения Н. А. Заоз[ерского]. Последние решения Предсоборного присутствия: 1) Постоянной исполнительной комиссией Поместного собора остается Синод из 12 епископов, неизвестно кем и в каком порядке призываемых на это дело. 2) Собор состоит из епископов, к которым присоединяются представители белого духовенства и мирян, которые по требованию одних должны быть рекомендуемы епархиальными архиереями, по мнению других — выбираемы архиереями из кандидатов, указанных духовенством и мирянами по приходам. 3) Обер-прокурор устраняется, никем, кажется, не заменяясь. 4) Прения о церковноприходской общине как юридическом лице. Реферат моск[овского] прис[яжного] пов[еренного] Кузнецова против закона 17.окт[ября] 1906 г. о старообрядческих обществах в применении к православным приходам: предвидит от того разрушения церковной жизни как в старообрядчестве, так и в господствующей церкви. Папков, только что женившийся вторично, пылко стоял за восстановление древнерусского прихода с деятельным участием прихожан. Все нерешенные вопросы сведет в проекты Синод. Под конец совещаний придавленное либеральное большинство приободрилось: помогло открытое письмо Дубровина (при негласном сотрудничестве Антония, епископа волынского и искарлотского). По инициативе меньшинства митроп[олиту] Антонию овация в его отсутствие, когда председал немощствующий Влади-

мир Московский. Антоний митр[ополит] отклонил речь своего предательского тезки и стал поддерживать меньшинство. Сомнение его в созыве собора: Предсоборное присутствие стоило 60 тыс.; собор обойдется в 500 тыс.; у Синода таких денег нет; даст ли казна? Совещания шли беспорядочно. Безнадежный взгляд об[ер]-пр[окурора] Извольского на Синод и его тайные хлопоты освежить его состав. Главная опора архиереев—дикие профессора дух[овных] академий Бердников, Голубев, Глубоковский и даже университетские канонисты Алмазов, Остроумов. «Профанация канонического права».

## Декабрь

Убийство с[анкт]-п[етер]б[ургского] градоначальника фон-дер Лауница на лестнице церкви в здании эксперим[ентальной] медицины. Убийство главного военного прокурора Павлова (27-го).

1907 г.

## Март

10 [марта]

К. П. Победоносцев †. Презирал все, и что любил, и что ненавидел, и добро, и зло, и народ, и себя самого.

14 [марта]

Убит Иоллос\* из-за калитки двора черносотенника Торопова. Похороны 19 м[арта]. До 8 тыс. народа.

19—22 [марта]

Центр[альный] о[рган] после вторжения полиции на сходку 17 м[арта] закрыл у[ниверсите]т до сходки 24-го, а Совет 22-го до 30 апреля. Мое объяснение со студентами-филологами 22-го после лекции. 20-го и 21-го снимали профессоров. Брань Брандта со съемщиками в аудитории. Постановление Совета 14 марта.—«Моск[овские] вед[омости]», № 61\*.

## Апрель

10 [апреля]

Польское коло вносит в Думу законопроект об автономии Польши. Кадеты осуждают шаг за несвоевременность.

17 [апреля]

Принятие Г[осударственной] думой зараз трех зако-

нопроектов (после двухмесячной предварительной пробы своего законодательного голоса): о контингенте новобранцев, об отмене военно-полевых судов и об ассигновании 6 мил[лионов] на нужды продовольствия голодающих<sup>1</sup>.

1909 г.

Апрель 23

Разговор с А. С. Л[аппо]-Данил[евским]. Петр уже в 1700 г. собирал сведения о порядках наследования на З[ападе]. Заграничная поездка направила его мысль на политические и общественные отношения. Война оттеснила все такие помыслы назад и надолго. Потом он воротился к вопросам государственного устройства и принимал прямое участие в составлении регламентов, собирал материалы для Воинского устава, в чем сам признается в конце предисловия к нему. Проникновение политических идей с З[апада] через Польшу в Россию в XVII в. Книга польского публициста XVI в. «De republica emendanda» была в XVII в. переведена на русский язык, и перевод найден. Сохранились веденные Симеоном Полоцким записи лекций виленских профессоров. Крижанич для своих «Разговоров» пользовался только католическими, антипротестантскими сочинениями. Л[аппо]-Данил[евский], кажется, разделяет мнение о его миссионерских планах в Москве. Прощай Федор еще 10—15 лет и оставь по себе сына, западная культура потекла бы к нам из Рима, а не из Амстердама. Кн[язь] Д. Голицын внимательно изучал итальянских публицистов и Пуффендорфа, влияние которого явственно отпечатлелось на его ограничительных кондициях 1730 г.

25 [апреля]

Продолжение разговора. Каталог книг Андрея Виниуса, найденный Данил[евским]: его знакомство со школой моралистов. Обилие русских в университете Галле времен Шпенера, Томазиуса и Вольфа. Влияние Виниуса на Петра в политических взглядах; тон писем Петра к В[иниусу] особый. Преимущество немецких университетов в ходе заграничного образования русских: Галле, Лейпциг, Страсбург, Геттинген, Берлин (по матрикульным книгам).

Перевод Локка в Киеве по заказу Голицына с сокращениями и выборками и с предисловием толковым, кото-

<sup>1</sup> Далее строк пять оставлены чистыми.

рого нет на английском, но который обличает знакомство автора с публицистами XVII в.—не Феофана ли? Ср. его естественно-правовую теорию г[осу]д[ар]ства в духе Гоббеса в «Правде воли мон[аршей]»\*.

В записях Симеона П[олоцкого] курс моральной философии, слушанный в Виленском коллегииуме. Рукописный латинский курс морали Феофана в Киеве 1707/[0]8 г. Из всех философских влияний, навевавшихся на Петра, он воспринимал только политику, цели и средства, а не право, не принципы. Черняк губернских учреждений 1775 г. в мешочке из Успенского московского собора: любопытен для истории текста, но без указаний на источники. Статья проф. Десницкого о разделении властей по Локку и Блекстону в «Зап[исках] Ак[адемии] н[аук]» по III отделению: он—ученик Ад. Смита. Забавная история переписки Екатерины II с Вольтером. Политика: Маркову 2-му сказано: Дума д[олжна] б[ыть] не государственная, а государева; Абд. Гамид пал от инородцев и иноверцев,—следов[атель]но...

1910 г.

Января 20

Открытие сессии Думы. Законопроект Мин[истерства] народн[ого] просвещ[ения] об увеличении жалованья директорам и инспекторам народных уч[илищ] отлагается до законопроекта о всеобщем обучении. Принимается зак[он]опроект, отменяющий запрет объяснять присяжным грозящее подсудимым наказание. Признана вопреки Мин[истер]ству нар[одного] просв[ещения] желательность врем[енных] правил о приеме в высшие уч[ебные] заведения. Единогласно принимается отмена админ[истративной] высылки. Отклоняется (большинством 1 голоса) предложение трудовиков о двухнедельном сроке для доклада комиссии по вопросу об отмене смертной казни; трусость и смешное положение батюшек, оставшихся одиноко в пустом зале при дверном голосовании.

Января 22 заседание Г[осударственной] думы о земельном цензе для мировых судей. Худож[ественные] сцены в духе Щедрина («Р[усское] сл[ово]», № 18\* — отложено).

10—12 февраля французские сенаторы и депутаты в Москве (описание в «Р[усском] слове»\*).

## ДНЕВНИКОВЫЕ ЗАПИСИ 1902—1911 гг.

1902 г.

28 дек[абря]

Нет исторической памяти—и нет исторического глазомера.

Эстетическое<sup>1</sup>, нравоучительное и автогностическое применение истории. Последнее—понимание наличных нужд и потребностей (различие между ними) и средств для удовлетворения тех и других, и как результат понимания—чутье перелома, когда действовавшее сочетание начинает изменяться и в какую сторону.

1904 г.

16 мая

### Методологические заметки<sup>2</sup>

Человек работал умно, работал и вдруг почув[ств]овал, что стал глупее своей работы.

Азия просветила Европу, и Европа покорила Азию. Теперь Европа просвещает спавшую Азию. Повторит ли Азия ту же операцию над Европой? Это зависит от европ[ейской] партии анархии: если эта партия ввиду желтой опасности притихнет, Европа будет завоевана желтыми пигмеями; если будет безобразничать и убивать даже пожилых императриц, белая Европа одолеет желтую Азию. Победа возможна при единодушии европ[ейских] народов, а оно достижимо только на почве борьбы с анархией.

[...] Прошедшему делают экзамен, насколько оно понимало понятия своих испытателей, и ставят ему отметку, определяющую высоту его развития. [...]

Историки-юристы, не принимая в расчет совокупность условий жизни, возвращаются в своей замкнутой клетке, решая уравнения с тремя неизвестными.

1905 г.

[Ранее 7 января]

Мы собрались не праздновать, а вспоминать.

У нас исчезли все идеи и остались только их символы, погасли лучи, но остались тени.

<sup>1</sup> *Над строкой: Худож[ественное].*

<sup>2</sup> *Заголовок написан красным карандашом.*

Хотели разрушить и унив[ерситетскую] программу, и проф[ессорскую] корпорацию, превратить первую в сервильную муштровку студенч[еских] умов, вторую в особый полиц[ейский] корпус с желтыми пуговицами. При унив[ерсите]тах новые учебно-вспомогат[ельные] установления — места предварит[ельного] заключения для студентов. Но мы вышли из 20-летнего перелома и профессорами, и товарищами; университеты остались научно-воспитат[ельными] учреждениями.

Как они легко и охотно г[ово]рят, легче и охотнее, чем размышляют. Завидно!

Бюрократия есть сила, утратившая цель своей деятельности и потому ставшая бесцельной, но не переставшая быть сильной. Вы без нее не обойдетесь или сами в нее переродитесь.

Но наши силы понадобятся нам не на Моховой только, а на более обширном пространстве. Народ, г[оспода], пробуждается, протирает глаза и желает рассмотреть, кто — кто.

Ряд превосходных прив[ат]-доцентов, с честью заменяющих профессоров. Но последних нет, и я не присутствую.

России больше нет: остались только русские.

7 янв[аря]

1) Дворяне выборные — наиболее зажиточные и исправные по службе, отборные<sup>1</sup> из уездных детей боярских, какие бывали не в каждом уезде. Они по очер[еди] на известный срок вызывались в Москву для исполнения столичных поручений, входили вместе с моск[овскими] чинами в состав царского полка, когда г[осу]дарь сам шел в поход, служили младшими офицерами в своих провинци[альных] отрядах, вообще составляли переходную ступень от городских чинов к столичным<sup>2</sup>.

2) Трудно<sup>3</sup>.

[9 января]

В. Стрельба в Петербурге — это 2-й наш Порт-Артур (согласие войска на то).

14 февр[аля]

В устройстве представительного собрания первый вопрос: кого оно представляет, какие общественные классы и силы находят в нем выражение своих нужд и желаний.

<sup>1</sup> Далее зачеркнуто: люди, какие б[ывали].

<sup>2</sup> Над зачеркнутым: московским.

<sup>3</sup> Далее три с половиной строки оставлены чистыми.

Эти классы и силы должны быть организованы, объединены в какие-либо союзы, корпорации; иначе они — и не политические факторы, могущие участвовать в народном представительстве.

Такими классами остаются в составе нашего общества старые сословия. Реформы и сопровождавшие их разнообразные перемены в нашей жизни поколебали основы этого сословного строя, переоценили сравнительное значение сословий в государстве и обществе, перепутали их взаимные отношения.

В местном самоуправлении, городском и земском, главное значение имеют три сословия: дворянство, купечество и крестьянство. Но кроме сословий в обществе действуют еще другие силы, которые можно назвать<sup>1</sup> интересами. Они очень разнообразны, но могут быть сведены к двум категориям: это капитал и труд. Эти интересы вносят в общество свою классификацию, которая уже далеко не совпадает с сословн[ым]<sup>2</sup> делением: сколько крестьян, занятых работой в городах, по домам и на фабриках, порвали уже не только бытовые и нравственные, но и юридические связи с селом!

Капитал в своих разнообразных видах представлен в городских и земских учреждениях довольно неравномерно. Земли разночинцев, купцов и мещан, сверхнадельные земли крестьян представлены косвенно, не сами по себе, а по сословной принадлежности своих владельцев; земли церковные в земстве не представлены вовсе, как не представлены в городах рентьеры и разные промышленники с капиталом, но без недвижимой городской собственности.

Еще случайнее отношение труда к местному правительству. Люди так называемых свободных профессий, как и разного рода мастера и рабочие, не принимают в нем никакого участия, хотя нередко образуют различные союзы, корпорации, артели, даже с правами юридических лиц.

При таком переслоении общества по интересам возникает трудный вопрос о составе народного представительства. Сословное деление уже не отражает в себе полно [и] точно действующих в обществе интере[сов, а] эти интересы еще не успели кристаллизироваться, сомкнуться в общественные классы, способные найти своих представителей. При такой неутвержденности общественного состава можно проектировать какие угодно системы народного

<sup>1</sup> Далее зачеркнуто: их.

<sup>2</sup> Край листа оборван, здесь и далее восстановлено по смыслу.

представительства, выкраивая их по образцу ли старинных московских Земских соборов, или по современным западноевропейским конституционным шаблонам. Но все такие учредительные опыты рискованны и ненадежны. Жизнь должна сама создавать свои формы, прилаженные к наличным условиям места и времени.

Какой же возможен способ для такой созидательной работы? Как добыть надлежащие указания на соотношение общественных сил в данный момент, на степень развитости и напряженности действующих интересов? Никакой законодатель не располагает достаточными средствами для этого, никакая печать не в состоянии с достаточной быстротой и точностью схватить бегущую минуту со всеми ее местными и классовыми оттенками. У кого же искать этих указаний на соотношение и качество общественных сил и интересов, как не у их готовых представителей, ответственно действующих по их полномочиям? Таковы земские и выборные городские учреждения. Затруднение, вытекающее из того, что в таком случае устраняются от дела классы и интересы, не представленные или слабо представленные в этих учреждениях, облегчается задачей, какая должна быть поставлена предполагаемым земским и городским представителям в деле устройства народного представительства.

Цель созыва таких представителей не совещательная, не подача мнений по заданным вопросам и не заявление нужд и желаний населения, а подготовительное совещание самих представителей между собою по вопросу о составе постоянного народного представительства. Члены совещания должны уговориться между собою в том, какие классы и интересы и как могут найти место в этом представительстве. Предварительно этот вопрос обсудят губернские думы и земские собрания и решения передадут своим уполномоченным по должности, т. е. городским головам и председателям губернских земских собраний для обсуждения на подготовительном общем совещании. В этих местных резолюциях найдут себе выражение и интересы и классы, не представленные прямо ни во всеобщих земских, ни в бессловных городских учреждениях, насколько эти интересы и классы значительны и организованы, т. е. способны заявить о своем существовании и значении как этим учреждениям, так общественному вниманию. Работа совещания неизбежно сведется к вопросу об изменении состава избирательных зем[...]<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Дальнейший текст не сохранился.

Заседание 19 июля 1905, Петергоф\*

Игнатъев. Полит[ическая] говорильня\*. Думу нелегко б[удет] удержать в пределах закона, и положение едва ли б[удет] хуже того, из которого мы исходили.

Трепов. Дума всегда опасна. Опасность уменьшится только твердостью прав[итель]ства. § 42\* б[удет] сдерживать мнение.

Манухин. Самодержавие—ист[очни]к всякой власти. Интересам самодержавия не противоречит недопущение нежелаемого населением законопроекта.

Иксуль. Нет в проекте слова «самодержавие»\*. В совещ[ательном] учреждении нет места большинству или меньш[ин]ству. Вполне соответствует рескрипту, не умаляя самод[ержавной] власти, но это д[олжно] быть выражено в проекте.

Голен[ищев-Кутузов]. Дух законов—в проекте есть какое-то обя[затель]ство власти: [1] собрать надо распущенную; 2) затворяет доступ меньшинству к власти. За меньшинство. Это уже нечто конституционное: некоторые законы не состоятся, потому что против них большинство. Дума будет иметь больше власти, чем Г[осударственный] совет. Мало не противоречить, надо поддерживать. Партия конституционная—ей закон не удовлетворит. Славянофилы—и ей не удовлетворит: нет прямой подачи мнений народа. Но есть 99%\* народа; помещики, народ, трудовые люди—что они, как они думают? Отвечает ли проект этой массе? Никто не в состоянии на это ответить. Престижу самодержавие отвечает? По духу нет. Парлам[ентские] выбор[ы]; [это] может повести к подрыву самодержавия.

Ширин[ский-Шихматов]. По духу не согласно с самодержавием; есть некоторое противоречие.

Адресы рабочих\*—освободить от евреев и сохранить самодержавие.

21 окт[ября]

Для Гучк[овы]х<sup>1</sup>

Правительство отказалось от своей роли, не мирит враждующих и не сдерживает крайних, ни левых, ни правых, которые оказываются еще анархичнее самих левых: оно лавирует, выжидает. Всего тяжелее положение умеренно-либеральной середины, партии своб[одного] порядка. Она жаждет мирной созидательной работы на почве дарованных прав; но она не организована и не знает,

<sup>1</sup> Заголовок написан синим карандашом.

что делать. Идти своей дорогой она не может, потому что она не собралась еще в дорогу и у нее нет своей дороги, нет определенной программы: в одном она гнет направо, а в другом ее тянет налево. Она может крепко стать за манифест 17 октября в надежде, что правительство поддержит ее на этой позиции. Но оно может и не сделать этого, не будет противодействовать агитации за четырехгранное голосование и Учредительное собрание, и тогда партии порядка придется поневоле слиться с черной сотней. Не поддержанная правительством, она может повернуться налево, но ее встретят здесь как просящую помощи и навяжут ей свои требования, заставят отказаться от самой себя. Как пассивное ни то ни се, она подвергнется двустороннему обстреливанию с той и другой стороны<sup>1</sup>.

Мы присоединили Польшу, но не поляков, приобрели страну, но потеряли народ.

Национальный принцип устраняется в области личных прав, но признается в области прав политических. Завоевание надобно поставить на почву соглашения, силу заменить правом.

Гучкову. Нач[ало] ноября 1905<sup>2</sup>

Р[усский] народ не может положить свою судьбу на весы польск[ого] народа. Тащить чрез мозги русской думы — тормозиться (сервитуты). Междунар[одный] вопрос — совещательный сейм.

Против блока. Раскройте все скобки, реализуйте стереотипы, чтобы вас никто не обвинил в неискренности.

Нет всесословной волости. [...]

1. Против стачек с абстракцией.
2. Молчи о праве собственности.
3. Социализм — не отнятие собственности, а ее эволюция (сама исчезает). Не по русской истории. Промолчите<sup>3</sup>.

4. Просто перечневым порядком (язык, [шк]ола местная, обяз[ательно]<sup>4</sup> постановлением).

Широкое самоуправление? Проекты сейма в Г[осударственную] думу. Сервитуты. Нарисовать картины прав для народностей, исчерпывающие всю полноту прав. Стереотипов избегать, раскрывать скобки отвлеченности.

<sup>1</sup> Далее четвертая часть листа оставлена чистой.

<sup>2</sup> Строка написана красным карандашом.

<sup>3</sup> Подчеркнуто синим карандашом.

<sup>4</sup> Слово написано синим карандашом.

Дума обязана рассмотреть местные проекты. Национальности без территории [с] общими гражд[анскими] правами.

20 дек[абря]

### Политич[еские] мысли<sup>1</sup>

Я не сочувствую партиям, манифесты которых сыплются в газетах. Я вообще не сочувствую партийно-политическому делению общества при организации народного представительства. Это: 1) шаблонная репетиция чужого опыта, 2) игра в жмурки. Манифесты выставляют политические принципы, но ими прикрываются гражданские интересы, а представительство частных интересов — это такой анахронизм, с которым пора расстаться. Все платформы грешат одним недосмотром: они спешат установить, т. е. предопределить, направление нашего будущего конституционного законодательства, а наша ближайшая задача и забота — обеспечить и подготовить самый орган конституционного представительства.

Оппозиция против правительства постепенно превратилась в заговор против общества. Этим дело русской свободы было передано из рук либералов в руки хулиганов.

Я могу только [проявить] сочувствие, но не могу принять участие.

Е. Тр[убецкой?] etc. — это не бойцы, а только застрельщики. Они способны расшевелить нервы, но не дадут идей.

Обществ[енные] интересы не так разнообразны и недружелюбны м[ежду] собою, как личные мнения, и первые легче согласить, чем вторые<sup>2</sup>.

Законы о Г[осударственной] думе. Незаконченность дела. Что приобретено (бюрократия сбоку). Обилие партий и неудобства этого. Выход — уяснение общих интересов и их соглашение с частными. Видимое противоборство частных интересов, внушаемое приказной администрацией, и их внутреннее согласие, которое д[олжно] выражать народное пред[ставитель]ство (знай, сверчок). Как администрация согласует интересы — дифференц[ированный] железнодорожный тариф Вышн[еградско?]го. Народное пред[ставитель]ство — общее благо: это внутренняя связь частных интересов.

<sup>1</sup> Заголовок написан красным карандашом.

<sup>2</sup> Далее три четверти листа оставлены чистыми.

[1905 г.]

Движимый этим духом, в нем живущим и его охраняющим, Государственный совет во имя блага России верно служил своим верховным представителям, когда выражал мнения, кои, освящаясь их державной волей, становились правилами русской государственной жизни, верно служил и тогда, когда наблюдал, чтобы действие державной воли не было затрудняемо начинаниями незрелыми и неблагоприятными, не проверенными опытом и размышлением, не из истинных народных нужд исходящими.

1906 г.

Вы хотите подвести канонический фундамент под фактическое обветшалое здание р[усского] церк[овного] управления? Не знаю, можно ли? Это дело церковно-иерархической архитектоники, которая очень поработала над искажением церкви у нас и на правосл[авном] В[остоке]. Мне, как мирянину, руководящемуся лишь голосом своей совести, важен только один вопрос: будет ли канонический фундамент христианским<sup>1</sup>.

15 н[оя]бря

Наверное, наши архиереи возразят, что католическая иерархия вела себя еще хуже. Наша иерархия любит ссылаться на чужие недостатки, большая охотница приобретать праведность<sup>2</sup> чужими грехами. Как вербуеться наша высшая иерархия? Люди духовного, а в последнее время зачастую и светского звания, обездоленные природой или спалившие свою совесть поведением, не находя себе пристойного сбыта, проституируют себя на толкучку русской церкви, в монашество, и черным клобуком, как могильной насыпью, прикрывают невзрачную летопись своей жизни, какую физиология вырезывает на их невысоких лбах. Надвинув на самые брови эти молчаливые клобуки, они чувствуют себя безопасными от своего прошедшего, как страусы, спрятавшие свои головы за дерево. Правосл[авная] паства лениво следит за этими уловками своих пастырей и, равнодушно потягиваясь от усердных храмовых коленопреклонений, говорит, лукаво подмигивая, знаем-де. Нигде высшую церковную иерархию не встречали в качестве преемников языческих волхвов с большим страхованием, как в России, и нигде

<sup>1</sup> На полях: После очерка р[усской] ц[ерковной] истории.

<sup>2</sup> Над строкой: статья праведницей.

она не разыгрывала себя в таких торжественных скоморохов, как там же. В оперном облачении, с трикирием и дикирием в храме, в карете четверней, с благослов[ляющим] кукишем на улице, простоволосая, с грозой и руганью перед дьячками и просвирнями на приемах, с грязными сплетнями за бутылкой лиссабонского или tenerифа в интимной компании, со смиренно-наглым и внутрь смеющимся подобострастием перед светской властью, она, эта клобучная иерархия, всегда была тунеедной молью всякой тряпичной совести русского православного слюнтя.

Христос дал истину жизни, но не дал форм, предоставив это злобе дня. Вселенские соборы и установили эти формы для своего времени, цепляясь за его злободневные условия. Они были правы для своего времени; но не право то позднее узколобие, которое эти временные формы признало вечными нормами, признав учение Христа только случайным началом церковного строительства.

23 дек [абря]

Что такое наше церк[овное] богослужение? Ряд плохо инсценированных и еще хуже исполняемых оперно-истор[ических] воспоминаний. Верующий приносит из дома в церковь куплен[ную] свечку и свое религиозное чувство, ставит первую перед иконой, а второе вкладывает в разыгрываемое перед ним вокально-костюмированное представление и, пережив нравственно-успокоительную минуту, возвращается домой. Затем до следующего праздничного дня он чужд церк[овной] жизни: он — одинокий верующий. Встреча с соприхожанами в ц[еркви] — встреча знакомых на улице: никакого общения верующих не бывает в стенах храма. Здесь каждый проверяет только свою совесть своим же собственным настроением, а не совестью собрата во Христе. Он не член ц[еркви], а единоличная церковь, ходит в храм, как в баню, чтобы смыть со своей совести сор, насевший на нее за неделю.

Членам Предсоб[орного] присутствия прежде всего трудно б[ыло] понять друг друга: им оставалось только спросить себя, зачем они тут встретились, для чего созданы.

Для молящейся в соборе публики архиерейские дикирии и трикирии привлекательнее архиереев, чьи руки их торжественно скрещивают.

У высшей иерархии больше власти, чем авторитета. Членам Предсоб[орного] присутствия трудно б[ыло] понять самих себя и друг друга.

1909 г.

Лето 1909 (с 10 мая)

## Заметки

1. Причин явления надо искать в самом явлении, а не вне его, объяснения личности — вне ее, а не в ней самой.

2. Сказка бродит по всей нашей истории, разыскивая и нащепывая разумные причины и дальновидные соображения там, где действовали наследственные недоразумения и слепые инстинкты, и волшебной феей навевая золотые сны сонным людям, которые, очнувшись, с сонником в руках освещают ими свою тусклую стихийную жизнь. Не ищите в нашем прошедшем своих идей, в ваших предках — самих себя. Они жили не вашими идеями, даже не жили никакими, а знали свои нужды, привычки и похоти. Но эти дедовские безыдейные нужды, привычки и похоти судите не дедовским судом, прилагайте к ним свою собственную, современную вам нравственную оценку, ибо только такой меркой измерите вы культурное расстояние, отделяющее вас от предков, увидите, ушли ли вы от них вперед или попятитесь назад<sup>1</sup>. Так называемая историческая объективность — бэконовская *virgo sterilis*<sup>2</sup>.

3. Привозная с Запада наука долго оставалась бесплодной для русской жизни, потому что встретила с житейскими понятиями и порядками, совсем чуждыми этой науке, и не трогала, перерабатывала их по-своему, оставаясь нарядной и бездеятельной роскошью отдельных умов.

4. Историк задним умом крепок. Он знает настоящее с тыла, а не с лица. Это недостаток ремесла, как кривизна ног у портного. Отсюда оптимизм историков, их вера в нескончаемый прогресс, ибо зад настоящего краше его лица. У историка пропасть воспоминаний и примеров, но нет ни чутья, ни предчувствий.

17 июля

4. Обычные явления в жизни народов, отсталых и почему-либо ускоренно бросившихся вдогонку за передовыми: 1) возникновение множества новых занятий, требующих наскоро набранных сведений, полуобразования, и появление интеллигенции; 2) удаление этих новых классов от народной массы, неспособной так быстро

<sup>1</sup> На полях: Стрелка компаса.

<sup>2</sup> бесплодная дева (лат.).

усвоять новые знания и понятия<sup>1</sup>, и 3) разрушение старых идеалов и устоев жизни вследствие невозможности сформировать из наскоро схваченных понятий новое мирозерцание, из не связанных с вековыми преданиями и привычками новых занятий сложить новые бытовые основы. А пока не закончится эта трудная работа, несколько поколений будут прозябать и метаться в том межеумочном, сумрачном состоянии, когда мирозерцание подменяется настроением, а нравственность разменивается на приличис и эстетику.

5. Изучение нашего прошлого бесполезно — с отрицательной стороны. Оно оставило нам мало пригодных идеалов, но много поучительных уроков, мало умственных приобретений и нравственных заветов, но такой обильный запас ошибок и пороков, что нам достаточно не думать и не поступать, как наши предки, чтобы стать умнее и порядочнее, чем мы теперь.

20 дек[абря]

Россет — обрусевшие инородцы с их своеобразным патриотизмом и взглядом на новое, неродное отечество.

Николай у А[лександр] О[сиповны]\* в гостин[ой] чувствовал и вел себя, как за границей, свободомыслящим европейцем, джентльменом, не русским самодержцем, запросто и даже почтительно разговаривал с русск[им] писателем, которого его застеночный *sensor morum*<sup>2</sup> Бенк[ендорф] сажал в крепость по 3-му пункту, без объяснения причин. Это б[ыли] не эстетика и не патриотика, а своего рода домашняя диетика. Портя себе вкус к жизни ежедневными лакомствами безотчетной власти, восстанавливая его минутным сухоядением, корректности и джентльменства в гостиной образованной и умной полурусской барыни, бывшей фрейлины, петербургский дом которой как нечто экстерриториальное, подобно квартирам иностран[ных] посланников, изъят был из-под действия русских властей и законов.

Это было неловкое положение, но тогда привыкли к подобным неловкостям, как привыкают к петербургской погоде, и даже находили в этом некоторое удовольствие или пользу. Покровительство литературе и искусству разгоняло скуку парада и доклада, а художественное творчество находило в высоком внимании безопасные

<sup>1</sup> На полях: Дифференциация просвещения идет об руку с поляризацией бедности и богатства.

<sup>2</sup> цензор нравов (лат.).

пределы своего полета. Воздушный шар на привязи мог треснуть, но не улететь из вида.

1911 г.

[Ранее 30 января]

### Общие заметки

Посредник между правит[ельство]м и кр[естьяни]ном — помещик — создан в XVIII в., после 1762 [г.].

Описанные до стр. 22 *Leibeigenschaft*<sup>1</sup> — не наше холопство: не личная, а реальная неволя; везде элемент права, крепки земле.

Крепостной труд — ежеминутный саботаж — работа, низверженная до допускаемого законом минимума.

Нынешняя политика: менять законы, реформировать права, но не трогать господствующих интересов.

Чем более сближались мы с З[ападной] Европой, тем труднее становились у нас проявления народной свободы, потому что средства западноевропейской культуры, попадая в руки немногих тонких слоев общества, обращались на их охрану, не на пользу страны, усиливая социальное неравенство, превращались в орудие разносторонней эксплуатации культурно безоружных народных масс, понижая уровень их общественного сознания и усиливая сословное озлобление, чем подготавливали их к бунту, а не к свободе. Главная доля вины — на бессмысленном управлении.

Земледелием кормятся в Англии 17%, в Германии — 35,5, Франции — ?, России — 75%.

30 янв[аря]

В нашем обществе, проходящем еще периоды геологического образования, каждое сильное лицо само вырабатывает понимание вещей и правила своей деятельности из самого процесса своей личной жизни, свободной от преданий, заветов, чужих опытов. Он, как Адам, дает вещам свои имена. Отсюда разнообразие характеров и неуловимость типов, рыхлость общества и непривычка к дружной деятельности плотными крупными союзами. У себя дома мы сильнее, чем на улице. Личный интерес господствует над общественным.

Противоречие в этнографическом составе Русск[ого] государства на западных европейских и восточных азиатских окраинах: там захвачены области

<sup>1</sup> Крепостное состояние (нем.).

или народности с культурой гораздо выше нашей, здесь — гораздо ниже; там мы не умеем сладить с покоренными, потому что не можем подняться до их уровня, здесь не хотим ладить с ними, потому что презираем их и не умеем поднять их до своего уровня. Там и здесь неровни нам и потому наши враги.

Умолчание Св[ода] зак[онов] об юрид[ических] и полит[ических] основах права крепости производит такое впечатление, что обе стороны, правит[ель]ство и дворянство, признавали это право чем-то таким, что превратится в постыдное и ни в каком государстве не допустимое безобразие, как скоро в него будет внесена хотя микроскопическая доза права.

У нас нет ничего настоящего, а все суррогаты, подобия, пародии: quasi-министры, quasi-просвещение, quasi-общество, quasi-конституция, и вся наша жизнь есть только quasi una fantasia<sup>1</sup>.

Павел, Ал[ександр] I и Николай I владели, а не правили Россией, проводили в ней свой династический, а не государственный интерес, упражняли на ней свою волю, не желая и не умея понять нужд народа, истощили в своих видах его силы и средства, не обновляя и не направляя их к целям народного блага.

Закон жизни отсталых государств или народов среди опередивших: нужда реформ назревает раньше, чем народ созревает для реформы. Необходимость ускоренного движения вдогонку ведет к перениманию чужого наскоро.

1. Наша история XVIII и XIX вв. Коренная аномалия нашей политической жизни этих веков в том, что для поддержания силы и даже существования своего государства мы должны б[ыли] брать со стороны не только материальные, но для их успеха и духовные средства, которые подрывали самые основы этого государства. Люди, командированные правительством для усвоения надобных ему знаний, привозили с собой образ мыслей, совсем ему ненужный и даже опасный. Отсюда двойная забота внутренней политики: 1) поставить народное образование так, чтобы наука не шла дальше указанных ей пределов и не перерабатывалась в убеждения, 2) нанять духовные силы на свою службу, заводя дома и за границей питомники просвещенных борцов против просвещения. Трагизм положения в XIX в. — против правительства, борющегося со своей страной, стал просвещенный на правительственный кошт патриот, не верящий ни в силу просвещения, ни в будущее своего отечества.

<sup>1</sup> Так в рукописи.

27 ф[евраля]

2. П[авел] погиб от матерней придворной знати, подобно азиатским деспотам. Либерализм его старшего сына — азиатская трусость, старавшаяся заслониться от этой старой екатер[ининской] знати английски воспитанной либеральной знатной молодежью, потом сволочью вроде Аракчеева. Но о связи нравственной с русским обществом он, может быть, думал только в первые годы. 14 декабря показало и случайному царю, и придворной знати их общего врага — дворянскую европейски образованную и пропитавшуюся в походах освободительными влияниями Запада гвардейскую офицерскую молодежь. Отсюда две тенденции нового царствования. Первая — обезвредить гвардию политически, сделав из нее со всей армией автоматический прибор для подавления внутренних массовых движений; здесь, а не в военно-балетном увлечении источник скотски бессмысленной фрунтовой выправки. Другая тенденция — вывести вольный дух в классах, доступных западным веяниям. С достижением обеих целей — возможность эксплуатировать непонятого и потому страшного зверя — народ. Двойной страх вольного духа и народа объединял династию и придворную знать в молчаливый заговор против России. На Сенатской площади голштинцы живо почувствовали свое нравственное отчуждение от страны, куда занес их политический ветер, и они искали опоры в придворном кругу, в который Ник[олай] старался напихать как можно больше немцев. С вольным духом в обществе надеялись справиться жандармскими умами, а с кр[естья]нским народом — приставленными к нему пьявками в виде помещиков с их выборными предводителями и судебно-полицейскими агентами. А[лександр] I относился к России как чуждый ей, трусливый и хитрый дипломат, Н[иколай] I — как тоже чуждый и тоже напуганный, но от испуга более решительный същик.

# АФОРИЗМЫ И МЫСЛИ ОБ ИСТОРИИ

## ТЕТРАДЬ С АФОРИЗМАМИ

[1891 г.]

1. Закономерность исторических явлений обратно пропорциональна их духовности.
2. Если тень человека идет впереди его, это не значит еще, что человек идет за своею тенью.
3. Если под характером разумеется решительность действия в одном направлении, то характер есть не что иное, как недостаток размышления, не умеющего указать воле других направлений.
4. Так называемые типы времени—это лица, на которых застыли наиболее употребительные или модные гримасы, вызванные патологическим состоянием людей известного времени.
5. Человек—это величайшая скотина в мире.
6. Наша государственная машина приспособлена к обороне, а не к нападению. Она дает нам столько же устойчивости, сколько отнимает подвижности. Когда мы пассивно отбиваемся, мы сильнее себя, ибо к нашим оборонительным силам присоединяется еще наше неумение скоро понять свое бессилие, т. е. наша храбрость<sup>1</sup> увеличивается тем, что, испугавшись, мы не скоро собираемся бежать. Напротив, нападая, мы действуем только 10% своих сил, остальное тратится на то, чтобы привести в движение эти 10%. Мы точно тяжеловооруженный рыцарь средних веков. Нас победит не тот, кто рыцарски правильно

<sup>1</sup> Над строкой: стойкость.

атакует нас с фронта, а кто из-под брюха лошади схватит нас за ногу и перекувырнет: как таракан, опрокинувшийся на спину, мы, не теряя штатного количества наших сил, будем бессильно шевелить ногами, ища точки опоры. Сила есть акт, а не потенция; не соединенная с дисциплиной, она сама себя убивает. Мы низшие организмы в международной зоологии: продолжаем двигаться и после того, как потеряем голову.

7. Можно иметь большой ум и не быть умным, как можно иметь большой нос и быть лишены обоняния.
8. Добро, сделанное врагом, так же трудно забыть, как трудно запомнить добро, сделанное другом. За добро мы платим добром только врагу; за зло мстим и врагу, и другу.
9. Мужчина любит женщину чаще всего за то, что она его любит; женщина любит мужчину чаще всего за то, что он ею любит.
10. Семейные ссоры — штатный ремонт ветшающей семейной любви.
11. Красавица смотрит на свою любовь как на жертву Молоху; некрасивая считает ее ненужным подарком, который ей позволили принести; женщина ни то ни сё видит в ней просто половую повинность.
12. Страсти становятся пороками, когда превращаются в привычки, или добродетелями, когда противодействуют привычкам.
13. Когда дурак начинает считать себя остроумным, количество остроумных людей не увеличивается; когда умный человек признаёт себя остроумным, всегда становится одним умным меньше и иногда одним остроумным больше; когда остроумный начинает считать себя умным, всегда одним остроумным становится меньше и никогда не бывает одним умным больше.
14. Умный спросил глупого: «Когда Вы скажете что-нибудь умное?» — «Тотчас после Вашей первой глупости», — отвечал глупый. «Ну, в таком случае нам обоим придется ждать долго», — продолжал умный. «Не знаю, как Вы, а я уже своего дождался», — закончил глупый.
15. Только в математике две половины составляют одно целое. В жизни совсем не так: например, полоумный муж и полоумная жена — несомненно две половины, но в сложности они дают двух сумасшедших и никогда не составят одного полного умного.

16. Любовь женщины дает мужчине минутные наслаждения и кладет на него вечные обязательства, по крайней мере пожизненные неприятности.
17. Есть женщины, в которых никто не влюбляется, но которых все любят. Есть женщины, в которых все влюбляются, но которых никто не любит. Счастлива только та женщина, которую все любят, но в которую влюблен лишь один.
18. Женщины, не любившие в молодости, под старость бросаются в благотворительность. Мужчины, начавшие поздно размышлять, обыкновенно пускаются в философию. Последним философией так же плохо заменяет понимание, как первым благотворительность — любовь.
19. Женщина плачет, потеряв то, чем долго наслаждалась; мужчина плачет, не достигнув того, чего долго добивался. Для первой слезы — вознаграждение за потерю, для второго — награда за неудачные усилия и для обоих — утешение в несчастьи.
20. Счастье — кусок мяса, который увидела в воде собака, плывшая через реку с куском мяса во рту. Добиваясь счастья, мы теряем довольство; теряем, что имеем, и не достигаем того, чего желаем.
21. Исключения обыкновенно правильнее самого правила, но они потому не составляют правила, что их меньше, чем неправильных явлений.
22. Кто из людей презирает людей, должен презирать и самого себя, потому презирать людей вправе только животные.
23. Он грязно обращался с женщинами, и потому женщины его не любили, потому что женщины все прощают, кроме одного — неприятного обращения с собою.
24. Прошедшее нужно знать не потому, что оно прошло, а потому, что, уходя, не умело убрать своих последствий.
25. Мужчина любит женщину, сколько может любить; женщина любит мужчину, сколько желает люб[ить]. Потому мужчина обыкновенно любит одну женщину больше, чем она того стоит, а женщина хочет любить больше мужчин, чем сколько в состоянии любить.
26. Мужчина любит обыкновенно женщин, которых уважает; женщина обыкновенно уважает только мужчин, которых любит. Потому мужчина часто любит женщин, которых не стоит любить, а женщина часто уважает мужчин, которых не стоит уважать.

27. Хорошая женщина, выходя замуж, обещает счастье, дурная—ждет его.
28. Политика должна быть не более и не менее как прикладной историей. Теперь она не более как отрицание истории и не менее как ее искажение.
29. Образ правления в государстве—то же, что темперамент в человеке. Что такое темперамент? Это способ распоряжения своими мыслями и поступками, насколько он зависит от установленного всей конструкцией человека соотношения его духовных и физических сил. Что такое образ правления? Это способ направления народных стремлений и действий, насколько он зависит от установившего исторически соотношения его нравственных и материальных средств. История, прошедшее для народа—то же, что для отдельного человека его природа, ибо природа каждого из нас есть не что иное, как сумма наследственных особенностей. Значит, как темперамент есть совокупность бессознательных<sup>1</sup>, но из самого человека исходящих условий, давящих на личную волю, так образ правления определяется суммой независимых от общественного мнения, но из самого народа исходящих условий, которые ограничивают общественную свободу. Общественное мнение в народе—то же, что личное сознание в отдельном человеке. Следовательно, как темперамент не зависит от сознания, так образ правления не зависит от общественного мнения. Первый может измениться<sup>2</sup> от воспитания; второй изменяется<sup>3</sup> народным образованием.
30. Творцы общественного порядка обыкновенно становятся его орудиями или жертвами, первыми—как скоро перестают творить<sup>4</sup> его, вторыми—как скоро начнут его переделывать<sup>5</sup>.
31. Порядочная женщина до замужества может любить только жениха, а после замужества только мужа. Но жениха она не любит вполне, потому что он еще не муж, а мужа—потому что он уже перестал быть женихом, так что порядочная женщина никогда не любит ни одного мужчины так, как женщина должна любить мужчину, т. е. вполне.

<sup>1</sup> *Над строкой:* независ[имо] от личн[ого] созн[ания].

<sup>2</sup> *Над строкой:* переработ[аться].

<sup>3</sup> *Над строкой:* перестраив[ается].

<sup>4</sup> *Над строкой:* строить.

<sup>5</sup> *Над строкой:* перестраивать.

32. Республиканцы в монархиях — обыкновенно люди, не имеющие царя в собств[енной] голове; монархисты в республиках — люди, замечающие, что другие его теряют.
33. Вся разница между умным и глупым в одном: первый всегда подумает и редко скажет, второй всегда скажет и никогда не подумает. У первого язык всегда в сфере мысли; у второго мысль вне сферы языка. У первого язык секретарь мысли, у второго ее сплетник или доносчик.
34. Влюбленный мужчина всегда глуп, потому что добивается только любви женщины, не желая знать, какую любовью любит его женщина, а это главное, потому что женщина любит только свою любовь и любит мужчину, лишь насколько мужчина любит любимую ею любовь.
35. Мужчина падает на колени перед женщиной только для того, чтобы помочь ее падению.
36. «Я ваша игрушка», — говорит женщина, отдаваясь мужчине. «Но, становясь моей игрушкой, ты останешься ли моим другом?» — спрашивает мужчина. «О, конечно», — отвечает женщина. «В таком случае я имею право подарить моему другу мою лучшую игрушку», — продолжает мужчина.
37. «Я вся твоя», — говорит женщина. «Все мое — твое», — возражает ей мужчина, но никогда не говорит при этом: «Я весь твой», — потому что обыкновенно бывает тогда сам не свой.
38. Смутные времена только тем отличаются от спокойных, что в последние говорят ложь, надеясь, что она сойдет за правду, а в первые говорят правду, надеясь, что ее примут за ложь: разница только в объекте вменяемости.
39. Каждый женский возраст приносит свою жертву любви: у девочки это губы, у девушки еще и сердце, у молодой женщины еще и тело, у пожилой еще и здравый рассудок, так что жизнь женщины есть геометрическая прогрессия самопожертвования на алтарь любви; перед смертью у ней не остается ничего.
40. Есть два рода болтунов: одни говорят слишком много, чтобы ничего не сказать, другие тоже говорят слишком много, но потому, что не знают, что сказать. Одни говорят, чтобы скрыть, что они думают, другие — чтобы скрыть, что они ничего не думают.

41. У женщин развито эстетическое самолюбие, которое часто бывает источником любви: они равнодушны к тому, кому доставляют наслаждение, если это замечают. На этом [основана] поговорка: стерпится — слюбится.
42. Есть два рода дураков: одни не понимают того, что обязаны понимать все; другие понимают то, чего не должен понимать никто.
43. Говорят, что мужчины рождаются красивыми. Это предрассудок: красивыми мужчины делаются, и делают их такими женщины.
44. Метафора или поясняет мысль, или заменяет ее. В первом случае метафора — поэзия, во втором — риторика или красноречие: красноречие есть подделка и мысли и поэзии.
45. Лицо должно отражать личность. Это отражение называется физиогномией. Есть люди, у которых лицо ничего не выражает, и есть люди с сильным выражением, хотя на них «лица нет». Потому можно сказать, что есть лица без физиогномий и есть физиогномии без лиц.
46. Мужчина, идя на доброе дело, всегда сделает его хорошим, если, провожая, его поцелует любимая женщина.
47. Женщина, влюбившаяся в мужчину, которому она не может принадлежать, должна сказать ему: «Для Вас я готова на преступление, но Вас я так люблю, что Вас не допущу до него». Мужчина в подобном случае должен говорить иначе: «Для Вас я готов на все, потому что люблю Вас, и был бы готов на преступление, если бы меньше<sup>1</sup> любил Вас».
48. Красивыми мужчинами женщины любят, умных обожают, в добрых влюбляются, смелых боятся, но выходят замуж охотно только за<sup>2</sup> сильных.
49. Самое умное в жизни — все-таки смерть, ибо только она исправляет все ошибки и глупости жизни.
50. Высшая степень искусства говорить — умение молчать.
51. У кого есть сердце, тот может сделать с женщиной все, что захочет, и дурное и хорошее. Беда<sup>3</sup> только в том, что тот, у кого есть сердце, не захочет сделать с женщиной всего, что может, именно дурного.

<sup>1</sup> Над зачеркнутым: не.

<sup>2</sup> Далее зачеркнуто: смелых.

<sup>3</sup> Над строкой: Неудобство.

52. Люди думают умнее животных; но они были бы больше людьми, если бы жили так же глупо, как живут животные.
53. Молодой человек любит женщину, мечтая, что она будет его женой. Старый человек любит свою жену, вспоминая, что она была женщиной.
54. Самолюбивый человек тот, кто мнением других о себе дорожит больше, чем своим собственным. Итак, быть самолюбивым значит любить себя больше, чем других, и уважать других больше, чем себя.
55. <sup>1</sup>
56. Самый верный и едва ли не единственный способ стать счастливым—это вообразить себя таким.
57. Чтобы сделать Петра великим, его делают небывалым и невероятным. Между тем надобно<sup>2</sup> изобразить его самим собою<sup>3</sup>, чтобы он<sup>4</sup> сам собой стал велик.
58. Крепкие слова не могут быть сильными доказательствами.
59. Уметь разборчиво писать<sup>5</sup>—первое правило вежливости.
60. Бедные люди могут иметь нравственные правила, но не должны иметь воли: первое спасает их от преступлений, второе—от несчастий.
61. Мужчина слушает ушами, женщина глазами, первый—чтобы понять, что ему говорят, вторая—чтобы понравиться тому, кто с ней говорит.
62. Есть люди, вся заслуга которых та, что они ничего не делают.
63. Мужчины всего более дорожат в женщинах их склонностью дешево продаваться.
64. Труд ценится дорого, когда дешевет капитал. Ум ценится дорого, когда дешевет сила.
65. Остриак—не разбойник и разбойник—не острияк: первый острит, но не режет, последний только режет и редко острит.
66. Есть люди, быть другом которых значит быть их жертвой, они возможны только потому, что есть люди, которые в дружбе видят только обязанность приносить жертвы друзьям.
67. Каприз—половая категория дамского мышления, не замеченная Кантом.

<sup>1</sup> Изречение густо зачеркнуто.

<sup>2</sup> Над строкой: стоит только.

<sup>3</sup> Над строкой: каким он был.

<sup>4</sup> Над строкой: представился.

<sup>5</sup> Над строкой: Иметь разборчивый почерк.

68. Различие между храбрым и трусом в том, что первый, сознавая опасность, не чувствует страха, а второй чувствует страх, не сознавая опасности.
69. Лучший воспитатель—голод: он быстро распознает то, с чего надо начинать воспитание,—стоит ли воспитывать питомца.
70. У нас сословное разделение труда действовало и в развитии искусства: поэзия развивалась дворянством, театр—купцами, красноречие—духовенством, живопись—крепостными художниками и палеховскими икономазами.
71. Смотря на вещи свысока, с высших точек зрения, мы видим только геометрические очертания вещей и не замечаем самих вещей.
72. Поэзия разлита в обществе, как кислород в воздухе, и мы не чувствуем ее только потому, что ежеминутно ею живем, как не ощущаем кислорода потому, что ежеминутно им дышим.
73. Вернейшее средство исправить женщину—показать ей идеал и сказать, что это ее портрет. Из ревности<sup>1</sup> ей захочется стать его оригиналом и непременно<sup>2</sup> удастся сделаться его сносной копией.
74. Очень ясно излагают свои мысли о сущности вещей, но в этом изложении ясны только мысли, а не сущность вещей. Понимать свои мысли о предмете не значит понимать предмет.
75. Добрый человек не тот, кто умеет делать добро, а тот, кто не умеет делать зла.
76. Играя других, актеры отвыкают быть самими собой.
77. Иногда необходимо нарушать правило, чтобы спасти его силу.
78. Люди самолюбивые любят власть, люди честолюбивые—влияние, люди надменные ищут того и другого, люди размышляющие презирают и то и другое.
79. Одиночество развило в нем привычку размышлять о самом себе, а это размышление вывело его из одиночества. Размышляя о себе самом, он незаметно для себя стал разговаривать с самим собой и таким образом приобрел себе собеседника в самом себе. Он встретился с собой как с любопытным и приятным незнакомцем.
80. При них был порядок не потому, что они его умели установить, а потому, что не сумели его разрушить.

<sup>1</sup> Над строкой: суетности.

<sup>2</sup> Над строкой: по гибкости.

81. Повесе, чтобы соблазнить женщину, нужно больше тонкого понимания людей, чем Бисмарку, чтобы одурачить Европу.
82. Большая разница между профессором и администратором, хотя она выражается только двумя буквами: задача первого—заставить себя слушать, задача второго—заставить себя слушаться.
83. Чтобы быть хорошим преподавателем, нужно любить то, что преподаешь, и любить тех, кому преподаешь.
84. С честолюбием дельца, но со средствами одного самолюбия—выходит интриган.
85. Искусство—суррогат жизни, потому искусство любят те, кому не удалась жизнь.
86. Поставщики знания и потребители искусства и обратно—таково устройство нашего культурного хозяйства (оборота).
87. Незамужние жены из запретного плода превращаются в контрабанду с фальшивой пломбой: их уже не скрывают, но говорят, что приобрели их согласно с действующим нравственным тарифом.
88. Всего хуже сознавать себя дополнением собственной мебели.
89. Чужой западноевропейский ум призван был нами, чтобы научить нас жить своим умом, но мы попытались заменить им свой ум.
90. Религиозное чувство ставит руководителем жизни разумное Провидение. Рассудок—выраженный в цифрах слепой закон необходимости. Торжество рассудка заменит религию статистикой, верование—научной гипотезой.
91. Детальное изучение отдельных органов отучает понимать жизнь всего организма.
92. Истинную цену жизни знает лишь тот, кому приходилось умирать и удалось не умереть. Истинную цену счастья знает лишь тот, кто мечтал о счастье и испытал.
93. Сладострастие есть не что иное, как властолюбивое самолюбие, разыгранное на женских прелестях.
94. Счастлив тот, кому из всех женщин, которых он любил, наиболее зла наделала та, которая наименее этого хотела.
95. Спорт становится любимым предметом размышления и скоро станет единственным методом мышления.
96. Самолюбивая женщина из запачканных пеленок своего ребенка делает себе ризу богородицы.
97. Благодарность не есть право того, кого благодарят, а

- есть долг того, кто благодарит; требовать благодарности—глупость; не быть благодарным—подлость.
98. Желание нравиться—женская форма властолюбия, как желание удивлять, т. е. пугать, есть мужская форма той же страсти. Женщина отдается в плен тому, кем хочет повелевать; мужчина завоевывает ту, которая хочет холопствовать.
99. Смерть—величайший математик, ибо безошибочно решает все задачи.
100. П.\*—это каноническая скотина, которую ап[осто-лом] Павлом разрешено есть всем православным христианам.
- «So lernt der Mensch erwerben  
Nur in der Liebe Zucht die Kunst zu sterben»<sup>1</sup>.  
Leopardi.
101. Когда люди, желая ссоры, не ждут ее, она и не последует; когда они ждут ее, не желая, она случится непременно. 26 сент[ября 18]91 г.
102. Дружба может обойтись без любви; любовь без дружбы—нет.
103. Наше общество—случайное сборище сладеньких людей, живущих суточными новостями и минутными эстетическими впечатлениями.
104. Жить значит быть любимым. Он жил или она жила—это значит только одно: его или ее много любили.
105. Музыка—акустический состав, вызывающий в нас аппетит к жизни, как известные аптечные составы вызывают аппетит к еде.
106. Счастье не в том, чтобы прожить благополучно, а в том, чтобы понять и почувствовать, в чем может оно состоять.
107. Светские люди—это класс общественных трутней, откармливаемый рабочим людом сначала для потехи, а потом на убой.
108. В истории мы узнаем больше фактов и меньше понимаем смысл явлений.
109. В мужчину, которого любят все женщины, не влюбится ни одна из них.
110. Кто не любит просить, тот не любит обязываться, т. е. боится быть благодарным.
111. Мужчина видит в любой женщине то, что хочет из нее сделать, и обыкновенно делает из нее то, чем она не хочет быть.

<sup>1</sup> «Лишь в школе любви завоевывает человек искусство умирать» (нем.).

112. Люди живут идолопоклонством<sup>1</sup> перед идеалами, и когда недостает идеалов, они идеализируют идолов.
113. В России нет средних талантов, простых мастеров, а есть одинокие гении и миллионы никуда негодных людей. Гении<sup>2</sup> ничего не могут сделать, потому что не имеют подмастерьев, а с миллионами ничего нельзя сделать, потому что у них нет мастеров. Первые бесполезны, потому что их слишком мало; вторые беспомощны, потому что их слишком много.
114. Характер — власть над самим собой, талант — власть над другими. Бесхарактерные таланты и бездарные характеры.
115. Почему от священнослужителя требуют благочестия, когда врачу не вменяется в обязанность, леча других, самому быть здоровым?
116. Здравый и здоровый человек лепит Венеру Милоскую из своей Акулины и не видит в Венере Милосской ничего более своей Акулины.
117. Счастлив, кто может жену любить, как любовницу, и несчастлив, кто любовнице позволяет любить себя, как мужа.
118. О добродетелях людей, особенно женщин, большей частью можно судить только по совокупности их пороков, потому что добродетелью обыкновенно считают люди, особенно женщины, только отсутствие соответствующего порока.
119. Существующий порядок, пока он существует, не есть лучший из многих возможных, а единственно возможный из многих лучших. Не то, что он лучший из мыслимых, сделало его возможным, а то, что он оказался возможным, делает его лучшим из мыслимых.
120. Некоторые женщины умнее других дур только тем, что сознают свою глупость. Разница между теми и другими только в том, что одни считают себя умными, оставаясь глупыми; другие признают себя глупыми, не становясь оттого умными.
121. Дамы только тем и обнаруживают в себе присутствие ума, что часто сходят с него.
122. Дружба обыкновенно служит переходом от простого знакомства к вражде.
123. У артистов от постоянного прикосновения к искусству притупляется и вытирается эстетическое чув-

<sup>1</sup> *Над строкой:* творят себе идол[а].

<sup>2</sup> *Над строкой:* Гениальные единицы.

- ство, заменяясь эстетическим глазомером, как у виноторговца-эксперта аппетит к вину заменяется вкусом в вине.
124. Есть два рода нерешительных людей: одни нерешительны, потому что не могут сообразить никакого решения, другие — потому, что зараз соображают несколько решений. Первые нерешительны, потому что глупы, вторые кажутся глупыми, потому что нерешительны.
125. Есть два рода любви к ближнему. Если мы любим самое наше чувство любви к другому, это — любовь. Если мы любим любовь другого к нам, это — дружба. Любовь разрушается взаимностью, а дружба ею питается.
126. Наше сочувствие религиозной старине не нравственное, а только художественное: мы только любим ее чувствами, не разделяя их, как сладострастные старики любят молоденькими девицами, не будучи в состоянии любить их.
127. Было бы сердце, а печали найдутся.
128. Размышляющий человек должен бояться только самого себя, потому что должен быть единственным и беспощадным судьей самого себя.
129. Кто смеется, тот не злится, потому что смеяться значит прощать.
130. Кто имеет друзей, которые ненавидят друг друга, тот заслуживает их общей ненависти.
131. Ум гибнет от противоречий, а сердце ими питается. Под холодной веселостью часто скрывается теплая грусть, как альпийский лед прикрывает нежный подснежник. Можно ненавидеть человека, как подлеца, а можно умереть за него, как за ближнего.
132. Молодая девица, желающая выйти замуж за пожилого мужчину, должна написать ему следующее письмо со вложением дружбы: «Я не могу быть ни Вашей любовницей, ни Вашей женой; любовницей — потому что я Вас слишком люблю, женой — потому что недостойна Вашей любви».
133. Какая разница между женой и любовницей? Любовниц мы любим по инстинкту, жены нас любят по апостолу. Следовательно, для гармонии жизни надобно иметь и жену и любовницу: незаслуженной любовью нелюбимых жен мы мстим коварным любовницам, а самоотверженной любовью к нелюбящим любовницам мы подаем добрый пример нашим обманываемым женам.

134. Чувствительность есть подделка чувства, как диалектика есть подделка логики.
- [135.] Хотеть быть чем-то другим, а не самим собой значит хотеть стать ничем<sup>1</sup>.

## ЗАПИСНАЯ КНИЖКА

[1890-е годы]

Июнь 1892.

1. Ввести в обзор источников археологические и другие вспомогательные сведения.
2. Прогресс мысли в том, что достигнутую цель она превращает в средство для дальнейшей цели; прогресс чувства в том, что удачное средство оно делает целью, новой целью, забывая о первоначальной цели или тяготясь<sup>2</sup> ей как неизбежным следствием. 4 июля. Брыково.
3. Предмет истории — то в прошедшем, что не проходит, как наследство, урок, неконченный процесс, как вечный закон. Изучая дедов, узнаем внуков, т. е., изучая предков, узнаем самих себя. Без знания истории мы должны признать<sup>3</sup> себя случайностями, не знающими, как и зачем мы пришли в мир, как и для чего в нем живем, как и к чему должны стремиться, механическими куклами, которые не рождаются, а делаются, не умирают по законам природы, жизни, а ломаются по чьему-то детскому капризу.
4. В преданиях и усадьбах старых русских бар встретим следы приспособлений комфорта и развлечения, но не хозяйства и культуры; из них можно составить музей праздного баловства, но не землевладения и сельского управления. [...] <sup>4</sup>
9. Схема истории холопства в России. Военное или экономическое насилие превратилось в юридический институт, который посредством продолжительной практики превратился в привычку, а она по отмене института осталась в нравах как нравственная болезнь. 19 июля. [...]
23. Современный трезвый и благоразумный человек видит только нескладницу житейских отношений, не видя в

<sup>1</sup> Далее 5<sup>1</sup>/<sub>2</sub> листа оставлены чистыми.

<sup>2</sup> Над строкой: смотря.

<sup>3</sup> Над строкой: казаться.

<sup>4</sup> Пункты 5—8, 10—22, 29—50 опускаются, так как являются выписками фактического материала из газет и других источников и заметками для курса.

- них внутреннего смысла, и, не думая об их исправлении, старается только направить их в свою пользу. Личный эгоизм — единственная гармония жизни для него. В жизни он видит только прорехи и щели, не штопая их мечтами, не замазывая их донкихотскими порывами, и спокойно плюет в них, когда нельзя в них просунуть пальца для благоприобретения чужой вещи без взлома.
24. Честолюбцы фантазии и натуги; первые — сами себя догоняющие, вторые — сами от себя отстающие. Оба поставят себя на высокий пьедестал и потом карабкаются, чтобы подняться до своего призрака.
25. Раскол. Два момента надо различать в его происхождении: нравственно-психологический — переворот в каждом отдельном раскольнике, откалывавшемся от церкви, и церковно-канонический — образование церковного сектантского общества из отколовшихся. С условиями государственной и народной гражданской жизни связан наиболее первый.
26. Екатерина своей популярностью обязана ужасам времени Анны.
27. Обряд — религиозный пепел: это нагар — на вере, образующийся от постепенного охлаждения религиозного чувства; но он и охраняет остаток религиозного жара от внешнего холода жизни. Обряд — действие, вызываемое чувством; становясь привычным, оно может и заменять утомленное чувство, может и подогревать чувство, готовое погаснуть. В пепле долго держится часть тепла от горения, его образовавшего.
28. Науку часто смешивают с знанием. Это грубое недоразумение. Наука есть не только знание, но и сознание, т. е. умение пользоваться знанием как следует. [...]

Современная интеллигентная барышня — пушка, которая заряжается в гимназическом классе, а разряжается в университетской клинике душевнобольных.

Жены — инспектрисы мужей; только одни инспектируют их сердца, другие — их карманы, а третьи, самые разумные, — их рты.

Люди напряженно преследуют свои интересы, но книг не читают. Почему? Книги ли так неинтересны или интересы так не книжны?<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Далее треть листа оставлена чистой.

Декадентство—это искусство, утратившее эстетическое чутье, но сохранившее свою технику. Это творчество без идеала, как толстовщина—религия без бога.

У В. Г[ерь?]е сделочная, нотариальная совесть.

Ветряные мельницы: вечно машут крыльями, но никогда не летают.

Самый непобедимый человек—это тот, кому не страшно быть глупым.

Современная мысль до того изогнулась и извертелась, что стала похожа на старую балетную плясунью, которая, приподняв подол, еще может выделывать замысловатые и непристойные фигуры, но ходить прямо, твердо и просто уже не в состоянии.

Современная патологическая психология стремится глупость сделать умной, а подлость невменяемой.

Ум современного молодого человека рано изнашивается усвоением чужих мыслей и теряет способность к самостоятельности и самостоятельности.

Робкий, но не трусливый.

Театральный зритель есть человек, купивший себе в кассе право требовать, чтобы его одурачили, заставили мираж принять за действительность.

Современная философия есть дело разума, освободившегося от власти здравого рассудка и поработившегося микроскопу.

Доброта иных происходит только от утомления злом.

Пошлость самодовольная, влюбленная в самое себя.

Самая стыдливая совесть не стыдилась ей изменять.

Каждый из нас живет только для того, чтобы получить право умереть.

Эстетич[еское] остервенение современной публики, соединенное с умственным отуплением и нравственным расслаблением.

Дух[овно]-учебные заведения—не столько школы, сколько богадельни учащихся и учащихся, призреваемых там под предлогом науки: там больше богохульствуют, чем богословствуют.

Декаденты в интеллигенции—то же, что в гастрономии люди, испортившие себе пищеварение, но сохранившие аппетит.

Он так изолгался, что не верит сам себе даже тогда, когда г[ово]рит правду.

Кого он не предаст, когда ежеминутно предает самого себя: это самоиуда.

Служебное жалование превращается в государственную милостыню голодающим.

Успехи критич[еского] чутья в избалованной талантами массе и ослабление творчества (сами ничего не могут создать).

Русск[ая] интеллигенция скоро почувствует себя в положении продавщицы конфет голодным людям.

Молодость без молодых впечатлений; онанизированные преждевременными, непонятными им идеями, эти народные борцы потом станут заскорюзлыми аферистами или казнокрадами.

Истина проводится в наше сознание, подобно запретным заграничным товарам, контрабандой, под ярлыком лжи или шутки; зато под видом заграничной истины мы беспощадно получаем от своих поставщиков-производителей чистую ложь или озорство совершенно домашнего кустарного изделия. 1 янв[аря] 1898.

Умный тем отличается от дурака, что, когда оба разозлятся, умный становится дураком, а дурак умным.

Маленькие люди с большими притязаниями, с маленькими средствами, желающие делать большие дела.

Животное по инстинкту, не имея разума, поступает разумно; человек, пользуясь разумом, умеет поступать неразумно вопреки инстинкту.

Всего больше платимся мы за то, что не умеем быть вовремя умны. Потому глупость самая дорогая роскошь, которую могут позволять себе только богатые люди и которая только им прощительна. Как дорого платятся народы за глупость, что не умеют ни управлять собой, ни жить мирно друг с другом?

Кто не способен работать по 16 ч[асов] в сутки, тот не имел права родиться и д[олжен] быть устранен из жизни как узурпатор бытия.

Гордый или самолюбивый человек и историк — не совместимые в одном лице понятия: это музыкант без слуха, мыслитель без головы, Бартенев без «Р[усского] архива».

Наше будущее тяжелее нашего прошлого и пустее настоящего.

Есть люди, которые становятся скотами, как только начинают обращаться с ними, как с людьми.

Популярное искусство ценно не по пользе, которую оно приносит, а по вреду, от которого спасает, доставляя менее грубое развлечение.

Современные франц[узские] писатели более обязаны своими успехами языку, на котором пишут, чем язык им.

Русский ум всего ярче сказывается в глупостях.

Позитивизм, дарвинизм, альтруизм — все научные воззре-

ния и методы знания, переходя в образованную публику, становятся модными покроями мысли — не больше. Культурные нищие, одевающиеся в обноски и обрывки чужой мысли; растерявшись в своих мелких ежедневных делишках, они побираются слухами, сплетнями, анекдотами, словцами, чтобы сохранить физиономию интеллигентов, стоящих в курсе высших интересов своего времени.

Дурак, одураченный собственным остроумием. Дм. и К-ш. Она стала умна прежде, чем перестала быть дурочкой. Чем больше Вы живете, тем становитесь моложе.

Чтобы быть полезным людям, нужно ничем не пользоваться от них.

Вы выше нас всех: Вы один понимаете, что говорите. Молодежь, что бабочки: летят на свет и попадают на огонь.

Преисполнен собственной пустоты.

У большинства правила заменяются привычками.

Казеннокоштные золоторотцы р[усского] просвещения.

Необыкновенно животный человек.

Свое паршивое тело они прикрывают кисеей, переделанной из кожи, содранной с народного здорового тела.

Под его злостью чувствуется горе, как у больного под желчью кроется кровь.

Дрянные вешалки для великих исторических званий.

От его научных понятий пахнет учебником Ил[овайского], а от нравств[енных] убеждений — сельским кабачком.

В 60 м[инут?] въезда он вырос больше, чем со дня своего рождения.

Всякий дурной поступок носит в себе кнут для спины своего виновника.

Есть умы без воли, как есть воли без ума.

Люди образованные из народа обыкновенно сохраняют его дурные свойства и перестают понимать хорошее.

Всякий счастлив в меру своей способности к счастью и своей потребности в счастье.

У хорошего доктора лекарство<sup>1</sup> не в аптеке, а в его собств[енной] голове (не на углу улиц).

Р[усская] интеллигенция — листья, оторвавшиеся от своего дерева: они могут пожалеть о своем дереве, но дерево не пожалеет о них, потому что вырастит другие листья.

Я Вас гораздо больше бы любил, если бы Вы меня немножко меньше ненавидели, но и презирал бы Вас

<sup>1</sup> Над строкой: аптека.

даже и тогда, когда бы Вы меня уважали. (Соврем[енный] муж жене в интимной беседе.)

Высшее наслаждение мужчины — заставить женщину наслаждаться не им, а самой собой; но женщина любит только мужчину, который заставляет ее наслаждаться им, а не самой собой. [...]

Полудевицы и живут получувствами, полумыслями, полужизнью, т. е. девальвируют себя на половину цены.

Искусственное, художественное горе отучает от понимания действительного, как театральные слезы отучают от житейских.

Есть люди, которых каждый день выдаешь, а не заметишь, есть ли у них борода и усы.

Кулаки-бабы берегут свое сердце, как деньги, забывая, что последние существуют для того, чтобы их тратить, а первое — чтобы отдавать.

Христы редко являются, как кометы, но Иуды не переводятся, как комары.

Либералы — игроки на глупость, как консерваторы — игроки на трусость.

Женская любовь — дар, который получает цену, только когда<sup>1</sup> перестает быть подарком.

Из борьбы личных интересов вырабатывается не лучший из возможных, а возможнейший из лучших порядков.

У него ум на конце его языка и потому никогда не бывает на своем месте. Вот почему говоруны не бывают умными. Оттого язык его не становится умным, а только ум перестает б[ыть] острым.

Люди, умеющие открыть рот, но не закрыть его.

Среднему статистическому пошлому человеку не нужна, даже тяжела религия. Она нужна только очень маленьким и очень большим людям: первых она поднимает, а вторых поддерживает на их высоте. Средние пошлые люди не нуждаются ни в подъеме, потому что им лень подниматься, ни в опоре, потому что им некуда падать.

Это обледеневший огонь.

Религия для нас — не потребность духа, а воспоминание или привычка молодости.

Есть люди, которые умеют говорить, но не умеют ничего сказать. Это ветряные мельницы, которые вечно<sup>2</sup> машут крыльями, но никогда не летают.

Давайте отвыкнем от дурных слов и приобретем хорошие привычки.

<sup>1</sup> Далее зачеркнуто: становится.

<sup>2</sup> Над строкой: только.

Бездарные люди — обыкновенно самые требовательные критики; не будучи в состоянии сделать простейшее из возможного и не зная, что как делается, они требуют от других совсем невозможного.

Она в каждом мужчине ищет мужа, потому что в муже не нашла мужчины.

На что им либерализм? Они из него не могут сделать никакого употребления, кроме злоупотребления.

Я слишком стар, чтобы стареть: стареют только молодые. Русский культурный человек — дурак, набитый отбросами чужого мышления (чужим умом).

Можно благоговеть перед людьми, веровавшими в Россию, но не перед предметом их верования.

Глг-ва\* — фарфоровая кукла, холодная, как фарфор, и противная, как кукла.

Научная проблема[ти]ка, что порядочная дама: чем скромнее и почтительнее подойдешь к ней, тем скорее она позволит понять себя.

Кто очень любит себя, того не любят другие, потому что из деликатности не хотят быть его соперниками.

Часто нужно не знать своего положения, чтобы быть в состоянии поправить его.

Русский студент — вечное жвачное животное, которое в университете жует литографированную бумагу, а потом на службе — бумагу кредитную — и тем сыт бывает.

Наблюдать людей значит презирать их, т. е. лишать себя возможности понимать их; чтобы понимать их, надобно жить с ними, презирая их образ жизни, а не их самих.

Соврем[енный] образ[ованный] человек полон своей собственной пустоты.

При крепостном праве мы были холопами чужой воли; получив волю размышлять, мы стали холопами чужой мысли.

К.\* — переимчивая сорока, которая может затвердить всякого Якова.

Мысли и чувства женщин лучше их самих: подслушивать их гораздо опрятнее, чем их подсматривать.

Женщина, соблазняющая мужчину, гор[аздо] менее виновата, чем мужчина, соблазняющий женщину, потому что ей труднее стать порочной, чем ему остаться добродетельным.

Мы всегда размышляем не своими мыслями, а пережевыванием чужих.

Смелы в мышлении и трусы в действии.

Казуистика дурна не сама по себе, а тем, что не умеет быть самой собой предвидеть все случаи.

Мы больше воображаем, чем знаем положение дел, и потому больше пугаемся, чем предвидим свои опасности.

Мы размышляем, как управляемся. Самовластие из политического порядка стало методом нашего мышления. Произвол переселился из Свода [законов] в наш мозг.

Иванов\*—старинная пожарная трещотка—будит не мысль, а только тревожит нервы.

Под старость глаза перемещаются со лба на затылок: начинаешь смотреть назад и ничего не видеть впереди, т. е. живешь воспоминаниями, а не надеждами.

Русские цари—мертвецы в живой обстановке.

Самый веселый смех—это смеяться над теми, кто смеется над тобой.

Чтобы согреть Россию, они готовы сжечь ее.

Злой дурак злится на других за собственную глупость.

Мудрено пишут только о том, чего не понимают.

Люди, которые легко говорят, обыкновенно трудно понимают.

Знать свое положение гораздо легче, чем сознавать его, а понимать еще труднее.

Живой человек: когда ему 40 лет, все дают ему 60, а когда пойдет 60, все дают только 40.

Великосветский партер XVIII в. так любил сцену, что охотно перепрыгнул бы через рампу, чтобы занять место на сцене, а сцену посадить на свое место.

Публичные девки публицистики.

Русский мыслящий человек мыслит, как русский царь правит; последний при каждом столкновении с неприятным законом говорит: «Я выше закона», и отвергает старый закон, не улаживая столкновения. Русский мыслящий человек при встрече с вопросом, не поддающимся его привычным воззрениям, но возбуждаемый логикой, здравым смыслом, говорит: «Я выше логики», и отвергает самый вопрос, не разрешая его. Произволу власти соответствует произвол мысли.

Инерция—энергия без действия.

Под свободой совести обыкновенно разумеется свобода от совести.

Логика жизни: из либеральных<sup>1</sup> девиц выходят дамы вольного поведения.

Сопливо—добрых гражданских чувств профессор и торговец.

<sup>1</sup> Над строкой: Обр[аз] мыслей.

- Он стал дураком только потому, что хотел быть умным.  
Она производит впечатление г. с-го, попавшего в сахарницу: и им неловко, и ей стыдно.
- Одни вечно больны только потому, что очень заботятся быть здоровы[ми], а другие здоровы только потому, что не боятся быть больными.
- Очевидно, Вы по моей душе учились грамоте, потому что читаете мою душу как свою старую истрепанную азбуку.
- Газета приучает читателя размышлять о том, чего он не знает, и знать то, что не понимает.
- Иногда человеку не дают покоя только потому, что желают успокоить его.
- Адвокат—трупный червь: он живет чужой юридической смертью. На основании закона так же легко убивают человека, как и по позыву произвола. Только в последнем случае поступок сознается как преступление, а в первом—как практика права.
- Дарвинизированные умы, прогнившие от полового подбора.
- В самом ли деле он такой дурак, как кажется, или это только так кажется, что он такой дурак?
- Образование дает русскому человеку только вкусовую энергию—способность смаковать жизнь, а не создавать ее.
- Прежде их соединял хотя [бы] пол, а теперь только потолок.
- Чтобы образумились дети, должны умереть с голоду отцы.
- Чтобы уметь быть злым, надобно выучиться быть добрым: иначе будешь просто гадким.
- Он стал думать о мышлении с тех пор, как перестал мыслить.
- Механическая любовь.
- Заспанные свои мысли принимают за открытия.
- Не начинайте дела, конец которого не в Ваших руках.
- Далай-лама и конституционные короли: вся их деятельность в том, чтобы быть и ничего не делать.
- Я очень ценю «Р[усские] в[едомости]» с методолог[ической] стороны: они доказывают, как выгодно издавать газету при самых скудных умствен[ных] и нравств[енных] средствах.
- Дарвинизированные умы.
- Пора иметь право располагать самим собой, самого себя заработать.
- С[амодержавие] нужно нам пока как стихийная сила,

- которая своей стихийностью может сдерживать другие стихийные силы, еще худшие.
- Ваше общество слишком трудно для меня: Вас окружают лица, одним из которых я не могу быть.
- Кто не любит женщины, тот не понимает бога, потому что бог написал себя на душе женщины, а его писание можно читать только сердцем.
- Талант, что мозоль на ноге: банщик срежет ее, а деятельность ноги восстановит.
- Вместо любви к солдату они (альтруисты) проповедуют любовь к казарме.
- Студенческие кокетки, привлекающие слушателей легкостью мысли и соблазнительностью тем.
- Некоторых профессоров любят слушать только потому, что слышат от них свои собственные слова.
- Буйловые<sup>1</sup> умы, которые прут по прямой линии, но без цели, не умея своротить в сторону ни перед ямой, ни даже перед физическим законом.
- Многие трусливы только потому, что боятся не смерти, а опасности.
- Адрес писан для профессоров на бумаге Говарда, а профессора, чтобы увековечить, с помощью студентов литографировали его на коже автора. Это выходит пергамен.
- Немного шаловливая мысль, которая любит поиграть чертом, но никогда не забывает Бога.
- Старость для человека, что пыль для платья,—выводит наружу все пятна характера.
- Мы гораздо более научаемся истории, наблюдая настоящее, чем поняли настоящее, изучая историю. Следовало бы наоборот.
- Враги—это банщики. Своей злобой против Вас они смыывают Вашу, а не свою грязь.
- Верует духовенство в Бога? Оно не понимает этого вопроса, потому что оно служит Богу.
- Разница между консерваторами и либералами: у первых слова хуже мыслей, у вторых мысли хуже слов, т. е. первые не хотят хорошенько сказать, что думают, а вторые не умеют понять, что говорят.
- Музыка для черствого сердца—то же, что касторовое масло для засорившегося желудка.
- Капризные выходки озорной мысли—неоригинальные идеи логического мышления.
- Жалоба, что нас люди не понимают, всего чаще происходит оттого, что мы не понимаем людей.

<sup>1</sup> Так в рукописи.

- У него под руками рояль не играет, а размышляет вслух и размышляет свои лучшие мысли.
- Крашенные русские куклы западной цивилизации.
- У нас политические партии — не порядки убеждений или образы мыслей, а возрасты или экономические положения.
- У женщины сердце умнее ее ума: потому-то она чувствует умно и размышляет глупо.
- Тяжелое дело писать легко, но тяжело писать легкое дело.
- И москаль, и хохол хитрые люди, и хитрость обоих выражается в притворстве. Но тот и другой притворяются по-своему: первый любит притворяться дураком, а второй умным.
- Земство и самоуправление: никто не учит людей плавать на луже, по которой воробьи пешком ходят.
- Наша неуравновешенность и неустойчивость от излишней вескости головы, т. е. от слишком высоко помещенного центра тяжести (возвышенность чувств и мыслей, высоко держим головы).
- В России центр на периферии.
- У них мысль не ведет за собой их слов, а с трудом догоняет их.
- Что хуже или что лучше — мало судей и много законов или наоборот, как было в древней Руси.
- Древний Восток искал Бога в своем воображении, чтобы отвязаться от черта в природе. Новый З[апад] продолжил эти поиски и нашел черта в своем воображении, чтобы отвязаться от Бога в природе.
- У животных нет нашего дара слова, но есть свой язык для выражения мыслей. Лексикон есть, нет нашей грамма[ти]ки.
- Когда кошка хочет поймать мышку, она притворяется мышкой.
- Высшая задача таланта — своим произведением дать людям понять смысл и цену жизни.
- Люди, умеющие открыть рот, но не умеющие закрыть его.
- Благотворительность больше родит потребностей, чем устраняет нужд.
- Кадетский либерализм.
- Самая живая мысль дохнет, попав под их перо.
- Кисельно-молочный социализм Ч-ва.
- Люди с неблагополучными мышлениями.
- Они — философы всматривались в глубину житейского моря, чтобы в ней разглядеть истину, и, конечно,

видели там только свои собственные физиономии. Наша история идет по нашему календарю: в каждый век отстаем от мира на сутки.

На З[ападе] и чувства устанавливаются законодательным путем (признание смерти кард[инала] Гонзалеса национальным горем в Испан[ской] палате 20 н[оя]бря 1894 [г.]).

Кроты — кроткие!

На З[ападе] церковь без Бога, в России Бог без церкви. Эгоисты всех больше жалуются на эгоизм других, потому что всего больше от него страдают.

У иных поступки лучше их намерений, потому что их инстинкты умнес их ума.

Люди ищут себя везде, только не в себе самих.

В молодости можешь уснуть, когда и не хочется спать, а в старости и хочется спать, да не можешь уснуть. Так и с прочими инстинктами.

Не человек живой, а только сгущенный призрак человека.

Не человек, а комок злости.

Мыслят так быстро, что не успевают подметать своих мыслей.

Игра в свои собственные конституционные мечты — политический онанизм.

Эмпиризм в раздумье: не отрицаясь от себя, начинает сомневаться в себе и чувствует потребность проверить себя. Он хочет знать, куда идет, и осветить свой путь; поэтому камни преткновения для своей мысли он увидит раньше, чем на них оступится. Это большой успех и ценный залог дальнейших успехов: авось он перестанет проверять свой глаз его собственными ошибками, т. е. опыт опытом. Он хочет знать и признает только то, что стоит перед глазами; но и миражи в пустыне тоже стоят перед глазами.

Чтобы видеть неправильность действительной геометрической фигуры, надо набросить на нее абстрактную правильную.

Историк — наблюдатель, не следователь.

Сомневаюсь не в ученой добросовестности, а в ученом самообладании З-на.

Я влюбилась бы в Вас, если б меньше Вас любила. Женщинам надо внушать ненависть к себе, чтобы добиться их любви. Мы запоздалые Печорин и княжна М[эри].

П. и К° — жвачные умы 60-х годов, пережевывающие случайно попавшую в рот либеральную жвачку, уже

утратившую всякую питательность. Раз усвоенный образ мыслей из убеждения ума превратился в дурную привычку мозга.

Ученые издатели — половые науки, которые не варят и не кушают, а только подают кушанье.

Толстой, как большинство романистов с талантом, хороший художественный прибор, а вовсе не художник. Творчества в нем не больше, чем в луже, отражающей лунный вечер, только грязи значительно больше.

Начитанные и надорванные либеральные дураки, производящие впечатление умных только на таких же надорванных, но не столь начитанных дураков. Недовольны всем настоящим, а прошлое ругают за то, что не похоже на настоящее. Сантиментально-озлобленные бурсаки киево-могилевского покроя.

Разница между духовенством и другими русск[ими] сословиями: здесь много пьяниц, там мало трезвых.

Ничего мудреного не сделают, но все простое сделают мудро.

Чтобы быть ясным, оратор должен быть откровенным.

Где нет тропы, надо часто оглядываться назад, чтобы прямо идти вперед.

Простейший способ не нуждаться в деньгах — не получать больше, чем нужно, а проживать меньше, чем можно.

Твердость убеждений — чаще инерция мысли, чем последовательность мышления.

Мы часто сердимся на предков за то, что они на нас не похожи, вместо того чтобы радоваться, что мы на них не похожи (ушли от них вперед).

Прежде психологией называлась наука о душе человеческой, а теперь это наука об ее отсутствии.

Одна нигилистка, случайно уверовавшая в Бога, признавалась, что она ни за что не согласилась бы быть безбожницей, если бы знала, как приятно веровать.

Когда двое тонут, надо спасать четверых, потому что в каждом погибающем сидит еще сумасшедший.

Остроумие в мышлении — то же, что пряность в питании: она делает вкусной пищу, но портит<sup>1</sup> и вкус, и пищеварение.

Пессимизм, что тошнота, которая происходит от трех причин: 1) от объедения, 2) голода и 3) беременности.

Когда нам плохо, плохое утешение думать, что другим еще хуже.

В других обществах всякий живет, работая и частью

<sup>1</sup> Над строкой: истощ[ает].

проживая, частью наживая; в русском одни только наживаются, другие проживаются и никто не живет и не работает.

Государству служат худшие люди, а лучшие — только худшими своими свойствами.

Откровенность — вовсе не доверчивость, а только дурная привычка размышлять вслух, т. е. в присутствии чужих ушей, потому что сами себя не слушают (говорить во сне).

Их готовят в мадамы Рекамье<sup>1</sup>, а из них выходят трактирные кариатиды (классицизм дамский).

Делай, что я говорю, но не говори, что я делаю, — исправленное иезуитство. Толст[ой]<sup>2</sup>.

Причина неодинаковой оплаты занятий. Одни дела могут делать все, но не всякий хочет; другие хотят все, но не всякий может.

Истина, что свет: ее самое не видно, но все предметы видны и понятны, лишь насколько обладают ее светом (в ее свете).

Вырождение принадлежит, как и внушение, к числу слов, которые не выражают мыслей, а заменяют их.

Скучен театр, когда на сцене видишь не людей, а актеров. Недостаток теперешнего обтянутого дамского костюма тот, что он не столько прикрывает то, что есть, сколько обнаруживает то, чего нет.

Это люди, с которыми расставаясь, жалеешь, что с ними виделся.

Дарьяльское ущелье — горная проповедь своего рода, в которой говорят камни.

Сидят на штыках, покрыв их газетой.

Женщина опасна не когда нападает, а когда падает.

Истинная цель дела благотворительности не в том, чтобы благотворить, а чтобы некому было благотворить.

Худшая посадка между двух стульев — очутиться между своими притязаниями и способностями, казаться слишком великим для малых дел и оказаться слишком малым для великих.

Думать не о том, что делаешь, совсем не то же, что делать не то, что думаешь. Обман и то и другое, но в первом случае обманываешь себя самого, во втором других.

Большинство соврем[енных] браков м[ожно] признать если не счастливыми, то сытными: она в нем приобретает<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Над строкой: Класс. Палл. Афины.

<sup>2</sup> Далее неразборчиво: Рим. Катол. 2 т. [?]

<sup>3</sup> Над строкой: ищет.

- кусок хлеба, он в ней—кусок мяса. Едят друг друга.
- Вспомнив былое, вдруг иногда как будто почувешь запах юности.
- Инстинкт—двигатель без сознания, но с участием воли; автомат—двигатель без воли и в механике без сознания.
- Фанатизм во имя порядка готов внести анархию.
- Право по самому существу есть софистика, ибо есть борьба с инстинктом, т. е. природой, и его слугой—здравым смыслом.
- Впредь будут воевать не армии, а учебники химии и лаборатории, а армии будут нужны только для того, чтобы было кого убивать по законам химии снарядами лабораторий.
- Мужчина занимается женщиной, как химик своей лабораторией: он наблюдает в ней непонятные ему процессы, которые сам же производит.
- Введение морали в политич[ескую] экономию—противоестественная помесь идеи долга с грошом: выходит ни мораль, ни полит[ическая] экономия, а не то морализирующий грош, не то грошовая мораль. Ублюдок ни в мать, ни в отца, а в сочинившего его ученого удалца.
- Женщина рождается по ошибке, выходит замуж по любви, родит по глупости, умнеет от родов, разводится по капризу на мужа и умирает с горя о детях[х].
- Гораздо легче стать отцом, чем остаться им.
- Выбирая себе жену, надо помнить, что выбираешь мать своим детям и, как опекун своих детей, должен позаботиться, чтобы жена по вкусу мужа была матерью по сердцу детям; чрез отца дети д[олжны] участвовать в выборе матери.
- Наука изучает не истины, а только необходимости или потребности, из них вытекающие или ими внушаемые, как физика изучает силы природы, не понимая их источника, т. е. самой природы.
- Есть мужчины, которые тем больше нравятся, чем лучше их понимаешь, и есть женщины, которых тем лучше понимаешь, чем больше они нравятся.
- Судьба и провидение: на первую мы жалуемся, когда другие нас обижают, вторым оправдываемся, когда сами обижаем других.
- Привычки отцов, и дурные и хорошие, превращаются в пороки детей.
- Дамы всего менее понимают право как требование ума и

необходимости, а они мыслят сердцем и только сердятся умом.

Часто встречаются люди, которые любят говорить о том, чего не понимают, как иные не чувствуют запаха того, что нюхают. Это очень жаль, хотя и очень просто; это значит, что есть люди, у которых язык длиннее их ума, как есть люди, у которых нос длиннее их обоняния.

Какая самая умная женщина? Та, которую хочется благодарить даже за отказ<sup>1</sup>.

Почему люди<sup>2</sup> так любят изучать свое прошлое, свою историю? Вероятно, потому же, почему человек, споткнувшись с разбега, любит, поднявшись, оглянуться на место своего падения.

Что труднее<sup>3</sup>, стать порочным или перестать быть добродетельным? Думаю, что труднее первое<sup>4</sup>, потому что сложнее<sup>5</sup>: чтобы перестать быть добродетельным, не нужно быть порочным, а чтобы стать порочным, нужно наперед перестать быть добродетельным.

Многие только потому республиканцы, что нет<sup>6</sup> царя в голове (природн[ые] р[еспубликан]цы рождаются без царя...).

Г[ерцог] Ларошфуко сказал, что притворство есть дань, платимая пороком добродетели. Совершенно верно. Потому-то добродетель так и любит притворство как свой штатный доход по должности, и не может обойтись без порока как своего крепостного кормильца.

Есть два рода непонимания. Одни еще не разглядели того, что есть в вещах, другие успели уже усмотреть и то, чего нет в них. Это последнее непонимание безнадежнее и неисправимее первого, потому что легче дополнять, чем переполнять, как легче дойти до цели, чем воротиться к ней (кто не стрелял и кто промахн[улся]).

У всякого возраста свои привилегии и свои неудобства. Привилегия стариков — хвалиться своим прошлым, т. е. своей ненужностью; неудобство — почет от моло-

<sup>1</sup> Далее четверть листа оставлена чистой.

<sup>2</sup> Над строкой: чел[овече]ство.

<sup>3</sup> Над строкой: легче.

<sup>4</sup> Над строкой: второе.

<sup>5</sup> Над строкой: проще.

<sup>6</sup> Над строкой: родились.

дежи, похожий на усиленную ласку хозяев к собравшимся уходить гостям.

А<sup>1</sup> странный, не натуральный народ эти старики: они не рождаются, а только умирают и, однако<sup>2</sup>, все не переводятся.

В жизни мало физики. Говорят: светлый голос. Почему же не сказать: звонкий взгляд? Иной так умеет взглянуть, что зазвенит в ушах.

Обыкновенно женятся на надеждах, выходят замуж за обещания. А так как исполнить свое обещание гораздо легче, чем оправдать чужие надежды, то чаще приходится встречать разочарованных мужей, чем обманутых жен.

Сердце женщины—*tabula rasa*<sup>3</sup>, белый лист бумаги: на нем никогда ничего не прочтешь, но многое напишешь, если умеешь<sup>4</sup> писать на так[ом] материале.

Находят сходство между Мопассаном и Толст[ым]. Может быть, оно и есть, но есть и разница. Первый потерял свой ум, не зная, куда девать его; второй вечно ищет своего ума, забыв, куда девал его. Писатели, как родители, любят наделять свои детища свойствами, которых лишены сами. Оттого герои у Моп[ассана] всегда глупы, а у Т[олстого]—умны.

Романистов часто называют психологами. Но у них разные дела. Романист, изображая чужие души, рисует свою; психолог, наблюдая свою душу, думает, что он изучает чужие. Один похож на человека, который видит во сне самого себя, другой—на человека, который подслушивает шум в чужих ушах.

Только в математике две половины составляют единицу<sup>5</sup>, а в жизни совсем иначе: так, в семейной жизни две половины—целая пара, а в духовной из двух полоумных никогда не составить и одного умного.

В науке<sup>6</sup> надо повторять уроки<sup>7</sup>, чтобы хорошо помнить их; в морали<sup>8</sup> надо хорошо помнить ошибки, чтобы не повторять их.

Прикрывая костюмом тело, женщина обнаруживает тем свою душу (придумывая, как прикрыть).

<sup>1</sup> Далее зачеркнуто: все-таки.

<sup>2</sup> Над строкой: все-таки.

<sup>3</sup> чистая доска (лат.).

<sup>4</sup> Исправлено из: сумеешь.

<sup>5</sup> Над строкой: =п.

<sup>6</sup> Над строкой: школе.

<sup>7</sup> Над строкой: правила.

<sup>8</sup> Над строкой: жизни.

Кратчайшее расстояние между двумя точками — прямая.  
Прямой путь — кратчайшее расстояние м[ежду] двумя неприятностями — в жизни.

Вся житейская наука женщины состоит из трех незнаний: сначала она не знает, как добыть жениха, потом — как быть с мужем, наконец, — как сбыть детей.

Чем женщина меньше приносит мужу, тем больше требует от него, так что, чем меньше<sup>1</sup> она стбит, тем дороже обходится.

12 дек[абря] 1893

Быть счастливым значит быть умным. Быть умным значит не спрашивать, на что нельзя ответить. Потому быть счастливым значит не желать того, чего нельзя получить.

Женщина перестает думать о том, чего сильно пожелает; мужчина перестает желать того, о чем хорошенько подумает. Поэтому когда оба думают вместе, бывает два ума и ни одной воли<sup>2</sup>.

Чтобы иметь право жить, надобно приобрести готовность умереть (хоть раз показать готовн[ость]).

Благородное росс[ийское] дворянство разменяло свой словный долг на долги госуд[арственному] банку.

Все эти формы и обряды хороши тем, что выше действительных чувств тех, кто их выполняет, и заставляют последних становиться выше себя.

Надобно не жаловаться на то, что мало умных людей, а благодарить Бога за то, что есть они.

+<sup>3</sup> Достойный человек не тот, у кого нет недостатков, а тот, у кого есть достоинства.

Законы тогда только устанавливали произвол, т. е. собственную ненужность.

+ Вера в жизнь посмертную — тяжкий налог на людей, которые не умеют дожить и до смерти, перестают жить прежде, чем успеют умереть.

Есть люди, у которых язык умнее их самих.

+ Как даровитые новички, мы ничего не умеем задумать сами, без чужой указки, хотя, принявшись подражать, часто превосходим свои образцы.

+ Деньги лишние хороши не тем только, что дают возможность приобрести необходимое, но еще и тем, что избавляют от досады на невозможность приобрести лишнее.

<sup>1</sup> Над строкой: дешевле.

<sup>2</sup> Дальнейший текст на 3<sup>1</sup>/<sub>2</sub> строках стерт.

<sup>3</sup> Здесь и далее значок + поставлен Ключевским.

- + Когда у мыслителей быстро вертится мысль, у немыслящей публики кружится голова.
- Торжество исторической критики — из того, что говорят люди известного времени, подслушать то, о чем<sup>1</sup> они умалчивали<sup>2</sup>.
- + История не учительница, а надзирательница, *magistra vitae*<sup>3</sup>: она ничему не учит, а только наказывает за незнание уроков.
- Некоторые думают, что стоит только обозвать всех дураками, чтобы прослыть умным.
- Его глупость не в привычке болтать глупости, а в убеждении, что другие считают их умными вещами.
- + Утопающие при кораблекрушении бросаются с корабля в воду, чтобы не утонуть на корабле, и тонут в воде, а не на корабле.
- + Кто смотрит из света во враждебную тьму, не видит никого из своих врагов, но служит мишенью для всех них.
- Крупный успех составляется из множества предусмотренных и обдуманых мелочей.
- Две половины — в жизни брачная пара.
- Наблюдение чужих пороков очень полезно для самоисправления: собственный порок становится особенно противен, когда увидишь его в другом и почувствуешь, как неприятно обладать тем, что сейчас осмеял, ибо мы любим осмеять всех и вся, кроме себя и своего.
- Смотря на нын[ешних] женщин, сознаешь верность фило[софского] определения, что человек есть разумное животное; разумность не мешает им быть животными и даже помогает им становиться непохожими на людей и в том, в чем похожи на них животные.
- Ф. Дм. говорил так много и скоро, что только на другой день успевал не то что обдумать, а только вспомнить сказанное вчера.
- Природа — зеркало, т. е. отражающая пустота для того, кто в нее смотрится: он может видеть в ней только сам себя, свое внутреннее содержание.
- На Зап[аде] каждая научная идея, каждое историческ[ое] впечатление при дрессировке ума и навыка превращается в убеждение, что в массе есть суеверие; причина — быстрое распространение, оборот идей.
- С Ф. можно быть только в иронических отношениях.

<sup>1</sup> Над строкой: что.

<sup>2</sup> Над строкой: замалчивали.

<sup>3</sup> наставница жизни (лат.).

- Еф.— Из всех малоумных баб она наименее умная, потому что наименее баба.
- + Всем можно гордиться, даже отсутствием гордости, как от всего можно одуреть, даже от собственного ума.
- Почему они такие пустые люди, хотя ведают такие важные интересы? Да от них не требуется ничего, никакого содержания, кроме их присутствия, факта, что они есть.
- + Хитрость не есть ум, а только усиленная работа инстинктов, вызванная отсутствием ума.
- Богатые вредны не тем, что они богаты, а тем, что заставляют бедных чувствовать свою бедность. От уничтожения богатых бедные не сделаются богаче, но станут чувствовать себя менее бедными. Этот вопрос не пол[итической] экономии, а полицейского права, т. е. народной психологии.
- В 1860-х г[одах] мыслили т[а]к торопливо, что не могли догнать собственных мыслей, и потому тех, кто не спешил, считали отсталыми.
- Чтобы править людьми, нужно считать себя умнее всех, т. е. часть признавать больше целого, а так как это глупость, то править людьми могут только дураки.
- Из всех толков о законности, о праве кр[естья]не и горожане вынесли только притязательное сознание своих прав.
- + Художник, что зеркало, которым дорожат только потому, что оно дает зрителям возможность любоваться самими собой.
- Есть умные люди, которые дуреют от собственного ума, и есть дураки, которые умнеют от чужой глупости.
- Художник знал, что делал, когда придавал оригиналу такое выражение; но оригинал не знал, что делал, когда принимал такое выражение.
- Мужчина, любя женщину, старается быть ей нравственно полезным; женщина, отвечая на его любовь, желает быть ему эстетически приятной. Первый добро принимает за красоту, вторая красоту за добро: в этом половое различие нравственного понимания.
- Шмоллер— не социалист, но ученики его— социалисты. Магомет— не магометанин, но магометане— все последователи Магомета.
- Свой благородный дворянский долг р[одовитое] дворянство реализовало в поземельные банковые долги.

- На дураков есть хоть одно средство<sup>1</sup> — смех, а на дур, как на грех, и мастера нет.
- Воображение на то и воображение, чтобы восполнять действительность.
- Наука стремится все пороки объяснить болезнями, а моралисты все болезни производят от пороков. Скоро к удовольствию судей и врачей преступников будут лечить, а больных наказывать.
- + Сколько понадобилось человеку пролить слез и крови, чтобы в себе подобном признать своего ближнего.
- Глупость терпят за простодушие, но не наоборот.
- + Люди, которые, не имея своего ума, умеют ценить чужой, часто поступают умнее умных, лишенных этого умения.
- Указывают на любовь западников к иноземным словам. Наши западники все еще заучивают западные учебники слово в слово и не умеют передавать их своими словами. Для них западная культура все еще работа памяти, а не сознание.
- Жизнь не в том, чтобы жить, а в том, чтобы чувствовать, что живешь.
- Красивые женщины в старости бывают очень глупы только потому, что в молодости были очень красивы.
- + Многие умирают спокойно не потому, что думают о будущей жизни, а потому, что не умеют понять настоящую минуту: спокойствие здесь происходит не от силы веры, а от слабости размышления.
- Особый вид помешательства — объяснять все глупости и мерзости сумасшествием. Помешанному все люди, кроме одного его, представляются сумасшедшими.
- Не может быть самодержцем монарх, который не может сам держаться на своих ногах.
- Портрет Спасовича — не портрет, а биография.
- У этого художника очень хорошее сердце, но плохая кисть.
- Его глаза имеют право быть тусклыми: они пролили столько света вокруг себя.
- Умирают равнодушно не по силе веры в будущую жизнь, а по непониманию текущей минуты и по забвению прошедшего.
- Кони — карьера.
- Есть люди, которые хорошо говорят, но плохо разговаривают, потому что их мысли хуже их слов, а чувства хуже самих мыслей.

<sup>1</sup> Над строкой: мастер.

+ Страсти молодости из потребностей сердца или инстинкта в старости становятся дурными привычками воображения.

Благородство души они носили в себе не как нравственный долг всякого человека, а как дворянское право, пожалованное им грамотой имп[ератрицы] Екатерины II, и возмущались как анарх[ическим] захватом, когда замечали в мужике или разночинце поползновение разделить с ними эту сословную привилегию.

Снег падал на черную з[емлю] беленькими, чистенькими звездочками, точно девичьи мысли (5 апреля [18]93 г.).

+ Справедливость—доблесть избранных натур, правдивость—долг каждого порядочного человека.

Сладкая болезнь только у горьких пьяниц.

Чем больше злobiliсь на него враги, тем больше он любил людей.

+ Чтобы иметь влияние на людей, надо думать только о них, забывая себя, а не вспоминать о них, когда понадобится напомнить им о себе.

+ В городах потому мало веры, что среди шума от езды по каменной мостовой не слышно колокольного звона.

Многие боятся смерти не как прекращения жизни, а просто как неприятности, соединенной с физической болью.

+ Если женщины чувствительно говорят об уме, то мужчины обязаны умно говорить о чувствах, те и другие по-своему выражают отсутствие того, о чем говорят (чем болят<sup>1</sup>).

+ Темперамент—возбуждаемость, сумма и степень ощущений и желаний; характер—сдержанность, степень самообладания.

Есть люди, в которых самые пороки милее и безвреднее, чем у иных добродетели.

+ Женщина начинает размышлять только, когда начинает говорить, а говорить начинает, когда начнет чувствовать; ее ум—бухгалтер ее языка, а язык—секретарь ее сердца.

+ Богачи из людей, которые добывают деньги, чтобы жить, превращаются в людей, которые живут, чтобы стеречь<sup>2</sup> деньги, которых им некуда девать.

+ У него нос длиннее его обоняния.

Изысканность—дурного вкуса признак.

Разномыслие от чего: видят один предмет, но смотрят с разных сторон.

<sup>1</sup> Так в рукописи.

<sup>2</sup> Над строкой: беречь.

Петр I делал историю, но не понимал ее.

Это все герои, которых преждевременная смерть спасала от заслуженной виселицы.

+ Ученые диссертации, имеющие двух оппонентов и ни одного читателя.

Чистая филология производит впечатление человека, который, пустившись в путь, второпях забыл, куда и зачем он идет (специализ[ация] науки).

Поколение спит на краю бездны; жаль, что оно исчезнет, не дав урока преемникам,—сорвется и разобьется раньше, чем проснется.

Видимая рассеянность иногда происходит не от недостатка наблюдательности, а от избытка впечатлительности: не хотят замечать окружающего, чтобы сохранить веру и спокойствие.

Их прагматизм навыворот — признает следствие причиной только потому, что они узнали причину после следствия. Их мысли идут в обратном порядке с явлениями.

Он перестает понимать вещи, как только начнет о них размышлять.

Ваше дело творить без сознания, наше — понимать без творчества Ваши создания.

+ Ее отказ приятнее иного согласия.

Он умеет быть мил даже тогда, когда вынужден быть неприятным.

Красота хороша только, когда она сама себя не замечает, талант приятен, когда себя не сознает.

Мы для них пока еще только объект полицейского, не интеллектуального внимания.

Она сама — дрянь, но ее лицо — миссионер, что небеса: поведает славу божию. Образ и п[одобие] Бога.

Преподавателям слово дано не для того, чтобы усыплять свою мысль, а чтобы будить чужую.

Они и свои головы отыскивали по газетным объявлениям с обещанием приличного вознаграждения нашедшему.

Не все делаем, на что имеем право, ибо право не заменяет разума.

Смотря на них, как они веруют в Бога, так и хочется уверовать в черта.

+ Талант — искра божия, которой человек обыкновенно сжигает себя, освещая этим собственным пожаром путь другим.

+ Деревянные души<sup>1</sup> — их легче сжечь, чем согреть.

<sup>1</sup> Над строкой: + восторг и доброта.

Им голова нужна только для того, чтобы было, где иметь рот<sup>1</sup>.

+ Хорошая память и злое сердце — он скоро забывает обиду, но злится и на забытые обиды.

На перевязочном пункте жертвы виднее, чем в боевой линии: там нужно больше человеколюбия, чем здесь. Здесь нужна воля, там сердце. Бецкий хотел сделать перевязочный пункт из русского образованного общества и сделал общество с сердцем, но без воли.

+ Мужчина, которого любит нелюбимая им женщина, обязан уважать ее; женщина, которую любит нелюбимый ею мужчина, должна пожалеть о нем; один своим уважением платит дань мировому порядку, другая своим сожалением выкупает свою ошибку.

+ В 50 лет необходимо иметь шляпу и два галстука, белый и черный: часто придется венчать и хоронить.

+ Когда не поймешь, добрый ли человек или злой, можно смело сказать, что он — несчастный.

+ Первый злейший враг красивой женщины — это ее зеркало, потом ее враги — ее уши: первый губит ее ум, вторые — ее сердце.

В логике мышления следствие рождается от своей причины; в логике чувствования следствие рождает свою причину: водку пьют как для того, чтобы прийти в веселое настроение, т[а]к и потому, что приходят в такое настроение.

+ Женщина по капризу избалованного чувства иногда влюбляется в того, кого не любит, но с кем хочет поиграть, как ребенок делает идола из своей куклы: это болванчики, на которых они примеривают свои чувства, чтобы самим полюбоваться ими.

Мы для того умалюем свое прошедшее, чтобы понять его, ибо его величие превьшает силу нашего разума.  
Луна.

Разложение славянофильства — пахнет от разлагателя.

Его ум — хорошо выученная книжка.

У них нет совестливости, но страшно много обидчивости: они не стыдятся пакостить, но не выносят упрека в пакости.

Люди и целые классы, вымирающие, но не сознающие своего вырождения, питают инстинктивную склонность к наукам, не столько научающим, как жить, сколько приучающим к мысли, что надо умирать

<sup>1</sup> Над строкой: на что надеть шляпу.

(археология, метафизика). Это своего рода самозакапывание.

Цыгане известности—они известны только за границей, потому что у них нет отечества.

Народники так умно рассуждают об основах своей жизни<sup>1</sup>, что кажется, то, на чем они сидят, умнее того, чем они рассуждают о том.

Бесцельным надо признать не только то, что не имеет<sup>2</sup> цели, но и то, что хватает через цель.

Смешное положение сносно<sup>3</sup> лишь как выход из трудно-го<sup>4</sup>.

Лучше быть истор[ическим] Дон Кихотом, чем чистым, матем[атическим] дураком.

+ Им горячо жить<sup>5</sup>—под их пятками горят заповеди.

Он потому так и блесит, что не живет, а горит.

Они т[а]к субъективно рассуждают о вещах и людях, как будто на свете лишь себя считали существующими, а другие люди и все вещи были только плодом их воображения.

Эти младенцы—дутые резин[овые] мячики, наполненные мыслью о себе самих, т. е. совершенно пустые<sup>6</sup> (своей соб[ственной] внутр[енней] пустотой).

+ Куклы гниют, но не стареют.

Взрослый недоросль.

+ Я говорю красно, потому что мои слова пропитаны моей кровью.

Женщины умны только потому, что ни у кого не хватает наглости сказать им это (в виде комплимента).

Нельзя осуждать человека за то, что ему нравятся его мысли, как нельзя запретить человеку с удовольствием нюхать собств[енный] запах.

Из св[ятой] покровительницы ума и науки мы сделали повод говорить глупости.

Слова, которые не только говорят, но и звучат.

Духовная школа и мир. Она поняла бы мир, да не знает его и знать не хочет. Мир знает духовенство, да не понимает его, не видит, какой в нем толк. Одни—бестолковые Дон Кихоты, другие—догадливые Санчо Пансы. Школа эта воспитывает каких-то ученых па-

<sup>1</sup> Над строкой: о т[ом], на чем они сидят.

<sup>2</sup> Над строкой: достигает.

<sup>3</sup> Над строкой: позвол[яет].

<sup>4</sup> Над строкой: невыносим[ого].

<sup>5</sup> Над строкой: подпрыгивать.

<sup>6</sup> Над строкой: только самими собой (своим внутрен[ним] пространством, собствен[ным]).

уков, которые ползают по собственной паутине в ожидании запутавшихся в ней мух или ветра, который сдует их ненужное плетение. Ведут себя жрецами исчезающей религии или храма, предназначенного к сломке, комическими анахронизмами, сознающими свое безвременье, но не решающимися в том сознаться. Академия—миссион[ер] семинарии.

А. У.—домашний чижик.

Он подкрадывается к публике, как кошка к мышке.

+ В чем драматизм Гамлета? Трудно действовать, как следует, но еще труднее воздерживаться от действия, которое не следует.

Профессор перед студентами—ученый, перед публикой—художник. Если он ученый, но не художник, читай только студентам; если он художник, но не профессор, читай, где хочешь, только не студентам.

Развивая мысль в речи, надо сперва схему<sup>1</sup> ее вложить в ум слушателя, потом в наглядном сравнении предъявить ее воображению и, наконец, на мягкой лирич[еской] подкладке осторожно положить ее на слушающее сердце, и тогда слушатель—Ваш военнопленный и сам не убежит от Вас, даже когда Вы отпустите его на волю, останется вечно послушн[ым] Ваш[им] клиентом.

В его лета будут ли они им?

Публика тяжело вздохнула, почувствовав, что кончилось напряжение, и пожалела, заметив, что вместе с тем прекратилось и наслаждение.

Что[бы] заставить дух работать всеми силами, надобно привести себя и тело в несколько болезненное состояние: раковина родит жемчужину от укола улитки (надобно уколоть себя, чтобы родить...).

+ Идеализация—один из способов эстетического и нравственного познания. Телескоп в астрономии: иные вещи надобно страшно преувеличить, чтобы вернее разглядеть.

Кабинетное мышление рядом с кухней, где оно готовится, без которой оно невозможно.

«Зачем Вам ум?»—«А затем, чтобы помнить, что об этом глупо<sup>2</sup> спрашивать (чтоб этого вопроса не задавать Вам)».

У меня два личных врага, близких к моему лицу и не дающих мне покою: это мой нос, который постоянно болит, и мой язык, который постоянно говорит.

<sup>1</sup> *Над строкой:* Кратк[ие] отчекан[енные] афоризмы.

<sup>2</sup> *Над строкой:* не умно.

Несчастье русских в том, что у них прекрасные дочери, но дурные жены и матери; р[усские] женщины мастерицы влюбляться и нравиться, но не умеют<sup>1</sup> ни любить, ни воспитывать.

На земле я так привык к аду, что на том свете меня можно наказать за грехи только раем. Значит, мое загробное будущее довольно обеспечено.

Натурщик для Рибейра. Целовать фарфоровые куклы добродетели.

Кажется, чувствуешь самый сокрытый коренной нерв жизни, в котором присутствует сам его создатель.

Мама, рождая меня, положила мне в сердце такой громадный кусок любви, который мне не иссосать, сколько бы я ни лакомился.

У него б[ыла] та веселая грусть, которая бывает только у людей, любящих лицевую сторону жизни, но загляну[вших] на нее и с изнанки.

Как один дурак может одурачить своей бесчеловечной глупостью массу людей порядочных.

От И. И. И.\* пахнет скукой и цитатой. Эстетич[ный] недоросль.

Великорус — историк от природы: он лучше понимает свое прошедшее, чем будущее; он не всегда догадается, что нужно предусмотреть, но всегда поймет, что он не догадался. Он умнее, когда обсуждает, что сделал, чем когда соображает, что нужно сделать. В нем больше оглядки, чем предусмотрительности, больше смирения, чем нахальства.

Джутовый мешок.

Что такое счастье? Это возможность напрячь свой ум и сердце до последней степени, когда они готовы разорваться.

Толстой и Сол[овьев] стали философами только потому, что один начал размышлять, когда перестал что-либо понимать, а другой начал понимать, когда перестал размышлять.

Эти дамы и девицы годятся только в самки и совершенно негодны как женщины.

Городской водопровод — кто кого проведет?

+ Разница между Толстым и Мопассаном: второй потерял ум, не подозревая его в себе; первый вечно искал своего ума и не мог найти его.

Русские романисты занимались анатомией сердца.

<sup>1</sup> Над строкой: не охотницы.

Роз., Ю. Н. и т. п. убаюкивают себя своими же собственн[ыми] сказками.

Самое благовоспитанное сердце — которое воспитано печалью.

Он проникал в те странные, сырые глубины жизни, заглянуть в которые — высшее торжество человеческого прозрения, но из которых нельзя выйти здоровым.

Разница между историками и юристами только в точках зрения: историки видят причины, не замечая следствия; юристы замечают только следствия, не видя причин.

Страшно за этого писателя: в нем гениальность борется на два фронта — с сумасшествием и глупостью.

Вся молодежь хочет жениться и выходить замуж, у всех встосковалась шея по веревке.

Он весь пропах вонью своего неассенизированного сердца.

На женщин надо смотреть их глазами, принимать за то, чем сами себя они считают, но поступать с ними по степени их соответствия своему о себе мнению. Женщина, колеблющаяся между долгом и чувством, — надо осудить ее за нарушение долга и уважить ее чувство. Она сама себя накажет за первое, другие д[олжны] ее наградить за второе. Не только догадлив, но и откровенен. «Что же делать?» — «Что велит сердце и позволяет совесть». — «А если второе отменяет волю первого, что тогда?» — «Тогда распустить несогласное министерство и составить новый<sup>1</sup> кабинет». — «Из кого?» — «Из инстинкта, минутного самозабвения и вечного раскаяния. Монарху лучше кабинет — interim, чем одиночество». — «Я одна возьму грех на себя». — «Физически невозможно и юрид[ически] несправедливо, потому что не можете сделать его без меня: я необходимый пайщик в барышах и ответственный<sup>2</sup> плательщик в обязательствах».

Жалкое общество широких appetitов, преждевременных геморроев, самоуверенных бездарностей, больных жен, неудавшихся карьер, обманутых надежд, потерянных голов и без толку израсходованных совестей.

Европа цивилизованная доцивилизовалась до четверенек, и ей остается взорвать самое себя ею же изобретенным динамитом, венцом научного знания, если ее вторично не спасет от безбожной мэфистофелевщины верующая

<sup>1</sup> Над строкой: interim переходн[ый].

<sup>2</sup> Над строкой: обязат[ельный].

ирония — разбойничий крест с распятой на нем вечной<sup>1</sup> истиной и любовью.

Игровые бумаги — игровые профессора.

Тактика благоразумной жены: всю жизнь мучить, терзать мужа, пачкать и пакостить ему, а овдовев, кудахтать о несравненных и небывалых качествах его ума и сердца, считать оставшиеся после него деньги и лить романтические слезы над его могилой, с умилением и благодарностью вспоминать день и час его кончины.

Любительские спектакли тем отличаются от настоящих профессиональных, что в последних актеры представляют живые лица, не будучи ими, и в первых живые лица представляют актеров, тоже не будучи ими.

На удивительно радостном нравственном основании он ухитрился построить крайне печальное мирозерцание (виз[антийская] икона на золоте).

Под сильными страстями часто скрывается только слабая воля.

[...]

Гигиена учит, как быть цепной собакой собственного здоровья.

Их аукционная совесть знает таксы, не правила.

+ Античный политеизм — религия чувственности без любви; христианство — религия любви без чувственности; безбожие — религия без того и другого.

+ Писатель — не сочинитель: первый пишет, чтобы изложить свои мысли; второй сочиняет мысли, чтобы что-нибудь написать.

Говоря публично, не обращайтесь ни к слуху, ни к уму слушателей, а говорите так, чтобы они, слушая Вас, не слышали Ваших слов, а видели Ваш предмет и чувствовали Ваш момент; воображение и сердце слушателей без Вас и лучше Вас сладят с их умом.

Каждое его печатное слово — частица<sup>2</sup> расплавленного его мозга. Потому оно жгло умы слушателей.

Часто бранят сочинение писателя только потому, что сами не умеют написать так.

Эти люди сами под себя ходят.

Наше общежитие — игра в кошку-мышку.

Он преподает не науку, а свои собственные мысли, т. е. свои научные недоразумения.

Ссылнокаторжная беллетристика, зачатая Достоевским и вынашиваемая Короленком.

У них нет никаких доблестей — ни умственных, ни нрав-

<sup>1</sup> Над строкой: божеств[енной].

<sup>2</sup> Далее зачеркнуто: его.

ственных, но много житейских, скорее гостиных удобств, и в этом отношении они похожи на свою мебель, купленную по случаю, но мягкую. То, на чем они сидят, не лучше того, что на этом сидит, а то, чем они мыслят, не лучше того, чем они сидят на этом (на своей мебели)<sup>1</sup>.

Холопство перед своим собственным величием, притом совершенно призрачным, болезненным продуктом своего же воспаленного воображения.

Раздушенный кавалер православия об руку с Гретхен, пишущей сантим[ентальные] передовые о самодержавии и народности<sup>2</sup>.

+ От их постно-масленного благочестия пахнет нигилистическим керосином. Они пока очень стоят за православный катехизис, который только что начали учить и уже дочитывают веру, мечтают о надежде и перестанут верить в бога прежде, чем доберутся до любви.

Глупость—это их недостаток, развившийся от излишества.

Народы, воспитанные на религиозных обрядах, наиболее дают театральных талантов—евреи.

Хр[истиан]ство—религия любви; здесь сказано все—и сущность, и история.

Глупые люди любят самые умные игры.

+ Надобно упорно всматриваться в<sup>3</sup>... жизни, чтобы заставить жизнь раскрыть свои карты.

Мужчина только тогда может любить женщину, когда [она] из самки пересоздается в любимую женщину.

В его глазах светится не столько ума, сколько сумасшествия.

+ Театр более всего полезен для молодежи: житейские пассажи, наиболее для нее соблазнительные и губительные, здесь являются пошлыми и надоедают ей прежде, чем она их испытает.

Рассказ Ч-на\*, как его диссертация, как антицентрализованная, не была пропущена в Москве Орнатским и Баршевым, но принята в Петербурге Никитенком. Исторические явления [надо] не только изобразить, но и оценить. Россия—огромное дерево, растущее по своей внутренней силе независимо от внешних содействий и облепленное козявками.

<sup>1</sup> Следующий абзац зачеркнут: У каждого возраста есть свои удовольствия, между прочим, у старости—подделка воспоминаний и чванство собой, своей ненужностью.

<sup>2</sup> Далее неразборчиво: а также и о Влас. [?]

<sup>3</sup> Далее одно слово не разобрано.

Вот Ф[илипп] Ф[илиппыч] Вигель\*.  
 То особая статья:  
 По-немецки он Schweinigel,  
 А по-русски он свинья.

К-ши\* — богаделенная семья. Старик — вечный стипендиат своих друзей. За него вклады для издания «Р[усско-го] в[естни]ка». К. и Л.\* возвратили деньги, но вытолкнули стипендиата. Павлова начинал ориентализмом тот же К-ш. 8 ноябр[я] 1892.

Как Ундина, она задушила его той<sup>1</sup> самой душой, которую от него же получила.

Наблюдая жизнь людей, думаю, что за того, кого любят, вовсе не страшно умереть.

Их спокойствие и философское самообладание есть не что иное, как окаменевшее и заделавшееся в монументальные рамки самообожание. Пахнет не только изо рта, но и из сердца.

+ Пролог XX века — пороховой завод. Эпилог — барак Красного Креста.

Люди, отсидевшие себе задницу, часто принимают возбуждение отсиженной слепой кишки за талант.

+ Добрые только потому, что нет<sup>2</sup> сил или охоты быть злыми, т. е. делать зло.

Юрид[ическая] нравственность — долг, обязат[ельная] повинность, а не потребность нрав[ственного] чувства.

Не наступайте на их разгоряченное парное величие, не марайте ног.

+ Женятся на надеждах, выходят за обещания, плоды — обманы и слезы, если не измены.

Непогрешимость пищеварения.

Из 100 остроумных 1 умный.

Холера больше предупредила смертей, чем причинила их.

От многих народов и сословий веет могилкой и архивом.

Правительство ли тянет общество или общество толкает вперед правительство? Слабость и сила г[осу]д[ар]ства.

Талант духа — талант золота или, точнее, проц[ентных] бумаг.

Он сам себя поставил в угол, отступив к печке, и принялся любоваться этим своим прекрасным двойником. Очень обыкновенная психическая галлюцинация.

Не то чудотворный, не то просто артезианский колодец дамских и генеральских слез.

Речь — расплавленное золото.

<sup>1</sup> Далее зачеркнуто: же.

<sup>2</sup> Над строкой: лень.

М.—самая красивая карикатура, мною виденная. Он глуп оттого, что так красив, и не был бы так красив, если бы был менее глуп.

Они эксплуатировали все свои права и атрофировали все свои обязанности.

Собаки<sup>1</sup> перестают лаять, когда видят человека, плачущего над могилой. Но И. И. не собака и, увидав К. над могилой Л., начал лаять пуще прежнего.

Блестящее перо и светлая мысль—не одно и то же.

Он слишком умен, чтобы быть счастливым, и слишком несчастлив, чтобы быть злым.

Мания порядка.

Они открыли ему его самого.

Они и свои головы поутру отыскивают только с помощью прислуги вместе с панталонами.

[...] Великодушное безрассудство.

В людях встревоженных рождается вера в необычайное, подобно болотным огонькам; когда все гибнет, держатся за надежду в чудо, как за соломинку.

Лица вместо принципов.

Два рода неудобных людей: 1) в чужих словах читают свои мысли, 2) в своих словах повторяют чужие мысли.

Не всякий, кто смеется, весел.

+ Доверие народа к своим вождям есть признак его веры в себя, в свои нравственные силы.

Жизнь учит лишь тех, кто ее изучает. [...]

## РАЗРОЗНЕННЫЕ АФОРИЗМЫ

1889—1899 гг.

1.

*[После 23 февраля 1889 г.]*

Прежде дорожили лицом и скрывали тело, ныне ценят тело и равнодушны к лицу. Рисовали головки без корпуса вопреки природе, рисуют корпус с головкой, и то лишь из вежливости к природе. Любили хорошее тело своей Оли, потому что оно Олино, ныне любят Олю, потому что у ней хорошее тело. Прежде инстинкт, как холоп, грубил и бунтовал, но и подвергался бичу, ныне он эмансипировался и пользуется уважением, как природный государь жизни. Чувство

<sup>1</sup> Над строкой: говорят.

идет в ногу с обществ[енным] порядком: натурализм в искусстве, сенсуализм в морали соответствует демократии как прежний идеализм.

Не ученый русский лингвист, а международный лингвистический аппарат.

Прежде в женщине видели живой источник счастья, для которого забывали физическое наслаждение, ныне видят в ней физиологический прибор для физического наслаждения, ради которого пренебрегают счастьем.

2.

[Около 10 апреля 1890 г.]

Они знают, может быть, больше, но понимают, несомненно, меньше. Они приходят к нам с умами возбужденными, но совершенно пассивными: умеют усвоить, впитывать в себя, но не умеют перерабатывать, переваривать. Они прочтут и изложат, что и сколько угодно; но задайте им вопрос, ответ на который они должны найти в том же, что они прочитали и изложили, — они не ответят ничего или ответят не на вопрос<sup>1</sup>. Отсюда происходит одна печальная странность. Они довольно хорошо усваивают наши исторические курсы. Припоминая, чему их учил гимназ[ический] учитель истории, они видят, что в курсах нечто другое<sup>2</sup>, — профессор говорит им<sup>3</sup> не то, что говорил учитель; не противоположное, но и не похожее, а что-то совсем не то. Первый начал не то, что продолжил второй. Отсюда прежде всего мысль, что все, чему их учили в гимназии, лишнее, потом другая мысль, что все, чему их учили в у[ниверсите]те, следует преподавать и в гимназии. Они, очевидно, не умеют связать унив[ерситетского] курса лекций с гимназ[ическим] уроком и делают двойную ошибку, неправильно ценят, чему их [учили] в гимназии, и неправильно сами учат в гимназии. Устранить эти ошибки и есть задача исторического семинария. Задача эта состоит в соглашении университетского преподавания истории с гимназическим, а соглашение это должно быть достигнуто таким путем: нужно точно указать, что гимназич[еское] преподавание должно готовить для университетского и что университетское может сделать для гимназического.

<sup>1</sup> На полях: Скорее сделаешь кропотлив[ого] ученого, чем сообразительного учителя.

<sup>2</sup> Далее зачеркнуто: не то.

<sup>3</sup> Далее зачеркнуто: дру[гое].

Что дает гимназическое преподавание для университетского? Говорят, кадры исторического знания: перечень царствований, войн, имен, дат. Гимназист переходит в университет с сердечным отвращением и презрением ко всему этому. Что делает университетское преподавание для гимназического? Говорят, смысл исторического знания: кандидат у[ниверсите]та<sup>1</sup> является учителем в гимназию с фразеологией идей, отношений, интересов, фактов, явлений, законов. Выходя из гимназии в университет, он не знает, зачем ему то, чему он учился в гимназии; возвращаясь из университета в гимназию, он не знает, что ему делать с тем, что он узнал в у[ниверсите]те. На педагогическом жаргоне это отношение обоих учебных заведений выражается проще: гимназия-де дает факты, у[ниверсите]т — идеи.

В чем же теперь задача семинария? В том, чтобы показать, что ни то, ни другое неверно, что и гимназия и университет должны давать и факты и идеи, только первая д[олжна] давать свои факты и идеи, а у[ниверсите]т свои. Что бы сказал профессор-естествовед, если бы ему предложили в гимназии преподавать только<sup>2</sup> опыты и наблюдения без законов, явления физические, а в у[ниверсите]те только законы без опытов и наблюдений? Произвести такой разрыв для разграничения программы, очевидно, невозможно, потому что он сделал бы гимназ[ическое] преподавание бессмысленной работой памяти, а университетское — безосновательной работой ума. Каждое реальное знание состоит из наблюдения и обобщения; только в физическом знании наблюдения делаются непосредственно, а в историческом иначе. Где же граница обеих программ? Она должна быть проведена не по составным элементам всякого исторического знания, а по свойству разных знаний. В истории, как и физике, есть факты и идеи и легкие и трудные. Из первых должен составиться элементарный курс истории, из вторых — высший; в первый войдут факты и идеи одного простейшего порядка, во второй — труднейшего. Таким образом, универс[итетский] курс будет не повторением и не<sup>3</sup> пополнением гимназического новыми фактами и идеями того же порядка, а дальнейшей ступенью познания. Дело только в том,

<sup>1</sup> Далее зачеркнуто: приносит.

<sup>2</sup> Далее зачеркнуто: одни.

<sup>3</sup> Далее зачеркнуто: продолжением.

какие факты и идеи отнести к первому порядку и какие ко второму.

Логика в истории, что математика в естествоведении. Формулы<sup>1</sup> той и другой принудительны: отсюда необходимы законы; где нет принуд[ительных] формул, там не мож[ет] б[ыть] законов. Психолог[ия]—только в происшествиях, не в фактах бытовых.

Известия в истор[ических] учебниках, что газетные сообщения. Это курьезы, болезненные судороги или пьяные гримасы историч[еской] жизни. [...]

3.

*[Не ранее 1892 г.]*

[...] Прошедшего нет, но нельзя сказать, что его не было, иначе оно не было бы прошедшим.

История—зеркало—неосторожность.

4.

*[После 20 марта 1893 г.]*

Он принес на профессор[скую] кафедру много мельничной пыли\*: сын мельника мелет и на кафедре.

Студенческое бумажное жвачество (пережевывание бесконечное литографир[ованной] бумаги)—единственный метод изучения.

Не православные богословы, а свечегасы православия. Питаясь православием, они съели его и сходили на его опустелое место.

Научные<sup>2</sup> калеки, ковыляющие на костылях науки.

Вид перерождения—отец любил деньги (хищ[ный] плут); сын любит монеты (нумизмат).

Археолог—ученый, закапывающий в могилы деньги, чтобы откопать после.

Он так щедро наделяет других глупостью, потому что не знает, куда девать ее.

Он сорит умом в надежде, что другие подберут его сор.

Признак русской культурности: в интеллигенции—быть приверженцем Англии, Франции и т. д., в купечестве—содержать англичанку, француженку и т. д.

Уменье открыть рот, но не закрыть его.

Николай требовал добродетельных знаков, не зная, как добиться самих добродетелей.

Человеку легче добраться мыслью до отдаленнейшего созвездия, чем до самого себя, и можно опасаться, что

<sup>1</sup> Далее зачеркнуто: законы.

<sup>2</sup> Над строкой: Умствен[ные].

он доберется до себя, когда уже не останется ни одного созвездия.

Мысль бывает светла только, когда озаряется изнутри добрым чувством. Мысль—фонарное стекло, чувство—лампа, сквозь него светящаяся и освещающая людям дорогу их.

Крупные писатели—фонари, которые в мирное время освещают путь толковым прохожим, которые разбивают негодяи и на которых в революции вешают бестолковых<sup>1</sup>, на Вольтере и Руссо перевешали франц[узских] аристократов.

Майков больше, чем тучный академик, не конкретность, а принцип—акаде[мическая] тучность.

Пьшин—дворник либералов—подметает, что они насорят и напакостят в печати.

Древнерусское мирозерцание: не трогай сущ[ествующе-го] порядка, ни физического, ни полит[ического], не изучай его, а поучайся им как делом Божиим.

Знание в чистом виде пугало, как вид анатомированного трупа: человек простой в ужасе, когда ему покажут его самого без покрывтий.

Как приручалась р[усская] мысль к знанию научному, добиралась до него какими шагами:

1. Первое внимание возбуждалось житейскими плодами знания: технические удобства, ремесла, мастерства. Утилитарность, понимание пользы знания—первый шаг. Взгляд деловых людей XVII в. Как прежде ведущие писание—советники г[осу]д[ар]я, так при Петре пораб[отавшие] мастера—министры—Головин, Меншиков.
2. Изумление пред размерами, количествами цивилизации. Первые путешественники; их сходство с паломниками. Патология.
3. Гастрономия цивилизации, вкус личного комфорта. Ученики, посланные за границу отвеждать культуры.
4. Знание как средство гражданского воспитания для служения г[осу]д[ар]ству и обществу.

Татищев. Подкладка: г[осу]д[ар]ственная повинность—в гражданский долг. Сам Петр сюда же.

Параллель усвоения восточного и западного влияний.

+ Грубость стародумовского общества измеряется необходимостью доказывать материальную пользу добродетели.

<sup>1</sup> Далее в рукописи: ни.

+ Затруднение для р[усского] историка: только детство народа ему доступно, тогда как империя, созданная этим народом, такова, что римская *orbis t[er]rarum*<sup>1</sup> лишь Новороссийская губерния.

Каждое из этих отношений не ставило новых интересов подле старых, а заменяло старые новыми, не расширяло, а перестраивало мирозерцание; взгляд не становился многостороннее, а только повертывался в другую сторону. Но на новые предметы<sup>2</sup> человек смотрел прежними глазами, на новые задачи<sup>3</sup>, мысли и чувства переносились прежние приемы мышления и чувствования. Вступив в новый мир, он также не изучал его строения и склада, принимал его за свой готовый исконный и вечный образец; только набожное благоговение перед старым заменялось неврастеническим изумлением, и, как прежде, попав в Иерусалим или на Афон, среди святынь и образцов подвижничества он воскликнул: «Вот все, что нужно человеку для спасения», так и теперь, окруженный дивами амстердамской кунсткамеры или соблазнами парижского ресторана, он готов б[ыл] воскликнуть: «Вот все, что нужно человеку (для счастья)».

Точно у них только отцы и нет матерей, которые дают чувство деликатности, гуманности, хотя они не спускают с языка это слово, понимая его, как попугай свои слова: попка — дурак. Они гнушаются родины, давшей им последние гроши, здоровье и здравый смысл, как гнушается выскочка своей серой матери, оставшейся в деревне со своими морщинами и со своей материнской беззаветной любовью. Они потеряли смысл собственного существования и ищут его среди чужих людей, служа для них предметом смеха или благотворительного сострадания (своим черствым хлебом она воспитала в сыне здравый рассудок, который он растратил на бисквиты европ[ейской] мысли).

Обряды — ячейки сота, которые каждый облеплял своими чувствами.

Нравственно-религ[иозное] чувство всегда конкретно, оседло — любит место, лицо, известн[ый] момент, обстановку. Но оно не умеет б[ыть] одиноким, любит общение. Как пчела, каплю меда, собранную кой-где, несет в свою ячейку. Опираясь на всех, на церковь, каждый эгоистически вырабатывал себе личное спасе-

<sup>1</sup> подвластные Риму области (лат.).

<sup>2</sup> Над строкой: виды — картины.

<sup>3</sup> Над строкой: предметы.

ние. Природа, как и полит[ический] порядок,— неподвижные декорации, предустановленные чуть не в первые дни творения. Здесь все таинственно, все чудо, недоступное святая святых промысла. Здесь грешат, каются, молятся и вспоминают великую историю воплощения. Там учатся, размышляют, сочиняют<sup>1</sup>, и все ссылаются на великую историю мировой империи. Ум, витавший в библейской Палестине<sup>2</sup>, попадал в среду людей, грезивших классическими Афинами и Римом.

Отношение наше к знанию научному, к задачам образования—существенный элемент в составе вопроса о том, как обособленная русская жизнь вливалась в общее русло общечеловеческой культуры. Это важный вопрос истории европ[ейской] цивилизации, как и русской народной психологии. Теперь дело рассматриваем лишь с последней точки зрения. Болтин.

В чем сущность темы? Дело сложно: не дикарь обратился к евро[пейской] цивилизации с XVII в., а ум, уже прошедший школу (виз[антийскую], точнее, восточнохристианскую). Какие особенности, навыки, приемы мышления принес он к новому делу? «Два культурные мира»<sup>3</sup>; один—образец жизни и источник питания, арсенал оружия для борьбы с другим. Нравственно-религиозная задача образования—душевное спасение. Отсюда приемы мышления: 1) благоговение вм[есто] изучения, идеализация восточнохристианского мира вместо исторического его изучения, 2) пасс[ивное] перенесение вм[есто] самодеят[ельного] и самобытн[ого] воспроизведения его начал (Новый Иерусалим), 3) паломничество (вера в спасительную чудодейственную силу молитвы на святом месте) вм[есто] богопочтения духом и истиною («душа спасти» богатыря—остаток иудейского храма в Иерусалиме: внешние географ[ические] средства религиозн[ого] подъема духа). «Третий Рим»—пародия вместо новой песни.

Приемы мысли, выработанные на деле личного душевного спасения, при обращении к З[ападу] перенесены на дело политич[еского] и гражд[анского] благоустройства. Первое следствие этой неправильности—крушение исторически сложившегося нравственного порядка в отдельных умах.

В процессе нашего культурного сближения с З[ападной]

<sup>1</sup> Над строкой: читают.

<sup>2</sup> Над строкой: Иерусалим.

<sup>3</sup> Над строкой: Рима.

Европой надо различать два момента: 1) культура, почувствовавшая себя слабейшей, сближалась с другой, которую она признавала за сильнейшую; 2) при этом сближении мы из-под одного стороннего влияния переходили под другое.

[1893 г.]

Сол[овьев] и Толстой—два чудотворные философа: С[оловьев] философ потому, что умел научить философии даже Толстого, Толстой философ потому, что ухитрился<sup>1</sup> научиться философии даже от Соловьева. Так совершилось двойное чудо: один, ничему не уча, стал учителем; другой, ничему не уча, стал ученым.

[...] Средство жизни смешано с ее целью.

Дарвинизм—принцип жизни—до ветру.

Когда естествоведы, оторвавшись от микроскопа, начинают размышлять, мне понятно только то, что они не понимают собственных слов, и я слышу крестные слова: «Отче, отпусти им».

«Спелые колосья» гр[афа] Толстого\*. Ну, наконец, покался и выдал сам себе аттестат зрелости,—стало быть, выучился проситься, а прежде под себя ходил.

Русский образованный человек не может быть неверующим в душе: Бог нужен ему дома, как городской на улице, и он не может прожить без благодати божией, как без царского жалования.

Как ей не быть умной, возясь всю жизнь с такими дураками.

Металл оттачивается оселками, а ум ослами.

6.

[1893—1895 гг.]

[...] Гармония (логика) противоречий (диссонансов) в Суворове. Впервые р[усский] полководец—решитель судеб Европы, мировой делец.

Уже в 1799 [г.] русский взгляд на Европу как федерацию мира. [...]

Неожиданная и непонятная—видимо, дипломатич[еская] complicация (5-я коалиция).

Блестящий, но бесполезный свет заката.

Цель беседы—вспомнить момент в истории Европы, напоминаемый этим именем.

Монархии старой Европы: короны без голов, правительства без министров, армии без полководцев; власть

<sup>1</sup> Над зачеркнутым: мог.

без совета и меча, голый остов, точнее, призрак из исторической могилы.

Коалиции 1-я и 2-я: средства во фронте, на Рейне, а цель в тылу, на Висле,—навыорот обычному порядку.

Франция революционная: братство народов без участия монархов. Старая Европа: братство монархов без участия народов.

Армию из машины, автомат[ически] движущейся и стреляющей по мановению полководца<sup>1</sup>. Суворов [превратил] в нравственную силу, органически и духовно сплоченную с своим вождем.

7.

[1895 г.]

Администрация—грязная тряпка для затыкания дыр законодательства.

Люди, которые спотыкаются о собственную тень. [...]

Часто смешивают умных людей, которые любят бывать глупыми, с глупыми людьми, которые стараются быть умными.

Вырождение: отец еще умел кой-что строить; сын способен только городить. [...]

8.

27 ноября 1896 г.—4 февраля 1897 г.

27 ноября 1896

Ни консерваторов, ни либералов, а только реакционеры—монархисты, из которых реакционеры—те же анархисты, анархисты—те же реакционеры. Всякий порядочный администратор д[олжен] понять, что он имеет дело с непорядочным обществом и обязан охранять народное благо именно тем усиленнее, чем бессмысленнее понимает его сам народ. С одной стороны, энтузиазм без дела, с другой—дельцы без энтузиазма.

Ек[атерина]—только ей удалось на минуту сблизить власть с мыслью. После, как и прежде, эта встреча не удавалась или встречавшиеся не узнавали друг друга.

Тайна искусства писать—уметь быть первым читателем своего сочинения.

Старость, что мундир,—обязывает к физиогномии и поступкам, приличным возрасту.

В нынешней школе учатся только для того, чтобы разучиться что-н[ибудь]<sup>2</sup> понимать.

<sup>1</sup> Над строкой: командира.

<sup>2</sup> Над строкой: все.

Черви<sup>1</sup> на народном теле: тело худеет — паразиты волну-ются.

Борьба русского самодержавия с русской интеллигенцией — борьба блудливого старика со своими выб[.]дками, который умел их народить, но не умел воспитать.

Естественно-либеральное расположение молодежи: дети любят начинать обычно со сладкого блюда.

Просветительная вша консерв[атизма] и либер[ализма] кишит на русском народе, пожирая его здравый рассудок.

Он маленький человек, но большая свинья.

Добродушное нахальство, возведенное в добродетель, — современная даровитость.

Либерализм самый плоскодонный, приуроченный к русским мелеющим рекам.

Бактерии науки.

Слепые, они смотрят на действительность, ничего не видя.

Сесть между двух глупостей — не то что между двух стульев.

Что теперь педагоги разумеют под человеческой природой, есть только неестественное извращение человеческой природы<sup>2</sup>, и культурное животное — только одичалый человек.

В правду верят только мошенники, потому что верить можно [в то], чего не понимаешь.

Статистика есть наука о том, как, не умея мыслить и понимать, заставить делать это цифры. [...]

Книгу Мил[юкова] больше цитовали, чем читали.

Он был бы умен, если бы не силился быть им.

Еще много веков пройдет, прежде чем чуть правды выйдет из спальни на улицу. 4 февр[аля] 18]97 г.

Женщина любит, чтобы ее понимали не как женщину, а как человека женского пола.

Они будут менее нас счастливы, но более нас довольны собой.

Благотворительное сердце любит из сострадания.

Я не хочу быть плачущим цветком на Вашей могиле. [...]

Понятен его интерес к археологии: всякому старику желательно знать, где он будет лежать по смерти; а она — № 1 в своих археологических витринах.

Гастрономия благочестия.

Слабогузая интеллигенция, которая ни о чем не умеет помолчать, ничего не любит донести до места, а чрез

<sup>1</sup> Над строкой: Насекомые.

<sup>2</sup> Далее зачеркнуто: культурного животного, одичавшего.

газеты валит наружу<sup>1</sup> все, чем засорится ее неразборчивый желудок.

Самый злой насмешник—кто осмеивает собственные увлечения.

Самый дорогой дар природы—веселый, насмешливый и добрый ум.

Гораздо легче стать умным, чем перестать быть дураком.

9.

[Около 3 марта 1898 г.]

Наполеон—политический Вольтер, не более, как и Вольтер—литературный Наполеон, тоже не более. Оба—люди, знавшие, что они начинают, и не знавшие, чем кончат.

Не понимаю, как вы сумеете умереть.

Мне, как архивисту, они более интересны самого архива.  
3 марта 1898.

К.\* и театр—эту комбинацию понятий я еще понимаю.

Но Кор[ш?] и наука—извините!.. Тут все непонятно!

Различие между басней и романом современным.

Чтобы понять всю глупость глупости, надо ее проделать.

Кокотка всегда становится честной женщиной, когда с ней обходятся, как с честной женщиной. Честная женщина очень редко станет честной женщиной, когда с ней обходятся, как с кокоткой.

Добродетель только тогда и получает вкус, когда перестает быть ей. Порок—лучшее украшение добродетели.

Логика займы—не понимаю<sup>2</sup>.

Весь успех естествознания в том, что центр внимания перенесен с причин на следствия.

В России все элементы культуры парниковые, казенные: все, и даже анархия, воспитано и разведено на казенный счет.

Гр[аф] Толстой—предсмертная худож[ественная] гримаса дворянства.

Люди больше рабствуют своему прошедшему, чем работают для будущего.

Эти ученики—мальчишки, которые уважают в учителе не указку, которой он их учит, а розгу, которой сечет их, и которые перестали учиться, как скоро розга перестала быть помощницей указки.

Печать—прежде облака наверху жизни, теперь миазмы из почвы снизу.

<sup>1</sup> Над строкой: улицу.

<sup>2</sup> Фраза написана синим карандашом.

Видит дальше, чем смотрит.  
От его речей слишком пахнет словами.  
Пошлость, возвышающаяся до степени таланта своего  
рода.

[...]

Имп[ератор] Николай I — военный балетмейстер и больше  
ничего.

Бессловесные проповедники слова божия.

Театр — школа барских чувств, эстетическая кондитер-  
ская.

Ты меня не умеешь понимать, я тебя не хочу или боюсь  
понять.

Не я должен быть понятен, а вы понятливы.

В нашей истор[ической] жизни все искусственно, но не  
искусно.

Я потому и глуп, что мой организм слишком умно  
организован.

10.

*Весна 1898 г.*

Р[оссия] на краю пропасти. Каждая минута дорогá. Все  
это чувствуют и задают вопросы: что делать? Ответа  
нет. [...]

11.

*[После 3 января 1899 г.]*

Немезида — зло, себя самого наказывающее, т. е. возда-  
ющее должное себе самому.

+ Уважение к чужому мнению, уму — признак своего<sup>1</sup>.  
Вера в человека и недоверие к людям и знание их без  
чутья общежития.

Идеалист, сознат[ельный] плод мысли инст[инктивно]-  
эмпири[ческий], плод опыта и навыка<sup>2</sup>.

+ Что они (слушатели) имеют дело с мирозозерц[анием] и  
с характером.

Неумный ум. Не умеют быть добрыми и умными<sup>3</sup>.

+ Это его жит[ейская] комбинация, а не логич[еский]  
вывод<sup>4</sup>.

<sup>1</sup> Далее зачеркнуто: Идеалом в; отличие дурака от умного; кого не  
выдаст, кто себе выдает.

<sup>2</sup> Далее зачеркнуто: Больше доставалось умным и добрым.

<sup>3</sup> Далее зачеркнуто: Рядятся в высокие начала люди среднего  
роста.

<sup>4</sup> Далее зачеркнуто: + Не мирился без негодования и горечи, даже  
со злорадством некоторым, самоудовольствием как торжеством  
справ[едливо]сти.

+ В неудачах не крушение самих идей, а только падение людей, их проводивших.

Нелюбовь к людям с печальными лицами и смеющ[имися] глазами.

На свете не будет<sup>1</sup> зла<sup>2</sup>, стоит только добрым<sup>3</sup> захотеть, чтобы его не было, сумеет устранить его. Потому нет нужды и злиться на зло, а только помогать добру. Зло — только мираж, который существует, пока кажется отум[аненному] глазу.

Дуализм всегда пессимизм, ибо признает зло неизбежным, если не необходимым.

Зло устранимое и потому тем более досадное.

Да это не дуализм<sup>4</sup>. Зендавизм и оптимизм<sup>5</sup>. Только несколько<sup>6</sup> преломленный истор[ическим] наблюдением. От того, что принято звать злом, может закрыть глаза философ в отвлеченном мирозерцании, но не может историк, постоянно имеющий дело с действительными фактами жизни. Но эти печальные факты не от злобы злых или глупых, а от неумелости или недосмотра умных и добрых, а это от того, что люди добрые и разумные берутся за дела не по плечу, рядятся в платье не по<sup>7</sup> росту; они не становятся дурными, а только смешными. По неумелости и неразвитости начала переделывали в интересы, идеи в тенденции низменные, но общедоступные.

Чтобы не было злых, надо отнять или побуждение быть таковыми<sup>8</sup>, или надежду чего-либо достигнуть злом, ибо делать зло для зла — нелепость; зло не может быть ни источником, ни целью для самого себя. Зло не рождается из самого себя, а выделяется при неумелом обращении с добром. Это ядовитая окись полезного металла заброшенного (плохо содержимого).

Сам себя держал на строгом отчете и под бдительным надзором<sup>9</sup>. [...]

<sup>1</sup> Далее зачеркнуто: ни.

<sup>2</sup> Далее зачеркнуто: если.

<sup>3</sup> Далее зачеркнуто: этого.

<sup>4</sup> Первоначально было: дуалист.

<sup>5</sup> Далее зачеркнуто: настоящий, прямой и... Далее не разобрано одно слово.

<sup>6</sup> Далее зачеркнуто: на.

<sup>7</sup> Далее зачеркнуто: плечу.

<sup>8</sup> Над строкой: делать зло.

<sup>9</sup> Три последних абзаца слегка перечеркнуты Ключевским.

## 1890-е годы

12.  
1.<sup>1</sup>  
2. Он знал и понимал ее\*, но во имя пришлого идеала желал не знать и потому перестал понимать.  
3. Он знал ее, как идеал, ничего, кроме нее, и не желая знать, и потому совсем перестал понимать ее.  
4. Продолжая не понимать ее, он не желал и знать ее во имя чуждого идеала и потому перестал знать ее.  
5. Александ[р] I.  
Он желал понять ее, но чуждый идеал помешал и не внушил желан[ия] ему узнать ее, и потому он не понял и не узнал ее.  
6. Николай I.  
Одни желали понять ее, не зная; другие хотели узнать<sup>2</sup> ее, не<sup>3</sup> понимая. Первые не поняли ее, потому что не знали; вторые не узнали ее, потому что не желали понять.

Интеллигенция не создает жизни и даже не направляет ее. Она не может<sup>4</sup> ни толкнуть общество на известный путь, ни своротить его с пути, по которому оно пошло. Но она наблюдает и изучает жизнь. Из этого наблюдения и изучения, веденного по местам многие века, сложилось известное знание жизни, ее сил и средств, законов и целей. Это знание, добытое соединенными усилиями<sup>5</sup> и опытами разных народов, есть общее достояние человечества<sup>6</sup>. Оно<sup>7</sup> хранится в литературе, переходит в сознание лиц и народов пом[ощью] образования. Каждый отдельный народ стоит ниже этого научного запаса; не было и нет народа, участвовавшего в общей жизни человечества, который всей своей массой знал бы все, до чего додумалось человечество<sup>8</sup>. Посредницей в этом деле между человечеством<sup>9</sup> и отдельными народами должна быть его интеллигенция. Она не дает направления своему народу и даже очень редко правит им в данном не ей направлении. Ее задача угадать это направление и его возможные последствия

<sup>1</sup> Далее оставлено пустое место.

<sup>2</sup> Буквы ть исправлены из вали.

<sup>3</sup> Далее зачеркнуто: желая.

<sup>4</sup> Далее зачеркнуто: дать ей направление, ни своротить.

<sup>5</sup> Далее зачеркнуто: разных.

<sup>6</sup> Над строкой: чело[веческого] ума.

<sup>7</sup> Над строкой: Это наука.

<sup>8</sup> Над строкой: чело[веческий] ум.

<sup>9</sup> Над строкой: чело[веческим] умом.

и потом следить за движением<sup>1</sup>, его ровностью и прямою, подмечать скачки и уклонения, вовремя указывать на встреч[ные] препятст[вия] и возм[ожные] потребности и на средства для их устранения или удовлетворения. Чтобы справиться с этой задачей, интеллигенция должна понимать положение своего народа в каждую данную минуту, а для этого понимания необходимы два условия: знать точно дела своего народа и знать научный запас человеческого ума. Чтобы понимать, что делается с народом, что откуда пошло у него, как идет и к чему придет, нужно знать, как и чем живет человечество, знать пружины, средства и цели его жизни. Интеллигент — диагност и даже не лекарь народа. Народ сам залижет и вылечит свою рану<sup>2</sup>, если ее почувет, только он не умеет вовремя замечать ее. Вовремя заметить и указать ее — дело интеллигенции, а чтобы заметить неправильность отправления в жизни известного народа, необходимо знать физиологию всего человечества. Ее дело: *caveant consules*<sup>3</sup>.

1) Основания жизни одинаковы у всех европейских обществ, но культуры различны.

2) Местная интеллигенция — посредница между общечеловеческим знанием и своим обществом.

3) Ее дело — понимать положение своего общества и давать нужные справки практическим дельцам.

4) Для того ей нужно следить за движением человеческого ума и за ходом своей местной жизни.

Жить своим умом не значит игнорировать чужой ум, а уметь и им пользоваться для понимания вещей.

Доморощенное, незаимствованное понимание не есть бесознательный взгляд на вещи, сложившийся дома, а верное понимание своих домашних дел, хотя бы и с содействием сторонних указаний.

13.

Гонор — не гордость, а прикрытие ее отсутствия.

Быть соседями не значит быть близкими.

Венчаные содержанки.

В нем хорошо все, кроме его самого.

Скажи, что или кого любишь, и я скажу, кто ты.

Мало любить живые существа: надо любить самую жизнь.

<sup>1</sup> Над зачеркнутым: ним.

<sup>2</sup> Над строкой: язву.

<sup>3</sup> пусть будут бдительны консулы (лат.).

Мнительность — не наблюдательность, а причина ее отсутствия.

Добрый сердится не злясь, а злой злится не сердясь.

Трезвый ум может отчасти заменить отсутствие доброго сердца: чувство потребности добра и расчет последствий зла.

Классическая гимназия не подняла уровня университетской подготовки, понизив степень любознательности, т. е. не усилила запасов знаний элементарных, ослабив способность к приобретению высших специальных.

В поисках житейского благополучия схватил кусок искрившегося альпийского льда, хотел согреться им — простудился, хотел согреть его — измочился и стал смешон в обоих случаях — и в припадке любви и в припадке сострадания. Это потому, что фальшивил в обоих случаях, хотел любить не любя и сострадать без жалости, а только наслаждаться эстетикой любви и жалости.

Сложная, смачно-приторно-печальная музыка Шопена, хлящущая себя собственной печалью, как банщица холит обветшалою старика, вытирая его своей загорелой до пояса рукой.

Кто вам дал право быть судьями самих себя, оценщиками собственного товара, данного вам природой? Цену дает потребитель по вкусу, судебный приговор произносит присяжный по совести, а у вас ни вкуса, ни совести.

Да, но обыкновенно потребитель ценит продукт, не зная издержек производства, а присяжный по совести произносит приговор в суде, забывая дома совесть.

Нравственный момент наступает тогда, когда человек, удовлетворяющий сам собою возбужденный инстинкт и оттого получавший чувство удовольствия, искусственно начинает возбуждать инстинкт, чтобы удовлетворением его достигнуть этого удовольствия. История этики — в превращении следствия в цель. Любовь к женщине выходит из удовлетворения влечения к ней<sup>1</sup>: возбуждают ли влечения, чтобы репетировать испытанное чувство любви именно к этой. Обмен удовольствия с обеих сторон, как качание из стороны в сторону маятника.

Культурное прозорство: хотят видеть, чего рассмотреть не умеют, слышать, чего не в состоянии понять, сожрать, чего переварить не могут.

Вращающиеся в орбите героя сателлиты. Организованный

<sup>1</sup> Над строкой: этой.

эгоизм вместо привязанности (Ренан). Религиозные люди живут мечтой, мы — тенью мечты, чем будут жить после нас? (id.)

В древнерусском браке не пары подбирались по готовым чувствам и характерам, а характеры и чувства вырабатывались по подобранным парам.

На открытое нахальство следует отвечать молчаливым смехом.

Чувство, т. е. гримаса приличия, у женщин становится подробностью их костюма: хорошо одета — прилична.

Они, эти завистливые преемники, не наследники, ждут не дождутся, когда скатятся с потемневшего неба их предшественники, как падающие звезды.

Л.— русская гадина, ползающая по окраинам России, чтобы найти удобное место нагадить отечеству.

Эти семьи международного состава — какие-то водоросли, плавающие по русскому болоту, без корней и почвы, плывущие, куда дует ветер, но не терпящие берегов русского материка, попав на который они засыхают или гниют.

Этой женщине легко сохранить свою добродетель, которая ограждена таким могучим фортом — вонючим ртом.

Б-ны. Получая больше, чем ожидали, начинают требовать больше, чем им дать желали.

Б[услае]в. Всю жизнь занимаясь сказками как былью, он наконец, рассказывая свою жизнь, превратил быль в сказку.

Психолог[ические] мотивы крепостного права при бесправии в патологические припадки или сентим[ентальные] капризы.

Иная журн[альная] статья лучше иной книги, хотя это значит только правило<sup>1</sup>, что каждая ваша книга д[олжна] быть лучше журн[альной] статьи.

Энтузиазмом чаще всего называют такое состояние человека, когда его духовные силы приходят в гармоническое и напряженное движение. Тогда управление психологическим оркестром принимает одна духовная сила, господствующая в народе, составляющая характеристическую национальную особенность. По свойству этой дирижирующей силы и энтузиазм принимает разнообразные национальные формы выражения. Итальянец в этом состоянии, помня завет старого Тацита, вспоминает или поет, вспоминает античный

<sup>1</sup> Над строкой: исключение напоминает.

Рим или поет арию из «Риголетто»; француз становится в ораторскую позу и произносит un discours académique<sup>1</sup> о каких-нибудь принципах; немец начинает кричать, хвастаясь своим я и ругая всех, кто не я<sup>2</sup>; англичанин — но англичанин совсем не умеет приходить в энтузиазм, как есть народы, которые не умеют петь. Русский энтузируется тоже по-своему: в такие минуты русск[ая] женщина ударяется в слезы, мужчина впадает в грусть.

14.

Уровень полит[ического] развития народа определяется политическими формами жизни. У нас выработалась низшая форма г[осу]дарства, вотчина. Это собственно и не форма, а суррогат г[осу]дарства. Но, скажут, этой формой целые века жил великий народ, и ее надобно признать самобытным созданием народа. Конечно, можно, как «голодный хлеб» можно признать изобретением голодающего народа; однако это не делает такого хлеба настоящим.

Фактическая власть могла издавать распоряжения, носившие наружность и название законов.

15.

Что вы утверждаете, то вы доказываете основательно, но вы не все утверждаете, что доказываете. Не возражение, а комментарии. Смелее идете к цели, чем подходите к ней. Судя по буквальному смыслу, неужели вся реформа предпринята только потому, что однажды Петр принужден был сказать себе: денег нет! Вы допустили неточное выражение. Больше неудобство для читателя, чем недостаток книги.

16.

Цементирующая сила — традиция и цель.

Нравственное<sup>3</sup> богословие цепляется за хвост русской беллетристики.

С ним не хочется расходиться, даже когда чувствуешь, что не идешь с ним в ногу. Не натуральная только повинность мыслящего ума, но и нравственная потребность любящего сердца. Уважаешь, даже не разделяя их. С ним не всегда согласишься, но никогда не заспоришь, как никогда не упрекнешь человека за то,

<sup>1</sup> академические рассуждения (фр.).

<sup>2</sup> Над строкой: ты и он.

<sup>3</sup> Слово написано синим карандашом.

что у него морщина на лице легла не как у меня, у других, у всех. Можно расходиться в точках зрения, но не позволительно расходиться в целях, в путях, направл[ении] движения.

Не будем спорить, пока идем; когда придем, пожмем друг другу руку и, может быть, найдем, что не о чем спорить.

Классификация убеждений—красных, белых, чернокожих.

17.

Ученики—

больше рассуждают, чем понимают, и больше толкуют, чем могут растолковать. В выносимых ими впечатлениях (из уроков истории) больше самоуверенности, чем самосознания. Из этого и складывается мираж историч[еского] понимания.

Логич[еские] ошибки истор[ического] материализма: противопологать личность, как принцип произвола случайности, совокупности историч[еских] условий, как принципу закономерности, необходимости, тогда как сама личность есть только одно из исторических условий; след[овательно], одно из слагаемых противопологают сумме.

1900—1910 гг.

18.

*[Не ранее 16 января 1900 г.]*

[...] Не я виноват, что в русской истории мало обращаю внимания на право: меня приучила к тому русская жизнь, не признававшая никакого права. Юрист строгий и только юрист ничего не поймет в русской истории, как целомудренная фельдшерница никогда не поймет целомудренного акушера. 16 янв[аря 1]900 г.

Богословие на научных основаниях—это кукла бога, одетая по текущей моде.

Россия и Финляндия=большой зверь и маленький зверек; их отношение [зависит] от того, чувствует ли себя первый слабее или сильнее второго.

Вы расслабляете наше сознание и не предлагаете нам таких гофманских капель, которые бы помогли нам быть Вашими приличными слушателями. [...]

### Социология

Отношение свободной личности к исторической закономерности. Личность свободна, насколько она,

понимая историческую закономерность, содействует ее проявлению или, не понимая ее, затрудняет ее действие. [...]

Природа рождает людей, жизнь их хоронит, а история воскрешает, блуждая по их могилам<sup>1</sup>.

19.

[Не ранее 7 марта 1900 г.]

Под здравым смыслом всякий разумеет только свой собственный.

Евангелие стало полиц[ейским] уставом.

О нем рассказывали страшные вещи: нелюдим, не держит своих журфиксов и редко посещает чужие, терпеть не может писать, хотя пишет хорошо, презирает р[усскую] литературу, особенно беллетристику, мрачно смотрит и на прошедшее и на будущее России и по праздн[икам] ходит к заутрене. Отчего не посмотреть на такого чудака (смеется над русским народом как петровским подкидышем европ[ейской] цивилизации). Целая аптека пессимизма.

На его умном лице с широким носом и недоверчивым взглядом не выразалось на этот раз ничего. Он, очевидно, был расположен беседовать только с самим собой и даже сидел с опущенной головой, т. е. не держал на носу пенсне, которое заставляло его автоматически поднимать голову и принимать вид размышляющего<sup>2</sup> человека.

Коновязев: Шекспир в XIX в., поколение детей революции, испуг перед закономерностью челове[еской] жизни в XIX в., поколение неврастеников ко введению нового полит[ического] порядка, убеждение вм[есто] ума и мирозерцания (10 заповедей блаженства с прибавлением XI-й— буди ру й). Напяливают убеждения, как перчатки для выезда в свет.

Черт его побери, вот ему писать повести и рассказы; однако—порядочный софист.

Пучок раздраженных и сильно поношенных нервов. С тонким, немного вздернутым носом, с поблекшими голубыми, но все еще подвижными глазами.

Напол[еоновские] маршалы—это те же Метуэны, Гатак-ры, Кичинеры. Их величие создано мадамами Sans-Gêne\*.

<sup>1</sup> Все абзацы, кроме предпоследнего, отчерчены на полях красным карандашом.

<sup>2</sup> Над строкой: мыслителя.

Конов[язев]. Мыслей давно уже ни у кого нет<sup>1</sup>, остались только гальванистические подергивания мозгами. И это только в больших городах. Говорят, то же и на З[ападе]. Что ж? Это ничего не доказывает: скверный пример никому не образец.

Беллетристика—до порога уголовного суда или психиатрической больницы.

20.

[Не ранее 1901 г.]

Самодержавие и земство. Конфиденц[иальная] записка мин[истра] фин[ансов] статс-секр[етаря] С. Ю. Витте (1899). Печатано «Зарей», Stuttgart, 1901.

Всякое общество вправе требовать от власти, чтобы им удовлетворительно управляли, сказать своим управителям: «Правьте нами так, чтобы нам удобно жилось». Но бюрократия думает обыкновенно иначе и расположена отвечать на такое требование: «Нет, вы живите так, чтобы нам удобно было управлять вами, и даже платите нам хорошее жалованье, чтобы нам весело было управлять вами; если же вы чувствуете себя неловко, то в этом виноваты вы, а не мы, потому что не умеете приспособиться к нашему управлению и потому что ваши потребности несовместимы с образом правления, которому мы служим органами».

21.

[Не ранее 24 октября 1902 г.]

[...] Слова—самовнушение etc. успокаивают ум, но не просветляют, как есть суррогаты, которые не питают, а только утоляют голод. Сыт не стал, а перестал быть голоден. [...]

Смутное время—любимая эпоха [18]60—70-х годов.

Эпидемичность мысли, стадность настроения.

Интересовались красивыми историческими лицами или драматич[ескими] эпизодами, не историей, чем интересуются дети или незрелые взрослые. Анекдот лег краеугольным камнем в основу исторического обществ[енного] сознания.

Дело несделанное лучше дела испорченного, потому что первое можно сделать, а второго нельзя поправить.

Плевать, как публика отнесется к делу; нам важно, как мы сами отнесемся к делу.

Гений, негений—первый не понимает, что он творит, а второй понимает, что он ничего не творит.

<sup>1</sup> Далее зачеркнуто: а есть.

Понимать музыку — не то же, что считать темпы.

22.

[1902 г.]

Страшно только одно — ослабление работоспособности мозга.

Человек — потен[циальный] х; он сам не знает, сколько чертей в нем сидит, и только история выводит<sup>1</sup> этих метафизик[ов, как] микробы, на свежую воду. [...]

23.

[До августа 1904 г.]

«Всячина» (к курсу)

Своя таблица умножения, свое непрерываемое дважды два, без которого невозможно никакое мышление, невозможно никакое общение. Новое у Сол[овьева] — дело Петра подготовлено органически из др[евней] Руси. [...]

Борьба вечная между мыслью и жизнью. Мысль ищет чего-нибудь постоянного, разумного, логики, стереотипа человека, а жизнь ежеминутно составляет комбинации, причудливые, не укладывающиеся под привыч[ные] классификации и категории.

В России развилась особая привычка к новым эрам в своей жизни, склонность начинать новую жизнь с восходом солнца, забывая, что вчерашний день потонул под неизбежной тенью. Это предрассудок — все от недостатка исторического мышления, от пренебрежения к исторической закономерности.

Реформа Петра у Сол[овьева] учила считать накопл[енные] народом силы при всяком движении вперед.

Много актеров, но на прот[яже]нии веков нет ни одного деятеля, кроме Петра В[еликого]<sup>2</sup>. [...]

Рвут у нас студенты или<sup>3</sup>... Я не безразличен. Тих[омиров]: не нуждается в защите, не могу быть председателем, у меня много личных мнений по этому делу. Учреждение было бы оскандалено, при[ват]ные профессора. Комиссия не поняла своей задачи (ей бы [принять] во внимание историю): хотела быть слишком юридической и не спохватилась остаться универ[си-

<sup>1</sup> Далее зачеркнуто: этих черте[й].

<sup>2</sup> Далее текст сильно вытерт от времени, не поддается прочтению.

<sup>3</sup> Далее в рукописи стерто и поставлено отточие.

тетск]ой. Но университет не окружной суд, а учебно-воспит[ательное] учреждение.

Смертию смерть поправ — это русский писатель, который воскресает только по смерти. Готов служить делу свободы, но не хочет быть ее холопом.

В том и другом случае (реак[ции] или революц[ии]) Учр[едительное] собрание будет партией, не нар[одным] пред[ставитель]ством. Кому инициатива? Страна может остаться без законодательства.

Утратили чутье действительности и такт дея[тельно]сти. Однорожие и единодержавие.

Кем вырастет человек из ребенка.

Не выношу его глубокомысленного, новгородско-иерусал[имского] взгляда.

Забастовки и вооруж[енное] восстание — следствия свободы, которая уничтожила свою причину.

24.

*[Не ранее 19 февраля 1906 г.]*

Единство — больше на этнограф[ических] связях, чем на общих политич[еских] идеях или интересах.

Закон давал частные льготы и специальные классовые повинности, но не общие права и обязанности.

25.

*[Не ранее 3 марта 1906 г.]*

Державная дочь П[етра] В[еликого] 160 лет назад восстала против смертной казни, показав тем пример европ[ейским] законодателям. Моск[овский] у[ниверсите]т<sup>1</sup>, протестуя против смертной казни, исполнит завет своей основательницы.

26.

*[Не ранее 20 июня 1906 г.]*

Дело, возмутившее всех поряд[очных] людей со свойств[енным] ему выраз[ительно]-образн[ым] красно-речием, — выед[енное] яйцо.

Сами разделяли частное дело от офиц[иального], а теперь частное обращение к товарищам — в протокол. Я не слуга таких изворотов мысли и нрав[ственного] чувства.

Мурет[ов] может менять свои взгляды как ему вздумается, но никто не обязан считаться с его настроением,

<sup>1</sup> Чтение слова предположительно.

<sup>2</sup> Далее зачеркнуто: восс[тавая].

направлением, изменч[ивыми]<sup>1</sup> побуждениями, лично им в себе воспитанными.

Записка Мышц[ына] — неудачная симуляция порядочности.

27.

[Не ранее ноября 1906 г.]

### Мысли<sup>2</sup>

Что такое закон? Мы не законодатели, но мы исполнители закона, проводники; без нас его некому исполнять.

Пружина напряжена ту же, но не лопнула.

Международное значение падало<sup>3</sup>, и это падение до поры прикрывается диплом[атическим] приличием. Флота нет ни балтийского, ни тихоокеанского, — нельзя сказать, что бы его не было, но его нет. Финансы потрясены; кредит заграничный — в биржевое попрошайничество, внутренний — в переписку сумм из одной сметной графы в другую, доверие к правительству — выражение, вышедшее из оборотного языка как архаизм, требующий ученого комментария. Это часть почвы историческая. Договор с Лидвалем\* — тоже в силу 87 ст[атьи], как временное правило, подлежащее одобрению Думы.

Весь г[осу]дарственный порядок — из недоразумений, превратившихся в предупреждения<sup>4</sup>.

Шаг вперед легче полушага назад — в гору. Не отступать и не забегать, идти ровным поступат[ельным] шагом.

Одни хотят пасть, другие помириться. Те и другие на моральной или психологической, а не политической [почве]. Но есть ли она? Даже с подпочвой.

Взгляд на моральную почву в прошлое. Совещания с сведущими людьми.

Почва есть и психологическая! Ясно, что с нами, с народом, играют: где не догадаются, а где и испугаются.

Люди<sup>5</sup> без заносчивости и без робости не захватывали чужого и не поступались народным. На игру закрытую отвечать: «Откройте карты». Доверие исчерпано, все израсходовано: там терять уж нечего<sup>6</sup>.

<sup>1</sup> Над зачеркнутым: его.

<sup>2</sup> Слово написано красным карандашом.

<sup>3</sup> Над строкой: пало.

<sup>4</sup> Два последних абзаца отчерчены на полях красным карандашом.

<sup>5</sup> В рукописи: людей.

<sup>6</sup> Фраза отчерчена на полях красным карандашом.

Знаю только, что первое условие проиграть битву — струсить перед ее началом.

У русского царя есть корректор посильнее его — министр или секретарь. Царь повелит — министр отменит, как при Ек[атерине] II, с наказом. Он лучше понимает волю царя, чем сам царь<sup>1</sup>.

Наша беда в нас самих: мы не умеем стоять за закон. Реакционная Дума — не беда! Ее нельзя желать, но не надо бояться.

Я понимаю правительство: будущая Дума для нас страшный суд за июль — февраль.

Не знаю общества, которое терпеливее, не скажу доверчивее, относилось к прав[итель]ству, как не знаю правительства, которое так сорило бы терпением общества, точно казенными деньгами<sup>2</sup>.

Не нужно сделок; прямой договор.

Власть как средство для общего блага нравственно обязывает; власть вопреки общему благу — простой захват.

Успехи: ключ дан, замок отперт, дверь отворена, и свежий воздух пахнул на вековую пыль. Выбирайте людей, которые, спокойно, ровно ступая по твердой законной почве, не порываясь, стремились вперед и, не пятясь назад, во имя закона сделают Думу могучим оплотом законности, мира и преуспеянья. Идти напрямки, без сделок, но с прото[колом] в руках: иначе нельзя.

Воспользовались идеями Думы и только скомкали их. В правительстве Гурко<sup>3</sup> с Лидвалями...

Делом власти было это сказать; наше дело понять, как это сделать (рескрипты).

28.

*27 февр[аля] 1907 г.*

[...] Все эти земские советы, собрания были только сделки, а не учреждения, минутные сборища на всякий случай.

29.

*[Около 13 октября 1907 г.]*

К духовенству. Л[екция] VI, в у[ниверсите]те

Великая идея в дурной среде извращается в ряд нелепостей.

<sup>1</sup> Далее зачеркнуты выписки об эпохе после Петра I.

<sup>2</sup> Абзац отчерчен на полях красным карандашом.

<sup>3</sup> В рукописи: Гурок.

На богословской ли почве или на материалистической, но ум приучался к научной работе. Гизо, [стр.] 102.

Виртуоз душевного спасения.

Великая истина Христа разменялась на обрядовые мелочи или на худож[ественные] пустяки. На народ ц[ерковь] действовала искусством обрядов, правилами, пленяла воображение и чувство или связывала волю, но не давала пищи уму, не будила мысли. Она водворяла богослужбное мастерство вместо богословия, ставила церк[овный] устав вместо катехизиса; не богословие, а обрядословие. (Закон божий — не вероучение, а богослужение.)

Процесс самосознания в духовенстве есть история его самоотрицания: оно вымирает по мере того, как сознает свое положение.

30.

[Не ранее 1907 г.]

[...] Петр был жертвой собственного деспотизма. Он хотел насильем водворить в стране свободу и науку. Но эти родные дочери человеческого разума жестоко отомстили ему. [...]

31.

[Не ранее 1907 г.]

Петр не создал ни одного учреждения, которое, обороняя интересы народа и на него опираясь, могло бы встать на защиту своего создателя и его дела после него.

Деятельность Петра сплелась из противоречий самодержавного произвола и госуд[арственной] идеи общего блага; только он никак не мог согласить эти два начала, которые никогда не помирятся друг с другом.

Меншиков, не брезговавший ремеслом фальшивого монетчика для определения искусства Петра выбирать людей.

Апраксин, самый сухопутный адмирал, полный невежа в навигации, но добродушный хлебосол<sup>1</sup>. [...] Он — враг реформы<sup>2</sup>.

Порицать Петра не значит оправдывать его преемников. [...] Наигранная грация Ек[атерины] II, какую приобретает скромная, но энергичная женщина многолетней работой над собой, над своей богато одаренной, но не режущей праздных глаз красивой природой. Она была заезжей цыганкой в Росс[ийской] империи.

<sup>1</sup> Далее не разобрано одно слово и цифра: 117.

<sup>2</sup> Два последних абзаца перечеркнуты синим карандашом.

Никакие новые партийные вражды не сгладят старой сердечной дружбы.

Сердце Ек[атерины] никогда не ложилось поперек дороги се честолюбию<sup>1</sup>.

С А[лександра] I они почувствовали себя Хлестаковыми на престоле, не имеющими, чем уплатить по трактирному счету. Их предшественницы — воровки власти, боявшиеся повестки из суда.

32.

[Около 9 февраля 1908 г.]

## Павел — Александр I — Николай I

В этих трех царствованиях не ищите ошибок: их не было. Ошибается тот, кто хочет действовать правильно, но не умеет. Деятели этих царствований не хотели так действовать, потому что не знали и не хотели знать, в чем состоит правильная деятельность. Они знали свои побуждения, но не угадывали целей и были свободны от способности предвидеть результаты. Это были деятели, самоуверенной ошупью искавшие выхода из потемков, в какие они погрузили себя самих и свой народ, чтобы закрыться от света, который дал бы возможность народу разглядеть, кто они такие.

Инициаторами покушений были старые столбовые и промозглые крепостники-дворяне, а исполнителями — мелкое обносившееся радикальное барье, которое двигалось, как марионетки, не сознающие, кто ими двигает. Так заложена была мина, которая при помощи длинного подпольного провода лишилась возможности знать собственный ударный пункт.

Сумасбродство Павла признают болезнью и тем как бы оправдывают его действия. Но тогда и глупость, и жестокость тоже болезнь, не подлежащая ни юридической, ни нравственной ответственности. Тогда рядом с домами сумасшедших надобно строить такие же лечебницы для воров и всяких порочных людей.

## XIX в[ек]

Огонь передаваем, но неделим — русские самодержавные министры. Закон — основа бесправия.

1) Внешний размах государственной силы. Сокрушение Наполеона. Свящ[енный] союз. Завоевания на Дунае, на Балт[ийском] море, на запа[дном] берегу

<sup>1</sup> Фраза написана синим карандашом. Подчеркивания в тексте красным карандашом.

- Касп[ийского] моря, на восточном Черного, созд[ание] нов[ых] г[осударств] на Балк[анском] пол[уострове], в Среднюю Азию, течением Амура. Проверяем географию, ревизуем, все ли на месте, что там написано.
- 2) Подъем законодательства и учредительства. Центр[ализация] управления. Свод законов. Освобождение крепостн[ых]. Новый суд. Земские учреждения. Институт земских начальников. Учреждение госуд[арственной] охраны.
- 3) Расцвет русской литературы и русского искусства, русского творческого гения. Пушкин. Лермонтов. Гоголь. Тургенев. Гончаров. Гр[аф] А. Толстой. Гр[аф] Толстой — яркая звезда на мировом культурном небосклоне. Искусства. Не говорю о научных успехах (сам прилип, как слизьяк, к этой скале гранитной). Система учебн[ых] заведений 1804 и др[угих] г[одов].
- 4) И за этими тремя как будто светлыми сторонами жизни открывалась четвертая — совсем тeneвая, даже мрачная: небывалый организованный гнет правительственной опеки и полицейского сыска (3-го отделения Соб[ственной]<sup>1</sup> канцелярии). Всякое движение свободного духа заподозривается как подкоп под основы существующего порядка. § 5 с листика ψ<sup>2</sup>.

Что значат все эти явления? Какой смысл в этом хаосе? Это задача истор[ического] изучения. Мы не можем идти ощупью в потемках. Мы д[олжны] знать силу, которая направляет нашу частную и народную жизнь. С 1801 г. два параллельные интереса: постройка европейского госуд[арственного] фасада и самоохрана династии.

33.

[Не ранее 20 марта 1908 г.]

Все только намеки, наброски, идеи — как темные слухи откуда-то со стороны, учреждения без ясно устан[овленных] функций и компетенций, общ[ественные] классы без определительн[ых] очертаний.

34.

13, 19 июня, 5 июля 1908 г.

1908, Сушнево.

13 июня

Счастье не действительность, а только воспоминание: счастливыми кажутся нам наши минувшие годы, когда

<sup>1</sup> Над строкой: Унив[ерсите]ты в конце Ал[ександра] I.

<sup>2</sup> Далее строк пять оставлены чистыми.

мы могли жить лучше, чем жилось, и жилось лучше, чем живется в минуту воспоминания. [...]

19 июня

Русское духовенство всегда учило паству свою не познавать и любить бога, а только бояться чертей, которых оно же и расплодило со своими попадьями. Нивелировка русского рыхлого сердца этим жупельным страхом — единственное дело, удавшееся этому тунеядному сословию.

5 июля

Но впечатления, какие получал Толстой, быстро свелись по возвращении в родную обстановку. А здесь жили наличными средствами и понятиями, чтобы только как-нибудь прожить. Идеи права, справедливости, свободы были роскошью ума, доступной немногим головам, как дорогой франц[узский] кафтан или парик был доступен немногим карманам.

Что такое Бог? Совокупность законов природы, нам непонятных, но нами ощущаемых и по хамству нашего ума нами олицетворяемых в образе творца и повелителя вселенной.

Толстой — поздняя пародия древнерусского юродивого, ходившего нагишом по городским улицам, не стыдясь того.

Вы сочиняете посмертного Гоголя.

Мысль Гоголя ни перед чем не останавливалась, даже перед собственной глупостью = совершенно малороссийская мысль, как степной ветер, который несется по волнующейся равнине и воеет и выплывает, — указать ему, где бы установиться, обо что бы удариться, чтобы перестать носиться, выть.

35.

[Не ранее 27 ноября 1908 г.]

Чтение 27 н[оя]бря [19]08 г. у Н. В. Д. Толстой и Труб[ецкой] — экзотичность и ненужность мыс[ли], хоть и красивой; сеяли рожь, а выходил испанский лук или что-нибудь тропическое, оранжерейное.

Ленск[ий]. Невзрачная р[усская] жизнь, прикрашенная худож[ественной] позолотой. Как человек в области искусства довольно пришлый, я г[ово]рил, что вместо того, чтобы украшать русскую мужицкую избу готич[еским] фронтоном, не красивее ли было бы иной стильный музей опростить фасадом мужицкой избы.

Петр — деспот, своей деятельностью разрушил деспотизм, подготавливая свободу своим обдуманым произволом, как его преемники своим либеральным самодержавием укрепляли народное бесправие.

Женщина, что музыка: физич[еские] ощущения — нравственные мотивы.

Правительство уже тогда начинало торговать г[осу]дарством, как своей междунар[одной] лавочкой<sup>1</sup>.

Все эти екатерины, овладев властью, прежде всего поспешили злоупотребить ею и развили произвол до нем[ецких] размеров.

Вы призвали иноземных зевак на наши народные болячки, а меня заставляете быть их физиологич[еским] демонстратором.

Такова уже натура: собака не может не лаять.

Дрянной мальчишка, преждевременно развращенный (П[етр] II).

Переход от произвола к праву — анархия, а не октроированная конституция. [...]

Шляхетство рядовое 1730 г. — это политические зайцы, безбилетно прокрававшиеся в политику под именем общества или общенародия<sup>2</sup>.

Черт и художник — главные сотрудники монаха, первый — для обработки мужика, второй — для обработки барина<sup>3</sup>. [...]

Гоголь не писал просто, а разыгрывал самого [себя]<sup>4</sup>.

1 апреля Екат[ерины] I. — Сол[ovieв, т.] 18, [стр.] 319\*. Эпоха воровских прав[ительств], которые сами стыдятся своей власти, но держатся за нее без всякого стыда<sup>5</sup>.

Понимаю затруднения Извольского: ни армии, ни флота, ни финансов — только орден Андрея Первозванного. Полит[ическая] свобода — родная дочь науки. [...]

36.

1908 г.

В нашем настоящем слишком много прошедшего; желательно было бы, чтобы вокруг нас было поменьше истории.

<sup>1</sup> Фраза написана синим карандашом.

<sup>2</sup> Далее строки две оставлены чистыми.

<sup>3</sup> Далее строк 8—9 оставлены чистыми.

<sup>4</sup> Далее строк 12—15 оставлены чистыми.

<sup>5</sup> Далее строки 3—4 оставлены чистыми.

37.

9 янв[аря] 1909 г.

Самовластие само по себе противно; как политический принцип, его никогда не признает гражданская совесть. Но можно мириться с лицом, в котором эта противоестественная сила соединяется с самопожертвовани-ем, когда самовластец, не жалея себя, самоотверженно идет напролом во имя общего блага, рискуя разбиться о неодолимые препятствия и даже о собственное дело. Так мирятся с бурной весенней грозой, которая, ломая вековые деревья, освежает воздух и своим ливнем помогает всходам нового посева.

38.

[Около 2 января 1910 г.]

Тяжелыми налогами государство раздуло свои силы, значение выше меры и нужды и нахватало задач и затруднений не по силам. Государство игры и авантюры.

39.

[1910 г.]

Римские императоры обезумели от самодержавия; отчего имп[ератору] Павлу от него не одуреть?

Ливрейная аристократия передней.

Суждения истории — не суждения гражд[анской] палаты, укреплявшей мертвые души за Чичиковым.

Правит[ельственные] учреждения: как они могут быть проводниками права, сами будучи совершенно бесправными?

Деспотизм кулака и деспотизм ласковой улыбки — к одинаковым результатам.

1900-е годы

40.

Частный интерес по природе своей склонен противодействовать общему благу. Между тем человеческое общежитие строится взаимодействием обоих вечно борющихся начал. Такое взаимодействие становится возможно потому, что в составе частного интереса есть элементы, которые обуздывают<sup>1</sup> его эгоистиче-ские увлечения. В отличие от государственного поряд-

<sup>1</sup> Далее зачеркнуто: сдерживают, стремят[ся], роднят его, составят пределы; действие [...]тельность.

ка, основанного на власти и повиновении, экономическая жизнь есть область личной свободы и личной инициативы как выражения свободной воли. Но эти силы, одушевляющие и направляющие экономическую деятельность, составляют душу и деятельность духовную. Да и энергия личного материального интереса возбуждается не самим этим интересом, а стремлением обеспечить личную свободу, как внешнюю, так и внутреннюю, умственную и нравственную, а эти последние на высшей ступени своего развития выражаются в сознании общих интересов и в чувстве нравственного долга действовать на пользу общую. На этой нравственной почве и устанавливается соглашение вечно борющихся начал, по мере того, как развивающееся общественное сознание сдерживает личный интерес во имя общей пользы и выясняет требования общей пользы, не стесняя законного простора, требуемого личным интересом. Следоват[ельно]...<sup>1</sup>

Необходимая случайность — в жизни часто...<sup>2</sup>

Телефонное мышление.

Декадентство не дорисовывает, только накалывает кистью природу.

Продукты цивилизации (три).

Бог смертью больше заслужил (*mer[cedes?] de patria*<sup>3</sup>), чем жизнью.

Не только в более или менее сложном составе, но и в неодинаковом подборе и соотношении составных элементов.

В государстве народ становится не только юридическим лицом, но и исторической личностью с более или менее ясно выраженным нац[иональным] характером и сознанием своего мирового значения.

Условия, как случай, будут создаваться разумом или предупреждаться благоразумием, и тогда вскроются новые свойства человеческой природы, новые стороны, еще невиданные...<sup>4</sup>

41.

Высшая иерархия из Византии, монашеская, надела черной бедой на русскую верующую совесть и доселе пугает ее своей чернотой<sup>5</sup>.

<sup>1</sup> Фраза Ключевским не закончена.

<sup>2</sup> Фраза Ключевским не закончена.

<sup>3</sup> награду от отечества [?] (лат.).

<sup>4</sup> Фраза Ключевским не закончена.

<sup>5</sup> Первый и последний абзацы зачеркнуты. Подчеркивания сделаны красным карандашом.

Мысль Ордина о слав[янском] союзе блеснула ночью и погасла, как грозовая искра.

Новый военный порядок Петр создавал не столько офици[альными] указами, сколько письмами, частичными распоряжениями по отдельным случаям без соображения с законом. Это не законодательство, а личные распоряжения деспота, вышедшего из рамок закона<sup>1</sup>.

Новые законы только затрудняли разрушение старого порядка, укрепив его законными подпорками.

Др[евне]р[усский] царь сам потерялся в своих тарелках.

42.

Игра старых бар в свободную любовь со своими крепостными девками (конституционные похоти Ал[ександра] I).

Петр I. Его возбужденное настроение при его взрывчатости всех настраивало.

П[етр] сунулся в эту войну, как неопит, думавший, что он все понимает.

Вас пощадили, позволили существовать, чтобы дать вам время стать смешными.

Победители — еще шаг — попросили бы пощады у побежденных.

Это была не трусость — П[етр] не был трус, — а обдуманная глупость, внимание к чужому глупому уму.

Детальность работы — необъятная переписка царя[героя]<sup>2</sup> с мелкими исполнителями.

Итак, война б[ыла] истинной виновницей реформы.

П[етр] засиделся в своей школе.

Поход Карла в 1700 [г.] — совершенно варяжский шальной набег IX в. Потом мелкая война, взаимное кровососание.

Шведский мальчик — викинг, ставший к 1709 г. совершенно шальным варягом вроде нашего Святослава. [...]

43.

Шутовство — не тонкий, лукавый расчет политиков, но просто грубое чувство гуляк-шутов. Хватали формы шутовства откуда ни попало, не щадя ни преданий старины, ни народного чувства, ни даже собственного достоинства. В пародии церковных обрядов глумились не над ц[ерковью], которую очень плохо понимали, а

<sup>1</sup> Абзац на полях отчерчен красным карандашом.

<sup>2</sup> Чтение слова предположительное — текст в этом месте поврежден.

над иерархией, которой перестали бояться, но продолжали не любить.

Страшный обряд, потерявший устрашавшую силу, стал смешон и досаден, как чучело, испугавшее ворону, и на нем вымещали собств[енное] воронье малодушие. Так подростки смеются над страшными гримасами, какими няньки запугивали их в детстве, чтобы скорее уложить их спать<sup>1</sup>.

Петербургом Петр [зажал]<sup>2</sup> Россию в финском болоте, и она страшными усилиями выбивалась из него и потом утрамбовывала его своими костями, чтобы сделать из него Невский проспект и Петроп[авловскую] крепость—гигантское дело деспотизма, равное египетским пирамидам.

Петр учился быть адмиралом и кораблестроителем, а пришлось быть прежде всего сухопутным генералом, организатором армии, а не флота. Он готовил флот прежде, чем приобрел море, и рисковал посадить свой флот на сухопутное гниение, как сгнила на берегу его переяславская флотилия.

44.

...Из большого и пренебрегаемого полуаз[иатского] государства Петр сделал европейскую державу, ставшую еще больше прежнего, но больше прежнего и ненавидимую. Он лучше обеспечил внешнюю безопасность этого государства, но усилил<sup>3</sup> международный страх к нему, международную злобу против страны.

45.

1. Реформа Петра вытягивала из народа силы и средства для борьбы господствующих классов с народом. К § 6.
2. Перерождение умов посредством штанов и кафтанов. Мистика. Сол[овьев, т.] 15, [стр.] 137.
3. В коалиции терпел поражение, а побеждал один на один (Доброе<sup>4</sup>, Лесное, Полтава).
4. После Петра государство стало сильнее, но народ беднее.
5. Ход реформ от войны: до 1708 г. письмами и чрез лиц, потом указами и чрез учреждения.
6. Регулярная армия, оторванная от народа, стала пос-

<sup>1</sup> Два первых абзаца зачеркнуты красным карандашом.

<sup>2</sup> Чтение слова предположительное.

<sup>3</sup> Далее зачеркнуто: его.

<sup>4</sup> Над строкой одно неразобранное слово.

лушным орудием против него, а внешняя политика, опираясь на нее, создавала престиж власти, который еще более подменял идею государства народного династией и полицией.

7. Не было ломки старых учреждений для постройки новых, а был постепенный развал московских одновременно с возникновением петербургских.
8. Через Полтаву он выходил на большую европ[ейскую] дорогу. Он по-прежнему оставался туп к пониманию нужд народа. Но он стал более чуток к условиям своего международного положения: он понял, что начинается игра не по карману. Предстояла роль нищего богача<sup>1</sup>.
9. Как человек, не привыкший к гражд[анскому] строительству, он колебался, ошибался, идя в потемках. Все [проще]<sup>2</sup>, с кого взыскать, кому поручить, кого побить.
10. Не переиздавалось существующее, а создавалось вновь, чего не было: не преобразования, а новообразования. План, как он выяснился путем дробных мер к концу. Не военные дела, а военные успехи и созданное ими положение России — источник реформы.

Ход: сперва беглый указ или спешное письмо намечало<sup>3</sup> пробел, недостаток, вскрытый войной; потом чрез Сенат разрабатывались учреждения, закон, регламент или инструкция<sup>4</sup>.

11. Обременение народа различными мейстерами, рихтерами, комиссарами, ратами, мистрами преимущественно из иноземцев: целое нашествие баскаков, темников, численников.

Щебень для<sup>5</sup> мостовых. Все понятия об обществе, государстве, народе, семье сгнили в этом разгуле распушенности, безделья и произвола.

Бесправие, покоившееся до поры до времени на привычке, народной инерции, Петр<sup>6</sup> преобразил в организованную силу, в государственное учреждение, против которого надо б[ыло] бунтовать. [...]

Проволока, по которой шли все распорядительные токи, был деспотизм.

<sup>1</sup> Абзац зачеркнут.

<sup>2</sup> Чтение слова предположительное.

<sup>3</sup> Над строкой: 1-й, 2-й и 5-й.

<sup>4</sup> Абзац зачеркнут.

<sup>5</sup> Далее над строкой не разобрано одно сокращенное слово: адск[их?].

<sup>6</sup> Подчеркнуто красным карандашом.

Петр I<sup>1</sup>. Он действовал как древнерусский царь-самодур; но в нем впервые блеснула идея народного блага, после него погасшая надолго, очень надолго.

Чтобы защитить отечество от врагов, П[етр] опустошил его больше всякого врага.

Понимал только результаты и никогда не мог понять жертв.

46.

Риторически тягучий и туманный указ.

П[етр] увлекся Европой с фин[ансово]-технической, а не с политической и нравственной стороны, мог приучить свои руки к приемам по раб[оте] мастера, но не думал приучать своей мысли к принципам полит[ического] мыслителя вроде Пуффендорфа или Гуго Гроция. [...]

47.

А[лександр] I<sup>2</sup>.

Свободомыслящий абсолютист и благожелательный неврастеник. Легче притворяться великим, чем быть им.

48.

Схоластика — точильный камень научного мышления: на нем камни не режут, но об камень вострят<sup>3</sup>. [...]

С 25 фев[раля] 1730 г.\* каждое царствование было сделкой с дворянством, и если сделка казалась нарушенной, нарушившая сторона подвергалась преследованию противной арестом и ссылкой или заговором и покушениями.

49.

Верховной власти нет как источника прав и полномочий, она только штемпель на актах прав и полномочий, не политическая сила, а механический сертификат. Настоящая верховная власть есть двор.

Прав[итель]ство не может ни воспитывать, ни развращать народа: оно может только его устроить или расстроить. Воспитание народа — дело правящих и образованных классов, интеллигенции.

Тот, кто пишет «быть по сему», есть только стальное перо и больше ничего.

Самодержавие — бессмысленное слово, смысл которого понятен только желудочному мышлению неврастеников-дегенератов.

<sup>1</sup> Подчеркнуто красным карандашом.

<sup>2</sup> Подчеркнуто красным карандашом.

<sup>3</sup> Далее не разобрано шесть строк.

Церковная иерархия не обладает в достаточной для минуты мере ни подготовкой, ни постановкой.

Русский простолюдин—православный—отбывает свою веру как церковную повинность, наложенную на него для спасения чьей-то души, только не его собственной, которую спасти он не научился, да и не желает: «Как ни молись, а все чертям достанется». Это все его богословие.

50.

Это еще не предмет истор[ического] изучения. Это время тяжелых испытаний или светлых надежд... Бури.

Но обращаемся к прошлому, чтобы забытья на воспоминаниях от тяжелых впечатлений, убежать в прошлое от настоящего. Постыдное бегство! Наши идеалы не в прошедшем, а в будущем.

51.

Русские цари—не механики при машине, а огор[одные] чучела для хищных птиц.

Цари—те же актеры с тем отличием, что в театре мещане и разночинцы играют царей, а во дворцах цари—мещан и разночинцев.

Доселе дурными средствами развивалась личность на счет сильного общества; впредь личность будет служить вырождающемуся обществу лучшими своими силами. Период хищной энергии сменится периодом благородной неврастении и малокровия. Рычаг<sup>1</sup> прогресса—вм[есто] кровопролития кровопривитие. Тужикипыжики.

Цари со временем переведутся: это мамонты, которые могли жить лишь в допотопное время.

Наши цари были полезны как грозные боги, бесполезны и как огородные чучелы. Вырождение авторитета с сыновей Павла. Прежние цари и царицы—дрянь, но скрывались во дворце, предоставляя эпическо-набожной фантазии творить из них кумиров. Павловичи стали популярничать. Но это безопасно только для людей вроде Петра I или Ек[атерины] II. Увидев Павловичей вблизи, народ перестал их считать богами, но не перестал бояться их за жандармов. Образы, пугавшие воображение, стали теперь пугать нервы. С Ал[ександра] III, с его детей вырождение нравственное сопровождается и физическим. Варяги создали нам первую династию, варяжка\* испортила последнюю.

<sup>1</sup> В рукописи: рычагом.

Она, эта династия, не доживет до своей поли[тической] смерти, вымрет раньше, чем перестанет быть нужна, и будет прогнана. В этом ее счастье и несчастье России и ее народа, притом повторное: ей еще раз грозит бесцарствие, смутное время. [...]

Моск[овское] г[осударство] Иоаннов — вотчинное государство с трудно дававшейся идеей национально-церковного союза, управляемого при посредстве молчаливого местнического соглашения г[осу]д[аря] с бывшими вотчинниками. Государство первых Романовых — национальный русский союз со свежими воспоминаниями и привычками вотчинного порядка, управляемый посредством класса военных слуг, содержаемых на счет управляемого народа. Центр тяжести в первый период — в Боярской думе, во второй — в Разряде. Постельное крыльцо взяло верх над Передней.

52.

Нельзя вытирать запачкавшегося лица чужими рукавами.

- 1) Неустойчивые порывы, безотч[етные] или полусознат[ельные] стремления, невыясненные планы. Много суеты, хлопот и скудные результаты.
- 2) Россия XVII в. со своей широко раскрытой научной любознательностью и со скудной<sup>1</sup> умственной емкостью. Какая преобраз[овательная] суетня, какая толпа новых идей и какая ветошь нравов и порядков, какое ничтожество результатов! Таракан на спине.

Дворянство — «верноподданные бунтари». Оно привыкло окружать престол с вечно протянутой рукой попрошайки и трясти его за неподатливость.

Самодержавие — не власть, а задача, т. е. не право, а ответственность. Задача в том, чтобы единоличная власть делала для народного блага то, чего не в силах сделать сам народ чрез свои органы. Ответственность в том, что одно лицо несет ответственность за все неудачи в достижении народного блага. Самодержавие есть счастливая узурпация, единственное политическое оправдание которой непрерывный успех или постоянное уменье поправлять свои ошибки или несчастья. Неудачное самодержавие перестает быть законным. В этом смысле единственным самодержцем в нашей истории был Петр В[еликий]. Правление, сопровождающееся Нарвами без Полтав, есть nonsense<sup>2</sup>.

<sup>1</sup> Над строкой: тугой.

<sup>2</sup> бессмыслица (англ.).

При Ек[атерине] II когти прав[итель]ства остались те же волчьи когти, но они стали гладить по народной коже тыльной стороной, и добродушный народ подумал, что его гладит чадолюбивая мать.

Нет ничего бесцельнее, как судить или лечить трупы: их велено только закапывать.

Вы как<sup>1</sup> щенки, которые потому, что у них чешутся зубы, грызут все, что им попадается, даже собственный хвост. Они стали бы грызть и свои головы, если бы умели, да не умеют. А вы умеете, поэтому не могу признать вас щенками.

53.

Мысль стала развязнее, не сделавшись деловитее.

Мы много передумали, о чем прежде никто у нас не думал; но то, до чего мы додумались, было чистое знание без практического приложения. Мы стали более знающими, но еще не успели стать более умелыми. Мы привыкли смотреть на общественный порядок с фасада, какой показывало нам начальство, а теперь нам позволили, даже предписали заглянуть на него с заднего крыльца: мы увидели, как строится он, на чем держится и чем движется. Узнать—это значит узнать много, но нужно еще больше подумать, чтобы суметь воспользоваться этим знанием, выучиться строить и двигать общественный порядок. С большим грузом знания, но с прежними недостатками уменья мы стали резонерами, не сделавшись дельцами. Вот почему наши проекты умнее наших действий, почему мы лучше рассуждаем в гостиных, чем действуем в собраниях, почему мы умно спрашиваем и глупо отвечаем. Мы—музыканты, отвыкшие играть вследствие привычки размышлять о музыке.

Славянофильство—история двух-трех гостиных в Москве и двух-[трех] дел в московской полиции.

История смотрит не на человека, а на общество.

В админ[истративной] опеке печати нет цели, есть только дурная привычка.

Чутье своевременности. Сколько прекрасных идеалов скомпрометировано вследствие недостатка сего чутья! Застой и порывистость. [...]

+ В общество несем лучшие манеры и худшие чувства, в семью дома—наоборот. [...]

<sup>1</sup> Над строкой: напоминает.

28 марта

В Европе царей Р[оссия] могла иметь силу, даже решающую; в Европе народов она — толстое бревно, прибиваемое к берегу потоком народной культуры. Когда в международной борьбе к массе и мускульной силе присоединилась общественная энергия и техническое творчество ломившейся вперед России, где этих новых двигателей не было заготовлено, пришлось остановиться и только отбиваться, чтобы не отступить.

Общ[ность] желудка и пр.; все кушают сообща, но варят своими индивид[уальными] жел[удка]ми.

Нахальное бессилие.

54.

Чем меньше слов, тем больше филологии, потому что любить слово значит не злоупотреблять им. Лапидарный стиль. Ученый, познакомивший Европу с русскими античными надписями, — каменный мост между новой Россией и древней Грецией. На русских камнях греческие надписи: «За р[усскую] фил[ологию], познаком[ившую] Евр[опу] с Грецией, надписями на русск[их] камнях». Лучший филол[огический] стиль — лапидарный.

Легче истолковать чувство без слов, чем слова без чувств.

Дети играют во взрослых, а не в самих себя, потому считают себя старше своих кукол, признают их своими детьми и в качестве матерей наказывают, а не считают своими матерями, потому что они не могут наказывать их. Можно шутить над собой, но нельзя играть собой.

В истории русской жизни есть столько и таких незатронутых вопросов, что затронуть их составит славу тех, кто их только затронет, хотя и не решит.

Меня отпевают и даже готовят мне памятник. Но я еще не умер и даже не собрался умирать. Напротив, я жить хочу или по крайней мере долго умирать, но не скоро умереть. Поэтому за Ваше здоровье.

Реформаторы 60-х годов очень любили свои идеалы, но не знали психологии своего времени, и потому их дух не сошелся с душой времени.

55.

#### Этика и эстетика

Зап[адная] Европа и Россия — социализм и капитализм. Высший момент — наслаждение собственной мыслью, победившей природу.

Искусство — слуга не воли, а мысли, не практики, а науки. Выплывут, пльвя отдельно, но утонут оба, решившись спасти друг друга.

Будем ходить в театр, чтобы возвращаться домой веселыми и уравновешенными, и покинем самообольщение, что воротимся оттуда добродетельными. Не будем смешивать театр с церковью<sup>1</sup>, ибо труднее балаган сделать церковью, чем церковь превратить в балаган. Театралы от этого не выиграют, но молельщики проиграют: первые, оставаясь театралами, не станут молельщиками, но вторые перестанут быть ими, не став театралами.

<sup>1</sup> *Далее зачеркнуто:* Этим из театра не сделали церкви, а церковь.

## ПОСЛЕСЛОВИЕ

Девятым томом завершается настоящее издание Сочинений В. О. Ключевского. В нем собраны разнообразные материалы историка: в первой части книги продолжают печататься его статьи; во второй — письма, дневники, афоризмы и мысли об истории.

В. О. Ключевский вошел в историю науки как автор «Курса русской истории», книг «Сказания иностранцев о Московском государстве», «Древнерусские жития святых как исторический источник», «Боярская дума древней Руси». Перу В. О. Ключевского принадлежит также значительное число исследований в форме статей, где не менее ярко и своеобразно выразился его талант. Нередко В. О. Ключевский безвозмездно выступал с речами и публичными лекциями. Так, в 1890—1891 гг. в Политехническом музее он прочитал курс лекций «Западное влияние в России после Петра»<sup>1</sup> в пользу голодающих, в 1892 г. — лекцию «Добрые люди древней Руси»<sup>2</sup> в пользу пострадавших от неурожая, в 1893 г. — лекцию «Два воспитания» в пользу Московского комитета грамотности. Те, кто присутствовал на выступлениях В. О. Ключевского, надолго запоминали их; те, кто не попадал, сожалели о том. В письме художника М. В. Нестерова от 22 сентября 1892 г. читаем: «Одного не могу простить себе — это то, что <...> пропустил возможный случай слышать

<sup>1</sup> Ключевский В. О. Неопубликованные произведения. М., 1983. С. 11—112, 349—364.

<sup>2</sup> Ключевский В. О. Добрые люди древней Руси // Богословский вестник. 1892. № 1. С. 77—96 (отд. оттиск. Сергиев Посад, 1892. С. 1—20); 2 изд. М., 1896; 3 изд. М., 1902; 4 изд. М., 1907; переиздано в кн.: Ключевский В. О. Очерки и речи. Второй сборник статей. М., 1913. С. 140—162.

необыкновенную речь проф. Ключевского. В. М. Васнецов был на акте с Мамонтовыми и считает, что, слышав эту речь, он получил себе драгоценный подарок. Одна надежда, что речь будет где-либо напечатана в журнале и я ее прочту»<sup>1</sup>. М. В. Нестеров имел в виду выступление В. О. Ключевского в Московской духовной академии по случаю 500-летия кончины Сергия Радонежского<sup>2</sup>.

В предшествующем восьмом томе настоящего издания Сочинений В. О. Ключевского помещены некоторые статьи ученого по социально-экономической истории России; в первой части 9-го тома публикуются семь его статей по истории русской культуры, главным образом XVIII в. Во второй половине и в конце прошлого столетия XVIII век привлекал исследователей (в том числе и В. О. Ключевского) своей относительной неизученностью: «Русский XVIII век, столь важный в судьбах нашего Отечества, исполненный столь громких дел, вызвавший столько шумных и разноречивых толков своими грехами и успехами», надолго оставался «в научной полутьме»<sup>3</sup>. Пробел в монографическом изучении России XVIII в. В. О. Ключевский заполнял сам в 3-й и 4-й частях «Курса русской истории», в публичных лекциях «Западное влияние в России после Петра», в статьях, выступлениях, в оставшихся еще не опубликованными набросках и очерках.

В «Курсе русской истории» В. О. Ключевский, как известно, указывал на социальное неравенство русского общества, которое в XVIII в. еще более усиливалось нравственным отчуждением правящего класса от управляемой массы. «Говорят, культура сближает людей, уравнивает общество. У нас,—считал Ключевский,—было не совсем так. Все усиливавшееся общение с Западной Европой приносило к нам идеи, нравы, знания, много культуры, но этот приток скользя по верхушкам общества, осаждающаяся на дно частичными реформами, более или менее осторожными и бесплодными. Просвещение стало сословной монополией господ, до которой не могло без опасности для государства дотрагиваться непросвещенное простонародье, пока не просветится»<sup>4</sup>. Говоря об учреждении в стране дорогих дворянских кадетских корпусов, инженерных школ, Академии художеств, гимназий, о том, что в барских теплицах разводились тропические растения, Ключевский замечал как бы мимоходом—только вот не открыли ни одной чисто народной общеобразовательной или земледельческой школы. В общем Курсе Ключевский не мог так подробно, как бы ему хотелось,

<sup>1</sup> Нестеров М. В. Письма. Избранное. Л., 1988. С. 95.

<sup>2</sup> Ключевский В. О. Значение преп. Сергия для русского народа и государства // Богословский вестник. 1892. № 11. С. 190—204 (отд. оттиск); перепечатано под названием: Благодатный воспитатель русского народного духа // Троицкий Цветок. М., 1892. № 9. С. 1—32; 2 изд. 1899; переиздано под первоначальным названием в кн.: Ключевский В. О. Очерки и речи. Второй сборник статей. С. 194—209.

<sup>3</sup> Ключевский В. О. Соч.: В 9 т. Т. VII. М., 1989. С. 336, 343.

<sup>4</sup> Там же. Т. III. М., 1988. С. 9.

останавливаться на этих вопросах, и он создает серию работ, в числе их и те статьи, которые печатаются в данном томе: «Два воспитания», «Воспоминания о Н. И. Новикове и его времени», «Недоросль Фонвизина», «Евгений Онегин и его предки».

Настоящий девятый том Сочинений В. О. Ключевского открывает статья «Два воспитания», которая органически связана со статьями, хронологически относящимися к более раннему времени,— «Добрые люди древней Руси» и «Значение преп. Сергия для русского народа и государства», где, в частности, шла речь о милосердии, благотворительности и нравственности. Одним из отличительных признаков великого народа, писал там Ключевский, является способность подниматься на ноги после падения. Для этого необходимо нравственное возрождение, а оно сделает возможным и возрождение политическое, т. к. «политическая крепость прочна только тогда, когда держится на силе нравственной». «Нравственное богатство народа,— продолжал Ключевский,— наглядно исчисляется памятниками деяний на общее благо, памятниками деятелей, внесших наибольшее количество добра в свое общество. С этими памятниками и памятниками сростается нравственное чувство народа; они — его питательная почва; в них его корни; оторвите его от них — оно завянет, как скошенная трава». Говорил Ключевский и об ответственности потомков перед великими предками, «ибо нравственное чувство есть чувство долга»<sup>1</sup>.

Тема о важности унаследования путем исторического воспитания понятий добра, чувства сострадания, любви к ближнему, стремления к нравственному идеалу переходила и развивалась в статье «Два воспитания». Здесь автор рассматривает две существовавшие ранее системы воспитания: школу у домашнего очага в древней Руси, где ребенок воспитывался не столько уроками, сколько нравственной атмосферой, какою он дышал,— это не пятичасовое, а ежеминутное воздействие; и публичную школу новой Руси XVIII в., отрывавшую школу от семьи. Ключевский обращал внимание на разность задач и методов воспитания обеих систем, писал об отношениях семьи и школы, говорил и о своем понимании задач педагогики. Обобщенный вывод (который не устарел сейчас и, видимо, никогда не устареет) Ключевский подавал в отчеканенной форме: «Одна из великих заслуг педагогики в том, что она заставляет взрослых думать о детях»; «педагогика — не нянька, а утренний будильник: слово дано ей не для того, чтобы, укачивая чужого ребенка, усыплять свою мысль, а для того, чтобы будить чужую». Исторический опыт убеждает, утверждал Ключевский, что в деле воспитания школа не может отрываться от семьи: «семья и школа — не сожительницы и не соперницы; это — соседки и сотрудницы» — и они не могут обойтись друг без друга. «Под родным кровом дитя получает то, чего не может дать школа; школа должна ему дать то, чего оно не находит дома. Дома оно привыкает понимать и

<sup>1</sup> Ключевский В. О. Очерки и речи. Второй сборник статей. 2 изд. Пг., 1918. С. 197, 200, 209.

любить своих, в школе приучается жить с чужими <...>, учится превращать чужих в своих ближних» и т. п. (с. 27)<sup>1</sup>.

Ключевский призывал и сам убедительно показывал, как следует извлекать полезные уроки из накопленного исторического опыта. Из системы Бецкого он рекомендовал взять требование к воспитателям относиться к детям «с кротостью, учтивством и любовью», всегда хранить при них веселый вид, поддерживать в них бодрый дух и веселый нрав. Где этого нет, там не может быть никакой педагогики, никакой школы, «а есть только казарма для малолетних преступников, даже не исправительная, а просто карательная». Из «Домостроя» следует, считал Ключевский, взять то сильное, по его определению, место, «где наставник убеждает детей покоить родителей в старости, не забывать труда отцова и матернего, помнить, что они никогда и ничем не сумеют заплатить своего детского долга». О матери современным детям можно сказать: «Она готова была умереть за вас, прежде чем вы родились; вы обязаны жить для нее, пока она жива» (с. 28).

Высказанные здесь и в последующих статьях в афористической форме мысли историка встречаются в его записных книжках, тетрадях и в разрозненных афоризмах (они публикуются в настоящей книге). Читатель может сам убедиться, как «работали» у Ключевского созданные им афоризмы. Слушателям они западали в память, повторялись, распространялись, входя таким образом в общий обиход. Правда, порой при этом забывалось, кто первый их произнес. Таким примером могут служить заключительные слова статьи «Два воспитания»: «Было бы сердце — печали найдутся» (с. 28).

В последующих статьях, продвигаясь хронологически вперед, Ключевский не забывал вопросы воспитания, образования, просвещения, западного влияния. Как всегда, он опирался на широчайший круг исторических данных и привлекал как своеобразный и наглядный источник образы литературных героев (этим приемом он пользовался и в своих курсах). Его характеристики блестящи, остроумны, разоблачительны. Историк ставил вопрос об ответственности образованного дворянства перед всем обществом и особенно перед крепостным крестьянством. Оно своим знанием и примером должно было, утверждал Ключевский, приучить крестьянский класс «к трезвости, к правильному труду, производительному употреблению своих сил, к бережливому пользованию дарами природы, умелому ведению хозяйства, к сознанию своего гражданского долга, к пониманию своих прав и обязанностей. Этим благородное сословие оправдало бы, — нет, искупило бы исторический грех обладания крепостными душами» (с. 74). Но российский помещик с детства привык дышать пропитанной развлечением атмосферой, из которой «был выкурен самый запах труда и долга». Даже вольномыслящий туль-

<sup>1</sup> Здесь и далее ссылки на настоящий том сочинений В. О. Ключевского даются в скобках с указанием страниц без дополнительных объяснений.

ский космополит, который «с увлечением читал и перечитывал страницы о правах человека рядом с русскою крепостною девичьей и, оставаясь гуманистом в душе, шел в конюшню расправляться с досадившим ему холопом» (с. 95, 97).

В. О. Ключевского всегда интересовало творчество русских писателей<sup>1</sup>, и особенно А. С. Пушкина. В настоящем томе печатаются его статьи «Речь, произнесенная в торжественном собрании Московского университета 6 июня 1880 г., в день открытия памятника Пушкину», «Евгений Онегин и его предки» и «Памяти А. С. Пушкина» — речь, посвященная 100-летию со дня рождения поэта. В этих статьях Ключевский подчеркивал и глубоко национальный характер творчества поэта, и его значение в развитии мировой культуры. Деятельность А. С. Пушкина Ключевский связывал с развитием русской культуры предшествующего времени, говоря, что поэзия Пушкина была подготовлена последовательными усилиями двух эпох — Петра I и Екатерины II: «Целый век нашей истории работал, чтобы сделать русскую жизнь способной к такому проявлению русского художественного гения» (с. 104).

Высоко ценил Ключевский историческое чутье поэта, глубокий интерес к истории и историзм его произведений: «Его нельзя обойти и в нашей историографии, хотя он не был историком по ремеслу», его замечания «сделали бы честь любому ученому историку», у него находим «довольно связную летопись нашего общества в лицах за 100 лет с лишком» (с. 78, 83). Созданным Пушкиным в различных произведениях образам людей XVIII в. Ключевский придавал обобщающий характер и объяснял конкретно-исторические условия их жизни, тем самым он вводил пушкинские образы в живую ткань исторической действительности. Вместе с тем произведения А. С. Пушкина (так же, как и Д. И. Фонвизина) становились для Ключевского ценнейшим историческим источником.

Тонко чувствуя поэзию великого поэта, Ключевский не переставал изумляться разнообразию его мотивов: «Пришлось бы перебрать весь состав души человеческой, перечисляя мотивы его поэзии». Поражает гибкость поэтического понимания, умение «проникать в самые разнообразные людские положения, вживаться в чужую душу, всевозможные мирозерцания и настроения, в дух самых отдаленных друг от друга веков и самых несродных один другому народов» (с. 104, 105). Много еще прекрасных, прониновенных слов написал Ключевский о Пушкине. Однако он счел нужным не без изящества признать: «О Пушкине всегда хочется сказать слишком много, всегда наго-

<sup>1</sup> См., например, статью: Грусть (памяти М. Ю. Лермонтова, умер 15 июля 1841 г.) // *Ключевский В. О. Сочинения*: В 8 т. Т. 8. М., 1959. С. 113—132 и подборку его набросков о русских писателях (М. Ю. Лермонтове, Н. В. Гоголе, И. С. Аксакове, И. А. Гончарове, Ф. М. Достоевском, А. П. Чехове) в кн.: *Ключевский В. О. Неопубликованные произведения*. С. 311—324. Имеются также наброски об А. Н. Островском и М. Горьком.

воришь много лишнего и никогда не скажешь всего, что следует» (с. 101).

Думается, нет необходимости «представлять» по отдельности каждую публикуемую статью Ключевского. При чтении легко уловить их внутреннюю взаимосвязь (притом, что каждая статья является самостоятельной, законченной работой), развитие и углубление темы, оригинальность авторского подхода.

Одной из любимых аудиторий В. О. Ключевского были молодые художники — студенты Училища живописи, ваяния и зодчества, где он преподавал в последние десять лет своей жизни. Его лекции посещали и маститые художники, в творчестве которых видное место занимала историческая тематика. К примеру, Валентин Серов, в те же годы преподававший в училище, писал в 1908 г. И. С. Остроухову о том, что вечером ему необходимо опять ехать в училище на лекцию Ключевского<sup>1</sup>. В стенах училища бытовало мнение, что знаменитый эскиз Серова «Петр I» был создан под впечатлением лекций Ключевского о Петре и его эпохе<sup>2</sup>.

Ключевский считал своим долгом помогать художникам, желающим изучать русскую историю и ищущим в ней вдохновения. «Я только не люблю, когда ко мне обращаются с вопросами специалисты: сам доходи», — говаривал он. Помогал он и актерам. Широко известно о его помощи Ф. И. Шаляпину в работе над образами Бориса Годунова и Досифея. Чрезвычайно образно описал эти встречи Ф. И. Шаляпин: говорил Ключевский «много и так удивительно ярко, что я видел людей, изображаемых им». Особенно сильное впечатление производили в изображении Ключевского диалоги между Шуйским и Борисом. Иногда Шаляпину даже казалось, что воскрес Василий Шуйский, особенно когда Ключевский «остановится, отступит шага на два, протянет вкрадчиво ко мне — царю Борису — руку и рассудительно, сладко говорит. <...> Говорит, а сам хитрыми глазами мне в глаза смотрит, как бы прощупывает меня, какое впечатление на меня производят его слова». И, уже репетируя и играя с профессиональными партнерами, Шаляпин невольно думал: «Эх, если б эту роль играл Василий Осипович Ключевский»<sup>3</sup>.

Не менее красочно читал Ключевский лекции художникам, о чем есть немало свидетельств, например запись в дневнике художницы Елены Поленовой: «Сейчас возвратилась с лекции Ключевского. Какой талантливый человек! Он читает теперь о древнем Новгороде и прямо производит впечатление, будто это путешественник, который очень недавно побывал в XIII—XIV вв., приехал и под свежим впечатлением рассказывает все, что там делалось у него на глазах, и как живут там люди, и чем они интересуются, и чего добиваются, и какие они там...»<sup>4</sup>

<sup>1</sup> Валентин Серов в переписке, документах и интервью. Л., 1989. С. 149.

<sup>2</sup> Воспоминания о В. О. Ключевском. В Училище живописи, ваяния и зодчества // Русское слово. 1911. 14 (27) мая.

<sup>3</sup> Федор Иванович Шаляпин. Т. I. М., 1957. С. 148, 290, 149.

<sup>4</sup> [А. С.] Елена Дмитриевна Поленова (1850—1898). М., 1902. С. 37—38.

Художник Л. О. Пастернак запечатлел Ключевского в момент чтения им лекций в актовом зале училища, где среди слушателей в первом ряду сидит его сын — поэт Борис Пастернак<sup>1</sup>.

Фрагментом из лекций Ключевского в Училище живописи, ваяния и зодчества «О взгляде художника на обстановку и убор изображаемого им лица» заканчивается раздел статей. В комментариях приведены наброски Ключевского к этим лекциям, один из которых (конспекты вводных лекций 1900 г.) печатается впервые.

Сегодня, конечно, можно по-разному читать Ключевского — видеть, в чем он с позиций людей конца XX в. ошибался, в чем был недостаточно многосторонен, что несколько устарело. Но можно видеть и то, что современно и полезно, что непреходяще, что он сумел предвидеть. Во всяком случае нельзя не признать эрудицию автора, меткость его взгляда, глубину мышления, проникновения в эпоху, виртуозность владения пером и словом, а главное, ту подкупающую любовь к Истории, которой проникнуты все работы Ключевского.

Переписка и дневники — драгоценный источник для исследования мировоззрения, жизненного пути и научного творчества ученого. Они помогают восстановить процесс его формирования и становления как ученого, помогают понять его внутренний духовный мир и сложность его индивидуальности. Вторую часть настоящего тома составляют личные бумаги В. О. Ключевского, которые подразделены на письма; дневники и дневниковые записи; афоризмы и мысли об истории. Трудно переоценить значение этих материалов для изучения личности В. О. Ключевского. «Он весь был гибок, подвижен, необыкновенно жив. Живость, величайшая живость — вот качество, которое первым в нем бросалось в глаза <...>. Это и есть талант. Ключевский был в высшей степени талантливый человек; не профессор, не ученый, но именно — человек <...>. Богатая и яркая личность» — так, к примеру, писал о великом историке В. Розанов<sup>2</sup>.

Для данного тома отобраны 38 писем молодого Ключевского (за 1861—1870 гг.). Они относятся к тому периоду его жизни, когда он юношей покидал родной город Пензу и ехал в Москву для поступления в университет; к его студенческим годам; ко времени работы над первой книгой «Сказания иностранцев о Московском государстве», за которую он был удостоен золотой медали, ученой степени кандидата и оставлен при университете для подготовки к профессорскому званию; к началу работы над магистерской диссертацией «Древнерусские жития святых как исторический источник». Эти письма носят доверительный характер. Все они были адресованы близким для него людям: родным (12 писем И. В., Е. Ф. и П. И. Европейцевым), друзьям по Пензенской духовной семинарии (18 писем — П. П. Гвоздеву,

<sup>1</sup> Портрет воспроизведен в кн.: Нечкина М. В. Василий Осипович Ключевский. История жизни и творчества. М., 1974.

<sup>2</sup> ЦГАЛИ, ф. 419, оп. 1, д. 182, л. 2а.

2—В. В. Холмовскому, 1—Н. И. Мизеровскому) и пять писем любимой девушке. Эти письма написаны мельчайшим почерком на шести или восьми листах тонкой бумаги, чтобы побольше могло поместиться в конверте (письма более позднего времени становились короче, тон их делался более сдержанным, хотя круг корреспондентов, естественно, значительно расширялся).

Выцветшие от времени листки хранят свежие впечатления провинциального, но очень зоркого юноши, впервые в жизни проехавшего по железной дороге и увидевшего новые города, передают предэкзамениционный трепет абитуриента, радость поступившего первокурсника, раздумья молодого человека о жизни и своей роли в ней, замыслы начинающего ученого. Интересны его наблюдения о жизни Московского университета, о студенческих волнениях, о Москве, о театрах, о прочитанных книгах. Учитывал Ключевский и интересы получателей его писем.

Ключевский знал, что его друзей из пензенского кружка семинаристов больше всего волновали вступительные экзамены (они тоже готовились к поступлению в университет, правда, не в Московский, а в Казанский), интересовали лекции, которые он начал слушать, и вообще подробности его студенческой жизни. Письма Ключевского читались ими иногда с кафедры вслух, переписывались и передавались друг другу. Один из одноклассников Ключевского—А. А. Рождественский даже в 75-летнем возрасте помнил содержание его письма от 3 сентября 1861 г. почти наизусть (его пересказ письма был опубликован в 1914 г.).

Охотно Ключевский писал друзьям о своем новом студенческом житье-бытье (хотя нередко мысленно возвращался в семинарские стены): «Сколько личностей всяких и странных, и смешных, и серьезных узнаешь в самое короткое время!» Ничего не ускользает от острого, наблюдательного и насмешливого взгляда первокурсника. К примеру, он весело, с явным удовольствием описывает Васеньке Холмовскому весь свой день в пятницу с 9 часов утра, когда он появляется в университете, показывает сторожу входной билет, скидывает пальтишко и бежит в аудиторию, внимательно следя за всем, что делается вокруг. Присматривается и прислушивается к профессорам (Ф. И. Буслаеву, Н. А. Сергиевскому, С. М. Соловьеву, С. В. Ешевскому и другим), передает суть их лекций, обращает внимание на их манеру чтения лекций, видит и смешные их привычки. «Вот я вывел тебе некоторых корифеев не только университетской, но и всей русской науки <...> разве не вся Россия знает их, как самых смелых бойцов науки и образования? Равных им можно по пальцам перечесть» (с. 139, 143).

Пишет он и о своих самостоятельных занятиях, о прочитанных книгах: «Попались мне в руки опять мои милые классики, мой Саллюстий, Гораций, Virgiliy—это мои старые знакомые; с другими только что знакомлюсь, как с Геродотом, Гомером, Ксенофонтом. Славное знакомство. А моя История, моя хорошенькая История!—продолжал он.—Я опять не разлучаюсь с ней ни математикой, ни катехизисом. Знаешь ли, какая милень-

кая девочка эта История? Только немножко чересчур серьезна, не всегда поддается влюбленным объятиям. Право, любо живет-ся с таким обществом» (с. 138—139).

В письмах к домашним Ключевский так же подробно описывает события своей студенческой жизни, не забывая описывать и житейские стороны своего бытия: как доехал, как устроился на новом месте, каково самочувствие, какие где цены, что он ел на обед, что купил и тому подобные любопытные подробности, рисующие и ту обстановку нужды, в какой жил и учился будущий историк, и общие живые картины жизни большого города.

Подростку, племяннику Пашеньке, Ключевский более подробно описывает впечатления о достопримечательностях дороги, о муромском лесе («сказочных страхов в нем нет и следа; я, напротив, любовался высотой и стройностью сосен: саженей 10, кажется, до верхушки, и ни одного кривого сучка»), о новых городах (Владимире, Муроме, Москве «с ее бесподобными калачами и сайками, с ее золотыми главами на церквах, с ее Кремлем и пр., и пр., и пр.»); о железной дороге («чудо-юдо морское, да и только», «машина спокойно тащит за собой целую деревню вагонов» и «понеслась так, что трудно было рассмотреть мелькавшие мимо предметы. И при этой быстроте (до 30 верст в час) не тряхнет: колеса катятся по рельсам ровно, без толчков», просто от восторга мороз пробегает по телу) (с. 123—124, 125).

Особое место в переписке Ключевского занимают пять писем к любимой девушке. Имя ее удалось установить. Ею оказалась родная сестра будущей жены ученого Анисьи Михайловны— Анна Михайловна Бородина<sup>1</sup>. Этими письмами Ключевский дорожил: черновики, написанные почерком мельче бисера на больших листах бумаги, он тщательно хранил до конца жизни, маскируя их под названием «Пензенская переписка». «Я должен описывать Вам события моей внешней и внутренней жизни»; «у меня невольно выходит что-то вроде дневника»; «мне хочется написать Вам побольше о чем бы ни было, и я рад всякому подвернувшемуся под руку предмету». И он пишет длинные-длинные послания и даже от скуки остроумно философствует о скуке же, привлекая для аргументации Спинозу, пушкинскую «Сцену из Фауста» («Мне скучно, бес...»), байроновского Чайльд Гарольда, пушкинских Онегина и Алеко, лермонтовских Печорина и Демона. «Какая пропасть скучающих героев!—воскликает он.— Все они — сильные, могучие характеры, по свидетельству их авторов, каждый из [них] готов сказать, как Печорин: «Я чувствую в себе силы необъятные»,—а между тем сидит с своими необъятными силами да зеваает во весь геройский рот» (с. 230).

В настоящем томе Сочинений В. О. Ключевского печатаются почти все его известные дневники и дневниковые записи с 1861

<sup>1</sup> Подробнее см.: *Киреева Р. А.* За строчками примечаний // Вопросы истории. 1970. № 1. С. 214—220.

по 1911 г., за исключением «Дневника заседаний III Археологического съезда в Киеве, 1874 г.»<sup>1</sup>. Эти записи с другой, несколько неожиданной стороны раскрывают характер и внутренний мир ученого. Так, если письма молодого Ключевского отличались бодростью и известной откровенностью, то дневники того же времени характеризуют его как духовно одинокого и даже замкнутого человека. Дневники Ключевского в отличие от обычных представлений о дневниках не отражают внешних событий его личной жизни — в них ничего не сказано о его учебе или работе, о защитах диссертаций, об избрании в академики, о женитьбе, о рождении сына и т. д. Это скорее дневники тяжелых настроений, нелегких дум, мучительных сомнений. Так же как и письма, ранние дневниковые записи существенно отличаются от поздних. Если дневники 1860-х годов почти сплошь заполнены анализом собственных мыслей, чувств и настроений, то более поздние (1890—1900-х гг.) постепенно превращаются как бы в конспект волновавших его современных событий, иногда с краткими комментариями и своими соображениями. Дневник для Ключевского всегда был тайным другом, только с ним он позволял себе делиться своими сокровенными мыслями, которые опасно было поведать, как он писал, даже другу.

Дневники Ключевского, так же как и его письма, интересны не только с точки зрения изучения его личности, но и с точки зрения изучения эпохи. Заслуживают внимания, например, его сведения о студенческих волнениях. Ключевский оправдывал борьбу студентов за улучшение материального положения. Сохранились его подсчеты стипендий, пособий, расходов на общежития, столовые и т. п. В 1894 г. он даже получил замечание от попечителя Московского учебного округа П. А. Капниста за защиту студентов. Но Ключевский старался отгородить студенческое движение от политической борьбы, считая, что главное дело студентов — учеба. Эту линию он проводил и в исторической справке, которая была им составлена как членом комиссии по установлению причин студенческих волнений, и в письмах к министру народного просвещения Н. П. Боголепову (в его архиве сохранилось несколько вариантов). Однако ядовитое замечание Ключевского о том, что студенчество давно стало жалкой тряпкой чужого знамени, свидетельствует о том, что он видел в борьбе студентов не только стремление улучшить свой быт. Он понимал, что студенчество отражало более широкие политические требования, хотя и не сочувствовал ему. Позиция Ключевского в данном вопросе была типичной для либерально настроенной профессуры тех лет.

Чрезвычайно важны записи Ключевского 1900-х годов и особенно 1905 г. Приведем только один пример. Общеизвестно, что «Татьянин день» (12 января) был праздником Московского университета. В 1905 г. в этот день Московский университет

<sup>1</sup> Этот дневник вошел в издание: *Ключевский В. О. Письма. Дневники. Афоризмы и мысли об истории.* М., 1968. С. 249—257.

отмечал свое 150-летие. Этот юбилей совпал с началом первой в России революции. В дни, непосредственно предшествовавшие трагическому 9 января, Ключевский готовился к выступлению. Дошли несколько дневниковых записей тех дней и набросок предполагавшейся речи, в которой он подчеркивал «единодушие между аудиторией и кафедрой, единомыслие между университетом и обществом», хотя и намекал на «тревожные волны» русской жизни, на «усиленную качку», испытанную за последние десятилетия Московским университетом (намек на студенческие волнения)<sup>1</sup>. В дневниковых записях Ключевский откровеннее высказал свои мысли и даже сделал прогнозы на недалекое будущее. «Наши силы,— записал он ранее 7 января,— понадобятся нам не на Моховой только, а на более обширном пространстве. Народ <...> пробуждается, протирает глаза и желает рассмотреть, кто—кто». События 9 января потрясают Ключевского. «Стрельба в Петербурге—это 2-й наш Порт-Артур»,— записал он. 10 января в Москве начинается всеобщая забастовка; 11 января он сделал краткую запись о забастовке типографских рабочих и прибавил фразу: «Ждут присоединения студентов» (с. 350, 334).

На студенческой вечеринке 12 января Ключевский произнес глубоко запавшие в память слушателей пророческие слова о близкой гибели династии Романовых: «Это—последний царь, Алексей царствовать не будет». Этот вывод был неожиданным для присутствовавших, но не для самого Ключевского. Подтверждение тому находим в его разновременных записях, где содержится много самой резкой критики самодержавия. Вот некоторые из них: «Русские цари—не механики при машине, а огородные чучела для хищных птиц»; «Цари со временем переведутся: это мамонты, которые могли жить лишь в допотопное время»; «Русские цари—мертвецы в живой обстановке». Есть у него и рассуждение о прямом вырождении царствующей династии: «Наши цари были полезны, как грозные боги, бесполезны и как огородные чучела. Вырождение авторитета с сыновей Павла. Прежние цари и царицы—дрянь, но скрывались во дворце, предоставляя эпическо-набожной фантазии творить из них кумиров. Павловичи стали популярничать. Но это безопасно только для людей вроде Петра I или Екатерины II. Увидев Павловичей вблизи, народ перестал их считать богами, но не перестал бояться их за жандармов. Образы, пугавшие воображение, стали теперь пугать нервы. С Александра III, с его детей вырождение нравственное сопровождается и физическим. Варяги создали нам первую династию, варяжка испортила последнюю. Она, эта династия, не доживет до своей политической смерти, вымрет раньше, чем перестанет быть нужна, и будет прогнана» (с. 442, 382, 442—443).

Знакомство с личными записями Ключевского позволяет понять и как бы прочитать тот подтекст, внутренний смысл многих данных им характеристик, который иногда за внешне

<sup>1</sup> Ключевский В. О. Неопубликованные произведения. С. 197.

красивой формой скрывает истинное отношение Ключевского. Недаром Лев Николаевич Толстой так метко сказал о Ключевском: «Хитрый—читаешь—будто хвалит, а вникнешь—обругал»<sup>1</sup>.

В дневниках и дневниковых записях Ключевского немало «заготовок» к лекциям и другим работам, размышлений на самые разные темы, но более всего об истории, «ведь только во сне твое сознание становится вне истории и то лишь одно сознание, а твой грезящий аппарат остается в ее сфере, в области культуры <...>». И он полушутя-полусерьезно показывает, что все вокруг (даже привычка держаться на улице правой стороны)—«это продукты культуры, плоды просвещения, истории», и постепенно приводит к заключению: «Чтобы уметь создавать желательные людские отношения, надобно знать, как создавались действительные отношения. Знание прошедшего учит понимать настоящее, а понимать настоящее нужно» (с. 300). Много в этих записях и афоризмов. Поэтому разделение на «Дневники и дневниковые записи» и «Афоризмы и мысли об истории» носит в какой-то степени условный характер.

Лекции, книги, статьи—одним словом, все работы Ключевского привлекают к себе не только глубоко научным подходом автора к избранной теме и богатством фактического материала, но и удивительно сочными характеристиками, в которых чувствуется порой или сдержанная усмешка, или горькая ирония, а то и откровенный сарказм. Ключевский имел привычку записывать создаваемые афоризмы на любом клочке бумаги, на рукописях научных работ, в дневниках, в отдельной тетради и, наконец, в специально для того заведенной записной книжке. Профессор тщательно работал над своими блестящими «экспромтами», отработывая литературную форму своих афоризмов (см. внесенные им исправления, написанные над строкой варианты и уточнения, приведенные в подстрочных примечаниях). Тематика афоризмов Ключевского разнообразна—от веселых житейских наблюдений до глубочайших обобщений. Некоторые из них поражают удивительным провидением. Трудно поверить, что они написаны человеком, не дожившим даже до первой мировой войны (В. О. Ключевский умер в 1911 г.). «Впредь будут воевать не армии, а учебники химии и лаборатории, а армии будут нужны только для того, чтобы было кого убивать по законам химии снарядами лабораторий». «Пролог XX века—пороховой завод. Эпилог—барак Красного Креста» и др. (с. 389, 405).

Много чисто развлекательных высказываний, и ироничных, и поучительных, и парадоксальных. Долго перечислять все темы, затронутые Ключевским в афоризмах, каждый может найти изречение на свой вкус. В заключение обратим внимание лишь на одно мудрое наблюдение историка: «Под здравым смыслом всякий разумеет только свой собственный» (с. 425) и на один

<sup>1</sup> Горький М. Лев Толстой // Собр. соч.: В 30 т. Т. 14. М., 1951. С. 257.

полезный совет: «Простейший способ не нуждаться в деньгах — не получать больше, чем нужно, а проживать меньше, чем можно» (с. 387).

Завершающий том избранных сочинений В. О. Ключевского, как видим, содержит в себе разнообразнейший материал — от глубоких размышлений и исследовательских статей, адресованных широкой читающей публике (а потому написанных сравнительно с его лекциями и монографиями в более доступной, занимательной форме), до откровенных шуток ученого. Думаю, что все прочтут этот том с большим интересом и пользой для себя.

\* \* \*

Василий Осипович Ключевский предполагал собрать свои одновременно опубликованные статьи и выступления и издать их в виде отдельных сборников. С этой целью он начал пересматривать свои печатные работы, вносить в них коррективы и дополнения, но завершить работу не успел. Это сделали за него ученики уже после смерти ученого. Они опубликовали три таких сборника: «Опыты и исследования. Первый сборник статей» (М., 1912); том, носящий публицистический характер, — «Очерки и речи. Второй сборник статей» (М., 1913) и том критических работ историка под названием «Отзывы и ответы. Третий сборник статей» (М., 1914). В 1918 г. сборники были переизданы. Многие (но не все) из напечатанных там статей вошли в Сочинения В. О. Ключевского в 8 томах, где были помещены также и не публиковавшиеся ранее работы ученого.

В настоящем, девятом, томе Сочинений В. О. Ключевского статья «Два воспитания» печатается по второму изданию книги В. О. Ключевского «Очерки и речи. Второй сборник статей» (Пг., 1918); остальные статьи — по их последней публикации в седьмом и восьмом томах Сочинений В. О. Ключевского 1959 г., подготовленной и прокомментированной А. А. Зиминым и В. А. Александровым, под редакцией академика М. Н. Тихомирова.

Личные бумаги историка издаются по книге В. О. Ключевского «Письма. Дневники. Афоризмы и мысли об истории» (М., 1968), где была осуществлена первая попытка собрать воедино эти материалы, прокомментировать и опубликовать их. Составителями книги были Р. А. Киреева и А. А. Зимин, ответственным редактором — академик М. В. Нечкина; комментарии были составлены Р. А. Киреевой при участии А. А. Зимина.

Отдельные письма В. О. Ключевского появились в печати вскоре после его кончины<sup>1</sup>. Большой научный интерес представ-

<sup>1</sup> Ключевский В. О. Из писем (И. В. Европейцеву и Н. И. Мизеровскому) // Голос минувшего. 1913. № 5. С. 226—233; Он же. Письмо к С. Д. Шереметеву // Русский архив. 1913. № 9. С. 342; К пребыванию В. О. Ключевского в Аббас-Тумане в 1892—1895 гг. // У Троицы в Академии. 1814—1914. М., 1914. С. 683—691.

ляло издание в 1924 г. писем Ключевского другу юности П. П. Гвоздеву<sup>1</sup>. К сожалению, не была осуществлена подготовленная В. Н. Бочкаревым публикация студенческих писем Ключевского, предназначавшаяся для журнала «Былое»<sup>2</sup>. Первое сведение в печати об этих письмах принадлежит А. В. Храбровицкому<sup>3</sup>.

В книге В. О. Ключевского «Письма. Дневники. Афоризмы и мысли об истории» было опубликовано 120 писем; из них в настоящем томе воспроизводятся 38 писем молодого Ключевского. Подлинники этих писем хранятся в Государственном архиве Пензенской области, в Отделе рукописей Государственной библиотеки СССР им. В. И. Ленина, в Отделе рукописных фондов Института истории СССР АН СССР; копии, снятые В. Н. Бочкаревым с писем Ключевского, — в Центральном государственном историческом архиве СССР.

Подлинники дневников и афоризмов Ключевского хранятся в Отделе рукописных фондов Института истории СССР АН СССР, в Отделе рукописей Государственной библиотеки СССР им. В. И. Ленина и в Государственной публичной исторической библиотеке РСФСР.

До 1968 г. дневники и дневниковые записи В. О. Ключевского не публиковались. Систематических дневников Ключевский не вел. Дошли до нас только два его более или менее полных дневника за 1867—1877 и за 1901—1910 гг. Но наряду с этим Ключевский время от времени делал заметки и записывал наблюдения различного порядка (личные и об истории). Эти дневниковые записи, встречающиеся как в более целостном виде (за 1861—1866 гг.), так и в виде отдельных датированных заметок, собраны воедино и публикуются в хронологическом порядке. В тех случаях, когда записи охватывают время, отраженное в дневнике, они помещены после окончания его текста. (Так, записи 1902—1911 гг. даны после дневника 1901—1910 гг.)

Некоторые заметки Ключевского об истории близки по своей форме к афоризмам, и помещение их в разделе дневниковых записей условно, оно продиктовано тем, что эти записи датированы автором. Подчас затруднительно разделить текст на записи дневникового характера и на афоризмы. В подобных случаях рукопись в целом публикуется в том разделе, к которому относится большая часть издаваемого текста. В книге воспроизводятся все известные дневники и дневниковые записи Ключевского, кроме «Дневника заседаний III Археологического съезда в Киеве, 1874 г.»<sup>4</sup>.

<sup>1</sup> Письма В. О. Ключевского к П. П. Гвоздеву (1861—1870) / Вступительная статья С. А. Голубцова. М., 1924.

<sup>2</sup> ЦГИА СССР, ф. 1093, оп. 1, д. 37. На обложке журнала «Былое» № 13 (кн. 7 за 1918 г.) сообщалось, что в № 14 будет помещено: «В. О. Ключевский в письмах к школьному товарищу. Со вступительной статьей В. Бочкарева».

<sup>3</sup> Храбровицкий А. В. Письма В. О. Ключевского в Пензу // Сталинское знамя. Пенза, 1945. 28 февр.

<sup>4</sup> См.: Ключевский В. О. Письма. Дневники. Афоризмы и мысли об истории. С. 249—257.

Для последнего раздела книги взято заглавие, данное Ключевским одной из своих тетрадей—«Афоризмы и мысли об истории» (ОР ГБЛ, ф. 131, п. 15, д. 8; см. с. 301—310 и 488).

Еще в 1941 г., когда Н. С. Воскресенская (урожд. Бородина)—племянница и крестница В. О. Ключевского—передала в Государственную историческую библиотеку ряд материалов Ключевского (записную книжку с афоризмами, ранние дневники, лекции, записанные рукой ее матери, коллекцию фотографий), Е. М. Ярославский предполагал издать афоризмы историка в журнале «Историк-марксист»<sup>1</sup>. Это намерение не было осуществлено. Первые издания подборок разрозненных афоризмов В. О. Ключевского появились в 1960-х годах. Г. Н. Сапожникова издала небольшую подборку афоризмов, хранящихся в собрании Института истории СССР АН СССР; ряд афоризмов по материалам Государственной исторической библиотеки подготовила к печати Р. А. Киреева; те же материалы послужили основой публикации М. Ф. Леонтьева<sup>2</sup>.

Афоризмы и мысли Ключевского об истории полностью воспроизводятся по изданию 1968 г. Здесь публикуются тетрадь Ключевского с афоризмами и его записная книжка, а также разрозненные афоризмы, которые встречаются в черновых набросках и других бумагах ученого. Они по возможности систематизированы в хронологическом порядке (с 1889 по 1910 г.). Текст двух записей, помещенных условно в конце «Разрозненных афоризмов» (№ 54, 55), напечатан по машинописной копии, сделанной А. А. Зиминным в 1947 г. с автографов.

Часть афоризмов, как отмечалось, находится в дневниках и дневниковых записях. Иногда текст афоризмов перебивается записями, не имеющими к ним прямого отношения (например, выписки из газет и других источников; личные денежные или другие расчеты; глухие ссылки на литературу; сильно сокращенные записи, которые не удалось расшифровать, и т. п.). Записи такого рода опускаются, а на их месте в публикации ставится отточие в квадратных скобках.

Ряд афоризмов отмечен самим Ключевским значком +. Очевидно, это были наиболее любимые его изречения. Много афоризмов и высказываний перешло позднее в «Курс русской истории» и в другие исследования историка.

Для удобства чтения и в целях единообразия в разделе «Дневников» год дается перед текстом один раз; число и месяц—вперед каждой записи (в подлиннике разноразной: иногда есть полная дата, иногда год вынесен вперед, иногда стоит наверху каждой страницы дневника, иногда дается один раз название месяца, а затем ставится только число). Отсутству-

<sup>1</sup> Леонтьев М. Ф. Изречения и афоризмы В. О. Ключевского // Вопросы истории. 1965. № 7. С. 208.

<sup>2</sup> Сапожникова Г. Н. Афоризмы В. О. Ключевского // Исторический архив. 1961. № 2. С. 224—230; Киреева Р. А. Слово—золото. Афоризмы В. О. Ключевского // Неделя. 1962. № 39. 23—29 сент. Переиздано в кн.: Забытым быть не может. М., 1963; Леонтьев М. Ф. Изречения и афоризмы В. О. Ключевского. С. 208—214.

ющая дата восстанавливается в квадратных скобках, а обоснование приводится в Комментариях.

Подчеркивания и отточия Ключевского воспроизводятся без оговорок. Если Ключевским изменен был порядок слов в предложении, то дается последний вариант без оговорок. Исправления, сделанные автором над строкой, если они согласуются с основным текстом, вставляются в текст также без оговорок. В данном томе использованы комментарии и примечания предыдущих изданий.

Именной указатель к тому составлен В. Г. Зиминой.

Во всех публикациях, на которых в основном базируются настоящие Сочинения В. О. Ключевского, самое деятельное участие принимал Александр Александрович Зимин — исследователь рукописного наследия историка и инициатор издания первого собрания Сочинений. Его принципы публикации источника, анализ текста и конкретные примечания широко использованы во всех девяти томах данного издания.

## СТАТЬИ ПО РУССКОЙ КУЛЬТУРЕ

### ДВА ВОСПИТАНИЯ

Публичная лекция, прочитанная 1 февраля 1893 г. в пользу Московского комитета грамотности. Впервые опубликована в журнале: *Русская мысль*. 1893. № 3. С. 79—99; переиздана в кн.: *В пользу воскресных школ*. М., 1894. С. 34—64; *Ключевский В. О. Очерки и речи*. Второй сборник статей. М., 1913. С. 210—239. Отдельные фрагменты и черновые записки к статье хранятся в ОР ГБЛ, ф. 131, п. 13, д. 13, л. 1—3об. Автограф. Карандаш.

### ВОСПОМИНАНИЯ О Н. И. НОВИКОВЕ И ЕГО ВРЕМЕНИ

Статья была прочитана с сокращениями на заседании Общества любителей российской словесности 13 ноября 1894 г.; впервые опубликована в журнале: *Русская мысль*. 1895. № 1. С. 38—60; переиздана в кн.: *Ключевский В. О. Очерки и речи*. Второй сборник статей. М., 1913. С. 248—282; *Он же*. Курс русской истории. Т. V. М., 1937. С. 424—455; *Он же*. Сочинения: В 8 т. Т. 8. М., 1959. С. 223—252. В архиве В. О. Ключевского сохранились вырезка статьи из журнала, ее черновой автограф, помеченный 17 июня—13 августа, черновые материалы статьи (ОР ГБЛ, ф. 131, п. 13, д. 16), а также беловой автограф статьи (ОРФ ИИ, ф. 4, оп. 1, д. 154).

\* *Масон Иоанн*. Познание самого себя / Пер. с нем. И. Т. Ч. I. М., 1783. С. 12; Ч. II. С. 32.

\* «Первым можно считать Общество любителей русской словесности, составившееся из кадетов сухопутного шляхетного корпуса еще в 1730-х годах, когда там учился Сумароков».

### НЕДОРОСЛЬ ФОНВИЗИНА

(*Опыт исторического объяснения учебной пьесы*)

Статья впервые опубликована в журнале: *Искусство и наука*. 1896. № 1. С. 5—26. Переиздана в кн.: *Ключевский В. О. Очерки и речи*.

Второй сборник статей. М., 1913. С. 283—311; *Он же*. Курс русской истории. Т. V. М., 1937. С. 489—514; *Он же*. Сочинения: В 8 т. Т. 8. М., 1959. С. 263—287. В архиве В. О. Ключевского сохранились наборная рукопись (автограф) и черновые наброски статьи (ОР ГБЛ, ф. 131, п. 13, д. 1, 2).

РЕЧЬ, ПРОИЗНЕСЕННАЯ В ТОРЖЕСТВЕННОМ СОБРАНИИ  
МОСКОВСКОГО УНИВЕРСИТЕТА 6 ИЮНЯ 1880 г.,  
В ДЕНЬ ОТКРЫТИЯ ПАМЯТНИКА ПУШКИНУ

Впервые опубликована в журнале: Русская мысль. 1880. № 6. С. 20—27. Переиздана в кн.: Венок на памятник Пушкину. СПб., 1880. С. 271—278; *Ключевский В. О.* Очерки и речи. Второй сборник статей. М., 1913. С. 57—66; *Он же*. Сочинения: В 8 т. Т. 7. М., 1959. С. 145—152.

ЕВГЕНИЙ ОНЕГИН И ЕГО ПРЕДКИ

Статья читана на заседании Общества любителей российской словесности 1 февраля 1887 г., впервые опубликована в журнале: Русская мысль. 1887. № 2. С. 291—306. Переиздана в кн.: *Ключевский В. О.* Очерки и речи. Второй сборник статей. М., 1913. С. 67—89; *Он же*. Сочинения: В 8 т. Т. 7. М., 1959. С. 403—422.

ПАМЯТИ А. С. ПУШКИНА

Речь, прочитанная В. О. Ключевским на торжественном заседании в Московском университете 26 мая 1899 г. в связи со столетием со дня рождения А. С. Пушкина, опубликована впервые в кн.: *Ключевский В. О.* Сочинения: В 8 т. Т. 8. М., 1959. С. 306—313. Черновой автограф хранится в ОР ГБЛ, ф. 131, п. 15, д. 5. Там же в делах 6 и 7 хранятся наброски статьи и выписки из источников. (Среди набросков есть следующий: «Стихи его—что чуткий термометр. Необычайная гибкость его стиха соответствует столь же необычайной подвижности его настроения. Его бурный «Зимний вечер» поселяет в душе какой-то теплый покой; людскому горю он находил примиряющие выражения, и самая грусть отливается у него в веселые, ободряющие звуки».)

Сохранились три письма редактора «Русской мысли» В. А. Гольцева (май—сентябрь 1899 г.) Ключевскому с просьбой передать его речь о Пушкине для ее публикации (ОР ГБЛ, ф. 131, п. 31, д. 68).

О ВЗГЛЯДЕ ХУДОЖНИКА НА ОБСТАНОВКУ  
И УБОР ИЗОБРАЖАЕМОГО ИМ ЛИЦА

Лекция, прочитанная В. О. Ключевским в Училище живописи, ваяния и зодчества весной 1897 г. Впервые опубликована в кн.: *Ключевский В. О.* Сочинения: В 8 т. Т. 8. С. 295—305. Рукопись хранится в ОРФ ИИ, ф. 4, оп. 1, д. 94.

\* *Над строкой*: «Ларошфуко».

\* *Фраза не окончена*.

\* *Над строкой*: «Борода. Петр I».

\* *Далее приписка*: «Типы и индивидуальные личности».

Сохранились следующие наброски В. О. Ключевского, относящиеся к данной лекции:

февраль 1898 г. (ОРФ ИИ, ф. 4, оп. 1, д. 94, л. 9—11. Автограф. Карандаш):

«Нарядные иконостасы, пышные костюмы, обремененные жемчугом, металлом, камнями, формы отношений, *столы* с неодолимыми кучами яств и *права постельного крыльца*. Подробности. Нищие и арестанты. Впечатление суетности, тщеславия, грубого великолепия, низкопоклонства, раболепия.

[Все это производит] на нас, бюстителей, на расстоянии веков<sup>1</sup>, не живущих мотивами этой жизни, впечатление чего-то тяжелого, громоздкого и неуклюжего; дела страстей и инстинктов, нехристианских чувств и интересов. Готовы дивиться, как это люди, знавшие I главу пророка Исаии, [так поступали]. Но мы не обличаем, а изучаем.

Чтобы понять быт<sup>2</sup> или человека, прежде всего надо быть справедливыми, а для того снисходительно и доброжелательно войти в их чувства и потребности, войти с мыслью, что и мы в этом положении, на той ступени развития жили бы не лучше.

Мы, сторонние и равнодушные наблюдатели склада и формы чуждой нам и отдаленной от нас жизни, расположены судить о ней по впечатлению, какое она на нас производит. Не будет ли справедливее, человечнее и научнее брать во внимание при этом суждения и те чувства и соображения, с какими работали над этой жизнью ее строители, и те впечатления, которые на них производила их *собственная* работа? Чтобы понимать своего собеседника, надобно знать, как сам понимает он слова и жесты, которыми с вами объясняется, а обычай и порядки старой жизни—это язык понятий и интересов, которым старинные люди объяснялись друг с другом и объясняются с нами, их потомками и наблюдателями<sup>3</sup>.

Могучим стимулом, возбуждающим деятельность человека, служит его вера в себя, уверенность, что в нем есть качества, в которых он полагает свою силу и которые оправдывают его житейские стремления и притязания. Ему мало уверить других, что он действительно таков, каким хочет им казаться; еще важнее для него убедить самого себя, что он и другим хочет казаться таким, каков он на самом деле. Я не решаюсь сказать, что более льстит нам, доброе ли мнение других о нас или наше собственное мнение о себе самих. По крайней мере преувеличенное чужое мнение едва ли удовлетворяет, если не поддерживается самомнением. Но и без преувеличения можно ли по одной наружности чужого дела судить о его мотивах? Начиняющий художник... Люди нами изучаемых веков полагали свою силу и задачу между прочим в развитии своего религиозного чувства, набожности и благочиния. Известно, как в древней Руси богатые люди заботились об умножении и украшении своего «божия благословения», своих домовых божниц. Здесь не могло действовать религиозное тщеславие, желание щегольнуть перед другими своим набожным усердием: в моленные не пускали посторонних людей. Русский человек тех веков был уже и настолько христианином, что не мог любоваться своим нарядным богом, как любитесь дикарь-язычник. Но когда он, истрепанный житейской суетой, становился перед своими образами, богато изукрашенными золотом и дорогим камнем, он не жалел о своем богатстве, потраченном на их украшение, и только был доволен собой за то, что оно нашлось у него; строгие лики на иконах,

<sup>1</sup> Слово над зачеркнутым: из дали.

<sup>2</sup> Слово над зачеркнутым: жизнь.

<sup>3</sup> Далее зачеркнуто: Великим стимулом, возбуждающим деятельность человека, служит его взгляд.

глядевшие на него при свете лампад из своих массивных дорогих окладов, напоминали ему о суете земного, и он опять был доволен собой, что потратил свое богатство не на суетные блага, а на пользу душевную, на жертву благодарности святым устроителям нравственного порядка, строгие лики которых так кротко смотрели на него из своих дорогих окладов: скажи ему эти устроители, что надо отдать эти дорогие оклады на пользу бедных,—и он охотно готов был отнести их по назначению. Значит, иконная пышность воспитывала его к самопожертвованию, будила в нем сонное религиозное чувство. Не то же ли делаем и мы с собой, только другим подбором средств, когда, например, обращаемся к искусству и музыке, чтобы привести себя в желаемое настроение, которого не умеем устроить себе без этого искусственного возбуждения? Человек дорожит средствами, пробуждающими в нем чувство своих сил, потому что это чувство заставляет его уважать себя, а уважение к себе воздерживает от поступков, за которые перестанут уважать нас другие».

Ниже впервые публикуется конспект В. О. Ключевского трехчасовых вводных лекций в Училище живописи, ваяния и зодчества 1900 г. (ОРФ ИИ, ф. 4, оп. 1, д. 93, л. 5—6 об. Автограф. Карандаш):

«Училище 1 и 2 часы 22 сентября 1900 [г.]

Разнообразие курсов и единство науки.

Первое дело—уяснить себе, что и как изучать в истории<sup>1</sup>.

Как изучать, [иметь] технику изучения—долг преподавателя. Что изучать—дело вашей любознательности; подскажет интерес вашего ума. Но и здесь руководство нужно<sup>2</sup>.

Интерес всякого изучения вызывается и направляется его связью с наличными нуждами и потребностями изучающего.

В изучении истории можно различать *общий* интерес всех работающих над своим образованием и интерес *специальный*, соответствующий избираемому каждым житейскому делу.

Наперед интерес общий: он поможет уяснить и специальный. Общий вопрос: что и для чего?

Необходимость понимать настоящее. Отношение его к прошедшему: Видимая его неподвижность; повторение одинаковых явлений. Настоящее ежеминутно [становится] прошедшим. Остатки последнего в настоящем: *подноготная*; отношение русского крестьянина к лесу; пуговицы на рукавах сюртука, браслеты.

*Переживание*: продолжающ[еся] действие, обычаи и привычки, чувства, переживание самих себя, потребности и цели, их вызывавшие. Болезненные конвульсии, оставшиеся по миновании болезни. Необходимость знать их происхождение и, след[овательно], отношение к ним. *Понедельник*—тяжелый день. Праздничные *визиты*. *Рукопожатие*. Поклон при встрече.

Насущное, не пережитое содержание настоящего, нашей текущей жизни: удобства, опыты, знания, понятия, даже болезни и пр. Способ их наследственной передачи, как язык родной.

*Доживание*. Прошедшее не проходит.

История—воздух. Прошедшее, как тень над нами.

Вывод: Итак, прошедшее бесследно<sup>3</sup> не проходит; ушли только люди, его делавшие, но оно все жизненно само же перешло в нас, как

<sup>1</sup> Далее зачеркнуто: Дуги гнуть с терпеньем и с умением.

<sup>2</sup> Позднее абзац был слегка зачеркнут Ключевским.

<sup>3</sup> Слово написано над зачеркнутым: никогда.

наследственное имущество, и проводит нас в могилу, оставаясь воспитателем наших преемников.

Мы в большей части своего содержания и существа—его дело и только в малой доле—свое собственное дело. Следовательно, история отечества—наша биография.

Ответ на вопрос<sup>1</sup> об изучении прошедшего: что осталось в настоящем, какого качества остаток.

Предмет истории—*исторический процесс* (определение).

Что отлагается в этом процессе: общая картина успехов человеческого общежития<sup>2</sup>.

Училище

3-й час

29 сентября 1900 г.

У художника не особое понимание историческое, а только особенное внимание к некоторым явлениям жизни.

Мышление образами или звуками. Психологическая характеристика Грозного и картина В[аснецова].

Формы художественного выражения создает сама жизнь: жесты, позы, костюмы, поговорки. Художник только наблюдает и подслушивает, потом комбинирует согласно со своей идеей, трактуя известный сюжет. Китайские картины.

Мы окружены памятниками или проявлениями искусства, художественными явлениями; их дает и жизнь, и природа: кислород и свет в воздухе. Их нравственное, культурное значение—возбуждать, поддерживать на должном уровне дух и деятельность.

Но для этого [надо] понимать житейские мотивы, коими внушены эти художественные формы, [они] выражены в памятнике, выражаются в художественном жесте или позе, влагаются людьми в явления природы. Памятник Пушкину.

Граница<sup>3</sup> между историей искусства и общим историческим изучением. История форм и приемов художественного творчества по его памятникам—и история идей, чувств и стремлений, нашедших художественное выражение в этих формах и приемах. Магомет II перед св. Софией.

Двойная специальная задача исторического изучения для художника: 1) понимать связь художественной формы с<sup>4</sup> житейским содержанием, в ней выражающимся; 2) чтобы выдержать эту связь в художественном исполнении, надо наблюдать художественные формы, образы, очертания или созвучия, в каких сама жизнь выражает свое духовное содержание. Жизнь—художница.

Результат, достигаемый разрешением обеих задач: сила, т. е. выразительность, художественного изображения в значительной мере улавливается житейским, т. е. историческим, пониманием изображаемого [...]<sup>5</sup>.

Русская церковь для образованного общества—одна из сект русского старообрядства.

Русские врут, но не лгут».

<sup>1</sup> Над строкой: прошедшее не проходит.

<sup>2</sup> Далее четверть листа оставлена чистой.

<sup>3</sup> Над строкой: связь и различие.

<sup>4</sup> Над строкой: дух[овным].

<sup>5</sup> Далее половина листа оставлена чистой.

## ПИСЬМА МОЛОДОГО В. О. КЛЮЧЕВСКОГО

1861 г.

## 1. И. В. и Е. Ф. ЕВРОПЕЙЦЕВЫМ

Впервые опубликовано в кн.: *Ключевский В. О. Письма. Дневники. Афоризмы и мысли об истории*. М., 1968. С. 13—17. Оригинал хранится в ГАПО, ф. 285, оп. 1, д. 2. Автограф. Чернила. Последний лист по сгибу разорван.

\* *Иван Васильевич и Евдокия Федоровна Европейцевы*—близкие родственники В. О. Ключевского, жившие в Пензе. Они оказывали постоянную материальную помощь семье Ключевских. Благодаря их денежной поддержке В. О. Ключевский смог переехать в Москву (Василий Осипович Ключевский. Материалы для его биографии. Собрал С. А. Белокуров. М., 1914 (далее: Материалы). С. 415—416; *Артоболевский И. А.* К биографии В. О. Ключевского (Ключевский до университета) // *Голос минувшего*. 1913. № 5. С. 172). И. В. Европейцев (1823—1867)—священник Боголюбской церкви, состоял в постоянной переписке с Ключевским (см. письма 1, 3, 8, 12, 19, 21, 22, 28, 31). Его жена Е. Ф. Европейцева (урожденная Мошкова, 1826—1866) была родной сестрой матери Ключевского—Анны Федоровны (1821—1866).

\* *Путь свой я кончил...*—Летом 1861 г. Ключевский переехал из Пензы в Москву и поступил в Московский университет. В Пензу он больше не возвращался.

\* *Александр Маршев*—сын пензенского фабриканта, в доме которого Ключевский жил зиму 1860/61 г. Сестра Ключевского—Елизавета Осиповна Вирганская позднее вспоминала о брате: «А когда он задумал в университет, тогда за год до своего поступления у фабриканта Маршева готовил двоих сыновей его в университет» (Материалы. С. 415). В 1861 г. Ключевский вместе с Александром Маршевым держал экзамен в Московский университет. Ключевский был принят, а оба сына Маршева—Александр и Иван—поступили только через год.

\* *Покровский*.—В Пензенской духовной семинарии учились два брата Покровских—Василий Яковлевич и Степан Яковлевич. Оба были исключены из семинарии. С одним из них Ключевский жил в Москве на одной квартире.

\* *Тихон Алексеевич Горизонтов*—в 1858—1861 гг. преподаватель физики, математики, латинского и еврейского языков в Пензенской духовной семинарии. Был близок к кружку семинарских друзей Ключевского. Как видно из текста этого письма, Горизонтов ехал вместе с Ключевским в Москву. Затем он побывал в Петербурге, где встретился с А. П. Щаповым (см. письма 8 и 9). При переезде из Петербурга в Нижний Новгород, куда он был переведен в 1861 г., Горизонтов заехал в Москву и заходил к Ключевскому и Покровскому (см. письмо 9). Впоследствии он стал протоиереем при Варшавском кафедральном соборе.

\* *Михаил Митрофанович Попов*—в 1858—1864 гг. преподаватель церковно-библейской истории и греческого языка в Пензенской духовной семинарии.

\* *Евфимий Петрович Колпиков*—протоиерей Христо-Рождественской церкви в г. Саранске, дядя Ключевского, был женат на Марии Федоровне Мошковой—старшей сестре матери Ключевского.

\* *Степан Флоринский*—старший товарищ Ключевского по Пензенской духовной семинарии, поступивший в Киевскую духовную академию.

\* *Сашенька*—Александра Евфимовна—старшая дочь Е. П. и М. Ф. Колпиковых, друг детства и двоюродная сестра Ключевского. Она часто гостила в Пензе у Европейцевых.

\* *Дмитрий Павлович*—муж А. Е. Колпиковой.

\* *С своим прошеньем я-таки посетилса...*—Ключевский из-за болезни не смог держать в назначенный срок (в мае) вступительные экзамены в Московский университет. По приезде в Москву он хлопотал о разрешении допустить его к августовским экзаменам, которое было им получено. Прошение Ключевского воспроизведено: *Материалы*. С. 376—377.

\* *Лиза*—Елизавета Осиповна—родная сестра Ключевского, в замужестве Вирганская.

\* *Дяденьки*.—Ключевский имеет в виду родных братьев матери—Александра Федоровича и Николая Федоровича Мошковых.

\* *Бабенька*—Анастасия Алексеевна Мошкова, мать Анны Федоровны Ключевской.

\* *Варлаам*—пензенский архиерей, который, по сведениям С. А. Голубцова, при посещении Пензенской духовной семинарии часто устраивал диспуты между Ключевским и его другом П. П. Гвоздевым, чтобы поставить в пример преподавателям логику рассуждений из лучших учеников. Варлаам вначале прелятствовал увольнению Ключевского из семинарии. Подробнее о выходе Ключевского из семинарии и о роли в этом Варлаама см.: *Материалы*. С. 432—433; *Пензенские епархиальные ведомости*. 1901. № 19. С. 636—639; 1908. № 22. С. 938—940.

\* *Пашенька, Мишенька, Катенька*—дети Европейцевых. С Павлом Ивановичем Ключевский вел отдельную переписку (см. письма 2, 29, 30).

## 2. П. И. ЕВРОПЕЙЦЕВУ

Впервые опубликовано в кн.: *Ключевский В. О. Письма. Дневники. Афоризмы и мысли об истории*. С. 18—20. Оригинал хранится в ГАПО, ф. 285, оп. 1, д. 6. Автограф. Чернила. Датируется на основании упоминания в тексте: «...три дня живу в Москве».

\* *Павел Иванович Европейцев* (род. 1846 г.), он же Поль—старший сын И. В. и Е. Ф. Европейцевых.

\* *Поповка*.—Имеется в виду Попова гора в Пензе.

## 3. И. В. и Е. Ф. ЕВРОПЕЙЦЕВЫМ

Впервые опубликовано в кн.: *Ключевский В. О. Письма. Дневники. Афоризмы и мысли об истории*. С. 20—22. Оригинал хранится в ГАПО, ф. 285, оп. 1, д. 3. Автограф. Чернила. Один лист по сгибу надорван.

\* *Юлия Пастрана*—танцовщица, родом из Мексики, страдала гипертрихозом, ее лицо, по выражению Ч. Дарвина, имело «обезьяний вид».

\* *Машенька*—по-видимому, внебрачная дочь А. Ф. Ключевской.

## 4. П. П. ГВОЗДЕВУ

Впервые опубликовано в кн.: *Письма В. О. Ключевского к П. П. Гвоздеву. 1861—1870 (далее: Письма к Гвоздеву)*. М., 1924. С. 41—49; переиздано по подлиннику в кн.: *Ключевский В. О. Письма. Дневники. Афоризмы и мысли об истории*. С. 22—30. Оригинал хранится в ОР ГБЛ, ф. 131, п. 24а, д. 3. Автограф. Чернила. Это письмо было

прочитано товарищами Ключевского по семинарии с кафедры вслух и произвело на всех большое впечатление. Бывший одноклассник Ключевского А. Рождественский даже в 75 лет помнил содержание письма близко к тексту (Материалы. С. 430—431).

\* *Порфирий Петрович Гвоздев* (1840—1901)—с детских лет близкий друг Ключевского. Они вместе учились в Пензенском духовном училище, затем в духовной семинарии. В 1862 г. П. П. Гвоздев поступил в Казанскую духовную академию, из которой, по сведениям С. А. Голубцова, ушел через два года, так как принимал участие в студенческих волнениях. Гвоздев перешел на историко-филологический факультет Казанского университета, который окончил в 1869 г., был оставлен при кафедре римской словесности, в 1871—1883 гг. был доцентом этой кафедры; в начале 80-х годов занимал ту же кафедру и в Казанской духовной академии. В 1889 г. Гвоздев переехал в Москву, где преподавал в 3-й мужской гимназии. Прожил в Москве один год, затем переехал в Нижний Новгород, а с 1892 г.—в г. Белый. В 1900 г. он вышел в отставку и переехал в Москву.

С. А. Голубцов сообщает, что Гвоздев сам отобрал наиболее важные с его точки зрения письма Ключевского, переданные впоследствии в Румянцевский музей (ныне Государственная библиотека СССР им. В. И. Ленина). Остальная часть переписки не дошла до музея. Отдельные письма есть в фондах Ключевского в ОРФ ИИ, Архиве Академии наук СССР. Письма более интимного характера были уничтожены родственниками Гвоздева. Так, например, не сохранилось письмо Ключевского от 16 августа 1869 г., о котором упоминал Гвоздев в своем ответе от 8 сентября того же года (ОР ГБЛ, ф. 131, п. 31, д. 60).

\* *«Вечный Жид»*—прозвище Степана Андреевича Парадизова—одноклассника Ключевского по Пензенской духовной семинарии. Окончил Казанский университет, работал судебным следователем в Казани, затем адвокатом в Нижнем Новгороде.

\* *Константин Федорович Смирнов* (он же «Констехтер») — преподаватель всеобщей гражданской истории в Пензенской духовной семинарии.

\* *Всесвятская роща*—роща в юго-восточной части города за рекой Пензой.

\* *Федор Иванович Буслаев*—профессор Московского университета, историк литературы, оказывал влияние на формирование взглядов молодого Ключевского (Зимин А. А. Формирование исторических взглядов В. О. Ключевского в 60-е годы XIX в. // Исторические записки. 1961. Т. 69). В конце 60-х годов Ключевский, разочаровавшись в Буслаеве, постепенно отходит от него (см. письмо 33) и начинает заниматься русской историей под руководством С. М. Соловьева. О Буслаеве см.: *Ключевский В. О. Соч.: В 9 т. Т. VII. М., 1989. С. 321, 345—351, 483—484.* В архиве Ключевского есть конспект 1862/63 учебного года курса Буслаева по древней русской литературе (ОРФ ИИ, ф. 4, оп. 1, д. 120); об оценке Ключевским Буслаева как ученого см.: *Киреева Р. А. В. О. Ключевский как историк русской исторической науки. М., 1966. С. 213—214.*

\* *Степан Васильевич Ешевский*—профессор всеобщей истории Казанского, затем Московского университетов. О нем см.: *Ключевский В. О. Соч. Т. VII. М., 1989. С. 321—322;* изложение речи Ключевского 1901 г. дано: *Исторический вестник. 1901. № 12. С. 1276.*

\* *«Христианское чтение»*—журнал, издававшийся С.-Петербургской духовной академией в 1821—1917 гг.

\* *«Отчизне кубок сей, друзья!»*—цитата из стихотворения В. А. Жуковского «Певед во стане русских воинов».

\* *Ефим Васильевич Разумов*—одноклассник Ключевского по Пен-

зенской духовной семинарии; окончил Казанский университет; с конца 1870-х годов работал товарищем прокурора Вятского окружного суда.

\* *...ректор, инспектор*—ректором Пензенской духовной семинарии в 1843—1862 гг. был Евпсихий (Гиренко), инспектором с 1858 г.—Яков Петрович Бурлуцкий.

\* *Степан Васильевич Масловский*—преподаватель психологии, патологии и латинского языка в Пензенской духовной семинарии, впоследствии кафедральный протоиерей. Был любимым преподавателем в семинарии. Одним из первых заметил одаренность Ключевского и всегда поощрял его.

\* *...если бросали камня, так уж непременно дикари ужасного размера.*—Намек на инцидент, происшедший в июне 1860 г., когда в окна дома инспектора семинарии Я. П. Бурлуцкого были брошены два камня. Для расследования этого дела была создана специальная комиссия, которая привлекла к следствию семинаристов, в том числе и Ключевского (Материалы. С. 316—373).

\* *...описать локомотива и всего поезда невозможно...*—На основании этих слов издатель писем Ключевского к Гвоздеву С. А. Голубцов считал ошибочным свидетельство Е. О. Вирганской о том, что Ключевский уехал из Пензы на лошадях. В действительности же он ехал от Пензы до Владимира на лошадях, а от Владимира до Москвы—по железной дороге.

\* *«На горе за рекой хуторочек стои-и-тт».*—В стихотворении А. В. Кольцова «Хуторок» несколько иначе:

«За рекой, на горе,  
Лес зеленый шумит;  
Под горой за рекой  
Хуторочек стоит».

\* *С 7-го числа начались экзамены...*—В письме И. В. и Е. Ф. Европейцевым от 19 августа 1861 г. (см. письмо 3) Ключевский сообщает о начале экзаменов в Московский университет 8 августа.

\* *Я читал статью, кажется «Современника», о вновь изданных письмах Ломоносова... когда он был в Марбурге.*—Видимо, речь идет о статье М. И. Сухомлинова «Ломоносов—студент Марбургского университета» (Русский вестник. 1861. Т. XXXI. № 1. С. 127—165; упоминание о ней см.: Чернышевский Н. Г. Полн. собр. соч. Т. VII. М., 1950. С. 709).

\* *«Петриада».*—Имеется в виду произведение М. В. Ломоносова «Слово похвальное блаженным памяти государю императору Петру Великому, говоренное апреля 26 дня 1755 года...»

\* *...по трем книгам Вебера, я взял Берте...*—Речь идет о работе: Вебер Г. Курс всеобщей истории. Т. 1—4. М., 1859—1861 (очевидно, четвертая книга вышла после сентября 1861 г.) и об учебнике: Берте Н. Краткая всеобщая история в простых рассказах для детей и обучающихся в высших учебных заведениях и частных пансионах. СПб., 1858; 2 изд. 1860.

\* *Павел Михайлович Леонтьев.*—Под руководством филолога П. М. Леонтьева Ключевский занимался в университетские годы. Леонтьев хотел оставить его при своей кафедре, уговаривая Ключевского посвятить себя латинской словесности (Богословский М. М. Памяти В. О. Ключевского. М., 1912. С. 7; Яковлев А. И. В. О. Ключевский (1841—1911) // Записки Научно-исследовательского института при Совете Министров Мордовской АССР. № 6. Саранск, 1946. С. 102). Возможно, под руководством Леонтьева в 1863 г. Ключевский написал большой реферат «Сочинение Дюрана, епископа меранского, о католическом богослужении» (ОРФ ИИ, ф. 4, оп. 1, д. 121. Упоминание об этом см. в

письме 22). См. также позднейшие воспоминания Ключевского о П. М. Леонтьеве (Соч. Т. VII. М., 1989. С. 321).

\* *Владимир Васильевич Прилуцкий*—одноклассник Ключевского по Пензенской духовной семинарии, по окончании которой в 1862 г. был назначен учителем в Нижне-Ломовское духовное училище. Через два года он поступил священником в село Новая Толковка Нижне-Ломовского уезда. С 1868 г. до своей смерти в 1919 г. служил священником в уездном городе Мокшан.

\* *Андрей Никитич Сатурнов*—одноклассник Ключевского по Пензенской духовной семинарии, близкий друг Гвоздева. Окончил Казанский университет, вернулся в Пензу и преподавал древние языки в мужской гимназии; затем работал в Уральске, Самаре, Екатеринбурге, Оренбурге, где был директором мужской гимназии. С 1906 г.—директор Костромского дворянского пансиона-приюта.

## 5. В. В. ХОЛМОВСКОМУ

Впервые опубликовано в кн.: *Ключевский В. О. Письма. Дневники. Афоризмы и мысли об истории*. С. 30—35. Письмо в копии В. Н. Бочкарева хранится в ЦГИА СССР, ф. 1093, оп. 1, д. 37, л. 23—25.

\* *Василий Васильевич Холмовский* (род. 1839 г.)—одноклассник Ключевского по Пензенской духовной семинарии; позднее мировой судья в Сухуми.

\* *...наша Поповка*—улица в Пензе, на которой жили Ключевский и Холмовский, ныне улица Ключевского.

\* *Ордалион Васильевич, Петр Васильевич*—братья В. В. Холмовского.

\* *Авдотья Яковлевна*—жена Петра Васильевича Холмовского.

\* *«Век»*—еженедельный общественно-политический и литературный журнал, выходивший в 1861—1862 гг. в Петербурге.

\* *...толпы мундированных и немундированных студьянов и нестудьянов.*—В 1861 г. была отменена обязательная форма, но было разрешено донашивать ее в течение года (*Жирничников А. И.* Первые дни в университете // *Воспоминания о студенческой жизни*. М., 1899. С. 136).

\* *«Православное обозрение»*—ежемесячный журнал, издававшийся в Москве в 1860—1891 гг. До 1869 г. редактором его был Н. А. Сергиевский.

\* *...12 толстенных томов...*—Речь идет о труде Джорджа Грота «История Греции» (*History of Greece*. V. 1—12. London, 1846—1856).

\* *Я составляю их особенно усердно.*—В архиве Ключевского сохранились конспекты лекций Ешевского по истории Греции, прочитанных во втором полугодии 1862 г. (ОРФ ИИ, ф. 4, оп. 1, д. 119). Сокурсник Ключевского П. Погожев писал: «У меня сохранились лекции проф. Ешевского по истории средних веков, писанные литографическими чернилами рукою самого Ключевского» (*Погожев П.* Первая работа Ключевского // *Новое время*. 1911. 17 мая).

\* *Еще одна лекция Герца...*—В архиве Ключевского сохранились конспекты лекций К. Герца от 6 и 9 марта 1862 г. «Религия египтян» и без даты «Древний храм» (ГПИБ, ф. Ключевского).

\* *...я описал его в письме к Гвоздеву...*—см. письмо 4.

## 6. П. П. ГВОЗДЕВУ

Впервые опубликовано в кн.: *Письма к Гвоздеву*. С. 50—55; переиздано по подлиннику в кн.: *Ключевский В. О. Письма. Дневники*.

Афоризмы и мысли об истории. С. 35—39. Оригинал хранится в ОР ГБЛ, ф. 131, п. 24а, д. 3. Автограф. Чернила.

\* *Антоний*.—Имеется в виду Антоний (Говоров), преподаватель Пензенской духовной семинарии.

\* *...магистерский диспут Н. Попова*.—Речь идет о диссертации Н. А. Попова «В. Н. Татищев и его время» (М., 1861); о диспуте см.: Отечественные записки. 1861. Окт. Отд. 3. С. 69—71.

\* *...где и как я жил в последнюю зиму*.—Зиму 1860/61 г. Ключевский жил в доме Маршева (см. примечания к письму 1).

## 7. П. П. ГВОЗДЕВУ

Впервые опубликовано в кн.: Письма к Гвоздеву. С. 55—63; переиздано по подлиннику в кн.: Ключевский В. О. Письма. Дневники. Афоризмы и мысли об истории. С. 39—46. Оригинал хранится в ОР ГБЛ, ф. 131, п. 24а, д. 3. Автограф. Чернила.

\* *...о той катастрофе, которую теперь переживает наш университет*.—Ключевский пишет о студенческих волнениях, вспыхнувших в Московском, затем Казанском и Харьковском университетах в связи с закрытием Петербургского университета. Подробнее об этом см.: Ткаченко П. С. Московское студенчество в общественно-политической жизни России второй половины XIX века. М., 1958. С. 107—116.

\* *Сергей Михайлович Соловьев (1820—1879)*—историк, профессор Московского университета, учитель Ключевского. О Соловьеве Ключевский неоднократно писал (Ключевский В. О. Соч. Т. VII. М., 1989. С. 303—319, 320—328, 329—344). Об оценке Ключевским Соловьева как историка см.: Киреева Р. А. В. О. Ключевский как историк русской исторической науки. С. 201—210.

\* *Борис Николаевич Чичерин*—профессор Московского университета, историк, правовед. Черты так называемой государственной школы, к которой принадлежал и Б. Н. Чичерин, позднее сказывались на творчестве Ключевского. Памяти Чичерина посвящена статья Ключевского «Состав представительства на земских соборах древней Руси» (Соч. Т. 8. С. 5—112).

\* *...в своем «Обзрении»*.—Имеется в виду журнал «Православное обозрение» (см. примечание к письму 5).

## 8. И. В. ЕВРОПЕЙЦЕВУ

Выдержка из письма впервые опубликована в публикации: Из писем В. О. Ключевского // Голос минувшего. 1913. № 5. С. 226—229; переиздана в кн.: Ключевский В. О. Письма. Дневники. Афоризмы и мысли об истории. С. 47—50.

\* *...попечитель*.—В 1859—1863 гг. попечителем Московского учебного округа, а следовательно, и Московского университета был генерал Н. В. Исаков.

\* *...обер-полицмейстер*.—В 1848—1869 гг. московским обер-полицмейстером был И. И. Сечинский.

\* *Новгород*.—Имеется в виду Нижний Новгород (см. письмо 9).

\* *Афанасий Прокопьевич Шапов*—профессор Казанского университета, историк. Впоследствии Ключевский написал рецензию «Церковь по отношению к умственному развитию древней Руси. По поводу книги А. Шапова: «Социально-педагогические условия умственного развития русского народа» (Православное обозрение. 1870. № 2. С. 307—337).

## 9. П. П. ГВОЗДЕВУ

Впервые опубликовано в кн.: Письма к Гвоздеву. С. 63—73; переиздано по подлиннику в кн.: *Ключевский В. О. Письма. Дневники. Афоризмы и мысли об истории.* С. 50—58. Оригинал хранится в ОР ГБЛ, ф. 131, п. 24а, д. 3. Автограф. Чернила. Синяя бумага, листы по сгибу разорваны.

\* *Леонтий Иванович Розанов*—с 1859 по 1861 г. преподаватель словесности в Пензенской духовной семинарии; был близок к кружку семинарских друзей Ключевского.

\* *Яшенька*.—Имеется в виду инспектор Пензенской духовной семинарии Яков Петрович Бурлуцкий.

\* *...в крепости отератительно сидеть*.—А. П. Шапов 16 апреля 1861 г. произнес речь на панихиде по жертвам восстания в селе Бездне, которая вылилась в политическую демонстрацию. В связи с этим Шапов был арестован в Нижнем Новгороде и отправлен в Петербург в III отделение.

\* *Абрам*.—Имеется в виду Абрам Павлович Смирнов (отец Авраам), преподаватель патристики, психологии и латинского языка в Пензенской духовной семинарии, прозванный Ключевским «кошачьим психологом». У них были частые столкновения.

\* *Федор Александрович Гиляров*—товарищ Ключевского по Московскому университету, впоследствии педагог-словесник, составитель грамматик, хрестоматий и других пособий для школы по родному языку.

\* *...по песням древней Эдды*.—Эдда Старшая (или просто Эдда), древнескандинавский сборник мифологических и героических песен IX—XII вв.

\* *...буй тура Всеволода Олеговича с его плачущей Ярославной*.—Описка Ключевского; Всеволод Святославич, князь трубчевский, был родным братом князя Игоря, жену которого звали Ярославна.

\* *Можаровка*—село Городищенского уезда Пензенской губернии, в котором прошли детские годы Ключевского (1846—1850 гг.).

\* *...ссылаюсь на статью «Около мужичков» в сент[ябрьской] кн[ижке] «От[ечественных] зап[исок]» 1861 г.*—Речь идет о статье П. И. Небольсина.

\* *«Выйду ль я на реченьку...»*—Ключевский цитирует песню Ю. А. Нелединского-Мелецкого, музыка которой приписывается Себастьяну Жоржу или Д. Н. Кашину.

\* *«Ну, тащися, свекла!»*—Ключевский цитирует «Песню пахаря» А. В. Кольцова.

\* *«Сяду я за стол—да подумаю: как на свете жить одинокому?»*—Ключевский цитирует «Песню селянина» А. В. Кольцова.

\* *...из «Аск[ольдовой] могилы»—оперы Глинки*.—Описка Ключевского; он цитирует «Хор девушек» из 3-го действия оперы А. Н. Верстовского «Аскольдова могила» на либретто М. Н. Загоскина.

\* *Некрасов. «Парадный подъезд»*.—Стихотворение Н. А. Некрасова «Размышления у парадного подъезда» было написано в 1858 г. и несколько лет ходило по рукам в многочисленных списках. Без подписи автора оно было опубликовано в 1860 г. А. И. Герценом в «Колоколе» (Л. 61. С. 505—506) под названием «У парадного крыльца». Лишь в 1863 г. оно было опубликовано в 3-й части «Стихотворений» Некрасова.

## 10. В. В. ХОЛМОВСКОМУ

Впервые опубликовано в кн.: *Ключевский В. О. Письма. Дневники. Афоризмы и мысли об истории.* С. 59—63. Письмо в копии В. Н. Бочка-

рева хранится в ЦГИА СССР, ф. 1093, оп. 1, д. 37, л. 37—49. Датируется по содержанию, в частности по упоминанию студенческих волнений 1861 г.

\* ...инспектор.—В 1861 г. инспектором в Московском университете был М. А. Малиновский.

\* «Русская свадьба».—Речь идет о пьесе П. П. Сухонина «Русская свадьба в исходе XVI века. Драматическое представление из частной жизни наших предков с хорами, свадебными песнями и плясками», музыка к спектаклю написана О. И. Дютшом.

\* ...лектор немецкого языка.—В то время в Московском университете немецкий язык преподавал доктор философии Юлий Делькель.

\* «иде же двое соберутся во имя мое».—Евангелие от Матфея, гл. XVIII, зач. XX.

## 11. П. П. ГВОЗДЕВУ

Впервые опубликовано в кн.: Письма к Гвоздеву. С. 73—77; переиздано по подлиннику в кн.: *Ключевский В. О. Письма. Дневники. Афоризмы и мысли об истории.* С. 63—67. Оригинал хранится в ОР ГБЛ, ф. 131, п. 24а, д. 3. Автограф. Дата, обращение и первая фраза написаны коричневыми чернилами, остальное письмо—чернилами.

\* ...на днях умер в Москве Добролюбов...—Описка Ключевского; Н. А. Добролюбов умер 17 ноября 1861 г. в Петербурге. Ключевский благожелательно относился к журналу «Современник» и к его издателям. См., например, его отзыв о журнале и о Н. Г. Чернышевском в письмах 17 и 30. Среди бумаг Ключевского той поры находится и «Манифест» утописта-социалиста Роберта Оуэна и выписки из статьи об Оуэне Н. А. Добролюбова (ОРФ ИИ, ф. 4, оп. 1, д. 125). О влиянии передовой журналистики 60-х годов на молодого Ключевского см.: *Нечкина М. В. В. О. Ключевский. История жизни и творчества.* М., 1974. С. 69, 70, 98—106, 126—128; *Зимин А. А. Формирование исторических взглядов В. О. Ключевского...* С. 182—183.

\* ...«Темное царство» в «Современнике» года за два назад.—Статья Н. А. Добролюбова «Темное царство» впервые была опубликована в журн.: *Современник.* 1859. № 7 и 9.

\* ...вот его слова.—Далее Ключевский цитирует Л. Фейербаха «Лекции о сущности религии» (двадцатую).

\* Хочется прежде проверить их критически...—Ниже в этом же письме Ключевский говорит о необходимости научной проверки основ православия: —«Проверить весь исторический ход христианства, проверить беспристрастно». В дальнейшем Ключевский неоднократно возвращался к этому сюжету.

\* ...как говорит Гейне.—Далее Ключевский цитирует Г. Гейне «Путевые картины». Ч. II. «Северное море».

## 12. И. В. и Е. Ф. ЕВРОПЕЙЦЕВЫМ

Впервые опубликовано в кн.: *Ключевский В. О. Письма. Дневники. Афоризмы и мысли об истории.* С. 67—70. Оригинал хранится в ГАПО, ф. 285, оп. 1, д. 4. Автограф. Чернила. Синяя бумага, листы по сгибу надорваны.

\* ...купить... Иловайского.—Ключевский имеет в виду кн.: *Иловайский Д. И. История Рязанского княжества.* М., 1858.

\* Иван Яковлевич Покровский—брат Покровского, с которым Ключевский жил в Москве на одной квартире. (И. Я. Покровский состоял на гражданской службе.) Материалы. С. 319.

## 13. П. П. ГВОЗДЕВУ

Впервые опубликовано в кн.: Письма к Гвоздеву. С. 77—78; переиздано по подлиннику в кн.: *Ключевский В. О.* Письма. Дневники. Афоризмы и мысли об истории. С. 70. Датируется по содержанию, в частности по инциденту с Б. Н. Чичериным. Впервые опубликовано в книге «Письма к Гвоздеву».

\* ...письмо о Фейербахе— см. письмо 11.

\* «Искра»— сатирический журнал революционно-демократического направления, основанный в 1859 г. в Петербурге поэтом В. С. Курочкиным и художником-карикатуристом Н. А. Степановым; в его работе участвовали Н. А. Добролюбов, А. И. Герцен, М. Е. Салтыков-Щедрин, Н. А. Некрасов и др. Журнал постоянно преследовался правительством и в 1873 г. был закрыт «за неуместные и превратные суждения о правительственной власти». С. А. Голубцов пишет, что на страницах «Искры» за 1862 и 1863 гг. ему не удалось найти отражения, в какой бы то ни было форме, «Педагогических сцен».

\* *Сегодня на юр[идическом] фак[ультете] освистали Чичерина.*— Б. Н. Чичерин 28 октября 1861 г. читал вступительную лекцию о значении государственного права. Он призвал студентов готовиться к будущему поприщу, предостерегая их от революционно-демократических идей; хвалил царское правительство за освобождение крестьян; отвергал все критические замечания в адрес царского правительства. Его лекция получила «высочайшее» одобрение— Александр II написал на тексте: «Много весьма делного и хорошего». Министр народного просвещения граф Е. В. Пютятин запретил публиковать критические отзывы на лекцию Чичерина. Студенты, возмущенные лекцией Чичерина и ее поддержкой реакционными кругами, освистали его во время чтения очередной лекции 9 декабря 1861 г.

1862 г.

## 14. П. П. ГВОЗДЕВУ

Впервые опубликовано в кн.: Письма к Гвоздеву. С. 78—87; переиздано по подлиннику в кн.: *Ключевский В. О.* Письма. Дневники. Афоризмы и мысли об истории. С. 71—79. Оригинал хранится в ОР ГБЛ, ф. 131, п. 24а, д. 3. Автограф. Чернила. Серая бумага, второй лист надорван, третий и четвертый листы по сгибу разорваны.

\* *Аркадий Алексеевич Альфонский*— хирург, был ректором Московского университета с 1842 по 1848 и с 1850 по 1863 г.

\* *П. А. Преображенский*— духовный писатель, с 1877 г.— издатель-редактор «Православного обозрения».

\* ...судя о Юркевиче по его статье... Не читал ли отзыв о ней Чернышевского в «Современнике»?— Речь идет о статье: *Юркевич П. Д.* Из науки о человеческом духе // Труды Киевской духовной академии за 1860 год; переиздана М. Н. Катковым; Русский вестник. 1861. № 4—5. Отзыв Н. Г. Чернышевского «Непочтительность к авторитетам» см.: Полн. собр. соч. Т. VII. М., 1950. С. 685—706.

## 15. П. П. ГВОЗДЕВУ

Впервые опубликовано в кн.: Письма к Гвоздеву. С. 87—94; переиздано по подлиннику в кн.: *Ключевский В. О.* Письма. Дневники.

Афоризмы и мысли об истории. С. 79—85. Оригинал хранится в ОР ГБЛ, ф. 131, п. 24а, д. 3. Автограф. Чернила, которые почти выпцвели.

\* ...я нарочно избрал такую оригинальную бумагу.—Письмо написано на папиросной бумаге.

\* *«Хоть тяжело подчас в ней бремя,  
Телега на ходу легка».*—Ключевский цитирует начало стихотворения А. С. Пушкина «Телега жизни».

## 16. П. П. ГВОЗДЕВУ

Впервые опубликовано в кн.: Письма к Гвоздеву. С. 94—99; переиздано по подлиннику в кн.: *Ключевский В. О.* Письма. Дневники. Афоризмы и мысли об истории. С. 85—90. Оригинал хранится в ОР ГБЛ, ф. 131, п. 24а, д. 3. Автограф. Чернила.

\* *Ты хвалишь его журнал...*—Речь идет о журнале «Православное обозрение» (см. примечание к письму 5).

\* ...статью Буслаева о лубочных изданиях.—Речь идет о статье Ф. И. Буслаева «О русских народных книгах и лубочных изданиях» (Отечественные записки. 1861. Сент. Отд. 3. С. 1—68).

\* *Для университетов вышли неофициально новые правила и обсуждаются советами университетов.*—Видимо, Ключевский имеет в виду введенные министром народного просвещения Е. В. Путятиним «матрикулы»—особые книжки с правилами поведения, которые выдавались каждому студенту.

\* ...*третий—огонь.*—Описка Ключевского; Анаксимандр признавал первоисточником всех вещей не огонь, как Гераклит, а апейрон—неопределенное по качеству, беспредельное и бесконечное по количеству первоначество.

\* ...*один из наших иерархов, ростовский, что ли.*—Имеется в виду Дмитрий (Даниил Саввич Тупало), ростовский митрополит, известный своими трудами против церковного раскола.

## 17. П. П. ГВОЗДЕВУ

Впервые опубликовано в кн.: Письма к Гвоздеву. С. 100—104; переиздано по подлиннику в кн.: *Ключевский В. О.* Письма. Дневники. Афоризмы и мысли об истории. С. 90—94. Оригинал хранится в ОР ГБЛ, ф. 131, п. 24а, д. 3. Автограф. Чернила.

\* ...*в последнем романе...*—Ключевский имеет в виду роман И. С. Тургенева «Отцы и дети».

\* *«Развлечение»*—еженедельный литературно-юмористический журнал с карикатурами, основанный в 1859 г. Ф. Б. Миллером в Москве.

\* *Псих и Урлук.*—Имеются в виду Евпсихий (Гиренко) и Я. П. Бурлуцкий—ректор и инспектор Пензенской духовной семинарии.

\* ...*сильно смахивает на тебя.*—С. А. Голубцов предполагает, что имеется в виду М. С. Дринов, товарищ Ключевского по Московскому университету, впоследствии славист и общественно-политический деятель.

\* *«День»*—еженедельная газета, издававшаяся И. С. Аксаковым в 1862—1865 гг.

\* *Славная вообще возня идет в журналистике!*—Ключевский, очевидно, имеет в виду следующие статьи: десять статей Б. Н. Чичерина в газете «Наше время», которые затем вошли в его книгу «Несколько современных вопросов» (М., 1862); *Громека С. С.* Современная хроника в России (Отечественные записки. 1862. № 2, 3); *Бестужев-Рюмин К. Н.*

Историческое и политическое доктринерство в его практическом положении (По поводу вступительной лекции, читанной г. Чичериным в Московском университете) // Отечественные записки. 1861. Ноябрь.; *Пыпин А. Н.* По поводу исследований г. Буслаева о русской старине // Современник. 1861. № 1; *Буслав Ф. И.* Ответ г. Пышину на его статью под заглавием «По поводу исследований г. Буслаева о русской старине» // Отечественные записки. 1861. Апр.; *Аксаков И. С.* О предоставлении политических прав образованным евреям // День. 1862. № 19; *Костомаров Н. И.* Иван Сусанин (Историческое исследование) // Отечественные записки. 1862. Февр.; *Соловьев С. М.* История и современность. По поводу сочинения Короновича и статьи Н. Костомарова о Сусанине // Наше время. 1862. № 44, 50, 57, 76.

### 18. П. П. ГВОЗДЕВУ

Впервые опубликовано в кн.: Письма к Гвоздеву. С. 104—108; переиздано по подлиннику в кн.: *Ключевский В. О.* Письма. Дневники. Афоризмы и мысли об истории. С. 95—98. Оригинал хранится в ОР ГБЛ, ф. 131, п. 24а, д. 3. Автограф. Красные чернила.

\* *Николай Федорович Глебов*—с 1856 по 1860 г. преподаватель математики, греческого и латинского языков в Пензенской духовной семинарии; был близок к кружку семинарских друзей Ключевского (Материалы. С. 356 и др.). В 1860 г. перешел в Рязанскую духовную семинарию; в 1875 г. возведен в протоиереи и назначен смотрителем Касимовского духовного училища, с 1891 г.—кафедральный протоиерей Рязанского собора.

\* *...петербургские пожары 21, 22 и 28 мая.*—Имеются в виду поджоги, в которых правительство пыталось обвинять поляков и студентов.

\* *...рязанский губернатор.*—В 1860—1862 гг. рязанским гражданским губернатором был Н. М. Муравьев.

\* *Смарагд*—архиепископ рязанский и зарайский.

\* *Князь Сергей Васильевич Волконский*—член рязанского губернского комитета, один из первых председателей рязанской губернской земской управы. Летом 1862 г. Ключевский был репетитором в его семье (*Нечкина М. В.* В. О. Ключевский. История жизни и творчества. С. 96, 105—106; *Артоболевский И. А.* К биографии В. О. Ключевского // Голос минувшего. 1913. № 5. С. 172).

### 19. И. В. ЕВРОПЕЙЦЕВУ

Выдержка из письма впервые опубликована: Из писем В. О. Ключевского // Голос минувшего. 1913. № 5. С. 229—230; переиздана в кн.: *Ключевский В. О.* Письма. Дневники. Афоризмы и мысли об истории. С. 98—99. В публикации ошибочно указана дата письма (14 июня 1861 г. вместо 1862 г.)—в письме идет речь об экзамене Ключевского на стипендию, проходившем в мае 1862 г. В мае же 1861 г. Ключевский еще не был студентом Московского университета и жил в Пензе. Об этом же экзамене Ключевский сообщал и П. П. Гвоздеву (см. письмо 18).

### 20. П. П. ГВОЗДЕВУ

Впервые опубликовано в кн.: Письма к Гвоздеву. С. 108—111; переиздано по подлиннику в кн.: *Ключевский В. О.* Письма. Дневники.

Афоризмы и мысли об истории. С. 99—102. Оригинал хранится в ОР ГБЛ, ф. 131, п. 24а, д. 3. Автограф. Чернила. Два листа по сгибу разорваны.

\* ...о моем письме, писанном красными чернилами— см. письмо 18.

\* *Хрисанф* (В. Н. Ретивцев)— занимал богословские кафедры в Казанской и Петербургской духовных академиях, потом был епископом в Астрахани и Нижнем Новгороде.

\* ...автор «Православия и современности»...— Возможно, речь идет о книге архимандрита Феодора (А. М. Бухарева) «О православии в отношении к современности...». СПб., 1860.

\* *Прилагаемый портрет или, вернее, карточка*...— Эта фотография воспроизведена в книге «Письма к Гвоздеву».

1863 г.

## 21. И. В. ЕВРОПЕЙЦЕВУ

Выдержка из письма впервые опубликована: Из писем В. О. Ключевского // *Голос минувшего*. 1913. № 5. С. 230; переиздана в кн.: *Ключевский В. О. Письма. Дневники. Афоризмы и мысли об истории*. С. 102. Дата взята из публикации.

\* ...приезжал князь.— Речь идет о С. В. Волконском (см. примечание к письму 18). В журнале «Голос минувшего» ошибочно указывается, что Ключевский летом 1861 г. был репетитором в семье Волконских. В действительности это было летом 1862 г. В 1861 г. только в конце июля Ключевский приехал в Москву для поступления в университет (см. письмо 1 и др.).

## 22. И. В. ЕВРОПЕЙЦЕВУ

Выдержка из письма впервые опубликована: Из писем В. О. Ключевского // *Голос минувшего*. 1913. № 5. С. 231; переиздана в кн.: *Ключевский В. О. Письма. Дневники. Афоризмы и мысли об истории*. С. 103—104.

\* ...я выбрал для этого сочинение одного епископа французск[ого] Дюрана...— В архиве Ключевского хранится этот реферат (ОРФ ИИ, ф. 4, оп. 1, д. 121) (см. также примечания к письму 4).

1864 г.

## 23. [А. М. БОРОДИНОЙ]

Впервые опубликовано в кн.: *Ключевский В. О. Письма. Дневники. Афоризмы и мысли об истории*. С. 104—105. Оригинал черновика хранится в ОРФ ИИ, ф. 4, оп. 5, д. 26, л. 2—2об. Автограф. Чернила. Письмо относится к серии черновых писем, озаглавленных Ключевским на первом листе, который служил обложкой, «Пензенская переписка». Письма, кроме № 31, датируются условно по упоминанию романа В. П. Ключникова «Марево», печатавшегося в «Русском вестнике» (1864. № 1—3, 5), и по упоминанию в письме от 29 июня (см. письмо 24) о том, что оно написано в понедельник,— 29 июня было понедельником в 1864 г.

Адресат писем (кроме 31) Ключевским не назван, но из содержания видно, что они написаны женщине. В письме от 9 августа (см. письмо 27) он называет инициалы адресата — А. М. Семья Бородиных, у которых Ключевский бывал с 1861 г., имела квартиру в церковном доме при церкви Петра и Павла на Б. Якиманке — в письме 24 есть выражение «в ограде Петра и Павла». В этой семье были три сестры с инициалами А. М. — Александра, Анисья и Анна Михайловны. Как видно из текста, А. М. не жила в родном доме. Из сестер лишь Анна не жила вместе с семьей; она была экономкой и воспитательницей детей в доме О. С. Долгова, где и выросла. Следовательно, Анна Михайловна Бородина (1840/41—1912) — адресат писем 23—27. Подробнее см.: *Киреева Р. А.* За строчками примечаний // Вопросы истории. 1970. № 1. С. 214—220; *Нечкина М. В.* В. О. Ключевский. История жизни и творчества. С. 139—143.

\* *Н. М.* — Надежда Михайловна Бородина (1848—1919) — сестра адресата писем В. О. Ключевского Анны Михайловны и Анисьи Михайловны (с января 1869 г. жены В. О. Ключевского).

\* *М. И. К.* — Возможно, речь идет о Кержинском, товарище Николае Михайловича Бородина — брата сестер Бородиных.

\* ...3-й части «*Марева*»... — Третья часть романа В. П. Ключешникова «*Марев*» напечатана: Русский вестник. 1864. № 5.

\* *Р.* — Возможно, речь идет о Раменском, где летом жила Анна Михайловна Бородина вместе с семьей Долговых.

#### 24. [А. М. БОРОДИНОЙ]

Впервые опубликовано в кн.: *Ключевский В. О.* Письма. Дневники. Афоризмы и мысли об истории. С. 106—108. Оригинал черновика хранится в ОРФ ИИ, ф. 4, оп. 5, д. 26, л. 2об.—3об. Автограф. Чернила. Относится к «Пензенской переписке».

\* *Никсочка.* — Речь идет об Анисье Михайловне Бородиной (с января 1869 г. — жена Ключевского).

\* *Е. М.* — Речь идет о младшей сестре А. М. Бородиной — Елизавете Михайловне.

\* *С. М.* — Сергей Михайлович Бородин, с которым Ключевский занимался латинским языком. Впоследствии они стали друзьями и даже рядом похоронены на Донском кладбище в Москве. С. М. Бородин — автор учебников по русскому языку.

\* *А. С.* — Возможно, речь идет об Анне Семеновне Строгоновой, которая жила в доме на Б. Якиманке напротив дома Бородиных.

\* «*Что он ходит за мной, что он ищет меня?*» — В стихотворении А. В. Кольцова «*Песня*» несколько иначе: «*Что он ходит за мной, всюду ищет меня?*»

\* «*взглянуть на дальние поля, узнать, прекрасна ли земля.*» — Цитата из поэмы М. Ю. Лермонтова «*Мцыри*».

#### 25. [А. М. БОРОДИНОЙ]

Впервые опубликовано в кн.: *Ключевский В. О.* Письма. Дневники. Афоризмы и мысли об истории. С. 109—112. Оригинал черновика хранится в ОРФ ИИ, ф. 4, оп. 5, д. 26, л. 3об.—4. Автограф. Чернила. Относится к «Пензенской переписке».

\* ...*что отвечал у Пушкина Мефистофель Фаусту.* — Ключевский имеет в виду «Сцену из Фауста» А. С. Пушкина.

## 26. [А. М. БОРОДИНОЙ]

Впервые опубликовано в кн.: *Ключевский В. О. Письма. Дневники. Афоризмы и мысли об истории.* С. 112—114. Оригинал черновика хранится в ОРФ ИИ, ф. 4, оп. 5, д. 26, л. 4—5. Автограф. Чернила. Относится к «Пензенской переписке».

\* *Кукшина*—персонаж из романа И. С. Тургенева «Отцы и дети», который воспринимался некоторыми кругами разночинно-демократической молодежи как карикатура на эмансипированную женщину.

## 27. [А. М. БОРОДИНОЙ]

Впервые опубликовано в кн.: *Ключевский В. О. Письма. Дневники. Афоризмы и мысли об истории.* С. 114—118. Оригинал черновика хранится в ОРФ ИИ, ф. 4, оп. 5, д. 26, л. 5—6об. Автограф. Чернила. Относится к «Пензенской переписке».

\* *«Точно в Польше»*.—Намек на восстание 1863 г. в Польше.

\* *А. М.*—она же *Ал. М.*—Речь идет о старшей сестре А. М. Бородиной—Александре Михайловне.

\* *...рассказ Кохановской «После обеда в гостях»*.—Опубликован в журнале: *Русский вестник.* 1858. № 8.

\* *«скалы и тайные мели, и бури ему нипочем»*.—Цитата из стихотворения М. Ю. Лермонтова «Воздушный корабль».

## 28. И. В. и Е. Ф. ЕВРОПЕЙЦЕВЫМ

Впервые опубликовано в кн.: *Ключевский В. О. Письма. Дневники. Афоризмы и мысли об истории.* С. 118—121. Оригинал хранится в ГАПО, ф. 285, оп. 1, д. 5. Автограф. Чернила.

\* *Шелаховка*—река, протекающая в Пензе, ныне взята в трубу.

\* *...напишите что-нибудь о саранских*.—Речь идет о родственниках Ключевского Колпиковых, которых он навещал в 1861 г., когда переезжал из Пензы в Москву (см. письмо 1 и примечания к нему).

\* *тетушка*.—Речь идет о Марии Федоровне Колпиковой (урожд. Мошковой), старшей сестре матери Ключевского.

\* *Евлампия Евф[имовна] и Алексей Евф[имович]*—двоюродные сестра и брат Ключевского, дети Е. П. и М. Ф. Колпиковых.

\* *Попросите мамашу приписать строки две*.—Мать В. О. Ключевского Анна Федоровна после выхода замуж дочери Елизаветы Осиповны переехала в дом Европейцевых. Ключевский писал Европейцевым и матери общие письма.

\* *Настя*—внебрачная дочь А. Ф. Ключевской, родившаяся в 1856 г.

## 29. П. И. ЕВРОПЕЙЦЕВУ

Впервые опубликовано в кн.: *Ключевский В. О. Письма. Дневники. Афоризмы и мысли об истории.* С. 121—125. Оригинал черновика хранится в ОРФ ИИ, ф. 4, оп. 5, д. 8. Автограф. Чернила.

По содержанию этого письма и следующего за ним от 28 октября видно, что П. И. Европейцев не был удовлетворен духовным образованием и, видимо, решил уйти из семинарии. В делах Пензенской духовной семинарии (ГАПО, ф. 21, оп. 1, д. 373 и 458) имя Павла Европейцева встречается в списках учеников первого разряда низшего отделения,

переведенных по окончании 1863/64 учебного года в среднее отделение. Однако в списках учеников семинарии последующих годов он уже не числится.

## 30. П. И. ЕВРОПЕЙЦЕВУ

Выдержка из письма впервые опубликована по тексту статьи И. А. Артоболевского «К биографии В. О. Ключевского» // *Голос минувшего*. 1913. № 5. С. 164—165; переиздана в кн.: *Ключевский В. О. Письма. Дневники. Афоризмы и мысли об истории*. С. 125—126. Датируется условно по содержанию, как и письмо 29, месяц и число взяты из указанной публикации.

1866 г.

## 31. И. В. ЕВРОПЕЙЦЕВУ

Впервые опубликовано в кн.: *Ключевский В. О. Письма. Дневники. Афоризмы и мысли об истории*. С. 126—129. Оригинал черновика хранится в ОРФ ИИ, ф. 4, оп. 5, д. 26, л. 60б.—70б. Автограф. Чернила. Относится к «Пензенской переписке».

\* *Две потери зараз*.—19 января 1866 г. от горячки умерла Евдокия Федоровна Европейцева; 1 марта того же года от рака умерла Анна Федоровна Ключевская.

1867 г.

## 32. П. П. ГВОЗДЕВУ

Впервые опубликовано в кн.: *Письма к Гвоздеву*. С. 111—114; переиздано по подлиннику в кн.: *Ключевский В. О. Письма. Дневники. Афоризмы и мысли об истории*. С. 129—132. Оригинал хранится в ОР ГБЛ, ф. 131, п. 24а, д. 3. Автограф. Чернила.

\* *Не пропал ли где-нибудь в чувашском овраге?*—С. А. Голубцов полагает, что Ключевский здесь намекает на свою поездку в Казань.

\* *«Москва. Газета политическая, экономическая и литературная»*—издавалась в 1867—1868 гг. И. С. Аксаковым.

\* *Катков всегда в руках у нас за чаем...*—Речь идет о газете «Московские ведомости».

\* *...прочитав передовую статью «Моск[овских] ведомостей»...*—Ключевский имеет в виду статью «Москва, 21 января», которая начиналась словами: «Теперь предмет всеобщих толков—земские учреждения» (Московские ведомости. 1867. 22 янв.).

\* *А книжонки моей до сих пор не достал.*—В 1866 г. вышла в свет первая работа В. О. Ключевского «Сказания иностранцев о Московском государстве. Рассуждение студента Василия Ключевского, писанное для получения степени кандидата по историко-филологическому факультету» (Московские университетские известия. 1866. М., 1866. № 7—9; то же в кн.: Приложение к Московским университетским известиям 1865/66 академического года. Т. 2. М., 1866). В том же году вышла в Москве отдельным изданием.

\* *Музыкантка*—так Ключевский и его друзья называли одну из дочерей казанского протоиерея А. Н. Иорданского. Друг Ключевского

С. А. Парадизов (см. примечание к письму 4), женатый на дочери Иорданского, был в 60-е годы студентом Казанского университета. Поэтому в доме Иорданских часто бывали студенты, среди них и пензенские друзья Ключевского. В бытность свою в Казани Ключевский заходил в этот дом. С. А. Голубцов, очевидно по рассказам Гвоздевых, сообщает, что матушка А. И. Иорданская упрекала молодежь «за приверженность к модным идеям à la Чернышевский» (Письма к Гвоздеву. С. 129).

\* *Иван Петрович Гвоздев*—старший брат Порфирия Петровича, профессор Казанской духовной академии по кафедре гражданской истории.

\* *Николай Иванович Ильминский*—ориенталист, профессор Казанского университета и Казанской духовной академии; одновременно директор учительской семинарии; в 1867—1872 гг. редактировал «Ученые записки Казанского университета»; окончил Пензенскую духовную семинарию в 1842 г.

\* *Федор Михайлович Керенский* (отец А. Ф. Керенского)—по окончании в 1858 г. Пензенской духовной семинарии работал сельским учителем. Затем поступил на историко-филологический факультет Казанского университета, где оказался товарищем и другом П. П. Гвоздева. По окончании университета он был последовательно: учителем русского языка и инспектором в Казанской мужской гимназии, директором гимназии в Вятке, затем в Симбирске и возглавлял учебный округ в Ташкенте.

### 33. П. П. ГВОЗДЕВУ

Впервые опубликовано в кн.: Письма к Гвоздеву. С. 114—116; переиздано по подлиннику в кн.: *Ключевский В. О. Письма. Дневники. Афоризмы и мысли об истории*. С. 132—134. Оригинал хранится в ОР ГБЛ, ф. 131, п. 24а, д. 3. Автограф. Чернила.

\* *...подают в отставку, вследствие гадостей, сделанных им большинством совета, и—и—одобрения этих гадостей министром.*—В знак протеста против нарушения со стороны совета университета при поддержке министра народного просвещения А. В. Головинина установленного порядка избрания на профессорскую должность на новый срок для профессора полицейского права В. Н. Лешкова С. М. Соловьев, Б. Н. Чичерин, Ф. М. Дмитриев, М. Н. Капустин, С. А. Рачинский и И. К. Бабст подали в отставку, которая и была принята. Но по просьбе Александра II они впоследствии взяли назад свои прошения.

\* *...ректор.*—В 1863—1870 гг. ректором Московского университета был С. И. Баршев.

\* *Иван Дмитриевич Беляев*—профессор Московского университета, историк. В архиве Ключевского хранится его рецензия на книгу И. Д. Беляева «Лекции по истории русского законодательства» под названием «Русский историк—юрист недавнего прошлого» (см.: *Ключевский В. О. Неопубликованные произведения*. М., 1983. С. 168—170).

\* *Владимир Иванович Герье* (1837—1919)—историк, профессор всеобщей истории Московского университета, основатель Высших женских курсов в Москве, член Государственного совета. Герье и Ключевского связывала многолетняя дружба. В фондах обоих историков сохранилась их переписка. В архиве Ключевского сохранился также набросок речи, произнесенной им от имени Общества истории и древностей российских на чествовании 40-летней научной деятельности Герье в 1898 г. (ОР ГБЛ, ф. 131, п. 15, д. 3).

\* *«Савонарола и Флоренция».*—Работа Н. А. Осокина, впервые опубликована: Ученые записки Казанского университета по отделе-

нию историко-филологических и политико-юридических наук. 1863. Вып. I—II. Казань, 1865.

## 34. П. П. ГВОЗДЕВУ

Впервые опубликовано в кн.: Письма к Гвоздеву. С. 116—119; переиздано по подлиннику в кн.: *Ключевский В. О.* Письма. Дневники. Афоризмы и мысли об истории. С. 134—135. Оригинал хранится в ОР ГБЛ, ф. 131, п. 24а, д. 3. Автограф. Чернила.

\* *Десять экземпляров моего недопеченного печенья.*—Ключевский имеет в виду свою работу «Сказания иностранцев о Московском государстве».

\* *Прочти... передовую статью в «Москов[ских] ведом[остях]» 11 февр[аля].*—Указанная статья «Москва, 10 февраля» была посвящена вопросам народного просвещения.

1868 г.

## 35. Н. И. МИЗЕРОВСКОМУ

Впервые опубликовано: Из писем В. О. Ключевского // *Голос минувшего*. 1913. № 5. С. 232—233; переиздано по подлиннику в кн.: *Ключевский В. О.* Письма. Дневники. Афоризмы и мысли об истории. С. 136—138. Оригинал хранится в ОРФ ИИ, ф. 4, оп. 5, д. 16. Автограф. Чернила. Листы по сгибу разорваны.

\* *Николай Иванович Мизеровский*—пензенский товарищ Ключевского. В архиве Ключевского сохранились письма от Мизеровского, в частности от 14 июня 1867 г., на которое и отвечает Ключевский (ОР ГБЛ, ф. 131, п. 32, д. 68).

\* *«Не имамы зде пребывающего града, но грядущего взыскуем.»*—Послание Павла евреям, гл. XIII, зач. XIV.

\* *Теперь я занимаюсь историей древнерусских монастырей...*—По окончании работы «Сказания иностранцев о Московском государстве» Ключевский начал заниматься по теме «Древнерусские жития святых как исторический источник». В связи с этим он написал статью «Новые исследования по истории древнерусских монастырей» (*Православное обозрение*. 1869. № 10 и 12).

\* *Мои напечатанные трудишки меня не удовлетворяют.*—К этому времени были опубликованы следующие работы Ключевского: «Сказания иностранцев о Московском государстве» (см. примечание к письму 32); «Хозяйственная деятельность Соловецкого монастыря в Беломорском крае» (*Московские университетские известия*. 1866—1867. № 7. М., 1867); им же были составлены разделы по истории русского быта, опубликованные в книге П. Кирхманна «История общественного и частного быта». М., 1867.

1869 г.

## 36. П. П. ГВОЗДЕВУ

Впервые опубликовано в кн.: Письма к Гвоздеву. С. 118—120; переиздано по подлиннику в кн.: *Ключевский В. О.* Письма. Дневники. Афоризмы и мысли об истории. С. 138—140. Оригинал хранится в ОР ГБЛ, ф. 131, п. 24а, д. 3. Автограф. Чернила.

## 37. П. П. ГВОЗДЕВУ

Впервые опубликовано в кн.: Письма к Гвоздеву. С. 121—123; переиздано по подлиннику в кн.: *Ключевский В. О. Письма. Дневники. Афоризмы и мысли об истории.* С. 140—143. Оригинал хранится в ОР ГБЛ, ф. 131, п. 24а, д. 3. Автограф. Чернила.

\* *...роюсь в рукописях Ундольского.*—Рукописи В. М. Ундольского, библиографа, собирателя древнерусских рукописей, после его смерти (1864 г.) поступили в Румянцевский музей. Ключевский впоследствии написал рецензию на описание его архива «Рукописная библиотека В. М. Ундольского («Славяно-русские рукописи В. М. Ундольского». Издание Московского публичного и Румянцевского музеев. М., 1870 г.)» (Православное обозрение. 1870. № 5).

\* *...мы с Ф[едором] М[ихайловичем] некоторым образом свойственники.*—Двоюродный брат Ф. М. Керенского—Иван Васильевич Вирганский был женат на родной сестре Ключевского Елизавете Осиповне.

\* *...мне придется в своей книжице понюхать вашего попечителя, а моего бывшего инспектора... Шестакова.*—Ключевский в своей книге «Древнерусские жития святых как исторический источник» упоминает об издании П. Д. Шестаковым списков житий в 1868 г. в «Православном собеседнике».

\* *Книжищи его об альбигойцах не читал...*—Осокин Н. А. История альбигойцев до кончины папы Иннокентия III. Казань, 1869.

1870 г.

## 38. П. П. ГВОЗДЕВУ

Впервые опубликовано в кн.: Письма к Гвоздеву. С. 123—124; переиздано по подлиннику в кн.: *Ключевский В. О. Письма. Дневники. Афоризмы и мысли об истории.* С. 144. Оригинал хранится в ОР ГБЛ, ф. 131, п. 24а, д. 3. Автограф. Чернила.

\* *Дейбнер*—московский книготорговец.

\* *...читал ли кто из знакомых о Щапове в «Прав[ославном] обзор[ении]».*—Имеется в виду статья Ключевского «Церковь по отношению к умственному развитию древней Руси. По поводу книги А. Щапова «Социально-педагогические условия умственного развития русского народа»» (Православное обозрение. 1870. № 2).

\* *Меня тянут в Дерпт.*—В 1870 г. в Дерптском университете освободилась кафедра русской истории. Университет остановил свой выбор на начинающем ученом Ключевском, кандидатуру которого в апреле 1870 г. представил на утверждение министерства. Но в то время кафедры в Дерптском университете замещались лицами со званиями магистра или доктора. Ключевский тогда был только кандидатом, и министр народного просвещения отклонил предложение университета (ЖМНП. 1897. Кн. 2. Отд. 4. С. 118).

\* *Спешу домарать свою книжицу.*—Речь идет о работе «Древнерусские жития святых как исторический источник».

## ДНЕВНИКИ И ДНЕВНИКОВЫЕ ЗАПИСИ

Впервые опубликованы в кн.: *Ключевский В. О. Письма. Дневники. Афоризмы и мысли об истории.* М., 1968. С. 221—248, 258—317.

## ДНЕВНИКОВЫЕ ЗАПИСИ 1861—1866 гг.

Записи 1861 и 1862 гг. Оригинал хранится в ГПИБ, ф. Ключевского. Автограф. Чернила. Текст написан на двойном листе светло-серо-голубого цвета.

1861 г.

21 окт[ября]

\* *«Пряди, моя пряха!..»*—начальные слова русской народной песни.

14 нояб[ря]

\* *Небукадницар*—иное написание имени Навуходоносор.

1862 г.

9 марта

\* ...к *«подземной работе зиждательных сил жизни»*, как говорит Григ[орьев].—Цитата из работы А. А. Григорьева «Критический взгляд на основы, значение и приемы современной критики искусства» (Григорьев А. Собр. соч. Вып. 2. М., 1915. С. 71).

18 июля

\* ...*славны бубны за горами!*—русская народная пословица (Даль В. И. Пословицы русского народа. М., 1957. С. 353). 2 июля 1862 г. был арестован Д. И. Писарев, 7 июля—Н. Г. Чернышевский и Н. А. Серно-Соловьевич.

1865 г.

Оригинал хранится в ОРФ ИИ, ф. 4, оп. 1, д. 125, л. 5—6. Автограф. Чернила. Текст написан на сложенных листах.

1866 г.

Оригинал хранится в ГПИБ, ф. Ключевского. Автограф. Чернила. Текст написан на сшитых от руки листах светло-зеленого цвета.

14 апр[еля]

\* *Мне знаком он...*—Очевидно, речь идет о Д. В. Каракозове, который 4 апреля 1866 г. совершил покушение на Александра II. Ключевский мог быть знаком с Каракозовым еще по Пензе. А. И. Яковлев свидетельствовал, что «в студенческом кружке пензяков, к которому естественно примкнул Ключевский, он пришел в соприкосновение с будущими террористами-каракозовцами... Брат Каракозова, стрелявшего позднее в императора Александра II, был даже пензенским учеником Ключевского по латинскому языку. Но попытка втянуть Ключевского в ряды каракозовцев... была пресечена одним из виднейших участников кружка—Ишутиным. Ишутин твердо заявил: «Вы его оставьте! У него другая дорога. Он будет ученым»,—чем и показал свою прозорливость» (Яковлев А. И. В. О. Ключевский (1841—1911) // Записки Научно-исследовательского института при Совете Министров Мордовской АССР. № 6. Саранск, 1946. С. 100).

\* ...*самодовольно выходит на площадь...*—Речь идет о псевдопатриотических манифестациях, которые устраивались в связи с «чудес-

ным» спасением Александра II от выстрела Каракозова. Ключевский возмущается тем, что в этих манифестациях принимала участие часть интеллигенции и учащейся молодежи (см. следующую запись).

[Между 14 апреля и 7 мая]

Датируется условно на основе предшествующей и последующей записей.

\* *А вот и интеллигенция!*—Тема об интеллигенции волновала Ключевского на протяжении всей жизни. В его архиве сохранилось несколько набросков разных лет по этому вопросу (см.: *Ключевский В. О.* Неопубликованные произведения. С. 298—308).

### ДНЕВНИК 1867—1877 гг.

Оригинал хранится в ОРФ ИИ, ф. 4, оп. 4, д. 1. Автограф. Чернила. Текст написан на сшитых от руки листах.

1867 г.

9 июля

\* *В Риге сказывается речь высочайшая о единении с русской семьей...*—Имеется в виду речь Александра II, произнесенная им в Риге 15 июня, которую он посетил проездом при возвращении с Парижской всемирной выставки.

\* *«Весть. Газета политическая и литературная»*—издавалась в Петербурге в 1863—1870 гг. Издатели и редакторы В. Д. Скарятин и Н. Н. Юматов (1863—1867).

29 июля

\* *«...Когда народы, распри позабыв,  
В великую семью соединятся».*—Цитата из стихотворения А. С. Пушкина «Он между нами жил», посвященного А. Мицкевичу.

1868 г.

28 мая

\* *«История России с древнейших времен»*—29-томный труд С. М. Соловьева. Первый том вышел в 1851 г., затем регулярно каждый год выходили последующие тома.

29 сент[ября]

\* *Восточная война.*—Имеется в виду Крымская война 1853—1856 гг. между Россией и коалицией Англии, Франции, Турции и Сардинии, закончившаяся Парижским мирным договором от 30 марта 1856 г.

### ДНЕВНИКОВЫЕ ЗАПИСИ 1891—1901 гг.

1891 г.

Оригинал хранится в ОРФ ИИ, ф. 4, оп. 1, д. 222, л. 4—5. Автограф. Карандаш. Текст написан на типографском тексте «Положения к чтению Владимира Соловьева в Психологическом обществе о причинах упадка средневекового миросозерцания».

\* *Чит[ал] 19 окт[ября] 1891.*—Имеется в виду выступление В. С. Соловьева с рефератом «Об упадке средневекового миросозерца-

ния. Реферат, читанный в заседании Московского психологического общества 19 октября 1891 г.» (Соловьев В. С. Собр. соч. Т. VI (1886—1896). СПб., «Общественная польза». Б.г. С. 347—358).

\* *Любим Торцов*—персонаж пьесы А. Н. Островского «Бедность не порок».

\* *Аввакум*—протопоп, один из основателей старообрядчества, был сожжен в срубе (XVII в.).

1892 г.

Оригинал хранится в ОРФ ИИ, ф. 4, оп. 1, д. 222, л. 2. Автограф. Карандаш. Текст написан на отдельном листе бумаги. Впервые опубликован: *Киреева Р. А. В. О. Ключевский. Исторические миниатюры // Неделя. 1963. 9—15 июня. № 24. С. 11.*

1893 г.

Оригинал хранится в ОР ГБЛ, ф. 131, п. 15, д. 8. Автограф. Карандаш, кроме первой даты, поставленной чернилами. Текст написан в одной тетради, названной Ключевским «Афоризмы и мысли об истории. 1893». В настоящем издании сохранена хронологическая непоследовательность подлинника.

16—19 июня

\* (*Брикнера*).—Имеется в виду статья: *Брикнер А. Съезд историков в Мюнхене 4—7 апреля 1893 года (Вестник Европы. 1893. Кн. VI. С. 865—876).*

8 июля

\* *...о бестактности М[осковских] вед[омостей]* по поводу *Корфа*.—Возможно, что Ключевский имеет в виду деятеля народного просвещения, пропагандиста идеи всеобщего обязательного просвещения Н. А. Корфа, который в 1883 г. выставил свою кандидатуру на должность заведующего городскими училищами Москвы. Газеты «Московские ведомости» и «Новое время» подняли враждебную по отношению к Корфу кампанию, в результате которой он снял свою кандидатуру.

\* *...путешествие ц[есареви]ча*.—По-видимому, речь идет о путешествии на Дальний Восток в 1891 г. цесаревича Николая (впоследствии Николай II), на которого в Японии было совершено покушение—его ударил саблей по голове японский полицейский.

1899 г.

Оригинал хранится в ОРФ ИИ, ф. 4, оп. 2, д. 7. Автограф. Карандаш. Текст написан на отдельном листе бумаги, год поставлен синим карандашом.

15—21 февр[аля]

\* *...15-е—начало забастовки*.—Толчком к забастовке послужило столкновение петербургских студентов с полицией 8 февраля 1899 г. Волна студенческих движений прокатилась по всей России. Первая сходка студентов Московского университета состоялась 13 февраля, с 15 февраля начались систематические сходки. Студентами был создан Исполнительный комитет, выпускались прокламации. С 15 февраля начались аресты и высылки студентов из Москвы.

\* *Алексей Иванович Яковлев*—студент 3-го курса, впоследствии известный историк. В архиве Ключевского хранится черновой набросок письма (ОР ГБЛ, ф. 131, п. 34, д. 76), на котором синим карандашом рукой Ключевского написано: «Письмо о Яковлеве». Остальной текст написан простым карандашом на обороте типографского извещения об очередном заседании Общества истории и древностей российских 20 февраля 1899 г. Письмо адресовано Д. Н.—видимо, это Д. Н. Зернов, который был ректором Московского университета до 22 марта 1899 г.

«Решаюсь беспокоить Вас ходатайством об исключенном из М[осковского] у[ниверсите]та студенте 3-го к[урса] историко-филологического ф[акульте]та Яковлеве.

Он написал прекрасное сочинение по русской истории для соискания медалей, когда еще состоял на 1-м курсе: редкий случай в истории русских университетов. Это дало мне возможность<sup>1</sup> узнать его ближе, чем его товарищей. По неоднократным беседам с ним я составил себе понятие о<sup>2</sup> нем как о благовоспитанном и образованном молодом человеке, даровитом и вдумчивом, с живой научной любознательностью. Он не раз обращался ко мне за советами и указаниями по начатым им занятиям предметами исторического отделения ф[акульте]та, и чем ближе узнавал я его, тем более укреплялся в составленном о нем мнении, возлагая на него с[амые] добрые надежды. Думаю, что поступок<sup>4</sup>, навлекший на него такую беду и поразивший меня своей неожиданностью, вызван был крайне возбужденным состоянием в столкновении с товарищем и не имел несправимо дурных побуждений. Безвозвратное удаление его из Москвы прервет столь успешно начатые им научные занятия, лишив его привычного преподавательского руководства и<sup>5</sup> научных средств, какие он находит в Московском университете. Если Вы<sup>6</sup> можете<sup>7</sup> смягчению его вины и возможному облегчению постигшей его кары, Вы, может быть, спасете прекрасного работника<sup>8</sup> для русской науки и школы. Я с своей стороны готов вполне поручиться за его благонадежное поведение по возвращении в Моск[овский] у[ниверсите]т. Еще раз усерднейше умоляю Вас, глубокоуважаемый Д. Н., оказать отечески благожелательное и сострадат[ельное] внимание к прискорбному положению молодого человека.

21 февр[аля] 1899».

22—28 февр[аля]

\* *Предостережение «Вестнику Европы»*.—20 февраля 1899 г. журналу «Вестник Европы» было сделано второе предостережение (первое—15 декабря 1889 г.) «ввиду вредного направления журнала «Вестник Европы», проявлявшегося неоднократно в статьях этого журнала, касающихся правительственных мероприятий в Финляндии...».

[1—7 марта]

\* *2 марта депутаты Исп[олнительного] комитета у меня с петицией*.—В архиве Ключевского хранится обращение студентов Московского университета, датированное Ключевским 2 марта 1899 г. Текст гектографирован с вписанным от руки обращением (ОР ГБЛ, ф. 131, п. 30, д. 15). Дата поставлена карандашом рукой Ключевского.

<sup>1</sup> Далее зачеркнуто: московск[ого].

<sup>2</sup> Над зачеркнутым: случай.

<sup>3</sup> Далее зачеркнуто: [о]б.

<sup>4</sup> Далее зачеркнуто: за.

<sup>5</sup> Далее зачеркнуто: оных.

<sup>6</sup> Далее зачеркнуто: глубокоуважаемый Д. Н.

<sup>7</sup> Над строкой зачеркнуто: возм[ожному].

<sup>8</sup> Над зачеркнутым: дельда.

«Многоуважаемый Василий Осипович!»<sup>1</sup>

Студенты Московского университета считают долгом выяснить наставникам свои действия и обратиться к ним за помощью и руководством<sup>2</sup>.

Вы, конечно, знаете, что причиной нашей мирной забастовки<sup>3</sup> послужило возмутительное насилие над петербургскими товарищами, ярко подчеркнувшее наше вообще *бесправное положение*<sup>4</sup> и необходимость коренного пересмотра отношений между администрацией и студенчеством.

В настоящее время высочайшим назначением комиссии этот протест признан заслуживающим внимания как не имеющий политической окраски и носящий характер не временной вспышки, а жалобы систематически оскорблявшихся людей, просящих всестороннего и полного рассмотрения своих требований. Московское студенчество находит, что поручение разбирательства дела комиссии Ванновского и опубликование этого удовлетворяет выставленным просьбам, и считает дальнейшую забастовку на этой почве<sup>5</sup> ненужной и несогласной с волей высшей власти<sup>6</sup>. Оно, однако, не может приступить к правильным университетским занятиям, пока не будут удовлетворены его требования, разрешение которых не лежит на комиссии ген[ерал]-ад[ъютанта] Ванновского, по его собственному заявлению петербургским студентам. Эти требования таковы:

1. Возвращение товарищей, высланных Правлением университета или по указанию его и инспекции во время последних волнений, ввиду того что эти волнения носили университетский, а не политический характер<sup>7</sup>. На неполитический характер забастовки, при котором лишь и возможны административные высылки с вмешательством полиции, указывает также и отсутствие выслоек в высших учебных заведениях, не подлежащих ведению Министерства народного просвещения.

2. Устранение причин таких огульных выслоек без суда и следствия и на будущее время в делах чисто академических<sup>8</sup>.

На этой почве мы нравственно обязаны продолжать забастовку<sup>9</sup>, так как лишились около 1000 товарищей, столь же невинных, как и мы сами, в требовании же устранения административно-университетского произвола мы вполне солидарны с мнением 42 профессоров, подавших 4 года назад московскому генерал-губернатору петицию, в которой заявляют о необходимости профессорского суда.

И теперь мы надеемся, что Вы с полным сочувствием отнесетесь к нашим стремлениям и своим авторитетным заявлением<sup>10</sup> поможете нашему делу.

\* Причинами, устранение коих желательно студенчеству, являются произвольность и безапелляционность<sup>11</sup> действий инспекции, не контроли[руемых] ни следствием, ни судом профессором».

<sup>1</sup> *Имя и отчество написаны тушью.*

<sup>2</sup> *Подчеркнуто Ключевским простым карандашом.*

<sup>3</sup> *Подчеркнуто Ключевским синим карандашом.*

<sup>4</sup> *Подчеркнуто Ключевским красным карандашом.*

<sup>5</sup> *Подчеркнуто Ключевским синим карандашом.*

<sup>6</sup> *Подчеркнуто Ключевским красным карандашом.*

<sup>7</sup> *Подчеркнуто на гектографе.*

<sup>8</sup> *Подчеркнуто на гектографе.*

<sup>9</sup> *Подчеркнуто Ключевским красным карандашом.*

<sup>10</sup> *Подчеркнуто Ключевским синим карандашом.*

<sup>11</sup> *Подчеркнуто Ключевским красным карандашом.*

\* *Разрешенные ректором генеральн[ые] сходки...*—Под влиянием студенческой забастовки ректор Д. Н. Зернов вынужден был пойти студентам на уступки и разрешил открыть аудитории для проведения легальных курсовых совещаний. Он также дал обещание возвратить арестованных и высланных студентов.

8—14 марта

\* *П. С. Ванновский*—генерал-адъютант, возглавлял комиссию по расследованию причин студенческого движения.

15—21 марта

\* *С 17-го прекращение занятий с увольнением всех студентов до 22-го.*—По распоряжению министра народного просвещения Н. П. Боголепова университет закрывался до 22 марта, т. е. до периода экзаменов. Этой тактикой Боголепов рассчитывал дезорганизовать студенческое движение. Однако Исполнительный комитет постановил продолжать забастовку и после 22 марта.

\* *Болезнь ректора Зернова.*—Ректор Д. Н. Зернов и инспектор Р. И. Державин выразили нежелание оставаться на занимаемых ими должностях. Новым ректором Московского университета стал зоолог А. А. Тихомиров, а инспектором—Я. А. Корнеев.

\* *«Моск[овские] вед[омости]» 20 марта.*—Видимо, Ключевский имел в виду передовую статью «Воспитательные задачи университета», в которой проводилась мысль о том, что высшая школа «должна быть прототипом нормальной, законной жизни, не терпящей никаких уклонений от установленного порядка».

22—28 марта

\* *21-го же рассказы Яков[лева].*—В архиве Ключевского сохранилось письмо А. И. Яковлева от 21 марта 1899 г., в котором он писал, что из университета уволено и выслано более 450 человек и что ему, по-видимому, «недолго придется ждать очереди». В открытке, написанной ночью 11 апреля 1899 г., Яковлев сообщал Ключевскому, что его «берут в охранное отделение» (ОР ГБЛ, ф. 131, п. 34, д. 76).

\* *...с «Рим[ским] правом» Богол[епова].*—Имеется в виду работа: *Боголепов Н. П.* Пособия к лекциям по истории римского права. М., 1890.

\* *Толки о экзам[енационной] забастовке.*—См. примечание в записи от 15—21 марта.

#### [1890-е годы]

Оригинал хранится в ОРФ ИИ, ф. 4, оп. 1, д. 222, л. 1. Автограф. Карандаш. Текст написан на отдельном листе бумаги. Датируется условно по почерку.

#### [1900—1901 гг.]

Оригинал хранится в ОРФ ИИ, ф. 4, оп. 2, д. 7. Датируется условно по содержанию. Текст пронумерован красным карандашом: 1-я и 2-я страницы написаны карандашом; 3-я страница отсутствует; текст 4-й страницы написан чернилами неуставленным лицом; 5-й—карандашом рукой Ключевского.

В архиве Ключевского (ОР ГБЛ, ф. 131, п. 30, д. 22) хранится следующая запись, близкая по содержанию к публикуемому тексту:

«Иванов<sup>1</sup>. Иногородных студентов в текущем году до 74%.

<sup>1</sup> *Ниже зачеркнутого:* Мих[аил] Николаев[ич] Коваленский. Поварская, Трубниковский переул[ок], д[ом] Игнатьева. Во вторник 20-го придет в 12 часов.

Стипендиатов около 600 чел[овек]=ок[оло] 15%.

Единовремен[енных] пособий в 1899 г. выдано на 28 764 руб.—654 чел. в 1-м полуг[одии] и 471—во 2-м, в среднем по 25 руб. на чел. В 1900 г. уже 40 417 руб. 850 и 427 чел., в среднем по 33 руб. на чел.=13—15% студенчества. Нуждающихся по кр[айней] мере 50%.

Тяжесть зависимости от случая. Борьба за существование. Бродит по городу днем, ночевка на Ходын[ском] поле или Екатерин[инском] парке новоприезжего.

Квартиры—11—12 руб., дурная комната меблированная—15 руб., лучше сносная—20—22 руб.

Расход студента минимальный—24 руб. 80 коп. в м[есяц]. Нервное напряжение от нужды (втроем 18 руб.). Университ[етские] учебники—30—60 руб. в год.

В комитетских столовых 600 вакансий. Некоторые живут на 15 руб. Имеющему 15 руб. в м[есяц] Общество отказывает во взносе платы. У[ниверсите]т освобождает от платы ок[оло] 18%, Общество—ок[оло] 10%, не могущих вносить—не менее 50%. В нын[ешнем] отчетном году Общество на оплату ок[оло] 32 тыс. (из 109 тыс. в 1898?)».

1901 г.

Оригинал хранится в ОРФ ИИ, ф. 4, оп. 2, д. 7. Автограф. Текст написан на отдельных листах разного формата карандашом, кроме записи о заседании комиссии 2 марта 1901 г., которая написана чернилами.

\* *Засед[ание] ком[иссии] 2 марта.*—Ключевский был членом комиссии «по вопросу о причинах студенческих волнений...». Его запись от 3 марта 1901 г. написана на обороте следующего типографского текста: «Сим доводится до сведения студентов, что Советом университета образована «Комиссия по вопросу о причинах студенческих волнений и о мерах к упорядочению университетской жизни». Состав комиссии: В. И. Герье, Д. Н. Зернов, Н. А. Умов, В. О. Ключевский, К. А. Андреев, В. Ф. Снегирев, граф Л. А. Камаровский, П. Г. Виноградов, И. Т. Гарасов, В. К. Цераский, А. А. Бобров и М. В. Духовской. Ближайшей задачей Комиссии будет упорядочение университетской жизни путем точного исследования фактов, осведомления студентов и другими законными мерами общения профессоров и студентов.

Ректор А. Тихомиров.

2 марта 1901 года».

\* *Цирк[уляр] Мин[истрства] н[ародного] пр[освещения] 21 июня [18]99 г.*—Описка Ключевского; речь идет о циркулярном распоряжении от 27 июня 1899 г., которое предусматривало усиление университетской инспекции.

\* *Александр Аполлонович Мануилов*—профессор Московского университета, юрист, экономист, один из лидеров кадетской партии, с сентября 1905 г. помощник ректора (С. Н. Трубецкого), затем ректор Московского университета. В январе 1911 г. ректор Мануилов, его помощник Мензбир и проректор Минаков подали прошение об отставке. Решением министра просвещения Л. А. Кассо от 1 февраля 1911 г. эти профессора отстранялись не только от административной, но и от научной и педагогической деятельности в университете. В ответ на это 107 профессоров и преподавателей подали заявления об уходе из университета.

\* *У Герье спросить конфиденциальный доклад...*—Возможно, речь идет о докладе П. С. Ванновского, который впоследствии был издан (СПб., 1906).

\* *Временные правила.*—Речь идет о временных правилах 29 июля 1899 г. об отдаче студентов в солдаты. В начале 1901 г. они были применены к 183 студентам Киевского университета (*Лавров П.* Временные правила (Студенческое революционное движение в Киевском университете конца 1900 и 1901 гг.) // Советское студенчество. 1936. № 1). В. И. Ленин написал в газету «Искра» специальную статью «Отдача в солдаты 183-х студентов» (см.: *Ленин В. И.* Полн. собр. соч. Т. 4. С. 391—396), где призывал широкие массы трудящихся во главе с рабочим классом выступить в защиту студенчества. Достойным ответом со стороны студенчества В. И. Ленин считал «устройство выдержанной и стойкой забастовки всех учащихся во всех высших учебных заведениях с требованием отмены временных правил 29-го июля 1899 года» (С. 395). На этот призыв студенчество ответило широкой волной протестов и открытых выступлений. Массовые волнения охватили около 20 000 студентов. Царское правительство опять прибегло к арестам и ссылкам. Только в одной Москве в феврале 1901 г. было арестовано и заключено в Бутырскую тюрьму около 500 студентов.

Совет профессоров Московского университета обратился к студентам с воззванием, предлагая им прекратить борьбу и вернуться к занятиям. Газета «Искра» назвала это обращение профессоров «гнусным воззванием».

#### ДНЕВНИК 1901—1910 гг.

Оригинал хранится в ОРФ ИИ, ф. 4, оп. 4, д. 3. Автограф. Карандаш. Текст написан в одной тетради с обложкой. В настоящем издании сохранена хронологическая непоследовательность подлинника.

1901 г.

28 [октября]

\* *...избрание комиссии 12-ти.*—Речь идет о комиссии в составе: Д. Н. Зернов (председатель комиссии), В. И. Герье, П. Г. Виноградов, Н. А. Умов, М. В. Духовской, К. А. Андреев, В. К. Цераский, Л. А. Камаровский, И. Т. Тарасов, А. Б. Фохт, А. А. Бобров, В. О. Ключевский. Этой комиссией был подготовлен доклад «для выяснения причин студенческих волнений и мер к упорядочению университетской жизни», автором исторической части которого был Ключевский.

7 [ноября]

\* *Сергей Николаевич Трубецкой*—профессор философии в Московском университете, с сентября 1905 г.—ректор университета; редактор журнала «Вопросы философии и психологии».

9 [ноября]

\* *Экстренный Совет для обсуждения министерского проекта правил [студенческих] учреждений.*—Речь идет о новых «Временных правилах для организации студенческих учреждений», которыми допускались кружки для научно-литературных занятий, занятий искусствами и ремеслами, организация студенческих столовых, чайных, касс взаимопомощи. Эти собрания должны были проходить только с разрешения начальства по утвержденной заранее программе в присутствии профессоров или лиц из «административного персонала». 22 декабря 1901 г. эти правила были утверждены. Опубликование «Временных правил» 1901 г. вызвало новую волну протеста со стороны студенчества и даже со стороны либеральной профессуры.

19 [декабря]

\* *Вин[оградо]ву от факультета для удержания его от отставки.*— П. Г. Виноградов в результате конфликта с министром народного просвещения Ванновским подал в отставку и вскоре уехал в Англию (см. запись 20—21 декабря 1901 г.). В 1908 г. он вернулся в Московский университет, в 1911 г. вновь подал в отставку вместе с другими профессорами в знак протеста против политики министра просвещения Кассо.

27 [декабря]

\* *...как умирал Н[иколай] П[авлович].*— Речь идет о Н. П. Боголепове— профессоре римского права Московского университета; в 1883—1887, 1891—1893 гг.— ректор Московского университета, в 1895—1898 гг.— попечитель Московского учебного округа, в 1898—1901 гг.— министр народного просвещения; один из авторов «Временных правил» об отдаче студентов в солдаты за участие в студенческом движении; проводил курс усиления инспекции и подавления студенческих волнений. На него 14 февраля 1901 г. было совершено покушение исключенным студентом П. В. Карповичем. Боголепов умер 2 марта 1901 г.

29 [декабря]

\* *...пра[витель]ство и общество перестали понимать и себя и друг друга.*— В архиве Ключевского хранится следующая запись, сделанная карандашом, 4 янв[аря] 1902 г. (ОРФ ИИ, ф. 4, оп. 3, д. 1):

«В настоящую минуту правительство и общество в России находятся между собою в отношении двух враждебных сторон, воюющих за власть. Общество всякими способами, в разнообразных формах старается дать почувствовать правительству, что<sup>1</sup> хочет, требует властного участия в управлении; правительство с прикрытой откровенностью дает почувствовать обществу свою решимость отстаивать полновластие самодержца.

У правительства очень мало защитников среди общества, особенно защитников мыслящих и бескорыстных. У общества есть сторонники в правительственных кругах, не только люди мыслящие и бескорыстные, но даже рискующие своим положением за свои неправительственные мнения<sup>2</sup>.

Такое напряженное отношение между обеими сторонами длится уже несколько десятков лет. Прежде его не было заметно. И прежде правительство и общество редко были довольны друг другом; но прежде источником этого обоюдного недовольства не была борьба за власть.

Общество нередко роптало вместе с народом на то, что правительство плохо ими правит, дает слишком много воли своим чиновникам, слабо искореняет злоупотребления, не предпринимает необходимых реформ и т. п. Образованные люди заявляли свой ропот в гостиных и клубах, в более или менее изворотливо прикрытых печатных произведениях и университетских лекциях или более откровенных рукописных памфлетах и сатирах, в совсем откровенных заграничных изданиях, изредка<sup>3</sup> в заговорах, один из которых даже вышел на площадь. Народ проявлял свое недовольство единственным ему доступным способом— бунтом.

Правительство в свою очередь нередко считало себя вправе жаловаться на общество, но не за соперничество из-за власти в управлении, а за нежелание или неумение пользоваться и тем участием в управлении, какое ему предоставлялось правительством.

Дело политической свободы в России спасается тем политическим

<sup>1</sup> *Далее зачеркнуто:* оно.

<sup>2</sup> *Над строкой:* сочувствия.

<sup>3</sup> *Далее зачеркнуто:* даже.

порядком, против которого оно борется. В руках у русского царя остается еще много материальных и нравственных средств, слишком достаточных, чтобы подавить противодействующие ему движения: дисциплинированная армия, сильно стугенные историей, хотя уже и выдыхающиеся от неумелого действия обаяние власти над воображением масс, антагонизм сословий, низкий уровень общественного сознания, нравственная распущенность общества. Но по исторической постановке своей власти царь не может привести эти свои средства в действие сам непосредственно, а его посредствующие органы или сами не в состоянии привести их в действие, или могут заставить их действовать неправильно, разрушая сами себя. Главные органы царской власти — министры, и если бы царь подобрал министерство вполне солидарное и искренно ему преданное, он при других своих средствах мог бы сделать из России все, что хотел и умел бы сделать, подавить какое угодно противодействие. Но по способу назначения и по свойству среды, из которой обыкновенно назначаются министры, они по отношению друг к другу добровольные, но неприменные антагонисты, а по отношению к царю — озлобленные и коварные холопы, подличающие перед ним из чувства самосохранения, обманывающие общественное мнение по ремеслу и расстраивающие порядок по невежеству».

\* *Письмо Вильгельма...*—По-видимому, имеется в виду письмо Вильгельма I Александру II из Берлина от 23 октября (4 ноября) 1879 г., опубликованное на французском языке в кн.: *Татищев С. С.* Император Александр II. Его жизнь и царствование. Т. 2. СПб., 1903. С. 696—697. Проект этого письма был составлен Бисмарком. Письмо вошло в историю как «образец дипломатической мистификации, имевшей целью замаскировать истинную цель и содержание австро-германского союза» (История дипломатии. Т. II. М., 1963. С. 141).

1902 г.

5 [марта]

\* *Климент Аркадьевич Тимирязев*—великий русский ученый, во времена студенческого движения открыто поддерживал революционное студенчество. В 1911 г. Тимирязев в знак протеста против политики Кассо подал в отставку. В своих воспоминаниях о М. М. Ковалевском Тимирязев писал о борьбе в Совете университета «между старой и начавшей кристаллизоваться молодой профессорской партией. К последней принадлежали: Чупров, Муромцев, Ковалевский, Янжул—из юристов, Стороженко и позднее Ключевский—из филологов, Остроумов, Эрисман, Склифасовский—из медиков, и мы со Столетовым—из физико-математиков» (*Тимирязев К. А.* Соч. Т. 8. М., 1939. С. 328).

\* *Владимир Иванович Вернадский*—профессор минералогии и кристаллографии Московского университета, был в числе тех профессоров, которые подали в отставку в 1911 г. в знак протеста против политики Кассо.

29 [апреля]

\* *Григорий Эдуардович Зенгер*—в 1902—1904 гг. министр народного просвещения.

Май

\* ...*моск[овский] ген[ерал]-губернатор*.—В 1891—1904 гг. московским генерал-губернатором был в. кн. Сергей Александрович.

18 [июня?]

\* ...*новой системой засыпки продовольственных магазинов, предписанной Сипягиным*.—Очевидно, Ключевский имеет в виду циркуляр Д. С. Сипягина от 17 августа 1901 г., по которому резко были урезаны

ссуды голодающим крестьянам и ограничивалась благотворительная деятельность общественных организаций и частных лиц.

\* *Очерк войны... в «Моск[овских] вед[омостях]» 1902 г.*— Возможно, речь идет о статье, подписанной Черноморец, ««Никакого мира нет!»» (Московские ведомости. 1902. 2 июня).

Ноябрь 29

\* *А. С. Суворин... Приезжал ставить в Худ[ожественном] театре свой «Вопрос». Успех его «Димитрия Самозванца и Ксении» в Петербурге.*— Комедия Суворина «Вопрос» была поставлена в Москве в декабре 1902 г., но не в Художественном театре, а в Малом; драма «Царь Димитрий Самозванец и царица Ксения» поставлена в Петербурге в Суворинском театре в октябре 1902 г.

\* *Разговор о курсе...*— Ключевский имеет в виду свой курс русской истории.

\* *...об издании для немногих при Дворе будто абастуманского курса.*— Ключевский имеет в виду курс политической истории, который он читал в Абастумане в кн. Георгию Александровичу в 1893/94 и 1894/95 гг.; возможно, этот курс был издан С. Ю. Витте в 20 экземплярах (см. примечание к записи от 31 декабря 1904 г.). Авторский конспект абастуманского курса издан в кн.: *Ключевский В. О. Неопубликованные произведения*. С. 198—291.

Дек[абрь] 1

\* *Письмо к Пл[еве] о Милюкове...*— Ключевский ходатайствовал о Милюкове и перед С. Д. Шереметевым (7 дек. 1902 г.). В своих воспоминаниях Милюков говорил о том, что во время его заключения в тюрьме «Кресты» он был вызван министром внутренних дел В. К. Плеве, который сообщил ему о разговоре Ключевского с царем и о поручении Плеве ознакомиться с делом Милюкова; вскоре Милюков был освобожден (Милюков П. Н. Воспоминания (1859—1917). Т. 1. Нью-Йорк, 1955. С. 202—204; см. также письма Ключевского к Милюкову и Шереметеву в кн.: *Ключевский В. О. Письма. Дневники. Афоризмы и мысли об истории*. С. 196—198).

1903 г.

17 [февраля]

\* *Выписки и отметки из газет к Пособию.*— Речь идет о «Кратком пособии по русской истории», которое Ключевский в это время готовил к 3-му изданию с дополнениями.

18 [февраля]

\* *Гизо — продолжение VIII л[екции].*— Речь идет о работе Ключевского над 8-й лекцией курса русской истории.

\* *Абрамовича диспут о Патерике Печер[ском].*— Речь идет о магистерской защите Д. И. Абрамовича «Исследование о Киево-Печерском патерике как историко-литературном памятнике» (СПб., 1902), состоявшейся 14 февраля.

19 [февраля]

\* *Гельмгольца — «Отношение естествознания к системе наук».*— Речь идет о статье «Об отношении естествознания к системе наук вообще» (Гельмгольц Г. Популярныя научныя статьи. Вып. 1. СПб., 1866).

20—22 [февраля]

\* *...исправление статьи о популяризации...*— Возможно, Ключевский имеет в виду свою статью «Задачи научной популяризации» (Научное слово. 1903. Кн. 1. С. 7—12). См. об этой статье письмо 95.

\* *Гр[аф] Л. Толстой... как он попался впросак с кронпринцессой саксонской.*— Речь идет о жене кронпринца Фридриха-Августа III (впоследствии король Саксонии)—Луизе-Антуанетте-Марии Тосканской, которая в декабре 1902 г. бежала от него с учителем своих детей Жироном. При судебном рассмотрении дела о разводе она заявила, что ее поступок был совершен под влиянием сочинений Толстого.

\* *Гельмгольца — сохранение энергии.*— Очевидно, речь идет о работе Гельмгольца «О сохранении силы», в которой он впервые дал математическую трактовку закона сохранения энергии, указывая на всеобщность этого закона (*Гельмгольц Г. Популярныя речи. Ч. 1. СПб., 1898.*)

25 [февраля]

\* *«Пролегомена к Ибн-Фадлану».*— Имеется в виду работа В. Р. Розена «Пролегомена к новому изданию Ибн-Фадлана» (Записки Восточного отделения Русского археологического общества. Т. XV. СПб., 1902. С. 29—72).

26 февр[аля]

\* *Доклад Витте о поездке на Дальний Восток.*— Ключевский, видимо, намекает на отказ Николая II выслушать доклад С. Ю. Витте о его поездке на Дальний Восток. Вскоре после этого инцидента (в августе 1903 г.) Витте получил отставку с поста министра финансов, который он занимал с августа 1892 г.

27 февр[аля]

\* *«Тезей».*— Речь идет о шуточной поэме В. Е. Гиацинтова и А. А. Венкстерна «Тезей...» (Ревель, 1892).

\* *Говорили о манифесте 26 февр[аля]...*— Ключевский имеет в виду манифест «О предначертаниях к усовершенствованию государственного порядка» от 26 февраля 1903 г. (Полное собрание законов Российской империи. Т. XXIII. Отд. I. СПб., 1905, № 22581).

\* *Пересмотр статьи о Петре В[еликом] и сотрудниках.*— Ключевский имеет в виду свою статью «Петр Великий среди своих сотрудников», впервые опубликованную: Журнал для всех. 1901. № 1, 3, 4.

28 [февраля]

\* *В Синодаль[ной] типографии отдал сентябрьские листки.*— Речь идет о работе Ключевского над первой частью «Курса русской истории», которая печаталась в Синодальной типографии.

\* *Елена Алексеевна Бородина*— жена Сергея Михайловича Бородина (см. о нем примечание к письму 24), слушательница лекций Ключевского в Политехническом музее. Ключевский часто диктовал ей. Лекции Ключевского в записи Е. А. Бородиной хранятся в ГПИБ, ф. В. О. Ключевского.

1 марта

\* *От Рождественского «История Мин[истерства] нар[одного] просвещения».*— Речь идет о работе: *Рождественский С. В.* Исторический обзор деятельности Министерства народного просвещения. 1802—1902. СПб., 1902.

13 [марта]

\* *Письма... Н[адежде] М[ихайловне].*— См.: *Ключевский В. О.* Письма. Дневники. Афоризмы и мысли об истории. С. 408—410.

18—19 авг[уста]

\* *Витте — председатель Комитета министров.*— Ключевский говорит об отставке Витте с поста министра финансов и о его назначении на почетную, но не дававшую власти должность. С 1903 г. Э. Д. Плеске был управляющим Министерства финансов.

21 [апреля]

\* *Баладури и Табари о славянах...*—Рассказы арабских географов Баладури и Табари изданы А. Я. Гаркави в кн.: Сказания мусульманских писателей о славянах и русских. СПб., 1870. С. 25—43, 72—81.

1904 г.

13 мая

\* *Цзинь-чжоу*.—Цзинь-чжоу-тин был взят японцами 13 мая.

1 и 2 июня

\* *Бой... у Вафангоу*.—Этот бой был третьей военной неудачей русского командования после Тюренчена и Цзинь-чжоу-тина.

Ноябрь 6—9

\* *Съезд город[ских] и земских деятелей в Петербурге...*—Съезд состоялся 6—8 ноября. В декларации, принятой на съезде, говорилось о необходимости покончить со всевластием бюрократии и о созыве народных представителей.

\* *Банкеты*.—В связи с сорокалетием судебных уставов во многих городах России в ноябре деятели либеральной буржуазии устраивали банкеты, на которых принимались резолюции с требованием гражданских свобод. Об этой кампании см. статью: Ленин В. И. Земская кампания и план «Искры» // Полн. собр. соч. Т. 9. С. 75—98.

Декабря 31

\* *По издании указа 12 дек[абря]...*—Речь идет об указе «О предначертаниях к усовершенствованию государственного порядка», проект которого был подготовлен Витте и Нольде.

\* *Прочат на время Платонова-старика...*—Речь идет о Степане Федоровиче Платонове, члене Государственного совета.

\* *Курс издан Витте в 20 экземплярах*.—Книга на правах рукописи под названием «Лекции по русской истории профессора Московского университета В. О. Ключевского» была напечатана по распоряжению Витте в 20 экземплярах, причем автор не получил ни одного. Этот факт, по свидетельству историка Сергея Федоровича Платонова, побудил Ключевского подготовить к изданию и опубликовать свой «Курс русской истории».

1905 г.

11 января

\* *Сегодня в «Моск[овских] в[едомостях]» решительное объявление и[сполняющего] д[олжность] градоначальника*.—Ключевский имеет в виду объявление, в котором под угрозой применения вооруженной силы запрещались «сборища и демонстративные шествия по улицам».

\* *«М[осковские] в[едомости]», № 170*.—Имеется в виду рескрипт об учреждении Постоянного совета Государственной обороны, который был подписан Николаем II 5 мая 1905 г. и опубликован в «Московских ведомостях», № 125 от 9 мая 1905 г., а не в № 170, как ошибочно указал Ключевский.

\* *«Р[усские] в[едомости]», № 167*.—Имеется в виду статья «13—17 июня в Одессе».

\* *До 500 вышек сожжено*.—В сообщении, опубликованном в «Русских ведомостях» 26 августа 1905, № 231, на которое ссылается Ключевский, не дается число сожженных вышек. Там сказано: «Балаханы уже выжжены [...] Биби-Эйбат горит».

15 [сентября]

\* *В академии о возможности отставки.*—Ключевский имеет в виду свою отставку из Московской духовной академии, в которой он преподавал с 1871 г. Под влиянием недовольства начальства духовной академии тем, что Ключевский баллотировался в Думу от кадетской партии, Ключевский, по свидетельству И. А. Голубцова, вынужден был подать прошение об увольнении от духовно-учебной службы. Его прошение было удовлетворено указом Синода от 24 ноября 1906 г. за № 13132.

3 [октября]

\* *«Марсельеза русская».*—В архиве Ключевского хранится текст «Русской марсельезы» (ОРФ ИИ, ф. 4, оп. 3, д. 3).

4 [октября]

\* *...в 50-ю годовщину смерти Грановского.*—К этой дате Ключевский написал статью «Памяти Т. Н. Грановского», впервые опубликованную в газете: Русские ведомости. 1905. 8 окт. (см. также: Ключевский В. О. Сочинения. Т. 8. М., 1959. С. 390—395; Он же. Соч. Т. VII. М., 1989. С. 298—302).

\* *16 авг[уста] Портсмутский мир.*—Портсмутский мирный договор между царской Россией и Японией был заключен 23 августа 1905 г.

1906 г.

9 [января]

\* *Лиза †.*—Речь идет о смерти племянницы и воспитанницы В. О. Ключевского Елизавете Верещагиной (урожд. Приклонской).

20 апреля

\* *Харитоновский проект.*—В начале 1906 г. Николай II поручил разработать проект основных законов, который был подготовлен государственным секретарем бароном Ю. А. Иксулем и товарищем государственного секретаря П. А. Харитоновым.

\* *«М[осковские] в[едомости]», № 249.*—Указ об отмене некоторых стеснений для крестьян был подписан Николаем II 5 октября 1906 г. и опубликован: Московские ведомости. 1906. 13 окт.

\* *14 октября понижение платежей заемщиков Кр[естья]нского банка.*—«Именной... указ... о понижении платежей заемщиков Крестьянского поземельного банка и об изменении условий выпуска государственных свидетельств названного банка» был подписан Николаем II 14 октября 1906 г. и опубликован: Московские ведомости. 1906. 17 окт.

\* *17 октября по постановлению сходки накануне должна была начаться трехдневная забастовка в память Баумана.*—Николай Эрнстович Бауман был убит 18 октября 1905 г.

\* *30 окт[ября] покушение на Рейнбота. Около того же времени покушение на Ренненкампа... Неистовство «М[осковских] вед[омостей]» по этому поводу.*—В «Московских ведомостях» 31 октября 1906 г. были напечатаны статьи «Новое злодейское покушение» и «Неудавшееся злодейское покушение».

Декабрь

\* *Убийство гр[афа] А. П. Игнатьева.*—Алексей Павлович Игнатьев 2-й—председатель особых совещаний об охране государственного порядка и по вопросам вероисповедания 9 декабря 1906 г. был убит в Твери на земском собрании членом эсеровской террористической организации.

1907 г.

14 [марта]

\* *Убит Иоллос*.—По поводу убийства Григория Борисовича Иоллоса—редактора «Русских ведомостей», одного из лидеров кадетской партии Ключевский написал статью «Памяти Г. Б. Иоллоса» (Русские ведомости. 1907. 16 марта):

«С покойным Г[ригорием] Б[орисовичем] судьба свела меня в конце 80-х годов, в памятную тяжелую пору. Мы тогда разделили с ним много дружеских печальных бесед. Мне глубоко симпатичен был прямой и ясный взгляд покойного в оценке исторических явлений, полный тонкого понимания жизни, чуждый догматизма. Увидавшись после многих лет при ином настроении умов, при новом складе общественных отношений, мы встретились старыми друзьями. Герценштейн пал за русский народ, за русского земледельца, и Иоллос обогрел своею кровью чисто русскую землю, землю города Москвы, собирательницы и строительницы русской земли. Пусть такие смерти останутся в русской памяти символом обновленной России, объединяющей в своем сердце собранные ею народности.

В. Ключевский».

19—22 [марта]

\* *«Моск[овские] вед[омости]», № 61*.—Ключевский имеет в виду информацию газеты «Московские ведомости» от 15 марта 1907 г. в разделе «Университетские известия»: «Московский университет. Положение дел в университете сильно осложнилось: Совет профессоров, по докладу советской комиссии, выселил Ц[ентральный] у[ниверситетский] о[рган] из занимаемого им помещения, в ответ на что орган прибегнул к своей прежней тактике, выломав в одной из аудиторий двери. Совет профессоров сделал постановление, что в случае новых актов подобного насилия университет будет закрыт».

1909 г.

25 [апреля]

\* *«Правда воли монаршей»*—название политического трактата Феофана Прокоповича (1722 г.).

1910 г.

\* *«Р[усское] сл[ово]», № 18*.—Очевидно, речь идет о статье А. Сергеева «Государственная дума. Заседание 22 января... Вопрос об имущественном цензе мировых судей...» (Русское слово. 1910. 23 янв.).

\* *...описание в «Р[усском] слове»*.—Ключевский имеет в виду статью «Французские гости в Москве» (Русское слово. 1910. 10—12 февр.).

## ДНЕВНИКОВЫЕ ЗАПИСИ 1902—1911 гг.

Оригинал записи 1902—1904 гг. хранится в ОРФ ИИ, ф. 4, оп. 1, д. 147, л. 40. Автограф. Карандаш. Текст написан на сшитых от руки трех крошечных листах.

1905 г.

Оригинал хранится в ОРФ ИИ, ф. 4, оп. 3, д. 1. Автограф. Карандаш.

[Ранее 7 января—9 января]

Текст написан на тетрадном листе.

14 фев[раля]

Текст написан на двух отдельных листах.

19 июля

Текст написан на двойном листе бумаги.

\* *Заседание 19 июля 1905, Петергоф.*—С 19 по 26 июля 1905 г. в Петергофе проходили совещания о проекте Государственной думы, на которых присутствовал и неоднократно выступал В. О. Ключевский (подробнее см.: Протоколы заседаний совещания под личным его императорского величества председательством для обсуждения предначертаний, указанных в высочайшем рескрипте 18 февраля 1905 года. 19, 21, 23, 25 и 26 июля 1905 года. СПб., Государственная типография, 1905. На правах рукописи (далее: Протоколы)).

\* *Полит[ическая] говорильня.*—В своем выступлении А. П. Игнатьев сказал, что «земские собрания обращаются нередко в политические говорильни...» (Протоколы. С. 20).

\* § 42.—Имеется в виду статья 42 проекта учреждения Государственной думы, которая предусматривала возвращение законодательных предложений, отклоненных большинством членов Государственной думы и Государственного совета, соответствующему министру или главноуправляющему для дополнительного соображения.

\* *Нет в проекте слова «самодержавие».*—Об этом на совещании говорил не Ю. А. Иксуль, как ошибочно записал Ключевский, а П. Л. Лобко (там же. С. 23).

\* 99%.—В тексте выступления А. А. Голенищева-Кутузова указано 90% (там же. С. 29).

\* *Адресы рабочих...*—А. П. Игнатьев говорил не об адресах рабочих, а о трех адресах сельского населения Екатеринославской и Херсонской губерний (там же. С. 30).

21 окт[ября]

Текст написан на отдельном листе.

Нач[ало] ноября

Текст написан на части извещения о заседании 30 октября 1905 г. в Училище живописи, ваяния и зодчества.

20 дек[абря]

Текст написан на листе, сложенном вдвое.

[1905 г.]

Текст написан на узкой полоске бумаги. Датируется условно по содержанию.

1906 г.

Оригинал хранится в ОРФ ИИ, ф. 4, оп. 1, д. 147, л. 15—15об. Автограф. Карандаш. Текст написан на плотной бумаге.

1909 г.

Лето 1909 (с 10 мая)—17 июля

Оригинал хранится в ОРФ ИИ, ф. 4, оп. 1, д. 178. Автограф. Карандаш. Текст написан на сшитых от руки листах, на которых помещен текст об Обломове (мая 1909), обломовщине (14 мая 1909), героях Гоголя—см.: *Ключевский В. О.* Неопубликованные произведения. М., 1983. С. 319—320.

20 дек[абря]

Оригинал хранится в ОРФ ИИ, ф. 4, оп. 1, д. 147. Автограф. Карандаш. Текст написан на части оборота торговой рекламы.

\* *Николай у А[лександр] О[сиповны]*...—Имеются в виду император Николай I и А. О. Смирнова (урожд. Россет), фрейлина императорского двора, писательница, автор известных воспоминаний об А. С. Пушкине, В. А. Жуковском, Н. В. Гоголе (*Смирнова А. О. Записки, дневник, воспоминания, письма. М., 1929; Она же. Дневник. Воспоминания. М., 1989*).

1911 г.

Оригинал хранится в ОР ГБЛ, ф. 131, д. 12, л. 89—90. Автограф. Карандаш. Текст написан на двух одинакового формата листах, один лист—в клеточку, другой—гладкий.

## АФОРИЗМЫ И МЫСЛИ ОБ ИСТОРИИ

Впервые опубликованы в кн.: *Ключевский В. О. Письма. Дневники. Афоризмы и мысли об истории. М., 1968. С. 321—399.*

### ТЕТРАДЬ С АФОРИЗМАМИ

Оригинал хранится в ОРФ ИИ, ф. 4, оп. 1, д. 147, л. 5—9. Автограф. Карандаш. Текст написан на листах, сложенных в тетрадь. Афоризмы пронумерованы Ключевским от № 1 до 134; 55-й зачеркнут, последний не пронумерован. Датируется условно на основании упоминания в тексте афоризма № 101 «26 сент[ября] 18[9]1 г.». Афоризмы частично опубликованы Г. Н. Сапожниковой (*Исторический архив. 1961. № 2*).

\* П.—Вероятно, речь идет о К. П. Победоносцеве.

### ЗАПИСНАЯ КНИЖКА

Оригинал хранится в ГПИБ, ф. В. О. Ключевского. Автограф. Карандаш. Записная книжка из черного шелка с золотым обрезом страниц. Книжка была подарена Ключевским Н. М. Бородиной (см. о ней примечание к письму 23). Афоризмы частично опубликованы Р. А. Киреевой (*Неделя. 1962. 23—29 сент. № 39; перепечатаны в кн.: Забытым быть не может. М., 1963*) и М. Ф. Леонтьевым (*Вопросы истории. 1965. № 7*). Датируется по содержанию.

\* *Глз-ва.*—Вероятно, Александра Матвеевна Глаголева, участница международного движения суфражисток.

\* *К.*—Может относиться к Н. И. Карееву или А. А. Кизеветтеру.

\* *Иванов и И. И. И.*—Вероятно, Иван Иванович Иванов, историк.

\* *Ч-н.*—Вероятно, имеется в виду Н. Д. Чечулин и его работа, защищенная им в качестве магистерской диссертации, «Города Московского государства в XVI веке» (1889). В связи с выдвижением этой работы на Уваровскую премию Ключевским в 1892 г. был написан «Отзыв о исследовании Н. Д. Чечулина «Города Московского государства в XVI в.»» (*Ключевский В. О. Сочинения: В 8 т. Т. 8. М., 1959. С. 184—222*).

\* *Вот Ф[илипп] Ф[илиппыч] Вигель...*—Эпиграмма С. А. Соболевского. Известен другой вариант той же эпиграммы:

Ах, Филипп Филиппыч Вигель,  
Как жалка судьба твоя!  
По-немецки ты Швейнигель,  
А по-русски ты свинья.

Эпиграммы С. А. Соболевского изданы В. В. Каллашем (М., 1913).

\* *К-ши.*—Вероятно, речь идет о семье Корш.

\* *К. и Л.*—Вероятно, имеются в виду М. Н. Катков и П. М. Леонтьев.

## РАЗРОЗНЕННЫЕ АФОРИЗМЫ

1889—1899 гг.

1. Оригинал хранится в ОРФ ИИ, ф. 4, оп. 1, д. 147, л. 34. Автограф. Карандаш. Текст написан на обороте части отзыва Ключевского о статье П. И. Цветкова «Аврелий Пруденций Клемент». Датируется на основании даты в отзыве: «23 февраля 1889».
2. Оригинал хранится в ОРФ ИИ, ф. 4, оп. 1, д. 148, л. 1, 3. Автограф. Карандаш. Текст написан на двойном листе бумаги. Датируется условно: между листами текста лежат отпечатанные тезисы реферата Н. И. Кареева «К вопросу о свободе воли с точки зрения теории исторического процесса», на котором рукой Ключевского поставлена дата: «10 апр[еля] 1890».
3. Оригинал хранится в ОРФ ИИ, ф. 1, оп. 1, д. 147, л. 36. Автограф. Карандаш. Текст написан на обороте нижней части титульного листа книги с выходными данными «Рязань, 1892».
4. Оригинал хранится в ОРФ ИИ, ф. 4, оп. 1, д. 222, л. 7, 7 об., 10 об. Автограф. Карандаш. Текст написан на типографском тексте статьи И. В. Цветаева «Комитет для устройства в Москве музея античного искусства», на котором есть отметка цензора: «марта 20 дня 1893 г.».  
\* *Он принес на профессор[скую] кафедру много мельничной пыли...*—Возможно, относится к М. С. Корелину, так как в статье Ключевского о Корелине есть фраза, что последний прошел твердым шагом «очень плохо выровненный путь от сельской мельницы на р[еке] Рузе до кафедры в Московском университете» (*Ключевский В. О. М. С. Корелин* // *Корелин М. С. Очерки из истории философской мысли в эпоху Возрождения. Мирозерцание Франческо Петрарки. М., 1899. С. VI*).
5. Оригинал хранится в ОР ГБЛ, ф. 131, п. 15, д. 8. Автограф. Карандаш. Текст написан на двух отдельных листах, вложенных в тетрадь «Афоризмы и мысли об истории. 1893».  
\* *«Спелые колосья» гр[афа] Толстого.*—Имеется в виду сборник мыслей и афоризмов, собранных из писем Л. Н. Толстого и изданных с разрешения автора Д. Р. Кудрявцевым в Женеве (Вып. I—IV. 1894—1896). Поскольку имеется предположение, что сборник «Спелые колосья» впервые был напечатан на гектографе, он мог попасть в руки Ключевского раньше 1894 г. (*Толстой Л. Н. Полн. собр. соч. Т. 87. М., 1937. С. 103*).
6. Оригинал хранится в ОР ГБЛ, ф. 131, п. 2, д. 6. Автограф. Карандаш. Текст находится среди материалов времени пребывания В. О. Ключевского в Абастумане, поэтому условно датируется 1893—1895 гг.
7. Оригинал хранится в ОРФ ИИ, ф. 4, оп. 1, д. 91, л. 31 об. Автограф. Карандаш. Текст написан на последнем листе рукописи «Историография смутного времени», датированной Ключевским 1895 г.

8. Оригинал хранится в ОРФ ИИ, ф. 4, оп. 1, д. 147, л. 18. Автограф. Карандаш. Текст написан на отдельном листе плотной бумаги.
9. Оригинал хранится в ОР ГБЛ, ф. 131, п. 31, д. 27. Автограф. Карандаш. Текст написан на обороте телеграммы, подписанной именем Бонсманг.  
\* К.—Возможно, речь идет о Ф. А. Корше.
10. Оригинал хранится в ОРФ ИИ, ф. 4, оп. 3, д. 1, л. 1. Автограф. Карандаш. Далее идет текст проекта государственных реформ, написанный черными чернилами.
11. Оригинал хранится в ОРФ ИИ, ф. 4, оп. 1, д. 161. Автограф. Карандаш. Текст написан на типографском извещении об общем собрании членов приходского попечительства 2 февраля 1899 г. вместе с наброском статьи о М. С. Корелине. Отдельные афоризмы этой рукописи были использованы Ключевским в статье «М. С. Корелин (†3 января 1899 г.)», опубликованной в кн.: *Корелин М. С.* Очерки из истории философской мысли в эпоху Возрождения.

## 1890-е годы

- Записи 12—17 датируются условно по почерку и бумаге.
12. Оригинал хранится в ОРФ ИИ, ф. 4, оп. 1, д. 147, л. 24—25. Автограф. Карандаш. Текст написан на узкой полоске бумаги.  
\* *ее*—Россию.
  13. Оригинал хранится в ОРФ ИИ, ф. 4, оп. 1, д. 147, л. 1—2 об. Автограф. Карандаш. Текст написан на сложенном вдвое листе бумаги.
  14. Оригинал хранится в ОРФ ИИ, ф. 4, оп. 1, д. 147, л. 20. Автограф. Карандаш. Текст написан на отдельном листе бумаги.
  15. Оригинал хранится в ОР ГБЛ, ф. 131, п. 15, д. 19. Автограф. Карандаш. Текст написан на обороте половины листа «Распред[еления] испытаний историко-филологического исп...» наряду с выписками из источников и арифметическими подсчетами, которые опускаются.
  16. Оригинал хранится в ОРФ ИИ, ф. 4, оп. 1, д. 147, л. 17. Автограф. Карандаш. Текст написан на плотном листе бумаги.
  17. Оригинал хранится в ОРФ ИИ, ф. 4, оп. 1, д. 147, л. 33. Автограф. Карандаш. Текст написан на части титульного листа книги неустановленного содержания.

## 1900—1910 гг.

18. Оригинал хранится в ОР ГБЛ, ф. 131, п. 15, д. 13. Автограф. Карандаш. Текст написан на тетрадном листе, озаглавленном Ключевским «Мысли и цитаты». Выписки из источников опущены.
19. Оригинал хранится в ОРФ ИИ, ф. 4, оп. 1, д. 147, л. 19. Автограф. Карандаш. Текст написан на обороте письма из канцелярии совета Московского художественного общества, датированного «марта 7 дня 1900 г.».  
\* *...мадамами Sans-Gêne.*—Речь идет о героине пьесы Викторьена Сарду «Мадам Сан-Жен».
20. Оригинал хранится в ОРФ ИИ, ф. 4, оп. 3, д. 1, л. 6 об. Автограф. Карандаш. Текст написан на отдельном тетрадном листе.
21. Оригинал хранится в ОР ГБЛ, ф. 131, п. 1, д. 11. Автограф. Карандаш. Текст написан на извещении о заседании Общества истории и древностей российских 26 октября, почтовый штамп 24 октября 1902 г.

22. Оригинал хранится в ОРФ ИИ, ф. 4, оп. 2, д. 7, л. 15. Автограф. Карандаш. Текст написан на обороте типографского извещения о созыве 12-го Археологического съезда в Харькове 15 августа 1902 г. На обороте есть запись Ключевского, датированная им 5 марта 1902 г.
23. Оригинал хранится в ОРФ ИИ, ф. 4, оп. 1, д. 147, л. 27. Автограф. Карандаш. Текст написан на иллюстративной таблице «Записок имп. Академии наук». Запись плохой сохранности, текст местами вытерт. Датируется условно на основании использования Ключевским отдельных изречений этой рукописи в статье «Памяти С. М. Соловьева», впервые напечатанной в журнале: Научное слово. 1904. Кн. 8.
24. Оригинал хранится в ОРФ ИИ, ф. 4, оп. 1, д. 147, л. 44. Автограф. Карандаш. Текст написан на конверте письма А. А. Титова с почтовым штампом 19 февраля 1906 г.
25. Оригинал хранится в ОРФ ИИ, ф. 4, оп. 1, д. 70, л. 16 об. Автограф. Карандаш. Текст написан на обороте телеграммы Унковской от 3 марта 1906 г.
26. Оригинал хранится в ОРФ ИИ, ф. 4, оп. 1, д. 147, л. 43 об. Автограф. Карандаш. Текст написан на конверте письма ректора Московской духовной академии епископа волоколамского Евдокима с почтовым штампом 20 июня 1906 г.
27. Оригинал хранится в ОРФ ИИ, ф. 4, оп. 1, д. 147, л. 32. Автограф. Карандаш. Текст написан на узкой и длинной полоске бумаги. Датируется на основании упоминания в тексте договора с Лидвалем.  
\* *Договор с Лидвалем...*— Речь идет о договоре товарища министра внутренних дел В. И. Гурко с крупным спекулянтom Лидвалем, не занимавшимся хлебной торговлей, о поставке в 1906 г. в голодающие губернии России 10 миллионов пудов хлеба. При этом был выдан задаток 800 000 руб. Это дело было вскрыто в ноябре 1906 г., и Гурко был предан суду Сената.
28. Оригинал хранится в ОРФ ИИ, ф. 4, оп. 1, д. 70, л. 44. Автограф. Карандаш. Текст написан на обороте извещения о заседании Общества истории и древностей российских 21 февраля, почтовый штамп 20 февраля 1907 г. Среди записей текущих дел публикуемая запись очерчена Ключевским синим карандашом. Дата поставлена Ключевским.
29. Оригинал хранится в ОРФ ИИ, ф. 4, оп. 1, д. 72, л. 18. Автограф. Карандаш. Текст написан на двойном листе бумаги. Датируется условно: рядом в деле лежит рукопись, озаглавленная «13 ок[тября] 1907. [Лекция] VI. Духовенство», вставкой к которой является публикуемый текст.
30. Оригинал хранится в ОРФ ИИ, ф. 4, оп. 1, д. 55, л. 24. Автограф. Карандаш. Текст написан на обороте титульного листа книги «La vie automobile. Paraissant tous les samedis. Septième année 1907...».
31. Оригинал хранится в ОРФ ИИ, ф. 4, оп. 1, д. 55, л. 25. Автограф. Карандаш. Текст написан на титульном листе книги «La vie automobile. Septième année 1907 deuxième semestre».
32. Оригинал хранится в ОРФ ИИ, ф. 4, оп. 1, д. 66, л. 14. Автограф. Карандаш. Текст написан на отдельном листе бумаги, на обороте которого стоит дата: «9 фев[р]аля 1908».
33. Оригинал хранится в ОР ГБЛ, ф. 131, п. 15, д. 19. Автограф. Карандаш. Текст написан на обороте почтового конверта со штампом 20 марта 1908 г.
34. Оригинал хранится в ОРФ ИИ, ф. 4, оп. 1, д. 60, л. 13, 14, 1. Автограф. Карандаш. Текст написан на сшитых листах и узкой полосе бумаги, служившей обложкой для рукописей, названных

Ключевским «Обзор р[усской] истории и значение П[етра] В[еликого]».

35. Оригинал хранится в ОРФ ИИ, ф. 4, оп. 1, д. 178, л. 12. Автограф. Карандаш. Текст написан на плотном желтом двойном листе бумаги (обложке).  
\* *Сол[овьев, т.] 18, [стр.] 319.*—Ключевский имеет в виду описанный С. М. Соловьевым эпизод 1 апреля 1725 г., когда «жители Петербурга были разбужены страшным набатом во всем городе: императрица пошутила над ними, обманула их для 1 апреля».
36. Оригинал хранится в ОРФ ИИ, ф. 4, оп. 1, д. 72, л. 11. Автограф. Карандаш. Текст написан на плотной желтой бумаге. Дата поставлена Ключевским: «Курс. 1908».
37. Оригинал хранится в ОРФ ИИ, ф. 4, оп. 1, д. 57, л. 26. Автограф. Карандаш. Текст является вставкой, приклеенной Ключевским к лекции LXVIII—«Значение Петра».
38. Оригинал хранится в ОРФ ИИ, ф. 4, оп. 3, д. 1, л. 20. Автограф. Карандаш. Текст написан на обороте визитной карточки А. С. Архангельского, на которой рукой Ключевского сделана запись: «Записки Смирн[ова] 2 янв[аря] 1910 со стр. 25».
39. Место нахождения подлинника неизвестно. Копия Я. Л. Барскова хранится в ОР ГБЛ, ф. 131, п. 22, д. 12. Имеется указание Барскова, что на обороте подлинника были наклеены Ключевским вырезки из газет 1910 г.

## 1900-е годы

Записи 40—53 датируются условно по почерку и бумаге. Две записи, публикуемые по копии А. А. Зимина, помещены в конце этого раздела.

40. Оригинал хранится в ОРФ ИИ, ф. 4, оп. 1, д. 147, л. 30—30 об. Автограф. Карандаш. Текст написан на отдельном листе бумаги, слегка зачеркнут.
41. Оригинал хранится в ОРФ ИИ, ф. 4, оп. 1, д. 55, л. 3. Автограф. Карандаш. Текст написан на клочке неустановленной статьи.
42. Оригинал хранится в ОРФ ИИ, ф. 4, оп. 1, д. 55, л. 6. Автограф. Карандаш. Текст написан на обратной стороне неровно оторванной страницы неустановленной статьи.
43. Оригинал хранится в ОРФ ИИ, ф. 4, оп. 1, д. 55, л. 7. Автограф. Карандаш. Текст написан на клочке бумаги с оборванными краями, в желтых пятнах.
44. Оригинал хранится в ОРФ ИИ, ф. 4, оп. 1, д. 55, л. 22. Автограф. Карандаш. Текст написан на листе бумаги с оборванными краями.
45. Оригинал хранится в ОРФ ИИ, ф. 4, оп. 1, д. 55, л. 28—29 об. Автограф. Карандаш. Текст написан на плотной бумаге, к которой подклеен узкий листок.
46. Оригинал хранится в ОРФ ИИ, ф. 4, оп. 1, д. 55, л. 33 об. Автограф. Карандаш. Текст написан на пожелтевшем листе бумаги.
47. Оригинал хранится в ОРФ ИИ, ф. 4, оп. 1, д. 55, л. 1 и без №. Автограф. Карандаш. Текст написан на двух маленьких полосках бумаги.
48. Оригинал хранится в ОРФ ИИ, ф. 4, оп. 1, д. 55, л. 30. Автограф. Карандаш. Текст написан на оторванной тетрадной обложке фиолетового цвета, сильно выцветшей, с желтыми пятнами; сильно вытерт, отдельные слова и фразы обведены чернилами.  
\* *25 фев[раля] 1730 г.*—Анна Ивановна приняла депутацию и подписала дворянские челобитные.

49. Оригинал хранится в ОРФ ИИ, ф. 4, оп. 3, д. 1, л. 18. Автограф. Карандаш. Текст написан на узкой полоске бумаги.
50. Оригинал хранится в ОРФ ИИ, ф. 4, оп. 1, д. 39, л. 35. Автограф. Карандаш. Текст написан на оборванном листе бумаги.
51. Оригинал хранится в ОРФ ИИ, ф. 4, оп. 1, д. 147, л. 26. Автограф. Карандаш. Текст написан на оборванном пожелтевшем листе бумаги.  
\* ...*варяжка*.—Речь идет о жене Александра III Марии Федоровне (урожд. Мария София Фридерика Дагмара), которая была дочерью датского короля Христиана IX и Луизы Гессенской.
52. Оригинал хранится в ОРФ ИИ, ф. 4, оп. 1, д. 147, л. 28. Автограф. Карандаш. Текст написан на листе бумаги с желтыми пятнами.
53. Оригинал хранится в ОР ГБЛ, ф. 131, п. 15, д. 19. Автограф. Карандаш. Текст написан на отдельных листах, на одном из которых стоит машинописная дата: «Москва, 31 октября 1902».
54. Место нахождения подлинника неизвестно. Копия в архиве А. А. Зимина.
55. Место нахождения подлинника неизвестно. Текст подлинника был написан карандашом на оборванном листе бумаги. Копия в архиве А. А. Зимина.

# ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ\*

- Абдул-Гамид (Абдул-Хамид) II, тур. султан 348
- Абрам см. Смирнов А. П.
- Абрамович Дмитрий Иванович, историк др.-русс. литературы, проф. С.-Петербургской духовной академии 324, 496
- Аввакум, протопоп, писатель 299, 488
- Автократов Рафаил Михайлович, товарищ Ключевского по Пензенской духовной семинарии 213
- Агассис Жан Луи, швейцарск. естествоиспытатель 242
- Аксаков И. С. 210, 252, 451, 477, 478, 482
- Алгебров Иван Григорьевич, одноклассник Ключевского по Пензенской духовной семинарии 130, 138, 171
- Александр I, имп. 93, 95, 341, 342, 361, 362, 419, 432, 433, 438, 441
- Александр II, имп. 321, 342, 476, 483, 486, 487, 495
- Александр III, имп. 342, 442, 457, 507
- Александр Македонский, царь, полководец 221
- Александров В. А. 459
- Алексеев А. С., проф. гос. права Московского ун-та 316
- Алексей Михайлович, царь 115
- Алмазов А. И., проф. Новороссийского ун-та по кафедре церковного права 346
- Альшевский Владимир Ясонович, лейб-медик 307
- Альфонский А. А., хирург, в 1850—1863 гг. ректор Московского ун-та 186, 476
- Анакреонт (Анакреон), др.-греч. поэт-лирик 105
- Анаксимандр, др.-греч. философ 202, 477
- Анаксимен, др.-греч. философ 202
- Андреев К. А., математик, проф. Московского ун-та 318, 321, 492, 493
- Анна Ивановна (Иоанновна), имп. 73, 81, 376, 506
- Анна Леопольдовна, правительница при имп. Иване VI Антоновиче 81
- Анненков П. В., публицист, литературовед и критик 218
- Антоний (Говоров), преподаватель Пензенской духовной семинарии 144, 473
- Антоний (Вадковский Александр Васильевич), митрополит петербургский и ладожский 345, 346
- Автоний (Храповицкий А. П.), епископ вольнский и житомирский 345, 346
- Антонович Максим Алексеевич, публицист, критик, философ 247
- Апраксин Федор Матвеевич, граф, ген.-адмирал 91, 431
- Аравийский Степан Васильевич, одноклассник Ключевского по Пензенской духовной семинарии 171
- Араччев А. А., граф, гос. деятель 99, 362
- Аристыдов П., товарищ Ключевского по Пензенской духовной семинарии 130
- Аристипп, др.-греч. философ 203

\* Библейские, литературные и мифологические персонажи в указатель не включены.

- Аристов Н. Я., историк, проф. Казанского ун-та 265
- Аристотель, др.-греч. философ и ученый 189, 197, 203, 205, 221
- Артоболевский Иван (Иоанн) Алексеевич, духовный писатель 468, 478, 482
- Архангельский Александр Семенович, историк русской литературы 506
- Аскольд, кн. 329
- Афанасьев, рабочий 323
- Бабст И. К., экономист и историк, проф. Московского ун-та 254, 483
- Байрон Дж. Г., англ. поэт-романтик 105
- Баладури см. Белазури
- Барсков Я. Л., историк литературы 333, 506
- Бартев Петр Иванович, историк, археолог 378
- Баршев Сергей Иванович, юрист, в 1863—1870 гг. ректор Московского ун-та 254, 257, 404, 483
- Бауман Н. Э., деятель рев. движения 344, 499
- Безобразов Александр Михайлович, статс-секретарь 332
- Беккер Иммануэль, нем. филолог 262, 264
- Беклемишева 132
- Белавенец Петр Иванович, историк русского флота 325
- ал-Белазури Ахмед ибн Яхья ибн Джабир ибн Давид, арабск. историк 329, 498
- Белинский В. Г. 341
- Белокуров С. А., историк, археолог 468
- Бельгард Александр Карлович, в 1896—1902 гг. полтавский губернатор 322
- Беляев И. Д., историк, проф. Московского ун-та 254, 483
- Бенеке Фридрих Эдуард, нем. философ 241
- Бердяков Илья Степанович, проф. Казанской духовной академии 346
- Берте Николай Александрович, педагог 135, 471
- Бестужев-Рюмин К. Н., историк, проф. С.-Петербургского ун-та 210, 477, 478
- Бетховен Людвиг ван, нем. композитор 251
- Бецкий (Бецкой) Иван Иванович, гос. и обществ. деятель, президент Академии художеств 18—20, 25—28, 39, 42, 60, 75, 398, 450
- Бирон Эрнст Иоганн, граф, фаворит имп. Анны Ивановны 92
- Бисмарк Отто фон Шейнаузен, кн., рейхскамплер Германской империи 111, 296, 371, 495
- Битобэ Поль, франц. поэт 51
- Благодарузов Николай Васильевич, товарищ Ключевского по Пензенской духовной семинарии 213
- Блекстон Вильям, англ. юрист 348
- Бобриников Николай Иванович, финляндск. генерал-губернатор 332, 333
- Бобринский Алексей Григорьевич, граф, сын Екатерины II и Григория Орлова 282
- Бобринский Алексей Павлович, граф 282
- Бобров Александр Алексеевич, хирург, проф. Московского ун-та 321, 492, 493
- Боголепов Николай Павлович, юрист, ученый и гос. деятель 311, 313, 321, 456, 491
- Боголепова (урожд. Ливен) Е. А., жена Н. П. Боголепова 321
- Богословский М. М., историк, проф. Московского ун-та 323, 471
- Богоявленский Василий Яковлевич, одноклассник Ключевского по Пензенской духовной семинарии 171
- Бодянский О. М., славист, проф. Московского ун-та 219
- Болотов Андрей Тимофеевич, писатель и ученый 31
- Болтин Иван Никитич, историк 305, 412
- Борис см. Ключевский Б. В.
- Борис Владимирович, кн. ростовский 124
- Борис Федорович Годунов, царь 452
- Бородин Николай Михайлович, товарищ Ключевского по Московскому ун-ту, брат его жены 480
- Бородин Сергей Михайлович, педагог, брат жены Ключевского 225, 480, 497
- Бородина Александра Михайловна, сестра жены Ключевского 234, 480, 481
- Бородина Анисья Михайловна (Никсочка) см. Ключевская А. М.
- Бородина Анна Михайловна, сестра жены Ключевского 221, 223, 227, 231, 233, 234, 455, 479—481
- Бородина (урожд. Платонова) Елена Алексеевна, жена С. М. Бородина 328, 497
- Бородина Елизавета Михайловна, сестра жены Ключевского 224, 234, 480
- Бородина Надежда Михайловна, сестра жены Ключевского 222—226, 231, 234—237, 328, 480, 497, 502
- Бочкарев В. Н. 460, 472, 474, 475
- Брандт Роман Федорович, славист, проф. Московского ун-та 313, 346
- Брикнер Александр Густавович, историк 301, 488
- Буало Никола, франц. поэт 94
- Бурлуцкая Марья Петровна, жена Я. П. Бурлуцкого 164
- Бурлуцкий Яков Петрович (Урлук,

- Яшенька), инспектор и преподаватель Пензенской духовной семинарии 131, 164, 166, 176, 206, 207, 251, 471, 474, 477
- Буслав Ф. И., историк литературы, проф. Московского ун-та 131, 133, 139, 140, 143, 145, 148, 151—153, 164, 167—170, 173, 183, 202, 210, 219, 240, 255, 422, 454, 470, 477, 478
- Бухарев Александр Матвеевич (архимандрит Феодор), писатель, проф. Московской и Казанской духовных академий 479
- Бэр Иоганн Христиан, нем. филолог и археолог 262, 264, 266
- Бюхнер Людвиг, нем. врач, естествоиспытатель и философ 199, 214
- Вагнер Вильгельм, нем. филолог 253, 257
- Валуев Петр Александрович, граф, гос. деятель 342
- Вальтер, нем. филолог-классик, издатель 253
- Валуа (Валюа), династия франц. королей 135
- Ванновский Петр Семенович, ген.-адъютант, гос. деятель 312, 319, 490—492, 494
- Варлаам (Успенский Василий Иванович), архиепископ пензенский 123, 141, 469
- Василий Иванович Шуйский, царь 452
- Васильевский В. Г., историк-византист 307
- Васильков Егор, одноклассник Ключевского по Пензенской духовной семинарии 171
- Васнецов В. М., художник 448, 467
- Вебер Георг, нем. историк 135, 471
- Венкстерн Алексей Алексеевич, поэт, переводчик 327, 497
- Вергилий Публий Марон, римск. поэт 256, 261, 454
- Верещагина (урожд. Приклонская) Елизавета, племянница и воспитанница Ключевского 340, 499
- Вернадский В. И., минералог и кристаллограф, проф. Московского ун-та 322, 495
- Верстовский Алексей Николаевич, композитор и театр. деятель 474
- Веселовский Иван Павлович, одноклассник Ключевского по Пензенской духовной семинарии 171
- «Вечный жид» см. Парадизов С. А.
- Вигель Филипп Филиппович, чиновник министерства внутренних дел, меуарист 405, 503
- Вильгельм I, король Пруссии, имп. Германии 321, 495
- Виниус Андрей Андреевич, гос. деятель 347
- Виноградов П. Г., историк, проф. Московского ун-та 307, 311, 318—321, 492—494
- Вирганская Е. О. см. Ключевская Е. О.
- Вирганский Иван Васильевич, муж сестры Ключевского, двоюродный брат Ф. М. Керенского 485
- Виргилий см. Вергилий
- Витте С. Ю., граф, гос. деятель 327, 328, 334, 337, 340, 341, 345, 426, 496—498
- Владимир Василькович, кн. волынский 109
- Владимир Святославич (Красное Солнышко), кн. киевский 140
- Владимир, митрополит московский 337, 345, 346
- Волконский Сергей Васильевич, кн. 214, 478, 479
- Вольтер М. Ф. А., франц. философ 34, 47, 61, 82, 94, 113, 209, 348, 410, 416
- Вольф Христиан, нем. философ 347
- Воротыньские, князья 23, 111
- Воскресенская (урожд. Бородина) Надежда Сергеевна, племянница жены Ключевского 461
- Воскресенский, товарищ Ключевского по Пензенской духовной семинарии 130, 208
- Врангель Егор Егорович, барон, директор департамента министерства юстиции 282
- Всеволод II Олегович (Ольгович), кн. 168, 474
- Всеволод Святославич, кн. 474
- Вышеславцев Алексей и Ефим, первый—одноклассник, второй—товарищ Ключевского по Пензенской духовной семинарии 209
- Вышнеградский Александр Иванович, вице-директор Особенной канцелярии в министерстве финансов 355
- Гамалея Семен Иванович, правитель канцелярии московского ген.-губернатора 45, 49
- Ганнибал Абрам Петрович, генерал-аншеф, прадед А. С. Пушкина 81
- Гапон Георгий Аполлонович, священник 334
- Гаркави А. Я., историк и филолог 498
- Гатакр 425
- Гвоздев Иван Петрович, старший брат Порфирия Гвоздева 253, 257, 263, 265, 266, 483
- Гвоздев Порфирий Петрович, одноклассник Ключевского по Пензенской духовной семинарии 129, 130, 132, 133, 138, 143, 148, 149, 157, 161, 171, 176, 183, 184, 194, 201, 206, 211, 215, 216, 251, 254, 256, 257, 260, 263, 266, 453, 460, 469—479, 482—485
- Гегель Г. В. Ф., нем. философ 189—192, 196—199, 307
- Гейне Г. 178, 295, 475

- Гельмгольц Г. Л. Ф., нем. ученый, естествоиспытатель 324, 325, 327, 496, 497
- Георгий Александрович, вел. кн., сын Александра III 496
- Гераклит, др.-греч. философ 192, 477
- Гербарт Иоганн Фридрих, нем. философ 192, 199
- Геродот, др.-греч. историк 138, 165, 202, 454
- Герц Карл Карлович, проф. археологии и истории искусств Московского ун-та 142, 143, 472
- Гершен А. И. 341, 474, 476
- Герценштейн Михаил Яковлевич, экономист и обществ. деятель 500
- Герье Владимир Иванович, историк, проф. Московского ун-та 256, 265, 311, 318, 321, 377, 483, 492, 493
- Гёте И. В. 223
- Гётц Леопольд Карл, проф. Боннского ун-та 324
- Гиацинтов Владимир Егорович (Георгиевич), искусствовед 497
- Гизо Франсуа, франц. историк 324, 431, 496
- Гилляров Александр Петрович, священник 167
- Гилляров Федор Александрович, товарищ Ключевского по Московскому ун-ту 167, 474
- Гилляров-Платонов Никита Петрович, проф. Московской духовной академии 167
- Глаголева Александра Матвеевна, участница международного движения суфражисток 381, 502
- Глеб Владимирович, кн. муромский 124
- Глебов Николай Федорович, преподаватель Пензенской духовной семинарии 211, 212, 214, 478
- Глинка Михаил Иванович 170, 474
- Глубоковский Николай Никанорович, богослов и историк, проф. С.-Петербургской духовной академии 346
- Гоббс (Гоббес) Томас, англ. философ 348
- Говард, владелец бумажной фабрики 384
- Гоголь Н. В. 174, 213, 240, 273, 433, 434, 451, 501, 502
- Голенищев-Кутузов Арсений Аркадьевич, граф, с 1896 г. заведующий канцелярией имп. Марии Федоровны 353, 501
- Голицын Дмитрий Михайлович, кн., гос. деятель 347
- Головачев 328
- Головин Федор Алексеевич, дипломат и гос. деятель 410
- Головин Александр Васильевич, в 1861—1870 гг. министр народного просвещения 254, 483
- Голубев Александр Алексеевич, товарищ Ключевского по Пензенской духовной семинарии 219
- Голубев Степан Тимофеевич, проф. Киевской духовной академии 346
- Голубцов И. А. 499
- Голубцов С. А. 460, 469—471, 476, 477, 482, 483
- Гольбах Поль Анри, франц. философ 44, 47
- Гольберг Людвиг, барон, датск. писатель 32
- Гольцов (Гольцев) Виктор Александрович, публицист и обществ. деятель 325, 345, 464
- Гомер, легендарн. др.-греч. поэт 138, 168, 202, 242, 253, 257, 454
- Гонзалес, исп. кардинал 386
- Гончаров И. А. 433, 451
- Гораций, римск. поэт 138, 242, 256, 261, 262, 264, 454
- Горизонтов Тихон Алексеевич, преподаватель Пензенской духовной семинарии 120, 121, 161, 164, 165, 172, 468
- Горький М. 451, 458
- Грановский Тимофей Николаевич 265, 307, 337, 341, 499
- Грибоедов А. С. 174
- Григорьев Аполлон Александрович, лит. критик и поэт 218, 271, 486
- Гримм Вильгельм, нем. филолог, брат Я. Гримма 167, 247
- Гримм Фредерик Мельхьяор, франц. писатель 76
- Гримм Яков, нем. филолог 152, 153, 157, 167, 185, 212, 216, 247
- Гринблат Натан Яковлевич 336
- Громека Степан Степанович, публицист и обществ. деятель 210, 211, 477
- Грот Джордж, англ. историк античности 142, 472
- Гроций Гуго, голландск. юрист 441
- Гумбольдт Александр Фридрих Вильгельм, нем. естествоиспытатель, географ и путешественник 242, 247
- Гумбольдт Вильгельм, нем. филолог, философ и гос. деятель 247
- Гурко Владимир Иосифович, с 1906 г. товарищ министра внутренних дел 430, 505
- Гучков Александр Иванович, промышленник, лидер октябристов 353, 354
- Давыдов Н. В., юрист, проф. Московского ун-та 321, 323, 325, 327, 434
- Даламбер (Д'Аламбер) Жан Лерон, франц. философ-просветитель 15
- Даль В. И. 486
- Данте Алигьери, итал. поэт 105
- Дарвин Ч. Р. 242, 469
- Дезульер Антуанетта, франц. поэтесса 33
- Дедерлейн Людвиг, нем. философ и педагог 257

- Дейбнер, книгопродавец в Москве 257, 261, 266
- Делькель Юлий, в 1861 г. преподаватель нем. языка в Московском ун-те 475
- Демокрит, др.-греч. философ 203
- Ден Владимир Эдуардович, экономист 323
- Державин Рафаил Иванович, инспектор Московского ун-та 328, 491
- Десницкий Семен Ефимович, просветитель, проф. права Московского ун-та 405
- Дидро Дени, франц. философ и писатель 15, 25
- Дмитрий (Туптало Даниил Саввич), митрополит ростовский 477
- Дмитриев Федор Михайлович, историк права, проф. Московского ун-та 254, 483
- Дмитрий Павлович, муж А. Е. Колпиковой 122, 469
- Добросердовы Василий и Дмитрий Александровичи, одноклассники Ключевского по Пензенской духовной семинарии 138, 171
- Добролюбов Н. А. 176, 475, 476
- Долгов Осип Семенович 480
- Долговы, семья 480
- Достоевский Ф. М. 175, 403, 451
- Драгомиров Михаил Иванович, воен. деятель, в 1898—1903 гг. киевский, подольский и волынский ген.-губернатор 312
- Дринов Марин Стоянов, товарищ Ключевского по Московскому ун-ту, историк-славист 208, 477
- Дубасов Федор Васильевич, адмирал, в 1905—1906 гг. московский ген.-губернатор 341
- Дубровин А. И., врач, председатель Главного совета Союза русского народа 345
- Дурново Петр Николаевич, гос. деятель, в 1905—1906 гг. министр внутренних дел 341
- Духовской Михаил Васильевич, юрист, с 1892 г. проф. Московского ун-та 316, 318, 322, 492, 493
- Дюкло Шарль Пино, франц. писатель 17, 60
- Дюран, франц. епископ 220, 471, 479
- Дютш Оттон (Отто) Иванович, композитор 475
- Евдоким (Мещерский Васялий Иванович), проф. и ректор Московской духовной академии 505
- Европейцев Иван Васильевич, священник Боголюбской церкви в Пензе в 1847—1867 гг. 118, 123, 126, 128, 157, 180, 215, 219, 220, 238, 247, 250, 258, 453, 459, 468, 469, 471, 473, 478, 479, 481, 482
- Европейцев Михаил Иванович (Михаэлис, Мишенька), двоюродный брат Ключевского 123, 127, 128, 181, 182, 238, 239, 241, 469
- Европейцев Павел Иванович (Пашенька, Поль), двоюродный брат Ключевского 123, 127, 128, 181, 182, 238, 239, 241, 243, 246, 453, 455, 469, 481, 482
- Европейцева (урожд. Мошкова) Евдокия Федоровна (тетенька, тетушка), жена И. В. Европейцева, сестра матери Ключевского 118, 119, 126, 180, 238, 241, 247—250, 453, 468, 469, 471, 481, 482
- Европейцева Екатерина Ивановна (Катенька, Катюра), двоюродная сестра Ключевского 123, 182, 241, 469
- Евпсихий (Гиренко), ректор Пензенской духовной семинарии 134, 141, 164, 165, 207, 211, 471, 477
- Екатерина I Алексеевна, имп. 81, 435
- Екатерина II Алексеевна, имп. 16, 18, 25, 38—40, 42, 75, 76, 81—83, 93, 94, 101, 103, 104, 111, 113, 115, 276, 282, 305, 348, 376, 396, 414, 430—432, 442, 444, 451, 457
- Елизавета Петровна, имп. 17, 31, 81, 93, 428
- Ешевский Степан Васильевич, проф. Казанского, затем Московского ун-тов 131, 142, 143, 145—148, 164, 172, 454, 470, 472
- Жирон, учитель детей Луизы, герцогини Тосканской 497
- Жорж Занд см. Санд Ж.
- Жорж Себастьян, нем. композитор 474
- Жуковский В. А. 170, 226, 470, 502
- Загоскин 254
- Загоскин Михаил Николаевич, писатель 474
- Заозерский Николай Александрович, историк, проф. Московской духовной академии 345
- Зенгер Григорий Эдуардович, филолог, в 1902—1904 гг. министр народного просвещения 322, 495
- Зенон, др.-греч. философ 202, 203
- Зернов Дмитрий Николаевич, анатом, проф., в 1898—1899 гг. ректор Московского ун-та 312, 316, 317, 489, 492, 493
- Зимин А. А. 459, 461, 462, 470, 475, 506, 507
- Зимица В. Г. 462
- Зограф Н. Ю., зоолог, проф. Московского ун-та 312
- Ибн-Фадлан, арабск. путешественник и писатель 325, 497

- Ибрагим *см.* Ганнибал А. П.  
 Иван I Данилович Калита, кн. московский 110  
 Иван IV Васильевич Грозный, царь 467  
 Иванов Алексей, парикмахер из Парижа 277  
 Иванов Гавриил Афанасьевич, филолог, проф. Московского ун-та 257  
 Иванов Иван Иванович, историк, критик 382, 401, 491, 502  
 Игнатъев, московский домовладелец 491  
 Игнатъев Алексей Павлович, граф, гос. деятель 345, 353, 499, 501  
 Игорь Святославич, кн. 474  
 Извольский Александр Петрович, дипломат, в 1906—1910 гг. министр иностранных дел 346  
 Извольский Петр Петрович, с 1906 г. обер-прокурор св. Синода 435  
 И. И. И. *см.* Иванов И. И.  
 Икскуль фон Гильденбанд Юлий Александрович, барон, гос. деятель 353, 499, 501  
 Иловыйский Д. И. 180, 379, 475  
 Ильминский Николай Иванович, проф. Казанского ун-та и Казанской духовной академии 253, 257, 483  
 Иоллос Григорий Борисович, редактор газеты «Русские ведомости» 346, 500  
 Иорданская Александра Ивановна, жена А. Н. Иорданского 483  
 Иорданский Андрей Никитич, казанский протоиерей 482, 483  
 Исаков Николай Васильевич, ген.-адъютант, в 1859—1863 гг. попечитель Московского учебного округа 473  
 Истомин В. А., правитель канцелярии Московского губернского 312  
 Иштуин Николай Андреевич, руковод. рев. общества в Москве 486
- К. *см.* Кареев Н. И.  
 К. *см.* Катков М. Н.  
 К. и М. И. К. *см.* Керженский М. И.  
 К. *см.* Кизеветтер А. А.  
 Кабанов 318  
 Каллаш Владимир Владимирович, историк литературы 503  
 Камаровский (Комаровский) Леонид Алексеевич, граф, юрист, проф. Московского ун-та 317, 492, 493  
 Кант Иммануил, нем. философ 196, 197, 369  
 Капнист Павел Александрович, попечитель Московского учебного округа 456  
 Капустин Михаил Николаевич, юрист, проф. Московского ун-та 254, 483  
 Каракозов Дмитрий Владимирович, член рев. общества Иштуина 486, 487
- Карамзин Н. М. 26, 48, 78, 240  
 Кареев Н. И., историк и публицист 381, 502, 503  
 Карл Великий, франкский король 329  
 Карл XII, шведск. король 438  
 Карнович Евгений Петрович, историк, писатель 478  
 Карлович Петр Владимирович, эсер, стрелявший в Боголепова 494  
 Кассо Лев Аристидович, юрист, с 1910 г. министр народного просвещения 492, 494, 495  
 Катилина Луций Сергей, римск. претор 136  
 Катков М. Н., публицист, издатель 252, 342, 405, 476, 482, 503  
 Катон Старший, римск. писатель 240  
 Кашин Данила Никитич, композитор 474  
 Квачевский Александр Андреевич, юрист 257, 265  
 Квинт Курций *см.* Курций Руф  
 Керенский А. Ф., полит. деятель, сын Ф. М. Керенского 483  
 Керенский Федор Михайлович, старший товарищ Ключевского по Пензенской духовной семинарии, затем товарищ П. П. Гвоздева по Казанскому ун-ту 254, 263, 264, 266, 483, 485  
 Кержинский М. И., товарищ Н. М. Бородина, брата жены Ключевского 222, 231, 480  
 Кизеветтер А. А. 381, 502  
 Киреев Р. А. 447, 455, 459, 461, 470, 473, 480, 488, 502  
 Кирпичников Александр Иванович, историк литературы 472  
 Кирхманн П. Ф., нем. историк 484  
 Кичинер (правильно Китченер) Гораций Герберт, англ. фельдмаршал 425  
 Клинт Эрнст Федорович, преподаватель латинской стилистики и истории русской литературы в Московском ун-те 141, 174  
 Ключевская (урожд. Бородина) Анисья Михайловна (Никсочка), жена Ключевского 224, 455, 480  
 Ключевская (урожд. Мошкова) Анна Федоровна (маменька, мамаша, матушка), мать Ключевского 118, 119, 123, 129, 239, 241, 247, 248, 468, 481, 482  
 Ключевская (в замуж. Вирганская) Елизавета Осиповна, сестра Ключевского 123, 182, 238, 468, 469, 471, 481, 485  
 Ключиников Виктор Петрович, писатель 479, 480  
 Княжнин Яков Борисович, драматург 33, 34  
 Ковалевский Максим Максимович, историк, юрист, проф. Московского ун-та 495

- Коваленский Михаил Николаевич, историк 491
- Колпиков Алексей Евфимович, двоюродный брат Ключевского 239
- Колпиков Евфимий Петрович, протоиерей церкви в Саранске, муж сестры матери Ключевского 121, 239, 468, 469, 481
- Колпикова Александра Евфимовна (Сашенька), двоюродная сестра Ключевского 122, 239, 469, 481
- Колпикова Евлампия Евфимовна, двоюродная сестра Ключевского 239, 481
- Колпикова (урожд. Мошкова) Мария Федоровна, старшая сестра матери Ключевского 239, 468, 469, 481
- Кольцов А. В., поэт 133, 170, 171, 471, 474, 480
- Кондильяк Этьен Бонно де, франц. философ 17—19
- Кони А. Ф. 321, 395
- Коновязев 425, 426
- Констехтер *см.* Смирнов Константин Федорович
- Корелин Михаил Сергеевич, историк, проф. Московского ун-та 503, 504
- Корнеев Яков Андреевич, инспектор Московского ун-та 491
- Корнелий Непот, римск. историк и поэт 183, 246
- Корнель Пьер, франц. драматург 94
- Короленко В. Г. 403
- Коронович *см.* Карнович Е. П.
- Корф Николай Александрович, педагог, деятель народного образования 307, 488
- Корш Евгений Федорович, публицист и переводчик 264, 405
- Корш Федор Адамович, театр. деятель 416, 504
- Корш Федор Евгеньевич, востоковед, славяновед 311
- Корши, семья 405, 503
- Костомаров Н. И. 210, 478
- Котошихин Григорий Карпович, подьячий Посольского приказа, автор сочинения о России 115, 240
- Кохановская (Соханская Надежда Степановна), писательница 236, 481
- Кравченко Николай Иванович, художник 323
- Крузиус, нем. издатель 253
- Крылов И. А. 240
- Крюгер Карл Вильгельм, нем. филолог 257
- Ксенофан, др.-греч. поэт и философ 202
- Ксенофонт, др.-греч. писатель и историк 138, 253, 256, 454
- Кудрявцев Дмитрий Ростиславович, составитель и издатель сборников афоризмов и мыслей Л. Н. Толстого 503
- Кузнецов Николай Дмитриевич, московский присяжный поверенный 345
- Кунт (Кундт) Эдмонт, книгопродавец в Москве 256, 257
- Курочкин Василий Степанович, поэт 476
- Курций Руф Квинт, др.-римск. историк 92
- Л. *см.* Леонтьев П. М.
- Лабрюйер (Лябрюйер) Жан де, франц. писатель, моралист 60
- Лавров Кронид Васильевич, преподаватель Пензенской духовной семинарии 164
- Лавров П. А. 493
- Ланге Людвиг, нем. филолог 262
- Ланской Сергей Степанович, в 1855—1861 гг. министр внутренних дел 342
- Лашо-Данилевский А. С., историк 347
- Ларошфуко Франсуа де, герцог, франц. писатель 390, 464
- Ласточкин Аркадий Александрович 311
- Латышев Василий Алексеевич, педагог 327, 328
- Лауниц фон дер Владимир Федорович, градоначальник С.-Петербурга 346
- Леонтьев М. Ф. 461, 502
- Леонтьев П. М., филолог, проф. Московского ун-та 136, 257, 405, 471, 472, 503
- Ленин В. И. 493, 498
- Ленский Александр Павлович, актер, режиссер, педагог 434
- Лермонтов М. Ю. 83, 170, 433, 451, 480, 481
- Лессинг Готхольд Эфраим, нем. писатель 247
- Лешков Василий Николаевич, юрист, проф. Московского ун-та 483
- Лявий Тит, римск. историк 261
- Лидваль Эрик Леонард, шведск. купец, спекулянт и аферист 429, 430, 505
- Лиза *см.* Верецагина (урожд. Приклонская) Е.
- Лиза *см.* Ключевская (в замуж. Вирганская) Е. О.
- Любко Павел Львович, воен. и гос. деятель 501
- Логгян, протопоп 114
- Локк Джон, англ. философ 16—18, 23, 25, 347, 348
- Ломоносов М. В. 74, 134, 240, 471
- Лопатин Лев Михайлович, философ и психолог 325
- Лопухин Александр Федорович, директор департамента полиции 323
- Лопухин Иван Владимирович, гос. деятель, публицист 44, 47—50
- Лопыревский (Лопырев), хозяин дома в Москве, где квартировал Ключевский 123, 129, 138

- Лоран Франсуа, бельг. историк и юрист 218
- Лорис-Меликов Михаил Тариелович, граф, гос. деятель 321
- Луиза-Антуанетта-Мария, герцогиня Тосканская, жена саксонского кронпринца, впоследствии короля Фридриха Августа III 497
- Луиза Гессенская, жена датского короля Христиана IX 507
- Львов Николай Николаевич, полит. деятель 323
- Любимов Александр Иванович, одноклассник Ключевского по Пензенской духовной семинарии 138, 171
- Любимов Николай Алексеевич, физик и публицист, проф. Московского ун-та 254
- Любимов Павел Яковлевич, одноклассник Ключевского по Пензенской духовной семинарии 171
- Любомудров Андрей Петрович, преподаватель Пензенской духовной семинарии 136
- Людовик XI, франц. король 135
- Мадвиг Иоганн Николай, датск. филолог и гос. деятель 261
- Майков Леонид Николаевич, историк литературы 410
- Макаров Алексей Васильевич, кабинет-секретарь Петра I 91
- Макартней Джордж, лорд, глава англ. посольства в Китай в 1790-х гг. 39
- Малиновский Михаил Афанасьевич, инспектор Московского ун-та в 1861—1863 гг. 173, 475
- Мамонтовы, семья 448
- Мануйлов Александр Аполлонович, экономист, проф. Московского ун-та 318, 321, 322, 337, 492
- Манухин Сергей Сергеевич, гос. деятель 353
- Мария Федоровна, имп., жена Александра III, дочь датского короля Христиана IX 507
- Марков 2-й Николай Евгеньевич, полит. деятель 348
- Маршев-отец, пензенский винозаводчик 120, 128, 173, 181, 182, 184, 468, 473
- Маршев Александр, сын винозаводчика, в 1861 г. вместе с Ключевским держал экзамены в Московский ун-т 118—120, 181—184, 202, 206, 212, 214, 247, 468
- Маршевы, братья Александр и Иван 206, 208, 468
- Масловский Степан Васильевич, преподаватель Пензенской духовной семинарии 131, 132, 471
- Масон Иоанн, англ. писатель 48, 463
- Массильон Жан Батист, франц. проповедник 201
- Машенька, внебрачная дочь А. Ф. Мошковой, матери Ключевского 129, 469
- Медем Георгий Петрович, барон, градоначальник Москвы 336
- Мендельсон-Бартольди Я. Л. Ф., нем. композитор 251
- Мензбир Михаил Александрович, зоолог, проф. Московского ун-та 492
- Меншиков Александр Данилович, кн., гос. и воен. деятель 410, 431
- Метуэн, лорд, англ. посланник в Португалии 425
- Мизеровский Николай Иванович, пензенский товарищ Ключевского 258—260, 454, 459, 484
- Миллер Федор Богданович, поэт. переводчик 207, 477
- Мильтгаузен Федор Богданович, юрист, проф. Московского ун-та 254
- Мильстон Джон, англ. поэт, полит. деятель 51
- Мялюков Павел Николаевич, историк, публицист, полит. деятель 323, 415, 496
- Мялотины Дмитрий и Николай Алексеевичи, гос. деятели 342
- Миния Кузьма Захарович, глава ополчения 215, 275
- Миних Бурхард Кристоф (Христофор Антонович), граф, воен. и гос. деятель 73, 83
- Михаил Федорович, царь 114
- Михаил, митрополит с.-петербургский 53
- Михаил Всеволодович, кн. черниговский 263
- Михаэлис, Мишенька см. Европейцев М. И.
- Мицкевич Адам, польск. поэт 108, 487
- Мишле Жюль, франц. историк 198
- Молешотт Якоб, нем. физиолог и философ 214
- Мольер Ж. Б. 251
- Монтень Мишель де, франц. философ 25
- Монтескье Ш. Л., граф, франц. философ, правовед 23, 82
- Мопассан Ги де 391, 401
- Морозова (урожд. Хлудова) Варвара Алексеевна, жена владельца текстильной фабрики А. А. Морозова 325
- Морозова (урожд. Соковнина) Федосья Прокофьевна, боярыня, раскольница 112
- Мошков Александр Федорович, брат матери Ключевского 238, 241, 469
- Мошков Николай Федорович (дяденька Николенька), брат матери Ключевского 123, 182, 241, 469
- Мошкова Анастасия Алексеевна, бабушка Ключевского 469

- Муравьев З. 212  
 Муравьев Николай Михайлович, в 1860—1862 гг. рязанский гражданский губернатор 478  
 Муретов Митрофан Дмитриевич, проф. Московской духовной академии 428  
 Муромцев Сергей Андреевич, юрист, публицист, проф. Московского ун-та 495  
 Мышцын Василий Никанорович, писатель, проф. церковного права 429
- Н. М. см. Бородина Н. М.  
 Навуходоносор (Небукаднцар), царь Вавилонии 269, 486  
 Наполеон I, франц. имп. 98, 111, 220, 221, 416, 432  
 Наполеон III, франц. имп. 142, 296  
 Нартов Андрей Константинович, механик и изобретатель 81  
 Нарышкин Александр Алексеевич, гос. и полит. деятель 312, 321  
 Настя, внебрачная дочь А. Ф. Мошковой, матери Ключевского 241, 481  
 Наук Август Карлович, филолог 261  
 Небольсин Павел Иванович, писатель, историк, этнограф 474  
 Небукаднцар см. Навуходоносор  
 Нежданова, хозяйка квартиры, где жил Ключевский в Москве 123, 129, 138  
 Нейман 316  
 Некрасов 257  
 Некрасов Н. А. 170, 474, 476  
 Нелединский-Мелецкий Юрий Александрович, поэт 474  
 Неплюев Иван Иванович, гос. деятель и дипломат 81  
 Нестеров М. В., художник 447, 448  
 Нестор, летописец 240  
 Нечкина М. В. 453, 459, 475, 478, 480  
 Нибуэр Бартольд Георг, нем. историк 265  
 Никита, архиепископ новгородский 263  
 Никитенко Александр Васильевич, историк литературы, проф. Петербургского ун-та 404  
 Николай I, имп. 95, 99, 241, 311, 341, 359, 361, 362, 417, 419, 432, 502  
 Николай II, имп. 324, 488, 497—499  
 Никольский Владимир Николаевич, юрист, проф. Московского ун-та 254, 311  
 Никсочка см. Ключевская (урожд. Бородина) А. М.  
 Новгородцев Павел Иванович, юрист и философ, проф. Московского ун-та 317, 318, 323, 335  
 Новиков Н. И. 28, 29, 31—33, 36, 39—47, 49—54, 463  
 Нольде Эммануил Юльевич, статс-секретарь, управляющий делами Комитета министров 498
- Оболенский Алексей Дмитриевич, кн., член Государственного совета 323  
 Оболенский Иван Михайлович, с начала 1900-х гг. харьковский губернатор 322  
 Овидий (Публий Овидий Назон), римск. поэт 261  
 Олсуфьев Александр Васильевич, граф, ген.-адъютант 307  
 Ольга, княгиня киевская 135  
 Ордин-Нащокин Афанасий Лаврентьевич, боярин, гос. деятель 79, 438  
 Орлов Григорий Григорьевич, граф, фаворит Екатерины II 282  
 Орнатский Сергей Николаевич, юрист, проф. Московского ун-та 404  
 Осокин Николай Алексеевич, историк, проф. Казанского ун-та 256, 265, 483, 485  
 Остерман Андрей Иванович, граф, гос. деятель, дипломат 113  
 Остерман Иван Андреевич, граф, вице-канцлер 113  
 Островский А. Н. 169, 174, 251, 451, 488  
 Остроумов Алексей Александрович, терапевт, проф. Московского ун-та 495  
 Остроумов Илья Семенович, художник 452  
 Остроумов Михаил Андреевич, проф. истории философии Московской духовной академии 346  
 Отт Дмитрий Оскарович, лейб-акушер 323  
 Оуэн Роберт, англ. социалист-утопист 475  
 Очев, живший в Москве родственник А. Маршера 118—120, 184
- П. см. Победоносцев К. П.  
 П. см. Погодин М. П.  
 Павел Петрович, имп. 361, 362, 432, 436, 442, 457  
 Павлов 405  
 Павлов Владимир Петрович, ген.-лейтенант, главный воен. прокурор 346  
 Павлов Николай Филиппович 318  
 Пален Константин Иванович, граф, в 1867—1878 гг. министр юстиции 321  
 Панин Никита Иванович, граф, гос. деятель и дипломат 81  
 Папков 345  
 Парадизов Степан Андреевич, одноклассник Ключевского по Пензенской духовной семинарии 130, 132, 138, 148, 157, 166, 171, 194, 195, 202, 210, 211, 214, 216, 219, 253, 254, 257, 265, 470, 483  
 Парменид, др.-греч. философ 202  
 Парни Эварист, франц. поэт 105  
 Пастернак Б. Л. 453  
 Пастернак Л. О., художник 453

- Пашенька *см.* Европейцев П. И.  
 Пастрана Юлия, танцовщица 127, 469  
 Петр I Великий, имп. 18, 19, 30, 31, 38, 42, 67, 69, 71, 76, 81, 83, 92, 93, 101—104, 108, 169, 276, 305, 310, 327, 347, 348, 369, 397, 410, 423, 427, 428, 430, 431, 435, 438—442, 451, 452, 457, 464, 471, 497, 506  
 Петр II Алексеевич, имп. 435  
 Петр III Федорович, имп. 66  
 Петр, митрополит 263  
 Пеховский Осип Иванович, проф. Московского ун-та по кафедре греческой словесности 257  
 Писарев Д. И. 486  
 Писарев Рафаил Алексеевич, земск. деятель 321  
 Плавт Тит Макций, римск. комедиограф 256  
 Платон, др.-греч. философ 189, 197, 203, 253, 256  
 Платон, архиепископ московский 49  
 Платонов Сергей Федорович, историк 498  
 Платонов Степан Федорович, сенатор, член Государственного совета 334, 498  
 Плеве Вячеслав Константинович, гос. деятель 323, 332, 496  
 Плеске Эдуард Дмитриевич, управляющий министерства финансов 328, 497  
 Плиний Младший, римск. писатель 261  
 Победоносцев К. П. 346, 372, 502  
 Погодин М. П. 386  
 Погожев П., сокурсник Ключевского в Московском ун-те 472  
 Пожарские, князь 23  
 Пожарский Дмитрий Михайлович, кн., глава ополчения 112, 215, 275  
 Покровские Василий и Степан Яковлевичи, товарищи Ключевского по Пензенской духовной семинарии, с одним из которых он жил в Москве 118, 120, 164, 181, 183, 212, 219, 468, 475  
 Покровский Иван Яковлевич, брат В. Я. и С. Я. Покровских 182, 475  
 Поленова Елена Дмитриевна, художница 452  
 Поль *см.* Европейцев П. И.  
 Попов Михаил Митрофанович, преподаватель Пензенской духовной семинарии 121, 122, 128, 215, 468  
 Попов Нил Александрович, историк и славяновед, проф. Московского ун-та 145, 473  
 Порошин Семен Андреевич, гос. деятель, автор «Записок» 35  
 Посошков Иван Тихонович, публицист 69, 70, 75  
 Походяшин Г. М., уральский горнозаводчик 46  
 Преллер Людвиг, филолог, мифолог 264  
 Преображенский Петр Алексеевич, духовный писатель 476  
 Прилуцкий Владимир Васильевич, одноклассник Ключевского по Пензенской духовной семинарии 138, 171, 472  
 Прокопович Феофан, гос. и церк. деятель, публицист 347, 348, 500  
 Протагор, др.-греч. философ 188  
 «Псих» *см.* Евпсхий  
 Пугачев Емельян Иванович, предвод. крестьян. войны 1773—1775 гг. 83, 321  
 Путятин Евфимий Васильевич, граф, в 1861 г. министр народного просвещения 476, 477  
 Пуфендорф (Пуффендорф) Самуэль, нем. правовед и историк 347, 441  
 Пушкин А. С. 6, 70, 77—80, 82—86, 100, 101, 103—108, 170, 200, 221, 229, 240, 316, 433, 451, 464, 467, 477, 480, 487, 502  
 Пыпин А. Н. литературовед, историк обществ. мысли 210, 410, 478  
 Разумов Евфим Васильевич, одноклассник Ключевского по Пензенской духовной семинарии 131, 138, 166, 171, 175, 194, 195, 202, 211, 214, 216, 219, 254, 256, 257, 470  
 Рамсес (Рамзес) II, египетский фараон 269  
 Расин Жан, франц. драматург 94  
 Рахманов Георгий Карлович, метеоролог, приват-доцент Московского ун-та 325  
 Рачинский Сергей Александрович, в 1859—1867 гг. проф. ботаники Московского ун-та 254, 483  
 Рейнбот Анатолий Анатольевич, ген.-майор, в 1906—1907 гг. московский градоначальник 345, 499  
 Рекамье Жюли Аделаида, жена банкира, хозяйка одного из парижских салонов в конце XVIII—перв. четв. XIX в. 388  
 Ренав Ж. Э., франц. историк религии, философ 185, 212, 216  
 Ренненкампф Павел Карлович, ген., командующий карат. отрядом в Сибири в 1905—1906 гг. 345, 499  
 Рибера (Рибейра) Хусепе, исп. художник 401  
 Ричардсон Сэмюэл, англ. писатель 32, 34  
 Робеспьер Максимилиан, деятель Вел. франц. революции 306  
 Рождественский Алексей Андреевич, одноклассник Ключевского по Пензенской духовной семинарии 454, 470  
 Рождественский Сергей Васильевич, историк 328, 497  
 Розанов Василий Васильевич, писатель, публицист, философ 453

- Розанов Леонтий Иванович, преподаватель словесности в Пензенской духовной семинарии 164, 211, 474
- Розен Виктор Романович, барон, востоковед-арабист 497
- Романовы, царская и императорская династия 457
- Рот Владимир Карлович, невропатолог, проф. Московского ун-та 320
- Румянцев Петр Александрович, граф, ген.-фельдмаршал 83
- Руссо Ж. Ж., франц. писатель и философ 25, 32, 34, 41, 47, 113, 199, 410
- Рюрик, кн. 139
- Рязанцев В. И., товарищ Ключевского по Московскому ун-ту 212
- Савонарола Джироламо, итал. проповедник 483
- Саллюстий, римск. историк 138, 246, 261, 454
- Салтыков-Щедрин М. Е. 348, 476
- Самарин Ю. Ф., историк, обществ. деятель 342
- Самоковасов Д. Я., археолог и историк права 322
- Санд Жорж, франц. писательница 111
- Сапожникова Г. Н. 461, 502
- Сарачев, владелец дома, где квартировал Ключевский в Москве 233, 266
- Сарду Викторен, франц. драматург 504
- Сатурнов Андрей Никитич, одноклассник Ключевского по Пензенской духовной семинарии 138, 171, 472
- Сашенька см. Колпикова А. Е.
- Святополк I Владимирович Окаянный, кн. туровский и киевский 124, 300
- Святополк Игоревич, кн. 438
- Святополк-Мирский Петр Дмитриевич, кн., гос. деятель 334
- Семевский Василий Иванович, историк 333, 334
- Сент-Бев Шарль Огюстен, франц. критик и писатель 310
- Серафим, митрополит петербургский 53
- Сергеев Александр Матвеевич, сотрудник газеты «Русское слово» 500
- Сергей Александрович, вел. кн., в 1891—1904 гг. московский генерал-губернатор 495
- Сергиевский Николай Александрович, проф. богословия в Московской духовной академии 131, 133, 134, 140—144, 147, 153, 170, 176, 186, 194, 201, 454, 472
- Сергий Радонежский, церк. и полит. деятель 448
- Серно-Соловьевич Николай Александрович, рев. демократ 486
- Серов Валентин Александрович, художник 452
- Сечинский Иван Иванович, московский обер-полицмейстер 473
- Сизов Владимир Ильич, историк и археолог 325
- Сильвестр, священник московского Благовещенского собора 14, 15, 25, 28, 240
- Симеон Полоцкий, церк. и обществ. деятель, ученый, писатель 347, 348
- Сипягин Дмитрий Сергеевич, гос. деятель 323, 495
- Скарятин Владимир Дмитриевич, публицист, редактор-издатель газеты «Весть» 487
- Склифосовский Николай Васильевич, хирург, проф. Московского ун-та 495
- Слущкий Сергей Сергеевич, историк 325
- Смарагд, архиепископ рязанский и зарайский 214, 478
- Смирнов Абрам (Авраамий) Павлович (отец Авраам), протоиерей, преподаватель Пензенской духовной семинарии 166, 208, 258, 474
- Смирнов Константин Федорович, преподаватель истории в Пензенской духовной семинарии 130—132, 138, 470
- Смирнов Николай Михайлович, сенатор, автор «Записок», муж А. О. Смирновой-Россет 506
- Смирнов Сергей Иванович, историк церкви, проф. Московской духовной академии 324, 328
- Смирнова (урожд. Россет) Александра Осиповна, фрейлина имп. двора, мемуаристка 359, 502
- Смят Адам, потляндск. экономист и философ 348
- Снегирев Владимир Федорович, гинеколог, проф. Московского ун-та 313, 316, 492
- Соболевский Василий Михайлович, публицист 325
- Соболевский Сергей Александрович, писатель, библиограф 503
- Соколовский Павел Емельянович, юрист, проф. Московского ун-та 311, 312, 313, 318
- Сократ, др.-греч. философ 197, 199, 202—205
- Соловьев Владимир Сергеевич, философ, поэт, публицист 299, 401, 413, 487
- Соловьев С. М. 151, 164, 167, 180, 181, 190, 210, 220, 221, 254, 257, 290, 329, 427, 435, 439, 454, 470, 473, 478, 483, 487, 488, 505, 506
- Солонков 180
- Сольский Дмитрий Мартынович, граф, гос. деятель 337
- Сорель (Соррель) Альбер, франц. историк 307
- Соснецкий Иван Ермолаевич, учитель словесности одной из московских гимназий 134, 149

- Спасович Владимир Данилович, юрист 395
- Сперанский Михаил Михайлович, граф, гос. деятель 99, 341
- Спиноза Бенедикт, нидерландск. философ 227, 228, 455
- Сталь Анна Луиза Жермена де, франц. писательница 100
- Станкевич Александр Владимирович, писатель, критик 311
- Стасюлевич Михаил Михайлович, историк, журналист, обществ. деятель 311, 336
- Стахович Михаил Александрович, земск. деятель 321
- Степанов Николай Александрович, художник-карикатурист 476
- Столетов Александр Григорьевич, физик, проф. Московского ун-та 495
- Столыпин Петр Аркадьевич, гос. деятель 344
- Стороженко Николай Ильич, историк литературы 321, 495
- Строгонова (Строганова) Анна Семеновна, знакомая семья Бородиных 225, 235—237, 480
- Суворин Алексей Сергеевич, журналист 323, 496
- Суворов А. В. 83, 413, 414
- Сумароков А. П., писатель, драматург 31, 41, 44, 81, 93, 97, 224, 463
- Сусанин Иван, крестьянин, герой освобожд. борьбы русского народа нач. XVII в. 210, 478
- Сухомлинов Михаил Иванович, историк литературы 471
- Сухонин Петр Петрович, драматург 475
- Сытин Иван Дмитриевич, книгопродавец и издатель 334
- Табари Абу Джафар Мухаммед ибн Джарир, арабск. историк и богослов 329, 498
- Тарасов Иван Трофимович, юрист, проф. Московского ун-та 320, 322, 492, 493
- Татищев Василий Никитич 75, 410
- Татищев Петр Алексеевич 46, 53
- Татищев Сергей Спиридович, историк 495
- Тацит, римск. историк 253, 257, 422
- Тейфель Вильгельм Сигизмунд, нем. филолог 262, 264
- Тестов, владелец ресторана в Москве 321
- Тимашев Александр Егорович, гос. деятель 342
- Тимрязов К. А., естествоиспытатель, проф. Московского ун-та 313, 322, 495
- Титов Андрей Александрович 505
- Тихомиров Александр Андреевич, зоолог, проф. и ректор Московского ун-та 312, 313, 427, 491, 492
- Тихомиров М. Н. 459
- Ткаченко П. С. 473
- Толстой А. К. 433
- Толстой Дмитрий Андреевич, граф, в 1866—1880 гг. министр народного просвещения 342
- Толстой Иван Иванович, граф, нумизмат, археолог, министр народного просвещения 313
- Толстой Л. Н. 325, 388, 391, 401, 413, 416, 433, 434, 458, 497, 503
- Томазин (Томазиус) Кристиан, нем. юрист и философ 347
- Торопов, московский домовладелец 346
- Трепов Дмитрий Федорович, в 1896—1905 гг. московский оберполицмейстер 313, 330, 340, 353
- Тронцкий Матвей Михайлович, психолог и философ 313
- Трубецкая (урожд. Черкасская) Варвара Александровна, княгиня 46
- Трубецкие, князья 46
- Трубецкой Евгений Николаевич, кн., юрист, проф. Киевского и Московского ун-тов 355, 434
- Трубецкой Сергей Николаевич, кн., философ, проф. и ректор Московского ун-та 311, 320, 336, 492, 493
- Тургенев Иван Петрович, директор Московского ун-та, член кружка Н. И. Новикова 46, 48
- Тургенев И. С. 84, 206, 433, 477, 481
- Тучков Павел Алексеевич, воен. ген.-губернатор Москвы 164
- Тэн Ипполит, франц. литературовед, философ 307
- Угрюмова 312
- Умов Николай Алексеевич, физик, проф. Московского ун-та 317, 318, 320, 492, 493
- Ундольский Вукол Михайлович, библиограф, собиратель рукописей 263, 485
- Унковская 505
- Урлук с.м. Бурдуцкий Я. П.
- Ушаков Андрей Иванович, начальник тайной розыскной канцелярии 92
- Фалес, др.-греч. мыслитель 202
- Фейербах Людвиг, нем. философ 141, 177, 179, 183, 185, 475
- Фенелон Франсуа, франц. писатель 55, 60
- Феофан Прокопович с.м. Прокопович Феофан
- Фивейский, товарищ Ключевского по Московскому ун-ту 166
- Филарет (Дроздов Василий Михайлович), митрополит московский, церк. деятель 215
- Филипп 323
- Филиппов Александр Никитич, юрист 335, 344

- Фихте И. Г., нем. философ 188, 247, 291
- Флоринский Степан И., товарищ Ключевского по Пензенской духовной семинарии 121, 131, 148, 150, 166, 179, 184—186, 194, 201, 212, 216, 468
- Фонвизин Д. И. 31, 32, 34, 37, 38, 47, 55, 56, 60—62, 66, 68, 70, 71, 82, 240, 305, 451, 463
- Фотий, патриарх константинопольский 329
- Фохт Александр Богданович, патолог и терапевт, проф. Московского ун-та 318, 493
- Фохт (Фойгт) Карл, нем. философ и естествоиспытатель 214
- Фридрих-Август III, кронпринц, с 1904 г. король Саксонии 497
- Фукидид, др.-греч. историк 242, 256
- Фюстель де Куланж Ньюма Дени, франц. историк 264
- Харитонов Петр Алексеевич, в 1904—1906 гг. товарищ государственного секретаря 499
- Хвостов Вениамин Михайлович, юрист, проф. Московского ун-та 321, 322
- Херасков М. М., писатель 46
- Хлудов, московский купец, владелец бумагопрядильных фабрик 251
- Холмовская Авдотья Яковлевна, жена П. В. Холмовского 139, 143, 172, 472
- Холмовская Александра Васильевна, сестра В. В., О. В. и П. В. Холмовских 172
- Холмовские Ордадьон и Петр Васильевичи, братья В. В. Холмовского 139, 143, 172, 472
- Холмовский Василий Васильевич, одноклассник Ключевского по Пензенской духовной семинарии 138, 148, 157, 166, 171, 179, 194, 201, 202, 211, 214, 454, 472, 474
- Хомяков Николай Алексеевич, гос. и полит. деятель 321
- Храбровицкий А. В. 460
- Хрисанф (Ретивцев Владимир Николаевич), проф. Казанской и Петербургской духовных академий 217, 218, 479,
- Христиан IX, датск. король 507
- Цветаев Иван Владимирович, искусствовед, организатор и первый директор Музея изящных искусств в Москве 503
- Цветков Петр Иванович, литературовед 503
- Цезарь Гай Юлий, римск. гос. и полит. деятель 183, 261
- Цераский Витольд Карлович, астроном, проф. Московского ун-та 317, 492, 493
- Цитович Петр Павлович, юрист, член совета министра финансов 313
- Цицерон Марк Туллий, римск. полит. деятель 136, 149, 150, 195, 242, 255, 256, 261
- Черинов Михаил Петрович, терапевт, проф. Московского ун-та 311
- Черкасский Алексей Александрович, кн. 46
- Чернышевский Н. Г. 186, 187, 210, 246, 247, 471, 475, 476, 483, 486
- Чехов А. П. 333, 451
- Чечулин Николай Дмитриевич, историк 404, 502
- Чичерин Борис Николаевич, историк, проф. Московского ун-та 151, 184, 186, 210, 253, 254, 311, 473, 476—478, 483
- Чупров Александр Иванович, экономист, статистик и историк, проф. Московского ун-та 386, 495
- Шалапин Ф. И. 452
- Шауман Евгений, чиновник Главного училищного управления Финляндии, стрелявший в Бобрíkова 332, 333
- Шварц Александр Николаевич, в 1908—1910 гг. министр народного просвещения 318
- Шварц Иван Григорьевич, писатель, проф. философии Московского ун-та 45, 46, 50, 53, 54
- Шекспир У. 425
- Шеллинг Фридрих Вильгельм, нем. философ 189, 192
- Шенье Андре Мари, франц. поэт 105
- Шереметев С. Д., кн. 459, 496
- Шестаков Петр Дмитриевич, педагог и писатель, в 1860—1863 гг. инспектор Московского ун-та 265, 485
- Шипов Дмитрий Николаевич, земск. и полит. деятель 321, 332
- Ширинский-Шихматов Алексей Александрович, кн., гос. деятель 353
- Шмеман Николай Эдуардович, юрист 316
- Шмоллер Густав, нем. экономист, историк и обществ. деятель 394
- Шпенер Филипп Яков, нем. богослов 347
- Штакельберг Георгий Карлович, ген.-лейтенант 332
- Щапов Афанасий Прокопьевич, историк, проф. Казанского ун-та 161, 165, 266, 468, 473, 474, 485
- Щедрин с.м. Салтыков-Щедрин М. Е.
- Щуровский Григорий Ефимович, проф. геологии и минералогии Московского ун-та 133

Эпикур, др.-греч. философ 203  
Эрдман Иоганн Эдуард, нем. философ  
197, 198  
Эрисман Федор Федорович, гигиенист,  
проф. Московского ун-та 495

Юлий Цезарь *см.* Цезарь Юлий  
Юматов Николай Николаевич, изда-  
тель-редактор газеты «Весть» 487  
Юркевич Памфил Данилович, философ,  
проф. Московского ун-та 185—187,  
189, 191, 192, 194, 195, 200, 202—  
205, 210, 254, 257, 476

Яковлев Алексей Иванович, историк,  
член-корр. Академии наук СССР  
311—313, 471, 486, 489, 491  
Янжул Иван Иванович, экономист и  
статистик, историк, проф. Москов-  
ского ун-та 495  
Ярослав I Владимирович Мудрый, вел.  
кн. киевский 15, 300  
Ярославна, жена кн. Игоря Святосла-  
вича 168, 474  
Ярославский Е. М. 461  
Ярцев Алексей Алексеевич, историк  
театра 325  
Яшенька *см.* Бурлуцкий Я. П.

# СОДЕРЖАНИЕ

## СТАТЬИ ПО РУССКОЙ КУЛЬТУРЕ

Два воспитания

5

Воспоминание о Н. И. Новикове и его времени

28

Недоросль Фонвизина

*(Опыт исторического объяснения учебной пьесы)*

55

Речь, произнесенная в торжественном собрании  
Московского университета 6 июня 1880 г.,  
в день открытия памятника Пушкину

77

Евгений Онегин и его предки

84

Памяти А. С. Пушкина

101

О взгляде художника на обстановку  
и убор изображаемого им лица

108

## ПИСЬМА МОЛОДОГО В. О. КЛЮЧЕВСКОГО

1861 г.

1. И. В. и Е. Ф. Европейцевым—23—25 июля  
118
  2. П. И. Европейцеву—[26 июля]  
123
  3. И. В. и Е. Ф. Европейцевым—19 августа  
126
  4. П. П. Гвоздеву—3 сентября  
129
  5. В. В. Холмовскому—27 сентября  
138
  6. П. П. Гвоздеву—27 сентября  
143
  7. П. П. Гвоздеву—11 октября  
149
  8. И. В. Европейцеву—18 октября  
157
  9. П. П. Гвоздеву—27 октября  
161
  10. В. В. Холмовскому—18 ноября  
171
  11. П. П. Гвоздеву—25 ноября  
176
  12. И. В. и Е. Ф. Европейцевым—2 декабря  
180
  13. П. П. Гвоздеву—9 декабря  
183
- 1862 г.
14. П. П. Гвоздеву—27 января  
184
  15. П. П. Гвоздеву—14 февраля  
194
  16. П. П. Гвоздеву—17 марта  
201
  17. П. П. Гвоздеву—21 апреля  
206

18. П. П. Гвоздеву—14 июня  
211
19. И. В. Европейцеву—14 июня  
215
20. П. П. Гвоздеву—20 ноября  
216
- 1863 г.
21. И. В. Европейцеву—20 марта  
219
22. И. В. Европейцеву—20 декабря  
220
- 1864 г.
23. [А. М. Бородиной]—23 июня  
221
24. [А. М. Бородиной]—29 июня—1 июля  
223
25. [А. М. Бородиной]—13 июля  
227
26. [А. М. Бородиной]—23 июля  
231
27. [А. М. Бородиной]—9 августа  
233
28. И. В. и Е. Ф. Европейцевым—12 августа  
238
29. П. И. Европейцеву—[Ранее 28 октября]  
241
30. П. И. Европейцеву—[28 октября]  
246
- 1866 г.
31. И. В. Европейцеву—20 апреля  
247
- 1867 г.
32. П. П. Гвоздеву—22 января  
251
33. П. П. Гвоздеву—9 февраля  
254

34. П. П. Гвоздеву—16 февраля  
256  
1868 г.
35. Н. И. Мизеровскому—25 февраля  
258  
1869 г.
36. П. П. Гвоздеву—2 сентября  
260
37. П. П. Гвоздеву—15 сентября  
263  
1870 г.
38. П. П. Гвоздеву—30 марта  
266

## ДНЕВНИКИ И ДНЕВНИКОВЫЕ ЗАПИСИ

Дневниковые записи 1861—1866 гг.  
267

Дневник 1867—1877 гг.  
278

Дневниковые записи 1891—1901 гг.  
298

Дневник 1901—1910 гг.  
319

Дневниковые записи 1902—1911 гг.  
349

## АФОРИЗМЫ И МЫСЛИ ОБ ИСТОРИИ

Тетрадь с афоризмами [1891 г.]  
363

Записная книжка [1890-е годы]  
375

Разрозненные афоризмы  
1889—1899 гг.  
406

СОДЕРЖАНИЕ

---

1890-е годы  
419

1900—1910 гг.  
424

1900-е годы  
436

ПОСЛЕСЛОВИЕ  
447

КОММЕНТАРИИ  
463

ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ  
508

**Ключевский В. О.**  
**К52**      **Сочинения. В 9 т. Т. IX. Материалы разных лет /**  
**Под ред. В. Л. Янина; Послесл. и коммент.**  
**Р. А. Киреевой.— М.: Мысль, 1990.—525, [1] с.**  
ISBN 5-244-00072-1  
ISBN 5-244-00415-8

В настоящем томе печатаются статьи В. О. Ключевского по русской культуре и материалы из личного архива историка: письма молодого Ключевского, его дневники и дневниковые записи с 1861 по 1911 г., а также афоризмы и мысли об истории разных лет.

**К** 0503020000-041  
004(01)-90      Подписное

**ББК 63.3(2)**

Научная

Василий Осипович  
КЛЮЧЕВСКИЙ

СОЧИНЕНИЯ В ДЕВЯТИ ТОМАХ  
ТОМ IX

МАТЕРИАЛЫ РАЗНЫХ ЛЕТ

Редакторы

И. И. МАКАРОВ,  
Л. П. ЖЕЛОБАНОВА

Оформление художника  
В. А. КОРОЛЬКОВА

Художественный редактор  
Е. М. ОМЕЛЬЯНОВСКАЯ

Технический редактор  
О. А. БАРАБАНОВА

Корректор  
Ф. Н. МОРОЗОВА

ИБ № 4077

Сдано в набор 04.12.89.

Подписано в печать 07.08.90.

Формат 84×108<sup>1/32</sup>.

Бумага типограф. № 1.

Гарнитура Таймс. Высокая печать.

Усл. печатных листов 27,72.

Усл. кр.-отг. 28,14. Учетно-издатель-

ских листов 33,18. Тираж 250 000 экз.

Заказ № 3379. Цена 3 р. 50 к.

Издательство «Мысль».

117071. Москва, В-71, Ленинский  
проспект, 15.

Ордена Октябрьской Революции и ор-  
дена Трудового Красного Знамени  
МПО «Первая Образцовая типография»  
Государственного комитета СССР по  
печати. 113054, Москва, Валуевая, 28.